ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

3

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
3

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

❀

ТОМ ТРЕТИЙ

ВОР

Роман



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Примечания
ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Л $\frac{4702010200-259}{028(01)-82}$ подписное

ВОР

Роман

Автор с пером в руке перечитал книгу, написанную свыше тридцати лет назад. Вмешаться в произведение такой давности не легче, чем вторично вступить в один и тот же ручей. Тем не менее можно пройти по его обмелевшему руслу, слушая скрежет гальки под ногами и без опаски заглядывая в омуты, откуда ушла вода.

1959

ПРОЛОГ

Гражданин в клетчатом демисезоне сошел с опустелого трамвая, закурил папиросу и неторопливо огляделся, куда занесли его четырнадцатый номер и беспокойнейшее ремесло на свете... Москва тишала тут, смиренно пригибаясь у двух каменных столбов Семеновской заставы, облитых, точно ботвиньей, зеленой плесенью времен.

Видимо, новичок в здешних местах, он долго и с такой нерешительностью поглядывал кругом, что постовой милиционер стал проявлять в отношении его положенную бдительность. И верно, было в облике гражданина что-то отвлеченно-бездельное, не менее настораживали и его круглые очки, огромные — как бы затем, чтобы проникать в нечто, не подлежащее постороннему рассмотрению, и, наконец, наводила на опасные мысли расцветка его явно заграничного пальто. Впрочем, щеки незнакомца были должным образом подзапущены, а ботинки давно не чищены, да и самый демисезон вблизи приобретал оттенок крайне отечественный, даже смехотворный, как если бы сшит был из подержанного, с толкучки, пледа.

Покурив и набравшись духу, демисезон двинулся напрямки к милицейской шинели и осведомился мимоходным тоном, не есть ли обступающая их окрестность — та самая знаменитая Благуша. Собеседник подтвердил его догадку, польщенный похвалою нескончаемому ряду невзрачных приземистых построек вдоль Измайловского шоссе.

— А которую улицу ищете? Ведь их у меня тут целых двадцать две, одних Хапиловок, извиняюсь, три... Благуша велика!

— Надо думать, чего только в районе у вас не имеется!..

— Всего найдется по малости,— очень довольный ходом беседы, усмехнулся милиционер.

— Верно, и воровские квартиры в том числе? — как бы незаинтересованным голосом осведомился демисезон.

Милиционер подозрительно нащурился, но тут, на счастье новичка, огромный воз порожних бочек замешкался на трамвайном пути... и вот они с веселым грохотом запрыгали по осенним грязям. Происшествие позволило демисезону вовремя отступить на тротуар и с независимым видом двинуться дальше, в зигзагообразном направлении.

Ничто за всю прогулку не оживило его озабоченного лица: бесталанные благушинские будни мало примечательны. Летом, по крайней мере, полно тут зелени; в каждом палисадничке горбится для увеселения глаза тополек да никнет бесплодная смородинка, для того лишь и годная, чтоб настаивал водку на ее листе подгулявший благушинский чулошник. Ныне же в проиндевелой траве пасутся гуси, и некому их давить, а по сторонам вросли в землю унылые от осенних дождей хижины ремесленного люда. Ни цветистая трактирная вывеска, ни поблекшая от заморозка зелень не прикрывают благушинской обреченности.

Лишь на боковой пустоватой улочке увидел путешествующий в демисезоне вроде как отбывшего сроки жизни гражданина в парусиновом картузе и зеленых обмотках; сидя на ступеньках съестной лавки, он сонливо взирал на приближающееся клетчатое событие. И как-то получилось, что не обмолвиться словом стало им обоим никак нельзя.

— Видать, проветриться вышли? — спросил демисезон, пряча глаза за безличным блеском очков и присаживаясь. — Наблюдаете течение времени, отдыхая от тяжких трудов?

— Да нет, водку обещали привезть, дожидаю,— сипло ответствовал тот. — А вам чего в наших краях?

— Так, хожу... название у вас вкусное! Бла-гу-ша, нечто допотопно расейское: непременно переименуют! — рассудительно проговорил демисезон и предложил папироску, которую тот принял без удивления и благодарности. — Тихо у вас тут, нешумно.

— Покойников мимо нас возят, вот оно и тихо. И красных возят, и прочих колеров: всяких. Так что живем по маленькой...

Беседа не удавалась, дело шло к сумеркам, и путешественник по Благуше начинал поеживаться: ветру с дальнего

разбега нипочем было пробраться сквозь крупные, расползающиеся клетки демисезона. Он сделал попытку расшевелить неразговорчивого соседа.

— Давайте знакомиться пока! Фирсов моя фамилия... не попадалось ли в печати?

— Оно ведь разные фамилии бывают... — сказал без одушевления ремесленник. — У сестры вот тоже свояк в городе Казани был... Ан нет,— запутался он. — Не-ет, тому фамилья, никак, Фомин была... да, Фомин.

На том и покончился их разговор, потому что кто его знает, откуда взялся этот Фирсов — сыщик ли насчет сердечных и умственных тайностей, застройщик пустопорожних мест, балаганщик с мешком недозволенных кукол. Вот взыскательным оком выбирает он пустырь на Благуше — воздвигнуть несуществующие пока дома с подвалами, чердаками, пивными заведеньями, просто щелями для одиночного пребыванья и заселить их призраками, что притащились сюда вместе с ним. «Пусть понежатся под солнышком и, поцветя положенные сроки, как и люди, сойдут в забвенье, будто не было!» Давно живые, они нетерпеливо толпились вкруг своего творца, продрогшие и затихшие, как всё на свете в ожидании бытия. Отчаявшись напиться в этот вечер, давно ушел фирсовский собеседник, а сочинитель все сидел, всматриваясь в наступающие сумерки. И где-то внутри его уже бежала желанная, обжигающая струйка мысли, оплодотворяя и радуя.

«Вот лежат просторы незастроенной земли, чтоб на них родился и, отстрадав свою меру, окончился человек. Иди же, владей, вступай на них смелее! Вверху, в пространствах, тысячекратно повторенных во все стороны, бушуют звезды, а внизу всего только люди... но какой ничтожной пустотой стало бы без них все это! Наполняя собой, подвигом своим и страданьем мир, ты, человек, заново творишь его...

Стоят дома, клонятся под осенним вихрем деревья, бежит озябшая собака, и проходит человек: хорошо! Промороженные до звонкой ломкости, скачут листья, сбираясь в шумные вороха... и только человеческим бытием все связано воедино в прочный и умный узел. Не было бы человека на ступеньке, в задумчивости следящего за ходом вещей,— не облетали бы с деревьев последние листы, не гонял бы их незримым прутиком по голому полю ветер — ибо не надо происходить чему-нибудь в мире, если не для кого!»

Неглубокий овражек изветвлялся впереди, а дальше простирались огороды, а за ними, еле видная в туманце, исчезала под низким небом хилая пригородная рощица. На пороге стоял пронзительный ноябрь, солнце отворачивалось от земли, реки торопились одеться в броню от стужи. В воздухе, скользя из неба, резвилась первая снежинка: поймав ее на ладонь, Фирсов следил, как, теплея и тая, становится она подобием слезы... Вдруг хлопьями копоти закружили птицы над полем, хрипло оповещая о приходе зимы. Холодом и мраком дохнуло Фирсову в лицо, и вслед за тем он испытал прекрасную и щемящую опустошенность, знакомую по опыту — когда вот так же раньше, для других книг, созревала в нем горсть человеческих судеб.

И тогда Фирсов увидел как наяву —

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Николка Заварихин проснулся, лишь когда перестала его баюкать равномерная качка вагона. Зевая и потягиваясь в прокуренной духоте, он свесился с верхней полки. Никого не оставалось из пассажиров внизу, в окно глядела Москва. Одолеваемый воспоминаниями сна, Николка стал с вещами выбираться наружу. Едкий дым пополам со снегом окончательно пробудили его расхмелевшее за ночь тело. Не выпуская клади из рук, Николка недоверчиво огляделся и, хотя перед ним находились всего лишь задворки большого города — тревожная скука убегающих путей, семафоров да призрачных на рассветном небе брандмауэров с закопченными гербами и фамилиями покойных поставщиков двора,— опять взволновало его это пасмурное величие.

Порою снегопад переходил во вьюгу, но приезжий видел все перед собою остро и четко, как сквозь увеличительное стекло. Бесстрастные нагроможденья тесаного камня высились кругом, и по нему взад-вперед елозило бессонное железо, растирая и само перетираясь в пыль. Видно, из подражанья ему и люди свершали ту же уйму бесполезных движений, и, сам крепыш из глубинной губернии, Николка презирал их как судороги недужного, недолговечного существа... Тем не менее всякий раз по приезде в город покоряла его торжествующая и гибельная краса, и тогда всем телом под этими чарами ощущал он настороженную на него западню. И всегда, прежде чем вступить в сутолку улиц, стаивал так, минутку-другую, примериваясь к воздуху и погоде; осведомленный о некоторых его завоевательных намереньях, Фирсов неспроста назвал его соглядатаем перед воротами чужого города... Все было значи-

тельно сейчас в Николке — упругая стать размахнувшегося для удара человека, приглушенный свет жестоких голубоватых глаз, варварская роспись на добротных валенцах, песенная и цвета сосны в закате оранжевость его кожана, дубленного ольхой, не говоря уж о пленительной пестроте деревенских варежек... На этот раз, едва сделав десяток шагов, он остановился, потрясенный представшим зрелищем.

В рассветной безнадежной мгле сидела та самая, ему казалось — только что бывшая с ним в сновидении, и она плакала посреди опустелого перрона. Пушистый платок сбился на плечи, снег порошил темные, до глянца гладкие волосы, меховая шубка распахнулась от предельного отчаянья. Слезы с первого взгляда и сроднили ее с Николкой, вдоволь навидавшимся горя на недолгом своем веку. Врожденная недоверчивость к женщинам, от которых бессознательно берег свою силу, уступила место исступленной жалости. Жгучая прелесть незнакомки хлестнула его по глазам, и вот он не сопротивлялся своему плененью, внезапному, как всякое несчастье.

Некогда было расспрашивать,— женщина сама закидала его словами; мольба в них окрашивалась досадой на его тугую мужицкую сметку. Она показывала ему куда-то в зыбучий снег, и даже подозрительная розовость ее нерабочих ногтей не образумила Николки. Едва же понял, что проходимец только что вырвал чемодан у ней, спасительное сомнение вконец покинуло простака. Скинув к ногам незнакомки свой цветастый плетеный короб,— и сердце вместе с ним!.. — да крикнув постеречь, он скрипуче ринулся в метель искать земное имущество небесной грезы.

Кто-то, показалось взбудораженному воображению, перебежал между вагонами, стремясь выгадать время и укрыться от преследователя. Злоба и восхищение укрупнили Николкин шаг. Лишь признав в настигнутом кондуктора сменившейся бригады, он остановился смахнуть пот со лба и перевести дыхание. Уже он не сомневался в своей оплошности и не спешил вернуться на место, где его застигло состраданье... хоть и неплохо было бы сейчас, придержав за плечо, заглянуть в глаза бабенки, что польстилась на его убогий пожиток. Еще раз сбывался наказ прадеда не верить городу, даже когда в беде он.

Усилившийся тем временем снег почти успел замести легкие и путаные следки.

— Все вокруг мираж один... — вслух подумал Николка,

вернувшись на место, и длинная щель рта растянулась в усмешке, непроницаемой и для лезвия.

Гнев проходил, сменяясь презреньем. Достав из полушубка уцелевшую половинку деревенского пирога, он жевал с ожесточенным спокойствием, почесывал заросшую пухом щеку и поглядывал вокруг, благодарный за полученный урок. Со скрежетом и лязгом повседневного озлобленья сновали по путям маневрирующие паровозы, и один, что привез Николку, с грудью навыкат и весь в масляном поту, прошел мимо него, жующего,— парень почти не посторонился. Где-то невдалеке бился на высокой ноте звонок, глухо и отчаянно, как пойманная птица. И все это ловко сливалось со вспомнившимся ему кстати дедовским заветом.

«То лишь нерушимо стоит, чего человек не коснулся,— говаривал покойник, если попригладить корявую речь неграмотного ямщика. — Окроме звезд в небе, настоящего-то почти и не видим мы мира, все больше видим руками сделанный, а чего они ни коснутся, людские жадные руки, то и обречено бывает несытому и смертному неспокою. Берегися временного, внучек, а, напротив того, устремляйся к вечному!»

Тут остывшим воображением попытался Николка восстановить в памяти приметы обманувшей его незнакомки и уже не смог подобрать ни слов, ни сравненья для ее надменной, тоскующей красы. Тем не менее она отпечатлелась в нем до гроба, и примечательно, что с той поры всех своих женщин, когда обнимал их, он наделял чертами той, с полувзгляда полонявшей навечно... Всего один, хоть и обширный, имелся у него план в этот приезд — слегка подкормясь на расчищенной, после бури, ниве отечественной коммерции, опередить всех, стать предком знаменитого торгового рода — в бороде и поддевке, как рисовали их на фамильных русских портретах, и, кто знает, пенькой и льном или другим каким товарцем прославить даже за границей свой безвестный дремучий край... но знал, что в любой точке этого пути, кликни о н а его, без сожаленья бросил бы фирму и веру, бороду старозаветную обстриг бы, лишь бы настигнуть и утолить однажды, на вокзале, возникшую ярость.

История иначе вмешалась в Николкину судьбу и, свалив его в самом начале пути, в различных положениях повлекла его тело по своему порожистому руслу. Но и тогда, из всего отускневшего к старости опыта жизни, пожалуй, единственное такое по силе своей сохранилось в нем виденье младости... По-

сле тяжкого лагерного дня накатывала на него иногда как бы знойная, всезавихряющая туманность. Тогда закрывал глаза и вытягивался под потолком на нарах несостоявшийся глава фирмы и хозяин российского льна, и подолгу лежал в неподвижности трупа старый Заварихин Николай Павлович. И в том заключалась вся его отрада.

И хотя она маялась, мстила и падала, а потом сгнивала совсем поблизости, прекрасная Манька Вьюга́, он встретил ее в жизни один всего раз, да и то лишь по непростительной сочинительской оплошности Фирсова.

II

Там, на Благуше, посреди Шишова переулка, обитал в насиженной каменной норе дядька Николая Заварихина — Емельян Пухов, слесарных дел мастер и человек. О занятиях Николкина дядьки и вопила вывеска, вкось прибитая над дверью мастерской. Слева курил на ней трубку неизвестного назначения вохряной турок, справа же чадил неисправный примус; в их совместном дыму, лупясь от благушинской жары и непогоды, помещалось смешное слово Пчхов. Собственноручно расписывая новую вывеску годов шесть назад, позабыл Емельян, в какую сторону обращена рогулька буквы У. Так и прослыл он в округе мастером Пчховым, беззатейным человеком ясного и ровного пути, и даже дружок задушевный Митька Векшин не более прочих был осведомлен о немой и непонятной пчховской жизни. Все знали Пчхова лишь по тем чудачествам, какими отшучивался тот от соседского любопытства, к примеру — будто живет в ухе у него мокруша, заползшая в незапамятные сроки, когда шалил винишком мастер Пчхов, и к непогоде начинает ползать, и тогда болит поперек до первого солнышка. Знали, что уж давно проживает он наедине со своим железом и от него переняв немногословие и скрытность; догадывались также некоторые, что после солдатчины пробовал Пчхов походить в иноческой скуфейке, да не пришлась по голове, и сбежал, похрамывая: в монастырьке повредил себе ногу. После чего, по слухам, добывал себе пропитание Пчхов на штамповочном заводе, но и тут томно стало ему, рванулся и убежал. Тогда-то, после нескольких темных лет, и задымил на вывеске самодельный турок, развлекая благушинскую скуку, обогащая записную книжицу захожего сочи-

нителя. Впрочем, за отсутствием времени одиночеством своим не тяготился Пчхов. Не будучи учен, а лишь обучен, он знал о многом, только по-своему, и будто бы даже понимал чертежи. Разум его, как и руки, был одарен непостижимым уменьем плодотворно прикоснуться ко всему. Умел он вылудить самовар, вырвать зуб, отсеребрить паникадило, свести на нет чирей или побороть самый закоренелый случай пьянства. И едва раскрыл он перед местными жителями столь разносторонние сноровки, поразилась благодарная Благуша до самых недр и признала Пчхова великим мастером. И так вышло, что, не будь Пчхова, погибла бы Благуша, а без Благуши какая уж там Москва!

В вечных пчховских сумерках, под копотным потолком бессменно гудит примус, грея чайник либо паяльник, да остервенело хрипит над тисками крупнозернистый хозяйский рашпиль. Все здесь — и даже сам он, бровастый, хромой, черный, — мужики седеют поздно! — пропахло садным привкусом соляной кислоты, разъедающей старую полуду. Ржавел в углах железный хлам и позывал на чихание, просил милосердного внимания самовар с продавленным боком, и пряталась в потемках какая-то колесатая машина, про которую никак не скажешь, часть она или уже само целое. Среди уродов этих бодрствовал ныне мастер Пчхов, а новоприезжий племянник сидел невдалеке, постегивая варежкой по наковаленке.

— Гостинцев вез тебе в той покраденной корзинке... — жалобился Николка на утреннее происшествие, но обстоятельств своей промашки в подробностях не перечислял. В окнах полно было снега, и все летел новый, убыстряемый косым ветром. — Ишь как понесло: хорошая зима уставляется! Ну, пора мне, пожалуй...

— Мать-то хорошо померла? — на прощанье осведомлялся Пчхов, клепая железную духовку.

— В общем ничего. С отдания Пасхи до Ивана Постного помаялась малость, дело такое... и меня-то вот задержала. На торговлишку сбираюсь, дядек, благословишь?

Тот не откликнулся: несмотря на родство по матери, стояли между ними равнодушие и рознь. Не по душе была Пчхову семейная заварихинская жадность: день торопились прожить, точно чужой да краденый. Род был живучий, к жизни суровый, к ближнему немилостивый. Дед, отец, внук — все трое стояли в памяти у Пчхова, как дубовые осмоленные столбы. Бивала их судьба по головам, но не роптали, а лезли вновь,

ни в чьей не нуждаясь помощи либо жалости. Всегда хмельной от собственной силищи, Николка не примечал дядина нерасположения: чтоб не сбиться с дороги, он не слишком любопытствовал о людях и, по собственному его признанью, не разводил излишнего сора в просторном ящике души.

— Эка, дряни-то у тебя... выкинул бы, пройти негде. Копотное твое занятие, надоедное: сам себя по уху колотишь!

И, поднявшись, племянник принялся было застегивать полушубок, но тут дверь раскрылась, и вошла высокая, вся в снегу, фигура, долгополая, староверская, в башлыке. Оказалось вдобавок, башлык скрывал голову с острым, почти отреченческим лицом, с бородой, такой черной, что походила на привязную. Старик почмокал и пожевал губами, шаря моргающим взглядом по углам. Когда ледяное бесстрастие его зрачков коснулось Николки, тот ощутил прилив странной подавленности.

— Здорово, Пчхов... — ворчливо сказал гость и покашлял, высвобождая голос из разбойной глухотцы. — Все скрипишь, все прячешься. Оплутовал ты всех, каменные твои брови!

Но Пчхов продолжал молча копошиться над верстаком.

— Вот ты говоришь,— обратился он к Николке, минуя приветствие гостя, лишь становясь к нему лицом,— выкинуть барахло! — и кивнул на ворох железа в углу. — Вон, дело махонького случая, а обойтись нечем: заплаточку наложить! И дела моего понапрасну не хули: как ни стукну — копейка. Сколько я их за день-то настукаю... и без злодейства прожить можно! — с очевидным намеком прибавил он в заключенье, а Николка подозрительно покосился на помаргивающего старика.

— Чего он застрял-то у тебя? — глухо спросил гость, кивая на Николку. — Поди с час в окно заглядываю: все сидит, настырный, да сидит!

— Свой... — нехотя скрипнул Пчхов. — Племяш, из деревни приехал.

— А, значит, новенький! — Изловчась, гость ткнул твердым перстом в расшитую грудь Николкиной рубахи. — Ишь какой отъелся на привольных хлебах! — посмеялся он, и в смех его вплетались застарелые простудные хрипы; тут он выпрямился перед Николкой, обнаруживая совсем еще крепкий стан. — Как озябнешь от жизни-то, парень, так забегай ко мне погреться: в Артемьевом ковчеге на всех места хватит! — Вдруг он выдернул из-под обмокшей полы тонкую змейку самогонного холодильника и протянул Пчхову: — На, полечи вот...

— Варишь все, Артемий? — кривовато усмехнулся Пчхов, но змейку принял, и тотчас все его инструменты накинулись на нее; она завизжала и засвистела в черных пчховских руках и скоро опять была готова точить из себя веселый яд. — Накличешь на себя беду!

— Не пугай!.. Митьку выпустили, обхудал. Спрашивал про тебя, жив ли, дескать, примусник! — сообщил новость Артемий и ждал пчховских расспросов, но тот отмалчивался. — Метет-то нонче! Так всего тебя и заметет вместе с турком, вот!

— Всех когда-нибудь заметет...—сухо ответствовал Пчхов, раздергивая на волокна подвернувшийся с верстака фитилек.

Гость собирался уходить, но звякнул звонок над дверью, и новая явилась личность. По макушку облепленный снегом, нежданный, пугалом стоял на пороге клетчатый демисезон и силился протереть запотевающие очки. Близоруко щурясь, он посматривал на колесатую машину и, оттого что почуял враждебность наступившего молчания, заговорил тоном неверным и срывающимся.

— Вот... — начал он, кашлянув в целях сохранения достоинства,— как раз примус бы мне починить! Вчера еще был в исправности, знаете, а нынче течет поверх горелки, а не горит.

— Покажьте, должен я осмотреть ваш примус,— хмуро отозвался Пчхов, выходя из-за верстака.

— В таком случае я и занесу его как-нибудь мимоходом. Моя фамилия, видите ли, Фирсов... невдалеке живу,— подозрительно заторопился гость. — Как случится идти мимо, кстати и притащу... а пока вот забежал познакомиться. Сугробистое, знаете, время! — И, наконец не выдержав неприязненного молчания, спиной попятившись в дверь, почти бежал от Пчхова.

Артемий метнулся к окну, но не проследил клетчатого демисезона и до противоположной стороны переулка: мельканье снега застилало окно.

— Фигура! — качнулся после минутного молчания Николка.

— Все шнырют, высматривают!.. Эх, голова у меня от холоду ломится, застудил на Сахалине, вот башлык завел,— недовольно бурчал Артемий, с бородой закутываясь поверх шапки. — Смотри остерегайся, Пчхов!

— А мне остерегаться нечего, моя жизнь заметная. У всех на виду моя жизнь! — бормотал Пчхов, снимая брезентовый передник.

Наступал полдневный час обеда и передышки в железных трудах Пчхова. Он загасил свою горелку и постоял минутку, как бы прикидывая на глаз, сколько еще грохота таится в железном ломе вдоль просырелых стен мастерской. Лицо у него стало сосредоточенное, прислушивающееся.

— Ползает в ухе-то? — пошутил Николка по уходе Артемия, поднимаясь со своего обрубка.

— Играет с безделья!.. — в голос ему откликнулся Пчхов, а думал о Фирсове: ни в наружности, ни в потрепанной одежде посетителя не нашел Пчхов ничего предосудительного и, хотя повод для визита явно был придуман Фирсовым, сожалел теперь о не состоявшемся разговоре с ним.

«Мастер Пчхов, человек с Благуши! — так год спустя захлебывался в повести своей Фирсов. — Как нужен был людям этот до смущенья пронзительный взгляд из-под нависших татарских бровей,— про них шутила московская шпана, будто он их мажет усатином. К нему тащились за человеческим словом виляющие и гордые от обиды, загнанные в последнюю крепость бесстыдства, потерявшиеся в самих себе. Порой посмеивался над ними Пчхов, но он принимал жизнь во всех ее проявленьях не только на взлете, но и в падении, чем и объяснялась его привычка улыбаться на весь мир. Он не оттолкнул Митьку, когда тот, опустошенный и отверженный, постучался к нему однажды ночью. Он не пинал и Агея, хоть и желал ему смерти, как мать неудачному детищу. Он приютил впоследствии и питал трудами своих рук Пугля, скинутого на дно. Да и многие иные, бессловеснейшие и бесталаннейшие из земноногих, находили у Пчхова ласку, никогда не обижавшую.

А внутри себя был спокоен, как спокойны люди, видящие далеко. С молодых лет, имея особую склонность к сосредоточению и тишине, полюбил мастер Пчхов деревянное ремесло, самую стружку, весело и пахуче струящуюся из-под стамески, возлюбил. Украдкой верил он в край, где произрастают золотые вербы и среброгорлые птицы круглый день свиристят. Так не для того ль, чтоб плодотворней насладиться впоследствии великим благом тишины, и обрек он себя на слесарное дело и общенье с неспокойными людьми?

А когда достиг наконец желанного безмолвия,— сказано было в фирсовской повести,— и лежал вытянутый и строгий, как солдат на царском смотру, то вся Благуша, оторвавшись от дел, глазела в окна, как провозили его мимо все по той же бесконечно длинной и скучной улице. И за гробом шел один

только Пугль, одичалый и опустившийся от уже последнего сиротства. И все отметили тайком, что Митька Векшин, друг его сердечный, не примчался проводить старика на кладбище...»

III

Кроме образцов льна, валенцев и домашней строчки по крестьянскому холсту — всего, чем прославлена серая Николкина сторона, ничего не было в украденной корзинке. Не кража была причиной тому, что не оправдались надежды и ставка Николкина приезда. Заварихин обошел земляков, и те разъяснили ему, что суммы его капиталов, огромных в деревне, недостаточно для торгового почина в городе... Кстати погода переменилась, мокрым снегом понесло; тут Заварихин и загулял с огорченья.

Ввечеру выйдя от дядьки, он двинулся наугад в окраинные переулки, где потемней: застыдился своей оранжевой деревенской овчины. Привлеченный полосами света, пересекавшими побелевшую от снега булыжную мостовую, он повернул раза два за угол и вот уже знал, куда идет. Под зеленой вывеской раскачивался слепительный в сумерках фонарь. Ветер прямо с ног валил, а запотелые изнутри, почти вровень с тротуаром, яркие окна пивной сулили тепло и уют. Заварихин посдвинул шапку и обдернул полы полушубка, отчего вдруг постатнел и вырос. Оттепельная капель с крыши, мелкой дробью в плечо, поторопила его спуститься по скользким ступеням в самое пекло подвала.

Просторную зальцу до отказа переполняли звон посуды, женские хохотки, беспорядочное движение, запахи сохнущей одежды, кухни и табака. На эстрадке полосатый, беспардонный шут отсобачивал куплеты про любовь, пристукивая старорежимными лаковыми штиблетами. Только в заднем, тесноватом отделении, где свету было пожиже, а гость темней с лица и опаснее, отыскался свободный столик. Заварихин расстегнул полушубок у ворота и скричал полового... Хмельные компании перекликались из угла в угол, дразнясь и ссорясь, но ленивая брань не грозила пока ножом. Слоистый дым окутывал перья фальшивой пальмы и несколько дурных картин, развешанных с художественным небрежением. Казалось, что этот ночной пир происходит на дне глубокого безвыходного колодца; свыкнувшись, люди и не заглядывали вверх. Все это

была залетная гулящая публика, как пояснил Николке с усталым усмехом половой Алексей, тоже летучий парень с бельмом, весь пятнистый и захватанный, как его салфетка.

— Сам-то из Саратова, значит? — помаленьку осваивался Николка, приглядываясь к обстановке. — Саратовцы-то, в притче сказывано, собор на гармонь променяли... ты в ихнем деле не участник? Ладно, не серчай: шутка. Игроки сплошь да орляночники твои земляки, но земледельцы, бают, круглые, заботистые!

— А мы безземельны все, и дядья-то в половых бегали... весь род бегал, бегуны! Заказывайте, гражданин, некогда... — выпалил тот со злостью и попытался убежать, но Заварихин придержал его за рукав.

Вдруг что-то недоброе померещилось ему в этом месте, куда завела его незадача: и пропитанный тревогой воздух, и сидевшие кучками, сблизясь головами, соседи вокруг. В иное время ничто, даже недопитое и оплаченное вино, не удержало бы Заварихина тут, но сейчас не хотелось менять, пусть кабацкий, уют на слякотную улицу, жесткую койку в дядиной клетушке, на досадные раздумья о первом в жизни крупном поражении.

— Слышь-ка, приятель, а что за народ у тебя здесь... не зарежут? — притянув к себе Алексея, уже по-свойски осведомился Николка.

— Кому ж у нас резать? — деревянно посмеялся тот. — Резать у нас вроде некому. Это вы глубоко неправильно заметили... А просто субботний день, кажный норовит стряхнуться, потому как люди затруднительной жизни. — И парень выразил сочувствие кратким вращением глаз. — А тут у нас и кубарэ происходит, опять же кокетки, извиняюсь, заходят с улицы: публика, напротив, самая чистая. Даже в уголку, вишь, который в четвероугольном пальто, сочинитель сидит, на манер Максима Горького. Ишь как в бумагу свою карандашом скребет, про жизнь записывает!

— Где, где? — всполошился Николка в простецком предположении, что сочинители бывают только мертвые, но парень вырвался и убежал.

И опять: именно то обстоятельство, что ничего выдающегося не виднелось в указанном направлении, кроме клетчатого демисезона, а на столике перед ним красовалась всего лишь нищая кружка пива да нарезанная ломтиками вобла общедо-

ступного сорта карие глазки, показалось Николке вдвойне подозрительным притворством.

Знакомы были Николке трактиры на больших дорогах, где степенный проезжий народ услаждается чаем с синим от закалки сахаром да кислыми суточными щами, а если выпьют, то не от распутства их шумливый хмель. Здесь — глаза людей смотрели с прищуром, как из-под бетонного козырька, под которым укрывались от суда и правды завтрашнего дня. Он не сулил им добра, этот день, хоть и притягивал к себе, как тянет магнитная гора ничтожный железный опилок. Нечистой удалью и разгулом старались они продлить летящее мгновенье, потому что остановиться в безостановочном падении можно было, лишь разбившись вдрызг. Невольно настораживали поэтому их опустошением и скукой отмеченные лица. Николка все еще недоумевал, и, когда липкая, без пола и возраста, пугливая тень предложила ему понюхать, он отпихнул ее враждебным взором, с брезгливостью нетронутого здоровья. И та поплыла меж столиками дальше, неся как вывеску своего товара недуг в обесцвеченных глазах... Тут, ощутив потребность выйти во двор, Николка поднялся из-за стола и с удивлением отметил, что успел захмелеть от выпитого натощак.

Когда он вернулся, людей прибыло, а толчея и шум чуть не вдвое усилились. Терпкий чад кухни, казалось, вот-вот скристаллизуется и хлопьями станет падать на засыпанный опилками пол. Поосвоившись, Заварихин перебрался за другой столик, в проходе, чтоб видеть происходившее на эстраде. Полосатого давно сменил чумазый фокусник, а на смену ему явилась пышная, в благушинском вкусе, красавица, со значительным вырезом на бархатном сиреневого колера платье. Низким, взводистым голосом она запела тягучую каторжную песню, то скрещивая руки на высокой груди, то в искусном отчаянии раскидывая их по сторонам, как бы даря себя двум сразу приземистым гармонистам, сидевшим по сторонам.

В совершенной тишине, медленно приспуская тяжелую шаль с белоснежного, как лакомство, плеча, мановеньями рук умеряя ярость гармонистов, она исполняла свою коронную —

...я в разгуле закоснела,
лучезарная твоя!

Судя по наступившему безмолвию, ее знали и ценили здесь, знаменитую исполнительницу роковых песен, как было

сказано в самодельной афишке, Зину Балуеву. В переднем ряду какой-то атлетической внешности поклонник в бекешке, верно, с черного рынка негоциант, все накручивал умопомрачительной отработки ус, жестом требуя от артистки дополнительно огня и ласки, а один зашиканный пропойца, пьяней вина и стоя на стуле, дирижировал и плакал в три ручья по своей надежно загубленной жизни... Во хмелю Николка довольно быстро утрачивал всякий удерж, а тут под влиянием всеобщего воодушевления его в особенности потянуло выделиться из всего человечества и с этой целью совершить нечто в старинном стиле, примерно высадить оконную раму, и высадил бы, кабы не музыка, а пока — лишь глазами и соответственным движением обеих рук заказал Алексею тащить к нему на стол все имевшиеся в наличности дары природы. Тогда-то, в разгаре поднявшейся суеты, и спустился в подвал новый посетитель, к великой Николкиной досаде немедленно овладевший вниманием пивной... причем и у самого Николки осталось щемящее впечатленье, будто острым и праздничным сквознячком пахнуло на него от вошедшего.

Только из-за этого чрезвычайного и, видимо, неожиданного появленья никто не проводил певичку ни хлопком, ни увлажненным взором,— побледневшая и смяв конец песни, она торопливо сбежала по дощатым, прогибавшимся под нею приступкам. И вот уже завсегдатаи только и пялили глаза что на новопришедшего, дивясь чему-то, завидуя и ужасно волнуясь; никто, впрочем, не смел глядеть на него в упор. Коммерсант в бекешке косился по сторонам, ища благоприятного повода удалиться, а беспримерные усы его некрасиво обвисли. Кто-то шепнул М и т ь к а, но ничего не раскрылось для Заварихина в этом звуке... А тот и впрямь заслуживал особого вниманья, этот молодой и в чем-то даже подкупающе скромный, если бы не эта неуместная для ночного кабака енотовая шуба и такая же дорогая шляпа,— на них еще сверкали мельчайшие бриллиантики измороси. Крохотными вызывающими бачками на щеках, не менее, чем шубой, дразнил он осудительный заварихинский взгляд, а по высокому лбу, ранняя, похожая на шрам, бежала морщина. Верно, никто не видал его в жизни пьяным, гневным или плачущим. И прежде всего такая под этой сдержанностью, пожалуй даже вялостью, чувствовалась способность к быстрому, злому и точному движенью, что сразу понял Николка: с таким либо вечная дружба, либо смертный бой.

Захваченный странным очарованьем скрытой силы, Николка и сам не возразил бы, чтоб посетитель разделил с ним стакан вина и одиночество, однако сразу нахмурился, когда тот без спросу присел к нему за стол и, посдвинув заварихинское, положил шляпу на краю. Тотчас, без единого приказанья, пятнистый Алексей поставил перед ним стакан чаю с лимоном, что указывало на известный здесь и тщательно соблюдаемый обычай этого, в бесценной шубе, удальца. И вдруг все в нем — показная небрежность к благам жизни, равнодушие к изобилию на заварихинском столе, а пуще всего этот бесстрастный взор куда-то поверх Николкина плеча,— все теперь стало оскорблять, сердить Николку и подымать на дыбки.

Готовый на любые и непоправимые осложнения, он повернулся боком к сопернику и для начала подтолкнул локотком ненавистную шляпу позади себя; та бесшумно — но он-то слышал! — скользнула на грязные опилки. Можно было утверждать, что, занимаясь каждый своим делом, никто из посетителей в ту минуту вовсе не глядел на Митьку, но едва вещь коснулась пола, вся пивная, сколько их там было, в одном полусознательном рывке метнулась поднять ее и с глухим вздохом отхлынула назад, доверив это ближайшему. Не считая Заварихина, кажется, единственный из всех Митька не шевельнулся на шум,— вряд ли до его сознания дошла причина переполоха.

Николка засмеялся, обнажая белые, без единого изъяна зубы.

— Аль деньжонки шальные завелись... шубу-то не бережешь,— дружелюбно качнулся он и потянул соседа за надорванный на рукаве лоскуток. — Выдал бы тогда взаймы надежному человеку!

— А, это еще с тюрьмы у меня... — просто откликнулся тот и опять уставился в желтый лимонный кружок.

Тогда, с верхом наполнив свою кружку пивом, Николка щедро протянул ее соседу, так что пена сползала прямо на лимонный чай: он угощал.

— Да бери же, бери, пока не раздумал... пей, браток! — с озорством подмигнул Николка и дерзко взглянул в поднятые Митькины глаза; в них светился знобящий осенний день, они не расспрашивали, но предупреждали, и Николка не испугался их. — Пей, а то сам выпью. И вы там — на всех хватит. Гуляй, заплочено... Пей!

Тот испытующе глядел в переносье Николке, где вкрутую сбегались брови. Казалось, он изучал природу этого деревенского молодца, который, внезапно разойдясь и выпрямясь в рост у стены, сам полунищий, приглашал Митьку, а заодно с ним и весь этот темный сброд к себе за стол, на даровое угощенье. Николкино лицо сперва порозовело, потом окрасилось багрецом и вроде подпухло слегка. Он приглашал их с презрительной, на пределе брани, лаской, и в щедрости этой выразилась вся его родовая неприязнь к городу, к западне с хитрой заманкой... Дед Николкин гонял почтовых лошадей на тракте, и средь односельчан досель ходили сказы об его ямщицких доблестях. Ненадолго вся былая ярость дедовских рук вселилась в узловатые, с волосками на суставах, Николкины руки: теперь они жаждали владеть, усмирять и взнуздывать, гнать сквозь ночь непокорную тройку хоть с самой Россией в пристяжке!.. Правда, Заварихины и во хмелю не теряли рассудка, так что прокучивал не последнее; значительная часть Николкиных капиталов была вшита в пояс да полстолько втайне от Пчхова запрятано в мастерской вместе с билетом на обратный путь.

Пивная прислушивалась к его дерзкому приглашенью, вопросительно косясь на Митьку, точно испрашивала согласья... И тут оказалось, столиками уже заставили проход, чтоб не сбежал хвастун, не заплатив за поношенье. Высокий парень, очевидный вор в обличии мастерового, пересел за соседний к Николке столик и кашлянул, подзывая других. Иные заблаговременно исчезали, предвидя зловещий конец кутежа, зато количество оставшихся будто учетверилось. И не успел пятнистый Алексей с добровольным подручным раскупорить первую дюжину, как уже сидели, званые, за составленными столиками, с грозной терпеливостью выжидая дальнейших хозяйских распоряжений.

И снова первая кружка была протянута Митьке, но тот отрицательно качнул головой, и Николка с усмешкой выплеснул налитое пиво под пальму. Кто-то возроптал, кто-то засмеялся; неистовая пляска Николкина лица совсем утихла.

— Эй вы, там, которые... угощайтесь! Алеша, покличь сочинителя, дружок, пускай погреется на заварихинские... — еле пошевелил он запекшимися губами, и вдруг плечи его распахнулись, а тело подалось вперед. — Пейте, вы... — повторил он, взмахивая потемневшими зрачками,— дьяволы московские!

Того лишь и ждали: губы гостей всласть приникли к толстому кружечному стеклу. И уже по второму разу опорожня-

лись кружки, и неизвестно, над которой дюжиной хлопотали умножившиеся добровольцы, когда женский голос крикнул сзади:

— Барин, толстый барин бежит... Погодите!

Кучка слева расступилась, давая проход грузному пожилому, донельзя обтрепанному человечку, деловито и мелко семенившему к Николке Заварихину. Весь колыхаясь от бессильной дряблости, не вследствие, однако, излишеств беспорядочной прошлой жизни, а скорее от нынешней неудачной старости, утомления и полного равнодушия к своей особе, он как бы падал вперед на бегу; на утратившем цвет рипсовом воротничке сотрясались щеки, а один штиблет ширкал громче другого. Почти вчера еще олицетворение сословного дворянского благоденствия, записал про него Фирсов, теперь он выглядел символом крайнего падения, разочарования и горечи.

Подскочив к Заварихину, он перевел дыханье, обмахнул лицо подобием салфеточки с бахромкой, пошебаршил ногами и все это заключил улыбкой, выражавшей — наравне с желанием не опоздать и угодить — опасение невзначай получить по шее.

— Вот и я, извиняюсь... сердчишко шалит! М-м, шалит...— объяснил он, прикусывая в одышке кончик языка, и махнул рукой, не в силах изобрести подходящую случаю шутку. — Не разоритесь ли, ваше степенство, на полтинничек для бедного человека?

— Это чего тебе? — насторожился Николка, незаметным движеньем тела проверяя сохранность зашитых в пазуху денег.

— Не скупись, купец! Деньги невелики, а он у нас, видишь ли, всякие такие истории житейские из царского режиму рассказывает... иной раз взопреешь, смеямшись! — шепнул на ухо Николке неизвестный малый с лицом, слегка продавленным вовнутрь. — Помещик он бывший, Манюкин... ну из бар, понятно? Да не обедняешь ты с полтинника, земляной черт! — добавил он покруче для пущей убедительности.

Потянулось неловкое молчание, в течение которого Манюкин то барабанил пальцами о стол, то пробовал пофрантоватей перевязать свой веснушчатый галстучек. Николка хмурился и выжидал, не решаясь на бессмысленную в его понимании потрату.

— Лучше садись-ка пиво с нами пить,— недружелюбно обронил он, на всякий случай избегая баринова взгляда.

— Спиртного на работе не принимаю, простите великодушно. На жизнь зарабатывать надо... — тихонько и настойчиво отклонил Манюкин. — Кушать ежедневно требуется, тоже и за квартиру-с... кроме того, налог платить: с меня налог положен. Да вы не робейте, один ведь только полтинничек! — и преклонил голову набочок с видом терпенья и готовности услужить в меру своих возможностей.

— Заработок это у него, пойми, скудного ты ума человечина,— эхом и заметно серчая на Николкину неуступчивость, заворчали со стороны, а один, в особенности нетерпеливый, даже присоветовал вполголоса, кто поближе, шарахнуть купца разок для вразумленья. — От полтинки не разоришься, а он, глядишь, за твое здоровье щец горяченьких похлебает, лишний денек проживет. Ну, артист он, артист в своем роде... смекаешь теперь?

Тогда Николка стал было застегиваться, готовый сперва и к побоищу, но потом, осознав уединенность места и количество противников, сдался, сгреб в кармане всю, какая нашарилась, медную мелочь и вместе с крошками выложил на стол. Денег па глазок, без счета, хватило с избытком, гривен на восемь.

— Про что рассказывать прикажете?— с благодарным полупоклоном справился Манюкин, не прикасаясь к монетам, как бы в ожидании, чтоб поостыли.

— Сказывай, ждет он... — угрожающе зашевелился гражданин с флюсной повязкой, налегавший на Николкино пиво с явным намерением разорить треклятого нэпмана.

— О, не беспокойтесь, у нас вся ночка впереди...— умоляюще, в сторону непрошеного заступника, выставил руки Манюкин. — Назначайте.

— Из чего назначать-то? — озираясь, переспросил Николка.

— У меня большой выбор имеется... — заторопился рассказчик. — К примеру, вот довольно забавная историйка, как я чуть с ума не спятил от любви на заре моей жизни. А то лицейская поездка в Царское Село с тремя такими штучками, и каким конфузом обернулось дело. Можно также и про лошадь... как я одну бешеную кобылу усмирял. Имеются у меня и другие эпизодцы, только вам непонятно будет...

— Вали тогда про лошадь сказывай! — выбрал наконец Николка, с подозреньем поглядывая на серые заросшие щеки, на заискивающие руки, на заерзанные брючки барина. — Ло-

шади страсть моя... — признался он изменившимся голосом, а незнакомец Митька кинул на него при этом быстрый примеряющийся взгляд.

— Можно и про лошадь... про все можно! Исторьица, правда, не особо длинная, зато чуть жизни мне не стоила,— предупредил Манюкин, усаживаясь на подставленный кем-то стул и с разбежавшимися зрачками набираясь вдохновенья.

Он досадливо обернулся на говорок в углу, мешавший ему сосредоточиться, и там мгновенно стихли. Движеньем руки он отказался также от протянутой сбоку папироски.

— Не записывайте, я не разрешаю записывать... — поверх всех покричал Манюкин сочинителю, едва тот пристроился со своей бумагой за соседним столиком. — Не стыдно вам хлеб нищего присваивать? — И снова молчал он, и по тому, как потирал себе плешивую голову для оживленья памяти, как оглаживал проштопанное колено то в одном, то в обратном направлении, видно было — каких чрезвычайных усилий стоило ему стронуть с места ржавую машину воспоминаний. — Так вот, с вашим покорным слугой случилось однажды, тому уже поболе годов сорока, когда еще никого из вас на свете и в помине не было...

IV

Черный хлеб своей беспутной жизни барин Манюкин добывал враньем, то есть рассказываньем заведомых небылиц, какими, впрочем, становятся к старости даже совершенно достоверные, как раз наиболее дорогие сердцу эпизоды, в особенности — после жестоких житейских или политических крушений. С целью заработка он всякий вечер с неизменной точностью заявлялся сюда, в подвал, за гулящими полтинниками, причем всегдашними потребителями его бывали людишки со столичного дна: прокучивающий казенные червонцы чиновник, запойная мастеровщина, бражничающий перед очередною садкой вор. Манюкин врал то с отчаянием припертого к стене, то, по миновании лет, с жаром наивного удивленья: ему, кое-как перебравшемуся через огненную реку революции, прошлое именно таким фантастическим и представлялось с нового, достигнутого берега. Он не старался применяться к грубым вкусам заказчика, немногие умели оценить цветы и перлы манюкинского вдохновенья, тем не менее его простодушные слушатели с интересом вникали в пороки, тайны и сарданапаль-

ские роскошества чужого класса, да еще в передаче столь осведомленного свидетеля их и участника. Нередко, когда иной раскутившийся скоробогач не щадил манюкинского достоинства, весь тот ночной сброд урчал и стенкой подымался на защиту — не артиста, не барина, не человека даже, а заключенного в нем горя.

— Итак, заехал я раз к старинному дружку моему Баламут-Потоцкому в придунайское его поместье. Лето тропическое стояло, помнится, и гроза шла. — Манюкин набрал воздуху в грудь, и все потеснее сомкнулись вокруг, стремясь поближе — ухом, глазом и случайным прикосновением—вникнуть в очередное приключенье. — Вхожу, а он — батюшки! — сидит у себя на терраске, какой-то весь насквозь проплаканный, и одной рукой пасьянс раскладывает,— «изгнание моавитян» назывался! — а другою пенки с варенья жрет. А вокруг все мухи, мухи! Призовой толстоты был человек и погиб в последнюю войну: записался рядовым, однако, не умещаясь в окопах, принужден был поверху ходить. Тут его и подстрелили...

— Наповал, значит? — подзадорили из публики.

— Вдрызг, аж брызнуло!..— скрипнул Манюкин, и стул скрипнул под ним. — Чмокнулись мы, всего меня вареньем измазал. «Распросиятельство,— спрашиваю его озадаченно,— чтой-то рисунок лица у тебя какой-то синий?»— «Несчастье,— отвечает. — Купил, братец, кобылу завода Корибут-Дашкевича: верх совершенства, золотой масти, ясные подковочки. Сто тринадцать верст в час!..» — «Звать как?» — недоверчиво спрашиваю, потому что я лошадиные родословные наперечет знал, а про эту не слыхал. «Грибунди! — кричит, а у самого опять невольные слезы, помнится, даже плечо мне обмочил. — Дочь знаменитого киргиза Букея, который, помнишь, в Лондоне на всемирной выставке скакал! Король Эдуард, светлейшей души человек, портрет ему за резвость подарил... эмалированный портрет с девятнадцатью голубыми рубинами...» — «Объяснись!» — кричу наконец в нетерпении. «Да вот, отвечает, шесть недель усмиряем, три упряжки изжевала. Корейцу Андокуте, конюху, брюхо вырвала, а Ваське Ефетову... помнишь берейтора-великанища? Ваське это самое, тоже что-то из брюшной полости!» Я же... — и тут Манюкин подбоченился,— ...смеюсь да потрепываю этак моего Баламута по щеке. «Трамбабуй ты, граф, говорю, право, трамбабуй! Я вчера пол Южной Америки в карты проиграл... со всеми, этово, мустангами и кактусами, а разве я плачу?»

— Как же ты ее проиграл? — недоверчиво протянул Николка, отирая пот с лица и с подозрением косясь на прочих слушателей.

— Обыкновенно-с, в польский банчок! Трах, трах, у меня дама — у него туз! Получайте, говорю, вашу Америку. Признаться, целый месяц чертовку проигрывал, велика! — отбился Манюкин и мчался далее, не щадя головы своей. «А ты, трамбабуй, из-за кобылы сдрюпился? Брось реветь. Член мальтийского клуба, и государственного совета, и еще там чего-то, а ревешь, как водовозная бочка!» А по секрету вам признаться, я с одиннадцати лет со скакового ипподрома не сходил: наездники, барышники, цыгане — все незабвенные друзья детства! Обожаю красивых лошадей и, этово... резвых женщин. У нас в роду, у всех Манюкиных, какой-то чертов размах в крови. Во младые годы дед мой, Антоний, чего только в Париже не выкомаривал! Раз крепостных мужиков запряг в ландо сорок штук, на ландо гроб поставил, в шотландскую клетку, на гроб сам уселся в лакированном цилиндре, с креповым бантиком, да так и проездил по городу четверы суток. Впереди отряд заяицких казаков на жалейках наяривает, а на запятках, извольте видеть,— полосатых индейцев восемь голов... Ну, тамошний префект, разумеется, взбесился...

— Да бывают ли они разве полосатые? — с подозрением, что его по нарочному сговору обставляют мошенники, переспросил Николка.

— Специально для этого случая из Доминиканской республики выписал, четверо по дороге в трюме погибли: экваториальный, девяносто шестой пробы менингит... Ну, взъярился этот чертов префект. «Ты, кричит, Антон, оскорбляешь не только наше французское гостеприимство, но и мировое религиозное чувство, и за это обязан я тебя поместить пожизненно в каторжные работы!» А дед только усмехается: в любимцах ходил у Екатерины-матушки, Потемкина подменял в выходные дни. «Вот положу, грозится, на ваш дурацкий Монблан триоквадро-бильон пудов пороху, да и грохну во славу российской натуры!» Пришлось старухе через римского папу дело расхлебывать: чуть до войны не докатилось дело.

— Ну, а кобыла-то?.. — облизал губы Николка, втягиваясь во вкус повествованья.

— Как заслышал я про лошадь, тут и разгуделся я: меня хлебом не корми, а дай усмирить какое-нибудь там адское чудовище! «Тащи его сюда, кричу, буцефала твоего... Я ему,

четырехногому, зададу перцу!» — Манюкин дико повращал глазами и сделал вид, будто засучивает рукава. — Мой Баламут глазам не верит, жену позвал: «Маша, шепчет, взгляни на этого неузнаваемого идиёта... желает Грибунди усмирять!» Та кидается отговаривать... Между прочим, умнейшая в Европе, ангельского сострадания женщина, только вот велелепием личности особо не отличалась.

— А я даже имел счастье видеть эту даму в Петербурге... — полушутливо вставил Фирсов, в расчете приобрести на будущее время расположение рассказчика.

— Она вообще много тратила на благотворительность, и всегда у ее подъезда толпилась уйма всяких клетчатых щелкоперов... — при общем смехе отмахнулся тот от Фирсова, поперхнувшегося на полуслове. — Тут и Маша вместе с мужем на колени бросается меня отговаривать: «Пожалейте отечество, дорогой!» А я уж вконец осатанел: «Седло мне,— кричу в запале,— и я вам покажу восьмое чудо света!» Пробиваюсь сквозь толпу, потому что к тому времени уйма народу собралась, даже из соседнего уезда прискакали! И хотя ливень уже хлестал как из ведра, никто, заметьте, даже не обратил на него ни самомалейшего внимания. Вдруг слышу как бы подземный гул... Богатыри, шестнадцать человек, выводят ко мне Грибунди в этаком железном хомуту, глаза в три слоя мешковиной обвязаны, а меня издали чует, тварь, жалобно так ржет. «Ставь ее хряпкой ко мне!» — глазами показываю челяди. Поставили! «Сдергивай, кто поближе, мешковину!» Сдернули. Покрестился я, этово... как раз на Андокутю пришлось: высунулся из-за дерева с перевязанным брюхом, только что из госпиталя, и зубы скалит, подлец! Мысленно прощаюсь с друзьями, с солнышком, да с ходу как взмахну на нее... и даже ножницы, помнится, сделал: старая кавалерийская привычка. Даю шенкеля — никакого впечатления: тормошится, ровно старый осел! Баламут мой, вижу, побледнел со страху, будто в саване стоит, а у меня как раз наоборот, характер такой потешный: чем грозней стихия вокруг, тем во мне самом спокойней. И даже такой, братцы мои, холод во мне настает, что дождик стынет и скатывается с плеч ледяной дробью, седьмым номером. И вдру-уг... — Манюкин живописно втянул голову в плечи,— как прыганет моя Грибунди да семь раз, изволите видеть, в воздухе и перекувырнулась. Тотчас седло на брюхо ей съехало, пена как из бутылки, хребтом так и поддает... «Боже,— сознаю сквозь туман,— и на кой черт далась мне эта

слава? Она ж без потомства меня оставит!» Полосую арапником, сыромятную уздечку намотал так, что деготь на белые перчатки оттекать стал: ни малейшего впечатления! Закусила удила, уши заложила, несет с вывернутыми глазищами прямо к обрыву: адская бездна сто сорок три сажени глубиной! Небытием оттуда пышет, вдали Дунай голубеет, и на горизонте самое устье впереди, и даже видно, как... морские кораблики в него вползают, и тут кэ-эк она меня маханет!.. — Манюкин со стоном вцепился в край кресла и выждал в этой позе несколько мгновений, чтоб показать, как оно было на деле. — Впоследствии оказалось, об скалу на излете треснулся: полбашки на мне нету, а я даже сперва и не заметил! Припоминаю только, будто этакие собачки зелененькие закружились в помраченном сознании моем. Хорошо еще, упал удачно, прямо на орлиное гнездо! Очнулся, вижу — Потоцкие на альпийской веревке ко мне спускаются. «Жив ли ты,— кричат на весу,— задушевный друг, жив ли ты, Сережа?» — «Жив,— отвечаю ослабевшим голосом,— кобыла немножко норовиста, пожалуй, зато в галопе, правда твоя, изумительна!..» Ну, отыскали там недостающие части от меня, залили коллодием, чтобы срасталось...

Манюкин передохнул и для силы впечатленья бегло ощупал себя, как бы удостоверясь в собственной целости, затем смахнул испарину со лба и украдкой обвел взглядом лица слушателей своих, выражавшие скорее смущенье, чем даже сочувствие. Неспроста пятнистый Алексей обронил Фирсову, что еще полгода назад рассказцы эти получались у Манюкина не то чтобы занозистей, а как-то правдивее. Никто теперь не смотрел в глаза артисту, да и сам он сознавал, что с каждым днем заработок его все больше походит на милостыню. Один из всех Николка засмеялся было над неудачным укротителем, но тоже оборвался, пораженный наступившим молчаньем.

— Ведь это на какую лошадь нарвешься,— исключительно в поддержку рассказчика вздохнул один из слушателей.

— А то, случается, и хоронить нечего!

— Ее тогда кулаком меж ушей надо осадить,— учительно сказал Николка, и все со странною приглядкой взглянули на него. — Мне довелось однажды, этак-то, при возникших обстоятельствах, враз и рухнула, гадюка, на передние...

— У тебя другой сорт сложения, твое крепче. Барину уж на тот свет сматываться пора, а ты, напротив, будешь жить да поживать, пока рябой разбойник из-под моста не порушит

твое здоровье,— с лаской ненависти сказал все тот же с вогнутым лицом вор и прибавил непонятное слово, встреченное взрывом необузданного веселья. — А на прощаньице, купец, ну-ка выдели барину еще рублишко от щедрот своих, на поддержанье духу. Да и отпусти его, он старенький, ему спать пора...

Это скорее понужденье, чем просьба, произнесенное еле слышно, но снова прозвучавшее приказом, сразу заставило Николку принять оборонительное положение.

— Да мне не надо, зачем мне... — отовсюду защищаясь ладонями, заторопился Манюкин.

— А ты постой, барин, не тормошись, рассыпешься,— оборвал его главный теперь зачинщик скандала. — О тебе речь, да не в тебе дело. А ну, не задерживай, купец, уважь компанию!

— Куды ему, полтины за глаза хватит, шуту гороховому: все одно пропьет... Псу под хвост деньги кидать, этак никакой казны не напасешься! — неуверенно тянул Николка.

Обе стороны теперь взаимно раздражали друг друга: одну сердил самый облик нетронутой крестьянской силы и кощунственного, в те суровые годы, благополучия, Николку же, напротив, злила и тут проявившаяся привычка города распоряжаться его трудом и достатком. Только застрявший посреди Манюкин мешал им сойтись в рукопашной.

— Напрасно вы меня этак, гражданин... — с многословной старческой чувствительностью заговорил он и пальцем попридержал запрыгавшую губу: видимо, он еще не совсем привык к новой роли шута в государстве российском. — Хотя, по нужде, мне и приходится торговать немножко биографией моею, но, право же, весь с потрохами я не продавался вам. Опять же заказ ваш выполнен в точности, как было мне повелено. И, главное, товар чистый: все это б ы л о, очень даже было... а ежели показалось недостаточно смешно, так ведь оно и на деле не смешнее происходило. Тогда забирайте назад свою подачку...

Для скорейшего, горстью же, извлечения Николкиных монеток он подтянул вверх полу пиджака, причем пришлось сперва разгрузить туго набитый карман. Он уже достал оттуда бывший носовой платок, присвоенный где-то кусок заливной рыбы в промокшей газетке... тут-то пробившийся вперед Фирсов и потряс его за плечо.

— Перестаньте перед хамом сиротку из себя корчить,— властно шепнул он ему на ухо. — Забирайте свои честно зара-

ботанные деньги и уходите от греха. Ну-ка, пропустите нас с ним отсюда!

Он выволок Манюкина из людского кольца, нахлобучил на него шапку, подобранную с полу пятнистым Алексеем, собственный шарф намотал на шею старику, так как особые виды имел на него впереди, и повлек на выход вверх по лестнице. Оставшиеся проводили сочинителя с ироническим дружелюбием, весьма пригодившимся ему в последующей деятельности.

Скандал вспыхнул тотчас по их уходе.

— А ловок ты, купец, лежачих-то бить... враз справился! — задиристо заметил еще там один с пронзительным взором курчавый парень, блеснув показным, по уголовной моде, золотым зубом. — Видать, аршин силы накопил, девать некуда!

До тех пор незнакомец Митька никак не вмешивался в происходившую перебранку и только часто, видимо в ожидании кого-то, поглядывал скоса на выходную дверь и на дорогие, под стать шубе, часы. Последнее, прозвучавшее сигналом, замечанье курчавого, подкрепленное дружным гулом остальных, пробудило Митьку от оцепененья.

— А в самом деле, дружок, зачем ты обидел барина? — сквозь зубы и глядя Николке куда-то в горло, в расшитый ворот рубахи, поинтересовался он. — Если в чем и провинился, то взыскано с него, и баста, и нечего тебе чужими слезами тешиться.

— А ты чего вступаешься... видать, сам из таких? — огрызнулся Николка, задетый за живое учительным тоном. — Ведь он же барин, он кровку нашу пил... ай забывать стал, заступник?

— Выпьешь ее из такого борова! — хихикнул кто-то в стороне. — Захлебнешься.

— И впрямь, не жалея своего здоровья, приходишь в такое место и устраиваешь тарарам,— усмехнулся на его дерзость Митька.— Думаешь, длинен вырос, так и в карман тебя не положить?

— Смотри, я в драке тоже страсть вредный,— тотчас оскалился Николка, шевельнув затекшим от напряженья плечом.— Меня можно щекотать до четырех раз, а на пятый сам так щекотну, что родная мать не сгадает, с которого краю тебе начало. Не задирай!..

Собственно, из-за одной свихнувшейся манюкинской персоны обе стороны не стали бы и шума поднимать... но, значит, имелись для ссоры особые сокровенные причины, и вот в рас-

пахнувшемся людском кольце уже стояли двое, глаза в глаза, мясо против железа. Похоже было, что и раньше встречались они не раз, что Митьке лестно было опрокинуть навзничь такого исполина, да, кажется, и Николку тоже вдохновляло на подвиг единоборства смертельно-грозное великолепие противника. На сей раз лишь презрительная обмолвка пятнистого Алексея подзадержала начало схватки.

— Сбыл нашему брату на базаре гнилой картошки воз, вот и ломается на все медные. Не иначе как по морде схлопотать желает гражданин... — пробормотал он позади всех, машинально обхаживая салфеткой опустевший после Фирсова столик. — Гуляка тоже, рублишка на божье дело пожалел...

Мимолетное и свысока упоминанье о ничтожности мужицких денег и вздыбило Николку, а затоптанный объедок хлеба под ногами обозначился как преднамеренное попрание святости его труда. Ему стало жарко, он приспустил полушубок с плеча и, словно круг готовил для схватки, посдвинул стол к стенке, так что часть посуды, поближе к краю, повалилась на сбившиеся под ногами опилки.

— А ну, выходи... вы! — гаркнул Николка, и лицо его, как бы осунувшееся от прихлынувшей силы, облеклось бледной пеленой. — Сколько вас тут, на фунт сушеных, супротив меня, Николки Заварихина, а? Рублишком попрекают! Эй, ты в меня гляди... не с ними, а с тобою говорю! — обратился он к Митьке и рукой махнул перед самым лицом, чтоб привлечь его вниманье. — Мужицкого рублишка не хули: он пóтом нашим пахнет! Вон у кудрявого зуб во рту сияет, ровно солнце... а мы на эту золотинку всей деревней свадьбу справим, да еще на похмелье останется! Ты слыхал ли, почем хлеб нонче?.. а уголь жечь за пятнадцать целковых шестьдесят кубов да скрозь тринадцать суток без сна чекмарем орудовать?.. а ты в пильщиках, в вальщиках, в шпалотесах не ходил, по двугривенному с ходу не получал? Нет, ты ступай к нам в лес, товарищ, поиграй топором, заработай мой рублишко, а после мне проповедь читай! Эй вы все, шпана полуночная...

Наступила та пустовейная тишина, как на лугу, когда грозовой ветер с шелестом проносится по некошеной траве. И все не на Заварихина глядели, судьба которого вчерне была решена, все злым одним глазком косили в Митьку, ожидая — даже не сигнала, а лишь мановенья брови, чтобы в десяток ножей наказать обидчика и чужака. Но Митька медлил, слушал с озабоченным лицом, будто колебался в чем-то, вчера еще

для него непреложном. И все равно не дождаться бы в тот вечер Пчхову загулявшего племянника, не вмешайся еще одно, уже последнее перед закрытием пивной, лицо в суматоху вечера; появление его можно было уподобить лишь благодетельному ветерку в душном сумраке колодца... и сразу словно и не бывало ссоры. С изумленьем дикаря, коснувшегося чуда, на голову выше всех обступавших его со сжатыми кулаками, Николка уставился на вошедшую с улицы девушку,— видно, ее и поджидал здесь Николкин противник. Ее миловидное, чуть усталое лицо озарилось улыбкой при виде Митьки, и по тому, как он тоже просветлел при этом, все тотчас признали в ней его сестру: только сестре можно было обрадоваться так, одними глазами. Впрочем, по первому впечатлению ничего не было меж ними общего: вошедшая выглядела труженицей. Подчеркнуто скромную одежду ее несколько скрашивал лишь дорогой, даже в непогоду пушистый мех на плечах, а как будто провинившийся, до сердца достигающий взор слегка раскосых, полных синего детского света глаз придавал подкупающую душевность всему ее облику. Не красавица, она становилась вдвое милей при рассматривании, только еще больше щемило душу от ее втугую сведенных, с искринками растаявшего снега темных бровей.

— Вот и я... ты, верно, заждался меня, Митя? — поздоровалась она открытым и ясным голосом.

Она держалась совсем просто, говорила громко, словно никого не было вокруг, и всем сразу стало известно, что еще час назад освободилась в цирке, долго искала на Благуше и, верно, заблудилась бы в метели, кабы проводить ее сюда не вызвался Стасик; он ждал на улице, наверху. Взяв Митьку под руку, она поспешила с ним к выходу, и по тому, как легко и свободно она двигалась, опять видно стало, что, в противоположность брату, ей вовсе нечего скрывать про себя от людей. Еще длилось почтительное безмолвие, сопровождавшее их уход, когда, на бегу расплачиваясь с пятнистым Алексеем, Николка ринулся им вслед; похоже было, сама судьба поманила его мимоходом. Подозрительная эта, на издевку позывавшая поспешность и сберегла его от расправы собутыльников.

Он еще застал всех троих наверху, возле пивной, и некоторое время стоял невдалеке с обнаженной головой, не сводя глаз с Митькиной сестры. Вдруг, подчиняясь тому же настойчивому внутреннему зову, он сделал шаг вперед.

— Николай Заварихин... — назвался он тихо, и, кажется, та поняла, что это сделано для нее одной.

Все трое, включая и высокого и сильного Стасика, невольно улыбнулись на это дурашливое во хмелю и чем-то привлекательное бесстрашие.

— Ну ладно, ладно, развезло тебя малость, парень... со всяким бывает,— удерживаясь при сестре, строго сказал Митька и легонько отпихнул его в плечо. — Полно тебе со смертью играть... Спать иди теперь!

Потом все они ушли, а Заварихин еще стоял, полный недоверчивого восхищения к ушедшей; лишь когда погас фонарь пивного заведения, он вздрогнул и чуть протрезвел. Пора было убираться восвояси, пока временные знакомые не обнаружили его одного на пустынной улице. Кроме того, мокрый снег перешел в дрянной зимний дождь, и усилившаяся капель с оборжавевшей крыши погнала Николку домой. Прямо по снежной слякоти мостовой возвращался он к дядьке на Благушу, и разбухшие валенки его смачно хлюпали в потемках. Две женщины стояли в памяти у него: та, утренняя, боролась с этой, вечернею. Утренняя была близка, потому что плакала, вечерняя — своей улыбкой; порою они сливались воедино, как половинки разрезанного яблока. Плен их был приятен и нерушим... Без сожаления готов был теперь Заварихин возвратиться к себе в деревню для нового разбега на облюбованную твердыню.

V

Конурка барина Манюкина находилась в третьем этаже того же дома, где и пивная: чтоб перебежать из подъезда в подъезд, не стоило и пальто надевать. Кстати, вместо последнего Манюкин пользовался солдатскою, от недавней гражданской войны, на вате стеганкой, про которую шутил при случае, будто она у него на блоховом меху, что и вправду соответствовало стилю всего остального манюкинского жизнеустройства. За поздним временем свет ни в одном окне уже не горел, и Фирсов, как ни косился, ничего примечательного для своей записной книжки не сумел выглядеть в манюкинском лице.

— Попрошу у вас ровно одну минуточку! — искательным шепотом остановил он Манюкина, заступая ему дорогу; тот поднял голову в ушанке и ждал, переступая с ноги на ногу.—

Не задержу... я — Фирсов, с вашего позволения!.. не попадалось в журналах? — Он продолжил не раньше, как удостоверясь, что пустой звук этот не произвел на собеседника ровно никакого впечатления. — Сколько мне известно, ведь вы в сорок шестом номере живете? Это чрезвычайно важное для моего дельца обстоятельство! Только вы не подумайте на меня чего-нибудь такого, в смысле коварства и подвоха... — И рассыпал перед насторожившимся Манюкиным пригоршни уверений, что хоть и литератор, однако полностью приличный человек и ни за что не обманет оказанного ему доверия.

— Ветрено очень, а я старый человек... — зябко поежился Манюкин, прикрывая ладонью горло. — Самая пора для воспалений. Вы... уж докладывайте, любезный, поскорее ваше дельце!

— Э, нет, про это так сразу нельзя-с!.. а не подняться ли нам, знаете, вовнутрь? — качнул Фирсов пальцем во мрак лестницы, откуда так и несло сырым каменным холодом. — Посидели бы, бутылочку изрядного распили б: у меня в кармане затерялась одна. И повторяю, что я не какой-нибудь там... решайтесь! Пристроимся в укромном уголочке, да по-российски, знаете, из души в душу. Самое подходящее время для острого разговора: большая ночь, и древние сваи цивилизации поскрипывают от прибывающей воды, и хочется прижаться к кому-нибудь для взаимного тепла... не испытываете потребности?

— Какое от меня, к черту, тепло!.. я, собственно, и не прочь бы, да вот насчет шума. Видите ли, сожитель у меня по комнате... — поддавался на соблазн Манюкин.

— А что, больной, нервный или, скажем, из блюстителей? — поинтересовался Фирсов, хотя в точности и заранее знал самое размещение жильцов в помянутой квартире.

— Куда там... — отмахнулся Манюкин,— просто выдающийся нашего времени негодяй. Управдом, но числит себя в борцах за всемирную справедливость и страсть любит, чтобы его называли другом человечества... между прочим, если *такой* анекдотец услышит, то в уборную ходит смеяться... воду спускает при этом, чтоб никто не слыхал, не застал его на запретном, на человеческом. Хуже килы остерегаться следует! — Бывший барин выжидательно помолчал, но Фирсов не уступал, упорствуя на своем, и тот покорно преклонил голову. — Пойдемте уж... что у вас там, в бутылочке-то?

— Красненькое, обломки империи... из-под прилавка, из одного тут великокняжеского погребка,— и показал в бумажке.

— А, это хорошая вещь... давайте-ка, я сам ее понесу, а то, не ровён, разобьете в потемках! Лестница у нас с изъянами, а управдом вдобавок лампочки экономит, чтоб не украли...

При полном безмолвии ночи и чужого сна они подымались в промозглой темени лестницы. Пахло мокрой известкой и щенком. В разбитое лестничное окно задувала непогода, и еще почудилось, будто блеснула там и пропала звезда. И хотя никакой звезды не было, Фирсов ее запомнил и как бы в кулаке зажал, ибо и для звезды имелось готовое место в его еще не написанной повести.

— С вашего позволения, отдышусь немножко! — задохнулся на четвертом марше Манюкин, прислонясь к перилам. — Ишь глубина-то какая черная... так и тянет. На самом-то низу безопасней: падать некуда! — Темнота заранее располагала к доверительности.

— Высоконько обитаете! — участливо поддакнул Фирсов.

— Тут еще один этаж, последний... — шепотом сообщил Манюкин, и снова спотыкающийся его шаг зашаркал по ступенькам.

Во мраке квартирного коридора Фирсов протирал очки, прислушиваясь к непонятным шорохам ушедшего вперед хозяина.

— Разуваюсь... уговор у меня с сожителем,— предупредительно пояснил из тьмы Манюкин.

— Может, и мне? — осведомился гость.

— Зачем же, ведь вы в калошах!

Проведя гостя в дальнюю, соседнюю со своею и пустовавшую после ремонта комнату, Манюкин скоро притащил туда стулья и лампчонку. При вонючем керосиновом свете, еле проникавшем сквозь закопченное стекло, стало видно, что заодно он успел раздобыться и посудой под обещанное угощенье.

— Винишком вашим соблазнился: не воздержан стал к сему самозабвенью... — откровенно сознался он, опускаясь на краешек табуретки и стеля газету на другую такую же для гостя, против себя. — Так о чем же мы беседовать станем? Вроде бы все о России-то напрочь отбеседовано!

Фирсов оглядел комнату, которая оказалась двухоконным, пустым, как площадь, кое-где свежевыбеленным кубом: пахло клеевой краской, известковые потеки сохли лужицами на полу. В открытую форточку проникала простудная сырость, по стене то и дело совались две несообразно высокие, косолапые тени: лампочка стояла на полу. Пока, щелкнув портсигаром,

гость нагибался к лампе прикурить, Манюкин рассмотрел его украдкой. Казалось, голова Фирсова состояла из одного лба,— такое заключалось в нем упорство; из-под навеса бровей высматривали не слишком добрые, раздевающие и слегка навыкат глаза. Фирсов почесал себе подгорлие, заросшее кудреватой бородой, и пустил начальный дымок.

— Как вы уже имели оказию догадаться еще в пивной, я по возможности в художественной форме описываю людей, их нравы, быт... ну и всякое остальное, дозволенное к описанью. Простите, я вот только эту дырку в небытие захлопну. — Он направился было к окну и чертыхнулся через мгновение. — Ух, до нее и не дотянешься... да она еще и без стекла, черт! — Удачно обернув форточку газетой, он вернулся на прежнее место. — Итак, я сочинитель... хотя и со чрезмерной пристальностью, попрекают, в том единственном смысле, что о потайных корнях человека любопытствую, об отходах истории и о тех еще сокровищах, что хранятся не в показных витринах, а в потаенных запасниках культуры. Для меня каждый человек с заветным пупырышком, коим он отличается от ближнего, не сливаясь в единое, так сказать, мерцающее тесто... и именно о пупырышках этих любопытствую я. А так как лучше всего видны они на голом человеке, то как раз им-то, голым человеком, и занимаюсь я, в высочайшей степени уважаемый... уважаемый...

— Сергей Аммоnычем меня когда-то звали... — шевельнулся Манюкин, перестав разливать по чашкам гостево винцо. — Голый, это правильно вы заметили, голый я...

От усталости он сидел как-то комковато, словно брошенный на стул как пришлось; желтый керосиновый свет резко выделял все его морщинки — безобманную запись пережитых страстей и лишений. Но Фирсова интересовала лишь последняя по времени, односторонняя, глубокая, как надрез; спускаясь от переносья в угол рта, она как бы перечеркивала остальные, черта крайнего человеческого разочарования.

— Как бы это появственней выразить вам мысль мою... человек же не существует в своем чистопородном виде, а всегда в некотором, так сказать...— Фирсов озабоченно поискал нужное словцо,— в орнаментуме! Ну, нечто вроде занавесочки для прикрытия первородных потребностей... бывает из простенького ситчика, но, случается, и накладного золота иногда, это разумеется в смысле традиций, врожденных привычек, самих идей, наконец. Так вот, человек без всякого орнаментума и

есть голый человек. Тем и благодетельна из всех прочих революция наша, что сорвала с нас обветшавший и обовшивевший орнаментум. И верно, проносился до дыр, тесноват стал, перестал греть русского человека... особливо в звездные ночи! Вот и охота мне взять одного на пробу, да и посравнить годков через тридцать — сколько и какого нарастит на себе нового-то орнаментума... Извиняюсь, вы что-то возразить имели?

— Нет, я ровно ничего не имел возразить,— успокоил его Манюкин.— Я только попросить хотел: не гудите столь громко, а то сожитель мой проснется! — и кивнул на дощатую, погуще оклеенную газетами стенку позади себя.

— Уже теперь все устанавливается по будничному ранжиру,— посбавил Фирсов голосу, глядясь в черную густоту вина. — Пошатнувшаяся было жизнь возвращается в положенный для цивилизации порядок: чиновник скребет пером, водопроводчик свинчивает и развинчивает, жена дипломата чистит ногти... а, скажем, не наоборот? Организм обтягивается новой кожей, ибо без кожи жить и нечистоплотно, и жутко, и просто холодно. Безумно люблю наблюдать, в какой мере свыше чем тысячелетнее ношение определенной одежды повлияло на душевно-нравственное устройство человека. Голый исчезает из обихода, вот и приходится в поисках его спускаться на самое дно... Боюсь, не очень понятно изложил? Извиняюсь, я вам пепел стряхнул на коленку...

— Пустяки, на меня теперь все можно...— вздрогнул Манюкин, и часть вина выплеснулась из переполненной чашки.— Действительно, не понял: вы уж не меня ли описать хотите? Гол я действительно... наг, сир и общедоступен для описания! А ведь гейдельбергский студент, даже что-то о сервитутах учил, а нынче из всей римской истории удержалось в памяти одно только слово: Публий... Смешно! — горько сознался он. — Все, все утратил, будто и не было ничего! А ведь было, было! Дедовские книги из усадьбы, инкунабулы разные на семи грузовиках вывезли в революцию; так что очень даже было, но разве плачу я!.. Чему вы усмехнулись?

— Это когда про Грибунди вы давеча рассказывали, то же выражение попалось у вас... Мельком! Нет, собственно, не в вас я целился. А вот скажите, Векшин, Дмитрий Векшин, кажется... в этой же квартире живет? Признаться, его-то мне и надо, и для прикрытия вы уж позвольте изредка забегать к вам! Соблазнительно кусок этот прямо с кровью из жизни вырвать, пока в нем не ослабло, не распалось мышечное на-

пряжение. В этом смысле я уж целиком и всю эту квартирку захвачу, с вами в том числе... с вашего позволения, разумеется.

И с целью приручить заранее этого несколько задичалого человека, сочинитель довольно подробно изложил Манюкину свои профессиональные планы, утаив лишь главные сюжетные ходы, даже коснулся архитектуры будущего произведения и наконец закинул в душу Манюкина искусительную возможность посмертно закрепиться в литературном произведении, причем в приличном трагическом рисунке, то есть с сохранением личного достоинства.

— Ну, раз с соблюдением достоинства, то пожалуйста...— задумчиво пошутил хозяин, допил чашку и как-то безотчетно перешел к окну. Притушив гаснувшую лампчонку, Фирсов последовал за ним.

Наползало утро. Пробившись сквозь отсыревшую газету, шустрый рассветный ветерок из форточки путал и сплетал воедино два табачных дымка... Зыбкий сизый воздух за окном пестрел от хлопьев падающего снега, а лужи на мостовой снова успели затянуться снежком. В этот час особенно запоминались и щемили сердце — хрупкая ветхость здешних человеческих жилищ там внизу и опустелость словно вымершей окраины.

— Спать еще не хочется? — спросил Фирсов.

— Расхотелось... — вздохнул Манюкин.— Нет, я не жалуюсь: привык и к холоду, и к обиде, и прежде всего — к самому себе. Не жалуюсь, что какая-то там длинная и глупая трава...— он кивнул на единственный тополек во всем пространстве, охваченном рамой окна,— и в стужу надеется на что-то, ждет весны, а я, человек, закоченел навечно. Видимо, самим существованием вещи оправдываются ее назначение и смысл. Ничто, милый друг, не противоречит ныне моему мировоззрению. Я научился понимать весь этот шутовской кругооборот!

— А я люблю, когда снежок падает,— невпопад отозвался Фирсов.— Прекрасен город в снегу... Кстати, это самая большая вещь, которую себе на шею выдумал человек...

— И поразительно: все я теперь знаю, но не бегу: от себя бежать некуда! — вырвалось у Манюкина со странным смешком.— Бежать надо, когда есть что сохранять. У меня не осталось... — Он показал Фирсову пустую чашку. — Выпито и вылизано-с!

Но тут в тишине раздались шаги. Кто-то шел по коридору, не скрываясь и не опасаясь потревожить лютого манюкинского

сожителя. Сергей Аммоныч метнулся было притворить приоткрывшуюся дверь во избежанье непременного вторженья, как уже вошел тот, о ком все время с нетерпеньем помышлял Фирсов. И хотя в мыслях он целиком владел судьбой этого человека, дыханье сочинителя сейчас почти замкнулось от волненья.

VI

Неизвестно, где он успел дополнительно побывать после пивной, но теперь Митька был бледен и, может быть, слегка пьян, хотя внешне это не сказывалось ни в речи его, ни в походке. Держался он прямо и насмешливо, только лоб чуть лоснился от бессонной ночи. Следы непогоды темнели вдоль его длинной, нараспашку, шубы, смятая шляпа торчала из кулака. Стоя в дверях, он поочередно оглядел обоих и мало был склонен, по-видимому, к мирной задушевной беседе.

— Ага, поймал, подпольные секретцы ведете? — задиристо бросил он с порога, приглядываясь и не в силах опознать против света чем-то знакомое лицо манюкинского собеседника.

— Здравствуйте, Дмитрий Егорыч,— сказал Фирсов.

— ...кто? — опросил тот с колючим вызовом.

— Фирсов,— без заминки ответил сочинитель, возвеселясь чему-то.

— Поди, в тресте бумагой шуршишь? Несуществующие товары переписываешь? — с озлоблением на что-то далекое, наболевшее и свое перечислял Митька.

— Нет, я книжки про людей пишу,— на пробу сообщил Фирсов, не отводя таких же сощуренных глаз.

— А-а...— покровительственно и смутясь чего-то протянул Митька. — А я вот парикмахерствую, головы оформляю. И сколько, понимаешь, ни стригу, ни одной правильной не попалось, круглой... все какие-то, черт, бутылочные! — Без вражды или дружбы пока они изучали друг друга, и вот уже нельзя было с достоверностью утверждать про Митьку, что он пьян.— Опять же выпиваете на невыясненные средства! — укорительно заметил он, пиная ногой пустую бутылку.

Не в меру громкие Митькины восклицания поминутно приводили Манюкина в мелкий пугливый трепет.

— Дмитрий Егорыч, ради создателя, потише! — умоляюще жался он. — Разбудим, так ведь погубит он меня... он же рядом спит, Петр Горбидоныч!

— Спит? — с вызывающей дерзостью возвысил голос Митька. — Кто смеет спать, когда я хожу... мотаюсь взад-вперед по земному шару! Никто не заснет, пока Дмитрий Векшин не уляжется...— И потом, идя на прямой скандал, несколько раз ударил ногой в оклеенную газетами перегородку. — Эй, мелкий чин...— загремел он, к великому ужасу Манюкина,— самовар китайский, чернильная кляуза, вставай!

Немедленно за стенкой что-то задвигалось, зашелестело, заругалось, огромное, важное, суставчатое, бесконечно злое. С уличающей бутылкой в руках Манюкин еще метался по комнате, как дверь из коридора распахнулась и влетел разбуженный сожитель, встреченный смешливым приветствием Митьки и легким вскриком Сергея Аммоныча. Существо это, мелкого роста, дрянного сложения и действительно с рыжей кляузной какой-то бородкой, закутано было в спадающее одеяло, из-под которого то и дело высовывались как бы приплясывающие ноги; бегающие с точечными зрачками глаза его так и выщупывали наиболее выгодное в создавшейся обстановке место для начального укола.

— Так-с! — только и вымолвил зловеще Петр Горбидоныч Чикилев, но Манюкин уже затрепетал, и спрятанная было за спиной бутылка с цепенящим душу грохотом покатилась по полу. Тотчас сожитель заглянул справа, слева, и Фирсову показалось, даже через голову назад, после чего, высвободив руку из одеяла, торжественно устремил перст на Манюкина.— Вот, я вас застукал наконец, гражданин Манюкин. Пьянствуете, а налоги, характерно, за свободную профессию платить не желаете? Мало того что нарушаете обязательные постановления, которые служат гражданам путеводной звездой к новой светлой жизни... Мало того что впадаете с кем попало в подозрительнейшие разврат и роскошь!..— Бутылка валялась иностранным ярлыком вверх, выдавая преступные связи Манюкина. — Но вы еще мешаете работникам ответственного труда исполнять возложенные на них государственные поручения!..

— Какая же в постели работа... сколько я смыслю в этом деле, ведь вы же спали, Петр Горбидонович! — резонно заикнулся Манюкин.

— Зарубите себе на носу,— на высокой ноте резанул тот,— в отличие от некоторых прочих, я круглосуточно нахожусь при исполнении служебных обязанностей, так как и во сне не покладая рук забочусь о благе общества. И в помянутом качестве я вам не позволю, я вас раскрою, подвергну изъятию,

пресеку... через домком, через милицию буду действовать и даже...— Словом, он еще немало накричал там — о расстроенных финансах республики, о своем истощенном организме, а также о рычагах воздействия на уклоняющихся от долга обывателей.

В совершенном столбняке, затылком откинувшись к стенке, Манюкин и не пытался защищаться, чтобы в дополнительной степени не разъярить своего сожителя. При таком накале, если даже Митька и был чуточку пьян, весь хмель соскочил с него разом. Нужно было немедля остановить, укротить Чикилева, пока тот не покатился по полу во вращательном состоянии, нанося повреждения коммунальному имуществу. И лучше всего было сделать это, воздействуя на мужское самолюбие Чикилева.

— Невест-то распугаешь, кляуза! — засмеялся было Митька, становясь ему на пути.— А еще жениться собрался. Да ты взгляни, какое у тебя лицо, Чикилев. Купил бы себе недорогое зеркальце и устыжался бы хоть по часу в день!

— Ничего-с, я еще девушкам не противен,— молниеносно отпарировал Чикилев, сторонкой пробираясь к ускользавшему от него Манюкину. — Пустите же меня, невыясненного поведения гражданин! — напирал он с кулаками на Митькину грудь.

— Но-но... куда тебе, экий зарывчатый господин? — от души потешался Митька.

— Пустишь? — щурился Чикилев.

— Нет,— смеялся Митька.

— Вор...— теряя всякое соображение, визгнул Чикилев.— Ты есть вор, и мы все это знаем.— Он кивнул на кучку разбуженных жильцов, в причудливых утренних одеяниях толпившихся у дверей.— Погоди, я тебя расшифрую!

— Как ты сказал? — покачнулся Митька, меняясь в лице и странно усмехаясь.— Повтори!

— Ну, вор...— слабым деревянным голосом повторил Петр Горбидоныч.

Тогда, взяв Чикилева за плечи, Митька с добрых полминуты вглядывался в рыжеватое, чуть склоненное перед ним набочок лицо, так что только смертельная ненависть помогла тому не опустить глаз при этом, однако все уже настолько были уверены в печальной чикилевской участи, что готовы были звать милицию к безжизненному телу управдома... как вдруг, выпустив врага из рук, Митька с побитым видом побрел вон из комнаты, провожаемый расслабленным кряхтеньем Манюкина и недоумением самого Чикилева. Впервые на

памяти Благуши фирсовский герой уходил всесветно посрамленным, но молчание его одновременно и пугало, потому что, скинутый на ступеньку ниже, человек этот становился еще опасней... Словом, Петр Горбидоныч непременно ринулся бы вослед ему с извинениями, если бы не опасался, что здесь-то Митька каким-нибудь жестом и поправит допущенную оплошность.

Как раз на Митькином пути оказалась потухшая лампчонка,— Фирсов ждал, что он собьет ее ногой, именно так слагалось это место ненаписанной повести. Однако Митькина нога избегла искушения, и тотчас же после его ухода из кучки жильцов выступила на шаг та самая Зина Балуева, которою всего несколько часов назад профессионально любовался Фирсов.

— Вор, ты сказал? — с брезгливой гордостью переспросила она Чикилева.— А ты знаешь ли, кем еще был в своей жизни этот вор и сколько пуль, чьих и каких, ржавеют в тоске по Митькину лбу, знаешь? — Она преувеличивала как прошлые подвиги Митькины, так и его злодеянья, и Фирсов по самому тону ее установил, что лишь глубокая и неистребимая привязанность толкнула ее на людях вступиться за этого павшего человека. — Да если он и берет чужое, так ведь ты лишь по трусости казенного имущества не крадешь! А впрочем... откуда у тебя столько кнопок, все коммунальные постановления по сортирам развешиваешь? Ты даже письма ко мне любовные под копирку пишешь, трус, чтобы на всякий случай оправдательный документ у себя иметь. Ну, надевай сапоги на руки, беги на четвереньках на Митьку доносить! Ох, дождешься ты, Петр Горбидоныч, что опишут тебя однажды в газетке, какой ты... нехороший человек! — С усмешкой оскорбительней пощечины она машинально отвернулась, ища клетчатый демисезон.

Фирсова в комнате уже не было; он совершал первую атаку на неоценимые для него сокровища Митькиной подноготной. Мучительно покрутившись в коридоре близ заветной двери и кашлем испробовав звучность голоса, он слегка взлохматил голову и приотворил дверь. Рядом, за спиной у него раскрывалась не менее завлекательная тайна Зинкиной любви, но Фирсов теперь и грома позади не услышал бы, всеми фокусами внимания сосредоточась на Митьке. Он колебался: именно сейчас, в минуту упадка, своевременным словом поддержки легче всего было пробиться в Митькино доверие, равно как вполне возможная неудача бесконечно отдаляла успех задуманного предприятия.

Митька лежал одетый на кровати, глазами в потолок, а соскользнувшая с плеча шуба валялась на полу, мехом вверх, и рукав мокнул в лужице, натекшей с подоконника. Из личного Митькина имущества только простецкий сундучок виднелся под кроватью да именная кавалерийская шашка неожиданно висела на стене. Словом, ничто в этой комнате, пустой и тошной, как тюремная камера, не выдавало нынешнего ремесла ее владельца. Со стола свисали несмятые, трехмесячной давности газеты вперемежку с запыленной обиходной мелочью. Все указывало, что Митька, только что вернувшийся из путешествия, вообще временный постоялец здесь: поживет и съедет.

— Я к вам этак запросто, без позволенья, товарищ Королев... ничего? — невинно начал Фирсов, притворяя дверь, чтоб не отвлекал глухой плеск скандала.— А если позволите, я даже и присяду! — и сделал беззаботный жест, но предусмотрительно не сел, не получив хоть еле приметного согласия в ответ.— Ну и зубило же этот чертов Чикилев... впрочем, зубило с эпохальным оттенком! — Митька все молчал.— Поразительно, между прочим, очки грязнятся...

— Что ж, протри себе очки,— без всякого выражения процедил Митька.

— Я и протру, если позволите! — Пробный фирсовский камешек предвещал удачу.— Признаться, месяц цельный ищу знакомства... давно и полутайным образом наслышан о вас. Уж больно пестрая молва идет о Векшине: одни чуть ли не в былинные Кудеяры вас зачислили, с последующим переводом разбойника в монахи, другие же русским Рокамболем величают! А один намедни даже советским Чуркиным на людях вас обозвал...

— Кто таков? — угрожающе пошевелился Векшин.

— Да так, один тут, при вдове живет... бог с ним! — уклонился Фирсов, действительно принимаясь за протирку очков, чтоб занять тоскующие руки.— Для меня же ремесло ваше как нельзя более кстати... потому что как вас ни гни, в любую ситуацию сгибай, все равно никто в целом свете за вас не вступится. Скажу, забегая вперед, что в судьбе вашей заключена для меня весьма острая и злободневная темка овладения культурой!.. без чего весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот.— Судя по злому нетерпению в Митькином лице, приспело время назвать себя и обозначить цель посещения.— Видите ли, по роду занятий я до некоторой сте-

пени являюсь... — И, поежившись, произнес ненавистное для себя самого слово.

— Сочинитель?.. и чего ж ты на свете сочиняешь, небось доносы вроде Чикилева? — насмешливо переспросил лежавший, покосившись на носок своего сапога. — Да ты видал ли сочинителей-то хоть раз? Они в седых гривах бывают, на манер пустынников, а ты... Ты, братец, уж не легавый ли? — Он стал слегка приподниматься, кажется — за табаком, но Фирсов благоразумно приотступил к порогу. — Куда ж ты, ай обиделся?

Не в характере Митьки было, только что получив несмываемое огорченье, причинять другому такое же,— и все-таки Фирсов решил отложить знакомство со своим героем до лучших времен. Важно было для начала хоть закрепиться в Митькиной памяти, что облегчало повторную атаку в будущем.

— Ничего, и это тоже пригодится мне для повести, благодарю вас... тем более что всего лишь мимоходом, на пробу забежал! — корректно произнес сочинитель, пятясь в дверь и облачаясь в очки, протертые до половинной ясности.

Ничто более не задерживало его тут, и скоро наружная, войлоком обитая дверь бесшумно закрылась за ним. Еще сбегая по лестнице, Фирсов достал записную книжку; привычная к приступам внезапных вдохновений, она сама раскрылась как раз в нужном месте. Нащурив глаза, неузнаваемо осунувшись в лице, Фирсов краткую минутку прислушивался к столкновениям противоречивых впечатлений, а карандаш, подобно танцующему перед стартом бегуну, чертил пока бездельную виньетку. Небогат был первый улов,— Фирсов принялся вынимать застрявшую в неводе рыбешку.

«Манюкин — достаточная для диагноза деталь из отправленного на слом механизма. Усталость человеческого металла, или как отцы обкрадывают потомков. Мужиков считает на штуки, а книги на квадратные сажени. Непременно должна оказаться дочь, вряд ли сын, и тут умный разговор перед разлукой навечно. А культурку-то старую непременно впитает пореволюционная новь; иначе крах. Мы, народ, прямые наследники великих достижений прошлого. Народ существует в целом, в объеме всей своей истории, так что и мы, руками наших дедов, пахали великие ее поля. И даже очень. Откуда же начинать, однако: 862 или 1917?

Митькин лоб честный, бледный, бунтовской. И Митьку и Заварихина родит земля в один и тот же час, равнодушная к их различиям, бесстрастная в своем творческом буйстве.

Первый идет вниз, второй вверх: на скрещении путей — неминуемое личное столкновение и ненависть. Оба вестники пробужденных миллионов, значит жизнь и борьба начинаются сначала? Любая эпоха только разбег к очередной за нею...

Чикилев, старый мой знакомец, недавно описывал мое имущество за невзятие патента на литературные занятия — однако не опознал меня при встрече. Благонадежнейший председатель домкома, финагент по призванию, на службе кличка Солонина в кителе. Должность выполняет резво и радостно, согласно обязательных постановлений, но, при случае, может скушать весьма многое. Надо отдать ему справедливость, подозрительность его, кажется, происходит от сознания недостатков собственного мышления... Все же карандашу моему гадко писать про него».

В этом месте сломалось острие карандаша. Фирсов спрятал книжку и огляделся. В прямоугольник парадного входа западал легкий резвый снег. Наступало утро, квартиры изливали на лестницу неясный гул. В углу, дрожа от холода, сидел желтый бездомный пес.

— Устал, брат? — высказался Фирсов и не побрезговал погладить рукой его мокрую спину.— Все бегаешь? И я, брат, бегаю, и я обнюхиваю все встречное. Иные думают про нас, что мы с тобой — лишние мечтатели, а мы-то как раз и знаем о жизни лучше всех: запах ее и вкус. И знаешь, несмотря на огорчения и слякоть, она лакомая, выгодная: вкусив, умираешь от нее незаметно. Прощай, собака!

С минуту он мучительно обдумывал, не кликнуть ли ему проезжавшую мимо извозчичью пролетку. Рука нащупала в кармане две холодных монетки, только две. Поэтому он не кликнул, а с неизменной бодростью заспешил пешком.

VII

Привыкший к подводным камням своей профессии, он не слишком огорчался неудачами, сочинитель Фирсов. Опять же, ему еще раньше удалось накопить кое-какие разрозненные подробности о Митьке: скитаясь по трущобам столицы, он неоднократно натыкался на Митькиных друзей, осведомленных о той или иной страничке его прошлого. Подобно трудолюбивой пчеле, склеивал Фирсов воедино собранные пустячки, так что в замысле уже готов был сот, хотя пока и без меда... Тут он

и встретил Саньку Велосипеда, мелкого столичного вора, самого, наверно, безобидного изо всей московской плутни.

Неизвестно, чего там наболтал быстро хмелевший Санька за даровым сочинительским угощеньем, но только, по Фирсову, еще совсем недавно Векшин состоял на виду среди большевиков, чуть ли даже не в политработниках небольшой кавалерийской части, чему трудно поверить, учитывая последующие векшинские превращенья, и что следует отнести за счет безудержного авторского стремления любой ценой приукрасить своего до неприглядности падшего героя. Когда же со всероссийских окраин двинулась в поход контрреволюция, то будто бы Векшин целую неделю исполнял даже комиссарские обязанности,— тогда-то и приключились с ним крайне загадочные обстоятельства, так и не получившие в повести удовлетворительного толкования. Санька рассказывал, что в дивизии к Векшину относились с той особой, железною любовью, какой бывают связаны бойцы за одно и то же великое и справедливое дело. Одаренный словно десятком жизней, человек этот водил полк в самые опасные переделки и рубился — будто не один, а десять Векшиных рубились. И когда наваливалась на него белая гибель, неизменно выносил комиссара из любого огня конь, широкогрудый иноходец в яблоках. Ординарец Митькин, Санька Бабкин, впоследствии по кличке В е л о с и п е д, говорил про Сулима, что тот имел ч е л о в е ц к у ю душу и ходил ровно к а к в о д а.

Фирсов писал:

«...в те годы дрались за великие блага людей, в суматохе мало думая о самих людях. Большая любовь, разделенная поровну на всех, согревала порою не жарче стеариновой свечи. Любя весь мир любовью плуга, режущего покорную мякоть земли, Векшин только Сулима дарил любовью нежной, почти женственной. Когда в одной рукопашной схватке пуля между глаз сразила коня, Векшин так вел себя в тот вечер, словно убили половину его самого. Был очень молод Митя Векшин: не утешили его ни удача, ни вино, ни веселая дружба соратников.

И будто бы ночью он выкрал убийцу Сулима из прифронтового штаба, где тот дожидался допроса, и вывел за березовую, точно дальним пожаром окрашенную, какую-то до дрожи сквозную рощицу. Ему помогал в этом деле Санька Бабкин, послушная Митина тень в те годы. Прямо над колючей проволокой в три кола, в темных кулисах неба висела багровая луна. Даже шелест листьев не нарушал тишины.

— Знаешь ли ты, поручик, кого убил? — тягуче спросил комиссар Векшин, щурясь на растерзанный китель такого еще молоденького, а уже волчонка, достигшего своих чинов в первые же полгода гражданской войны. Тот молчал, потому что после дневной жестокой сечи не угадывал, о ком идет речь. — Ты отнял у меня Сулима...— подсказал Векшин, и будто бы тонкая его бровь вскинулась, как лук, метнувший стрелу.— Теперь отдай мне честь!

Тот повиновался: слишком тревожны были и багрец луны, и мглистая призрачность ночных далей, и трепет озябшей рощицы, и повелительная чернота комиссарских зрачков... Но едва пленник поднес к козырьку нерешительную руку, коротко свистнул воздух, и Векшин отнял ее у офицерика, верно в отместку за Сулима,— так что она упала, как ветка, к его ногам. Несмотря на боевую отвагу, Санька Бабкин, оказавшийся малодушней своего хозяина, глухо охнул при расправе, приседая на росистую траву. Позже, впрочем, он нашел в себе силу оттащить полумертвого в придорожную канаву во исполненье комиссарского приказа».

Неизвестно, что толкнуло Векшина на его вполне бессмысленный поступок: проба нового клинка или опыт волевой закалки или чем-то связать себя хотел, но только вряд ли высокая философия, придуманная ради этого случая Фирсовым. Митин поступок не получил широкой огласки, да и мало ли в ту пору бывало по обе стороны фронта проявлений взаимного ожесточенья... Однако вслед за тем Векшин стал впадать во вредную, потому что молчаливую, задумчивость, лишавшую его сна и внушавшую подозрение товарищам. Вдруг он заболел, и тут секретарь полковой ячейки, Арташез, верный друг и, кстати, солдат той же роты, где в шестнадцатом году бунтовал и Векшин, отправился навестить прихворнувшего приятеля. Как лекарство нес он Мите Векшину весть о представлении его к ордену революции, радуясь за него братской радостью. На крыльце векшинской хаты его долго не пускал Санька Бабкин; беспоясый и сам местами поцарапанный, он с выпученными глазами врал что-то о заразительности хозяиновой болезни. Арташез оттолкнул ординарца и вошел,— представшее с порога зрелище комиссарского недомоганья потрясло его почти до слез.

По всем правилам классического русского запоя, на чисто выскобленном столе подле деревянной миски с квашеным овощем стояла початая, не первая видно, бутыль крестьянского первача,— сам же Векшин, сверх прочего повязанный Сань-

киным ремешком, лежал на полу, издавая всякие несуразные восклицания; осколки битого стекла поблескивали под лавкой... Присев на краешек скамьи, секретарь взял соленый огурец со стола и, осмотрев, словно это могло помочь ему в диагнозе, вернул обратно. Затем, стремясь доказать другу недостойность его поведения, он стал говорить ему многие правильные вещи вроде того, что лучше заниматься живописью на досуге, как художник Федотов, чем пить водку.

— Я замечаю темное облачко в твоей душе, Дмитрий...— не получая ответа, продолжал он тоном врача пока, а не судьи. — Не стесняйся, вынь его нам, положи на стол свое облачко, чтобы мы, твои боевые товарищи, могли его рассмотреть и помочь тебе сообща. Если ты справляешь поминки по любимом Сулиме, то не слишком ли много грусти для одного коня? И, кроме того, некрасивый ночной поступок... ну, с *этим*! Я и сам имею бешеный характер, но... зачем? Или ты думаешь, что сейчас даже тебе *все* можно, как огню при сотворении мира?.. то есть что подумал, то и можно?

Векшин лежал на спине, с закрытыми глазами, и лишь слабым движеньем пальцев обозначалось, что он живет и слышит.

— Или ты увидел какую-нибудь дальнюю угрозу в *его* зрачках? Мне известно, по секрету говоря, кое-кем овладевает порой странное беспокойство. Вот мы бьемся, льем свою кровь и так горим, что и вокруг все обугливается... но когда-нибудь мы устанем и заснем. Тогда ворвется третий, молодой и бешеный, как мы с тобой... не завтра придет, не к нам с тобой именно, без ножа даже. Оглянись на историю, Дмитрий!.. У нас с тобой вон виски седеть начали, а он, возможно, еще и не родился; так что не дано нам ни шашкой достать его, ни хотя бы задарить заблаговременной конфеткой. А может, он уже и ходит в приготовительный класс, учит таблицу умножения, а? Такой прилежный худенький мальчик с мечтательным взором... как были и мы с тобой *когда-то*. И он улыбается, а я не знаю — *чему*. И тогда невольно хочется заткнуть все щели кругом, откуда может появиться этот подросший, по неизвестному нам поводу улыбающийся потомок... Теперь передаю слово тебе, Дмитрий: опровергни, дополни или подтверди!

Таким образом он сам подсказывал Векшину мысли, которые оправдали бы любую предупредительную, в отношении будущего, меру безопасности, стоило Векшину головой кивнуть,— тот молчал, однако. Но вдруг тяжкий трехдневный хмель раз-

вязал векшинские уста. Пагубные горячечные откровенья его подслушал у двери Санька Бабкин и, конечно, вряд ли продал бы сочинителю за пиво трагедию своего хозяина, если бы не рассчитывал подобрать к ней какой-нибудь объяснительный ключик с помощью просвещенного человека, каким в его глазах был Фирсов. И без того бессвязные, Санька вдобавок передавал векшинские речи на уровне своего пониманья, а Фирсов сверх того приложил к ним свое собственное путаное толкованье. Таким образом, векшинский бред, как он был представлен в фирсовской повести, сводился к мысли, что революция узконациональна, что это русская душа для себя взыграла перед небывалым своим цветеньем.

— Врешь...— в Санькином пересказе кричал Векшин, обнимая гладкий приятелев сапог, чего уже потому не могло быть, что руки у него были связаны.— Еще не остыла моя кровь, еще струится в жилах и бьет пожаром, еще не жил я на свете! Дай мне...

К сожаленью, по тогдашнему его состоянью Векшин не был способен к более толковому изложенью своих взглядов по несомненно интересному вопросу, и, опасаясь неблагоприятного впечатления от описанной сцены, Фирсов вложил в уста Арташеза исчерпывающее рассужденье в том примерно роде, что наиболее благодетельные революции совершаются не ради одной страны, а лишь для человечества в целом, и тот, кто первым вырывается из рабства, обязан поделиться с другими плодами своей победы. Он имел в виду, что любое счастье становится прочным благом, лишь когда оно является уделом всех. «Сам знаешь, кацо, чуть солнышко в одной местности пригреет посильней, немедленно образуются стихийные перемещения воздушного океана с разрушением жилых построек, гибелью виноградников и многими другими нежелательными последствиями!»

Видимо, в тот раз Векшиным были допущены и другие еще более неуместные для его должности выражения, потому что вскоре секретарь ячейки ушел без единого слова на прощанье. Рапорт в политотдел дивизии он писал полдня и неоднократно рвал написанное, прежде чем вытравил малодушные оттенки, способные смягчить вину товарища. Ему пришлось собрать в кулак свою незаурядную волю и побороть зовы дружбы. «Стояла трудная пора, и черные двуглавые орлы со всех сторон стремились на красную столицу...» — так округлял Фирсов этот уже вполне достоверный эпизод.

В повести было довольно живо описано, как денька через два перед фронтом выстроенной части сам Векшин огласил приказ по дивизии о своем отстранении от должности,—исключение из партии состоялось сутками позже. Церемония проходила необычно, но в те годы молодая армия лишь создавала, на ходу примеривая, свои боевые традиции. Шеренги бойцов взволнованно гудели, утро было пасмурно и бледно, серый отсвет его навсегда сохранился на векшинском лице. Вдруг птицы кругом, как при залпе, шумно поднялись на воздух с комковатой пашни, запушенной ночным снежком... Примечательно, что со средины приказа Векшин, как оно и бывает при э т о м, уже не слышал своего голоса. Дочитав же, встал крайним левофланговым в строй: каждый клинок был на учете. Полк снимался с кратковременного отдыха и уходил в бой.

Спеша на выручку своего героя, Фирсов еще пытался заверить читателя, что Векшин с не меньшим рвением рубился и теперь за честь и свободу молодой республики, даже легенду присочинил на ходу, будто бы его не раз видали одновременно чуть ли не в четырех местах. Но тот же Санька проговорился, что лишь пепел векшинский, скрепленный обручами воли, мчался теперь в седле к поставленной далече цели. Верно одно — что после разжалованья бывший комиссар получил тяжелое раненье, к счастью обошедшееся без увечья. Когда же гражданская война кончилась, Векшин однажды по весне, прямо из госпиталя, прибыл в столицу.

. «Там начиналась вторая, бескровная вначале, схватка с полуотступившим врагом,— писал Фирсов,— только борьба стала хитрей, и оружием ее стали цифры. На каждом уличном углу, в каждом семействе, в каждой голове установился фронт. В витринах вспыхивали приманки нэпа, там и сям загорались цветные огни увеселений, то и дело в беседах с уха на ухо слышался двусмысленный смешок. Исподлобья следили демобилизованные солдаты революции, как расцветали соблазнами магазинные окна, вчера еще простреленные насквозь: теперь они будили голод, страх и недоуменья. Впрочем, Митю не пугали упестрившиеся углы или не в меру залоснившиеся лица. С насмешливым презрением укротителя взирал он на оживление нечистой стихии, льстясь тайной мыслью —«захотел — и стало, повелю — и уйдут!». Он еще не знал, что в ногу с ним вышел его двойник, Заварихин. Тем временем незаметно набежали жаркие майские деньки...»

В один из них Векшин бездельно торчал возле знаменитого в тогдашней Москве гастрономического оазиса, и Санька Бабкин, по прежней верности, находился вместе с ним. Тропический зной установился с утра, и обезглавленные, вдоль и поперек ошнурованные балыки в окне так убедительно истекали жиром на припеке, что и веревочка казалась лакомством. Векшин был голоден. Нарядная и пышная, как аравийская аврора, дама спешила войти в магазин. С простосердечной деликатностью Векшин потянулся было отворить дверь ей, но та, видно не поняв его намеренья или же в предположении, что уже одолели этот сброд, нетерпеливо стегнула его перчаткой по руке, взявшейся за скобку... кстати, Векшину показалось, что пуговка ударила по нерву в сочлененье пальца гораздо больней, чем та вражеская пуля на фронте. Саньку Бабкина, очевидца его вчерашней славы и нынешних унижений, потрясло растерянное выражение векшинских глаз... Тем временем жена нэпмана уже скрылась в магазине.

К ночи Векшин был пьян. На окраине, в гадкой трущобе лил он на свою боль, раскачиваясь и задыхаясь, острый припахивавший падалью напиток, все приговаривая с пьяной слезой — «а я-то за них человеков убивал!». Санька сидел рядом со строгим лицом и в ожидании, когда потребуется хозяину любая помощь. Именно в тот вечер они познакомились с большинством последующих спутников печальнейшей своей поры. Когда наличные иссякли, Санька добыл для хозяина первые легкие деньги. Из ложной гордости перед товарищем Векшин пытался сделать то же самое на другой день. Он попался на этой полудетской проделке, неуклюжей в смысле ремесла, Санька вместе с ним. В тюрьме, углубившей пропасти и обиды, Векшин стал просто Митькой, а Санька приобрел кличку. Кратчайшего тюремного заключения хватило на то, чтобы утратить всякое отличие от своих соседей по нарам, таких профессиональных громщиков, как Ленька Животик и курчавый Донька.

Изобретательным вдохновеньем бывало отмечено большинство векшинских предприятий,— примененное со знаньем дела, оно приносило значительный барыш. Векшин стал корешем шайки, потому что был главным корнем объединенья. Действуя исключительно по линии частной торговли, он еще пытался уверить себя, что партизанит против ненавистного старого мира, тогда как в действительности новая профессия — ее тайны, уловки, опасности — уже наложила отпечаток на все

его поведенье, и прежде всего успела отучить от труда. Блистая удальством выдумки, Митька оставался неуловимым, так что на него с почтением зависти любовался московский б л а т, беря пример для подражанья. Грязные деньги н э п а текли сквозь брезгливо расставленные Митькины пальцы, дорогая одежда непременно носила следы небрежности, если не надругательства, а жилье его — снятая на имя парикмахера Королева комната, была аскетически пуста, как звериная клетка.

Даже такие тузы, как Василий Васильевич Панама Толстый, отменный ф а р м а з о н и мастер п о е з д у х и, не гнушавшийся, впрочем, и другими отраслями, или ш н и ф е р Федор Щекутин, выезжавший еще в царское время на заграничные гастроли, почтительно прислушивались к суждениям восходящего светила. Близко Векшин не сходился с ними, хотя и не сторонился их,— к одному лишь А г е ю Столярову питал он непобедимое отвращенье. Не говоря об его поистине ужасном облике, достаточно отметить лишь, что самые глаза Агеевы или медлительная, всегда на угол рта съезжающая усмешка — имели способность физически ощутимого, оскверняющего прикосновения.

«Значит, не совсем еще погасли в Митьке хорошие, только плохо примененные задатки. Обескровленные, иссыхающие, еще жили в нем воспоминанья о добре и людской ласке, но когда их бередили, Митька заболевал, леча вином неистребимый недуг обиды» — так из всех сил старался Фирсов в повести примирить читателя со своим героем... К несчастью, автор угодил к нему минуту спустя после того, как чикилевский окрик словно надвое разорвал Митьку. Кроме того, Митькины думы омрачались злосчастной и неожиданной для него самого проделкой с сестрою. Встреча с нею внесла смятение в Митькину жизнь, так что он не знал даже, радоваться ли этому внезапному лучу света в потемках его подпольного существования, бежать ли — пока не осознал его ужасную безнадежность. Все дело началось из-за Василья Васильевича Панамы Толстого...

Случайно и навеселе столкнувшись носом к носу с Митькой в Нижнем, куда прикатил на недельку порезвиться, Панама предложил познакомить его с образцово-показательной поездухой; Митьку привлекла новизна и забавность развлеченья... Но дальше не успел пока проникнуть в тайну и сам Фирсов, вылетающий ныне, подобно пуле, из нетопленной комнаты Дмитрия Векшина.

VIII

Прозвище достаточно определяло Василья Васильевича. Весь круглый и благополучный, он и лицо имел тоже округленное и симпатичное, потому что у обжор, независимо от профессии, благоприобретенная толстота нередко соединяется с леностью, а следовательно, с терпимостью и добродушием. Наружностью своею он пользовался с артистическим совершенством и не без основания хвастался, что и после ограбления оставляет в пострадавших самое благоприятное по себе впечатление, почти на грани дружбы.

Вдвоем с Митькой они сели в утренний поезд, не возбудив никаких подозрений в соседях по купе. Их оказалось всего двое — толстощекий инженер, возвращавшийся налегке из служебной командировки, и миловидная, хотя чуть странная девица с черной повязкой через левый глаз. Ее заграничные, светлой кожи чемоданы лежали на верхней полке и порадовали Василья Васильевича солидным весом, когда он, искусно тужась, пристраивал рядом свою пустую корзинку.

Шутливо и многословно извиняясь перед пассажиркой за невольное отравление атмосферы спиртными парами из бутылки, он принялся угощать своего товарища коньяком, причем вел с ним обстоятельные разговоры о сельской кооперации. В конце скромной трапезы Панама любезно, но без подозрительной навязчивости предложил и попутчикам место за откидным столиком. Девица отрицательно улыбнулась, инженер же пробормотал нечто о неловкости позднего приглашения и притворился, будто задремал. К зимнему отоплению вагонов еще не приступали; привыкнув действовать без усыпительного хлоралгидрата, единственно сноровкой и обхождением, Василий Васильевич предложил соседке добротный полосатый плед, и та старательно закутала в него зябнувшие ноги, еще раз расплатившись бесконечно доверчивой улыбкой.

В сумерки сообща пили чай, а Панама очень мило рассказал, как он, играя с одним мужем в поддавки, обыграл его на серебряный подстаканник и женин поцелуй. Митька слушал плохо, усыпляемый однообразным мельканьем придорожных елей, снега и паровозных искр, беспрерывно проносившихся за окном. Вдоволь посмеявшись над незадачливым мужем и приняв предосторожности против воров, все четверо стали располагаться на ночь. А среди глубокой ночи, когда замедлилось биение колес и щекастый фраер без помехи показывал все-

возможные оттенки мужского храпа, Василий Васильевич самолично вынес из вагона пассажиркины чемоданы, беря на себя одного всю черновую работу. В стремлении доставить сообщнику полный набор поездушных впечатлений и маленьких радостей от возможных сюрпризов, Панама навязал ему половину добычи, даже с доставкой на дом.

В своей литераторской практике Фирсов нередко прибегал к романтическому приему для приукрашения облюбованной им действительности. Так, по его определению, Митька в своей подпольной деятельности занимался исключительно поединками со сталью, другими словами — вспарывал медведей, как зовутся в уголовной среде несгораемые шкафы. Он по праву считался удачником в этом деле, потому что раскрывал их легче, чем взрослый разжимает крепко сжатый детский кулачок, чтоб извлечь из него монетку. Не всегда и у Митьки подобные предприятия заканчивались благополучно до исхода ночи; порою ни простецкий рычаг гусиной лапы, ни верткая мелкозубая балерина не могли пробить доступ к сокровищу... но неизменно всякий раз при этом бывало ему нескончаемо весело, так как требовалось проявить гибкую хитрость в разгадке секрета и вложить громадную волю в кратчайший отрезок борьбы... Нечистоплотная, на его взгляд, и легкомысленная, так как почти не наказуемая сравнительно с ремеслом шнифера или медвежатника отрасль поездной кражи была в новинку Митьке... Усмехаясь от гадливого, пополам со стыдом, любопытства, он осваивал свою долю у себя на квартире; только что из тюрьмы, он справедливо полагал себя во временной безопасности даже от Чикилева.

В чемодане находилось женское белье, платья, несколько цветных трико, занятные женские безделушки и всякие другие мелочи чьей-то заурядной биографии. В нижнем отделении тоже не оказалось ничего примечательного, кроме длинных черных веревок с никелированными блоками и постоянными петлями на концах; шелковое волокно их подло цеплялось, почти липло к огрубелой коже пальцев, пробуждая неприятные мысли о погонях и возмездии. Митька сдвинул ногою в кучу весь этот раскиданный по полу хлам и задумался.

Впервые в его аскетическое уединение врывалось столько вполне бесполезных впечатлений и вещей; печки в комнате не имелось, так что избавление от украденного было значительно сложнее, чем сомнительный труд его приобретения. Митьке и в голову не приходило стащить весь ворох добычи к Артемию

Корынцу, барыге и шалманщику, который не гнушался ничем: самая подсказка о скупщике краденого была бы оскорблением для Митьки. В ту дрянную минуту как презирал он цветущую самонадеянность Василья Васильевича, в особенности его сравнение краденого чемодана с пасхальным яичком, куда — и сам не знаешь, какой вложен сюрприз... Только сейчас он приметил плоский бумажный пакетик, выпавший на пол вместе с бельем. В тревожном смущении перед какой-то женской тайной Митька поднял его и оглянулся на дверь. Надежно запертая, с ключом в замке, она все же не успокаивала. Повернувшись спиною к ней, он нерешительной рукою сдернул цветную ленточку с синей бумаги, служившей оберткой. Внутри, кроме десятка ветхих писем, оказалась всего лишь пачка домашних, в размер открытки, фотографий... Митька почувствовал давно незнакомый ему укол совести, словно неосторожно взглянул в глаза своей недавней жертвы. На верхней карточке все та же, доверчиво и крупным планом, улыбалась вчерашняя попутчица из Нижнего, так ловко проведенная ремесленным краснобайством Василья Васильевича. Митька тотчас признал ее, хотя здесь она выглядела помоложе, без повязки, и вполне здоровый глазок ее чуть косил. Дальше шла целая серия снимков, вводивших в профессию незнакомки, позволявших проследить последовательную механику ее рискованного циркового номера. Вот, стройная и красивая в своем трико, артистка по веревочной лестнице взбирается под купол, потом стоит на тра́пеции, надевая на себя ту самую петлю, которую Митька только что держал в руке, и, как бы приглашая глазами к предстоящему, забавнейшему на свете зрелищу, затем наклоняется, падает, летит вниз головой, с неотлучной веревкой на шее, дразня и одуряя такое же падающее Митькино сознанье. Давно заглохшие чувства кружили голову,— позорность его ремесла кое-как еще уравновешивалась редкостью применения, риском и суровостью положенной кары, но похитить у спящей циркачки бедную спасть ее смертельного труда? Ему внезапно жарко стало... Кто-то вкрадчиво стучал в дверь, вышептывая Митькино имя, он не слышал. И как только переложил под низ очередную открытку, холодок растерянности пробежал по нему до кончиков занемевших пальцев. Оскалясь виноватой усмешкой, смотрел он теперь на эту весточку из детства, и никогда еще сущность воровства не раскрывалась перед ним в такой низости.

На последнем, мятом и выцветшем от времени квадратном снимке изображен был крохотный провинциальный дворик с тремя топольками у покосившегося забора; семафор виднелся вдали. Посреди, на дощатом ящике, сидела босоногая девочка в рваной юбчонке — Татьянка, сестра. И рядом стоял он сам, Митя Векшин, снискавший у современников печальную славу медвежатника, а тогда восьмилетний мальчик, улыбающийся и как бы с детским вопросом в лице, на который так никогда и не дается ответа. Он улыбался все эти годы, фотографический мальчик Митя, когда в самом конце царской войны шла на него молчащая баварская пехота, поблескивая при луне сталью опущенных штыков и лаком орластых киверов, или когда, спешась с десятком удальцов, бежал у Джанкоя на белую картечь, или когда стоял в суде друзей своих, постыдной дерзостью ответов маскируя ужас происшедшего падения...

Под воздействием памяти оживали и копошились куры у ног сестренки, а две на заднем плане уже отправлялись на насест. По ветке слева угадывалась яблоня, причем, вспомнилось, один ее сук, вне пределов снимка, жалостно отвисал на тонком ремешке коры подобно сломанной руке. И вперекидку от этой опознавательной приметки Митька заново ощутил на лице предвестный холодок дикой бури, которая в ночь накануне, переломав на ближней поруби все сосны-семенники, не пощадила любимой яблоньки в огородике Егора Векшина, сторожа на железнодорожном разъезде и Митькина отца. Как бы сумасшедшие поезда бежали по рельсам, наполняя ночь воем и грохотом, а на рассвете ликовало уцелевшее, изнемогая от соков. Тем утром и уговорил Егора бродячий фотограф снять на память детей. Тогда еще не рождался от мачехи этот... как его звали? Ах, Леонтий! Тогда еще жива была Митькина мать.

Допоздна просидел Митька над выцветшей фотографией, озаренной отблеском невозвратимой поры. Она раскрывалась заново, как книга, не все страницы ее стали одинаково разборчивы. Позже прояснилась еще одна подробность. В то утро за углом бревенчатой векшинской избушки стояла Машка, лошадь. Ничто на снимке не указывало на ее присутствие, но душа нашептывала, что она тут, тут... как вот этот неотцветающий подсолнух на короткой и толстой ноге! Верно, томится и ждет за спиной фотографа, когда вернется из житейских приключений Митя и поведет ее к колодцу после дневной страды. Милая и терпеливая какая, ожидающая двадцать лет!

Давно не спал Митька таким сытным, взволнованным сном. Утренняя пасмурь заглушила вчерашнюю радость: очарованье бумажного квадратика рассеялось. Нечистая озлобленная совесть оборонялась от вчерашнего документа, безжалостного, как улика. Митька кинул его с тряпьем на дно чемодана и самый чемодан суеверно задвинул под кровать. Затем побежали полные искушений дни. Тревожное бездействие свое сам он объяснял растерянностью: разыскивать ли ему объявившуюся сестру, написать ли домой отцу, предаться ли прежней рассеянной беззаботности. Почему-то мнилось, что отец жив, только сгорбился да обильная седина пропорошила морщинистый стариковский затылок.

«Небось по-прежнему выходишь к поездам с зеленым флажком и потухшей трубчонкой в зубах уведомлять о безопасности их бесконечных странствий, твердый человек, Егор Векшин. Небось все пилит тебя мачеха за безденежье, за нерасторопство честных рук, а ты вспоминаешь ли паренька своего, Митьку, по ее подсказке и вслед за сестрою выброшенного за порог?» — Митька понимал, что письмо получится длинным и мучительным от горечи и запоздалых упреков, а потому не написал т у д а ни слова.

Сестру он разыскал через неделю,— Митька и догадываться не смел, что знаменитая Гелла Вельтон, одно время по совпаденью выступавшая в тех же городах, куда на ночную гастроль прибывал он сам, и есть незабвенная Татьянка. Из-за профессиональной боязни яркого прожекторного освещенья он не решился войти в цирк, а чуть не целый вечер прокараулил у артистического подъезда. Заметала первая в ту зиму поземка, и начинали стынуть ноги в отчищенных до наглого щегольства сапогах. Уличный торговец цветами сиплым голосом расхваливал ему подмороженную прелесть своих хризантем,— Митька взял у него все, чтоб отвязаться, и снова отмеривал взад-вперед два междуфонарных расстоянья. Временами странная сила задерживала его у рисованной, размером в полфасада, афиши с именем сестры. Исподлобья поглядывая на летящую головой вниз и такую одинокую в полете фигурку, он все старался осмыслить, сравнить со своим ремеслом сущность ее грозного и в конце концов тоже бесполезного для человечества подвига. При появлении Тани он рванулся было к ней, но вспомнил про неудобства, какие может причинить ей знакомство с ним, потерялся и перекинул букет за случившийся возле забор. Рядом со своим цветным изображением сестра выглядела трогательно

тоненькой и обыкновенной. Митька посмел окликнуть ее лишь в смежном переулке. Она отшатнулась, узнав похитителя, хотела крикнуть, но в ответ на свое паролем прозвучавшее детское имя лишь беспомощно улыбнулась, не пытаясь вырвать своих рук из Митькиных. С настойчивостью мнимого мужского старшинства, словно всего год назад расстались, он закидал сестру вопросами, на которые из-за мимолетности встречи она просто не успела бы ответить.

Первое их свидание было кратко и болезненно для обоих. Словно половинки расколотого векшинского кирпича, они уже не прилегали плотно друг к другу, как в детстве, и все не удавалось им найти верный тон и нужные слова после такой многолетней неизвестности... Заключительные минуты они простояли почти молча, вглядываясь и мучительно признавая друг друга.

— Я вижу, ты богатым стал...— вскользь и мягко заметила сестра, имея в виду его шубу, которая сразу насторожила ее.— Видно, у тебя хорошая должность?

Вопрос застал Митьку врасплох, и сестра догадалась о многом по тому, какой он сразу стал суетливый, услужливый и мелкий.

— Это долго объяснять, потребуется время описать мою нынешнюю должность...— заторопился Митька.— Но верь слову, сестра, я непременно все расскажу тебе при следующей встрече. А с чемоданами... будем считать, что получилась просто непоправимая ошибка!

Он оборвался на полупризнании, пожалел сестру в этот раз, даже взгляд отвел в сторону, и тут ему бросились в глаза по-детски повисшие из обшлагов шубки маленькие Танины руки, совсем уж непригодные для каждодневной игры со смертью. Сердце в Митьке защемило от неожиданной жалости, и, точно прочтя его мысли, она неискусно засмеялась, пряча лицо в горжетке.

— Мне почему-то показалось в первую минуту, что ты торговцем стал, даже испугалась за тебя. Так кто же ты теперь, Митя?

Молчание брата пробудило затихавшие было в ней подозренья. Еще больше шубы не нравились ей вызывающие Митькины бачки на щеках. Первые впечатления были так тягостны, что Таню порадовала даже сохранившаяся у брата способность к смущенью. Их сближение подвигалось трудно и медленно.

IX

Она сама потребовала у Митьки продолжения их беседы, и брат согласился не сразу: не было уверенности, отнесется ли сестра достаточно снисходительно к его житейским промахам. Поджидая ее в пивной и глядя на себя со стороны, он сжался при мысли, насколько огрубел в своем новом звании, назначая Таньке, сестренке, да еще после такой разлуки, местом второй встречи пивную на далекой Благуше. Таня не рискнула добираться сюда в одиночку, по улице прохаживался тот самый высокий, статный, молодой, с бесцветным волевым взором и, как с необъяснимой жалостью к сестре сообразил Митька, всего лишь партнер по номеру или цирковой товарищ. Танина провожатого Митька приглашал не очень настойчиво, и тот покинул их на ближайшем перекрестке, впрочем после Митькина обещания невредимой доставить ее домой.

Они пошли вдоль глухой окраинной улицы, прямо по мостовой, сплетя пальцы, стремясь как-нибудь восстановить утраченные связи. Погода не благоприятствовала ночной прогулке: над самыми крышами зима перетаскивала на новоселье свою мокрую рухлядь, дул круговой какой-то ветер, давешний снегопад сменялся изморосью. Разгоряченные дорогими воспоминаниями, брат и сестра сперва не замечали непогоды.

— Тебе не холодно в твоей одежке? — спохватившись, спросил Митька.

— Я закаленная... Но куда же ты меня ведешь?

— Из-за ремонта ко мне нельзя сейчас... Погоди, я покажу тебе одного хорошего человека,— забормотал Митька, увлекая сестру вниз по улице.— Не спросил в прошлый раз, как там, дома-то, все живы?.. что, что ты говоришь?

— Ты все забыл, Митя! Откуда мне знать, ведь я же раньше тебя ушла из семьи... вспомнил теперь?

— Я переписку имел в виду.

— Нет, я не писала туда ни разу,— резко созналась она и выпустила разжавшуюся Митькину руку.— Не писала, да и незачем! Все отболело, прошло, мне больше не нужно.

Самонадеянный холодок ее признанья ненадолго остудил в Митьке радость общения с лучшим другом детства. Танину усталость и боль он принял за непростительное равнодушие к родному гнезду. В противоположность сестре и несмотря на внешнее сходство их начальных судеб, Митьке дорог был теперь отчий дом. И чем глубже падал он, тем священней мнилось серд-

цу это как бы закатным багрецом залитое место, куда в последний, уже нестерпимо черный день, кинув все, можно войти без предупреждения и молча рухнуть кому-то в колени и отдохнуть. Тихая, нетленная точка на земле, откуда впервые увидел мир с его добрым и старым солнцем!

— А про галчонка помнишь? Как ты ему подбитую лапу лечила?

— Совсем выпало из памяти... Когда же это?

— Ну, мы за малиной на Большие Поруби отправились и в канаве его нашли, затаился...— Он осекся, в замешательстве потирая лоб.— Прости, это не с тобой было. Это Маша его вылечила, а не ты...

Так старался он оживить в памяти угасавшие подробности детства со смутной надеждой, что самое обращенье к ним поможет ему начать себя заново.

...Беседа их происходила уже возле самой пчховской мастерской,— единственно безопасное место от пристальных, нежелательных глаз.

...Старый слесарь собирался ложиться, когда к нему постучали. Митьку он не вдруг признал в потемках сеней — лишь когда тот стал знакомить его с сестрой. У Тани немножко посветлело на душе при мысли, что хоть кому-то на свете посещение брата может доставить такую радость. Держа Митьку за плечи, благушинский мастер тряс его и вглядывался из-под тяжких бровей, одаривая отеческой лаской.

— Ничего, хожу пока, Пчхов, не сбылись еще твои пророчества. Кто у тебя там? — Он встревоженно кивнул на соседнюю каморку за китайчатой занавеской, откуда послышалась мужская, сквозь сон, бормотня.

— Племянничка из деревни бог послал,— неохотно пояснил Пчхов.— Нагулялся, спит.

Так они искали друг в друге перемен, находили и великодушно замалчивали их. Пчховский взгляд упрекал, что последние два месяца Митька как бы избегал Пчхова.

Митькина улыбка означала:

«Не сердись, старый,— твой я, твой накрепко!»

Прежде чем уйти за занавеску, под бок к храпевшему племяннику, Пчхов указал гостю на неостывший чайник, на шкафчик с посудой и запасом насущной еды. Угадав Митькину потребность остаться наедине с сестрой, он не навязывался третьим в разговор, и скоро его не стало,— только побурчал спросонья потревоженный племянник.

— Ведь я, когда из дому сбежала, первое время как... ну, знаешь, как собака жила. А может, и похуже! — шепотом начала рассказывать сестра, когда два ровных дыханья из каморки возвестили о глубоком сне хозяев.— Про первый год и рассказывать страшно: шарманщик меня у помойки подобрал, ломаться обучал... видал небось уличных акробатов, которые на ковриках, посреди двора, за пятачки? А мне уже двенадцатый годок шел, поздновато. Вот ты спросил меня в прошлый раз, с чего мне в жизни так весело, все улыбаюсь я... А это я в ту пору улыбаться научилась, нам без этого просто никуда! — Ее глаза сверкнули зло и сильно, а Митька бережно погладил ее руку, в кулачок сжавшуюся на столе.— У шарманщика еще попугай был, клювом счастье на базарах и народных гуляньях вытягивал. Уж старый, непонятливый, плохо соображал, что от него требуют, но птицу бить опасно было, а человека можно... только на мне душу и отводил. Меня много били, Митя!

— Больно было?

— Обидно и больно. Он был плохой человек... не хочу про него рассказывать, противно. Попугай сдох у него однажды, он и напился, да ночью раз... словом, поминки! Ну, стегнула я его по глазам чем пришлось да прямо в окно головой, как в прорубь.—Она недосказала, ощутив быстрый и гневный трепет Митькиной руки.— Две ночи по лесу скиталась, все костер какой-то видела, видно с голоду. Бреду, спотыкаюсь, и костер чуть справа идет. Не знаю, кто кого вел те две ночи, а только пришли мы к нынешней моей работе. Третью ночь под фургоном спала: бродячий цирк... никогда не видал ты? Там они все вместе жили, люди и звери. Клоуну одному фамилья была Пёгель, но все его звали просто Пугль. Он утром спустился умыться и увидел меня... — Митьке показалось, что Таня чуть заметно кивнула воспоминанью, словно приветствуя свою судьбу; решительно она гордилась своим неприютным детством.— «Как тебя зовут, девошка?» А я смеюсь, голодная, и солнце такое, с морозцем, прямо в глаза мне бьет. «Матрешкой»,— отвечаю. «О, у меня тоже Матрешек был, лошадь. Он меня кидал на песок. Видишь, оба колени испорчены...» — и показал себе на кривые ноги.— Таня пощурила потемневшие глаза в освещенный угол конурки, где из-под занавески выглядывали понурые пчховские сапоги.— С этим самым Пуглем я и связалась на всю жизнь. Мы и теперь вместе живем...

— Живешь с ним? — с грубой прямотой своей среды переспросил брат и опустил глаза от жалости к сестре.

— Нет, ты не понял меня, он совсем старик... давно сошел с арены. Хуже нет для циркача, когда хлопают от жалости. Когда я выросла, то забрала его к себе: он и приготовил меня для цирка. Вначале я по старой памяти репетировала *каучук*, Пугль уговорил меня пойти *на воздух*. И вот, помнится, у Джованни, в Уральске, меня как бы опалил первый огонь успеха...

Заново переживая лишенья детских лет, она бегло передала и жалостную историю Пугля, наставника в ее ремесле.

Крохотного роста, давно обруселый немец, неизменно вызывавший взрывы зрительского восхищения своею бесконечно сердитой внешностью, он в частной жизни отличался рыцарским, старомодно-обидчивым, потому что исключительной доброты, сердцем. И, кроме того, обладал поистине феерической, будто нарочно для Фирсова придуманной биографией, полной самых экзотических несчастий. Лет тридцать назад он работал вместе со своими малолетними *детошками*, так как цирковое искусство почитал высшим из человеческих призваний. Со знаменитым номером — «3-Пугль-3», по словам Тани, вызывавшим неизменную сенсацию, Пугль изъездил дремучую царскую провинцию, всюду доводя до исступленного восторга волосатый, казалось бы ничем не пробиваемый *публикум*; довольно обычный номер в ту пору назывался *крутить мельницу на ремнях*: повиснув на трапеции вниз головой, артист медленно раскручивал висящих на зубном ремне партнеров. Но Фирсов нашел необыкновенные краски и сравненья при описании, какая сыпучая барабанная дробь, положенная при казнях, сопровождала губительные секунды и как в жужжащем свете прожектора порхали над ареной Пуглевы детки, поблескивая мишурой мотыльковых крылышек. Неизвестно, что там случилось однажды, но только среди номера мотыльки полетели в молчащую под ними бездну... Фирсов перечислял в подробностях обстоятельства цирковой паники,— как всхлипывали женщины на галерке и растерянная униформа стояла вокруг, не смея прикоснуться к упавшим, и как все висел под куполом отец, страшась понять наступившую легкость, и как классический негодяй — директор цирка, дрессировщик лошадей и соперник Пугля по давней любовной истории, сказал ему потом, простегивая хлыстом песок: «Балаганщик, ты потерпел фиаско!»

Маленькие партнеры Пугля не вернулись на арену через положенные шесть недель, как когда-то не вернулась их мать. Потеря эта непоправимо отразилась на мастерстве и положении артиста,— хотя в провинциальном цирке желательно уметь все, быстро одрябшее от запоя тело утратило способность даже к фликфляку. Дьявольское, черное с красным трико Пугль сменил на просторный клоунский пиджак и великанские баретки, перейдя на роль коверного, то есть состоящего неотлучно при ковре и цепью потешных выходок объединяющего отдельные номера программы. Он не проявил особой даровитости на смешную выдумку, однако природный, без натуги акцент в сочетании с трагической маской неизменно имели поразительный успех у зрителя. Столичные ценители называли Пугля новатором жанра, и, по слухам, где-то по этому поводу была даже написана обширная статья, к сожалению так и не появившаяся в печати. Тут уж сочинитель Фирсов переходил к явно недозволенным приемам повествования, однако, учитывая возможное сопротивление читателя, сам же указывал в одном лирическом отступлении, что после двух сряду ожесточенных войн только посредством особо чувствительных мест или исключительных ситуаций может автор пробиться к сердцу читателя.

В эту пору одиночества судьба и подкинула Таню под фургон Пугля... Терпеливо и вполне беспощадно он обучал ее ремеслу, ведя от простейших акробатических приемов на верхние ступени циркового мастерства. И Таня действительно пошла на воздух, как говорят циркачи, и еще подростком делала штейн-трапецию, кордеволан и воздушный акт на уровне отечественных знаменитостей. В семнадцать лет она со сжавшимся сердцем по-новому увидела с высоты залитый светом цирк, причем всеобщее вниманье, восхищение и страхи были устремлены к ней одной. Загремела похрамывающая пожарная музыка, и все исчезло, кроме нее самой и летающей под ней веревки.

На афишу дебюта Пугль подарил ей имя покойной жены, прославленной прыгуньи Геллы Вельтон, и Таня не уронила его, а, напротив, вторично вознесла и прославила под куполами цирков Джованни, Беккера, у самого Труцци, наконец. Со временем ее коронным номером стал штрабат; этот вид циркового упражнения считался устарелым, но Пугль усложнил его головоломными подробностями, а безыскусственная Танина грация спаяла их в сплошное торжество молодого отважного тела. В двадцать три года ее имя, заключенное в рам-

ках черной петли, ставилось на афишу без объяснительных примечаний, зрители попроще принимали ее номер за привозной из-за границы аттракцион. Ее ловкость возвысилась до смертельной дерзости, придававшей штрабату в ее исполнении жестокое и грозное изящество.

— И не страшно тебе, Танька?

— Да вовсе нет, вот глупый! — Насколько же старше выглядела она сейчас, спокойная и снисходительная к страхам брата.— Ведь у нас все до вершка рассчитано: я и с завязанными глазами сумела бы... А кстати, это могла бы быть удачная находка! — задержалась она на мысли после минутного раздумья.— Нет, не позволят, пожалуй.

— Твой муж тоже по цирку что-нибудь работает? — неумело спросил Митька.

— Нет, у меня никого нет пока, я и не тороплюсь...— дрогнувшим голосом пошутила Таня, и что-то явилось во всем ее облике, заставившее брата пожалеть о нечаянном вопросе.

Лишь бы загладить свою оплошность, он тотчас совершил другую, задав сестре вопрос, вызвавший у ней гримаску досады:

— Я никак не мог объяснить твою черную повязку на глазу, там, в поезде, но зато мне потом так жалко тебя стало, Танька!

— Пустяки, просто у меня несчастье с глазом случилось...— опередила она с ответом.— Одно время это мешало мне работать, но теперь я привыкла... привыкаю, я хотела сказать. Словом, жалеть меня не за что: я люблю мое ремесло, и ко мне все хорошо относятся, так что я счастливая... почти! — снова прибавила она, отменяя этой поправкой все прежде сказанное.— И вообще не очень цирку удивляйся!.. Это публике издали кажется — чудесная и смертельная игра, но чудо это покоится на глыбе адского терпенья и труда. Мы не герои, мы только ужасные труженики... Конечно, бывает и риск, как и во всякой т а к о й работе, без поврежденья не обходится иногда. Поэтому приходится всякий раз стиснуть себя в кулаке, окрылиться для одной необыкновенной минуты... да, как в подвиг, знаешь ли! Вот для этого в цирке и свет слепительный, и сказочная мишура, и самые загадочные имена наши. Слухи идут — скоро запретят нам наши романтические имена. Не верю: люди же, пожалеют! — В ее лице стояли ничем не омрачаемые свет и спокойствие, точно знала, что, несмотря ни на что, в мир она пришла для радости и — пусть! немнож-

ко запоздалого счастья.— Вот теперь ты все знаешь про меня,— и лукаво посмеялась.— А ведь ты красивый, Митя... За тобой, верно, девушки бегают, признавайся, а?

Очередь рассказывать была за Митькой, и вдруг он отчаянно смутился под ласковым, понукающим взглядом сестры.

X

Трудясь в меру своего скромного дарования над взрывчатой Митькиной подноготной, Фирсов кое-чего дознался и даже разыскал на карте мельчайшую точку, более похожую на брызг чертежникова пера, чем на разъезд сорок четвертой версты от железнодорожного Роговского депо. Вся та область сверху донизу зарисована густой чертежной елью, только окрест векшинской сторожки пропасть накидано веселой кудреватенькой березки. Похоже, водила здесь хороводы на Духов день буйная девичья орава, числом до многих тысяч, но испугались потайного чьего-то шороха, да так и застыли здесь навечно — праздник и тайна!

По той уездной глухомани и блуждал некогда один бродячий фотограф, зарабатывая ночлег и пропитание своим волшебным ремеслом. Имея, кроме того, разрушительные цели против царского самодержавия, расклеивал он по деревням недозволенные картинки, а также другую преступную подкидную бумагу довольно слепой печати, зато с таким забористым призывом на бунт и бой. Его выдал конный барышник из богатого соседнего села Предотечи. И когда жилистые понятые и бородатые сотские вели мимо векшинского домика связанного государственного преступника, а в нарочной подводе ехала вся его опасная и незамысловатая амуниция, восьмилетний Митя не отходил от ворот, пока шествие не сокрылось за горизонтом ближней поруби... Именно в тот последний день своей свободы, направляясь из Демятина в Предотечу, останавливался фотограф на часок в здешнем березовом разливе. Завлекли его прохладные лиственные своды, сулившие дремоту и награду за мятежные его труды,— плескались над ним ветви, свистали птицы, звенела зеленая тишина. Не он ли, черношляпый, и распугал тех березовых девок?

В самой гуще там, ровно нянька средь молоденьких, уж огорбевшая слегка от своих годов, стояла самая что ни есть расплакучая береза; людские недуги и грусти, плывя по ветру, находили себе ночной приют в ее длинных, падучих ветвях.

Под нею сидел черношляпый бродяга, запивая местной родниковой водицей сухую горбушку странника, прохлаждаясь от пыльных российских верст; под ней сидел, на ней и вырезал ножичком по сочной мякоти коры: «Клокачев Андрей. Долой насилье!» Покушав, ушел, а след остался.

Много раз с тех пор чесал ветер маслянистую по веснам травку, а дождь и смена лет заровняли отпечатки стоптанных гостевых каблуков. И как никогда не удалось старухе залить свою рану чистой белою корой,— так и Митино сердце не смогло отшелушиться от смутных речей, что нашептывал ему бродячий фотограф, накануне своего ареста ночуя с мальчиком на векшинском сеновале. До полуночи раскрывал он Мите, что мир опутан злом и, скованная исполинским произволом, отмирает людская душа... а мальчику чудились во тьме притаившиеся клубки змей и громадные, в размер человечества, оглушительные кандалы. Даже когда очередная буря повалила березу, то до полного ее исчезновения ничто — ни смерть, ни червь, ни смена времен не властны были избавить от клокачевской метины. «А уж молодая поросль с пахучей и девственной листвой подымалась вокруг, и не было им никакого дела ни до старухиной биографии, ни до полузаплывших на трухлявой колоде письмен, ни до тайной муки ее обнаженных вывороченных корней. Так и мы, люди...» — лирически заканчивал Фирсов соответственный кусок в жизнеописании Дмитрия Векшина.

Мимо того места дважды в день водила Митю нахоженная тропочка в демятинскую школу, и всякий раз при виде надписи на стволе он одновременно и слышал ее, повторяемую глуховатым фанатическим голосом. Она глубже шрама легла на душе, так что все эти чудесные перелески с веселой птичурой, и луговинки, полные кротких цветов, летнее небо в бездумных барашках и синюю чашу береговых осок видел он как бы сквозь коричневые рубцы того шрама. Река не смеет противиться ни одному из своих отражений. По той же причине даже шалости возраста бывали отмечены у Мити недетской оглядкой на изнанку жизни. Уже тогда складывалось у него путаное ощущенье, что мир — не просто игра голубых теней, что свет сплетается с тьмой, которая ему всегдашняя сообщница и соперница, а постоянное детище их — жизнь. Еще более убедился он в этом с годами, но какою жестокой ценой!

На той поверженной березе часто засиживался Митя Векшин со своей любезной подружкой, пока мачеха не приспособила

его к делу — зеленым флажком встречать мимоходные поезда. Детям нравилось глазеть отсюда на железную дорогу, проходившую совсем поблизости, тотчас за скатом холма,— и ж д а т ь. Сперва зарождался неясный гул вдали, наполняя душу тревожным и сладким ожиданьем... иногда вдобавок протяжные окрики грозящих настигнуть паровозов будили в рощах раскаты березового смеха. Потом все пропадало на минутку, и вдруг над курчавым березнячком, точно нанизанные на нитку, вставали клубы сердитого шумного пара, а в просвете, отщелкиваясь на стыках, мелькали вагоны, вагоны, вагоны и сразу растворялись в тишине... Поезда, поезда, человеческой тоской гонимое железо! С грохотом проносились они мимо, в бесплодной попытке достигнуть края земли и мечты. Все отодвигался горизонт, но не уставал и веселый машинист...

Скучающие глаза следили из окон поезда, как вихрем движения трепало Митин флажок и выгорелый ластик беспоясой рубашки. Однажды проезжающая барыня кинула мальчику пятачок, употребленный им на покупку давно облюбованной у демятинского лавочника шоколадной бутылочки. Митя съел ее с вопросительным удивлением, в один глоток, прежде чем понял смысл своего предосудительного поступка против подружки и семьи. Митин взнос не умножил бы даже нищенского векшинского достатка, равно как балованную девочку не удивила бы доставшаяся ей полконфетка. Но то была первая т а к а я, детская тайна,— она терзала его всю ночь, жгла внутренности, так что к утру мальчик возненавидел безвестную благодетельницу, разглядевшую его на безыменном разъезде,— прорастало посеянное чернопшяпым зерно. Да и впоследствии, на беду его, неподатлива бывала Митина совесть на самые, казалось бы, убедительные доводы ума.

Тут пропала старшая Митина сестра, которой больше всего доставалось от мачехи. Дня два подряд покликав ее по лесу, отец прекратил поиски, словно знал: векшинское не пропадет. Вскоре обнаружилось, что и Митя вырос из детских рубах и перелатанных штанов, а нового шить было не на что. Восемнадцатирублевое отцовское жалованье целиком уходило на кашу да щи, такие пустые, что из месяца в месяц отражался в них черный потолок избушки. Случилось, изгрызенный бедами мужик, с горя готовый польстить хоть собственному немазаному колесу, будто мазаное, назвал Митю при отце Дмитрием Егорычем. А накануне приезжал охотиться на векшинский участок пути паровозоремонтный мастер из Рогова. Он милостиво

отведал жидкого чайку у Егора и все толковал о божественном, что доставляло его особе добавочные вес и почесть,— хозяева же почтительно внимали вокруг духовным вещаниям старого Федора Доломанова.

Через два дня сидел Егор на лавке, новил растоптанный сапог, а Митя, пообедав, потягивался в углу. Отец воткнул шило в задник сапога и поднял спокойные глаза.

— Никак, опять силушки прибыло, Митрий?

— Вроде прибыло... — пугливо молвил мальчик, не дозевнув до конца.

Видно, какой-то секретный разговор состоялся перед тем у Егора с мачехой. Отец отложил сапог в сторону.

— Нонче же отправишься в Рогово, спросишь мастера Федора Игнатьевича... он тебя пристроить к делу обещался. Пониже ему поклонись... Будешь на работе хорош, сделает и тебя паровозным лекарем. Нечего тебе дома ртом мух ловить! — пошутил он неохотно, поочередно оглаживая обе щеки, которые по старосолдатской привычке брил начисто, давая волю лишь усам. — Ночи пока стоят теплые, переночуешь в Предотече... — прибавил он строго.

Мачеха насовала в коробок все ненужные в хозяйстве обноски, чтоб никто не сказал, будто прогнали сына с пустой сумой да голым. Несмотря на затянувшуюся хворь, сам Егор проводил Митю до калитки и, пользуясь отсутствием мачехи, вручил ему восемь гривен на первоначальное обзаведенье.

— В жизни ходи твердо, не оступайся, не поддавайся на временное, на совет нечестивых. Помни, малый, не может человек стоять на глиняных ногах. Так что имей крепкие ноги, Митрий! — сказал он на прощанье, единственно в человеческих ногах полагая секрет устойчивого бытия.

Он махнул рукой, и Митя с набухшими глазами вышел за калитку, украдкой оглянувшись в последний раз на садик, дом, кота в окне. Таким и застыло в Митином сознании все это облитое немерцающим закатным багрецом. Солнце садилось где-то в далеком и ясном пределе, куда прямолинейно стремились рельсы и ежевечерне проливалась ночная тень. Вдруг подсказала обида: к семичасовому вместо него придется выйти самому отцу. Плаксивый Леонтий, любимое дитя мачехи, будет сидеть на больной Егоровой руке и хныкать голосом, похожим на зубную боль. И взглянет старик на черную щебенку полотна, густо вспоенную мазутом, и защемит маленько в сердце по сыне, а может, и оросит бритую щеку

скупая солдатская слеза. «Горько будет тебе в смертный час одиночество твое, Егор Векшин!»

Первую внедомную ночь Митя провел в пути, безостановочном, потому что лес гнал мальчика все вперед и вперед, поминутно пугая звуками; по счастью, небо было безоблачно, ночь не застаивалась в нем. На рассвете, когда задымились росы, погрелся Митя у костра и, кстати, властной рукой повыкидал из коробка мачехино тряпье; возросший для труда и неволи, он отрекался от отцовской скорлупы. Нательный крест, надетый еще покойной матерью, он самовольно снял с себя пять лет спустя.

И вот словно не было ни холода, ни страхов, ни обиды. Одевались алыми лучами утра ближние, перед самым Роговом, леса, осененные величественным разбегом небес.

— Вы и теперь с *этой* Машей встречаетесь? — неожиданно спросила сестра.

— Нет... как-то повода для свиданья не подвертывается! — уклонился брат. — Да и чудная какая-то она стала...

XI

— Но, между прочим, знаешь ли, жизнь ее — это настоящая *биография*! — вдруг загорелся воспоминаньем Митька, самым прямым образом отвечая на вопрос сестры. — Когда ты пропала, Маша мне заместо тебя была... тяжелая у ней жизнь! Мне представляется порой: жизнь человека меж колен держит, дразнит его сладостью и той же сладостью по голове бьет. Вот у иных, Татьянушка, жизнь легкая, как песенка. Спел, и все ему благодарны. А ведь иной запоет — хуже занозы в сердце!..

— Это ты про себя?

— И про себя, и про Машу.

В поисках сверстников обегая сплывшиеся записи детства, он видел там одну лишь Машу, чернокудрую Машу, милую Машу Доломанову!.. Она была дочкой как раз того мастера из депо, куда впоследствии определился на работу Митя. Летом в Рогове становилось все одно что в паровозной топке — от гари, копоти, постоянного грохота из ремонтных мастерских. Потому до начала школьных занятий Доломанов отправлял дочку гостить к одной вдовевшей свояченице, в Демятино. За отрезы ситчику и пособие к праздникам та, по

народному присловью, обшивала-обмывала свою юную гостью, заменяя ей покойную мать.

Сам Доломанов слыл нечерствым человеком у всех в Рогове, кроме проживавших при нем — запойного неудачника-братца да престарелой домоправительницы — тети Паши: не было богадельни в Российской империи, куда не попросилась бы она по разу на казенный кошт в качестве вдовы городового, злодейски погибшего по пятому году на боевом посту. Подобно многим самостоятельно пробившимся в люди, старик на весь домашний уклад наложил свою властную руку. В доломановской тишине дозволено было шуметь лишь заслуженной, престарелой канарейке да еще с пружинным дребезгом прокашливались стоячие часы; в сумерки они представлялись Маше гробовщиком в длинном и печальном сюртуке. Старик любил после дневной возни с паровозными недугами посидеть за стаканом стынущего чая под ровное бормотанье нахлебника, читавшего вслух газетку. Братец выбирал заметки исключительно про землетрясенья, выдающиеся пожары, крушения поездов и кончины деятелей всемирного значенья. Рабским чутьем угадывал он, что старику именно то и нравилось, что рушатся горы и каменные здания, угасают факелы мысли, падают наземь знаменитые строения, а также наиболее прочные из врагов, вроде зловредного попа Максима, неумеренно вкусившего блинков на масленой, а он, Федор Доломанов, продолжает стоять, вопреки законам бытия, пережил уйму начальников и схоронил трех жен; Маша была от средней.

Девочка с радостью избавления покидала по веснам полный тайных скрипов и запретов отцовский дом. Там, в деревне, она жила почти без всякого присмотра и в ничем не ограниченном раздолье. Только высокий железнодорожный мост через пенистую Кудему соединял Демятино с векшинской стороной, и Маше принадлежала вся демятинская половина мира. Однолетки, дети неминуемо должны были столкнуться однажды в своих бессознательных поисках друг друга. Они встретились на сквозном кудемском мосту в знобящее, тревогой и надеждой напоенное майское утро. Ворот новой васильковой рубахи слегка давил Мите горло, отчего на душе становилось торжественно и жалостно. Ему исполнилось двенадцать в тот день, мачеха запретила носиться где попало и сломя голову, чтоб не порвал обновки, не потерял костромской, с вытканной молитовкой, поясок. Когда Митя поднялся на мост, Маша уже

была там, на щелеватом деревянном настиле, в веночке из ранних полевых цветов. Положив подбородок на перила, она задумчиво глядела, как далеко внизу упругой рябью разбивается ветер о голубую гладь воды. По крестьянскому преданью, от распусканья дуба происходит пронзительная стужа тех дней: она вылущивает птенцов из материнских скорлуп, сушит язвы на деревьях, связывает навечно взаимные сердца. Свистя, проносился ветер в железном крепленье моста, так что дыханье запирало в груди, и натянутые фермы струнно гудели.

Встав рядом, Митя искоса засматривал, как девочка щурится на ту манящую бездну под ногами, поминутно откидывая щекотную кудряшку со щеки. Красное с лаковым ремешком платьице словно мокрое облепляло ее голые коленки, а городская обувь на ногах у Маши была зачем-то с накладными бантами... Но все это скрепя сердце еще можно было снести кое-как, хотя некоторое время и мешало Мите заговорить первому.

— Что это у тебя? — спросил он наконец, кивая на серебряное колечко в девочкином ухе.

— А серьги... — надменно покосилась та на босого, но не бежала...

— Зачем?

— Отец велел, чтобы уши привыкали... а тебе что?

— Побежишь лесом, заденешь за сучок.., вот и будет тебе привычка!

Маша не возражала, видя в его утверждении известную долю правоты.

— Видишь, елка старая на бугре стоит... — снова приступил Митя, когда по его расчетам знакомство их несколько поокрепло. — Да не туда смотришь! — И помог девочке повернуть голову в нужном направлении.

— Не верти, я сама,— сказала девочка. — Ну и что?

— Ее Федя Перевозский посадил.

— Почему?

— А для денег. Понимаешь, он там перевоз через реку держал, а деньги складал под елку, а бедные, кому нужно, брали.

— Почему?

— Я же объяснял: он святой был... ну, дурачок, словом: все для других. Вон и монастырь его, видишь?

Из-за леска выглядывал расписной, как райская игрушка, о пяти золоченых луковках монастырский собор.

Так, в болтовне, они забыли про десятичасовой поезд,— когда тот с грохотом вынырнул из-за поворота, стало поздно и некуда бежать. Железо моста загудело в мелкой дрожи: обреченное на неподвижность, оно приветствовало другое железо, жребием которого было движенье без устали и конца. Прижав струсившую девочку к себе, Митя выждал прохода поезда. Случайно их блуждающие взгляды встретились, и эта жуткая, прекрасная минута сблизила их сердца навсегда. И как только опасность миновала, оставляя по себе запах разогретого железа и головокруженье, разговор возобновился уже на основах безграничного доверия.

— Что, страшно было? — спросил Митя тоном, точно хвастался перед девчонкой отшумевшею бурей.

— А то! — с таким же тайным восторгом шепнула Маша.

— Тебе щекотно вниз глядеть?.. мне вот тут щекотно! — и коснулся того места на ее груди, где ему щекотно.

— Вроде замирает немножко... — и слегка отодвинулась от его руки.

Некоторое время оба зачарованно глядели сквозь широкие щели настила, как в пропасти под ними вскипает на камнях злая, белая вода. А ветер гудел в пролетах, зарывался в лесные склоны и, вынырнув, задерживал в полете летящую птицу.

— Меня так и затягивает упасть туда. А тебя?

Она призналась с ужасом:

— И меня! — и лишь теперь в полную меру перевела дыхание.

Видимо, все вокруг: железо, воду и высоту — Митя числил в своем хозяйстве.

— Погоди, я тебе еще и не такое покажу, ночью глаз со страху не сомкнешь! — И в обмен на свое покровительство попытался прибрать к рукам девчонку. — Только баретки с себя сыми!

— Зачем?

— Чего трепать попусту... да и ловчей босиком-то, дура!

Она обиженно надула губку.

— Мне папаша не велит босиком. Я не дура... Еще не знаю, кто ты, а я дочка мастера Доломанова!

Первая размолвка была недолгая,— едва сошли с моста, она сама потянула Митю за рукав в знак примиренья. Когда при четвертой встрече она скинула ненавистные ему баретки, он в награду, из почти ледяной воды, добыл ей полураспустившуюся кувшинку. В продолжение лета дети встречались всякий

ведреный день, объединив свои пустынные владенья по обоим берегам Кудемы; кроме них, только коршун парил там в высоте да иногда стадо, и то — сторонкой, пробиралось на полдневную дойку... В их распоряжении имелись самые непролазные чащи на свете, загадочные недосказанные тропинки, заколдованный луг, где томилось взаперти, хоть и без стен, зеленоглазое чудо-эхо, шалаши — каменные пещеры... половины не перечтешь по миновании стольких лет!.. Гибкая и нечувствительная к царапинам шалостей, Маша быстро переняла веселую мальчишескую науку — лазать по деревьям, делать пищалки из лукового вёха, свистать по-разбойничьи посредством ореховой скорлупки, добывать раков в затоне, когда те выбирались погреться на водоросли, ловить кузнечиков и просить у них дегтю. Но самым заветным, кровь цепенящим удовольствием было — незаметно прокрасться по мрачному, ольхой заросшему оврагу к одной полянке с грудами мертвых костей и с криком проскочить ее во весь мах, прежде чем успеет проживавшая там ведьма Козюбра за голые пятки прихватить ребят.

...Осенью Маша покидала Митю в тоске по вешним дням; зиму заполняло ученье... Едва же задувал заветный майский сквозняк, Митя уже подстерегал на мосту свою подругу, и она два лета сряду не обманула его ожиданий. А время мчалось не медленней воды в Кудеме,— выцвела и порвалась в плечах новая васильковая Митина рубаха. Наступал у обоих тот возраст, когда тоскует и мечется душа в поисках подобной себе. Все чаще незнакомое томленье захватывало их врасплох, и вдруг, по извечному закону, им становилось стыдно самих себя. Тогда нестерпимым бременем ощущала она распускающуюся красу, осложнявшую их прежнюю бесхитростную дружбу, а Митю тяготила перешитая из отцовской, хуже всяких лохмотьев, одежда. В обостренной худобе Митина лица, освещаемой короткой вспышкой зрачков, Маша угадывала опасность для себя. Детские игры приобретали новое значение, одновременно манящее и запретное. Уж меньше времени проводили они в беготне, а чаще просто сидели в ельничке, полуприжавшись друг к другу и односложно переговариваясь. Гроза назревала, и набухшая туча жаждала освободиться от своего сокровища...

Тонкий зной лился в тот вечер с неба, ничтожная ромашка одуряла запахом, как свежая копна. Нечаянный Митин поцелуй сперва напугал Машу, а потом рассмешил. Подобные

шалости не поощрялись в Рогове, тем более в патриархальной доломановской семье. Разом встали в памяти неустанные наставления теток: легко утратить девичье достоинство, а там — мазанные дегтем ворота, изгнание из отчего дома, склизкая дорожка на дно... Маша медленно поднялась с травы, одетая в ледок высокомерной насмешки.

— Пойдем отсюда, накрапывает... — сказала она сухо, ловя на ладонь мнимые капли дождя, и у Мити не нашлось ни словца удержать, умолить, разуверить ее.

Оттуда ближе всего в Демятино было через страшные ольховые заросли. Подростки спустились во владения Козюбры и молча двинулись в обратный путь. Ничего там не оказалось, одно лишь конское кладбище в конце, уставленное ржавыми метелками конского же щавеля. Вместо прежнего ребячьего трепета перед тайной в обоих росло незнакомое еще чувство соперничества, что ли, прежде всего — в бесстрашии. Белые смирные черепа проводили их на прощанье пристальными глазницами... и тотчас же невидимая кукушка в затихшей полдневной листве позади принялась отсчитывать остатние деньки их дружбы... Вскоре Машу вызвали телеграммой в Рогово к занемогшему отцу.

В следующем мае Митя снова пришел на мост и напрасно ждал Машу. Проходивший стороною дождик спрыснул его слегка, но Митя выдержал бы и не такое испытанье. А он был в новом картузе и таких же, без износу казалось, яловочных сапогах, почти весь в обновках, кроме штанов, на которые не хватило. Все это, включая главное сокровище в стиснутом кулаке, было куплено на первый заработок в артели, чинившей по осени векшинский участок пути. В душных потемках ладони грустила на серебряной проволочке капля почти настоящей бирюзы: колечко. Подарком своим хотелось ему загладить прошлогоднюю провинность перед Машей, и, кроме того, не покидало томительное, так и не осознанное никогда словами предчувствие, что именно вещица эта сыграет значительную роль в их отношениях... Маша не пришла, это поохладило в нем зарождавшуюся нежность. Промокший и оголодавший, он вернулся домой и в следующий раз встретился с девушкой года через полтора-два, в Рогове, где ему посчастливилось поступить о б т и р щ и к о м в депо на пятнадцать целковых в месяц. После рабочего дня, усталый и чумазый, он возвращался домой из мастерских, когда неузнаваемо расцветшая Маша с непременной книжкой для украшения, под

кружевным зонтиком выходила на вечернюю прогулку. Только в глухой провинции случается подобная смелость,— надеть по жаре столько шумящих столичных новинок: паровозный мастер Доломанов желал, чтобы все видели, какие деньги тратит он на дочь. Маша поразительно легко, даже царственно, несла на себе этот показной груз достатка, пугая своей тревожною красой. И все, кто глядел ей вслед, невольно задумывались о предстоящей ей судьбе. Сквозь мазут и копоть она узнала Митю, чуть ли не окликнула по имени, даже с ущербом для доломановского достоинства шагнула было к нему, но тот отвернулся в сторону. Видно, самолюбие оказалось сильней привязанности... Кроме того, шедшие сзади товарищи могли бы подумать, что продувная голь, Векшин, наголодавшись на мурцовке, стремится выскочить в доломановские зятья.

Вдобавок открылось накануне, что к Маше сватаются сразу трое, правда, с одинаковым неуспехом — начальник станции Соколовский, табельщик Дужкин и сын демятинского попа, будущий батюшка, вознамерившийся брачными узами завершить династическую распрю. Мите соперничать с ними было непосильно... да он и не задержался в Рогове. После мелкой стычки с Доломановым он перешел в мастерские Муромского узла, но из-за любопытства к жизни и беспокойного нрава не ужился и там, а все подвигался к Уралу. Доходили слухи, будто, проездив на паровозе установленные восемнадцать тысяч верст, он стал помощником машиниста; к этому времени Фирсов приурочивает знакомство своего героя с политическими партиями... И при каждой неминуемой в переездах укладке вещей Мите попадалось на дне сундучка так и не подаренное кольцо со слезинкой бирюзы; какая б ни случалась спешка, он всякий раз подолгу, с посеревшим лицом всматривался в юношеское воспоминанье... да и Маша, злая Маша Доломанова, не забывала Митю никогда.

XII

Незадолго перед концом войны Федор Доломанов слег денечка на три в постель. Напугавшая его хворь была легкая, верно, прохватило сквозняком в цеху, и первый в доломановском доме доктор даже выразил удивление перед богатырским организмом паровозного мастера, но сам он понимал, что здоровье его пошатнулось. Близ того времени на одной злосчаст-

ной свадьбе старика упросили показать его коронный номер с рублем: взяв монету на кукиш, Доломанов в два приема как бы продавливал ее, сгибая пополам. Однако, как ни хитрил он с нею, ничего не получалось на этот раз, да тут еще невестин братишка, ротозей, хихикнул невзначай на потуги бывшего силача, и будто бы что-то существенное порвалось при этом внутри Доломанова. Вдобавок ко всем тем огорчениям еще одна прибавилась неаккуратность, по любимому присловью старика. Тетя Паша добилась наконец желанной койки в богадельне; простившись с племянниками, она вышла с узелочком, но опустилась перевести дух на приступку крыльца и умерла. Случай тот столь потряс Доломанова, что некоторое время даже людей на улицах примечать стал.

Как раз в тот месяц невеселых раздумий и прислушиванья ко всякой молве о себе, а пуще — к наступающим в собственном теле изменениям, молодой батюшка ознакомил Доломанова с доставшейся ему от родителя старинной книжкой, сочинением придворного елизаветинского лекаря де Саншеса о пользе, происходящей от применения русской парной бани. В знаменитом славянском обычае сей медик открыл столь могучее средство к врачеванию самых закоренелых недугов, что даже младенцев тотчас по рождении указывал вносить на верхний полок, в самый зной, и там умеренно стегать оных веником для развития как дыхательных путей, так и приведенных в движение конечностей. Эти соображения и надоумили Доломанова, несмотря на военное время, соорудить себе образцовое, по меткому определению Максимова сына, банное капище, к слову — поглотившее чуть не все, за полвека, доломановские сбереженья.

Это роговское чудо света воздвигали начерно, без дымохода,— якобы в черной бане пар вкусней и целебней,— местность под окнами засадили плодоносящей рябиной и строгим можжевельником, каменку же табельщик Дужкин расписал разнообразным, только местами столь игривым сюжетцем, что хозяин не впускал туда дочку, пока дымом не заволокло указанные следы холостяцкого воображенья... Имея в виду через умягчение деспотического отцовского сердца добиться Машиной руки, женихи, все трое имевшие броню от военных действий, добровольно поделили меж собой обязанности по бане. Соколовский принял на себя отопительную часть, требующую высоких дровяных познаний, Дужкин открыл в себе дар придавать пару и воде ароматические оттенки посредством

наисекретнейших трав. Что же касается будущего молодого пастыря, этот посвятил свой досуг заготовке веников, избирая для ломки их благоприятный сезон, вскоре от распускания, когда березовый лист, по отзыву знатоков, особливо полезен и душист, хотя бы и в ущерб прочности... Несомненно, в Рогове тех лет, на фоне уже начавшихся народных бедствий, бывали события и поважней, однако, стремясь выделить этим фоном завязку Машиной трагедии, Фирсов громоздил вокруг доломановской бани уйму эпических преувеличений вроде того, что до нее в Рогове по этой части царили совершенный хаос и невежество и якобы бородатые труженики мылись исключительно в корытах, париться же лазали в русские печи, мужественно закрываясь заслонкой снаружи, а кто хилого сложения, вовсе не мылись от лета до лета — до поры, когда потеплеют под солнышком воды Кудемы.

Лишь избранные имели доступ в это не сохранившееся для потомства заведение, и, по Фирсову, нигде на свете не процветало с подобной силой банное искусство... Раздевшись первым, Дужкин окачивал стены ледяной водой, чтоб смыть вредный угар и посмягчить жестокость предстоящего блаженства. Затем развешивал вдоль устья каменки веники по числу приглашенных и поддавал в раскаленное пекло начальные ковши. Клубы свистящего пара били по ним, сморщенная листвень шевелилась, расправляясь и насыщая вешней прелестью божественно обжигающий воздух. Вслед за тем сюда, в зудящий благословенный ад, врывались остальные и, расположась по ступеням здоровья и возраста, предавались любимому занятию. «Распаренный листок, коротко и властно простегивая тело, разгонял сгустевшую кровь, ускорял взаимообращение жизненных соков, вместе с тем удалял прочь накипь земных разочарований, тем самым окрыляя человеческую особь к одухотворенной деятельности»,— так и захлебывался Фирсов, выдавая свою природную слабость к сему прискорбному национальному изуверству.

Наверху, в облаке пара, самозабвенно хлестал себя Дужкин, лежа на боку с неузнаваемым лицом. Ступенькой ниже, присев на корточках и просунув веник между ног, не менее ревностно забавлялся Соколовский; длиннота рук позволяла ему и в таком положении достать веником до самого затылка. Рядом с ним нахлестывал себя будущий батюшка, изредка воодушевляя друзей восклицаниями, выражавшими похвалу русской бане, или же подходящем текстом из Писания; и лишь

на третьей ступеньке, стремясь не отставать от младшего поколения, изгонял из себя ужас смерти сам Доломанов. Один только пропойца, имея слабое темя, сидел внизу, на соломе и в шапке, покачивая головой на неистовую забаву друзей.

Изредка женихи исчезали поваляться в глубоком снегу, после чего, с гоготанием возвратясь к будущему тестю, поддавали на каменку мятным либо другим каким кваском. Оттого в пару удваивалось его целительное содержание, в воде же еще глубже раскрывался философский смысл первородящей стихии, а черный потолок бани как бы разверзался для дальнейшего воспарения к небу. Словом, камень бурляк, способный служить в каменке трехлетний срок, здесь снашивался за зиму.

Нарядная, чуть располневшая в тот год, Маша ходила на танцульки роговской молодежи, чтоб весь вечер без движенья просидеть в углу. Никто не смел пригласить ее с собою в танец из опасения разгневать Доломанова или нарваться на особо обидный отказ, потому что шла последняя перед революцией кровопролитная зима, исправные кавалеры находились на фронте и в Рогове оставалась лишь молодежь с различными телесными изъянами, вдвойне очевидными вблизи Машиной прелести. Иногда, соскучась незримо оплакивать свое злое одиночество, она в сквозной кофточке выходила на крыльцо и подолгу стояла лицом в розовую вечернюю мглу, слушая сторожевую перекличку псов. Тотчас за Роговом находилась свежая лесосека на бугре; надсадно скрипели там жердистые семенные ели, отдаваясь беспокойному сну. В Рогове теперь на ночь укладывались рано... только в конце поселка светились окна доломановской бани, где трое женихов-соревнователей зарабатывали благоволение Машина отца. Уже тогда, сама того не сознавая, мысленно звала Маша из лесного мрака страшного своего жениха.

В июле провожали добровольцев. В актовом зале школы, состоявшей под почетным попечительством соседнего помещика Манюкина, украшенном флагами и хвоей, состоялось это неуклюжее и торопливое торжество. Молебен служил новопосвященный батюшка, сын Максима и сам по имени Максим, соратник Доломанова по бане, так и не дождавшийся Машиной руки. По окончании он же произнес напутственное слово о стесненном отечестве и о гражданской жертвенности молодых воинов — во образе дряхлеющего Давида и молодой девицы Ависаги. Речь его вообще изобиловала щекотливыми

сравненьями, но никто на это не обратил внимания, потому что поголовно все изнемогали от противной, до липкости расслабляющей истомы. Хотя в раскрытые настежь окна гляделось нежнейших разводов небо, к ночи следовало ждать очередную грозу.

Добровольцы, плотные холостые ребята из торгового сословья, потели в тесных гимнастерках и конфузливо косились на пиво, изобильно представленное на длинных столах для заключительной части. Однако задолго до угощенья их посадили в вагон, и начальник Соколовский, докричав свое «ура», дал сигнал к отбытию. После отправки многие со вздохом облегчения воротились в школу, где был устроен бал; в частности, Дужкин лихо наигрывал на кларнете вместе с четырьмя прочими домодельными музыкантами.

Как всегда, Маша скучала в углу, когда ее пригласил на танец незнакомый ей человек. Он был в гладких щеголеватых сапогах, а военного образца штаны на нем пузырились по сторонам, словно надутые воздухом. Машу неприятно поразила широта его плеч, крутизна узловатого лба, угрюмая темень глаз,— точно вышел сражаться в одиночку со всем миром. Все перешептывались о нем, и единственно ради вызова ненавистным роговским приличиям Маша дала согласие; из ревности или смущения Дужкин подзамедлил музыку, так что из польки получился вальс. На третьем туре Маша заметила странные приготовления: публика теснилась к закрытым дверям, оркестр спотыкался и путался, только одна их пара кружилась теперь в опустелом зале, и, значит, именно к ним, волоча веревку за спиной, подбирался Соколовский в сопровождении багажного весовщика.

— Сзади заходят... — шепнула Маша, почитая себя как бы сообщницей своего партнера.

— ...вижу,— одними губами ответил тот и, оттолкнув Машу, выпалил из чего-то в самое лицо начальника Соколовского.

Ей почудилось, что умирает сама; продолжение она узнала от обступавших ее женщин. Отстрелив ухо Соколовскому, незнакомец выпрыгнул в окно; случившаяся там копенка сена смягчила его прыжок, ночь укрыла от преследований. Маша содрогнулась, услышав имя своего кавалера. С нею танцевал Агейка Столяров, гроза двух уездов, ночной разбойник и озорник. Люди такой славы довольно быстро сходят в свои ямы с хлорной известью, но этот прожил дольше других, потому что вначале действовал под маской гонителя богачей, а после ре-

волюции новички из розыска никак не могли нащупать его нору. Иногда он выползал оттуда, во утоление темной потребности испытать судьбу,— Фирсов высказал догадку, впрочем, что уже в то время Агейка жадно искал предназначенную ему пулю. Никто не знал ни Агейкина месторожденья, ни его злосчастного отца. По Фирсову, его породила загнившая кровь, пролитая на неправедной войне, и верно — он появился в самом ее конце вместе с прочими спутниками безвременья: смятеньем душ, волками и сыпняком. Следовательно, ему полагалось сгинуть, как дурному сну при первом дуновении рассветного ветерка.

Наступала переломная пора в русском государстве, безумие пополам с изменой опустошало страну. Тыл и фронт разделились пустыней... и вот по ней при всеобщем безмолвии побежали домой не убитые на войне: облако возмущения неотступно следовало за ними... Как-то в сумерки, когда в воздухе порхали первые несмелые снежинки, приходили к Маше с заднего крыльца два мальчика, дети знакомых рабочих из депо,— под страшным секретом просили красных лоскутков для игры. И хотя обоих Маша считала своими приятелями, один упорно отмалчивался на все ее расспросы, а второй лишь усмехался какому-то секретному знанию, подслушанному у отца. Маша вынесла им давний сарафанчик, в нем когда-то встречалась с Митей. А никаких тайн, собственно, и не было, мир уже шумел о событиях в обеих русских столицах, но газеты в Рогово приходили с запозданьем. Лишь по тому, как дети вертели в руках Машин подарок, прикидывая длину и ширину, Маша поняла что-то, и всю ее обдало жаром сожаленья, что сама, в ненависти своей к тому же, не догадалась раньше. Ее захватила еще непонятная, но такая волнительная надежда, разлитая в воздухе и звавшая к суровой и спасительной чистоте из окружавшей ее гиблой слякоти.

— И я! Давайте и я с вами... хотите? — потянулась она, готовая бежать с ребятами в чем была, но те лишь переглянулись в ответ на подозрительное рвение нарядной девицы и ушли.

Часом позже, когда Маша возвращалась с обычной прогулки, вдоль единственной роговской улицы прошли железнодорожные рабочие, давешние подростки в том числе,— утопая в грязи, но по четверо в ряд, хоть всего-то их там было чуть поболе дюжины. Срывающимися голосами старики затянули незнакомую Маше Варшавянку, и тут, если верить Фир-

сову, она узнала свое перешитое в длинную полосу платье. Ветер рвал его с самодельного древка, и простиранный ситчик струился в воздухе не хуже шемаханского алого шелка... Обида и необъяснимое стесненье помешали Маше присоединиться к ним, никто не заметил в сумерках ее заплаканного лица.

Продрогшая, она с крыльца воротилась к отцу за новостями и спугнула от окна не по времени веселых женихов. Начальник Соколовский с красивой черной повязкой через висок бросился было придвигать для девушки кресло к топившейся печке.

— Уйди, кобель... кобель недостреляный! — вяло сказала та, вполоборота глядя ему в ноги.

Ей стало одиноко и пусто, зиму она переносила, как изнурительную болезнь. По пришествии весны в воздухе рановато и непонятно запахло как бы лесною гарью, а Маше казалось, что это безвыходный чадный пламень испепеляет ее извнутри. Ее все время тянуло из дому — пройти насквозь окрестные деревни, вглядеться в привычные вещи, которых не замечала раньше. Еще больше хотелось ей в ту пору встретиться с Митей и обсудить назревшие недоуменья, но одна только во всем мире милосердная, почти ручная пичуга навещала ее гостеприимный подоконник. Примечательно, однако, что в этот самый месяц Митю Векшина, проездом что ли, видели в Рогове, причем чуть ли не на задворках доломановских владений; говорили, что он находился тогда на нелегальном положении. Фирсов усердно и вполне безуспешно добивался некоторых подробностей того периода, угадывая здесь спрятанный от него, известный только Маше, всеразъясняющий узелок; впрочем, судя по всему, вряд ли знал о нем даже сам Векшин.

В летнее время Маше не сиделось дома из-за множества чудесных мест в роговских окрестностях,— больше всего нравилось слушать тишину в кудемском сосняке на гигантских оползающих корнях у реки, свесив ноги над пропастью. Но в ту пору стояла ранняя весна, и зыбучие вешние грязи, на которых неизменно бился с подводой какой-нибудь дальний мужик, естественно ограничивали предел ее прогулок. Тем более остается тайной, зачем ее понесло т е м роковым холодным вечерком в непролазную глушь, куда, кажется, ни грибник, ни ружейный охотник не забредали от века.

К тому же девушке пришлось провести там не меньше часа во исполнение ее безумной прихоти, иначе трудно допустить такое чрезвычайное, по времени и месту, совпаденье.

Внезапно на берег к ней вышел Агейка и взял ее. Без крика, напрасного в такой пустыне, она кусала ему лицо и руки, он осилил. Потом Маша тихонько плакала, по-детски растирая слезы кулаком, а куривший рядом Агейка сплевывал в реку и отрывочно делился с жертвой своими житейскими обстоятельствами,— видно, за неимением других собеседников, кроме лесного зверя да вот растерзанной Маши. Только омут оставался гордой девушке, и как раз в заводи внизу услужливо злобилась крутая апрельская вода, так что ничего не стоило Маше соскользнуть в ледяной кипяток... но это всегда оставалось в ее распоряжении, а до того захотелось теперь самой совершить некоторые поступки, чтобы не слишком походила история ее на рядовую мушиную судьбу. Когда Агейка предложил Маше совместную жизнь, она пошла за ним; правда, в то время он не был тем, чем стал впоследствии, еще не растратил до последней трусости своей бешеной и подлой отваги; значит, имелась в его характере какая-то достойная Машиной жалости черточка, сознательно не показанная Фирсовым — чтобы не обелять уж *любого* злодейства!.. В ночь Машина бегства сгорела доломановская баня: маленький свадебный подарок влюбленного Агейки.

...Теперь все это отодвигается далеко назад. В молчании и с переплетшимися руками сидят брат и сестра. Им очень хочется понять, как же в ясной логической цепи людского поведения внезапно возникают преступление и ошибка.

— Именно целая биография ее жизнь,— настойчиво, все в том же своем толковании повторил Митька полюбившееся ему слово. — И никто не знает, что́ навсегда связало Машу с Агеем. Плохо ей с ним, а молчит, гордая. Как говорится, сыграла втемную и недобрала очка!

— Он еще жив, этот Агей? — с содроганием спросила Таня.

И, сам бесстрашный человек, Митька с опаской оглядел пчховские стены. Он ответил, только убедясь, что никто не подслушивает их:

— Видать, сама смерть им брезгует. А где-то на Урале, сказывали, уж песня про него сложена каторжная. Да ведь что, слезами народными эти песни про нашего брата пишутся! — И вдруг просительно сжал слегка обвядшую руку сестры. — Но ты верь мне, богом прошу тебя, уж я-то непременно выкручусь!

Сестра кротко смотрит в посветлевшее пчховское оконце. Лампа тухнет, потому что иссякла ее керосиновая пища; из угла по слоистой табачной духоте плывет густой Николкин храп... Потом, повинуясь своей тоске, Таня с бесконечной жалостью заглядывает брату в лицо.

— А сам ты... убивал, Митя?

С опущенными глазами, движеньем досады гася папиросу в пальцах, Митька отрицательно качнул головой.

XIII

Прежде чем приступить к начертанию первой ключевой фразы в своем сочинении, Фирсов стремительно носился по благушинским людям, уплотняя их судьбы в живые узлы, пока не запульсирует единое сердцебиенье,— прищуренным глазком, по-плотницки, выверяя прямизну задуманного действа. Нисколько не дорожа столь невещественными ценностями, жильцы сорок шестой квартиры почти не таились от него и все, кроме Митьки, охотно доверялись сочинителю, почитая за блажного, чего тот благоразумно и не опровергал. Прежде всего он обратил творческое внимание на Зинку Балуеву, едва разгадал, какие мечтанья волновали ее пышную грудь. Имея дозволение забегать запросто, Фирсов неоднократно заставал Зинку за вышиваньем мужской рубашки, а малолетняя Зинкина дочка сидела рядом, понятливо созерцая руки матери. И всякий раз Фирсов успевал заметить на рукоделии узор из мельчайших, на пределе порчи зрения, незабудочек. Поэтому сочинитель смог совершенно точно датировать Зинкину победу, обнаружив на своем слегка сконфуженном герое это помрачительное творенье, впрочем уже через сутки бесследно исчезнувшее из его обихода. Для сочинителя вместе с тем это означало Митькину сдачу и, в этом качестве, новую фазу в его судьбе — если не дальнейшего паденья, то несомненной растерянности, столь необходимой перед прозрением. А пока Митьку совсем не привлекали ни богатства Зинкиной души, ни ленивая река ее волос, ни прочие могучие прелести, рассчитанные скорее для эпоса и вечности, нежели для частного, постоянно на ходу, пользования московского вора.

— Как поживают обе милые дамы, большая и маленькая? — вкрадчиво начинал Фирсов и сразу переходил на иносказательную речь, чтобы затруднить понимание ребенка.—

Как они развиваются, ваши кроткие цветочки... и уже не появились ли на них лапки с коготками, чтобы прочнее пленить сердце неведомого избранника?

— Вот ты образованный... так ответь мне по всей науке,— шумно вздыхала Зинка, заставляя шевелиться листки фирсовской записной книжки. — Объясни мне, Федор Федорыч, людское сердце может ли лопнуть от любви?

Тот бросал демисезон на спинку стула, многозначительно посмеивался, щелкал портсигаром.

— Вполне, дорогая, потому что миром движет любовь. Горы и тайны лопаются по швам, награждая жадное человеческое вторжение. Звезда рыщет в небе, жаждая соединиться с себе подобной и новый породить пламень в пустоте... и ничего, что сердце наше такое маленькое! — И, отшучиваясь, незаметно выкрамсывал наиболее лакомые куски из переживаний собеседницы.

В этой комнате долго трудиться над кладом сочинителю не пришлось: скоро в слезах, как на исповеди, Зинка покаялась его записной книжке в своей безответной любви; ученый брат ее, Матвей, проживавший за ширмой, осуждающе прохохотал все полчаса ее признаний. Этот вполне скептический человек, так как специальностью его являлась материальная подоплека человеческого существования, кроме того студент и сотрудник учреждения, коего и сокращенное название занимало целую строку, ходил в косматой бурке, наследии фронта, и во всем, до блеклой переутомленности в лице, являлся полной противоположностью Зинке. Недаром со стен их комнаты переглядывались из угла в угол чудотворец Николай и вождь пролетариата Ленин; первый все грозил, а второй молчал и щурился.

Частенько, в отсутствие хозяйки, сидя с Матвеем на подоконнике и лаская взглядом тихую Зинкину девочку, игравшую со стулом в лошадки, Фирсов закидывал и Матвея каверзными сомнениями об очередных событиях, с возрастающей силой потрясавших страну, причем вроде не объяснением их интересовался, так как сам варился в них, а скорее личностью объяснителя. Матвеевы глаза и щеки лихорадочно возгорались, но как только начинало жечь, Фирсов под благовидным предлогом исчезал к новоприезжему жильцу из третьей направо по коридору комнаты. Там помещался теперь тишайший из евреев — Минус; вечерами он играл в кино на флейте, а большую часть дня, за отсутствием родни и знакомых, неслышно

проводил дома,— одна лишь флейта глухо плакалась о скорбях этого длинного и тощего человека с самым вопросительным лицом на свете. Познакомясь с ним по пустякам, Фирсов всякий раз почитал долгом посидеть у него минуточек шесть в полуосвещенном уголку, за комодом. Некоторая любопытнейшая, хотя так и не написанная часть повести была обдумана именно здесь, под меланхолическое бульканье Минусовой флейты.

Стоя с нею у окна, Минус глядел вниз на улицу, беззвучно проползавшую из никуда и в никуда, и близоруко улыбался то ли мыслям своим, то ли пальцам. Фирсов почти не говорил с ним, только слушал с закрытыми глазами, и всегда ему представлялось, будто разумными словами уговаривают бабочку не биться о безнадежно толстое, хотя такое светопроницаемое стекло. Через эти тягучие звуки пытался Фирсов вникнуть в Минуса и загадку его печали.

— Пожалуй, вы и правы, Минус... пожалуй, и правы, что все кругом одно лишь повторенье, именно суетное чередованье радости и боли! — недвижными губами диктовал Фирсов своему карандашу, прогрызавшему бумагу на его колене,— но ведь это только бессмертным виден ржавый станок вечности, равнодушно штампующий детскую песенку, любовное забытье или, скажем, разочарованье гения! Что из того, что из того? Для нас-то оно творится всего по разу, и потому всегда с пленительною новизной. Конечно, мы моложе, мы еще не успели наплакать столько у своей стены, как Иеремия, но все равно, все равно... не люблю этих мертвых каменных книг, объединяющих весь опыт человеческого бытия, потому что память всегда хранит только пепел. Вино мудрости, происходящей от долголетия, вкусом всегда немножко смахивает на уксус... разве не правда? — Приблизительно этими мыслями тормошил Минуса сочинитель, но тот не отвечал, только палец больнее бился о клавишу.

Темы этой с избытком хватило бы до самого открытия кино, но во избежание рискованных поворотов в разговоре сочинитель уже выскакивал в коридор, прихватив с собою плачущего Иеремию мнемоническим способом собственного изобретения.

К Манюкину сочинитель стучался всегда не вовремя,— тот еле успевал сунуть в ящик стола клеенчатую тетрадку, куда за минуту перед тем торопливо вписывал что-то, после чего прятался за постельную занавеску в намерении пере-

ждать. Впрочем, осведомленный о тайных манюкинских занятиях, Фирсов обычно давал ему время привести себя и стол в порядок...

— Можно?

Жирной меловой чертой комната была поделена на две половинки, и каждая в полном соответствии выражала характер своего обитателя. Если чикилевская сторона отличалась казарменной чистотой,— газетные подшивки аккуратно хранились на сундуке, а из-под кровати выглядывала старая, довольно скособоченная, но до угрожающего блеска начищенная обувь, и вообще всякий предмет служил на пределе своих возможностей, то в манюкинской также буквально во всем читалась смертельная одышка человека, которому лишь бы добежать как-нибудь до назначенного вскорости конца... Свежепролитые второпях чернила на столе, легчайшая дрожь на занавеске и прежде всего знакомая облезлая шапка на стуле выдавали присутствие хозяина; среди немытой посуды, на подоконнике, торчала головка водочной бутылки. Не имея иного способа словить свою добычу, Фирсов осторожно вытянул бутылку и сделал вид, будто собирается глотнуть из горлышка. Этого даже в нынешнем плачевном состоянии не смогла вынести манюкинская натура.

— Позвольте, ведь там же кружка рядом имеется! — сдавленно произнес Сергей Аммоныч, в красных пятнах от смущенья появляясь из укрытия; впрочем, Фирсов успел вернуть бутылку на прежнее место.

— Рад вас приветствовать в полном здравии...

— Мерси, мерси... — как с морозу, потирал руки Манюкин. — Признавайтесь, ведь знали, что подглядываю?

— Разумеется, знал,— усмехался и Фирсов.

— Уйма шутников на земном шаре развелось, все опыты проделывают друг над дружкой. Вот и Чикилев тоже шуточку вчера отколол. Задремал я вроде начерно, а он и принялся помещение мое обмеривать... «Чего вы там, Петр Горбидоныч, вкруг меня елозите?» — спрашиваю. «Да вот,— отвечает мне с колен,— в связи с предполагаемой моей женитьбой прикидываю — где мне купленный мною шкаф кленовой фанеры поставить, а где ширмочку с перламутрой». — «Так ведь я вроде живой пока!» — резонно напоминаю. «Это ничего не значит,— смеется. — Вы вполне обреченный человек. Уж если вы теперь кое в чем, с самого начала, хе-хе, разочарованы, так чего же от вас в будущем, когда все развернется, можно ожидать?

Я, говорит, вчера такие ваши мысли во сне подслушал, что...» А действительно, я уж раза два его заставал: проснусь, а он сидит возле и в бумажку записывает. У меня с детства привычка, знаете, разговаривать во сне.

— Это он границу прочертил, мелом-то?

— Он!.. потому что любит ясность в жизни. И даже запретил переступать ее без дозволения... Ну, садитесь, что с вами поделаешь. А жаль, спугнул я вас. В бутылке-то ведь у меня состав целебный, на ночь поясницу велено натирать.

— Полно, полно нам друг дружку разыгрывать,— вдруг посерьезнел Фирсов. — Да я и ненадолго... Уточнить кое-что собирался насчет вашей просветительской деятельности в роговских краях. Ведь нам же обоим невыгодно, если чего-нибудь навру...

— Собираетесь и меня в сочинение к себе втиснуть?

— И втисну,— беспощадно сказал гость.

— Ошибку сделаете. Какой с меня, батенька, навар! Небось показать сбираетесь, как допивает с донышка жгучий яд своей постыдной жизни Сергей Манюкин, хищник и империялист... Так ведь меня бы надлежало с древнейших времен, в полном объеме брать. Нонче все больше из мести пишут, а месть — плохое вдохновенье...

Он собирался в шутливом иносказании преподать сочинителю урок, как надлежит нынешним русским изображать деяния предков — пускай без приязни, однако и без искажения, ибо любое прошлое тем уже одним почтенно, что учит настоящее не повторить его ошибок в будущем. И Манюкин уже приступил было, но неожиданно в дверную щель без стука просунулось продолговатое усатое лицо и повращало глазами.

— Парикмахер Королев, извиняюсь, не тут ли квартирует?

— По коридору вторая дверь наискосок,— так и вздыбился Фирсов в ответ, точно ждал этого визита. — А еще лучше, позвольте-ка... я сам дорогу покажу!

И, пренебрегая только что достигнутым доверием Манюкина, бросился провожать долговязого Митькина гостя, тем легче запоминаемого, что при своей продувной, явно блатной наружности был одет в самое что ни есть заграничное пальто. Фирсов предупредительно постучал в заветную дверь, но, даже когда слух его уловил Митькино позволенье, помедлил секундочку.

— Ведь я вас знаю,— игриво заикнулся он, точно вчера расстались, точно сам выдумал этого длинного смешного человека. — Вас Санька Велосипед зовут...

— Ну и я тебя маленько знаю... — берясь за скобку двери, дружелюбно отвечал тот, потому что с некоторого времени и ему примелькались эти круглые очки, неказистая бородка, самое фирсовское лицо усталого, не балованного успехом мастерового.

— Интересно, и зачем это при ваших нынешних намерениях решительно изменить свою судьбу... зачем вам вновь понадобился парикмахер Королев? — играя своей осведомленностью, справился сочинитель.

— Так, покойничка тут одного постричь надо... — поскалил зубы Санька и, шагнув прямо на Фирсова, вошел в дверь.

Из понятного чувства самосохранения Фирсов не порешился войти вместе с ним к своему неприступному герою, а вынужден был вернуться к гораздо менее интересному, вдобавок обиженному Манюкину, чтобы долго и нудно объясняться с ним насчет неудобств сочинительского ремесла.

XIV

Митька лежал на кровати, бездумно глядя на клок безнадежного неба в окне. Никто не приходил развлечь его одиночество, а сестра уехала на гастроли в провинцию. Войдя, Санька долго стоял в дверях, но раздеваться не посмел, только кашлянул, чтоб привлечь внимание дружка. Ему не приходилось обижаться на свое прозвище. Он казался анекдотического роста из-за природной худобы и во избежание насмешек выкруглял спину и ноги в коленях, конфузливо улыбаясь сверх того застылой, как бы отникелированной улыбкой; и вообще при виде его чуть вихлявой походки, любимого жеста — каким он раскидывал руки в разговоре,— при звуке его голоса у всех в памяти почему-то возникал старомодный, побывавший в переделках велосипед... Митьке сразу бросились в глаза его щетинистые, еще не слежавшиеся усы — в прошлый раз этого украшения не было.

— Ладно, порадуй, с чем пришел,— сказал Митька. — Какие у тебя там срочные дела?

— Да не стало их, срочных-то. А просто оглянулся я давеча на наше прошлое время... и вспомнилося мне, хозяин, как

мы с тобой в атаку в бывалошние годы лётывали. Эскадро-он, марш... — протянул он на томительно высокой ноте. — И так засосало на̀ сердце, что сил нет... ну, и потянуло старого хозяина навестить!

— Это правильно, что хоть оглядку на себя сохранил,— без выражения похвалил Митька. — Только не ори, уши кругом... С чего же о н о в тебе засосало?

— Да вот Арташеза нашего утром встренул... — И тотчас, приметив огонек интереса в зрачке хозяина, Санька набрался смелости присесть к нему на койку. — В открытой машине мчит, портфель на коленях желтый, пол-Расеи влезет, и сбоку, заметь, богиня годков двадцати пяти головкою приникла. В большие директора вышел, огромадные тыщи в уме содержит... а ведь вместе нас вошь-то фронтовая ела!

Митьке был неприятен этот разговор.

— Где пальто такое, не по чину, раздобыл?.. сосед на именины подарил?

— По случаю, напрокат в одном месте взял... — со вздохом уклонился Санька. — И как встренулся я глазами с этим Арташезом, так и похолодал весь: вдруг узнает? И, как назло, ни воды, ни дырки какой поблизости, провалиться некуда... А с другой стороны, на душе скребет, чего ж ты с ним рядом, Велосипед, не котишься?.. ай не вместе воевали?

— Кивнул хоть тебе? — нащурясь и порозовев в виске, поинтересовался Митька.

— Не заметил меня... А дамочка, промежду прочим, очень подходящая такая: шапочка самокраснейшего колеру, бровки-губки как рисованные, и сама вся ласковей хоречка.

— Не завидуй товарищу,— сухо одернул его Митька. — Кто же тебе самому мешает!

— Вот я с тем и пришел к тебе, хозяин... — заметно обрадовался Санька, потому что только ради этого дозволения и завел разговор. — Думаю, ведь это даже у животных имеется... любовь. Амба мне, ведь и я тоже влюбился в женщину!

— Ах, вот ты к чему усы-то отпустил,— посмеялся Митька и впервые с пристальным любопытством окинул взглядом Санькину фигуру. — Где ж ты ее подцепил?

— Срамно сказать, хозяин, на бульваре. Мокро, под ногами дрызготня, осень... иду, обдумываю план текущих действий, держусь в кармане за последнюю пропойную трешницу. И тут замечаю: сидит в сторонке одна в глазастой косыночке, несмотря на погоду, и свежие цветочки на грудке наколоты,

чтоб и задорно было, да и для милиции неприступно со стороны. Вроде бы девица нетактичного поведения, одним словом. Подсаживаюсь. «Пардон, говорю, какая это растения у вас, извините за нескромность? Я уж давно интересуюсь такими прелестными бутонами!» А она мне: «Ой, вы шутите. Это всего только простая фиялка!» — «Напротив, отвечаю, я всегда был в жизни очень восхищен фиялкой, хотя по роду службы у нас до цветов как-то руки не доходят, мечтание, однако, и у нас случается. Без мечтания никак не может прожить ни один человек. А вот, к примеру,— закидываю удочку,— как у вас самех насчет мечтания?» И тут она с тихой дрожью мне отвечает, что мечтание одно у ней — замерзнуть. «А то, смеется, веревки боюся,— висеть, в аптеке тоже ничего вредного для здоровья без рецепту не отпускают... Так что придется до снегу месячишко-другой с этим делом повременить!» После таких ейных слов начинаю я смекать, хозяин: не иначе как из подшибленного сословия. Видать, со службы сократили по происхождению родителей, вот и надоумилась на улицу за хлебцем сходить, и вышла, по всему видать, не больше как по третьему разу. А надо сознаться, у меня после войны редко наступает красивое переживание, но эта вдруг всю душу мне перевернула. Вижу, пузырь пускает девица: ведь на глыбкое место без навыку попасть — враз закрутит, тут и за соломинку хватаются. А может, думаю, соломинка эта я и есть?

По-видимому, Санькин рассказ поразвлек Митьку, и тучки над ним несколько порассеялись; он оживился, потянулся за табаком, закурил.

— Да у тебя просто роман получился, чистейший роман, кот ты этакий,— и головой покачал. — Жалко, сочинителя рядом нет, не слышит...

— А ты потерпи шутить-то, хозяин,— с небывалой еще ноткой отчуждения, если не враждебности пока, оборвал Санька и минуту спустя незаметно приподнялся с Митькиной койки. — Промежду прочим, сколько мы с тобой годочков сообща прожили, а ведь ни разика ты ко мне в середку не заглянул... все подвигами разными занят был! Одним словом, размечтался я насчет жизни. Мое ремесло редкое, сапожно-медицинские колодки делал до войны. Дай мне любую ногу, и я тебе, с места не сходя, повторную копию вырежу. Вошла в меня тоска мгновенная: да-кось я эту барышню подхвачу на лету, мне и такая сгодится! Стану сызнова дерево мое строгать, комод куплю, самовар, птицу певчую на Трубе для ве-

селья, а барышня пускай щи мне варит, бельишко простирнет. Все лучшей ей, чем подлые трещины в потемках караулить... к тому же долго ли и ревматизм по осенней поре схватить, а то и похуже. Одно страшновато — на генеральскую дочь нарваться: барскими капризами в гроб загонит! Решаюсь произвести тайную разведку... «Папашка-то, намекаю, кабы застал нас на этой скамеечке, непременно ушки бы вам надрал... и, допускаю, даже до крови!» Она молчит, в отдаленье смотрит, носик от измороси поблескивает, взор туманный такой становится и синеватый чуть-чуть. Я опять ее в том же духе испытываю... Внезапно она на это встает, хотя и без особого скандалу... «Чего ж, говорит, мне рабочее время попусту терять, а вам — ухаживать!.. деньги-то есть?» А я смекаю, за живое задело: горденькая, не обломанная пока, хорошо. Обозлился даже: «Ха-ха, гражданочка, отвечаю, уж как-нибудь сголосуемся. Развлечение приносит нам наслаждение. Зовите меня Саня, а вас Маруся небось? Ну пойдем тогда со мной... пойдем, тень загробная!»

— И с лица приглядная, девица-то... ничего себе?

Неизвестно за каким чертом, а Фирсов объяснял в своем произведении, что именно по той же проклятой рассеянности задал Митька свой не очень уместный вопрос, оказавший на Саньку неожиданное по последствиям действие. Верно, хотелось Митьке всего лишь подсократить затянувшееся признание, но Санька ужасно пристально посмотрел на своего бывшего начальника, который потягивался в ту минуту, и тоже — скорее от сыроватой прохлады в комнате, нежели с одинокой мужской скуки: в коммунальных домах отопительный сезон еще не начинался.

— Красивая тоись? ...да не сказал бы, хозяин. Красивая-то побогаче себе блюстителя, не чета мне, подобрала бы. Опять же все они, на бульваре побывамши, все одно что часы ковыряные, ход не тот. Нет, не в твоем жандре, хозяин... Однако, если починить да не ронять больше, ходить будут! — поразительно спокойно, но врастяжку как-то отвечал Санька, после чего отошел к окну и в течение несчитанного времени наблюдал скользящее реянье снежинок. Вдруг он неестественно оживился. — Ой, не забыл едва, я ведь не один к тебе заявился... без ножа зарежут меня теперь ребята!

Не дожидаясь хозяйского дозволения, он выскочил из комнаты и скоро вернулся в сопровождении двух других, ожидавших на лестнице, тоже со дна, как он сам, только совсем на

него не похожих. Оба, Ленька Животик и курчавый Донька, угрюмо и не снимая шапок, встали у порога, косясь на сумеречный блеск Митькиных сапог; далеко не друзей в жизни, их сейчас почти роднила неприязнь к Митьке, этому властному и временному на блатном небосклоне светилу.

— Ну!.. — приказал Митька и поднялся на локте, чтоб не лежать в присутствии хоть бы и смиренного врага.

— Жених-то наш еще не передавал тебе? Вот взгреет его ужо Агейка... — начал Донька и выждал время, пока это низкое имя доползло до Митькина сознания. — Вчера у Корынца встретились. Спросить велел Агей, пойдешь с ним на дело или нет. «Если, сказал, комиссар откажется руки со мной марать, я тогда Щекутина позову...» — И опять помолчал, играя на дерзости Агейкина приглашения.

Все было задумано единственно для издевки: просто в предсмертной тоске Агейке вздумалось подразнить могущественного соперника. Общеизвестно было, с каким презреньем относится Митька к этому злому и всепоганому человеческому отребью. Посланцы потому и опасались шаг сделать от дверей, что сознавали опасность Агейкина поручения, от исполнения которого не посмели отказаться.

— Поздоровайся сперва и шапку сыми,— молвил Митька, полностью теперь поднявшись с койки и заправляя ушко сапога вовнутрь.

— Не в гости пришли,— тряхнул головой Донька, а Ленька подтвердил одобрительным ворчанием.

— Тогда ступайте вон... — приказал Митька, и — фронтовая привычка — правая рука его судорожно вытянулась вдоль тела.

Посланцам оставалось только смириться, но Ленька сделал при этом вид, будто давно собирался почесать в затылке, Донька же надоумился чистить пятнышко на суконном верхе своей барашковой шапки... Неожиданно Митька в знак полного замирения предложил им папиросы. Оба курить отказались и до выяснения обстоятельств принялись едко и в открытую потешаться над молчавшим Санькой и его женитьбой. Сейчас, все четверо, они стояли друг против друга, разные, затаившиеся на своем. В самой засылке такого гонца, как Ленька Животик, Митька видел особый, унизительный для себя смысл. Кроме положенного по ремеслу негодяйства, он был урод вдобавок; по слухам, старый пахан, первый Ленькин воспитатель, давал ему в детстве ртути, якобы прекра-

щающей рост тела, обрекая тем самым на карьеру форточного скачка́. Лишь на заре улыбнулся ему фарт, когда всесветный жиган и кувыркало Фриц поручил ему достать у епископа Амвросия посох, который облюбовал себе под тросточку. После того знаменитого в свое время происшествия над головой Леньки проблеснула несчастная звезда, на тюрьму у него уходило полжизни. С горя Ленька облысел, стал прожорлив, как если бы состоял из одного живота; уже никто не ходил под незадачливого кореша. Едва всплыло легкое Митькино имя, он отправился к нему на поклон, за покровительством в обмен на личный опыт и собачью преданность, но Митька брезгливо отпихнул этого падшего человека, самый вид которого указывал на знаменательную в его положении неразборчивость к одежде и месту ночлега. Как все бесталанные, Ленька ненавидел любого удачника, а наступить ногой на Митьку стало сокровенной его мечтой.

Все противоположные Ленькины качества были отданы курчавому Доньке. Он был тоже природный вор, мать родила его в тюрьме. Но этот был хорош собой, ловок, кудряв и неизменно весел; ему одинаково везло в любви, в ночных предприятиях и дружбе — кроме Митькиной. Он был небрежен ко всему, и женщины именно за это любили его, гуляку, щеголя и примечательного на московском дне поэта. Это его стишки распевала беспризорная шпана, ютившаяся под столом большого города, и Фирсов из каждой встречи с ним уносил в блокноте хоть строку, чтобы со временем присвоить одному из своих сомнительных героев.

Теперь, пока Ленька скользкими словами поясняет Митьке мнимую Агееву затею, Донька стоит у окна и глядит во мрак. Сквозь стенку сочится скорбная Минусова мелодия, а Доньке представляется, что это чарующая незнакомка в роскошных, распущенных вдоль тела волосах тоскует по нем, по Доньке. Не только музыка, судьба или смерть, но и огромный спящий город одинаково рисовались ему в воображении коварными, непременно нагими, женского обличья существами. «Ведь вот, безглазая, мертвая, обманчивая,— думает он про ночь, облизывая влажные красные губы,— а на какую мысль наводит!»

— Так вот, никакого ответа Агею не будет от меня,— пробивается в Донькино сознанье твердый векшинский голос. — Впрочем, торопиться некуда, я ему сам это скажу при

личной встрече. Теперь ступайте прочь, спать буду... но ты задержись, Александр: дело есть.

Двое пятятся к двери, исчезают, не простившись. Смеркается, вещи сплываются очертаньями в неопознаваемые комки; сероватое свеченье исходит от голых стен. Чуть искоса, с оттенком почти гражданского сожаленья, Митька вглядывается в несуразную, еще более длинную, от сумерек что ли, временами как бы пропадающую фигуру человека, вникнуть в которого так и не удосужился в течение трех с лишком лет совместного скитанья.

— Что ж, Александр, ты и вправду, говорят, на волю от меня решил уходить... завязать, по-нашему.

— Собираюсь, хозяин. Не сочти за бунт, а только шпановать надоело... всю-то жизнь тошно перекати-полем быть,— заговорил Санька жарко и торопливо, пока не окрикнули, не оборвали. — Тебе меня нечем попрекнуть! Вместе дралися мы с тобой, вместе фундамент закладали под всеобщее счастье, всего хлебнули вдосталь, а ведь вспомни, возроптал ли я на судьбу свою хоть раз? Ни в чем не попрекаю я тебя, хозяин, хотя до такой уж точки развития докатился, что ежли не в петлю, так и не знаю — куда мне нонче голову свою прикачнуть. Брожу по улицам ровно чумной, от всего меня мутит... Отпустил бы ты меня, хозяин!

Митька молчал долго и недоверчиво.

— И что же вы оба станете делать там без меня? — наконец протянул он.

— Да уж найдем что! Как средствов поднакопим, может, еще и в деревню подадимся, пока не решено у нас. — Санька даже языком как-то по-птичьи прищелкнул и, кажется, отвагу для такой неслыханной вольности черпал из чуть растерянного Митькина молчанья. — Я тебе сейчас не так красиво обрисую, а попробую. Увидел я раз из поезда, с подножки, самый что ни есть обыкновенный сена стожок... черный такой на вечерней зорьке! Чуть не заболел я с него, даже вроде жар небольшой приключился: с той поры чудится мне запах кошеной травы везде... У меня, вишь, хозяин, на родине сплошь лужаечки, дитю споткнуться не обо что, и речка тихая, опрятная, в ракитничке течет. Бывало, как ветерочек дохнет о полдень, так все они, листочки, и засеребрятся с изнанки. А Ксеньку мою я бы за одно лето молочком отпоил...

Он запнулся от пристального Митькина взгляда и смолк.

— И давно это у вас с нею?

— Месяца полтора, считай...

— И что же, в церкви венчались?

Санька даже зажмурился от стыда и горя.

— Не серчай, хозяин: уж больно Ксеньке хотелось, после бульвара-то... ну, вроде как святой водой нечистое место кропят! Суди как знаешь, а только не смог я ей отказать: ведь не лошади!

Тем временем окончательно смерклось.

— Понятно,— раздумчиво сказал Митька. — Земледелием, значит, решил заняться с бабенкой своей?

— Тоже неизвестно пока... а только обоим нам не житье в городе: знакомства больно много. И еще охота мне Ксеньку подхватить, пока вчистую не спилась, пока под горку не покатилася. Тогда уж не удержишь, она как раскотится и тебя самого с ног собьет!

— Может, одно к одному, и коровку заведешь? — насмешливо продолжал допрашивать Митька из своего холодного далека.

— А какая ж радость человеку в домашности без коровки жить? Я в том греха не вижу, хозяин. Не банк ведь, не дом осьмиэтажный... коровка собственность махонькая!

— Махонькая тем и опасней для человека, Александр, что дороже, потому что завсегда при руках,— тотчас и с неподкупным видом разоблачил его лисью уловку Митька. — Дивишь ты меня, Александр: совсем ты еще молодой, так откуда же такой старый... закостенелый, хочу сказать. Нет, тошно мне с тобой, после поговорим! А пока уходи-ка прочь от меня...

Но Санька не уходил, в намерении в один прием покончить задуманное дельце.

— Нет, не так отпусти... сыми с меня обруча-то, хозяин! — повторно, униженно и еле слышно попросил он, с ушами, накалившимися до зловещей пунцовости.

Собственно, ушей его было не разглядеть в потемках, но так показалось Митьке. В то же мгновенье зажглись уличные фонари и по потолку прокинулась косая, ровно каторжная, решетка оконного переплета.

— Я и не держу тебя,— жестко улыбнулся Митька. — Да ведь и не завтра же ты в поместье к себе отправляешься... так что будет время, обсудим еще. А усы сбрей, братец, к твоей красоте не идут усы... Ступай же, сказано тебе, спать хочу!

Так и пришлось в тот раз уйти Саньке Велосипеду без мало-мальски толкового ответа на главнейший запрос души.

XV

Критиков, хором устремившихся на злосчастное фирсовское рукоделье, больше всего раздражали не досадные оплошности стиля или неряшливые, местами, бытовые неточности в обрисовке среды, не вопиющая низменность привлеченного материала или нехватка оптимизма в общем колорите уголовного мира, хотя, по общему признанью, в указанном сочинении наряду с темными пятнами попадались и заведомо светлые лучи,— их раздражала сумбурность сочинительского замысла. Лишь виднейший критик эпохи, да и то мимоходом, объяснил — каким ветром занесло автора повести на Благушу, когда по соседству имелись не только безопасные, но и поощряемые для литераторских прогулок места, посещение которых сулило существенное улучшенье тогдашнего фирсовского достатка. Из разгневанных фирсовских ругателей только один похвалил его — да и то иронически — за ценную попытку развенчать современных деятелей разбоя, овеянных вредной романтической дымкой в русских песнях, былинах и церковных преданиях; в особенности ядовито превознес он мастерство автора, с каким тот уже в начальной главе сумел внушить отвращение к своим героям...

Сам выходец с захудалой московской окраины, Фирсов отлично сознавал пробелы своего эстетического воспитания, то есть вкуса, который именовал жироскопическим компасом всякого дарования; тем же недостатком на первых порах грешила и остальная советская литература, призванная прямо из огня гражданской войны осмысливать величайшие события века. Больше всего критических прижиганий претерпел Фирсов за Митьку, в фигуре которого была усмотрена злостная символика, но в раздумьях наедине сам себя корил он лишь за Агейку и ему подобных, гадко заследивших все его произведение. Таким образом, Фирсов источник своих бедствий видел в том, что именно Агей, а не кто иной вышел в ту памятную весну к Маше на Кудеме, хотя в противном случае фирсовская повесть просто не могла бы состояться. Агея автор не мог миновать как живую улику корысти и неустройства старого мира, потрясших его в недавнюю войну. Фирсову казалось даже, что грешно обходить стороной груды живой и битой человечины, завалившей столбовые дороги людского прогресса, а заодно и выход для Маши Доломановой из ее тупичка.

В потребности любой ценой свергнуть деспотизм отца и заодно роговский уклад жизни, Маша ступила на скользкий и сомнительный, в отличье от многих ее современниц, путь. Тот же зимний вихрь, что понес над Роговом пепелок доломановской баньки, развеял и сладкий угар Машиной мести; остался лишь болезненный вывих — как в плече от несытного удара — да скверное, на озноб похожее похмелье... Здесь надо оговориться: если Фирсову зачастую и недоставало умственной проницательности, сердечной тонкости и порой даже политического чутья, никто не отказал бы ему в знании глубин блатного ремесла и фактов, имевших место в действительности, словом — в таинственной осведомленности, даже способной пробудить любознательность розыскных органов. Весьма подозрительно также выглядело усердие автора, с каким он старался не подпустить читателя к рассмотрению кое-каких щекотливых обстоятельств в интимной жизни главной своей героини, хотя вполне возможно, он их и сам не знал. «Все надеялась Маша,— вдохновенно подвирал Фирсов,— все надеялась пламенем злой безрассудной страсти обратить Агея, эту человеческую гнилушку, в чистейшую золу, годную к какому-то дальнейшему кругообороту в природе. Душа ее разверзалась подобно горе, извергающей целительный источник; в него погружал Агей свои вечно зудевшие неомываемые руки, в нем напрасно силился он остудить наполовину обугленное сердце». Таким непроглядным, а второпях и двусмысленным поэтическим туманцем были как чернилами залиты именно те странички Машиной биографии, где автору приходилось объяснять, почему в свое время Маша *сама*, скажем, самовольной пулею не прервала этот *адаский*! — как буквально говорилось в повести — адский грех Агеевой близости. В ту пору Машин супруг представлял собою в высшей степени гадкое зрелище нравственного распада, вряд ли поправимого даже таким несовместным применением *огня и воды*.

Среди многих не оцененных критикой авторских намерений Фирсов задался целью показать на Агеевом примере, до какой границы паденья может докатиться удачливый, ненаказуемый преступник. Клиническую картину Агеева разрушенья автор заканчивал знаменательными словами: «Сутулясь от возраставшего груза совести и рук, он уползал во мглу звериного одиночества и отвратительных видений, где ему предстояло подыхать и куда уж не достигали его ни людские слова, ни облегчительные воспоминанья. Иной раз Маше вовсе не удава-

лось докричаться или физически достучаться сквозь каменное, все чаще обступавшее его молчание. Разложение шло поразительно быстро; как и всякую падаль, природа торопилась стереть Агея из поля зрения». Кстати, по Фирсову, Маша по врожденной чистоплотности еще раньше оттолкнула Агея, тотчас после переезда в столицу, и якобы только из опасения ножовой расправы она продолжала оставаться с ним под общей кровлей...

Из тех же загадочных побуждений, что и выше, Фирсов врал и здесь, потому что не в характере Маши Доломановой было склоняться перед самой что ни есть смертной угрозой. Следует допустить, что этими наивными приемами, противореча себе в каждой очередной строке, бедный автор из всех сил старался обелить свою сомнительную героиню, навести трагический грим на ее бледное, всегда как бы в грозовом освещении предстающее лицо. Для фирсовских читателей осталось сокрытым, не была ли эта рыцарская защита блатной дамы следствием нечаянно вспыхнувшего, скажем условно, влечения, своевременно притоптанного и по всем признакам не завершившегося ничем. Иначе незачем было Фирсову пускаться в такие запальчивые и наивные утверждения, будто, несмотря на — пусть даже самое краткое! — Агеево супружество, Маше Доломановой удалось сохранить в неприкосновенности не только свежесть тела или ясность ума, но и гордое человеческое достоинство и всякие там душевные качества, которые, будто по незнакомству с высшими ценностями, не успел жадными руками захватать Агей.

Между прочим, в целях ограждения себя как от критических наскоков, так и от служебной любознательности надзирающих лиц, Фирсов прибегал к постоянному взмучиванью сюжета, отчего при чтении повествованье как бы двоилось и происходила некая рябь в глазах. Прием этот состоял в том, что одновременно с фирсовским вторжением на дно столичной жизни в повести у него на Благушу приходил другой такой же сочинитель под его же фамилией и с той же самой целью написать повесть из уголовной жизни. Но что в особенности возмущало вышеупомянутых служебных лиц, — в повести у вымышленного фирсовского двойника, в свою очередь, действовал точно такой же сочинитель и так далее, причем все они, сколько их там поместилось, являлись однофамильцами и носили одинаковые по рисунку и покрою демисезоны.

Разумеется, это бесконечно усложнило изобразительные задачи начального Фирсова, зато позволяло с зеркальной точностью воспроизводить сложнейшие и запретнейшие обстоятельства, сваливая как ответственность за опасную тему, так и свою собственную литераторскую неумелость на эту зыбкую банду возглавленных им сообщников. Так что если бы на основании какой-либо чрезмерно достоверной подробности ретивый розыскной следователь вздумал бы добраться до первоисточника, чтоб привлечь Фирсова не только в качестве свидетеля, но и как Агеева собутыльника, ему пришлось бы без отдышки гнаться вдоль зеркального лабиринта за ускользающим призраком.

Другим примером такого маскировочного приема может служить одна, довольно низменная по своему психологическому колориту сценка, сочинять которую не было Фирсову никакого резона хотя бы потому, что сам он представал там в неприглядной роли напуганного молчальника. Наблюдать эту характерную семейную вспышку сочинитель мог лишь летом, у Агея на дому, тогда как известно в точности, что знакомство последнего с Фирсовым состоялось значительно позже, зимою и у Пчхова. Агей укрывался тогда в надежной щели, под ложным именем, охранявшим его от приблизившегося вплотную возмездия... Словом, теперь-то уж несомненно, что в описываемый вечер автор повести находился у Агея за столом и, видимо, хозяин резал хлеб к предстоящей выпивке, по обязанности занимая разговором сидевшего как на иголках гостя, а заодно и Машу, которая молчала рядом, расставя пальцы с розовым, еще не обсохшим лаком на ногтях. Содержание этой откровеннейшей беседы лучше всего рисует всю обстановку, в которой происходило вызревание Маньки Вьюги из прежней Маши Доломановой.

— Косточки нет во мне, чтобы не была проклята навечно... — как бы в припадке прозрения раскрывался Агей, и Фирсов с незначащим видом помечал что-то в своем блокнотике, а Маша, скосив глаза, не мигая, глядела на оплывавший в граненом стакане свечной огарок. — Ай боитесь оба смотреть на меня? Весь наскрозь черный я стал, запеклось во мне... воду пью, и она полыхает внутри, ровно керосин. Кричал бы, да тоска за глотку держит. Хочу, чтоб везде темно стало, как во мне... — и вдруг попытался спрятать голову в коленях у Маши, столь отпрянувшей, что почти слилась со своей тенью на стене.

— Перестань, Агей,— вздрогнув на прерванной мысли, сказала та. — Постеснялся бы чужого человека. Опишет он тебя, и все скажут, что ты еще до смерти помер.

На всякий случай Фирсов спрятал блокнот в карман, но ожидаемый взрыв не состоялся.

— Вот ты шибко умный, говорят, книжки сочиняешь,— насмешливо, как ни в чем не бывало, заговорил Агей,— а скажи, Фирсов, верно ль, будто кто много других затемнял, тот сам жальче собаки помирает?

Неизвестно, как вывернулся бы Фирсов, если бы Маша не пришла ему на выручку.

— Не трусь, Агей, ты хорошо, смело помрешь, как придет твой час,— как-то протяжно и леностно отвечала она, привыкнув к Агеевым метаньям.

— А скоро ли он придет, по-твоему, Машенька, час-то мой? — с лаской острей ножа допытывался Агей, бесчувственным пальцем поигрывая с пламенем свечи.

— Потерпи... я так думаю, совсем уж скоро теперь,— со спокойствием скованной бури сказала Маша, и Фирсов в соответственной главе с похвалою отмечал вызывающее бесстрашие ее ответа.

— Небось как светлого праздничка ждешь, бедная ты моя вдовушка,— кротко посмеялся Агей. — Ишь коготки начистила, дружка щекотать... уж подождала бы. Погоди, проведаю — для кого, будет ему крупная от меня щекотка! — и вдруг ударил рукоятью ножа по ненавистным розовым ногтям, так что Маша вскрикнула сквозь стиснутые зубы.

Правда, в следующее мгновенье он искательно тянулся к отдернутой Машиной руке, то ли убедиться в несерьезности поврежденья, то ли губами просить прощенья. Кстати, как главный Фирсов, так и все остальные его зеркальные подобия испытали на этой странице одинаковый ледяной холодок под лопатками и, якобы из боязни оставить повесть недописанной, остереглись от вмешательства в расправу над женщиной. Фирсов правильно разгадал Агеев выпад как крик из обступавшей его пустоты и не менее точно описал тогдашнее душевное состояние своей героини... Двойственное чувство переполняло в те сроки Машу: и свободы хотелось, и страшило мрачное звание Агеевой вдовы, в каком ей вскоре предстояло вернуться в покинутый ею мир. Вроде и не растрачивала зря своей душевной силы, но все чаще наблюдала, оставаясь с зеркалом наедине, как отвердевают складки вкруг рта и в маску мерт-

венного спокойствия складывается ее темная властная краса. «Как бы беспрестанная снежная поземка выравнивала сугробистую даль в Машином сердце, новые гребни наметая взамен...» — писал Фирсов, привлеченный вначале всего только жалостью к ее вечному непокою, а московская плутня, подбирая кличку Маньке Доломановой, тоже сумела подметить ее взвихренное состоянье. По-видимому, у Фирсова были основания утверждать, что при ее появлении в людных местах воры немедля прекращали любую деятельность, парализованные скрытным и молчаливым восхищеньем. Никто не посмел бы даже шепотом выразить ей свои чувства; лишь курчавый Донька вслух, во всю силу своей тайной страсти назвал ее Вьюгóю в знаменитом стишке, сложенном на нарах ермаковского ночлежного дома.

Нельзя более медлить с окончательным рассмотрением фирсовского отношения к Агею. Хотя эта человеческая падаль являлась для писателя всего лишь смердящей социальной уликой на судейском столе потомков, в повести сверх того любое авторское сужденье об Агее было окрашено явственной личной неприязнью, вопреки тезису самого Фирсова, что бесстрастие — единственный способ для судьи не замараться о преступление. Некоторые фирсовские интонации звучали как тоскливая ярость за прежнюю изгаженную Машу, а кое-что выглядело даже посмертной расправой с соперником. Таким образом, сюжет захлестывал Фирсова, и под конец он сам становился своим собственным персонажем. Одновременно стиль повести приобретал неприятную сбивчивость, а воздух в ней как-то вьюжисто мутнел — потому что ясность произведения прежде всего зависит от того, насколько автор поднялся выше своих героев.

Верно только, что падение Агея в пору фирсовской встречи с ним развивалось почти стремительно. Начальная, обманувшая Машу песенность грозной народной молвы об Агеемстителе начисто улетучилась после отъезда из Рогова, а в канун заключительной катастрофы Агей почти не показывался на людях. «Черное облако отверженности и грешности с такой густотой одевало его, что дети разбегались при виде его, прохожие торопились уступить дорогу, хотя Агей всегда шел по улице скрывая руки и с косою улыбкой, спрятанной за поднятым воротником пальто, не подымая глаз». Так вот, во избежанье нежелательного впечатленья, будто сводит счеты,

Фирсову никак не следовало переносить эту позднейшую характеристику на сравнительно раннего Агея, когда, по отзыву того же Фирсова, «он был еще опрятен и ел самостоятельно».

XVI

В ту пору, когда на удивленье всего блатного мира сам Дмитрий Векшин посетил соперника своего, главной клинической приметой близкой Агеевой поломки была всего лишь полусуеверная боязнь дневного света. Сидя у себя в норе, он без отдышки, от еды до еды, и не гонясь за сходством, крутил бумажные цветы и раскладывал про запас по картонным коробам у задней стены. Он копил их, точно сбирался увенчать ими однажды кое-кого из почтенных деятелей буржуазной современности, которые с помощью хитрейших экономических, моральных и прочих манипуляций подняли его, рядового крестьянского парня, на вершины цивилизации, изготовив из него столь же выдающегося убийцу. Разум Агея спасительно выключался на время этих занятий: трудились одни руки, костеневшие от усталости и не желавшие умирать... Он не терпел входивших к нему без стука и вздрогнул теперь, даже метнулся к подоконнику зачем-то, едва зародился незнакомый звук не Манькиных шагов, и потом шорох бумажных обрезков на полу сопроводил медленное движение открываемой двери.

— Входи же... — в полный шепот крикнул он с мукой затянувшегося ожиданья.

Лицо его выразило высочайшую степень виноватого оживленья, когда увидел Митьку. Услужливо стряхивая бумажный сор с табуретки и привычно пряча что-то в рукаве, он усердно приглашал садиться, заискивал в госте, приход которого таил в себе надежду на какую-то спасительную неизвестность.

— А, вона кого бог послал... давненько. Присаживайся рядком, Митя, подмогни! — и раскатился глухим дрожащим смешком.

— Отложи нож-то, порежешься! Я к тебе насчет того дела, с каким ко мне посыльные твои на днях приходили,— сразу объяснился Митька во избежанье недоумений и, разочарованно оглядевшись, присел на показанное место, но сидел както выпрямленно и настороженно, словно опасался, что на всю жизнь прилипнет к нему какой-нибудь Агеев лоскуток.

— И что же, пойдешь со мной, не погребуешь? — недоверчиво покосился Агей, сделав попытку прикоснуться хоть к его рукаву.

— Обсудим, не завтра же отправляться... опять же ты под моим контролем пойдешь, — уклонился от прямого ответа Митька и поднялся, вовремя отдернув свою руку.

Агей сидел, чуть наклонясь вперед, и руки его с видом чугунных провисали меж колен. Нежданно Митьке пришло в голову дикое открытие, что, верно, до солдатчины, пока не пробрызнул первый ус над губой, Агей был красив и статен; тогда еще не вился над низким морщинистым лбом этот вскурчавленный, словно подпаленный волос. Как бы отвечая Митькиным мыслям, Агей прочесал голову всею пятерней и обдернул беспоясую рубаху, отчего стал чуточку еще страшней.

— Митя, — заговорил он, бросая руки на стол, — уж не брезговал бы ты мною! Я и не скрываюсь, что дружбы твоей ищу... не дружбы даже, а хоть изредка подержаться за тебя! Уж больно я нонче... словом, совсем одинешенек стал.

— В деревню ехал бы тогда, чего тебе здесь? — наугад посоветовал Митька и сам себе подивился, с каким жалким нетерпеньем ждал появления Маши, ради чего и притащился сюда. — Осталась же у тебя родня в деревне!.. отец-то жив еще, сказывали?

— Как же, папаня у меня здоровый, точно в кузне ковали. Мой папаня сам на меня в чеку ходил. «Чего вы за ним рыщете, зря сапоги треплете? — это он им про меня говорит, про дитя родное. — Лучше выдайте мне машинку на руки, шпалер по-нашему: он, говорит, ко мне скорей наведается, чем к вам». Отец на сына, каково, а? Какая там, к черту, родня. У меня, Митя, родня только сапоги, остальные — все хорошие знакомые! Меня сапог не осудит, оба мы с ним черные: хвастаться ему передо мной нечем! Да еще вот ты меня не осудишь... потому что знаешь, что меня нечего судить, а сжечь надо и пепел из пушки в небо пальнуть! — Вдруг он заглянул в лицо гостю. — Может, сразу Маньку тебе позвать... ай потерпишь — со мною? — И Митька нашел в себе силу ответить спокойным тоном, что никуда не торопится. — Но если очень тебе желательно, то суди меня, Митя, с удовольствием послушаю. Я к тому, что Манька больно хвалит тебя... честней и чище не бывало мальчоночки на свете, а к нам будто не от разгула, а единственно по скверному ндраву попал. К слову, напрямки, если не секрет... верно это, будто ты так ни разику

и не пожил с нею?.. ну, когда на Кудеме-то прятались? — Агей лгал из ревнивой и неусыпной ненависти: жена ни словом не обмолвилась ему про совместное с Митькой детство, однако кое-что Агею удалось самому разведать стороной.

— Мне не к чему судить тебя, Агей,— терпеливо сказал Митька, пропустив главное. — К несчастью, я и сам недалеко от тебя ушел...

— Понятно, не судите, да не судимы будете, хе-хе... — и снова кашляющий Агеев смешок расползся по комнате. — Круговая порука, значит! Не судите, потому что у самих рыльце в пушку. Совестливые всегда бывали хитрее грешных... Ан, врешь,— суди меня, а я посмотрю, с какой такой точки ты меня судишь! — Подавшись вперед, Агей вскользь хлестнул ладонью по столу, так что огарок свалился и продолжал пылать в прозрачной лужице стеарина. — Я тут частенько шумлю, жжет меня, не обращай внимания, Митя. Ты промеж нас совсем как гражданский герой, только второго сорта... и ты собою вроде протестуешь, а мы-то, грешные, давно кормимся нашим делом. Глядишь, тебе еще простят, как своему, и ты по-над нами на казенном коне гарцевать будешь, а я... — Он понизил голос до шепота. — Я уже знаю, в которое мне место пуля войдет... Нет, мне бы только лестно было, кабы ты меня маненько посудил: даже интересно на себя в зеркало с золоченой рамой полюбоваться. И я не шучу, должен кто-нибудь и во мне разобраться: изучают же нечисть всякую, пускай руками и не прикасаются...

Тогда-то Митька и помянул мимоходом, как неделю назад прогнал от себя одного бесстыжего сочинителя в клетчатом демисезоне. Агей воспринял сообщение с почтительным любопытством... Вскоре Митьке душно и тесно стало от Агеева присутствия. Он подошел к окну и отдернул в сторону чуть наискось и гвоздями прибитое одеяло. Ворвались свет и тревога: на улице оказалась не ночь, лишь вечер пока. Теперь запущенная неряшливость комнаты еще сильней выдавала душевное состояние ее жильца. Окно выходило на запад,— обычно грязноватый городской снег чудесно и оранжево поблескивал на крышах. Где-то в нежнейшем отдалении, под чугунной плитою неба догорала ленточка зари, такая ласковая и тоненькая, словно из девчоночкиной косы.

За спиной вполголоса откровенничал Агей, а Митька кивал, не имея нужды или охоты вникать в признанья, содержанье которых к тому же целиком надо оставить на совести

сообщившего их Фирсова. Митька глядел в окно и думал: вот сразу, немедля, выйти бы в эту лиловеющую загородную тишину, выбрать проселок попустынней и, доверясь ему, брести неделю без мыслей и желаний, без ничего, кроме решимости к забвенью,— и не останавливаться нигде, а только все идти сквозь море, если встренется, через снежные хребты, вон в ту золотистую щелку зари — без желания узнать, к чему все это... Ему почудилось даже, что грудь его наполнилась крупитчатой свежестью морозного воздуха, а ноги налились ноющей сладостью от долгой ходьбы.

— ...И ведь сколько разов я тебя добивался, чтоб свидеться, а ни на одну записочку ты мне не ответил,— достиг наконец Митькина слуха укорительный Агеев голос. — А я тебе напрямки скажу, зачем ты сегодня пришел ко мне...

— Ладно, ладно, не хитри,— раздраженно прервал Митька, лишь бы избавиться от этой навязчивой близости. — Я давеча по глазам твоим увидел, что сразу разгадал. Да, я согласился прийти к тебе потому, что Машу захотелось повидать... хватит с тебя?

Митька произнес это, все еще стоя спиной к Агею. Вдруг он обернулся скорей на тишину, чем даже шелест чьего-то другого, кроме Агеева, присутствия. Еще раньше по внезапному замиранию сердца Митька понял, что вошла Вьюга.

XVII

Они не виделись с осени, после случайной встречи в цирке, где им обоим выгодней было не узнавать друг друга. Манька Вьюга была в неизменном для всех случаев жизни чуть старомодном, но словно впервые надетом черного шелка платье, тесном и без ворота, как для эшафота. Стоя на пороге, чуть привалясь виском к притолоке двери, Вьюга курила папироску. Ни лоскута пестрого не было на ней, но такая незнакомая покорительная новизна появилась в ее облике за истекшую треть года, что Митька ослепленно опустил глаза.

— Здравствуй, мой родной... — сказала она просто и приветливо, но пошла к нему не прямо, а почему-то в обход стола и с Агеевой стороны. — Я случайно слышала там, как ты сейчас пытался обмануть Агея, и решила заступиться за него. Ты затем напрямки ему и признался, что ради меня пришел, чтоб он тебе не поверил... а ведь и в самом деле ты ради одной

меня притащился. Гляди-ка, нехорошо как получилось: он души в тебе не чает, а ты... — Может быть, желая вознаградить Агея, она сзади кончиком пальцев коснулась его лица, и тот быстро прижал щеку к плечу, стараясь защемить ее руку, но опоздал, а Митька понял, зачем и чего стоила ей эта показная ласка. — Что, дурачок, все со своими цветочками возишься? Выбрал бы покрасивше какая, покрасней, да подарил бы гостю розочку на память. Ай плохо гостится тебе у нас, Митя?.. уж и полюбоваться на себя не даешь, никак уходить собрался? Посиди, погости у нас.

Только теперь Вьюга протянула ему руку, и Митька суеверно удивился, как гибка, горяча, беспомощна сейчас оказалась ее рука.

— Я, собственно, мимоходом забежал, о дельце одном условиться,— уклонился от ее прямого взгляда Митька. — Времени у меня в обрез...

— Чего ж ты так волнуешься, чудак! — сдержанно улыбнулась та. — Я ж тебя не на колени к Агею садиться приглашаю... И железа на лицо себе не напускай, сам когда-нибудь увидишь, что я вдвое тебя железнее.

Впервые вступая в разговор после долгой разлуки, они с трудом привыкали к личинам, надетым на них жизнью. Была какая-то головоломная гонка в их падении, кто кого опередит, и все это время оба не теряли из виду друг друга. Не досказав чего хотела, Вьюга отошла к окну и, стоя спиной к мужчинам, рассеянно играла золотым подвеском браслетки. Плечом перекинувшись через стол, Агей потискал протянувшуюся за папиросами векшинскую руку.

«Смотри, какую проворонил... хороша, лакомая?» — мигнул он Митьке с тусклым ножовым блеском во взоре, направленном Вьюге куда-то между лопаток.

А уж почти смерклось, и, пока гаснула девчоночкина лента за окном, Манька Вьюга и гость ее мысленно торопились расспросить друг друга о непоправимых в их жизни переменах, третий же и лишний здесь озабоченно переводил глаза с одного на другую, в поисках лазейки — проникнуть в их неслышную беседу. Потом этажом выше стали вбивать бесконечно длинный гвоздь, и, кстати, зорька успела развалиться бурым пепелком по горизонту,— Вьюга отвернулась от окна.

— Гордый стал, никогда старую подружку не навестишь, Митя. Я давненько это свойство за тобой примечала: сам же назначишь свиданье, да еще в глуши где-нибудь, да и не при-

дешь... плохой ты, Митя! — Она сделала длинную паузу на проверку и, подойдя, даже осмелилась приподнять похудавшее его лицо за подбородок — при Агее, который зачарованно взирал на непонятную ему игру, но Митька ничем не выдал своих мыслей. — И угрюмый сделался какой!.. а ты приходил бы ко мне почаще, как друг детства. Я тебя и развлеку малость от твоих огорчений, и винцом угощу... как пойдешь мимо, так и подымись. Ну, взгляни ж на свою Машу! — добивалась она чего-то от Векшина, который продолжал глядеть чуть вниз и в сторону, на дымок своей папироски. — И я хороша, пятно где-то на новое платье посадила, беда какая... да на самом видном месте, на рукаве. Это ты, Агей, твоего пальца след! — И сцарапывала почти несуществующее пятнышко с видом, словно не бывало у ней иной печали. — Ты, верно, стыдишься меня, Митя, прячешься, а зря... я все равно о каждом твоем шаге знаю. Только вздохнешь, а я уж знаю, у меня на каждом углу покупные очи стоят. Заходи и змея-горыныча моего не бойся... ведь он тоже стоглазый, знает, что у него ни перышка не украдешь! — И долгим взглядом посмотрела на Агея, бурным восторгом встретившего ее сообщенье. — Слух про тебя дошел, будто ты сестренку свою отыскал? Непременно покажи: если ты мне как брат, значит, и она не чужая... Ты пошел бы теперь на кухню, Агей, самовар поставил бы, голубчик. Гость чайку хочет, да вишь, намекнуть стесняется... слышишь, кому сказано?

Кроме глухого ворчанья, муж ничем не выразил своего недовольства, и пока уходил, дважды по пустякам возвращаясь с порога, Вьюга по-женски неумело чиркала спичкой о коробок.

— Вот зажглась наконец... — сказала она, усаживаясь напротив, едва закрылась дверь. — Курить хочешь?

— У меня свои... не люблю с духами, — грубо ответил Векшин, раздражаясь властью этой женщины над собой.

— А ведь ты, я вижу, чуточку меня побаиваешься, Митя... правда? Не отодвигайся, чудак, я же тебя не трогаю... — Ее смуглое лицо, в завитках как бы разметанных ветром волос, оставалось невозмутимо спокойным, только подкрашенные губы слегка подергивались. Она понизила голос: — Впрочем, мне понятны твои страхи: если бы что завелось меж нами, по старой памяти, знаешь ли ты, как поступил бы Агей с нами обоими, с тобой в особенности! Ладно, не бледней... заступлюсь, отмолю! У меня словцо есть на него заветное...

Не закончив мысли, Вьюга легко переметнулась через комнату и быстро рванула дверь на себя. Ссутулясь, Агей стоял за самой дверью, Векшину показалось — с руками чуть не до полу, с головой чуть набочок и в подшитых валенках, а с лица его еще не сползла тяжкая озабоченность незнания.

— Ну, чего, чего вы тут затихли, ровно воруете! — заухмылялся он подло и виновато. — Чего вы у меня воруете?

Вьюга бесстрашно шагнула к нему навстречу.

— Ай-ай, нехорошо-то как, Агей... Кому я раз навсегда запретила подслушивать? Марш на кухню!

Она повернула его, послушного, лицом в обратную сторону и, потолкнув ладонью в плечо, лишь полуприкрыла дверь на этот раз...

— Слушай, Маша,— только теперь овладев собою, заговорил Митька,— тебе известно, что я не шибко пугливый, но мне и в самом деле неохота драться с Агеем... да и не велика радость рога ему наставлять. Постарайся привыкнуть к мысли, что я не боюсь ни чар твоих, ни его ножа, ничьей мести! — и даже применил точное блатное словцо, чтобы обозначить степень своего пренебреженья к любым страхам и запретам на свете. — Ты постоянно делаешь ту же ошибку в расчетах: уж как-нибудь постараюсь пережить нашу разлуку... и вообще не путай человека и его временную оболочку! — По фирсовскому замыслу, в соответственном месте повести Митька хотел сказать, что даже петля на его шее всего лишь обстоятельство судьбы, а не личная характеристика.

Вьюга слушала его, кружевным платочком рассеянно вытирая с ладони,— может быть, прикосновенье к Агею. Во всем ее поведении Митьке чудился заведомый план, но сосредоточиться, проникнуть в него мешали то раздражающие шорохи ее платья, то отвлекающий вниманье запах ее духов.

— Не боишься, покамест сильный... — бегло и без выраженья заговорила Вьюга,— но однажды задувает незнакомый ледяной ветерочек, сгибает и вяжет гордецов в узелок. Вот как начнешь гнуться, так и прибежишь ко мне, а я уж наготове буду в дверях стоять. И не жди тогда от меня пощады... еще покойный отец примечал, что характер у меня дурной, сварливый. Прямо говорю: я из тебя хуже тех сделаю, кого ты презираешь сейчас... безвинной тебя кровью обагрю. Мне и слез твоих мало, а ведь ты не плакал пока. Думаешь, уж убил свою любовь? Глупый, только изувечил! Отец на глухарей ходил, на глухаря — на любовную песню охота. Его бьют, когда

он изнывает от любви, караулят из шалашика. Приспеет время, и я тебя на песне возьму: а потом на помойку выкину... авось человек в тебе родится!

— Рассудок, значит, от тебя потеряю? — сквозь зубы пошутил Митька.

— Зачем же, и терять его не придется... а просто вспомнишь однажды, как ландыши мы с тобой рвали на белянинской опушке. Еще радуга стояла на лугу, совсем близкая, хоть подкрадись и отломи на память... да так и не успели мы с тобой, распалась. Ты хороший, милый был, и все мне поцеловать тебя хотелось... разве уж отдать тебе должок? — Она приблизила было лицо к нему, не ожидавшему нападенья, но в решающее мгновенье, щурко заглянув в глаза, лишь головой покачала и оттолкнула. — Нет, не хочется мне вора обнимать... Неужто вправду говорят, будто ты собственную сестру обокрал? Такого сдуру прижмешь к сердцу-то, а он тебе карманы и обчистит. Не хочу, — с правдоподобной зевотой заключила она.

— Бешеная, таких в погреб на́ цепь запирают... — с дрожью в голосе заговорил Митька, волнуясь, как при разглядывании старенькой фотографии из чемодана сестры. — Что тебя злит, что гнетет тебя, откройся?! Если и обидел чем, так ведь мало ли чего в жизни не случается: живые... не ровен час, и толкнешь локтем. Ведь я же не сержусь на тебя, что, от бешенства своего кинувшись в эту ямину, ты и мою часть, что я имел в тебе, запоганила... но я простил тебя, почти простил. Объясни наконец, чем же я тебя обидел, Маша?

— Уж будто не знаешь чем? — лукаво прикрыв платочком странно заблестевшие глаза, улыбалась Вьюга.

— Если тогда в Рогове не подошел, как ты позвала меня, так ведь ты же вся в кружевах да в шелке была, а я хуже черта, в мазуте с головы до пят. Зазорно черту рядом с ангелом гулять... все еще не смекаешь? Так скажи — чем?

— Ведь вот ты какой, Митя, хуже смерти человеку причинишь, а и не заметишь. Ступил ему на́ сердце и прошел дальше по текущим делам...

Митька молчал, бессильный разгадать пугающую, потому что среди улыбки, слезинку в углу Манькина глаза.

— Все равно, на́, возьми себе колечко в знак того, что я не сержусь на тебя!

Он протянул ей из бумажки ту, давнюю, с поддельной бирюзой вещицу, — и еще не отдал, как та сама отняла его.

— Ой, колечко, да милое какое!.. откуда оно у тебя, не ворованное?

— Я его на самые первые свои, на чистые деньги купил, — с непобедимой мальчишеской гордостью сказал Митька. — Когда еще у отца жил...

— Это хорошо, что на деньги купленное,— кивнула Вьюга. — А то еще опознают где-нибудь да засадят за тебя твою подружку в казенный домок о сорока решетчатых окошечках.

— Ты не приехала тогда и не пришла на мост в тот последний раз, а я все ходил взад-вперед, в кулаке его тискал. И дождик шел...

— Бедный, до костей поди промок?— пожалела его Вьюга.

— Не в том дело, что промок, а что обмирал по тебе до самого вечера...

С пристальным и необъяснимым любопытством, на минутку охудевшая, некрасивая даже, Вьюга любовалась на подарок, протирала рукавом, подышав, и опять разглядывала.

— Еще бы!.. жалко ведь, если такая вещь без дела заваляется. Ой, спасибо, как она мне теперь пригодится впереди... Дорогая поди?

— Два рубля плочено.

— Только и всего?.. так, значит, поддельный он, камешек твой? Такой еще голубой, а смотри-ка, уж фальшивый! Дешево же ты, Митя, милость мою хочешь купить... — Она вся вытянулась, как на предельном звуке струна, а Митька тревожно покосился в лицо ей, где, почудилось ему, сверкнули молнии. — Вон Донька-то...

— Чего ж осеклась, продолжай!

— Донька, говорю, карточку мою старую, по карманам затасканную, у одного там... страшно даже сказать, на что выменял.

— Не на душу же!.. а два целковых цена вполне приличная, Маша. — И тоже как бы железный дребезг прозвучал в его голосе. — Пятерку сапоги хромовые стоили. А мне всего пятнадцать годков было... много ль со шкета спросишь!

— Все одно мало, Митя,— настойчиво повторила она. — Я к тому так, что дорогая я, нищим не по карману. За меня все тебе отдать придется, и еще, что на донышке души хранишь, сама возьму в придачу. Хоть на Агея оглянись... Может, мы с тобой крылышко в крылышко здесь сидим, милуемся, а ему приходится тряпочкой золу с самовара обтирать. Он и Доньку-то терпеть не может, а ведь ты ему разка в три опас-

нее, никак не меньше. Опять же у тебя-то еще все впереди — и тюрьма и, бог даст,— петля, а мой уж последнее догуливает и наперед все знает. Как за стенкой в соседней квартире, а стенки тонкие у нас, дети со стола что-нибудь либо табуретку уронят, посмотрел бы, что с ним делается. А тоже крутой был, вроде тебя... хотя ты погордей, пожалуй!.. нет, не на то я серчаю, Митя, что в Рогове ко мне не подошел... я же понимаю, с барышней пройтись перед товарищами неловко, как будущему борцу за человечество. Вот монахи тоже всего красивого страсть как стесняются, чувств сердечных, слабостей души своей. Знаю я таких, неподкупных, в рубаху промусоленную одеться норовят, с сальным ремешком, зато уж наедине-то как останутся... Самые длинные и злые ханжи из них выходят, бичи на спину рода человеческого!

— Я не повинен в твоих несчастьях, Маша,— как в клятве, еще не сдаваясь, но ужасаясь чего-то впереди, сказал Векшин.

— Да разве я потревожила тебя хоть словечком осужденья или намекала, в чем мои несчастья, а твоя вина состоят?.. Вот и отрекаешься, а ведь врешь, Митя, наверно, все до капельки сознаешь. И не прикидывайся, что все тебе нипочем... иначе не стоял бы тут руки по швам передо мной, не терпел бы. Теперь наперед предскажу: лишь бы доказать мне, что не для меня пришел ты в наш горький дом, ты сейчас дашь согласие пойти с Агеем на вполне погиблое дело. И большую беду из-за этого примешь. Бедный же ты у меня: и без того щипаный да еще в любови запутался, а уж срок тебе подступает, Митя, по всем вексселькам платить... — В ее голосе хрустнуло что-то звуком стекла под ногой. — Нет, мне неинтересно нынче твое колечко, Митя... своих хоть завались!

— Это не ты, это горе в тебе кричит! — пугаясь ее внезапной решимости, перебил Векшин.

— Нет, это я говорю, Марья Столярова, по кличке Вьюга, жена Агеева. И я тебе как-нибудь расскажу, поделюсь при случае, как мы вроде венчались с ним, и сам дьявол черным ладаном на нас дымил... и как он меня поцеловал, и трупом изо рта у него пахло, и я ему свое *да* отдала! — прибавила она, не замечая преувеличений, потому что именно так представлялось дело ей самой. — Понятно тебе теперь, как крепко ты меня ему отдал? Вот за это самое, придет срок, я и посмеюсь над тобой. Эх, герой, скажу, где ж знаменитое твое ге-

ройство? — Шепотом начав речь, она кончила без опаски, что хоть клочок ее достигнет ушей Агея.

Комната была жарко натоплена. С пылающими висками Векшин снова отошел к окну. На очистившемся западном небосклоне скудно пока светились чужие окна, и слева обычное мутное зарево уже подпирало грозивший рухнуть свод ночи... Вдруг Векшина еле слышно и робко позвали сзади по имени, но нельзя было обернуться, потому что, возможно, с этого зова и должно было начаться Митино возмездие. В ту же минуту Агей внес почти игрушечный самоваришко, держа его в растопыренных пальцах, наподобие гармошки. Кажется, Вьюга решила не откладывать исполнение своей угрозы. Она задержала теплый взгляд на Агее, выражая признательность на их немом секретном супружеском языке и, кажется, обещая награду. Митьке почудилось позже, что, расставляя посуду, Вьюга шепнула на ухо Агею какой-то смутительный вздор, и тот стал еще покорней, а внутри Митьки скользнула странная, мимолетная боль, обожгла и пропала, но ожога ее не залечили бы и годы безоблачного счастья.

Долго гостевать в этом доме было не в Митькиных намерениях. Он решительно отказался от чая с любимыми его сушками и покупного варенья в низких баночках. Стоя, Агей описал вкратце обстановку подготовляемого набега, но его увядший разум уж не был способен к спортивной игре или дерзкой выдумке. Ни искры искусства не оставалось в нем, к намеченной цели он шел напрямки, через мокроту и ужас... Дело предстояло не очень сложное — выпотрошить медведя, несгораемый шкаф в конторе одного частного, акционерного якобы общества, выпускавшего, как сквозь желтые прокуренные зубы пошутил Агей, душистые зубные порошки особо тонкого помола: для девственниц. В действительности предприятие было вовсе не частное и занималось совсем иными делами: Агей предвидел возможное Митькино упирательство. И вообще лишь с запозданием раскрылся каторжный замысел этого лихо построенного Агеем розыгрыша в отношении соперника. Весь его вполне оправдавшийся расчет состоял в том, что, добравшись на место действия через задний ход, Митька, по ночному времени не расчухает, куда пришел с визитом... Со слов бухгалтера-наводчика, медведь был простодушный, старинного устройства, и жирный, то есть денежный. Тот же бухгалтер, придумавший ограбление для частичного сокрытия растраты, дал сведения о ночной охране, размерах дневного поступленья,

близлежащих подвалах и, наконец, о тайной сигнализации за наружной вывеской.

После Агея свои условия поставил Митька, и тотчас стало ясно, что все произойдет по его наспех набросанному плану. Сопя, Агей схлебывал с блюдечка чай с сахаром вприкуску, очень довольный и как бы безоговорочно признавая Митькино превосходство. Вьюга с рассеянным видом прислушивалась к сговору, изредка заглядывая в мятый, на столе, Агеев чертежик конторского помещения, потом снова занялась пятном на рукаве, словно опасалась, что с платья Агеево прикосновение проникнет на самое ее тело. Вскоре она совсем ушла...

Разумеется, содержание всех приведенных здесь необузданных словесных откровений следует оставить на совести сообщившего их Фирсова. Впрочем, все из той же сочинительской хитрости он излагал их не от своего лица, а приписывал своему зеркальному однофамильцу; правильнее всего было допустить, что в действительности такого разговора вовсе не было.

XVIII

В фирсовской повести из всех жильцов квартиры номер сорок шесть наиболее полное описание потребовалось для Петра Горбидоныча Чикилева, хотя соседи, имея в виду его поразительную способность по части наведения ужаса, не хуже сослуживцев окрестили его человечком с подлецой. Из-за одного личного, случившегося у автора столкновения со своим персонажем — и во избежание дальнейших — Фирсов проявлял щепетильную точность в его характеристиках, даже стремился оправдывать в нем то, чего и не следовало бы. Так, на редкость неуживчивый характер Петра Горбидоныча сочинитель объяснял исключительной и не зависящей от его воли бесталанностью и отсюда законной обидой на остальное человечество, которое, несмотря на провозглашенное и завоеванное равенство, все еще продолжает наделять любимцев сомнительными, а зачастую и опасными для будущего достоинствами. Печать столь чрезвычайной посредственности лежала на внешности и судьбе Петра Горбидоныча, что не только выдающихся радостей, но даже несчастий не случалось в его жизни, достойных описания, — он как-то ни разу и не болел по-настоящему, хотя постоянно недомогал; никогда не испытывал

возвеличивающего его личность горя, зато огорченьями был отмечен всякий день его. Но, как нередко случается, на службе эту почти феноменальную ничтожность неизменно относили за счет его врожденной скромности. И потому Петр Горбидоныч пуще всего боялся блеснуть соображением при высших лицах, чтобы не возбуждать в них подозрительности, могущей возникнуть от сравнения умственных способностей. Это не значило, однако, что у него не зарождалось полезных планов, напротив — всегда в голове его имелось несколько, но все они касались неустройств второстепенных и за пределами его учреждения, как, например, проект вывести сорт картофеля кубической формы для удобства в укладке и перевозке на дальние расстояния с последующим переносом, если окупится, и на яйценесение у кур. «У меня еще и не то в башке таится...» — с опущенными очами бахвалился он в подходящей компании, рассыпаясь тем дробным щекотным смешком, что вырабатывается от общения с могущественными начальниками. Естественно, последним нравилось иметь под рукой кроткого, зубатого ребенка, пускай в годах, зато с чистой душой, чтобы без риска последующих разочарований опереться ему на темя в хорошем настроении. Всегда поэтому на мутно-зеленой груди Петра Горбидоныча красовалась уйма разных жетонов и значков, которыми отмечается не столько участие в чем-либо, сколь присутствие. Так, действуя где силой убеждающего взора, где цитатой из политграмоты, а где неким третьим способом,— постепенно высверливал он себе норку в новой жизни, как когда-то и в старой; накануне революции был он представлен к Анне, каковой не получил вследствие, как он оговорился однажды, возникших в России беспорядков... Уже достиг он председательства в домовом комитете, имевшем немалое влияние на здоровье ближайших к нему граждан, заседал и повыше кое-где, но все подвигалась вперед его житейская карьера.

В связи с помянутыми успехами, Петр Горбидоныч и замыслил жениться на подходящей невесте, однако не для продления своего рода или во имя каких-либо личных телесно-нравственных интересов, а с почтенной целью приобрести высшую солидность для еще более аккуратного выполнения порученной ему должности. Предприятие это было уже обдумано как со стороны финансово-хозяйственной, так и в смысле юридических осложнений на случай развода, если бы избранница оказалась негодяйкой,— едва же дошла очередь до

жилищной площади, мечта Петра Горбидоныча сразу уперлась в ничтожное, казалось бы, но вместе с тем неодолимое препятствие в лице сожителя Манюкина. Вопреки расчетам, тот еще проживал на свете, хотя, кроме как на место его коечки, некуда оказалось поставить предполагаемый буфет для хранения в оном подсобной домашней утвари. Ввиду значения, которое приобретала в мире общественная и финансовая деятельность Петра Горбидоныча, помянутое противодействие Манюкина можно было рассматривать даже как злостный выпад против, по меньшей мере, государственной казны,— в свою очередь, это давало преддомкому моральное право на вытеснение сожителя из комнаты, находившейся в их совместном владении. Атака началась с повышения квартирной платы... да и действительно, достатки Манюкина вызывали законные подозрения относительно их источника. Бывший человек не только выпивал в неумеренном порою количестве или, скажем, приобрел несовместимые с его исторической обреченностью вызывающе-желтые штиблеты, но и варил однажды на примусе не отечественную, а брюссельскую капусту, каковой факт Петр Горбидоныч, с риском обжечь палец, собственноручно установил через секретное обследование его алюминиевой кастрюли.

В одном анонимном письме куда следует, в поисках высшей справедливости, Петр Горбидоныч прямо ссылался на угрожающее поведение указанного Манюкина, каковое ему якобы удалось мимоходом изучать, примкнув к замочной скважине в качестве случайного наблюдателя. Находясь под хмельком однажды, Манюкин неосторожно намекал даже самому Петру Горбидонычу в лицо, что не следует доводить живого человека до той крайности, когда тот может поступить нехорошо.

— Не загоняйте меня в уголок, дорогой мой Петр Горбидоныч, дабы не выйти мне из человеческого облика,— извивался он,— чтобы не оскорбить мне вас шальным словом или тем более прикосновением. Раз вы являетесь человеком по форме, то будьте же им и по содержанию!

— Не противьтесь духу времени, гражданин,— уничтожающе фыркал на это Петр Горбидоныч и крутил ус. — Доведете меня до того, что войду и опишу ваш примус... с последующим выселеньем, ибо самое существование ваше представляет собою явление глубоко безнравственное. Мой же вам совет, как старшего по положенью, кончайте частную профессию и поступайте на оклад в государственную филармонию либо переселяйтесь в какое-либо общежитие...

— Так ведь, обожаемый, не примут меня на службу, как бывшего... какое же в таком разе остается мне общежитие, окромя Ваганьковского? — до высочайшей ноты утончался манюкинский голос, а рука сама тянулась к пуговке чикилевского френча, но тот неподкупно отстранял этот заискивающий жест отчаянья. — И без того находясь в беспрерывном верчении, больше всего страшусь я, как бы не пробудился во мне нежелательный атавизм. Вот скакну на вас и откушу вам, например, ухо!

— Не угрожайте, не отступлюсь, Сергей Аммоныч, а стану биться... — чуть бледнея, припотступал Петр Горбидоныч.— Вы упускаете из виду закон, который с неусыпным мечом стоит на страже моего уха. Но я хочу с вами без наскоков, а по совести... Можете ли вы допустить в мыслях, что вдруг я женюсь, отчего воспоследует потомство? Характерно, я не собираюсь дюжину разводить, но одного, для содействия природе... в этом я не вижу никакого излишества. Заметьте, что солнца в ваш угол падает неизмеримо больше, чем в мой, а ведь для неокрепшего организма, как учит нас передовая наука, солнечный свет гораздо важней даже материнской ласки. Значит, своей политикой неуезжания вы не только препятствуете обновляющей смене нашего общества, но и вообще встаете на дороге прогрессивного человечества. Теперь понимаете ли вы, гулящий человек, актуальный смысл всей борьбы моей?

Как всегда, их крикливое препирательство привлекло остальных жильцов ковчега. Высыпав в коридор, все они окружили спорщиков — в том числе певица Балуева с братом, безработный Бундюков, все еще находившийся пока без применения как видный комиссионер по продаже крупной и недвижимой собственности, и прочие, а вот уже подходил и Митька, чуть навеселе и оттого более невоздержанный на слово, чем обычно.

— Эх, Чикилев... — еще издали даже благодушно заусмехался он, будто не случалось раньше трений между ними,— кантики-то служебные сменил, а душа прежняя, волчья осталась. Душу пора менять, Чикилев! — к удивлению многих, знавших его, несколько сипловато заговорил Векшин, и все кругом приготовились к дискуссии на гуманитарно-педагогическую тему. — Ну, чего ты все клюешь-долбишь старика? В нем и питания-то никакого нет, какой из Манюкина навар... разве только для удовольствия? Дай человеку подышать на оставшийся гривенник жизни!

Впрочем, если Митьку и мог тронуть образ исторгаемого из жизни Манюкина, то лишь в той степени, в какой жалкость этой общественно бесполезной личности совмещалась в сознании Векшина с его собственной недалекой будущностью. Слова его объяснялись скорее давней неприязнью к преддомкому, и ковчежные жильцы, зная горячий нрав обоих, с жадностью внимали в ожидании неотвратимого скандала. Вовремя подоспевший музыкант Минус с такой тревогой в лице вслушивался в разворот опасной дискуссии, что пальцы его, всегда в движении по воображаемой флейте, застыли на полувзлете. И как только Митька некстати помянул о жалости, тотчас от жильцов отделился Матвей, брат певицы Балуевой.

— Будучи наслышан о ваших печальных обстоятельствах, я не собираюсь тратить время на укоризну,— начал он с холодком брезгливой вежливости. — Но по тем же непроверенным слухам, вы не всегда занимались нынешним ремеслом, а даже сражались в авангарде... вот я и хотел бы через посредство товарища Королева спросить у т о г о, вчерашнего Векшина, если он д о м а, разумеется... что он думает о незаживших ранах, о диктатуре и классовой борьбе?

И хотя не к лицу было Митьке отступать на глазах у всех, он умолк с опущенной головою. То самое, чем недавно сокрушал он врага, в некотором смысле опускалось теперь на его собственную голову... Здесь, в повести своей, Фирсов отвлекал читателя от постыдного векшинского смущения воспоминанием об одной великолепной, рассказанной ему Санькой Велосипедом, кавалерийской атаке. Именно с этим призывом к непримиримой борьбе брал однажды Векшин в лоб белую батарею, готовую принять его на картечь. «Бесстрашные, неповторимые дни! Вверху — ветреное, слезоточивое небо, внизу — гулкая промороженная земля, а между ними стремительная скачка Митькина эскадрона. Значит — борьба и там, в честной рубке один на один, и здесь — в подглядывании через замочную скважину? Подмена, распыленье? Митькин ум не мирился с установкой на житейские мелочи, а легионы их обступали его отовсюду. В перестройке всех механизмов общественной жизни изнутри, в перекладке ее фундаментов,— пытался объяснять Фирсов,— заключался тогда весь смысл революции, но как раз к этой невознаградимой, кропотливой деятельности и не был способен тогдашний Митькин разум...»

Меж тем, отчаявшись получить развлечение от Митьки, жильцы потешались теперь над Манюкиным. Быстрый на смех

и слезы, особливо под хмельком, Манюкин величаво уставлял руку в бок, другою же как бы приветствовал воображаемые толпы. За время дискуссии он успел сбегать к себе и подкрепиться у подоконничка.

— Топчите меня и обливайте позором, господа! — возглашал он, прерываемый возгласами удовольствия. — Я из последних распоследнейший барин на вашей земле... — И не без смысла напевал про взятие Казани и Астрахани плен, про бой Полтавский, про гордецов, которые не сняли однажды шапок у священных кремлевских ворот. — Пусть блекнет все больше рассудок мой и прелести жизни уже не обольщают меня... я еще хожу и гляжу на вас моими собственными глазами. Где он, похититель жизни моей, Чикилев? Подведите его ко мне, дабы мог я выразить ему свои чувства. Прощаю!.. и черт побери мое самопогубительное славянство! Великодушие есть порыв божественной души, как говаривал, бывало, Александр Петрович Агаррин! Эх, минувшие времена... проснешься — неокрепшие птенчики свиристят под стрехой крыши, ветерочки с листвой балуются, и все тебе приятно... даже муха, ибо и на ней почил отблеск творца! — И вот уже Сергей Аммоныч готов был пролить слезу над своей импровизацией. — И тут бубенчик, а вот уже стоит у крыльца подкатившая тройка этаких уютных потертых коняг, и на козлах необычайный Иван с целым павлином на шапке, а в шарабане он сам, незабвеннейший Саша Агар-рин! — И, отступив назад, Манюкин с набегу обнял воздух. — «Сашок, ты ли это?» — и оба восплачем, разревемся от красоты нашей дружбы... и чертов ус опять, бывало, ноздри мне щекочет. Где ты теперь, милый?.. отзовись, дружок!

Всем очень понравилось, когда, приподнявшись на носки, Манюкин произвел руками как бы трепетанье крылышек, словно сбирался лететь к своему Агарину в места его нынешнего пребыванья.

— Погодите, Сергей Аммоныч, мы стульчики расставим и соседей пригласим, чтоб уж зря представление не пропадало! — оживился Бундюков, всегда вспоминавший о ближних, если это не бывало связано с расходами.

— Пьяный, несчастный, ломается, а вы потакаете,— раздался гневный Зинкин голос. — Иди спать, барин... скоро на работу тебе пора, отправляйся! — Она тащила Манюкина за рукав в его комнату, а тот, изобразив свободной рукой смехо-

творный хвостик позади себя, предостерегал ее насчет неотразимой красы Саши Агарина.

Медленно трезвея, Митька собрался с мыслями наконец. Все еще с закрытыми глазами, чтоб лучше сосредоточиться, он протянул руку и дружелюбно взял за пуговицу Зинкина братца.

— Вот ты на доктора учишься,— тихо заговорил он Матвею, потягивая его на себя,— и станешь со временем людской доктор. И позовут тебя, скажем, к архирею, чтоб ты его вылечил. Ты что же, откажешься или яду ему дашь во имя всемирного счастья?

— Виноват,— деликатно возразил Матвей, Зинкин брат, на этот раз фирсовским голосом,— вы возьмитесь лучше за другую пуговицу, Дмитрий Егорович, эта еле держится. Итак, вы обмолвились насчет яду. Прекрасно, продолжайте, прошу вас... В кого же это вы надоумились влить ядку на предмет всемирного счастья?

XIX

На этот раз Фирсову везло. Стоя перед Митькой Векшиным во всеоружии профессионального внимания, приятно ощущая прикосновение Митькиных пальцев, он изготовился к принятию желаннейших для него откровений и, чтобы не испортить дело, даже напустил на себя слегка туповатое выражение. Митька вопросительно поднял глаза. Крутой фирсовский лоб очень кстати напомнил ему другой — бугристый и темный, с ниспадавшей к переносью седоватой прядью, обреченный лоб Агея. Фирсов счел за добрый признак озабоченную, вместо гневной, Митькину усмешку и не ошибся.

— Куда ж ты запропал, сочинитель, второй день тебя ищу.

— Да я всегда незримо близ вас сную, Дмитрий Егорыч,— умно и кротко отвечал Фирсов.

— Тогда... зайди ко мне, я вернусь через минутку к себе,— вполне благожелательно приказал Митька, и вот, не дожидаясь повторенья, тот уже похаживал взад-вперед по Митькиной комнате, потирал руки, прилаживаясь к изменившейся обстановке. Впрочем, во всем доме из-за брачной озабоченности Чикилева уже недели две было прохладновато.

— Чего, артист, приглядываешься? — окликнул сзади Митька.

— Апартаменты ваши весьма на каземат похожи. Единственно решеточки для романтики на окне недостает.

— А! — не поняв, отозвался Митька. — Садись и слушай...: кстати, и мне папироску дай.

— Сел и слушаю!.. только я дешевые курю.

— Ничего!.. и не тормошись попусту: ведь я не совсем уж злодей, как и ты, надеюсь, не полный пока мошенник. Не выношу пестроты в глазах,— устало предупредил Митька. — Итак, существует личность такая на свете, под названьем Агей Столяров.

— Наслышан малость.

— Что же ты про него слышал?.. и спички тоже дай.

— Ну, как бы сказать: обломок недавнего вселюдского подлого побоища. Мужчина ночной, неприятный, со странностями, говорят...

— Мало знаешь: в семь раз хуже!.. почему спички сырые у тебя?

— Наследника давеча купали, в лужицу спички выскользнули.

Митька вскинул на него внимательные глаза.

— А у тебя есть?., вот не предполагал. Канительно поди нонче с детишками?

— Не очень: ведь свой. Но смысл жизни, а вроде и развлечение: шумит, производит беспорядок бытия... Надо, Дмитрий Егорыч!

О будущем ребенке всего лишь в то утро уведомила Фирсова жена, но он придвинул предстоящее событие, по бессознательному наитию прибегнув к лжи, помогавшей ему взломать упорное недоверие собеседника.

— Это ты верно... — задумчиво обронил Митька и некоторое время молчал потом. — Так вот, об Агее: во что бы ни стало желательно ему повидаться с тобой, господин хороший!

— На кой же ляд я ему снадобился? — ища тональность для разговора, вскинулся Фирсов и прибавил очень уместно, что его Федором Федорычем зовут.

— Да как тебе сказать, Федор Федорыч... Ты ведь сочинитель, если не врешь?

— Грешу... — буркнул Фирсов, разочарованно поглядывая себе на пальцы в чернилах. — И что из того?

— А то, Федор Федорыч, что догорает человек...: и вот скучно, томно ему задыхаться в собственном своем чаду. Видно, желает объяснить себя людям...

Не спеша, пользуясь временным превосходством, Фирсов прикидывал что-то в уме.

— Исповедь, словом?.. не пробовал себя в этой роли. Сложновато с ним, пожалуй?

Оба помолчали, каждый по-своему провидя скорую Агееву концовку, и так как чужая могила сближает, то, начиная с этой минуты, ледок их отношений утончался беспрестанно. Правда, далеко было не только до приятельства, даже до полного доверия, однако Митька уже признал человеческое гражданство в сочинителе, а сочинитель перестал прикидываться для самозащиты тем, кем не являлся на деле. К великому разочарованию сочинителя, Митька выставлял Агея в подмен себе, а Фирсова как-то не тянуло идти в духовники к человеческой падали. Поэтому он сразу с ворчливой откровенностью и объявил, что новых пассажиров в повесть не принимает, билеты проданы, и вообще волшебный ковчег его готов к отплытию. Кроме того, включение в повесть сильной и грубой фигуры вроде Агея могло наложить нежелательный отблеск на чисто умственную, по тогдашнему фирсовскому замыслу, трагедию Дмитрия Векшина.

— ...вашу трагедию, глубокоуважаемый! — впервые в открытую заключил Фирсов и на пробу с трактирной фамильярностью потрепал по колену затихшего от любознательности Векшина. — А как же, для чего же я столько времени и с таким риском обхаживал вас? Весь ваш житейский путь давно обдуман и в мыслях почти построен мною как перекинутый над пропастью зыбкий мосток от преступленья к просветлению... и ежели такое мертвое, с позволенья сказать, плывучее инородное тело, как Агей, шарахнет невзначай по свае, сооружение мое может рухнуть к чертовой матери.

Он упирался лишь для виду, потому что дело было сделано, машина воображения пущена в ход, и вот фирсовский карандаш как-то сам собой прошелся по листку записной книжки, закрепляя одну соблазнительнейшую, из предстоящей исповеди вдруг возникшую подробность.

— А может, по знакомству найдется и Агею уголок?

— Подумаю, не знаю... Правду сказать, есть т а м у меня вакансия одна: с кем от вас главную героиню увести, да вот колеблюсь, не получился бы перекос сюжета в уголовную сторону. Эх, только ради вас, Дмитрий Егорыч! — с видом крайнего одолженья согласился наконец сочинитель. — Однако он как вообще... безопасен пока в общежитии?.. по-людски-то

можно с ним калякать или уже только с помощью хлыста да пищи? Не люблю я, знаете, навязчивые товарцы, что сами в руки просятся либо слишком уж подозрительно на виду лежат. Собственно, я ведь тоже вор, секретно брожу по жизни, тащу к себе в суму, что глянется: мечтаньице из девичьего тайничка, объятьишко в чужом окне... конечно, если закатишко подходящий навернется либо затоптанное в грязь перо жар-птицы, и их туда же. Перелицуешь на досуге, подклеишь кой-где собственной кровцой, да и пустишь в повторный обиход как эхо жизни... Так-то-с, Дмитрий Егорыч!

— Ну чем же ты, вор, себя с нами равняешь,— засмеялся Митька, и на этот раз без особой неприязни проследил, как Фирсов прятал в карман исчерканную записную книжку. — Мы шпана, нас только в отделениях милиции и знают, а ты... тебя еще, глядишь, пройдет лет семнадцать с небольшим, в гении местного значения превознесут! Пойдем же, я тебя с ним сведу, с Агеем, да и мне тоже пора!

Спускаясь по лестнице, они опять на время замолкли. Фирсова тревожил подступавший теперь период работы за столом. То самое, чего добивался почти полгода, сейчас ощутимо приблизилось к острию его карандаша, а он уже устал от унизительных хитростей, головоломного риска, скитаний по трущобам. Начиналась мучительная пора, когда только что проступившие из небытия еще зыбкие герои, в чужой пока, перепутанной одежде, с неустоявшейся речью, занимают отведенные им места, и требуется ужасное напряженье воли, какое-то почти магическое слово — заставить эти клочья ожившего тумана вступить в правдоподобную игру, смеяться и плакать — так, чтоб над ними прослезились современники. Он старался не думать, во что ему обойдется, до и после выхода книги, задуманное предприятье...

А стоял отличный вечер, слегка засиненный морозной луной. Колокол невдалеке вещал о крещенском сочельнике, а от хрусткого скрипа подошв в жилы вливалась какая-то подщелкнутая бодрость. В небе вдобавок, для полноты впечатления, были рассыпаны звезды, в снежных рамах окон мерцали тишайшие вечерние светы. И так ловко получилось, что к концу совместного с Митькой путешествия Фирсов нес в голове еще одну, целиком готовую главу.

— Эх, братцы, изображу я вас,— задиристо вскричал он,— как сквозь лупу представлю! Пальцы ихние прямо в язвы суну: пускай кой в чем удостоверятся. Косноязычны мы пока —

о многом рассказать не можем, не жжет наш огонь... но скольким мы владеем, сколько еще выстроим и напишем и мир неоднократно удивим!

Понять его сейчас было невозможно, но Митька тоже был в отменном настроении и только покосился с непривычки на вцепившуюся в его рукав фирсовскую руку.

— Чудачина ты,— сказал он,— шуршишь писчей бумагой и утешаешься, будто всемирным делом занят. А к чему нам, революции, твоя суета? В бумагу, да еще в порченую, рабочий класс не оденешь, книжками мировую бедноту не накормишь... — И покосился на замолкшего Фирсова. — Как полагаешь?

Фирсов бросил в его сторону злой и короткий взгляд.

— Вот за такое плачевное ваше пренебрежение к этому и накажу я жестоко вас... разумеется, всего лишь в пределах ничтожной повестушки моей. Ибо здесь коренится важнейшая причина всех ваших невзгод... вдобавок к уже постигшим Дмитрия Векшина! — Вдруг он осекся и закусил губу. — Впрочем, не бойтесь в будущее заглянуть?

Это вырвалось из него с болью, и, кажется, вора заинтересовала столь потешная сочинительская способность волноваться по сущим пустякам.

— Ничего, раскинь мне свои вещие карты, гадатель!

— Так ведь зарежете, пожалуй, Дмитрий Егорыч... переулочек пустынный, на помощь прийти некому!

— Напротив... в награду возьмешь ты любого коня,— словами знаменитого стихотворения посмеялся Векшин.

— Вот смеетесь, а погодите, вспомните меня с зубовным скрежетом задним-то числом,— погрозился Фирсов и, точно сорвавшись, заговорил страстно, донельзя убежденно, вдохновясь озорством подобной беседы с собственным своим, лишь вчерне накиданным персонажем. — Держитесь тогда, Дмитрий Векшин! Если только в главном не ошибаюсь я, великие разочарованья поджидают вас впереди, поистине царственные в сравненье с нынешними вашими огорченьями, столь увлекательными для сыщиков, благушинских сплетниц и управдомов. Ничего, младые годы многих достойных лиц изобиловали еще более шумными шалостями. По замыслу повести моей, хотя и за ее пределами, людям вскорости суждено достигнуть завершающего счастья со всеми его отраслевыми благами... в меру потребностей каждого, также вкуса и воображения, разумеется. Из сокровищницы бытия, к сожалению, мы уносим лишь

в меру емкости карманов наших... с тем преимуществом личным для вас, что круглая мозговая кость с прической, находящаяся на ваших многоуважаемых плечах, вполне стерильна от печалей, сомнений и отчаяний, разрушительных для нашего оптимизма. Когда подступит человечеству срок перебираться из трущоб современности на новое местожительство в земле обетованной, оно перельется туда единогласно, подобно большой воде, как ей повелевают изменившийся рельеф и земное тяготенье. Накануне коменданты с пистолетами окончательно раскулачат старый мир, оставив ему лишь бесполезную ветошь прошлого — слезой и непогодой источенные камни, могильники напрасных битв и прозрений, храмы низвергнутых богов. Однако и часа не пройдет на пути к пункту назначения, как странная тоска родится в железном организме вашем... никого не тронет, а вам ровно ноги повяжет она. И с каждым шагом все смертельней потянет вас кинуть прощальный взор на сумеречную, позади, из края в край исхоженную предками пустыню, где столько томились они, плакали, стенали и стыли у пещерных костров, всматриваясь в звезды, молились, резались и, наряду с прогрессивными поступками, совершали и весьма неблаговидные. А со времен злосчастной Лотовой жены нельзя оглядываться на покидаемое огнище, чтобы заразы туда не занести... да никому и в голову не придет, потому что в том будет состоять спасенье, чтоб не оглядываться!.. Вы один у меня оглянетесь — не из дерзости, вопреки грозному запрету, а по какому-то тревожному и сладостному озаренью... чем, собственно, и полюбились вы мне на горе мое, русский вор и нарушитель законов, Дмитрий Векшин. Да ведь я никогда и не брался за тех, что не оглядываются...

— Не тяни, открывай... что же такое за спиной у меня окажется? — напряженно покосился Векшин.

— Прежде чем ответить на вполне законный ваш вопрос, чуточку задержу ваше внимание на одном предварительном обстоятельстве... Любое поколение мнит себя полным хозяином жизни, тогда как оно не более чем звено в длинной логической цепи. Не одни мы создаем наши навыки и богатство... И в этом смысле христианская басня о первородном грехе не представляется мне безнадежно глупой. Прошлое неотступно следует за нами по пятам, уйти от него еще трудней, чем улететь с планеты, вырваться из власти образующего нас вещества. Только красивые съедобные рыбки да разные нарядные

мотыльки избавлены от мучительного чувства прошлого, и не надо, не надо, чтобы человеческое общество достигло когда-нибудь этого идеала...

— А ты не запугивай, Федор Федорыч,— сердясь от нетерпенья, одернул его Векшин.— Не из пугливых: показывай свою куклу, чем ты меня стращаешь?

Незаметно для себя они остановились на переходе, посреди мостовой, так что извозчикам и водовозам приходилось с бранью объезжать их стороной. И хоть мало смыслил в фирсовских иносказаньях, Митьку впервые захватила возможность взглянуть на себя завтрашнего — пусть даже чужими глазами.

— Да, собственно, такому всесветному удальцу стращаться там вроде и нечем! — сурово и торжественно продолжал Фирсов. — За спиной у вас окажется, весь в чаду и руинах, поверженный и вполне обезвреженный, старый мир. Уж такую распустейшую пустыню увидите вы позади, словно никогда в ней и не случалось ничего... не пожито, не люблено, не плакано! Привалясь к обезглавленному дереву, на фоне прощальной виноватой зорьки будет глядеть вам в очи вчерашняя душа мира, бывшая! Самое хозяйственное комендантское око не обнаружит на ней сколько-нибудь стоящего, подлежащего национализации имущества... кроме, пожалуй, раздражающе умной, колдовской блестинки в ее померкающем зрачке. Никто и вниманья не обратит вроде на такой пустяк, а вы непременно его заметите, Дмитрий Егорыч!.. И тут опалит вас жаркая догадка, не эта ли ничтожная штучка, искорка, почти как точка, так что и ярлычка инвентарного присургучить некуда, и есть наиважнейшая ценность бытия, потому что выплавлена из всего, сколько у нас его было позади, опыта человеческой истории. С одной стороны, так вас потянет к тому таинственному мерцанию, молодой человек, будто в нем-то и заключается главная адская сласть, а с другой — и жутковато станет, потому что весь кураж младости и заключен бывает как раз в его великолепном отсутствии... Есть старинное русское поверье про колдунов: не дается им умереть, пока не передадут юнцу свое проклятое могущество. И пока вы станете гадать, как вам половчей добыть ее, вчерашняя душа сама и протянет вам свою блестинку. «Не томись, скажет, не зарься, Митя, бери мое сокровище, тем уже одним великое, что ни отнять его, ни погасить нельзя, ни из комендантского нагана прострелить. Возьми поиграй, прикинь на пробу, полюбуйся сквозь это волшебное стеклышко, столь малое и прозрачное, — словно и нету

его вовсе, на сокрытые вокруг тебя житейские тусклости, такие серые в свете обычного дня!..» Оно и не надо бы для здоровья-то, а тем и полюбились вы мне, вор Дмитрий Векшин, что ничуть здоровьишком не дорожитесь. Любой благоразумный остерегся бы, а вы хвать пятерней да как пьяница чарку свою — взахлебку! А то не сласть, не спирт, не избавительная смерть, а вся память рода человеческого о былом. В ней растворены без осадка такие, на нонешний взгляд, пустяковины, как пыль от развалин знаменитейших храмов или зов путника, заблудившегося на пике высочайшей мыслительной горы, а — для приправы — гнилая горечь повисшей в водной бездне грабительской бригантины, и христианского мученика кровинка, и пепла малая щепотка из еретицкого костра... Туда входят также несущественные, казалось бы, горести и скорби дедов наших, бесполезные мечтания, несвоевременные сомнения или разочарованья героев и другие вещества, из коих иные священней многих великих откровений... ну и прочая духовная фармакопея, которую некоторые современные аптекари содержат под замком, в банках с притертыми пробками и с костяшками на ярлыке. О всемирной душе речь идет, понятно?.. Как, есть в тебе душа?

— Да вроде не прощупывается... — усмехнулся Митька. — И ты полагаешь, стану я пить чертову твою настойку?

— Хлебнешь, родной: не писал бы про тебя, каб не так... сперва на пробу, а там и губ не оторвать. Хмельней опия штука!.. с пары глотков каким-то иррациональным косвенным зреньем начинаешь примечать странное, во всю даль прогресса, смещенье главных планов, и вдруг поверх сущего, на плоской холстине действительности проступают плывучие, в самых угрожающих сочетаниях и на грани обобщительного безумия, знаки и числа, мерцающие пейзажи и события, по счастью, не доступные большинству и справедливо отвергаемые иными философами, потому что э т о всегда мешало... как бы выразиться поточней?

— Кто, кому помешал? — угрюмо воспользовался его заминкой Векшин.

— Ну... мешало им посредством благоразумного упрощенья, так сказать через нивелировку структурных различий между пяткой и капризной тканью мозговой, добиться высшего блага для человечества — избавления от наиболее опасного из всех разделительных зол, от интеллектуального неравенства.

И если не спалит тебе внутренность смесь моя, то когда-нибудь воротимся еще к затронутой темке... не я, так тот заключительный Фирсов, который через сотню лет станет подводить итоги. Он-то и запрет нас с тобою, Дмитрий Векшин, навечно в писчую бумагу для истории... — Он кончил чуть не в одышке и принялся машинально протирать расцарапанные морозцем стекла очков. — Как, понял хоть крупицу, ворюга?

В его обращенье, кроме дружбы и чуть высокомерной власти, прозвучала нетерпеливая, затаившаяся надежда.

— Понял... лишь слова отдельные,— признался Векшин.— Загнул ты мне притчу, сочинитель. Выходит, по-твоему, нельзя в завтрашнее без вчерашнего войти... так, что ли?

— Почему же, можно, все можно, но во избежанье худшего... стоит ли?

Векшин глядел на него с тревожным беспокойством человека, разбуженного прикосновеньем незримых рук.

— Навел туману, сочинитель: не то драться с тобой, не то кланяться. Не хвала и не обида, а может, и ненависть одна на поверку. Чем я тебя задел, обидел, рассердил?.. не боязно тебе со мною *так*?

— А чем, чем ты меня обидеть можешь, когда тебя даже и нет *пока*, раз я тебя *пока* не написал!.. — чему-то разъярился Фирсов. — Ножом, пожалуй... так во мне и останешься тогда. Ладно, все: ступай в люди, ищи, томись, воскресай и разбивайся снова! — еще непонятней рассмеялся он прямо в лицо своему плачевному герою и отцепил от плеча его руку. — Ну-ка, пусти теперь, пальто порвешь... да и пора нам.

— Досказывай, куда поведешь меня теперь... — охваченный томлением догадок, спросил Векшин.

Тот не ответил: и без того клял себя, что разболтался не в меру, да еще на морозе, с риском голос потерять. Все в ту минуту необыкновенно обостряло фирсовскую восприимчивость: и острота оборванного в разбеге разговорца, и сделанный им вызов неизвестности, самая безлюдность заваленной снегом улицы, полной еще никем не прочитанных, никому не запроданных тайн. При стесненных фирсовских обстоятельствах нельзя было пренебрегать столь хлебными мелочами. Он и на встречу с Агеем согласился из ремесленного расчета выковырнуть жемчужинку из этой подыхающей раковины.

На ближайшем перекрестке Векшин задумчиво и дружественно — потому что устраивал встречу не без отдаленной выго-

ды для себя! — расстался с Фирсовым. На прощанье он дал сочинителю несколько практических советов в обращенье с предстоящим собеседником и прежде всего адресок, по которому полчаса спустя должен был явиться Агей Столяров.

XX

Закончив труды дня, Пчхов воротился из мастерской в заднюю комнатушку. Он снял с себя все, что носило след прикосновенья к железу, и отмыл руки каустической содой. Потом надел старенькую меховую безрукавку, долголетнюю свидетельницу пчховских скитаний и превращений, а ныне верную хранительницу пчховского тепла.

Со двора в подслеповатое, осколками остекленное оконце обычно стучали как в дворницкую. У дверей жалось к стенке деревцо, про которое веснами догадывались, что это бывшая сирень; тотчас за углом примостилась помойка. Пчхов никогда не мыл окна, так оно надежней охраняло его непонятную жизнь от людского любопытства. Все равно весна не забредала в кривоватый пчховский дворик; все солнечные благодеяния пожирал высоченный, выстроенный подковой соседний дом, сумасшедше утыканный окошками. Солнце мастер Пчхов заменил печкой, которую сочинил по своему подобию. Коренастая, с прогоревшей на сгибе трубой, она полновластно и мешая проходу громоздилась посреди каморки, сердилась и дымила порою в плохом настроении, зато всю ночь отдавала терпкое и чистое тепло. Большинство пчховских вещей было возвращено к жизни из мусорного ничтожества, вроде керосиновой лампы над столом, раздобытой в куче железного лома; мастер Пчхов приложил свое искусство к ее дырявым бокам, и она благодарно служила ему исправнее иных непроверенных друзей.

После дневных трудов присаживаясь к столу, Пчхов хозяйственно оглядывал свою конуру и, человек одинокий, неподслушиваемый, разговаривал сам с собой. Так сказал он печке, глодавшей толстое полено:

— Вот от злости глотка у тебя и ржавеет!

А лампе сказал:

— Погоди, поем — подолью тогда.

А себе, берясь за ложку:

— Займемся пустяками, Пчхов! — В пище он придерживался кваса и овощей, так что трапеза его была вольным подражаньем русской мурцовке.

Подкрепясь же, раскладывал на столе набор из рессорной стали самодельных стамесок, сверкавших нежными остриями, доставал с полки пластины цветного дерева и замирал в раздумье, прежде чем коснуться древесной мякоти лезвием. Превыше всех наслаждений на свете возлюбил он свое вечернее одиночество,— виток за витком снимать древесные слои, раскрывать спрятанную под ними красоту, а сквозь нее — мысленно и безотрывно глядеть на объятый пламенем мир. Очень похоже, что шорохом той волшебной стружечки пытался он заглушить рев бушевавшей вокруг бури, рушившей прежние веры и воздвигавшей новые взамен.

Для необыкновенности, которую собирался мастерить в тот вечер, он выбрал пластину березового наплыва, олохмаченную плотничьей пилой. Но едва взялся за рубанок для зачистки, пискнула незапертая дверь, упреждая о позднем госте. Пчхов обернулся, лишь когда тот повторно, робким прикашливаньем заявил о своем присутствии.

— А-а, все тот же, разлинованный, пришел...— без враждебности вспомнил Пчхов, поверх очков меря взглядом подозрительного посетителя.— Видать, отыскалась наконец вещица для починки... али опять дома забыл?

— Не знаю, чем сломить недоверие ваше, так как действительно в начале зимы имел неосторожность забрести к вам без видимой цели и — успеха поэтому...— начал Фирсов, ища красок для первого благожелательного впечатления, даже с ходу польстил Пчхову в том смысле, что ясная память — верный признак долголетия. — Верно, известен вам парикмахер Королев?

— Как же, упреждал меня Митя, что писатель придет. Сейчас, наверно, и т о т ворвется... Сымай пока свою клетку, раз пришел, здесь не украдут!

— Не будет потери, если это и случится! — поддержал Фирсов, втискивая свой демисезон в тесный промежуток между печкой и стенкой, за отсутствием вешалки — тканью ворота на гвоздь. — Что это вы так пронзительно приглядываетесь?

— Сбил ты меня с толку в прошлый раз,— покачал головой Пчхов. — Б а р ы г а не барыга, а вроде, как бы сказать поглаже... л о в е ц чего-то!

— Неужто на барыгу смахиваю? — без обиды заинтересовался Фирсов, уже осведомленный, что словом этим, так же как и каином, обозначается скупщик краденого. — Что же, писатель и есть ловец... ловец человеков.

— И чего же ты описываешь?.. в газетке что-нибудь, из жизни человечества али в другом каком духе?

— Ну, в газетке это дневником происшествий называется,— постарался быть точным гость,— а я то же самое беру, но главным образом как оно во мне самом отражается!

— Понятно, значит больше из ума охватываешь...— сообразил Пчхов. — Тоже неплохо.

Оба занялись своими делами. Фирсов принялся протирать запотевшие с улицы очки, хозяин же — править стамеску на оселке, и пока они так примеривались друг к дружке, лишь ходики стучали на стенке да поскрипывал под нажимом стол... Потом из потемок вышла кошка и стала тереться в ногах гостя.

— Зря стараешься,— сказал ей Фирсов,—ничего съедобного не захватил я с собой, уважаемая кошка.

— Гони ее, надоедливая,— отозвался Пчхов. — Чего там, на дворе-то?.. подморозило аль ростепель все? Когда лето сухое, то и зима бывает снежная.

— Снег еще давеча перестал,— сказал Фирсов и сделал попытку пойти на сближение. — Это у вас кошка местной, благушинской породы? Очень приятная кошка.

— Нет, это соседская,— правильно понял Пчхов смысл его замечанья. — Плесни молочка ей, вон с подоконника возьми...

Выполнив просьбу хозяина, Фирсов счел себя вправе и закурить, а заодно осведомиться о чурке дерева под окном, густая краснота которого на срезе перебегала кое-где в черноту запекшейся крови.

— Древо это зовется амарант, на горячих реках растет. В старинной книге сказано, столпы в Соломоновом храме, что на паперти, из него были натесаны. Гордющее, от злой своей гордыни и не цветет никогда... — и придвинул брусок к свету, чтобы еще разок вникнуть в причину столь дурного характера.

— Позвольте выразить небольшое сомнение... — деликатно воспротивился Фирсов. — Всякое в мире цветет, ничто без того не обходится. Данная кошка, к примеру, и она, с вашего позволения...

— А э т о древо, видите ли что, уважаемый гражданин, не цветет никогда! — ударил словом Пчхов, и гость понял, что имеет дело с глубокой верой, не подлежащей обсуждению.

И едва Фирсов, что-то пересилив в себе, вступил в этот целиком вымышленный условный мир, тотчас все эти бедные, валявшиеся на столе и запасные, на полке, шкуреные и подкрашенные цветной морилкой дощечки подобно самоцветам заиграли в каменных сумерках пчховского одиночества.

— А вот это имеет название а г о р т — птичий глаз,— закончил Пчхов, добравшись до последней. — Тело имеет чистое и ровное, без единого родимого пятна. Дольше всех цветет, розово и раскидисто. Разбойникам кресты из него построены были. Отсюда разумному видать, что ни одно дерево без своего назначения не обходится, равно как и человек... всяк в мире свою должность несет!

Последовал снова испытующий взгляд, но теперь Фирсов не возражал, и в награду немало пчховских диковинок закатилось в записную книжку Фирсова до прихода Агея. Были там тайности о древней сосне, о мудром можжевеле, о травянистой лопотунье осине, о щедрой березе, о клене, наконец; рисуя, как противостоит это своенравное дерево непогодному ветру, тяжко оседающему на его листву, Пчхов мимоходом обронил Митькино имя. Бесценный же березовый наплыв, по Пчхову, зарождается, когда тоскует дерево, либо отравлен его корень гнилой подземною струею, либо ударили его зазря железом.

И, точно испытывая фирсовское терпенье, старик заговорил о глубинной красоте этой отличной древесины в зависимости от пережитого ею страданья.

— Гляди, как она сама на себя стелется, как красиво и мучительно растет! — деликатным жалом стамески раскрывал он Фирсову девственную глянцевитую глубь, где, погоняемая неутомимой, во что бы то ни стало, жаждой бытия, мчалась, тугими витками наматываясь вкруг самой себя, обезумевшая древесная почка. — Так вот и люди: никому не дано уйти от положенного ему огорченья, и раз нанесенной трещинки уж ничем не заживить... Отсюда нам видать,— вовсе непонятно заключил Пчхов,— что прогресс человека летит подобно тому, как граната в воздушном полете, а развитие в его душе происходит по всем линиям, какие имеет в себе человек. Теперь и смекни...

Монотонную усыпительную речь прервал короткий и власт-

ный стук за спиной. И, подчиняясь захватившей его тревоге, Фирсов бросился к двери приподнять и без того не запертый крючок. Что-то большое, черно-красное, вспоминал впоследствии Фирсов, ворвалось со двора, столкнув его с порога. Несколько мгновений незнакомец через плечо выглядывал во двор, соображая пути возможного бегства, если бы потребовалось, неслышно притворил дверь, потом он долго и с мнимым усердием вытирал ноги о рогожный половичок, на предмет той же безопасности изучая исподлобья заваленные железной ветошью потемки углов... Затем сочинителю была предоставлена возможность наблюдать встречу Пчхова с Агеем,— первый пристально вглядывался во второго, который, не смея поднять глаз, наклонялся вперед, и виноватые руки его тяжко свисали, как от чужого туловища. Обоим одинаково нежеланна была эта встреча, но, к удивлению Фирсова, Пчхов глядел скорее с горечью, нежели осуждением; слишком видно было, с его благушинской высоты, сколь причудлива бывает игра человеческого вещества.

— А шибко остарел ты, Агей,— проговорил наконец Пчхов. — Сам себя живьем затаптываешь.

— А как же! Чего на свете ни возьми, во всем от времени морщинки проступают! — сипловато поусмехался тот и, взяв мелкую стамеску со стола, машинально пробовал ее о свой крепкий, с синцой давнего кровоподтека, ноготь. — Писатель тут меня не спрашивал?

— Ждет, карандаш точит на тебя описатель твой,— ежась и отбирая инструмент, отвечал Пчхов. — Не трожь ничего чужого, Агей, не велю!

Тогда, отделясь из темноты, Фирсов уверенно потеснил Агея к стене и, памятуя Митькины советы насчет решительности в обращении с ним, вызывающе нащурился было, но тотчас отвел глаза в сторону. Нельзя было без утомления долго глядеть в лицо этого человека.

— Итак, Столяров? — с тиком в щеке от неприязни и волненья спросил он вошедшего. — Что ж, довольно любопытно познакомиться со столь выдающимся деятелем, хе-хе, отечественного разбоя. Однако пристраивайтесь поудобнее, не торчать же нам вечер на ногах!

Чтобы не мараться Агеевым рукопожатьем, он сделал вид, будто полез за платком, и выдернул его за краешек; несколько монет, затерявшихся в кармане, звонко раскатились по полу, а соседская кошка так и прыснула в угол.

XXI

— Вот, черт, сто годов собираюсь кошелек купить,— с досадой бормотал Фирсов, как на распутье,— ползать ли ему возле Агеевых сапог, пренебречь ли рассыпанными гривенниками.— Фу, нелепица какая...

Впрочем, в свое время ему пригодились эти монетки; они помогли Фирсову подчеркнуть в повести замешательство своего двойника перед темным обаянием Агея.

— А не тянешь ты, дружок, на сочинителя! — подозрительно скосился Агей, которому доводилось видать русских писателей на портретах.— Я так рассуждал, сочинители в зрелых годах находятся...

— Ничего, имею время впереди исправиться! — озлился Фирсов и на самого себя, и почему-то на красные партизанские штаны Агея под черной овчинной курткой, и на молчаливое невмешательство Пчхова.— В крайнем случае могу и испариться...— И повернулся было к своему демисезону, безголово присевшему на полу, под гвоздем.

Тогда Агей дружественно взял Фирсова за плечи и усадил.

— Ладно, я же ничего обидного не сказал,— смутился он.— Может, тебе смолоду эта сила дадена. Эва, уж и скипятился, ровно самоварчик с угольками.

Понемногу отношения налаживались, и Пчхов очень уместно вспомнил, что собирался в баню. Скоро он ушел, посовав бельишко в плетеный кузовок.

По его уходе наступило тягостное молчание: слишком прозрачны были цели у обоих. Однако у Фирсова на коленях уже появилась его книжка, и он рисовал туда небрежным карандашом. Сперва получилась миленькая девушка, но вот к ней сами собой приросли усики, и она вдруг преобразилась в своего собственного соблазнителя.

— Знаешь, зачем я позвал тебя? — тихо спросил Агей, поглядывая, как девушкин соблазнитель наспех обрастал брюшком и подбородками, с каждым новым штрихом старея и обезображиваясь.

— Вроде догадываюсь...— покривился Фирсов, приделывая к получившейся харе горбатейший нос и обмазывая ее со всех сторон несусветными бакенбардами. — Умирать мудрецом не страшно, а страшно тварью сдыхать... хотя бывает и наоборот! Чтоб времени не терять, начинайте, раздевайтесь помаленьку,— пригласил он, и карандаш бешено зачертил страничку сплош-

ной мочалкой.— Намекал мне слегка Векшин, да я из-за спешки не совсем его понял...

— ...намекал, не понял,— отозвалось в Агее, и вдруг всей пятерней прихлопнул раздражавшую его фирсовскую книжку вместе с коленом под нею, но тот упорно вернул ее в прежнее положение, и прикрыть ее вторично Агей не посмел. Знаменательные сдвиги происходили на глазах у Фирсова в его собеседнике, и прежде всего как бы скудная, чадная лампада затеплилась в глубине запавших Агеевых глаз; ходила молва про них, что они убивали раньше его рук. И вот прорвалось: — Напиши, напиши про меня, весь тебе распахнусь! Вижу теперь, ты все можешь... ишь лбище-то играет как! Спрашивай, если что непонятно тебе станет... ну, из нашей практики. Видишь, любезный... как называть-то тебя?

— Это не имеет существенного значения...— неподкупно отклонил Фирсов.

— Не бойся, в гости не приду! Поздно мне...— сразу утратив всю свою напористость, зашептал Агей.— Заземляться подходит время, знаю свой срок. Уж и ямка вырыта, за мной одним черед... вроде и неловко деловых людей задерживать, вот я и тороплюсь. С места напрямки откроюсь: столько разов меня заочно приговаривали, что уж я курносой не боюсь. Моя смерть будет внезапная, потому как я завсегда отстреливаюсь. Нонче каждый может меня пришить, хоть бы и ты,— в его голосе булькнул глухой смешок,— коли не погребуешь, и тебе письменную благодарность дадут за меня.— Как бы пелена ясновидения застлала горизонт Агея.— Мне предсказывали гадалки — либо бревно на меня нечаянно обвалится, либо сам задушусь не знаючи... но я-то знаю точно — меня она, моя продаст! — Он вскочил со сжатыми кулаками, и следом, потрясенный вспышкой его безумия, поднялся Фирсов.— Еще посмотрим, сама устережется ли от меня...

— Сидеть спокойно, а то уйду,— пригрозил Фирсов.

— Каждую ночь в два часа просыпаюсь, это и есть мое время. Вздрогну, чиркну спичку: два! Стрелки ровно замертвели... и вот здесь болит. Ты ученый, скажи, что тут у человека? То жечь почнет, то будто мехом щекочет... и гневит, гневит меня! — Он показал глазами тот опасный у человека уголок, куда сбегаются ребра.

— Невроз! — авторитетно заметил Фирсов, все подряд занося в книжку.— Заодно уж обеспокою вас вопросом: что же именно тревожит вас... они? Мне доводилось слышать, что

с большими палачами это передко случается... вообще с представителями этого рода деятельности.

— Да нет... а вроде пусто станет мне очень,— бормотал Агей, отдаваясь на милость Фирсова, и вдруг тот с удивлением ощутил, что и у него стеснилось в том же месте под реберной клеткой. — В самом этом неврозе и сверлит. Я снисхождения не требую... Меня обелить — жизни цельной не хватит, спокаешься! Ты единственно опиши меня без прибавки или украшения, как я есть, и почему я нонче все на вашем свете истинно презираю, а я тебе за труд твой душевно с того свету поклонюсь. Теперь откуда ж мне... с нынешнего начинать или сперва немножко назад коснуться?

— Можно вскользь пройтись насчет детства-рождения... — запинаясь и сделав оригинальный жест рукою, предложил Фирсов,— чтобы затем с разбегу перейти к дальнейшему.

Тот отпил глоток воды из жестяного чайника перед собою, не только для прочистки голоса: он волновался.

— Уж маленько затмеваться во мне стало... ровно занавеской черной задернуто. Нет, постой, что-то виднеется...— Агей вспоминал туго, с явной болью.— Вот яснеет теперь: зеленый бугор, и за него солнце уходит, уж вечер. На бугре мельница Павла Макарыча Клопова, крылышки ветром оборваны у ней: значительный в тот год над нашим краем ураган прошел. А интересно бы взглянуть, перед смертью, стоит ли еще она теперь, бедная, а?.. Равнина у нас там, лесов маловато. Клопов так говаривал: «Без лесу жить ясней, без дурных мыслей...» Промежду прочим, первейший лесокрад был! Позволь, к чему я все это? Ах да, имеется там луговина у нас, в двадцать четыре версты квадрат... желтая краюха, на ней расставлены деревни: Шемякино, Царево, Пальцево и четвертая моя — Пасынково! Названьице-то запиши, а то затеряется, так и не узнает никто, откуда Агей зародился. Это у нас и красная смерть водилась... не слыхивал?

— Попадалось в сектантской литературе где-то. Это красной подушкой стариков удушали...— гадливо усмехнулся Фирсов,— так сказать, во избавление от напрасных горестей бытия?

— Ото всех бед применялося...— махнул рукой Агей и опустил глаза. — А народишко в наших краях тихий, смирный, только на вид вроде непроспавшийся. Заяц вскочит на завалинку и отдыхает без опаски, и никто его не обидит. Вот ты сейчас на подушку нашу хмыкнул, а чем она тебе не пондравилась? — взъярился он.— Подушкой ли душить, из пушки ли, саблей

продоль человека рубить либо собачьим газом вытравлять... какая разница? Подушкой-то оно даже мягше, опять же по доброму согласию сторон, в удовольствие! Сказывано, будто профессор, который изобрел собачий тот газ, доселе ходит нерасстрелянный, а? Куды мне до него: я людей-то поодиночке, а он ротами! — зычно раскатился Агей, а Фирсов, свободной рукой зажимая ухо, только мучительно морщил лицо.— Да записывай... чего жмешься, ровно божья мать?

— Поменьше рассуждений, больше дела... продолжайте! — поотодвинулся Фирсов, защищаясь.

— Так вот, проживал в тамошних краях один благочестивый мужик со своей старухой... жилистый такой черт! Вот скоро сам увидишь: собственнолично отцовское проклятье привезти сбирается. Сурового нрава старец, много в жизни богом мучился... до сей поры покоя от него не нашел. Первый евангельщик был на селе, а во младые годы к мордвам да к татарям за верой ходил, для проверки: нигде лучше не смог выискать. Изба просторная, полы под масляную краску. Душа в душу со старухой жил... Ну, значит, посеял дед в бабку зерно, вырос из бабки колос. Стал колос рость, стал наливаться... тот колос я и есть, мое почтение! — Он с ироническим смешком ткнул себя в грудь.

— Не вижу пока ничего смешного...— пожал плечами Фирсов.— Видно, с отцом не в ладах жили?

— Еще в малолетстве случилось промеж нас: ястребенка я раз в поле подобрал. А как надоел мне, то я ему головочку свернул, чтоб не мучился, да кошке и отдал. Так вот, отец молитвенник был за весь род людской, без пяти минут небесный праведник, всю страстную неделю пыльное пятно от земных поклонов со лба не сходило, а ведь замертво меня от него отняли. С того разу и ухо у меня отвислое, видишь? Ушей человеку затем и дадена пара, на случай родительского гнева. Но ничего не возразишь: обожатель природы! Вот близ тех самых лет и нашла на меня ужасная отчаянность в поведении, совсем перестал я курносой бояться: ну, ни чуточки! Да и кто это выдумал, будто курносая?.. вот врака-то! Я тебе приоткрою секрет, но ты молчок, смотри. Весь позапрошлый-то год она тут, в Дровяном переулке, жила. Платочек носила, приспущен, и носок из-под него востроклювый, а не птичий. И как по делу куда отправляюся, непременно ее встрену. То прикинется, будто на рынок идет, то как бы из баньки с тазиком топает... и кажный раз глазком подмигнет. И так она меня расстроила,

что вечерочком однажды проследил я ее и вошел... ну, следом зашел за нею! — Агей опустил глаза и переждал полминутку, в течение которой скоса глядел на свои шевелившиеся пальцы.— Наутро выхожу, а она и прется навстречу мне ни в чем не бывало, неживая-то!.. керосин в бидоне тащит, хороша, а? Вот канитель какая получилась...— Он издевательски расхохотался: — Это я тебе нос крутю, дурень, а ты и уши развесил. Она днем не ходит, она больше по ночной поре...

— Уйду! — с ненавистью пригрозил Фирсов и лишь теперь заметил, как сел, изменился его голос.

— Вот ты погуще меня мозгой одарен, объясни: дозволено ли живую тварь убивать? И на войне и всяко! Я после того ястребенка так это дело понял, что до мыши включительно можно, а выше — грех. И вообще я в строгости был выращен: верить — не шибко верил, но полунощницы с отцом отстаивал. А на войне вот и преклонился мой разум. И кто бы подумал: с махонького началось! Атака случилась, а местность чертова, названье Фердинандов Нос: весь в дырках холмище. Я первым проволоку порезал, бегу этак, ору, а навстречу офицерик австрийский, сопляшка такой. Шашкой взмахнул на меня, да о штык мой напоролся и замер, и не рубит меня, а только уставился — враз, как ты в меня теперь, с молением. И еще не кольнул я его, а, промежду прочим, уж начинает лицо его оплывать, ровно огарок, а взгляд одновременно мигает мне, ищет. Чего-то ужасно он искал тогда во мне... и не нашел! А это верно, когда тебя штыком колют, смерть свою — не на острие, а в самом зрачке у того, кто колет, ищи! И как замигал он мне — врешь, думаю, через глаз пролезть в меня желаешь? Защурился я да...

— Словно в бане натоплено...— шумно вздохнул Фирсов, обмахнув испарину со лба.

Он даже привстал зачем-то, но Агей властным толчком в плечо осадил его на прежнее место.

— Потерпи, чудак, самое теперь завлекательное, самая соль начинается... Тут вроде смотр нам после случившихся боев произвели. Генерал со штабу наехал, с виду что твоя гаубица: лицом мужественный и красный, наскрозь войной пропитался. Нацепляет мне в строю военное отличие, поздравляет с геройством. А мне как бы жар приключился, и ухо поврежденное заныло. «Ваше, говорю, дорогое превосходительство, во что же мы упираемся в жизни... ведь все это ржавь сущая: я человека убил». И помнится, сдуру дополнительно сболтнул что-то. Глуп

был, вспоминать совестно... Как выпалит он в меня полным зарядом во всю пасть: «Идиот, коли начальство дает что, значит, за святое дело дает!» Отсидел я трое суток за своевольный разговорчик взаперти, и тем временем понравилось. Конечно, полностью-то еще не все оборжавело во мне, но смекаю: работа, в общем, легкая, а отличают. И что всего главней — не берут меня ни пуля, ни хвороба. Бывало, смерть вокруг все до былинки выкосит, из земляных норок и кротишек-то всех железным ногтем повыковыряет, а я... один я у ей невредимый стою ухмыляюся, ровно у тещи любимый зятек. Хожу и дымлюсь, такая во мне злоба. Обозорнел я вконец, за кажпую атаку в среднем по семь штук накалывал... пуще светлого Христова воскресенья боя ждал. Не хочешь — не верь, а только случилось, мертвого по второму разу убил. Откинулся он башкой к лафетному колесу, вроде наблюдает мои действия... Ну я и вздел его от страсти! И пошла мне удача на кресты, а как выдали четвертый, самый золотой, снялся на карточку кабинетного размера и домой отослал: будто стою на морской скале, фуражка набекрень, грудь в крестах, пуле пройти некуда. Меня в ту пору от здоровья жениться тянуло; пускай, соображаю, девки заранее влюбляются. Папаша мне тоже благословение свое прислали с матушкой. И как германская кончилась, новая же, по недосмотру правительства, не началась пока, а между тем карманные средства мои очутились на исходе, то и решил я самолично применить свой добытый опыт. Воротился украдкой в родимые места, пооглядедся... да и почал помаленьку богатеньких корчевать. По общему отзыву за год работу провел довольно значительную...— И тут Агей снова, с каким-то отчужденным любопытством, покосился на руки себе.— А только чего-то затянулось дело с медалью на сей раз: живуча мать-волокита на русской земле!

— И тебе не жалко... их? — содрогаясь от гадливости, вскинулся Фирсов.

— А чего?.. сорняк из поля вон, полезному злаку воля.

— Ошибку в спешке совершить не опасаетесь?

Агей только кольнул искоса собеседника медвежьим глазком.

— Ты лишнюю умственность не наводи... да я на наградах не настаиваю, достаточно сам себя награждал: бывалча, по полцарства за ночь в карты просаживал... всего в жизни спробовал, так что пора и честь знать!

Он впал в оцепененье долгого и тяжкого похмелья.

Пользуясь передышкой, Фирсов снова кинулся записывать, так что пальцы сводило от поспешности... впрочем, писал он вовсе не то, в чем каялся Агей. В повести давешний эпизод округлялся иначе; по Фирсову, при первой же всеармейской смуте рядовой Столяров Агей пришил генерала, награждавшего его за тот начальный подвиг, причем — не из политических даже соображений или, скажем, из иронической благодарности за полученную науку, а просто из неодолимой прихоти добыть мундир и послать папаше карточку во всех генеральских регалиях, что, по слухам, произвело неотразимое впечатление на пригожих односельчанок.

— Да ты послушай меня, погоди, ты, торопыга, успеешь свой черновичок на Агейку Столярова накидать!

— Не надвигайтесь, вы мне мешаете работать...— оборонялся Фирсов, потому что временами очки у него едва не запотевали от дурного Агеева дыханья, а сзади приходилась уже стена.— И бросьте же свои блатные штучки, черт возьми!

— Вот и рычишь ты, а ведь не боюсь, не крепше ты моего ястребенка: пера на тебе много, а тельца на грош. И я почему на тебя напираю? Я с изнанки помочь стремлюся, из потемок, а ты спереду умом пробивайся... вдвоем-то мы враз до сути и доберемся. Я так гляжу, что не кровь пролитая в нашем деле вредней всего, а понятие: нельзя никому открывать, как это легко и нестрашно. Потому что без бога да на свободке — ух чего можно в одночасье натворить. А уж кто нож или что другое там на человека поднял, то надо и его самого в яму зарыть... Но тут заминка у меня: кто же тогда распоследнего-то возмездию предаст? Самому вроде не с руки в землю закопаться, а из посторонних станет некому. Вот как твое мнение, просвещенный деятель?

В вопросе этом Фирсову почудилось проявление если не природного ума, то стихийного, вслепую, правдоискательства, не раз отмеченного фирсовскими предшественниками в русском преступнике. «Из глубокого колодца, сказано было в этом месте фирсовской повести, и в слепительный полдень иногда бывает виден свод небесный с ночными светилами». Естественно, сочинитель попросил собеседника уточнить, кого имел тот в виду под именем последнего наказующего. Агей отвечал довольно посредственной догадкой собственного изобретения, однако не лишенной известной остроты и смысла, так как на любое суждение о великом или бесконечном неизменно ложится отблеск темы. Словом, налаживался полагающийся в таких случаях,

истовый, с глазу на глаз, разговор, и за протекшие затем полчаса обоим удалось выяснить немало обстоятельств, одинаково полезных и для Агея, и для его вынужденного биографа, как вдруг случилось досадное происшествие... Кошке, спавшей на хозяйской койке, приснился голодный сон. В поисках пищи она полезла на полку, где хранилась пчховская снедь, но оскользнулась по дороге и вместе с инструментальным ящиком Пчхова свалилась на пол. Фирсову представилась редкая возможность изучить психическое, полное напряженного ожидания, состояние Агея той поры.

С прокушенной губой, весь в поту и выхватив что-то из рукава, Агей мутно озирался по сторонам, ища разгадку долгого, с металлической россыпью, грохота; испуг его мгновенно передался и Фирсову. Оба, крадучись, отправились в дальний угол, за печку, к месту происшествия. Причина была очевидна: кошка ежилась в углу, в страхе наказания за провинность. Отпихнув назад Фирсова, близоруко склонившегося к полу, Агей медленно отводил ногу в тяжелом сапоге, и, верно, пришлось бы Фирсову стать свидетелем ужасной расправы, если бы не поторопился открыть дверь на условленный наружный стук.

Пчхов вошел веселый, распаренный; проиндевелые волосы торчали из-под шапки. С ходу поняв обстановку, он решительно подошел к Агею.

— Чего, чего удумал? — спрашивал он, наступая на Агея и не спуская глаз, пока кошка не шмыгнула во двор сквозь полуприкрытую дверь.— Уж я надеялся, не застану тебя, а ты... ну, спать пора! Хватит тебе, хватит: сколько времени у сто́ящего человека отобрал.

— Хорошо еще, только время, не самые часы отобрал-то! — во весь рот пошутил Агей; и вот следа не оставалось в нем от его недавней просительной озабоченности. — Чего гонишь! А может, не все еще меж нас досказано...

— Ладно, в другом месте доскажешь. Ступай и не возвращайся ко мне больше,— говорил Пчхов, тесня его к двери, а тот пятился без обиды и сопротивленья. — Уходи, велю...

Когда хозяин обернулся к Фирсову, тот сидел с бездельными руками на коленях, с отускневшим от усталости лицом. Точно ослепшим взором глядел он на раскрытый в кружке света под лампой листок записной книжки, где до поры притаились осквернившие его слух Агеевы откровенья. Но уже никакой силой нельзя стало удалить ни буквы об Агее из задуманной повести.

— Накурился, что ли? — наклонился к нему Пчхов, заглядывая за фирсовские очки, по-стариковски полуспустившиеся с носа.

Лишь теперь признал он трудность сочинительской должности, правильно разгадав его подавленное, противоречивое безмолвие.

XXII

В ночь, проведенную Митькой вне дома, Зинка видела про него скверный сон и потому, уходя в тот вечер на работу, старательно запудривала круги под заплаканными глазами. Как страшилась она утратить еще не приобретенное! Только через неделю, полную жгучей безвестности, дополз до нее слушок о неудержимой Митькиной гульбе после некоторых опасных приключений. Никто на свете не знал, что за те два часа, пока Агей смущал Фирсова своей исповедью, Митька с товарищами удачливо навестил намеченное акционерное предприятие, о котором сговаривался с Агеем при последнем свидании. Щекутин и курчавый Донька помогали Митьке в той, оказалось, весьма легкой и выгодной медвежьей охоте. Не желая иметь в сообщниках Агея, хоть и наносил этим непрощаемую обиду, Митька решил, не вдаваясь в объяснения, отослать ему в конверте его долю,— и не как за наводку, а вровень с прочими участниками. Выяснилось, таким образом, что лишь из помянутых соображений Митька и устраивал на это время Агееву встречу с сочинителем на квартире у Пчхова...

Расставаясь с Фирсовым в тот вечер, Векшин то и дело справлялся с часами: до условленного с сообщниками сбора он намеревался зайти к сестре — в записке, присланной по городской почте, она приглашала его на первое, после длительной гастрольной поездки по провинции, выступление в московском цирке.

Векшин поспел едва к средине второго отделения. Все нетерпеливее публика ждала знаменитого номера Геллы Вельтон. Безукоризненный джентльмен во фраке заставлял белую, в ремешках и с султаном, лошадь встать на колени перед публикой; та черпала копытом песок и не хотела. Митька добрался наконец до своего места на галерке. Ружейные выстрелы и вопли джигитовки сменились старомодными клоунскими пощечинами и снисходительными хлопками зрителей. Митька рассеянно следил, как дробятся и отражаются все эти звуки в круг-

лом куполе над головой; сам того не сознавая, он напрасно искал там, в полупотемках, знакомую ему шелковую петлю сестры.

В антракте Митька отправился в уборную к Тане. Шустрый русский паренек, обезличенный униформой с металлическими пуговицами, пропустил его в закрытую для посторонних половину цирка; другой, из того же уважения к Митькиной шубе, указал ему на железную, в полтора марша, лесенку к артистической Геллы Вельтон. Сквозь приоткрытую дверцу, помеченную на скромной картонке цирковым именем сестры, просочился неодушевленный какой-то смешок, словно горох просыпали на бумагу. Смеялся бритый старичок в черной домашней шапочке, оттенявшей его поразительную бесцветность, и, казалось, прозрачный на просвет, такой он был бесплотный, вымытый, в чем-то уже нездешний. Роясь в чемодане, он рассказывал смешной эпизод из собственной жизни,— смеялся, впрочем, только он сам. Сестра стояла почти готовая на выход, в голубом трико, совершенно обнажавшем ее, если бы не отвлекающая, по поясу, россыпь лучистых звезд, из блесток. Прежде чем хоть взглядом приветствовать брата, она вполголоса обронила что-то женщине с безнадежными глазами, которая массировала ей шею и плечи; та накинула на Таню серый халатик с красной каемкой и вскорости незаметно исчезла за ширмой.

Брат и сестра повстречались взглядом в глубине стоячего зеркала, окаймленного рядами ламп по сторонам. Он пришел явно не вовремя,— Таня не обрадовалась, не удивилась, к досаде Митьки, возлагавшего на эту встречу смутные надежды продолжить все еще не законченный с прошлой встречи разговор. Сейчас она мало походила на себя, недавнюю, простую и теплую, и казалась совсем не такой молодой, какой выглядела в его мыслях. Может быть, это происходило от ее строгой внутренней собранности перед выступленьем. С безразличием рассеянности Таня спросила у брата, что нового в его жизни, но тут прямо над головой рассыпался долгий звонок, от которого защемило в сердце, и вдруг по короткому и тревожному блеску в глазах сестры Митька понял, что она волнуется, почти на грани сомненья в себе, как и сам он перед опасным мероприятием, отчего девушка стала ему вдвое ближе.

«Как тебе сказать, все шалю покамест...» — собрался отшутиться Митька, но внезапно, забыв про заданный вопрос, сестра вышла справиться об установке аппаратов. Приняв ее

случайный жест за приглашение садиться, он опустился на что-то возле пыльной входной портьерки и, лишь бы не думать о предстоящем, следил за стариком, как суетился тот, собирая раскиданные вещи с пола и немедленно роняя новые.

— Ошень рад видеть брат моей Таниа,— без умолку щебетал Пугль, оставшись наедине с посетителем, даже за плечо придержал Митьку, сделавшего попытку приподняться. — Ништо, сидит, хорошо. Я не знал, что такой молодой. Если б мы не был молодой, мы никогда не стал старый. Ой, как набросал... Дуняш, Дуняш! — покричал он в дверь, за которой глухо плескалась вступительная, после антракта, музыка. — Знает, штрабат это опасны номер. Артист не может иметь дурной настроенье, когда штрабат. Люди хотят получать за свой деньги небольшой приятны страх. Когда мои детошки сорвались, один господин, большие усы, шикайт мне... о, Schwein! [1]

Он собирался посвятить Векшина в подробности давнего несчастья, но скрипнула дверь, ворвалась волна медных звуков, аммиачный сквознячок из конюшни вместе с нею, потом глухо бился в дверь уборной тупой барабанный бой,— вернулась Таня.

— Ты ведь первая?— приподымаясь, спросил Митька и поежился от вторичного звонка над головою; никто не обращал на него внимания теперь. — Мне, пожалуй, пора на место?

Сестра скинула халатик, а Пугль принялся обдергивать свой черненький пиджачок, словно ему, не кому другому, предстояло покорять зрительские сердца. С порога Митька оглянулся на тишину и опустил глаза: привстав на цыпочки, старик сосредоточенно крестил питомицу, стоявшую с закрытыми глазами.

Не попав к себе на галерку, Митька должен был по дороге занять пустовавшее место в рядах; цирк нестройным плеском уже приветствовал эту знаменитую, в черном пока, артистку, доставлявшую наслаждение минуткой ужаса. Цветные прожекторы нащупывали глянцевито-черную петлю, свисавшую из купола, и многократно повторяли ее на дальней стене. Только один зритель не хлопал в ту минуту. С болью сомнения узнавал он сестру в улыбающейся циркачке там, внизу, которая, подкупающе раскинув руки, кланялась за проявленную к ней доброту. Привлекательность ее номера заключалась в полном отказе от усложняющих приемов, помогающих артисту

[1] Свинья *(нем.)*.

продать его дороже. Сбросив черный плащ на руки подоспевшей униформе, Таня стала легко, по веревочной лесенке, подниматься на высоту. И такая была в том безупречная слаженность движений, проникнутая такой убедительной уверенностью в безопасности, что Митька и все остальные две тысячи вместе с ним испытали подсознательную благодарность к артистке, избавлявшей их от тревоги, способной испортить предстоящее удовольствие.

По рядам, кругами расширяющимся кверху, пробежала тишина, а смычки скользнули на самый верх, и предостерегающе рассыпался корнет-а-пистон. Потом один за другим пошли вступительные перед штрабатом трюки, но уже со средины номера Митька из какого-то суеверного чувства перестал глядеть на сестру. Если бы не ее приглашение в прошлый раз — «нарочно для тебя уроню платок сверху, смотри!» — ничем бы его не заманить в цирк, да еще за полтора часа до собственного дела. Озабоченный затянувшейся паузой, впрочем, он украдкой взглянул наверх: подсвеченная снизу синим лучом, который Митьке показался оранжевым, Таня неторопливо делала что-то, присев на трапеции.

— Ботинки прикрепляет,— вслух сказал в ложе перед ним средних лет начинающий жиреть человек, и Митька принялся глядеть ему в складчатый затылок, чем-то похожий на бараний курдюк. Его дама, пышная — точно с двумя дынями за пазухой, снимала с апельсина кожуру, пользуясь ногтем отставленного в сторону пальца с грязноватым сверкающим камнем в кольце.

— Как она долго там... — поворчала дама, а Митька вспомнил неизвестного назначения ременные застежки на башмаках сестры.

Знаменитый прыжок в петле Гелла Вельтон приберегала к концу. Слегка закрепив голубой колпачок на волосах, она закинула руки за шею и стала вращаться вокруг трапеции. Потом, недосягаемая для векшинской жалости, она еще что-то делала там, в своей высоте, рассылая в перерывах воздушные поцелуи всем, кто потратил вечер и деньги ради нее. Все это время Векшин малодушно, скосив голову набок, занимался обстоятельным изучением ненавистного затылка перед собою.

— Вот он, гляди, штрабат... — произнес затем спутник толстой дамы, продолжавшей спускать с апельсина оранжевую стружку.

Все замолкло, даже положенная барабанная россыпь в оркестре. Тишину пронизывало лишь шипенье прожектора да, казалось, напрягшиеся до легкого гудения тросы. С нетерпеньем страха на этот раз Митька поднял глаза. Незнакомая и бесконечно удаленная, показалось ему, артистка стояла с петлей на шее, вымеряя расстоянье до черного, как мишень, коврика, поджидающего на опилках внизу. Степень напряженья невыносимо усилилась. Кто-то, пригибаясь, уходил в рядах, женский голос крикнул *довольно*. Дама перестала чистить апельсин, и вопросительно поднятый ноготь спорил тусклым блеском с бриллиантом. Затем последовал общий вздох, и протекли еще несчитанные мгновенья, прежде чем ноготь мизинца снова врезался под оранжевую корку. Бурные рукоплесканья и медный треск в оркестре возвестили об окончании номера. Сестра была уже внизу, светлая и несбыточно голубая, с перекинутым через плечо плащом, а над головой у ней еще раскачивалась шелковая, обманутая веревка. Убегая, кому-то отдавливая ноги, Митька успел приметить на арене Стасика, провожавшего Таню к нему на Благушу; собаки из следующего номера, выстроясь полукругом, жались друг к другу, нервно поглядывая на разряженного в клоунские блестки повелителя.

На ходу запахивая шубу, Митька выскочил из цирка на мороз. Щекутина он подхватил за карточным столом в одной *малине* неподалеку; они вышли тотчас же. Донька и подсобная команда находились уже на месте... Расстались несколько часов спустя, на исходе ночи, покидая акционерного медведя в самом неприглядном виде. Оставшись наедине с собой, Митька долго сидел на смежном бульварчике, охваченный скорее смятением духа, чем понятной усталостью. Никакая радость на свете не погасила бы в нем вдруг возникшей, с каждой минутой возраставшей смуты, и причиной ее была крохотная, лишь на самом месте преступления и с непоправимым запозданием обнаруженная Митькой подробность. Он начинал постигать существо жестокой и гадкой Агеевой проделки над собой и чем дольше размышлял, тем больше приходил к заключению, что вряд ли Агей додумался до нее без посторонней женской помощи.

За ночь мороз усилился. В снежной предрассветной пыли кое-где беспорядочно возникали освещенные окна, хотя безмолвие ночи еще тяжко лежало на городе... Когда смутные белесые тени наступающего дня поползли по снегу и полностью объявился в улицах гул пробужденья, Митька разбудил

ночного извозчика и нанял на Благушу. Никаких сомнений не оставалось у него теперь, что замысел пожовой шутки принадлежал коварной Маше Доломановой.

Ехал он к ней упрекнуть за жестокий и, верно, не первый уже удар, принимая во внимание прежние Митькины огорченья, а между прочим, бросить в очи ей напоследок какое-нибудь особо беспощадное словцо... однако чем дальше ехал, покачиваясь в санях на московских сугробах, тем отчетливей сознавал, что не за тем, чтоб браниться, едет, а из вдруг возникшей потребности взглянуть в похудавшее, тоже бессонное Машино лицо,— хоть теперь простила ли после такого, а потом завалиться где-нибудь в непробудный, на полгода, сон!

«А впрочем, что мне в ней? — слышалось ему в унылом пении полозьев на раскатах,— в чужой жене, захватанной, Агеевой. И разве слаще нынешнего было бы тогда еще, в Рогове, пробиться в доломановские зятья? Давно сгнил бы ты, Митя, от семейного счастьица, на толстых перинах, на жирных доломановских щах. Ходил бы по престольным праздникам в демятинскую церкву всем выводком, а после обедни к попу Максиму на гуся с домашней наливкой, а там опять с головою в пыланье неукротимой Машиной любви... Тогда чего ж тебе угодно от жизни сей, обожаемый Дмитрий Егорыч?»

Соскочив с саней, под неодобрительным взором извозчика Векшин приложил горсть снега к разгоряченному лбу и лишь тут ощутил, как сильно прохватило его на сквозняке, пока возился с медведем. Начинался жаркий озноб, с затылка наползал знакомый простудный гнет, сердце билось толчками, как отравленное... Вдруг Митька передумал: чтобы зря Маше боль свою не выдавать, чтоб раньше сроку не тешилась, разумнее было по горячему следу, пока не ушел от Пчхова, у самого Агея проверить догадку и в первую очередь выяснить, как оно могло случиться, столь поразительное совпадение, что в громадном столичном городе Дмитрий Векшин попал с фомкой в гости именно к лучшему своему дружку Арташезу?

Толкая ногой пчховскую дверь, Митька больно и надрывно закашлялся.

XXIII

Как и следовало ожидать, Агея на месте уже не оказалось, да Митька и сам тотчас забыл свое намеренье. Пчхова он застал в жарком споре с Фирсовым: впрочем, горячился

главным образом первый, потому что речь шла о важнейшем для него предмете, а второй лишь подыгрывал ему восклицаньями согласия, удовольствия или сомненья. Карандаш его, будто и не ночь, мелким бисером устилал очередную страничку записной книжки. И не то было поразительно, что до утра затянулась беседа, а то, что Пчхова хватило на нее при столь требовательном партнере.

— Хватит с тебя, сочинитель. Мало тебе Благуши, за самого Пчхова принялся! — неприятно для обоих пошутил Векшин; прямо в шубе он присел у печки, стремясь скорее добраться до тепла. — Собачий холод на дворе, подкинь еще поленце, мастер жизни!.. Вдоволь поди наговорился с Агейкой?.. подходящий для тебя оказался товар?

— В смеси с другими пройдет... — только и буркнул Фирсов, боясь утратить кончик порвавшейся мысли; впервые присутствие Векшина стесняло его.

Спор безнадежно обрывался, Фирсов с досадой прикрыл свою ловушку. Не поднимаясь с места, Пчхов прощупал вошедшего хмурым взглядом.

— Не в гостях ли засиделся, Митя?

— Так, важное совещание одно... — и, махнув рукой, зашелся в приступе кашля.

— Шатаешься, видать с выпивкой совещание. Снилось мне, будто подстрелили Митю, поберегись: у меня сон вещий!.. Ишь как треплет тебя... не угодно ли, лекарствия пузырек составлю? Как рукой сымет...

— Все нутро кашлем выворачивает,— пожаловался между тем Векшин, прижимаясь спиной к остывающей печной кладке. — Поди на каустике лекарство свое составляешь, самоварный лекарь!.. нет, это от табаку у меня.

Его знобило, он заметно путался в словах. Мельком помянув про бывшего приятеля, Арташеза, тоже любителя полечить домашним средством, он без очевидной связи перескочил к Маньке Вьюге, чтобы от нее распространиться о пропойном доломановском братце, не известном никому из его собеседников. И по тому, как вникал Пчхов в его скачущие мысли, не прервав ни разу, а только хмыкал, покачивая головой с видимым участием,— Фирсов ухватил наконец в Пчхове то главное, чего ему не хватало для последнего наглядного портретного сходства.

«Весь мир был для Пчхова театром искреннего и слитного действа, и он один, зачарованный зритель, глядел из своей ма-

стерской как из ложи на происходившее перед ним зрелище жизни... Глядел и все не мог наглядеться на нескончаемое повторенье одной и той же темы, сплетение обманутых любвей, неутоленных вожделений, молодостей на взлете и в падениях. Все ему было там до самозабвенья интересно, как путнику на берегу моря, где то и дело из голубой вечности бежит, бежит волна, чтоб донести свой клочок пены, шевельнуть гальку и растаять на полувздохе... — Фирсов мысленно зачеркнул последние три морских строки, чтобы сохранить единую, театральную фактуру образа. — И, несмотря на возраст, так было ему все интересно, что и самое плохое стремился досмотреть до конца».

Вдруг Пчхову надоело тратить время на шутливую перебранку с Векшиным.

— К слову, вот ты обронил мне давеча, Федор Федорыч,— продолжил он прерванный векшинским вторженьем спор,— что затопчут, дескать, нас враги жизни, если с прогрессом в ногу не идти. А я все жду, не взбунтовались бы когда-нибудь твои людишечки: довольно, скажут, нам клетку этой самой цивилизации для себя сооружать все тесней да строже. Правда твоя, позволяет нам наука в бездну заглянуть, да она же и скинуть нас может... да еще в какую бездну! Вот я тебе притчу обрисую, ее и тебе полезно послушать, Митя!.. отец Агафодор, уединенник мой, у которого я душу-то во младые лета спасал, ночью, у полусмертного ложа моего сидя, сказывал... Когда у Адама с Евой случилась та самая промашка с яблочком, то и погнали их из райского сада помелом. Присели они под колючею оградою на бугорочек, дрожат обнявшись, проливают горько-соленую слезу, что впервые не евши надо спать ложиться. Они ведь там ровно детки, на полных харчах состояли, в раю-то. Плачут этак, своеобычно друг дружку попрекают... Тут и подходит к ним ихний соблазнитель, только уж не в прежней змеиной коже, а переодемшись в партикулярное платье, разумеется. «Не печальтеся, горемышные,— он к им задушевно так, нараспев обращается,— в чем ваше горе? Вы мне доверьтеся, а то глядеть на вас кровью сердце обливается!» Они ему так в рукав оба и вцепилися: «Пожалуйста, говорят, примите в нас участие, а то с квартиры согнали, зверь в лесу стонет, ночь подступает... жутко в мире голому да натощак!» Он им в ответ: «Не убивайтеся, граждане, в тот сад и другая дорога имеется. Вставайте, пожалуйста, время деньги, я вас сам туда проведу!» И повел... —

Пчхов задумчиво огладил заросшие седой щетиной щеки. — Вот, с той поры и ведет о н нас. Спервоначалу пешечком тащился, а как притомляться стали, паровоз придумал, на железные колеса нас пересадил. Нонче же на ероплапах катит, в ушах свистит, дыханье захлестывает. Впереди Адам поддает со своею старухою, а за ими мы все, неисчислимое потомство, копоть копотью... ветер кожу с нас лоскутьями рвет, а уж ничем теперь нельзя нашу жажду насытить. Долга она оказалася, окольная-то дорожка, а все невидимы покамест заветные-то врата! — Он кончил вздохом сочувствия, и можно было по его сказке угадать, на что ушла у них с Фирсовым зимняя длинная ночь. — Так-то оно на поверку обстоит, Федор Федорыч.

— И правильно! — сумбурно вмешался Векшин. — Зато уж как достигнут, сами станут всему хозяева. Человек есть такое вещее слово, Пчхов, что выше всех титулов на свете. Он и не может иначе: ему вперед и вверх надо, все вперед и вверх...

— Вот-вот, и про это имелось словечко у моего Агафодора,— немедля подхватил Пчхов. — Черному-то ангелу, как провинился он в начале дней, тоже все мнилось, что вперед и вверх летел, а это он башкой вниз падал, Митя.

— Вострословый он был, наставник ваш... с жальцем! — заметил Фирсов.

— Правда-то иногда и насмерть жалит, зато кривда ласкает, да нежит, да поддакивает! — Здесь Пчхов поднялся, сгреб в ладонь фирсовские окурки со стола и кинул в печь. — Давайте прощаться, милые... мне скоро мастерскую открывать.

И остылая печка, и наросший на лампе нагар подсказывали, что время расходиться. Холодом несло из-под двери, морозный узор на окне заметно посинел. Под предлогом обменяться сужденьями о некоторых благушинских новостях Пчхов увел Векшина к себе за занавеску. Одеваясь и все попадая в оторванную подкладку рукава, Фирсов ловил обрывки их шепота, причем первый как будто уговаривал под видом шутки, а второй твердил упорно, что нет, что ему вперед и вверх надо, вперед и вверх.

— Оставался бы пожить у меня,— услыхал между прочим Фирсов,— а через недельку мы бы и скатали, навестили бы о д н о г о старичка... жив еще, в секрете, в глубоком подземном погребе сокрывается. Он твою боль, Митя, как рукой с сердца сымет... кстати, и от табачку отучил бы!

— Нет, зачервивею я в твоем подполье, примусник,— дружелюбно оборонялся Векшин. — Уж дай Митьке догореть, дай ему вдоволь намахаться. Откуда старому хрену знать, что творится в середке молодого сердца?

Дальше подслушивать Фирсову стало неловко,— он тихонько, не прощаясь, выскользнул наружу. Впрочем, Митька догнал его еще в воротах, им немножко было по дороге. Оба чувствовали установившуюся меж ними почти кровную связь и потому не нуждались в произнесении обязательных на расставании слов. А уж мальчишки бежали по Благуше с ворохами утренних газет, и Митька, взяв одну, долго и без выражения вчитывался в какую-то сенсацию, видимо перед самым выходом в свет заскользнувшую в номер. И так случилось поэтому, что оба остановились закурить... Светало и морозило, крещенское утро удавалось на славу. Точно решив отоспаться за всю трудовую неделю, мягко покоилась окраина в сыпучих снеговых пуховиках. С дворцовой роскошью разряженные хибарки, скрюченные от невзгод деревья во двориках, самый воздух над ними — все искрилось то синим в тени, то алым на восходе инеем. Разноголосо пел снег под шагами редких прохожих, и, словно в совершенной музыке, не было звука лишнего кругом. И уже выкатывался из небесной дымки царственный медный шар... Куда там, неописуемо великолепие утра на Благуше!

Жадно потягивая в себя жгучую февральскую стужу, похозяйски поглядывая на Митьку, озабоченно шарившего спички в карманах, Фирсов вспомнил другое, непогодное утро, когда по неведомому наитию забрел на Благушу. Тогда вся будущая повесть состояла из одной необъяснимой запевной тревоги, а теперь, хоть и не написанная, она уже проступала в воображении черновиками исчерканных страниц. И сочинителю мнилось, что он владеет судьбой стоящего с ним человека, а на деле даже не замечал сейчас омрачивших Митьку обстоятельств.

«Вот даю тебе жизнь, даже в падении своем надменный человек,— думал он, вознаграждая себя за двойную усталость минувшей ночи,— потому что это я вывел тебя на свет из твоих потемок, приняв на себя часть кары за твои ошибки. Все в тебе мое — кровь и мысли, и эта дорогая шуба, какой никогда не будет у меня, и пугающее ханжей лицо твое, и все вокруг тебя — в том числе эти скользящие в голубом морозе птицы, на которых ты глядишь сейчас,— все это из меня и я сам!»

И даже то обстоятельство, что его создание довольно неважно выглядело в ту минуту, а временами еле держалось на ногах, не огорчало Фирсова, так как и это безупречно совпадало с планом не написанного пока сочинения.

XXIV

У Векшина начинался высокий жар. Тут и хватать бы вора, обессилевшего, безоружного, да еще, возможно, с денежной уликою за пазухой, но никто не обращал на него внимания. Тявкнула было в проулке собачонка на него, но лай ее нисколько не отразился в затуманенном Митькином сознании. Когда проходил мимо булочной, пахну́ло на него сытным и горячим, он остановился даже, но так и не понял, что это голод. И знал безошибочно, что если миновать эту площадь и через проходной двор выйти на параллельную улицу, то шагов через двести окажется прямо у большого, новой постройки здания с несосчитанным количеством этажей, имевшего для него сейчас особо притягательную силу. Он брел туда запутанным путем, принимаемый порой за пьяного; счастливая звезда охраняла его от уличного несчастья. Покрасневшие глаза, ослепляемые вдобавок ярким снегом, то и дело застилались слезой. Вдруг почудилось, что Манька Вьюга идет рядом с ним, и он даже не попытался удостовериться взглядом, так убежден был в ее присутствии. Она спрашивала, дразнила, упрекала, то удаляясь в бесконечность, то приближаясь до ощутимой близости,— он отбивался как умел.

«Все дразнишь, а зачем тебе?.. ты ж от меня о т д е л ь н а я теперь. А про это даже Чикилев знает, что в о р... бывает, собьешься с ноги и никак в нужный след не вступишь! Дозволь герою не хвастаться его геройством... и не хочу заодно с Чикилевым в щелки подсматривать. Не дразни же меня... ах, как голова моя болит!»

Он хотел приказать, сжать ей руку до боли, воспретить, но движенье пропало впустую, Маша исчезла, а взамен ее шарахнулась на мостовую древняя старушка с кухонной сумкой и проводила взглядом, качая головой. В погоне за неуловимою беглянкой Митька вбежал в подъезд многоэтажного здания и, минуя вешалку, должен был прислониться в углу к заклеенной объявлениями витринке, чтоб переждать качку. Так и не смог вспомнить впоследствии, сколько времени про-

был в вестибюле, когда же чуть отошло, заметил кучку озабоченно наблюдавших за ним сотрудников того учреждения, где сейчас находился. Тогда, подчиняясь все тому же неодолимому влеченью, он стал медленно подниматься по ступенькам во второй этаж, и, хотя даже не спотыкался теперь, встречные жались к перилам при виде его и обходили стороной. Затем он потянул на себя скобку высокой стеклянной двери и с несколько прояснившимся сознанием огляделся.

Поиск свой Митька начал с полу и, лишь убедившись, что ни соринки не белело в проходах и под столами сотрудников, поднял голову. Человек пятнадцать, а ему почудилось — множество чем-то пришибленных, друг на дружку похожих людей находилось перед ним. Был воскресный день, так что лишь чрезвычайное происшествие могло соединить их всех в то утро. Дух несчастья висел над учреждением, и, хотя все с одинаковым видом усердия и непричастности склонялись над бумагами, никто ровно ничего не делал, а взволнованный шепот их сливался в такой же однообразный гул, как если бы в спичечном коробке шевелилось большое неспокойное насекомое. В конце помещения виднелась вторая двустворчатая дверь, и Митька стал пробираться к ней между втесную составленных столов, поминутно извиняясь направо и налево, потому что на ходу, для твердости, опирался то на одно, то на другое склоненное плечо. Он направлялся с уверенностью, заставлявшей подозревать, что бывал здесь раньше, даже не так давно, не более недели назад, а может, вчера во сне. Лишь в самом конце его не без робости опросила заплаканная девица, куда ему, и Митька отвечал, что к директору, указав при этом на дощечку с именем старинного своего дружка... Едва взявшись за скобку, он носом к носу столкнулся с двумя в кожаных куртках и тугих ремнях,— не приготовленные к подобной дерзости, они не опознали Митьки.

Арташез, тот самый, бывший секретарь полковой ячейки, непревзойденный усач когда-то и приятель, сидел за большим столом с письменным прибором, громоздкость которого соответствовала его высокому служебному положению; четыре телефона на соседнем столике дожидались его приказаний.

Все здесь было до благообразия чисто, и, как снова убедился Митька, нигде никакой бумажки не валялось на полу. В глазах Арташеза вспыхнуло раздражение на самовольное вторжение, тотчас, однако, подавленное — едва опознал Векшина. Действительно, такая чрезвычайность таилась в визите

необыкновенного по внешности посетителя, что собеседник Арташеза, видимо только что подвергшийся допросу сотрудник, сразу поднялся уходить. Некоторое время директор вопросительно молчал, щурко поглядывая на вошедшего, то на лицо, то на продранный рукав шубы.

— Здорово, святая душа... — сипло сказал Митька, снимая шапку, без стеснительных в их нынешнем положении объятий, тем более что по ряду соображений гость и не рассчитывал на особо радушный прием; он долго усаживался в мягчайшее, как западня, кожаное кресло.— Гляди, наглядывайся досыта: живой еще, как сам можешь удостовериться... вот навестить старого черта притащился!

Тот не отвечал пока, только хмуро удивлялся, точно видел мертвого. В нынешних условиях появление Митьки представлялось Арташезу событием особой важности: слишком много пережили вместе, слишком часто одна и та же шрапнель накрывала обоих смертоубийственной пятерней. Но сперва постороннее присутствие помешало ему выразить радость свиданья, а минутой позже наступило обидное и подозрительное замешательство. Завязался поединок взаимного вопросительного молчанья, очень похожий на то, как боролись в полку когда-то — ладонь в ладонь, локтями упершись в край стола; Арташез сдался раньше. Он мелко зачастил какими-то крайне несущественными для такой минуты словами, а Митька тем временем упорно рассматривал его отбелившиеся, ужасно торопливые руки, парядный галстук, коротко подстриженные усы и нечто до раздражения новое для него — на подбородке.

— Какие же всемирные усищи были у тебя, Арташез, зря ты их обкорнал, да еще какой-то заграничный кустик под губою пристроил! — вразрез остановил его взволнованную скороговорку Митька.

Тот снова умолк, стараясь проникнуть в причину неожиданного Митькина маневра, потому что за каждым произнесенным ими словом прятался намек на происшедшие перемены.

— Э, не в кустике, а в душе все дело и в чистой совести, Митрий... да и не важно это. Где ж ты теперь устроился, однако? Ведь столько лет...

— Да в кооперации по-прежнему работаю...— со злым и жарким вдохновеньем придумал Митька; он то и дело откашливался, чтоб вернуть голосу пропадавшую звучность. — Главным образом в разъездах да на побегушках пока... оно и хлопотливо, но не теряю надежды, бодрости. Вот и голос в поезде

вчера потерял: вагон дырявый попался. Я на свою жизнь не ропщу, больно уж дело-то наше интересное, сознание в людях пробуждать: с головой захватывает! — По ходу рассказа он выдумывал цифры преуспеяний, главным образом в процентных, отлично затемняющих ясность, отношениях, и приводил застрявшие в памяти общие цитаты из газет. — Погоди, еще догоню тебя...

— Рад, очень рад, что наладилось у тебя,— не дослушав, говорил Арташез, а сам искал глазами чего-то на столе. — Я всегда был в тебе уверен!

— Мерси, братец, мерси,— в том же тоне благодарил Векшин.— Кстати, кто это здесь торчал у тебя?

— А!.. это консультант мой. Строительство обширное затеваем, а я в этом деле мало смекаю пока...

— Фанерное небось? — подмигнул Митька, задоря бывшего приятеля.— Ладно, не серчай, свои люди... Нет, я не про этого, а вот что перед ним-то вышли, в черных куртках.

— Ах, ты вон про что! — Директор поднял на гостя внимательные глаза, удивленный тоном этой откровенной любознательности.— Как же, братец, двадцать тысяч ухнули у нас в эту ночку, не слыхал?

— Ай-ай!.. только откуда же двадцать-то,— не на шутку испугался Митька,— когда их всего шесть было... говорят.

— Ах, разве шесть... я все путаю,— без всякого удивления поправился Арташез.— Я и забыл, что в тот день у нас большие платежи были... Словом, вот они и приходили, двое, из розыска... Тебе надо лечиться, Митрий, а то вовсе голос потеряешь. Ты Бахтина из нашей санчасти знавал? Тоже не спохватился вовремя, так и хрипит до сей поры.— Для такого дня он уделял несколько чрезмерное внимание здоровью бывшего приятеля.

— Ведь сам поди на бегах проиграл... а? — шутил Митька, упорствуя в своем намерении разозлить Арташеза.— Я не донесу, признавайся!

— Ты про что это? — нахмурился тот и снова подавил вспышку.

— Да вот про денежки-то. Одни лошадками увлекаются, у других любовь либо картишки на уме. Ну-ну, я пошутил, я уже прочел в газетке про твою беду! — Для того чтобы сообщение о ночном происшествии успело попасть в утренний номер, требовалось, чтобы оно обнаружилось тотчас по совер-

шении налета, вследствие чего Митьке и хотелось выяснить, не донос ли, чудом запоздавший, был причиной столь скорого раскрытия.

— Большие деньжищи...— тоном сочувствия продолжал он,— и что всего обидней — ведь на кутеж либо на тряпки блудильным девочкам уйдут. У нас на Ветлуге тоже из кассы двенадцать тыщонок хапнули... так эти же двое, помнится, наезжали. Деловые ребята, особенно постарше который: отыщут! Ты расспроси у них про наш случай, в кооперативе, мол, Красный Сеятель.— Митька сделал неожиданную попытку подняться, но волшебное, под ним, кресло легко, без насилия, не пустило его.— Пухом, что ли, набито?.. ишь как засасывает, мягкое! А мы, братец, у себя в провинции все на табуреточках пока...

— Да, ловкая и, видно, быстрая работа... главное, никакой улики! — вяло тянул директор, занятый своими, но по тому же поводу, мыслями.— Только вот смотри, какое примечательное обстоятельство! Близ самого своего стола я вот эту вещицу поднял...— И, развернув бумажку, валявшуюся на столе, показал грошовое серебряное, с голубым глазком колечко.— Представь себе, на самом виду лежало... Всего забавней, что где-то я уже видел его. Постой, да не на фронте ли под Казанью?

— Стареешь, Арташез, память плохая, у меня же и видел!.. дай сюда! — в каком-то бредовом вдохновении и бесконечно дерзко сказал Митька, взял вещь из его пальцев и, ревниво потерев о рукав, так же неспешно спрятал в карман. — Вот так оно лучше будет, а бумажку себе оставь... Главное — не только у меня видел, а и сам в руках держал, когда я тебе про Машу Доломанову рассказывал. Ай все забыл?.. нет, стареешь, брат Арташез.

— А ты уверен, что оно твое, Митрий? — делал вид, будто сопротивляется, директор, но тут некстати позвонил телефон.— Какой, к черту, родильный дом? Вы в морг попали! — и по тому, как он с сердцем кинул трубку на рычаг, можно было судить о его скрытом волнении.— Ведь колечко-то на полу, рядом со взломанным шкафом нашли. Видимо, кто работал, тот и выронил...

Митька недоверчиво выпятил губу.

— А в прошлый раз ты сказал, будто возле стола лежало.

— Разве? Значит, оговорился я,— так же, без выражения, отвечал Арташез.

— В таком случае, почему же не передал агентам как улику?.. или ты знал, что оно мое?

Директор пристально и строго посмотрел на своего гостя.

— Разумеется, Митрий, я тебя подороже украденной суммы ценю... вернее, будущность твою! но... неужели ты способен предположить, что даже ради тебя я пошел бы на служебное преступленье? — уклонился от объясненья Арташез, переставляя с места на место предметы на столе, и вдруг внимательно покосился на Митькины руки.— Я так полагал, что с находкой произошло странное совпадение, которое ты мне объяснишь, конечно?

— Охотно...— подхватил Митька.— Месяца два назад это самое колечко у меня в поезде с бумажником украли... видно, те же самые побывали у тебя прошлую ночь, не иначе!

— Вот видишь как, аккуратнее надо прятать, когда в поезде едешь...— сурово сказал Арташез.— Но что занятнее всего, знаешь ли, половина украденной суммы оказалась подкинутой... ровно в копеечку половина!

— Потерял, значит... то-то поди плачется теперь!

— Нет, я думаю, тут иначе дело было, Митрий. Скорей всего на вора снизошло внезапное... не скажу раскаянье, потому что тогда у него хватило бы смелости и с повинной прийти! А, видимо, небольшое озарение... Те двое говорят, что такого не бывает в уголовной практике, а я полагаю, с настоящим человеком буквально все может случиться... как по-твоему?

— Случается, это точно...— как зачарованный подтвердил Митька.— Но какие же твои выводы из этого?

— О, я много делаю выводов,— со значением протянул Арташез.— И прежде всего... так как одновременно с целой ротой озаренья не случается, то, судя по размеру подкинутой суммы, сделать это мог только сам, получающий львиную долю добычи, главарь шайки... не иначе! Он, может, и не стал бы, потому что труд рискованный, но, значит, просто физически не смог унести эти деньги. Побоялся, что сам себя перестанет уважать! Именно это и внушает мне надежду, что хоть на самом донышке, хоть дохлый, а еще шевелится в нем этот самый... ну, прежнего, солдатского достоинства червячок.

— Да ты просто мудрец, Арташез,— смущенно расхохотался Митька,— тебе бы прямиком в следователи! Ну, дальше вали: и что же толкнуло этого гада на столь благородный поступок?

— Тут уйму можно нагадать... к примеру, может быть, и сам он армянин, как я, и когда принимался заодно в столе моем пошарить, то и увидал мельком вот эту самую карточку

мою с женой. Ну и постыдился с в о е г о - т о грабить. Значит, не безразлично ему пока, куда руку запускать... верно? Значит, не ведал, куда шел. Правильно народ говорит, что нет худа без добра... не так ли, Митрий?

Оба замолкли, копя аргументы к продолжению поединка. Точно испытывая терпение бывшего товарища, Митька стал закуривать. Опять подступала жаркая бредовая неразбериха. Вдруг он весь подался вперед в сторону Арташеза.

— В таком случае как же такая подробность в газету не попала?.. про все рассказано, а что часть денег оказалась возвращена — ни слова!

— А видишь ли, уловку эту я придумал...— невесело посмеялся Арташез,— на пробу! В расчете, что вор прочтет, забеспокоится: кто-то другой их не присвоил ли, деньги-то, например, я сам... ну и непременно заявится для личной проверки, а мы его тут и сграбастаем!

— Хитро-о! Выходит, не вовремя навестил я тебя... Ладно, хоть еще веришь мне! — с кривым лицом пошутил Митька.— А то заедешь этак-то к дружку чайком побаловаться, а тебя и сцапают: ты, скажут, казенный шкаф попортил!

— Ну кто же такое на нашего Митрия посмеет возвести! — совсем сухо возразил Арташез и, прерванный телефонным звонком, взялся за трубку. — Да, Катюша, минут через двадцать буду, мы уже кончаем... ну, авось не пережарятся! Нет, из розыска раньше были, теперь так, товарищ один сидит. Как тебе сказать... помнишь, я тебе про ночь перед лукояновской операцией рассказывал? Вот он самый... ладно, передам. Тебе жена кланяется, Митрий, я на досуге раз посвятил ее в твои приключения: она знает в с е. К сожаленью, день неудачный сегодня, но она не теряет надежды познакомиться с тобой в более благоприятных обстоятельствах...

Митьке выгодней было не вникать в скользкую и емкую по содержанию речь бывшего приятеля; он ухватился за спасительное слово.

— А ночка та в Лукояновке...— вдруг через силу заговорил он, —по гроб жизни врезалась мне в память та ночь. Ты с обхода вернулся, в чем был свалился на койку, устал... Но едва Петро затрынкал Я б л о ч к о на мандолине, ты вскочил как встрепанный... в бурке, бурный. Буркалы выпятил и пошел! Потом сидели на койке, и я тебя, праведника, все колечком этим дразнил: у тебя еще не было этой, нынешней... богини. А знаешь ли ты, что у меня в колечке этом? Кудема, сердце

мое... И вот все рассеялось прахом, Арташез. Ничего не осталось, кроме как на стенке от прежнего огня играющие тени...

Через огромное, чуть не в полстены и на уровне плеча начинавшееся окно вливался розоватый, усиленный снегами полдневный свет. И, пользуясь этим, Арташез не столько слушал гостя, сколько вершок за вершком изучал его лицо, одежду, в особенности руки, точно то и были главные улики состоявшегося ночью преступленья. И, правильно толкуя любознательность Арташеза, Митька готов был на любую ссору, чтобы замаскировать свое смятенье.

— Чепуху болтаешь, Митрий! И не везет же нам с тобою на беседу: прошлый раз, *тогда*, ты пьяный валялся, теперь больной совсем... Не минуло, а только приступаем к восхождению на главный перевал. Как в песне говорится, в поход за счастьем, по орлиным тропам!

— Не минуло, говоришь? — вызывающе посмеялся Митька. — А раз так, запевай наше *Яблочко*, ну!.. что, не в голосе, видать? Нет, просто неловко тебе теперь — в *чистые* люди вышел! Зато я на твоем месте...

Поднятой ладонью Арташез приостановил расхлестнувшийся было поток:

— Погоди!.. повторяю, ты крепко болен, Митрий, однако болен не настолько же, чтобы путать с трактиром государственное учрежденье. Разве ты застал шашлык с выпивкой на моем столе? Это боль из тебя — но хорошая боль кричит... И, пожалуй, при иных обстоятельствах это означало бы, что не умер в человеке важнейший, его личности главный нерв. Ведь это все маска — дерзость твоя, а на деле ты не хуже меня смекаешь, что вокруг тебя творится. Мне навсегда запомнились твои же слова на митинге, что мы досрочно открыли новый, социалистический век в семнадцатом году. Не все же, Митрий, саблей махать: при такой семейной тесноте родню задеть можно. Пора нам задуманный дом воздвигать... И вот понемножку торопимся наращивать электрические мускулы, потому что жизнь-то больно коротка, ровно фронтовые щи... не успел двух глотков кое-как, обжигаясь, сделать, как уж котелок из рук вышибли... Мне потому так и жалко покраденных денег, другой половины, что это особые, нищие наши, святые для нас с тобой деньги... хотя, конечно, они еще вернутся в нашу общую казну, даже с процентами. А иначе и жить не стоит, верно? — Директор Арташез взглянул на часы, нахмурился и решительно поднялся. — Ну, лечись, береги здоровье, Митрий. Мой со-

вет — сходи в баньку с веником. Потом проспи всю свою боль дочиста... Можно и напиться в промежутке, но для сильного это не обязательно. Потом навести, как выздоровеешь, я тебя с женой познакомлю!.. а пока извини, делов тьма, опять же котлеты у жены пережарились, а это тоже непорядок. Ну, ступай же, ступай теперь!

Последние слова его прозвучали тем откровеннее, что на прощанье, по рассеянности что ли, Арташез руки бывшему приятелю не протянул, а вместо того, за плечо придерживая, довел его, не упиравшегося, до дверей. Расставаясь, он как бы нечаянно заглянул уходившему в лицо.

— Никак, плачешь, Митрий? — легко спросил он. — Такой интересный мужчина, в представительной шубе, с красивой прической на щеках, и вдруг плачет. Ай, срам какой...

Митька выпрямился и, стряхнув с плеча руку, зло взглянул Арташезу в лицо.

— Слыхать, и медведи тоже плачут при оказии... — бросил он дерзко, двусмысленно, неизвестно что имея в виду — поломанную ли Арташезову шкатулку или способность лесного зверя к слезам при потрясении.

Глаза его действительно слезились, простудный зной вновь прихлынул к голове. Он пошел, не оглядываясь, и опять встречные подобно воде расступились перед ним. За проведенные в этом доме полчаса он осунулся неузнаваемо... По дороге вспомнилось, как долго искал со Щекутиным провод сигнального звонка, и теперь необоримая потребность преступника заставила его заглянуть в застекленную кассирскую конторку. Там, расстелив газетку на столе, возле газеткой же прикрытого развороченного шкафа, завтракал пожилой милиционер... С полминуты Митька созерцал сквозь стекло его пальцы, разбиравшие скорлупу вареного яйца, потом почмокал и пошел прочь, сокрушенно покачивая головой.

...Несколько часов лихорадочного сна после того, дома и не раздеваясь, он провел в бессвязной беседе с Фирсовым и Арташезом, с обоими сразу. Его разбудили жажда и душевное беспокойство; чтоб заглушить их, он прямиком отправился в одно потайное место неподалеку, где без опасенья можно было предаться любой страсти, отдыху и забвенью всего на свете. Кроме того, в нем жила подсознательная надежда встретить там Агея, но не затем, чтоб упрекнуть или расквитаться за жестокую проделку, а из стремленья взглянуть на Машу: как она теперь, довольна ли.

XXV

Самой неразработанной линией в фирсовской повести являлась история отношений Митьки и Вьюги. После подробного и довольно красочного рассказа об их нерушимой, казалось бы, и вдруг споткнувшейся дружбе следовали лишь поверхностные догадки о причинах разрыва и последующей серии то безуспешных, то почти удачных попыток со стороны Вьюги отомстить Митьке за какую-то ужасную его провинность. Надо предположить, что автору остался неизвестен камешек помянутого преткновенья, кстати, забегая вперед, тем еще одним достойный внимания, что не содержал в себе никакого юридического момента для Митькина обвинения; другими словами, в списке преступных действий, караемых по законам молодой Советской Республики, подобные проступки не значились.

Только из-за этого и получалась в повести непозволительная хронологическая путаница хотя бы с тем же колечком, которое Митька терял у взломанного шкафа через несколько дней после того, как сам же, после долгих лет разлуки, передал его Вьюге! На деле вещица эта, всего лишь лирическая мелочь для Фирсова, играла более крупную роль и в свое время послужила Митьке грозным сигналом состоявшегося Машина мщенья. Таким образом, та рискованная, потому что в присутствии ожесточенного, способного буквально на все ревнивца, сцена объяснения Вьюги и Митьки была начисто придумана Фирсовым, а самая передача бирюзового колечка состоялась позже, именно в тот роковой вечер, когда заинтересованные герои его повести встретились в заведении у Артемия Корынца.

Сочинитель попал туда после естественных колебаний, когда профессиональное любознайство одержало наконец верх над прочими побочными соображениями. Он вообще презирал литературных белоручек, которые скорее из благоразумия, чем даже брезгливости остерегались, как он выражался при случае, запустить руку по локоть и поглубже в тот бродильный чан, где созревает самый спирт бытия... На другой же день после свидания у Пчхова Фирсов нашел минутку зайти к Агею Столярову на дом, за что, кстати, и был вознагражден личным знакомством с Манькой Вьюгой. И, значит, столь уж велика была жажда Агейкина отпечатлеться навечно в фирсовских писаньях, что незамедлительно согласился захватить своего биографа на воровскую квартиру, м а л и н у или ш а л м а н — на их языке, едва тот заикнулся о категорической якобы для

него необходимости изучить самый придонный планктон блатной жизни. В оставшиеся два часа до сошествия в помянутую трущобу Фирсов сочинил себе самую невероятную, с защитными целями, наружность. Толстые, шинельного сукна, штаны запихнул в держаные козловые сапоги, под пиджак поддел ф а н т а з и ю с головокружительной вышивкой, демисезон подменил вонючим овчинным полушубком с такой же расклокоченной шапкой на голове. Словом, встретившись в назначенном переулке, Агей признал его единственно по очкам да по разбойничье взлохмаченной бороде.

— Сатанински хорош, братец ты мой! — восхитился Агей, оглядывая его со всех сторон. — Кистеня в кулаке только и не хватает...

Они наняли покойные извозчичьи санцы с сухоньким, ровно со старинной иконы сошел, старцем на облучке, который ехал и крестился на покамест целые в ту пору московские колокольни да жаловался на времена, налоги, дороговизну овса и другие классические беды своего ремесла. Дорога, дальняя — почти с одной окраины на другую,— пролегала по довольно людным улицам, и за весь путь седоки не обменялись ни полсловом. Только проезжая большую площадь, Агей неожиданно толкнул спутника своего в бок.

— Знаешь, кто еще будет там? — спросил он тоном озорства и превосходства в самое ухо Фирсова.

— А кто? — вздрогнул Фирсов, испытывая гадливое чувство сообщничества.

— Папаня мой приехали... Уж открою тебе секрет: ты теперь с в о й, тебе можно. Я ему, вишь, письмишко нацарапал — исправился, мол, в своем поведении, служу на видном месте... делопроизводителем! — заворкотал Агей издевательским шепотом, от которого Фирсову становилось душно и тошнотно. — Так и писал: «Приезжайте, мол, папаня, повидать свою кровь, как она по земле ходит. Заодно и помиримся...» Яблоко, с дерева упав, все же остается лежать под яблоней! Как-никак сын я ему, старому хрычу, а ведь нехорошо с отцом в раздоре жить... согласен?

Фирсов терялся, как ему вести себя: злая тоска в Агеевом голосе и занимала его внимание, и пугала его. Месть, гадал он, качаясь в санях,— но, может быть, и в самом деле предгибельная потребность в примирении? «В ноябрьском небе не угадать, с которой стороны светит солнце»,— вспомнилось ему начало третьей главы, которую тогда писал.

Слегка ущербленная, стиснутая облачками луна всходила над ночными переулками. В ее зеленоватом сиянии явственно чернели трубы и бегущие над ними полупризрачные дымки. Не поздний еще вечер здесь, на окраине, выглядел как глухая ночь. Снова морозило, и, судя по обилию стоявших над крышами дымов, городские жители щедрей подкидывали поленья. Все больше деревянная, редко-редко двухэтажненькая, уже почти без огней в окнах, иззябшая мелюзга убегала лесенкой во мглистую даль; вдобавок захудалый тот переулок, сломясь в самом конце, упирался в подозрительный овражек. По мере приближения к месту тревожное предчувствие все сильнее овладевало Фирсовым, а проезжая мимо последнего в местности фонаря, он как бы нечаянно заглянул Агею в лицо и поразился мягкой его умиротворенности. Странное сиянье почудилось ему в Агеевых глазах, словно знал тот, куда в конечном итоге тащит его малосильная извозчикова лошаденка.

— А скажи, Федор Федорыч, верно это, будто французы жаб глотают? — внезапно спросил Агей вразрез фирсовскому настроению.

— Ну, собственно говоря, не совсем жаб... да и то далеко не целиком! — назидательно отозвался тот, не шибко осведомленный в тайнах иностранной кухни. — Они, по слухам, одни ножки жарят, с травянистым соусом... Но зачем это вам?

— Затем, что и это тоже ржавь... конечно, если с нашей стороны глядеть! — перебил его Агейка и дал время Фирсову удивиться, до какой степени разные могут быть мысли у двух, сидящих чуть не впритирку. — Пчхов мне как-то доказывал, какой я есть расплохой грешник, все убеждал, как бы на суд или на показ съездить... не то к колдуну, не то к отшельнику. «У кажного,— сказал он мне,— металла своя ржавь. У меди зеленая, на железе, напротив, красная, на алюмине вовсе белая». — «А на мне какая?» — спрашиваю. «На тебе черная»,— говорит. Вот и неверно, Федор Федорыч, моя ржавь иная...

— Ведь оно как... воздухи железо едят, а времена — человеков! — не дослышав толком, обернулся к ним соскучившийся извозчик, но седоки не ответили, и он безобидно смолк, лишь старательней стал подхлестывать свою конягу.

Уже слезая с саней в конце длинного безыменного переулка, Агей вторично пробудил в своем спутнике рой тревожных предчувствий одним, вовсе не свойственным ему, казалось бы, поступком.

— Слушай, старик,— сказал он извозчику, расплачиваясь. — Возьми-ка эту пятерку сверх всего, купи ей овса... лошади своей овса, понятно? Да не обмани, а то... — и не договорил, вовремя сдержав себя. — Купи, и пускай она поест досытя, понял? Теперь глянь мне в глаза... ну, прощай и ехай же отсюда к чертовой матери, ехай! — гаркнул он, замахиваясь плечом; истинную причину Агеевой прихоти Фирсов успел постигнуть смятенным сердцем в тот же долгий зимний вечер.

Остаток пути с четверть версты они прошли пешком.

...В темный двор въезжал водовоз; Агей велел входить прямо за бочкой через ворота, минуя запорошенную снегом калитку. Там в сугробах прятались за деревьями два мизерных флигелька с единственным цветным огоньком лампады в крайнем, на уровне снега, окне; вокруг были накиданы дровяные сарайчики, назначенье которых Фирсов разгадал позднее; две скачущие тени, два неусыпных пса, отметили чужой приход густым сиплым лаем. Тогда на крыльцо в шали, из-под которой виднелась приспущенная на груди сорочка, вышла заспанная женщина моложавых лет. Дождавшись, пока водовоза поглотили пустынные потемки двора, она перекинулась с Агеем десятком полувнятных слов. Затем, выпростав из шали очень белую в предлунной мгле, по локоть голую руку, она впустила его в дом, одного покамест. Опустившись на приступку крыльца, Фирсов слушал звяканье ведер, плеск сливаемой где-то воды, визг отъезжающих полозьев и затем полную сонной одури тишину. Ничто не мешало ему следить за тонкой струйкой мысли,— это и была его работа.

Агей вернулся за ним минут через десяток.

— Повезло тебе, Федор Федорович,— льстиво зашептал он, приглашая,— на большую гульбу попали. И Митька твой собственною персоной тут... Не сдержусь коли, достанется ему нонче от меня! — посулил он вполголоса и, споткнувшись о сбившийся в сенях половичок, выругался жалко и непристойно.

К удивлению Фирсова, им пришлось пересечь второй, внутренний, запорошенный снегом дворик, зато полуоткрытая впереди дверь гостеприимно поджидала их, выпуская клубы пара; лохмоты оборванного войлока обрамляли где-то в глубине и за углом помещенный свет. Новая царь-баба с мужским лицом и в темном, по-монашьи — до бровей, платке велела им смести снег с сапог. Гости миновали опрятную, мещанского достатка квартирку, потом... Из-за волнения Фирсов на другой день скорее по догадке, чем по памяти, восстанавливал преддверие Арте-

миева ш а л м а н а; даже лица, да и самые события, представлялись ему искаженно, как бы сквозь зеленое бутылочное стекло. Помнил только, что из-за дешевой портьерки в конце узкого коридора доносился бурный плеск голосов и звук какого-то безостановочного движенья.

Здесь находился шалман Артемия Корынца, скрытное и пьяное место отдохновения от опасностей повседневного риска. В хмельном угаре, за прогулом добытых накануне денег тут составлялись новые планы набегов на мир и его обитателей. Здесь можно было также и проиграть добычу, причем свой процент Артемий взимал по-божески — четверть с кона. Сюда допускались только аристократы дна, а из молодых — лишь с отроческих лет заклейменные печатью воровского призвания. Сам Артемий, отец воров, прозванный Корынцем за легендарный в свое время побег с Сахалина через Корынский пролив, самолично встречал гостей на пороге своего заведенья. Это был высокий жилистый старик в жилетке поверх белейшей рубахи навыпуск. Его мелкие бегучие глаза были разделены огромным тонким и острым носом, наравне с бородой придававшим лицу его оттенок почти нестерпимой пристальности и даже как бы богоборческий. Глаза эти с налету охватили Фирсова, выщупывая его вредную или полезную суть.

— Пожалуйте, пожалуйте... — степенно сказал он, выслушав объяснения Агея. — Мы никакого гостя не гоним, коли с дружбой к нам, а с с о с т а в и т е л е м тем приятней ознакомиться. И обрисовать наш быт давно пора для всеобщего интересу. Сам Максимка писал про нас, да уж давненечко... А у нас нонче как раз Оська гуляет!

Громадной пятерней он оглаживал то длинную отшельницкую бороду, почему-то пахнувшую камфорой, то волосы на голове, стриженные в скобку, по-кучерскому; оттого, верно, что неоднократно сбривались догола на царской каторге, они и посейчас сохраняли смоляную густоту. Они и создавали жуткое и противоречивое впечатление фальши и, пожалуй, благочестия, кабы не эта адская, с цыганской просинью чернота, просто неправдоподобная при его несколько мглистом от подпольной жизни лице, вдоль и поперек изрезанном не то шрамами, не то морщинами... Помогая Фирсову раздеться и уложить полушубок на сундук, так как настенные крюки были безнадежно завешаны одеждой, Корынец откровенно прошарил фирсовские карманы, чтобы удостовериться в безвредности малознакомого лица.

— Пожалуйте, родные, будьте как у себя дома, прохлаждайтеся,— степенно говорил Артемий, привычным жестом откидывая бумажную, с кистями, портьерку. — У нас тут вы завсегда найдете себе глубокое удовлетворение... по части продуктов или чего прочего!

— Через час Вьюга с папаней моим прибудут... полюбезней пропусти! — приказал Агей.

— Все будет в наилучшей отделке. На приступочке не оскользнитеся...

Несколько стоптанных ступенек с точеными покосившимися перильцами сводили в совершенно глухое, без окон и не в меру натопленное помещение; несмотря на зной, напоминающе припахивало здесь стоялой земляной сыростью. Впервые Фирсов наблюдал в непосредственной близости облюбованную им среду. Вопреки тревожным ожиданиям новичка, ничего чрезвычайного в отношении пропойства или разврата здесь не оказалось, а просто веселились в меру своего вкуса слегка подвыпившие, мастеровой внешности, люди. Несколько шумных парней подкидывали вверх неказистую со впалой грудью личность так, что полосатенькие брючки задрались на ней, а окончательно сбившийся от сотрясения галстук бантиком попрыгивал подобно цветной птичке у ней на плече. При крайне низком потолке легко было и зашибить героя торжества, но тот не противился, лишь прикрывал темя локтем да мурлыкал что-то смешливое, бесконечно польщенный товарищеским расположением.

— Это за что ж его так? — обернулся Фирсов к своему провожатому.

— А вишь, весьма довольны им! — пояснил, усмехаясь, Агей. — Это сам Оська Пресловутый, не слыхал? Твой товар, сочинитель, завертывай и его в свою писучую бумагу... ты, сказывают, охоч на всякие людские редкости. У меня тут дельце одно, гуляй пока сам в свою голову,— бросил Агей на прощанье, отходя от Фирсова.

Если верить приведенным в повести фирсовским разысканиям, Осип Пресловутый происходил из знаменитой династии фальшивомонетчиков. Сухощавый и подвижней ртути, он, по чьему-то подслушанному Фирсовым отзыву, походил на никелированный штопор в состоянии вращения. Согласно семейному преданию, двадцатипятирублевую ассигнацию, изготовленную его даровитым дедом Ларионом, пожаловал Александр II какому-то отличившемуся на Балканах бомбардир-наводчику;

не мудрено, что Ларионов потомок мнил себя состоящим вроде как в графском достоинстве. Ныне, как одновременно дознался Фирсов, празднуя вступление в свое пятое десятилетие, Оська угощал приятелей и любимых женщин, а попутно заводил деловые знакомства. Памятуя про неминуемый на дне черный вечер, Оська стремился именно в полдень славы завоевать всеобщее расположение.

Лишь теперь осознал Фирсов, какую совершил ошибку, отправляясь сюда с Агеем. Едва тот был узнан, словно водой в поддувало плеснули, градус гульбы заметно снизился; казалось, самый свет меркнул в той стороне, куда доводилось бросить взор Агею. Потребовалось время, чтобы несколько поослабло настороженное внимание гостей к пришедшему с ним Фирсову. Однако все новые прибывали посетители, веселье умножалось, а вскоре и сочинитель выпивал из подставленного Санькой стакана, втихомолку приглядываясь к обстановке Артемьева вертепа. Гости подходили к столу, заваленному всевозможными лакомствами и питиями, брали желаемое и посильно предавались развлечениям.

Один для снискания общественного признания хвастался ловко разыгранным бабаем, другой продавливал пробку в глубь бутылки, чтоб сократить путь к удовольствию. Красотка в платье цвета ошпаренного тела, напевая куплеты разного содержания, наводила на себя последний блеск перед зеркалом, уцелевшим от социальной бури и расцарапанным великокняжескими автографами. Все старались по возможности забыть о том, что предстояло им, может быть, уже через минуту.

— Вмешался бы ты, Федор Федорыч... — хныкал Фирсову на ухо Санька со слезой хмеля и жалости,— не видал еще хозяина-то моего? Чего он над собой творит, чего добивается: пьет, ровно на каменку в бане хлещет, а не хмелеет. И с ног не валится, а уж и не узнает никого. Денег у Артемия уйму в долг забрал, а ведь их через кровь возвращать придется. Пойдем, сам удостоверься, как мытарит он меня! — и настойчиво тащил сочинителя в соседнее с увесистой дверью и сверх того охраняемое мордатым парнем помещение, дабы ничто не мешало сосредоточиться в игре. Игорная комната выглядела поскромнее остальных, даже не без оттенка деловитости, чтобы не задерживались без надобности. Только за двумя фальшивыми, в зеленых гардинах, окнами красовался такой же нарисованный горный ландшафт, наверно с целью просвежения прокуренного воздуха — равно как находившееся вблизи быв-

шее растение — пальма, врубленная прямо в пол. Впрочем, до сходства с дерюжкой вытоптанный ковер устилал здесь комнату, тогда как в предыдущей пол для удобства гостей был запросто усыпан опилками.

В прокисшем слоистом табачном дыму, за зеленым сукном заваленного комкаными бумажками стола играл Митька,— сочинитель сразу опознал его сзади по окаменелой прямоте спины. Кучка уже общипанных, вышедших из состязания зрителей с мрачным восторгом созерцала, как тот спускал последнее маленькому, затравленного вида человечку в целлулоидном воротничке и с выражением такого отчаянья в лице, точно летел в преисподнюю. Состоя при Артемии Корынце в должности подпольного адвоката и мудреца, тот приходил сюда приработать на харч от щедрот иного загулявшего жигана, но вот поскользнулся на удаче и теперь явно, на виду у всех погибал от нахлынувшего счастья. Прочие стояли кругом, он один сидел.

Прихотью картежной фортуны он не первый уже час бил чуть не каждую ставку, игра шла в очко. Время от времени, озираясь и роняя кредитки на пол, он принимался рассовывать по карманам часть выигрыша, чтобы не возбуждать в наблюдателях опасные страсти, в особенности зависть, а пуще всего — естественные подозренья, и все порывался встать с разбегу, но неизменно чья-то длинная рука — лампа низко свисала над столом, и окрестность пропадала в потемках — небрежным нажимом в плечо возвращала банкомета на место.

— Теперь баста, теперь будем ужинать на мой счет, а то не могу я больше, понимаете... ну, по техническим причинам! — взрывался он, обливаясь потом изнеможения и страха. —Я же до некоторой степени тоже человек...

— Банкуй, Пирман,— тихо и повелительно звучал надтреснутый Митькин голос. — Карту, черт...

И банкомет с ненавистью тасовал колоду, поглядывая на своих мучителей, державших руки в карманах,— замедлял сдачу карт, прикупал к девятнадцати, лишь бы обойти, обидеть, обмануть свое жизнеопасное счастье.

В чаянии обогатиться бесценными подробностями, Фирсов попытался локотком протиснуться поближе к столу,— на него грозно зашикали, и он застрял в обступавшем кольце.

— Много спустить успел? — шепотом спросил он у Саньки.

— В том и беда, потерял он свою долю, что добыл накануне. Третью Артемьеву тысячу докручивает... — и, махнув рукой, огорченно выбежал из комнаты.

Прежде чем уйти вслед за Санькой, сочинитель заглянул сбоку, на память, в Митькино лицо. Судорожно приподнятая бровь открывала тусклый слезящийся глаз,— в постукивавших по столу пальцах больше было жизни, чем в его мертвенном, обесцвеченном болезнью лице; впечатление усиливали запущенные бачки, как бы грязнившие щеку. И второе, чего не заметил Фирсов, как уже отыгранной для него детали,— всякий раз, сделав ставку, Митька приспускал с мизинца тоненькое, с голубой стекляшкой, колечко, очевидно тесное ему до боли.

И тут Фирсову сквозь чад и угар пришло в голову, что вся эта гадкая, даже кощунственная вкруг него необыкновенность завтра же будет смыта начисто или впряжена в тугую упряжь нового закона и не повторится в ближайшие лет триста, что лишь на перегоне двух эпох, в момент социального переплава возможны такие метанья человеческой брызги, оторвавшейся от клокочущего, объятого пламенем общественного вещества, что через каких-нибудь двадцать лет даже беглое упоминанье, хотя бы в поэтическом образе, этой ночи будет караться лишеньем хлеба, как клевета на великое историческое событие, что любые происходившие в те годы, безразлично от их моральной значимости, события бывали равнозначными сверканьями одного и того же махового колеса... Вдруг Фирсову стало так жарко и душно здесь, что, когда выбегал в смежную комнату, привлеченный чьим-то незнакомым ему, через приоткрывшуюся на мгновенье дверь, до надменности резким голосом, он украдкой, у пустого столика, смочил голову минеральной водой из початой бутылки. Профессиональное чутье подсказывало, что теперь-то в особенности потребуются ему ясный взор и рассудок...

Стремясь доставить своим клиентам и завсегдатаям видимость полного домашнего уюта, Артемий не скупился на дрова.

XXVI

Разгульно-бледный, в синей шелковой под пиджаком рубахе и взмахивая шапкой с такого же цвета суконным донцем, курчавый Донька дочитывал под гитару стихотворение о воре, все догадывались — о самом себе. Слово пенилось у него и с разгону такую приобретало дополнительную достоверность,

будто незаживляемая рана имелась у поэта в животе. Стихи его не блистали уменьем или изысканной рифмой, но в них пел он свою незавидную участь, и чернильницей ему служило собственное сердце. В них говорилось про серенькое — ему ста тысяч майских полдней дороже! — утро, когда неумолимая рука поведет злодея к расчету, «как варвара какого иль адмирала Колчака».

Благодарные и растроганные слушатели хвалили и угощали поэта, а заодно поили мелкорослого гитариста с экзематическим лицом, и тот безотказно пил в забвенье своего не менее удивительного дара. «В консерваторию готовился, а вот на свадьбах да в шалманах краковяки отмазуриваю!» — с астматическим свистом и скрежетом пожалобился он Фирсову, когда тот подошел как бы воздать ему должное, на деле же — поближе рассмотреть Доньку, которому сразу отыскалось в его повести пустовавшее пока место. Но тут гитарист снова скользнул по грифу коротышками пальцев, и, тотчас забыв о Доньке, сочинитель записал украдкой, держа книжку под столом: «Согласнейшие в мире любовники не соединяются так в любви, как слился этот человек со своим инструментом. Черт его знает, о чем молил он или какая именно тоска сводила и корчила ему пальцы, когда он то поддразнивал квинту, то будил еле воркотавший басок и таким образом стремился прорваться к блаженству сквозь решетку струн, чтобы выхватить последнюю пригоршню звуков с риском навечно обеззвучить свою гитару...» У Фирсова имелся изобретенный им способ краткой, по одному слову от каждой мысли, мнемонической записи, которая затем легко разбиралась на досуге. Так и записал он: «Черт любовного блаженства стремился обеззвучить гитару».

— И про что это вы, обожаемый гражданин, все записываете исподтишка?.. ай сами из розыску будете? — раздался над сочинительским ухом до приторности вкрадчивый голос.

Беда грозила как раз со стороны Оськи, самого трезвого в Артемьевом заведении и потому вдвое более опасного. Впрочем, все разъяснилось ко всеобщему благополучию, за сочинителя вступились знавшие его по прежним встречам... и вдруг фирсовские шансы подскочили на нежелательную даже высоту. Отовсюду протянулись руки качать редкостного в тех краях посетителя, уже его вытаскивали за что пришлось на средину помещенья, чтобы все желающие имели возможность оказать почет литературе, и вот уже вскидывали на воздух.

«Уронят, ей-богу, уронят, окаянные...» — мучительная, несмотря на лестность подобного приема, проползла мыслишка, и тут за сочинителя вступился сам виновник пира, Оська.

— Пиши, пиши про нас,— взывал он, поднимая многословный тост за искусство вообще, не только за граверное. — Пиши, ведь и мы тоже спицы из колеса... пускай из пятого! — и между делом старался насильно запихать в фирсовский карман подмоченные в вине конфеты мнимым сочинительским малюткам. — Меня, к примеру, возьми... кто я есть? А ведь я тоже на земном шаре индивидум...

— И что же это, Ося, хорошо или плохо? — крикнули со стороны.

— Средне! — горько усмехнулся в ответ индивидуум Осип Пресловутый. — Пойми меня, Федор Федорыч, ведь я же большой человек, а посмотри только, ужаснись, в каком месте пропадаю. На, возьми себе, сохрани на память... — и вытаскивал сочинителю из кармашка кредитку, чтобы тот самолично мог убедиться в его мастерстве. — Да разве внушишь им! Намедни испытывают меня: ты, дескать, Оська, квартиру обчистил... А ведь я же художник, нас на всю Европу девятеро, и спроси в любой малине, кто на четвертом месте, и всяк ответит про меня, потому что это у нас родовое, фамильное... а они меня в шнырики записали! Да за такое дед мой, Ларион, душу из меня с корешками вынул бы!.. — и вот уже всхлипывал неподдельными слезами.

Возраставший дребезг за спиной заставил Фирсова оглянуться из предосторожности. Посреди раздвинутых столов, с застылым лицом и под размеренные хлопки собутыльников, плясал лезгинку подвыпивший Санька Велосипед; под ногами его похрустывало разбитое стекло, и на столах меланхолически бренчали стаканы. Каждое колено он совершал как-то в особенности беззаветно, потому что главным свойством этого парня было в самый пустяковый порыв вкладывать себя без остатка. Когда же, насладясь, Фирсов обернулся было к Оське со словами утешения, на его месте сидела встрепанная женщина с острым, подозрительно белым носом и остекленело-блестящим взглядом. Не глядя, она допила что-то из чужой чашки перед нею и прокричала в гущу переполоха: «Барина сюда, барина!»

Оська уже бежал с бокалом навстречу Манюкину, негаданным образом оказавшемуся среди гостей. На правах покровителя искусств он еще на ходу пытался угостить барина со-

ставом собственного изобретения, а тот, успевший зарядиться у своих поклонников по соседству, старался обойти стороной преграждавшую ему путь Оськину руку. Внимание Фирсова делилось, таким образом, по трем основным направлениям: тусклое беспамятное лицо Векшина, выходящего из соседнего помещения, сосредоточившиеся носками вовнутрь, с распущенными шнурками башмаки Манюкина, акулья щель рта у Артемия, который улыбчато провожал Пирмана и получал свои отчисленья... впрочем, почему-то больше всего занимал фирсовские мысли отсутствовавший в ту минуту Агей.

Кому-то удалось наконец вручить Манюкину для вдохновения стакан с соответствующим напитком.

— Данкен вас... — с презрением расточительства бросил Сергей Аммоныч. — Ну-с, заказывайте, черти... про что желательно?

Тогда-то и коснулся манюкинского рукава курчавый Донька.

— А ну, взглянь мне в очи, барин,— негромко попросил он, стремясь хоть мимикой передать то, чего по состоянию своему не умел словами. — Расскажи нам про женщину, барин, но про такую, какие больше уж и не родятся по нонешнему климату, а только во снах еще тревожат нас... можешь?

— Отчего же... человеческая история показывает, что на свете все возможно! — послушно отозвался Манюкин и некоторое время молчал, взведя к потолку странно расширившийся зрачок: вдруг он объявил, что поделится одним драгоценнейшим для него воспоминанием, раскрывающим недоисследованные наукой глубины женского сердца. — Словом, небольшая историйца о том, как я этово... не будучи проповедником, а единственно силою незапятнанной юношеской страсти, воротил в лоно католической религии знаменитую в те годы магдалину и вероотступницу Стаську Капустняк!.. Как, хе-хе, завлекательно?

Ему ответствовало восторженное внимание.

— Давай, давай, про женщину, значит... — вытягивая ноги со стула, как в полудремоте повторил Донька.

Артемий притворил дверь в игорную, чтоб не мешали возгласы игроков. С полминуты длилось подготовительное молчание.

— Несмотря на некоторые природные дефекты моего телосложения, я ведь в ранней молодости выписной красавец был,— шелестяще, точно вороша полуистлевшую бумагу, при-

ступил Манюкин. — Скажу по совести, в тринадцать лет чуть-чуть не соблазнил супругу нашего домового батюшки... чудом уцелел и в этом вижу всюду поспевающий перст провиденья! Итак...

Здесь, учитывая запросы обступившей его публики, рассказчик хотел было задержаться на щекотливом сюжетце, как вдруг заметил непривычную рассеянность своего вниманья. Испарина преждевременного утомленья проступила на лбу, посторонние мысли тормозили вдруг необъяснимо оленившееся воображенье. В частности, живо представилось, что не за горами день, когда он оторвется наконец от хлопотливых житейских обязанностей и хоть малость отдохнет на полке в прохладном помещении морга, с лиловым потеком на пятке от чернильного карандаша.

— Да ты, часом, не задремал ли, барин? — нетерпеливо окликнул Оська.

— Вот он я... — вздрогнул Сергей Аммоныч. — Итак, сижу раз вечерком у себя на Кронверкском, в одиночестве, вокруг обступила туманная санкт-петербургская тоска. Беру телефонную трубку: «Нацепите мне, ангел мой, гвардии поручика Агарина! Мрси... Ссаша, ты ли?» — «Я,— отвечает заспанным голосом, а от самого винным перегаром так и разит. — Какой там оборотень покою не дает?» — «Немедленно,— приказываю ему,— подымайся с кровати, марш в сапоги и кати ко мне... Махнем-ка, братец, малость поупражнять руку, чтобы не отсохла без применения!» Четверть часа не прошло, Сашка Агарин передо мной в натуральную величину: кантики на нем, бантики, аксельбантики. «Куда направим путь?» — «В клуб, говорю, кстати, там омары появились, девятое чудо света!» Летим по лестнице через ступеньку вниз, улица распахивается по сторонам, врываемся: так и есть, наши в шменку дуются. Мы моментально к столам,— «карту, банкомет!», и к утру Сашка полтора родовых поместья спустил, а я бабушкины бриллианты на мелок записал. Сижу, как все обыгранные, один, чуть в сторонке... — И Фирсов подумал, что не иначе как одинокая Митькина фигура в углу вдохновила его на этот сюжетный ход. — Сижу, и раскаянье меня гложет за опаленную мою юность, за утраченную веру в человечество. И, что гаже всего, череп на темени какой-то до черта болезненный, тоненький стал, ровно яичная скорлупа! Тут заря всходила, этакая розовая вата в окошки лезет. Гляжу — винная лужа под ногами, и в ней сторублевка плавает... не поднять ли, думаю, авось

отыграюсь, да неловко на людях гнуться! — Так рассказывал Манюкин, и никто не замечал действительной лужи возле самых его ног, в которой плавала измятая, Оськина изделия, трехрублевая бумажка, но все видели описываемую Манюкиным. — И вдруг как бы огнем опалило: ощущаю за спиной у себя десятое чудо красоты и прелести земной. Так меня ровно продольным током в пятьсот шестьдесят вольт по всему нерву и прошибло. Значит, вот он, думаю, наступает мой, в колыбели мне предсказанный час, когда я должен безвременно угаснуть у ног безмерной красоты. Трещу по швам, стиснул зубы до крови, не смею оглянуться... — И Манюкин довольно удачно поскрипел зубами. — Затем оборачиваюсь... и вообразите, милые вы мои, сидит передо мною толстеннейший, пудов на двенадцать господин, обвислости на нем свисают кольцами, и заместо рожи этакий, знаете ли, баклажан с румянцем лососиного цвета. Аденоид, а не человек, а возможно, и сам дьявол, загримированный под выдающегося земного распутника. А рядом с ним... — Манюкин с опаской покосился на застопавшего Доньку,— оперишись этак ручкой на его плечо,— она, она! Ангельского типа блондинка, чуть выше среднего роста, в чертах прозябание, как у пробудившегося из-под снега цветка, а глаза... черт меня возьми, в два раза синей потусторонней бездны. Боже праведный, думаю, а я-то Сашке не верил, что на женском волосе, ежели он с умной петелькой, тигра по улицам водить можно! Пригвоздился я к ней, дрожу от предвестной гибели, всего меня, этого... горит и ломит! Машинально дергаю за полу Агарина. «Не томи, кто это? — спрашиваю. — Открой тайну немедленно, и я засыплю тебя чисточервонным золотом... как только получу наследство. В противном случае не ручаюсь за себя!..» — «Зачем тебе, глупый человек? Это ж рабыня дьявола!» — «Все одно,— шепчу ему, смеясь и плача,— молись за меня, я ее выкуплю... кстати передай поклон родной моей матушке, ибо я теперь как есть конченый ребенок». — «Попробуй откупи, смеется, это сам Гига Мантагуров, всемирнейший коннозаводчик, бабник и бакинский нефтяник... а, по секрету говоря, в самом деле доверенное лицо из преисподней! Видишь, фибровые чемоданы у него по бокам? В них деньги, в каждом по нефтяному океану». — «Врешь, Сашка!» — «Убей меня бог...» — «Тогда прощай и отвернись, чтоб не видеть...» Меж тем вокруг полнейший ералаш, заплывшие свечи в бронзовых канделябрах догорают, карты по полу раскиданы... она одна сидит подобно какой-нибудь там Венере македонской, и свеже-

стью, сахарной свежестью, как от арбуза, так и несет от нее. И тут вызревает безумное решение в моем бессонном мозгу: схватить ее немедленно в охапку, унести на руках куда-нибудь в безрассудную пустыню, чтобы обрабатывать там бесплодную почву простой лопатой, а в промежутках глядеться, все погружать без отдышки воспаленную душу в эти прохладные озера поднебесной красоты! Она бы спала на простой кошме, а я бы неслышно собирал ей землянику в окрестностях... Но с другой стороны, рассудок напоминает мне, что в кармане ни самомалейшего сантима: не отправлять же красотку оную в пустыню багажом малой скорости, а самому пешком тащиться туда семь лет, по шпалам? И вдруг нечто вроде шаровидной молнии, но только пошибче, ударяет мне в голову, пронизывает насквозь все мое существо и, заметьте, мелкой шампанской искоркой исходит через каблуки. Поднимаюсь в полный рост, грудь моя расправлена при абсолютно неподвижном лице... одна лишь бровь на мне играет, как подрисованная. Подхожу к Мантагурову, как бацну вместо визитной карточки графином сельтерской о стол. «Бонжур, сатана. Гляди мне в лицо. Я не кто иной, как Сергей Манюкин...» Он явно струсил, протягивает мне не глядя ближний чемодан с большими денежными средствами, но я ни-ни. «Гига,— говорю ему сокрушенным тоном,— все зависит от обстоятельств, окружающих в данную минуту человека. И вот я: никогда не причинял вреда никому, кроме себя одного... жалел муравья, прежде чем наступить на него, но сейчас ты будешь у меня прыгать до потолка!» Он щупает меня глазами, замечает смертельную решимость, догадывается, в чем дело, и начинает заметно для глаза трепетать этими, как их?.. ну, всеми фибрами своего адского существа. «И вот,— предлагаю ему на выбор,— либо будем сейчас же играть на нее, эту плененную тобою красоту, которой ты все равно не можешь оценить, либо прыгай пулей к потолку!» Он вдруг хохотать, кадык скачет и свиристит, ровно канарейка в глотке бьется. «А что поставишь?» — хрипит раздирающе. «Кузнецкий мост ставлю в Москве!» — вскричал я, бледнея от страсти. «Нет, усмехается, моя дороже». — «Большой театр мазу!» — «Мало». — «Душу ставлю, черт!» — сказал я тихо и поднял указательный палец в знак предупреждения. Тут он сдался... «Давай, сипит, в польский банчок, на семнадцатую!» Как раз семнадцать лет тому небесному созданию! Мечу, два лакея колоды распечатывают. Право — лево, право — лево... бац, две дамы. Вторая колода, наново, трах,

пятнадцать, шестнадцать, две десятки. Сашка шипит сбоку: «Отступи, байстрюк, отступи,— крахнешь: они же на шомполах **там** нашего брата жарят!» Я все мечу, лица на мне нет... лица нет... лица...

Что-то непоправимое случилось в этом месте с Манюкиным. Остановившимися глазами он глядел прямо перед собою и, по-видимому, не понимал обстановки, а из его раскрытого рта вырвалось подавленное рыдание. Он прервал свое вранье от странного ощущенья, что сердце его стало биться в висках, в спине, в пальцах... всюду, кроме места, где ему положено. Потом будто кто-то предвестно легонько дохнул ему в лицо, и это вовсе не походило на обычный земной ветерок... Вслед за тем он сделал героическую попытку продолжать рассказ, но вдруг забыл все, забыл наотрез,— даже не понимал, чего ждут направленные на него взгляды, и лишь шарил, ловя мурашки, растерянными пальцами по лицу. У него нашлись силы, однако, подняться и, порывисто хватаясь за воздух, двинуться вон отсюда, причем — к запасному выходу, прямо на улицу,— Фирсов приписал его бегство страху испустить дух на полу воровского притона. Столь же натянутым представляется его объяснение, почему якобы с такой почтительной пристальностью недавние слушатели Манюкина проводили его глазами. Вдоволь наглядевшись людского страдания, сами посильно доставляющие его другим, они вряд ли способны были взволноваться зрелищем чьего-то бесславного, одинокого конца, тем более что Манюкин и не помирал еще в тот раз... Только все та же встрепанная перекричала поднявшийся шум, чтоб не бросали старика, как собаку, уложили бы, милосердного снежку кинули ему на грудь, но вслед за тем чей-то трезвый голос выразил основательное опасение, что кончина Манюкина в воротах могла бы привлечь нежелательное внимание ко всему району.

— Прошу вас, родные, занимайтесь кажный, кто чем занят... сейчас мы это дельце обладим в самолучшем виде! — успокоил своих гостей Артемий и мелким шажком засеменил вослед ушедшему.

За всеобщим гамом никто не приметил, как в комнате появился сурового облика кряжистый старик, старовер по одежде и бороде. Прежде чем успели разглядеть его толком, портьерка вторично отклонилась, оттягиваемая снаружи чьей-то услужливой рукой, а Донька, рванувшись вперед, отдернул вторую половину. В ту же минуту во всем своем жутком великолепии

вошла Манька Вьюга. В отмену установившейся привычки сегодня на ней было розовое шелковое платье с фестонами, обрамленное по плечам тугой крахмальной антуанеткой. Ее сощуренные глаза, ища кого-то, повелительно обежали привставших от неожиданности гостей... все в ней обозначало какую-то загадочную и праздничную чрезвычайность. Ближние расступились, давая проход к Векшину, бесцельно стоявшему у стены, но Вьюга не пошла к нему: видно, ей лишь убедиться требовалось, что он жив, одинок и рядом с нею. Вместо того она двинулась к Фирсову с приветливой улыбкой, как бы говорившей: «Ну вот, ты и в гостях у нас, Фирсов». Да и по другим признакам далеко не двухдневное, а даже давнее знакомство связывало их... может быть, с тех пор, когда она, еще безликая, всего лишь веяньем незнакомых духов, трепетом шелка, щемящим сигналом судьбы впервые обозначилась в его записной книжке. Сам не понимая отчего, Фирсов по-мальчишески подскочил ей навстречу и тотчас же, вспыхнув от смущенья, опустился назад, на тугой, неудобный диванчик. Вьюга тоже раздумала по дороге и вместо него подошла к облезлому зеркалу в простенке поправить волосы.

С крякотом волевого усилия, как вступая на эшафот, Агей вышел из дальнего угла и, тщательно одергиваясь, направился к отцу. Спрятанные в ямах подо лбом глаза его косили и коварно поблескивали. Фирсов непроизвольно взглянул на часы с кукушкой, что висели сбоку при входе в игорную. На них было чуть больше половины второго ночи.

XXVII

Словно в возмещение за Манюкина, уже забытого в холодном чулане у Артемия, завсегдатаи его вертепа стали свидетелями отличного и редкого спектакля, на этот раз вдоволь насмешившего всех. Смирный, с опущенною головой, Агей подошел к отцу и, поцеловав у него руку, указал на него ворам, недоуменно переступавшим с ноги на ногу.

— Окажите почтение, граждане, родитель мой перед вами, Финоген Столяров... только строговат он у меня, берегите ухи! — и, кланяясь враз объединившейся компании, подмигнул, давая тем самым разгадку и сигнал к забаве. — Ну-ка, кто поближе, винца и присесть папаше!..

— Честной компании мир! — со скромным достоинством произнес старый Финоген и коснулся того места на сермяжной поддевке, куда прячут деньги и где бьется сердце. — С чего гульбу-то эку, беспробудну, затеяли?

— Именины празднуем, папаня! — хором прокричали воры, втягиваясь в азарт веселой Агеевой затеи. — Так что Максима-чудотворца празднуем! Ты скидай, папань, сермяжку-то... сохранней будет, да и телу враз полегше станет!

— Какие ж нонче Максимы? — вслух рассуждал старик, освобождаясь от поддевки, которую Артемий тоже по Агееву так и не законченному плану немедленно унес за порог. — У меня деверь был Максим, так вроде завсегда, бывало, с яблоками...

— Это у вас, отче, на памяти гайка поослабла. А помните народную приметку,— наспех и, видимо, в потеху чуть улыбавшейся Маньке Вьюге изобрел Донька. — Зимний-то Максим из труб гонит дым!

Старик помолчал в доверчивом раздумии.

— Видать, старею, сынки, забыл про зимнего-то,— сокрушенно согласился Финоген, опускаясь на подставленную табуретку. — Правда ваша, годов много. Однако бог милует, зубов хватает, покамест одними кудрями расплачиваюсь...

Тут ему на подносе, по мановенью Агеева пальца, поднесли угощенье с приглашеньем погреться; он покачал головой на размер чарки, однако не стал рушить компанию, а выпил, покрестившись, крякнул и вытер усы. Тотчас все ворье, подобно воробьям, кто на чем, расселось вкруг с невинным видом и в ожидании дальнейшего удовольствия, а кто понахальней — откровенно заглядывая чуть не в самый Финогенов рот. Все та же разгульная в платье ошпаренного цвета хихикнула невзначай, выдавая замысел Агея, но тот ткнул в бок ей железным перстом, и она до самой развязки держала руку на этом месте, храня пугливое молчание.

— Это верно, сынки, дымов много на улице, морозно нонче,— степенно и дружественно заговорил Финоген. — Должно севера̀-полу́ношники вдарили. Ничего не скажешь, у бога все по расписанию... Кто ж из вас Максимом-то зовется?

— А мы все тут, сколько нас есть, Максимы,— с кошачьей лаской в голосе и под одобрительное мурлыканье остальных отвечал Донька. — Такое печальное совпадение, игра природы!

На какую-то долю минуты Финоген усомнился было, поискал глазами сопровождавшую его Вьюгу, но та стояла уже

возле Митьки, привлеченная его нездоровым видом, и, хотя по состоянию своему он вовсе не пригоден был для такой беседы, надо думать, за эти три минутки и состоялась передача ей заветного колечка... Тогда старик перевел взгляд на сына, с умильным видом жевавшего корочку, и опять доверился окружавшим его весельчакам.

— Это большая редкость: Максимы горстями не родятся, это на Иванов у нас в Расее бывает повсеместный урожай,— благодушно посмеялся Финоген. — Еще больше диковина, что в согласии живете, чего на свете много — завсегда промеж того взаимное неуважение образуется...

— Не, папочка, у нас наоборот,— с детским жаром подхватил Оська из своего угла. — Мы такие неразливные, что и в церкву ходим гуськом, и спим под общим одеялом...

Прочно настроившись на дружбу, старик все еще не замечал издевки.

— Вот мне и удивительна гульба-то ваша, сынки. Мы уж думали, конец вам приходит, городу, как вы у себя такой кувырлак затеяли. Покойный Павел Макарыч Клопов, задушевный приятель мой, так про это сказывал...

По мере того как разгулявшаяся шпана брала в обклад простодушного Финогена, Агей все больше наливался темнотой. Вдруг он стал покачиваться взад-вперед, одновременно как бы вытирая руки о колени, что служило у него признаком подступающего бешенства. Кольцо вкруг Финогена тотчас пораздалось в стороны, едва была замечена перемена в настроеньях Агея.

— Жив еще Павел-то Макарыч? — еле слышно прервал отца Агей в убийственной тишине.

— Помер о прошлу весну, удачно помер, никому не доставил хлопот,— признательно глядя на сына, отвечал Финоген. — Так вот и предсказал Павел Макарыч еще посередь всемирной войны: «В Москве, сказал, травка да гриб несъедобный станут на улицах рость, а человек человека не мене как за четверть версты обходить...» Ну, значит, на сей раз обошлося, а там посмотрим, что бог даст!

— Пора выпить нам, папаша, в знак нашего замиреньица,— поднимаясь, сказал сын.

— Выпьем, Агеюшка, как не радоваться сыновнему просветленью... Ты, что ли, главный-то Максим? — шутливо обратился Финоген к только что воротившемуся Артемию. — Зна-

чит, с ангелом тебя... и дай тебе осподь долгие веки, чтоб всем глаза закрыть.

— Мерци-с, родимый... — притворным бабьим голоском неожиданно пропел Артемий, памятуя секретное наставление Агея.

Эта озорная травля длилась бы бесконечно, если бы не вмешательство самого Агея. Как перед грозой, необъяснимая тревога копилась вокруг; сочинителю пришло в голову даже, что если он через минуту... нет, немедленно, сейчас же не покинет Артемьеву трущобу, то никогда, пожалуй, не напишет задуманной повести. Он беспокойно пошевелился, взглянул на часы, ужаснулся чему-то и остался на месте, как пришитый к сиденью.

— Эй, сержант... — крикнул Агей Артемию, собравшемуся каким-то новым вывертом распотешить компанию. — Мурцовку м о ю мне сюда, пошел!.. как из чего? Замстило, так я поясню... Из колесной мази, балда! — Он прибавил скверное присловье, и странно было видеть, как ветеран сахалинской каторги, сам внушавший ужас другим, опрометью ринулся выполнять приказанье.

Тем временем исчезли Оська со свитой и те счастливцы, кого догадались увести от греха благоразумные подруги. Оставалась самая мелочь, которую нечем было выманить на леденящую лунную ночь. Как привороженные следили они за каждым движением Агея, впервые после долгого перерыва появившегося на людях... В ожидании заказа и того, что напролом мчалось сюда издалека, он взял было грушу, самую спелую, из вазы на столе, и сок ее брызнул ему в лицо сквозь пальцы, но, раздумав, кинул под стол и виновато взглянул на давно умолкшего отца.

— Ишь ведь, и гнилая, а сладкая... — с фальшивым удивлением вымолвил он, облизнув пальцы, и вдруг ощутил под лопаткой у себя... нет, глубже, в самом сердце, недобрый, как бы с отточенным железным язычком, взор Вьюги. — Ты, ты, гадюка... — вскакивая, закричал он,— чего задумала, уставилась... рога на мне выросли?

— Не бейся, Агей, не надо,— сказала Вьюга в ответ с какой-то усыпляющей властью, заметно расслабившей Агея,— зачем людям раскрываться? Они тебя не пожалеют. Потерпи, все пройдет, утихнет и рассеется... — И Фирсов ждал, что, как в прошлый раз, Вьюга подойдет, положит руку на темя, чтоб лекарство действовало быстрей, но она не двинулась с места,

а только отрывала виноградины покрупней от ветки перед собою и бросала в рот. — Гляди, изучай нас, писатель... и меня, и Митю, и Агея заодно: всех. В жизни-то не один изюм, есть в ней и кисленькое, и горчинка местами попадается... а иначе-то и жрать ее не станешь, сопьешься от сладости!

Тут Артемий внес в деревянной раскрашенной миске заказанную мурцовку и, зная Агеев обычай, несколько деревянных же ложек бросил рядом на столе. «Жри, мусье...» — ругнулся он, отходя. Самая мурцовка, старинная выдумка Агея, на которой он испытывал повиновение сообщников, представляла собой дикую смесь пива с водкой, где вдобавок плавали кружки лимона, мяса и соленого огурца.

— Давай дружиться, Митя, и забудем то самое, о чем мы с тобой молчим... присаживайся! — с вызовом начал Агей, протягивая одну из ложек в Митькину сторону, но тот молчал в своем кресле, вряд ли понимая толком происходящее. — Бери, Митя, полно ломаться-то... вот похлебаем маненько, и заведется промеж нас крепкая любовь. Не желаешь, гордишься? Ну и черт с тобой, я сам со стажем, своими руками архирея задушил... и сломай себе ногу!

Он махнул всей пятерней, точно путы срывал с себя... да тут еще Санька Велосипед имел неосторожность подвернуться ему на глаза, и Агей единым шевеленьем губ, к Санькину же счастью впрочем, вышвырнул его вон из Артемьева шалмана. В следующую минуту Агей буйствовал и бился в каком-то самоубийственном порыве. Звон стекла смешался с женским визгом, кто-то в суматохе опрокинул стол, и где-то наступили на гитару — судя по тому, как жалостно и разнозвучно брызнули порванные струны. Вконец обозленные воры, руководимые хозяином заведенья, с осатаневшим Донькой впереди, наступали на Агея, который стоял на отлете, утративший человеческий облик и готовый защищаться.

— Пойдем-ка отсюда, проводи меня,— сказала Фирсову Вьюга и, не дожидаясь согласия, подхватила его под руку. — В кровь перебьются теперь. Иди, нечего тебе тут описывать... здесь теперь будет нехорошо.

Никто не заметил их ухода. Последнее, что накрепко отпечатлелось и в памяти фирсовской, и в повести потом, была неукротимая свалка сопящих тел на полу, в которой то и дело мелькали огненно-красные штаны Агея... да еще старый Афиноген Столяров. По-прежнему сидя в сторонке, он все глядел на заключительное бесчинство сына, глядел щурко и холодно,

с головою чуть набочок, как смотрят в деревнях на совершившееся злодейство. Одеваясь, Фирсов украдкой выглянул из передней на часы: стрелки неотвратимо подкрадывались к двум.

XXVIII

Ночь длилась на дворе, когда Фирсов и Вьюга вышли из Артемьева шалмана. Легкий снежок успел выпасть, все вокруг было исполнено ровной и пленительной девственности. В одном краю неба обильно вызвездило, а в другом из-за поспешно уходившей тучки грозилась выйти луна. Застылые блики уже струились по искристым сугробам, загадочной темнотой зияли неосвещенные углы строений, а за воротами подкарауливала еще более радостная тайна.

Вьюга подала знак Фирсову выйти из ворот первым. Одетая в беличью шубку и белый пушистый платок, она казалась Фирсову видением из низменного, но тем более увлекательного романа. Он догадался взять спутницу под руку, она благодарно оперлась на него. Возбужденный острым и благодетельным, после всего пережитого, морозцем, нетронутыми, без единого следа, снегами, близостью приманчивой женщины, наконец, Фирсов вдруг исполнился самых легкомысленных надежд. У него заранее сердце замирало от предчувствия, какие слова найдет он в своей повести для этого иссиня-сверкающего профиля, непокорных локонов над высоким непорочным лбом, для темных, чему-то все смеявшихся губ.

И словно во исполнение его необузданных желаний, Вьюга судорожно приникла к Фирсову, сраженному скорей испугом, чем удивленьем. Ее ледяные губы ворвались ему в лицо... Еще жался он, как от щекотки, пытался наладить сбившиеся очки, чтобы прочесть в глазах Вьюги причину внезапного преображения, а она уже целовала его, длительно и с жаром, от которого ему вдвое становилось холодней. Она толкнула Фирсова на полузанесенную скамейку у соседних ворот с уютным, только несколько высоким, показалось Фирсову, навесом, и больше он ничего не чувствовал, кроме вонзившегося ему в бок карандаша да стекавших за воротник талых струек снега.

— Обними меня, делай же что-нибудь... глупый ты человек! — дышала она ему в лицо всем ледяным зноем ночи, ища губами его толстых, потрескавшихся в лихорадке губ. — Справа идут, справа... видишь теперь?

Растерянно и вяло Фирсов ответил на поцелуй... Через мгновенье, приспособив очки, он понял обстановку, и это спугнуло дикую благословенную прелесть ночи. В отдалении стоял с закрытым кузовом автомобиль, всматриваясь в тишину улицы зрачками потушенных фар.

Кучка вооруженных людей, прижимаясь к забору, уже вступала во двор дома, откуда только что вышли Вьюга и ее непредприимчивый спутник. Все же о начинавшейся облаве Фирсов догадался не прежде, чем увидел усиленный наряд милиции, приближавшийся с другой стороны. Тогда он сам, в меру уменья, прижался к нечаянной возлюбленной, добиваясь возможного сходства с яростным любовником и опасное приключенье превращая в острую шалость. Незадолго показавшаяся луна прибавила им убедительной лепки и выразительности.

— Что... что ты говоришь? — задыхаясь, спрашивал он.

— Очки... ты мне царапаешь лицо, сними! Какой же кавалер в очках... — бранила она партнера за неопытность, отчего ему становилось жутко и весело, как на качелях над пропастью.

Так он проваливался в действительность, забывая все кругом, самую повесть, эту бездонную, жадную впадину, которую надо наполнить собой, чтоб получилось море. Только искусное притворство Вьюги, подкрепленное девственным очарованьем ночи, избавило фирсовскую повесть от внезапных и бесполезных осложнений.

— Увлекаются в любовь... — одобрительно и не без зависти сказал передний, вспомнив, наверно, свою милую, от которой оторвал его служебный долг. — Заметьте, как она его в себя втянула! — И тотчас же по крайней мере передняя тройка из отряда оцепленья сочувственно поохала на разные голоса.

Испуганный крик Вьюги дополнительно отвлек вниманье облавы от уличающей логики следов. Теперь их слишком поспешное бегство никому не показалось бы подозрительным. Держась за руки и не оглядываясь, они, почти сообщники, миновали вперебежку проходной церковный двор, и потом сердцебиенье заставило их переждать некоторое время на паперти, когда совсем невдалеке взвился пронзительный свист и несколько мгновений метался над спящим кварталом. Луна снова спряталась за большое облако, и очарование ночи померкло.

Вдохновясь избегнутой бедой, Фирсов попытался продолжить прерванную сцену и привлечь к себе свою героиню: они

прятались на крытой железной паперти полуразоренной московской церквушки.

Вьюга ударила его впотьмах по руке и засмеялась.

— Не дури, Федор Федорыч... не дури, говорю! — отрезвляюще сухо сказала она, выжидательно вслушиваясь в тишину, но выстрелов все еще не было. — Я-то думала: в очках, книжки сочиняет, значит умный, а он... разок попробовал и уж во вкус вошел... Полно тебе... ты уж решил, что после Агея всякому дозволено! И овчину свою застегни, простудишься... Ну, чем, тетеря, чем ты можешь меня прельстить?.. ни золота на тебе, ни чина. Что ты умеешь, кроме своих глупых писаний? Да я, наверно, ни строки твоей в жизни не прочту! — В ее голос вплелись нотки прощения и мягкости. — Жена-то старая, что ли?

— Э... жена всегда старая, даже когда молодая! — простонал он, облизнув раскусанные губы; стылый камень вокруг с жадностью впитывал людское тепло, а Фирсову все дул в лицо нестерпимо горячий ветер. — Ты хоть бы в награду полюбить меня должна, потому что вся сделана из меня. Я не просто открыл тебя или выпустил на свет из клетки, я вырастил тебя в себе... и моей же спине еще придется расплачиваться за это! Если бы меня застрелили сейчас в облаве, ты умерла бы вместе со мной. А ведь ты одна, тоже совсем одинока, я знаю... так вот из ревности хотя бы никого не допущу до тебя: нет, я не дам тебе Митьки Векшина!.. и неправда, я умею больше всех на свете. Я строю города, которых не развеешь по ветру, творю людей, которых не расстреляешь, миры воздвигаю в человечьей пустоте... и, кто знает, может, со временем косноязычные свидетельства мои станут важней протоколов казенного летописца? — И даже болтал еще более несусветный вздор, объясняемый лишь близостью женщины, стоявшими на паперти потемками и одною тайной догадкой, которую из животного самосохранения не посмел бы произнести вслух.

Из всех брошенных к ее ногам в ту ночь вряд ли Вьюге запомнилась пусть одна сочинительская мыслишка, хотя как будто и старалась одним ухом не проронить ни слова, — приподнятая фирсовская речь звучала торжественной непривычной музыкой в ее честь, и было понятно, что еще вчера даже половина сказанного и в голову не пришла бы этому смешному господину в тулупе. А другим ухом все слушала она... Вдруг Вьюга заметно дрогнула, хотя и раскат грома о т т у д а не докатился бы сюда, в каменную глушь, и потом

глубоко вздохнула, как если бы поослабнул тугой на душе у ней узелок.

— А не боишься, Федор Федорыч? — лукаво, несмело пробуя вольность свою, начала она. — Не боишься ты, что, может, Агей стоит вон там, под сводами, да слушает, как ты меня с честно́й стези сбиваешь, а? Ладно, пошутила я... — И так сильно было наважденье ночи, что ледяное дуновенье намека отрезвило ненасытные фирсовские руки, не разум пока. — И жалко же мне тебя, сочинитель ты мой... поглядел бы на себя, кому нужно такое чучело! На что, на что ты рассчитывал?

— Ну, как вам сказать... у женщин на любовников вообще дурной вкус,— угрюмо пробурчал Фирсов.

— Забрался с чужой супругой в укромный уголок... — слушая лишь себя, продолжала Вьюга,— и все тебя здесь бередит: и ночь такая, и чужое несчастье, и эти затаившиеся святые на стенках, и самая мысль, что теперь-то уж, после него, без опаски можно полакомиться. Ластишься, не бережешься... А не боишься, спрашиваю, что вот сцапаю, да и откушу умную твою башку с очками вместе, и баста! Шучу, но тебе не легче, Федор Федорыч... бывалая да горелая я, золы во мне больше, чем души, ветерочек ее шевелит, по воздуху разносит: ой, не ослепнуть бы тебе, милый человек. Уходил бы назад к реке да солнышку, допрежь беды, какая тебе здесь пожива? Нет беднее нас, на последнее живем!

— А видать, страшновато Агея-то? — озлился Фирсов.

Она помолчала минутку, пока не улеглась на душе муть от произнесенного имени.

— Даже в уме не советую тебе этим словом шутить, Федор Федорыч,— тихо сказала Вьюга, и сразу точно водою смыло ее хорошее настроенье.

Фирсов вызвался проводить ее домой; город спал; они двинулись пешком. И по мере того как приближались к месту, все сильнее тревожное возбужденье женщины сменялось подавленной оглядкой. Еле справляясь с собой, она то и дело утрачивала мысль и под конец пути совсем замолкла. Понимая душевное состоянье спутницы, Фирсов предложил ей побродить еще немножко перед сном по снежной целине, она благодарно согласилась, сославшись на якобы мучившую ее последний месяц бессонницу. Ночь была чудесна, пахла свежестью, как выстиранная и вымороженная до хрусткости... и тут Фирсов заметил, что Вьюга все время кружит вблизи своего переулка,

так что каждую минуту с достаточного расстоянья виден был ветхий деревянный дом, где сокрывалось жилье Агея. Ни одного прохожего не попадалось им ни навстречу, ни вдали. И уж когда по минованию сроков пришла пора разойтись, Вьюга странным голосом попросила Фирсова подняться к ней, посидеть до утра.

— Все равно не засну теперь... а ты, говорят, занятный рассказчик! — объяснила она, и никогда больше Фирсов не слышал у ней этой надтреснутой, заискивающей нотки.

По лестнице они поднимались в молчании скорее совместно приговоренных, чем сообщников. Вьюга долго шумела ключом в замочной скважине, прислушиваясь к чему-то. Зверский холод, показалось им, стоял в опустелой квартире, лучше было не раздеваться. Они вошли и, как были, в одежде, присели по углам стола. По просьбе Вьюги Фирсов стал рассказывать главу, над которой тогда работал: бегство своего двойника-сочинителя с подпольной красавицей из одного шалмана на Благуше — ровно за четверть часа до того, как застрелили ее мужа, знаменитого в повести злодея. Несколько позже Фирсов поймал себя на том, что рассказывает шепотом, но вряд ли Вьюга расслышала хоть слово, потому что тоже провела это время в ожидании грубого стука в дверь... Она еще трепетала, что неубитый Агей ворвется к ней с кулаками... Когда же стало светать, она, чуть повеселевшая, — с синими глазницами, но спокойная, как прежде, — сварила кофе, который, впрочем, в обеих чашках так и остался нетронутым. Все еще не хватало ей какой-то сытной уверенности в наступившей свободе, и как только Фирсов предложил ей наведаться за новостями в один, неподалеку, дом-ковчег на Благуше, та согласилась без рассуждений, хотя в других обстоятельствах не пошла бы туда из одного презрения к своей будущей сопернице. Сочинитель рассчитывал, что известный розыскным органам Манюкин, всего лишь безобидный развлекатель среди обитателей московского дна, благополучно вывернется из облавы. И вдруг по небрежному, вскользь заданному вопросу Фирсов открыл для себя, что Вьюге ужасно захотелось почему-то поближе взглянуть на Балуеву...

Предчувствие не обмануло их. Серели рассветно окна, когда измученный, с ввалившимися глазами прибрел Сергей Аммоныч. На нем была его обычная женская стеганая кофта, на голове же сидел чужой ватный блин, ухарски съехавший набекрень. Готового свалиться в кровать Манюкина втащили

в незапертую векшинскую комнату и учинили заправский допрос. Требовалось Вьюге немедленно убедиться в чем-то...

— А там и рассказывать нечего... — шепотом мямлил Манюкин, клонясь на сторону и памятуя о сожителе. — Только то в жизни всегда случается, чего и следует ожидать!

Путаясь и глотая слова, причем выводил пальцем бессмысленные вензеля по пыльной поверхности векшинского стола, он сообщил некоторые подробности Агеевой гибели. Артемий встретил облавщиков выстрелами, они ответили на пальбу; первая пуля была Агеева. Не вникая в суть происходившего затем переполоха, Финоген до самого своего ареста просидел на стуле, голова по-прежнему набочок, расслабленно бормоча себе под нос что-то вроде: «В полный мах отместил ты мне, сыночек богоданный...» Перед увозом для выяснения его личности старик якобы ногой перевернул голову сына лицом вверх и долго всматривался в дикие, успевшие зацепенеть черты... Впрочем, эта довольно книжная подробность, приведенная Фирсовым в повести, могла запросто примерещиться Манюкину, в глазах которого отряд милиции, к примеру, возрос до ста человек.

— Скорая смерть да легкая — божий дар... а тут день каждый умирай, каждое дыханье считай последним. Николаша, друг мой Николаша! — смертным тоном и к величайшему изумлению свидетелей возопил он куда-то в потустороннее пространство, забывая о присутствующих, в первую очередь об уже разбуженном Чикилеве: вспомнив же, съежился весь, справедливо сообразив, что неосторожный возглас его мог быть расценен сожителем как обращенный к покойному государю императору, причем фамильярная форма обращения явно выдавала степень их преступной и, возможно, родственной близости. — Вона, совсем разваливаюсь, даже Николаша какой-то почудился... вконец заврался я с вами! Приятнейших сновидений синьорам... — с реверансом поклонился он оставшимся и, овладев собою, заковылял на свою территорию.

В эту минуту к ним присоединилась еще не ложившаяся в ту ночь из-за больной девочки Зинка; в суматохе довольно громко было упомянуто Митькино имя, а этого ей было достаточно, чтобы оторваться от любых обязанностей.

— Нет, ничего особо плохого не случилось,— успокоила ее Манька Вьюга,— только ранили, кажется, Дмитрия Егорыча. Не то в щеку, не то вот сюда попало... — и дерзкой рукой

коснулась рыхлой сонной мякоти Зинкина плеча, светившегося сквозь наспех накинутый платок.

Проба удалась на славу, Зинка присела на Митькину постель и потерянно оправляла несмятые подушки. Она глазами спросила у Фирсова подтвержденья, и тот, сгорая от стыда и смущенья, отрицательно качнул головой. Тогда она вскочила, задохнулась от радости и лишь потом, опомнившись, взглянула на Вьюгу.

— Слыхала про тебя, а не знала, какая же ты злая! — сказала она, примиренно плача и не утираясь. — Черная вся, яга!

...На подоконник сел воробей, поершился под тусклым, бессонным взглядом Фирсова, клюнул снежку и перелетел на водосток соседней крыши. Неслышным чириканьем он приветствовал оттуда начинающееся утро, которое насытит его и обогреет закоченевшие крылышки. Ибо, каким бы незадачливым ни выпал денек, для воробьишки всегда найдется в нем немножко навоза и солнца!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

«Ты, Николаша, есть единственная причина, что порешился я описать свою жизнь от розовой пены младенчества до нынешнего горького осадка. Если не изведут мою рукопись на завертку огурцов, а попадет по назначению, прочти противоречивые записи твоего отца, диктуемые затихающими биениями сердца. Не оправдываюсь и не поучаю: на закате человек иной раз меньше умеет начинающего жить,— юноше нередко внушает уменье сама его первобытная дерзость. Завещаю тебе сии листки заместо недвижимого имущества, вот только адреса не знаю — кто и где ты теперь. Пусть они помогут тебе найти себя и от других не отстать, если ты жив. Если же умер, если постигла тебя участь, коей сам я дожидаюсь с холодной безучастностью, то и без того достиг главного сокровища, обогнал весь шар земной...

Вполне допускаю, что заодно с прочими умертвили тебя в недавней усердной жатве, когда под новые посевы выкашивался наш клин, дабы не скудела российская нива. Тем более откликнись тогда, подай тихий голос в ночи, войди, раскрой примороженные в могиле очи, и давай побеседуем часок на досуге, на просторе потусторонних времен!

По счастью, переменчивы непогоды на земле, ангелок мой. Вот уже отшумела людская буря, не видать больше грозовых тучек на небосклоне, а в окне моем, напротив, возвышаются, радуя душу, стройные леса сооружаемого здания... Извини, вот сразу и прилгнул по ремесленной привычке для красоты слога. У нас на Благуше глухая ночь сейчас, Николаша. Если вглядеться во мглу за окном, только и различишь там крохотулю домик, обитаемый отставным батюшкой из соседнего при-

хода. Сам же я сижу над осколками прошлого, прикидываю их в несостоявшихся сочетаниях, размышляю на запретные темы, и кислая старческая слеза время от времени холодит мне губы и щеки...

Потому что старею, Николаша, становлюсь чувствительным на обиду, ласку, всякую мелочь, умиляюсь уличным птичкам на потеху прохожих скалозубов, вечерочками выхожу проститься с зимней зорькой, называя ее многими ласкательными прозвищами, потом всползаю на свой этаж, задыхаясь на каждой ступеньке. Все трудней становится мне заработать на казенный напиток, посредством коего посильно заглушаю мои всемирно-исторические разочарования. Последние же дни заметно слабнет и дар завирального искусства, инструмент нонешнего моего пропитанья: собьешься и всякое разумение утратишь порой и шаришь в памяти, какую еще святыньку продать, кого бы еще ошельмовать из родни, каких сластей полакомей насовать очередным благодетелям в кулек на полученный полтинник.

Словом, не без основания отбросом племени и даже чуть похлеще назвал ты меня в памятной горячке разрыва, когда я постучался к тебе в поисках опоры под старость!.. Впрочем, ты и с матерью бывал невоздержан на слова, без гувернанток рос, а на вольном лоне природы. Не оскорблюсь бранью твоею, не обробею под гневным взором твоим... в конце концов, черт с тобой, Николаша, бог тебе судья!.. Не может живой организм без отбросов жить, и самых умных, случается, даже в расцвете телесных сил постигает сей малопривлекательный жребий.

В одном правда твоя, Николаша, уж побелела моя башка — в тех местах, где сие возможно пока по наличию волос, а нет в ней настоящих-то, то есть твоих мыслей... но все равно, снизойди, поприслушайся с высот твоих. Уверяю тебя, заветный ангелок, не о возвращении вспять страны нашей помышляю наедине с моей бумагой... хотя, по секрету говоря, частенько мечтается мне об упорядочении бытия. А то больно толчея кругом, и всяк машет тебя по лицу. Скажешь — еще во мраке туннеля идет поезд, не вырвался еще в голубой просвет по ту сторону горы. Не долог ли туннель, Николаша? Не к отчаянью либо сомненью, всего лишь к трезвому мышленью приглашаю тебя, ибо лишь глупец к сему плодотворному раздумью не приспособлен... Да и куда возвращаться-то? Кровью разрушенного не склеишь и новой кровью. Порваны пуповины, соединявшие с прежним, повержены старые боги: как ни ру-

мянь их, а все будут битые боги. Покойничка не подмолодишь!.. — шепчу я тебе горько, а ты слышишь ли?

Шепчу потому, что полночь на дворе и сожитель мой, финансовый деятель и почище известного Аттилы бич божий, храпит поблизости, как бы разгрызая зубами стакан. На лампу я предупредительно надел носок, дабы и светом не тревожить его заслуженного сна. Ты молчалив сегодня, мне хорошо беседовать с тобой, все равно не заснуть до свету теперь. Слишком расколотилось сердце от воспоминаний: влево-вправо, вкось и в сторону, на манер ребячьей погремушки... Ладно, хватит словесности, а то бумаги много, товару мало. И от взгляда твоего на душе у меня по-прежнему как если бы требовал ты отчета от отца, время от времени притопывая на него ногою. Бери свое кесарево, недобрый кесарь мой!

Лишь начиная с Еремея могу описать тебе род свой,— ниже теряются корни наши в недрах неизвестности. Оный Еремей, мордовский толмач, родоначальник нашего дворянства, тебе и мне дед,— не ведаю уж, со сколькими «пра»-приставками,— служил российской короне и убит был ядром в полтавской баталии. За все содеянное по совокупности был он посмертно возвышен в сословии и награжден Водянцом... Вспоминаешь ли теперь тот воистину райский уголок на Кудеме, Николаша? Совину гору и близлежащие упоительные лесочки помнишь ли, места нашего с тобою обоюдного детства? Кудрявится ли посейчас статный кленок под окном нашей детской, или уже извели на хозяйственную потребу товарищи мужички сию живую памятку, в час рождения моего посаженную покойным дедом Аммосом? Бежит ли по-прежнему мимо террасы, под обрывом, резвая Бикань, ненаглядная татарская дочка Кудемы, или же впрягли ее в работу с переводом на новое местожительство? Одной поэзии, заметь, отпускаю тебе на целковый, ни куска хлеба либо признательности не ожидая взамен...

Берега помянутой речки часто оглашал твой незвонкий, я бы сказал скорее — созерцательный смех. В ней же тонул ты однажды, но провидение рукою сторожа с соседнего разъезда вытащило тебя из омута. Кстати, с той поры, не находя отрады дома и чуть не каждый погожий денек пускаясь с ружьишком по окрестностям, пристрастился я бывать у этих приветливых железнодорожных тружеников. Силою тогдашних обстоятельств так полюбил я их, что доселе почти родственное чувство испытываю к их мальчику, ныне неисповедимою игрой помянутого провидения пробившемуся всего лишь в видные, правда, мо-

сковские взломщики. Проживая в одной с ним квартире, едва ли не с отцовской болью, без его ведома конечно, слежу за ним украдкой и частенько сравниваю его с тобою,— почти сверстник твой, он при известных совпадениях легко мог стать соучастником твоих тогдашних шалостей. Никто не дарил его лаской в детстве, тогда как по тебе обмирали каждый час! Сколько тревог доставляло нам твое болезненное, по матери, нездоровье, в особенности когда ты, семи лет от роду, проявил художественную одаренность, вырезав из бумаги, помнится, не то собачку, не то няньку Пелагею Саввишну, и вся усадьба провозгласила тебя гордостью фамилии. Сколько раз, дав тебе касторового масла, по причине твоей чрезмерной любознательности к сластям, сиживали мы с матерью у твоей кроватки в страхе, не прибрал бы тебя прежде сроку господь! Но неизменно остерегался он этого шага, видать, по своей премудрой осторожности, и таким образом ты получил возможность отхлестать ближайшего из предков... не за то ли, Николаша, что не сумел обеспечить тебе по гроб жизни теплое местечко у матушки-России на хребте, круглосуточный досуг и сытный харч бездельника?.. Я к тому все это, что никогда словца обидного не кинул в лицо мне тот, другой, вор московский Дмитрий Векшин... Извини, сводит в судорогу язык мой от горького питья, коим угостил ты меня на прощанье!

Еремеев сын назывался Василием... Выписываю вкратце из поминовенного синодика, составленного тестем о. Максима из Демятина; у него на руках хранились родословные документы, когда сгорел дом на Водянце. Сей Василий при Елисавете стяжал славу империи, а себе — доброе имя. Он прожил двадцать восемь лет и зарублен был в башкирском бунту под Оренбургом; императрица не успела отметить подвиг верноподданного, как уж вступил на престол ее незадачливый племянник. Еремеевы внуки, Василий тож и Сергей, поручиками дрались во славу русского орла, и первый погиб в бездарной датской войне, а второй, твой прапрадед, дожил до Екатерины, чтоб погибнуть недоброй смертью от персов, добывая Дербент и Баку под державную руку России.

Разумеется, не все из твоих дядьев и дедов принимали кончину на поле брани. Иные просто старались приумножить или, гораздо чаще, посильно поубавить наследственные владенья, по возможности — без повреждения родового имени, но неизменно с оставлением обильного потомства: помянутое пристрастие и ускорило наше фамильное обнищанье. Не поливай

их безмерною хулою, Николаша: выдающиеся грешники случались среди них, но не было в нашем роду изменников и подлецов... хотя, не скрою, маловато сего для снискания признательности в простом народе!.. И тут задержу твое внимание на одном извечном свойстве нашем... на ушко тебе скажу: мы не ленивей Европы, ангелок мой, а только как вдарит наша континентальная зима, то невольно тянет русских к себе стародедовская, впрок натопленная лежанка. Да и как не прилечь на часок-другой, когда на целые полгода скована землица, а снежку на дворе вровень с окнами? Вот в итоге нескольких нерадивых поколений и складываются из этих часиков по полвеку иной раз. На поверку продерут глаза ямщики, глянь — в хвосте обоза плетемся. Спохватится грозный Иван либо Петруха: доставай из-за голенища кнут, давай догонять да нахлестывать, бороды резать, наотмашь головушки рубать... За неполных пять веков в который раз догоняем, Николаша!.. И никогда в подобных схватках эпох не удавалось понять старикам, что эти самые молоденькие, отступнички-то, и понесут вперед славу России... Да и самим молоденьким тоже невдомек, что на плотно уложенных дедовских костях ставлено все их дерзкое вдохновенье, а в положенные сроки их самих затрамбуют в свой фундамент хозяйственные потомки!.. Извини за многословную задержку, Николаша: к слову пришлось.

В частности, дед твой на войне уже не погибал, хоть и числился гвардии сержантом, по обычаю того времени. Окончивши факультет камеральных наук в Ярославле, вступил Аммос Петрович в гражданскую службу, но также не обременял себя чрезмерными занятиями. Вольготно сидел он в родовом Водянце, всею душою предаваясь выведению новых ягодных пород,— с помощью окрестного крестьянства, разумеется. Еще ребенком запомнил я, как в замшевых перчатках ковырялся он на своих расчесанных, выхоленных грядках. Та бронзовая медаль, которую в детстве любил ты катать в колясочке по дорожкам, была ему дадена за особо сахарные, крупитчатые яблоки; из-за них ты едва и не отправился на тот свет. Назывались они мирончики, в честь работавшего тогда у нас садовника. В годы александровских реформ Аммос Петрович с головой погрузился в кипучую общественную деятельность. Отправляясь на заседания, неизменно облачался он в плюшевый николаевский цилиндр и в мундир с выпушками, сколько помнится — какого-то архимандритского цвета. Дворецкий Егор Матвеич, в годы последующего оскудения совмещавший у нас

должности стекольщика и полотера, банщика и сказочника, пришучивал беззлобно, будто он ложками накладывал барина в мундир. Действительно, с годами рыхловат и несколько зыбуч стал Аммос Петрович, почему и должен был устраниться от столь полюбившегося ему земледелия. Но даже когда, окончательно огрузнев, старался он избегать как телесного, так и умственного напряжения, сочинил он утраченную мною книгу о мерах предупреждения пожаров, кроме того, изобрел прибор, сберегающий силу лошадей при возке тяжестей, и, наконец, придумал достойный памятник воину-герою Зубареву, о котором тогда писалось в ведомостях... Сам Аммос Петрович скончался под Спаса, когда яблоки, по собственной вине: запарился.

Для сравнения опишу денек из давнишнего, по ту сторону хребта, патриархального времени. Воскресенье, сбираются к обедне... Андрей пошел запрягать Арлекинку. Вот подъехал, в ожидании снял павлинью шапку, волосья намаслены до последней крайности. Он носил черные усы, обкусанные, как проволока. Бултыхаясь, выезжаем за околицу. Ночью был дождь, листочки блестят. Стрекоза на сучке сидит, лапочками себе глаза промывает. Утро стояло великое, безгреховное утро моей жизни! Спрыгнешь с коляски, бежишь по траве. На лаковых ботфортиках блестит июльская роса. В церкви темень и холод. Ревет дьякон, и пламя свечей шатается в солнечном луче. Аммос Петрович стоит на правом клиросе возле иконы с изображением босого старика в сером рубище и с редкими, на пробор расчесанными волосиками — местный наш святой, Федя Перевозский,— возглашает раньше голоса в алтаре: «Тимона и Пармена, Прохора и Николая...» На обед к отцу отовсюду слетались соседи и племянники. Приглашенные священники пели что-то коротенькое и веселое, потому что быстро и хором, после чего сообща принимались за индейку, ведя политичные разговоры на злобу дня. Мы, маленькие, ускользали на заднее крыльцо, где пестрая Дунька вертела мороженицу, и увивались вокруг, предлагая попробовать, не прокисло ли. Наконец сам Егор Матвеев вносил праздничный крендель такого сладостного аромата, что заглушался запах дегтя от его смазных сапог. К концу обеда гости заметно совели, отваливаясь к спинкам стульев, нам же разрешалось бежать в таинственные березовые кущи над Кудемой, где столько бывало поводов для неотложных ребячьих хлопот. Детство мое протекало безразлучно с незабвенным дружком моим Сашей Агариным,

рано истаявшим от неизвестного недуга. То был болезненного сложения мальчик, и ходил он по земле с таким видом, точно постоянно прислушивался к чему-то, чего прочим слышать не дано... Самый день длился без конца, семь нонешних жизней моих уместилось бы в одном! Ночью по всем комнатам храпели дальние гости и воздымались спящие тела. Детей почему-то укладывали в бабушкином кабинетике, где один угол пахнул корицей, а другой вроде нюхательным табаком. И сны начинались тоненькие сперва, потом потолще и, наконец, переходили в сплошную пряничную непонятность.

С любовию перенизываю сии бисеринки воспоминаний, потому что не похвастаюсь нынешним житьем. Для прокормления пробовал изобретать по следам отца — замшевую краску из печной сажи, абажур для ночных занятий, не прошло. Торговал коврами и картинами, сам разорился дотла. Нынче хожу по злачным местам, сказываю за деньги несусветные истории из жизни недорослей и вурдалаков. К столику подходишь с сомнением: полтинничек выдадут либо по шее, так что порой не емши спать ложусь, зато уделяю внимание водчонке. Один остался мне путь — уйти, отпасть от древа жизни, подобно зрелому плоду по осени; да в том мое горе, что возлюбил я сверх меры смотреть на скудное зимнее солнышко, на студеную вечернюю зорьку в щелке неба — даже на короткий отсвет ее в моем стакане, Николаша!

...совсем заболтался я с тобою. Повторяюсь, излишествую, а ты и не одернешь. Чудно клубится душа моя, а ты, великодушный или мертвый, молчишь. В следующей главе опишу тебе взгляды свои и путешествия, а пока в награду за терпение намекну на фамильный секрет. Словом, дарю близкого родственника тебе, но имя скрою до поры, дабы не повредить ему по понятным обстоятельствам; впрочем, все одно сомневаюсь, чтобы удалось тебе у него при стесненности взаймы перехватить. Обоюдная наша с тобой неприязнь и началась, если помнишь, с того проклятого осеннего вечера, когда застал ты меня с другою женщиной, не матерью твоею. Она и произвела на свет неизвестного тебе братца. Хворый муж ее, помянутый сторож на ближнем разъезде, лежал в те веки в роговской больничке, а жена его мыла у нас полы на усадьбе. Хороша была, Николаша! Вспомнить страшно, сколько времени утекло, а все стоит как живая перед глазами... вернее, звучит как песня в покосную пору, недопетая! Мать твоя в ту пору частенько прибаливала, а я, сам знаешь, несильный человек... Вбежав без

стука, закричал ты страшно, метался по земле, ждали даже припадка падучей. Ты у меня рос мальчиком вдумчивым, стучался в тайны окружающей жизни, вот и наткнулся на одну из них... Итак, не один ты в природе, стыдящийся своего отца. Слежу за ним, насколько доступно это в моих условиях: любопытствую о крови своей! Уже отупеваю понемножку, а все, братец, оторваться не могу...»

Так в каждую свободную минутку, особенно по ночам, струился на школьную линованную бумагу яд манюкинского разочарования.

II

— Сергей Аммоныч, да оторвитесь же на минуточку! Завяжите мне галстучек, пожалуйста... бантиком, если сумеете, не выплясывается у меня! — бубнил кто-то над ухом, с интересом заглядывая через плечо в тетрадочку, пока Манюкин, расслышав наконец, не согласился исполнить просьбу Петра Горбидоныча Чикилева. — Потуже, потуже, а то завсегда съезжает у меня эта штука и запонка видна на кадыке. Случай-то в моей биографии уж больно торжественный: решительный бой!.. И о чем это вы все пишете по ночам? Ежели мемуары, так показали бы, я обожаю почитать из чужой жизни и сам мог бы подать насчет слога дельное указание. Иногда лишняя щепотка соли, заметьте, может перевернуть все впечатление! — Он воздушно покрутил пальцами. — Еще потуже, прошу вас, гражданин Манюкин.

— Где это вы такой галстук сумасбродный раздобыли? — уклонился от щекотливой темы Манюкин, воздерживаясь от любопытства и в то же время опасаясь обидеть пренебрежением.

Но тот порхал уже на своей половине, гнулся и вертелся перед тесным зеркальцем, наводил глянец на ботинки, оттирал нашатырным спиртом воротник, выстригал нечто между ухом и носом, прислушивался к часам — идут ли, заглядывал в свою настольную книгу, словарь иностранных слов, стремясь с ее помощью довести свое обаяние до ошеломительного блеска... Отплясав же положенное время, Чикилев снова пересек со стулом заветную черту и оказался под боком у Манюкина; последнему ничего не оставалось, как перевернуть тетрадку верхом вниз и, как бы убавившись в размерах, с тоской обернуться к расфранченному сожителю.

— Дорогой вы мой гражданин Манюкин,— тоном глубокой горечи заговорил Чикилев,— уже целых полчаса стремлюсь достучаться к вам в сердце, чтобы поделиться по существу высочайшего момента в моей жизни, а вы между тем, характерно, занимаетесь своим чистописанием. Лично я и не возражал бы против ваших ночных занятий, ибо таковые не противоречат ни одному из опубликованных декретов, если бы с начала текущей недели вы не изменили своего поведения. В частности, замечено, избегаете глядеть мне в глаза, стараетесь проскользнуть мимо, что прямо указывает на замкнутый характер ваших мыслей... любопытно, каких?

— Да что вы, милейший Петр Горбидоныч, я всегда раскрыт нараспашку... — с жаркой дрожью в спине откликнулся Манюкин. — Да напротив же, я до слез благодарен вам за доверие. С вашего позволения я и сам поинтересовался бы, так сказать, причинами необыкновенного преображения вашего, если бы посмел... так что валяйте, высказывайтесь! — махнул он рукой, захлопнув тетрадку и вконец утратив вдохновение беседы со своим Николашей.

— Валять можно только дурака, а мне, уважаемый, валять нечего-с! — оскорбленно возразил Петр Горбидоныч. — Я к вам подступаю вежливенько, а вы лаетесь на меня, характерно, как пес. Но это напрасные попытки омрачить мое настроение, гражданин... мне и не то еще приходилось претерпевать от некоторых враждебных лиц. Но их уже нет, а я налицо, вот он!

— Напротив, я всегда желал всем моим близким исключительно одного доброго здоровья, Петр Горбидоныч, потому что мне самому неинтересно, чтобы рядом стонал хворый человек,— расстроенно вскричал Манюкин, у которого все катилось под гору теперь. — Кроме того, я считаю своим христианским долгом посильно облегчать тягость, которую, как я подозреваю, вы мужественно носите на душе. А если вам потребуются какие-либо советы либо наставления, потому что я постарше вас...

— Мне не нужны ваши сомнительные советы, гражданин Манюкин... да и чему может научить бывший человек? — в полном запале отчеканил Петр Горбидоныч, а Манюкин поверил недавнему слуху, будто один из несчастных чикилевских собеседников стрелял в него с близкого расстояния жаканом, однако безуспешно из-за дрогнувшей руки. — Какой совет, характерно, может подать мне сомнительная личность, которая сама не се-

годня-завтра либо с ума сойдет, либо, как я наперед догадываюсь, покончит свою жизнь посредством самоудушения!

— Уж будто и завтра... эка шутка у вас какая тяжелая, Петр Горбидоныч,— суеверно улыбался Манюкин. — Я же приготовился выслушать вас, так приступайте же...

— В кои века захотелось труженику, чтоб кто-нибудь услышал его... о котором при вашем царе никто и слышать не хотел... Нет-с, прошли те черные денечки, когда всякий мог пренебречь Чикилевым, дудки-с!.. И что в особенности характерно, еще минуту назад у меня было такое состояние психологии, чтобы весь шар земной обнять от счастья, и вот, я спрашиваю вас, кто повинен в том, что оно рассеялось без следа... кто?

— Господи, да начинайте же! — взмолился Манюкин, даже сложил руки на животе, обрекая себя на любой длительности исповедь сожителя.

Он даже чуточку привстал, готовый сам втиснуться в пасть своего преследователя, но тот уже не слышал постороннюю речь.

— Вот вы изводите втихомолку общественный продукт, бумагу, на свои подозрительные записи... Не отрицайте, у меня кое-что записано из того, что вы бормочете во сне, так как до сих пор, несмотря ни на что, видите старорежимные сны из узко помещичьего быта. Поэтому вам и наплевать на человека, имеющего временную нужду проживать под одной кровлей с вами... причем, характерно, в самую его священную минуту, когда он задумал жениться. Для вас Чикилев смерд, служебный автомат, кривоногая каракатица... хотя наукой и установлено, что у таковой нет конечностей. Но я собью с вас барскую спесь, найду на вас управу. Это вы в каждой женщине, хотя бы в подневольной труженице на железной дороге, видите лишь орудие своего разврата, для меня же она прежде всего жена, то есть высшее священное средство, при помощи которого я удовлетворяю мои краеугольные потребности, поставленные в основу процесса жизни.

— Эстетические, нравственные потребности, хотите вы сказать...— единственно в целях скорейшего примирения ввернул Манюкин.

— Вот-вот! — подхватил Петр Горбидоныч. — Характерно, я всегда догадывался, что вы изувер и распутник...

— Да в чем же вы видите изуверство мое, непотребная вы человечина? — всплеснул руками Манюкин, решаясь от-

биться хотя бы в кровавом сражении, и Петр Горбидоныч, в свою очередь, раскрыл было рот для ответного залпа, но вдруг заслышал шорохи в передней и со стоном «пришла, пришла», метнулся вон из комнаты; впрочем, он воротился через мгновенье. — За свет и воду потрудитесь задолженность внести, а то я вас выключу! — зловеще постучал он пальцем по коробке, которую держал в руках, и пропал на этот раз окончательно.

...Ах, весна, весна была причиной чикилевскому сумасшествию. День мерялся с ночью и побеждал. Из окон булочных изюмными глазами поглядывали тестяные жаворонки. Старый дырчатый снег заметно меркнул и оседал, и хотя при полусолнце иногда падал новый, подмолаживая зиму, все в городе по-детски верили, что это уже последний.

Утренняя хмурость разветривалась к полудню, и до вечера, бесплодные пока, бродили в небе тучки с сизыми донцами. Во всем оживала надежда на какую-то необыкновенную случайность. На опушках краснели прутики кустарников, на реках грязнели проруби, а между окон, на припеках, оживали прошлогодние мухи, сквозь стекло заслышав помоечные зовы: видно, это же самое солнышко пригрело и Чикилева.

С особой щедростью падали в тот вечер последние солнечные лучи на половину к Сергею Аммонычу. Они сползли со вновь раскрытой тетрадки, перебрались через его продавленную койку под солдатским одеяльцем и оранжевым пятном заливали дверь, когда он услышал знакомый шепот позади себя. Из коридора заглядывала Клавдя, Зинкина дочка. В отсутствие Петра Горбидоныча ей нравилось играть здесь, на солнечном коврике, своими черепками и тряпками; комната Балуевой выходила окнами на север. Манюкин тогда затаивал дыхание и все смотрелся в Клавдю, как в прозрачный ручеек, одинаково зачарованный и цветными камешками на дне, и собственным отражением поверх бегущих струек.

Вся в пламени заката, девочка щурилась на пороге, улыбкою прося дозволения войти.

III

Если, как уверяли враги, Петр Горбидоныч и питал некоторую неприязнь к человечеству, то лишь вследствие непоправимых обид, которые были ему причинены в самый час рожденья, когда он даже не мог предпринять никаких контрмер со

своей стороны. Природа обошла его дарами, выдав пару ничем не примечательных родителей, снабдив неказистой внешностью, по отзыву некоторых — почти мордочкой вместо лица, да еще с выражением озлобленной впечатлительности, происходящей от никогда не утоленных вожделений, и наконец вложила вместо таланта — ту постоянно ноющую, тоскующую пустоту, где ему надлежало быть. И несправедливей всего, почти за полвека жизни Петру Горбидонычу ни разу не была предоставлена возможность ни раскрыть, скажем, вопиющее преступление, ни найти двенадцать кило сокрытого золота или поприсутствовать при покушении на высокопоставленное лицо, чтобы проявить самоотверженность... Естественное раздражение и вынуждало его покусывать ближних, а так как последние не всегда подвертывались под руку, то экономней было завести для этой цели, по совместительству с другими нагрузками, некое постоянное безответное лицо. Так Петр Горбидоныч пришел к мысли о женитьбе. К задуманному шагу он готовился давно и если жил скупо, не оставляя даже крошек для птичек, то лишь по намерению скопить высшее благополучие избранному существу. Успех предприятия мог бы даже примирить его с человечеством... с тем большей горечью отметил Петр Горбидоныч, что даже в святейшую минуту его сватовства человечество не догадалось хоть ненадолго приостановить низменный гул происходящей жизни — дребезг трамвая, стук кухонного ножа, вопли оставленных без надзора шалунов во дворе. Перед самой дверью певицы Балуевой Петр Горбидоныч выпустил краешек цветного платка из нагрудного кармашка, оправил в петлице жетон отличника за беспорочное взыскание недоимок, напустил на лицо значительность и постучал.

Войдя, Петр Горбидоныч огляделся и потерялся слегка. Зина Васильевна пришивала пуговицы к мужскому пиджаку и, судя по вздрагивавшим плечам, плакала; впрочем, время от времени она находила в себе силу понюхать ветку привозной мимозы на столе. Пиджак вполне мог принадлежать и брату Матвею, но стопка штопаного белья в узелке в сочетании с женскими слезами не оставляла места для сомнений и подтверждала дошедшие до жильцов печальные слухи о Векшине.

В указанных условиях Петру Горбидонычу выгоднее было не примечать препятствий. Он постоял, изобразил буку с хвостиком сидевшей за столом же девочке, которая тотчас понятливо покосилась на мать, затем покашлял, уведомляя о своем прибытии.

— За квартиру я уже внесла, Петр Горбидоныч,— вяло и не подымая головы, сказала Зина Васильевна,— а черную лестницу все равно мыть не стану. Я и не хожу по ней никогда...

— Черпую лестницу вы все равно вымоете в свое время, но не в этом дело, Зина Васильевна. Какие там лестницы, когда апрель на дворе, и, заметьте, голова кругом идет... от разных закономерных переживаний! — Он вздохнул, втолкнул коробку в поле ее зрения, причем — в раскрытом виде, так как особо рассчитывал на силу первого впечатления. — Вот конфетки, пожалуйста...

Зина Васильевна удивилась, улыбнулась, подняла заплаканные глаза:

— Какой вы нарядный нынче, Петр Горбидоныч, ровно на похороны собрались. А мне говорили, что вы совсем одинокие...

— Именно потому, что одиночее меня нет на свете, и пришел я сюда, Зина Васильевна...— намекнул он и со значением скользнул взглядом по Зинкиной дочке. — Хотел бы иметь с вами разговор на одну доверительную тему.

Зина Васильевна слегка покраснела, сразу что-то поняла, только не поверила.

— Вона что... А я-то решила, что это дочке со днем рождения. Иди, Клавдя, поиграй у Сергея Аммоныча пока!

— Вот теперь другое дело,— обнадеженно приступил Петр Горбидоныч, притворив дверь за ребенком,— очень волнуюсь, и, характерно, мысли все какие-то неделовые. Вчера на Трубе, например, на птичьем рынке парочкой одной залюбовался, снегирек со снегурочкой, с полчаса времени потерял. Едва купить не соблазнился... пускай, думаю, веселятся в комнате для оживленья холостого быта, а потом сообразил, что для первого момента удовольствие, а между тем шумят, сорят умопомрачительно... так и не купил. Я потому из отдаления начинаю, чтобы полностью себя раскрыть, кто я есть. Характерно, я являюсь круглая сирота: почти без папаши родился, без мамаши в жизнь вступил. Едва же с материих рук наземь сошел, стали все мною помыкать, пошвыривать, подзатыливать: Петька влево, Петька вправо, Петька задом наперед!.. Невольно стал я тогда задумываться, для того ли, дескать, я в житейское море пускался, чтоб подобное поношение личности принимать? И поклялся я закаливать свое многотерпение. Погодите, думаю, я смирный, смирней меня на свете нет, все руки об меня посшибаете, прежде чем я единый звук издам. Книжка есть у меня

старинная из жизни великих людей, и сколько же там мудростей в каждую страничку впихнуто, а первая из них — что терпение начальная ступенька ко златым эполетам славы! Непременно затащу к вам на прочтение, и спишите кое-что себе на память. Вы пока скушайте конфетку-то, от одной не убавится.

— Какое же у вас в жизни событие... али вас назначили куда? — Она выбрала поменьше, надкусила, горе ее немножко развеялось, и как в громадном небе среди туч показалась синева. — Вкусная, да еще с вином, никак?

— Пуншевые!.. и вы на ленточку обратите внимание: достигаем довоенного совершенства. Вы ее не бросайте, а лучше Клавде на праздник подарить. Характерно, тоже давнюю симпатию питаю к вашей девчурочке...

— Просто не узнаю я вас, Петр Горбидоныч! — улыбалась Зина Васильевна, украдкой сдирая с зубов припаявшуюся конфету. — Верно, покидаете нас, вот и решили память по себе хорошую оставить напоследок?

— Именно, к отплытию собрался. «Сажусь в ладью и отправляюсь к обетованным берегам...» Хорошие песни раньше сочиняли, несмотря на производившийся гнет!.. но я и вас хочу позвать с собою. Я пловец по жизни сурьезный, я бы так выразился — непреклонный пловец. Но вы не смотрите, что я иногда для посторонних суровый бываю,— для своих я простой, временами почти задушевный человек. Правда, привычка у меня закон. Например, лимонад я люблю похолоднее, но зато уж чай обожаю самый горячий! Убейте, не изменюсь... хотя для любимого существа могу в высшей степени наоборот. Больше всего я уважаю в гражданине рассудительность... потому что человек, характерно, не есть исключительно животное, которое тем лишь занимается, что жрет до отвала да производит ненаглядное потомство. Человек, окроме всего прочего, в штатах состоит, за что ему выплачивают соответственное должности содержание, а ведь это уже означает, что он нужен. Ага, значит, новый-то мир не может обойтись без меня? И вот Петька делается Петр Горбидоныч, мое почтение. И, кто знает, если еще немножко потерпеть, то, вполне возможно, и Петр Горбидоныч сможет обнаружить не одно собственное мненьице, которое он покамест в силу скромности вынужден хранить в секрете от начальства. — Он оглянулся, не слышит ли кто, не вернулся ли с работы брат Матвей. — Может быть, и у меня есть в душе каприз?.. может, и мне давно уж нравится не самый цветок, а только сочетание абстракций?.. потому что оду-

хотворенное существо не может к цветку животно подходить, как к простому сену...

— Вы, Петр Горбидоныч, попроще со мной говорите... Я ведь необразованная,— тихо попросила подавленная его глубиной Зина Васильевна. — Ничего, что я работаю при этом?.. тороплюсь. Мне в тюрьму завтра отправляться с утра, передачу нести, так что вы уж покороче, пожалуйста!

Все шло пока в наилучшем виде,— Петр Горбидоныч отвалился на спинку стула.

— Ничего, вы шейте, я люблю, когда при мне рукодельничают. И я постараюсь уложиться в мой регламент. Продолжаю пока! Вы дама вполне прелестная, Зинаида Васильевна... а все еще без надлежащей мужской опоры. Ежели на брата надежда, так ведь брат скоро собственную семью на шею себе наденет. Характерно, что и я, как было выше сказано, тоже сирота и холостяк... хотя это и странно, находясь в переломном возрасте, на грани сорока шести лет. Приоткрою вам свои карты: вот уже четыре года с небольшим, как я в каждую свободную минутку, даже заочно, сквозь стенку страстно любуюсь на вас... — Петр Горбидоныч зажал в горсть кусок скатерти и стал тянуть на себя так, что все на столе изготовилось поехать в его сторону. — Вы же красавица, страшная женщина вы!.. Мигните — и весь мир на коленках за вами потащится... чего там, отцеубийцей станет! Воспретить, даже умерщвлять надо во имя высшей морали подобную красоту, чтоб не отвлекала от полезной деятельности, не разрушала бы человеческого здоровья! Коснись дело меня...

Сбираясь произнести обвинительную речь против всякой красоты, нарушающей распорядок в служебном мире, Чикилев прокурорским жестом выкинул было руку, а отвлеченная от дела Зина Васильевна внимала ему с полуоткрытым ртом, векшинский пиджак давно соскользнул на пол с ее колен. Вдруг она закрыла коробку с липучими конфетами и поотодвинула в сторону.

— Господь с вами, Петр Горбидоныч! Чего вы мне приписываете! Зачем же людей на колени становить,— испугалась Зина Васильевна, мигая длинными ресницами к пущему воспламенению Чикилева. — Мне бы только дочку вырастить да еще брата обмыть-обрядить, пока сам не женится...

— Ах, не темните, не берите греха на душу, Зинаида Васильевна! — с новой силой вскричал Чикилев. — На неделю впе-

ред ваши мысли знаю... вы этим Митькой бредите... в острог, к его больничной койке рветесь, белье ему по ночам стираете, чтоб никто не видел, в подушку плачетесь о нем... а я за стенкой терзаюсь, шепчу вам — небось кирпич в этом месте трухлявый от шепота моего стал!..— все шепчу: ведь он же ветрогон, ошлепыш, вор ночной, сон неверный, туман-человек. Он и спасибка вам не скажет, а только приголубит на ночку, да и бросит, как и тот, первый-то ваш, с девчонкой на руках бросил... Слушайте меня: никогда больше этих слов не повторю. Если сам Чикилев, Петр Горбидоныч, сам руку вам вместе с сердцем предлагает, это значит смягчился он, руку примиренья людям протянул... подхватывайте, пока не опустилась. Древо, на корню засохшее, ради вас одной цветами распускается... да что же это, господи, делается со мной? — и, внезапно отрезвясь, присел на прежнее место.

Закинув голову, дразня соблазнительной белизной шеи, Зина Васильевна открыто тешилась над любовью Петра Горбидоныча.

— Нашел время присвататься...— вырвалось у ней между приступами смеха,— да еще к кому? Что от тебя останется, коли я тебя разок обниму? У тебя же и рук не хватит всю меня обхватить!.. знаешь ли ты, сколько весу во мне, паучишка? — и опять предавалась полнозвучному веселью.

— Заметьте, с огнем играете, гражданка,— сухо предупредил Чикилев.

Она его не слышала.

— Нечего сказать, поразвлек бабью тоску: воробей к корове посватался... ох, даже живот вспотел, хохотамши, до икоты довел! Зинку Балуеву в Чикилихи произвесть задумал, вором напугал. Это верно, ты в острог никогда не сядешь, не запьянеешь, даже не простудишься, а Митька... А, чего об этом толковать, бога на вас нету, право, Петр Горбидоныч! Уходите лучше, я и комнату после вас проветрю...

Она настежь распахнула окно, и в комнату ворвалось гуденье затихающего города как бы с вкрапленными в него глухими ударами гигантского бубна... С насильственной улыбкой Петр Горбидоныч прилаживал на свои конфеты снятую тесемочку, будто ничего и не было.

— Насчет бога вы к братцу адресуйтесь, он вам разъяснит заблуждение по специальности. — Что-то дрогнуло в его голосе. — А зря, Зинаида Васильевна, я бы на вашем месте хоть недельку прожил с Чикилевым на пробу, для узнания, что он

за человек... чего вам стоит? Наплачетесь вволю с гражданином Векшиным... происшествий газетных не читаете, а поучительные попадаются! Сколько веков солнышко светит, а никак женских слез осушить не может... и ваши, промежду прочим, только зачинаются!

Сбираясь уходить, он мимоходом выглянул в окно. Там, во дворе, мальчишки с голыми, посиневшими коленками с грохотом из угла в угол футболили мятую, без днища жестяную посудину.

— Эй, эй, вы, черт возьми, цветы жизни... — свесясь наружу, покричал с сердцем Петр Горбидоныч,— прекратите гоняние ведра! Вот я к вам с палкой спущусь сейчас... — С порога он обернулся к Балуевой в последний раз. — Все высказанные мною глупости назад беру: весна, а весною каждый мужчина вдвойне холост... — Так топтался он на месте, все не мог уйти. — И я на вас с гражданином Векшиным нисколечко не сержусь... Хотя ему-то, как бывшему борцу за это самое, и следовало бы учесть, откуда начинать перестройку мира. В неравенстве дело, вона что!.. Кабы одинаковость произвести везде, кабы догадалась природа все человечество на один образец соблюсти... чтоб рожались одинакового роста, весу, характеру, тогда бы и счастье поровну. А чуть кто зашебаршил, вверх полез — крылышки легонько подрезать... и опять все в одну дудку! Сломался — списать без сожаления, сменка ждет. И зверей тоже, и деревья, и реки уравнять бы для простоты учета, тогда бы и шалунишек не было, и дурной погоды, и беспорядков в домовладениях! Что касается лестницы, то во вторник ее моют Бундюковы, а уж вы в четвержок, пожалуйста... Попрошу со своим ведерком!

— До свидания, Петр Горбидонович,— вдруг оробев, сказала Зина Васильевна.

IV

С исчезновением Векшина жизнь в сорок шестой квартире почти заглохла. Один только Петр Горбидоныч не унимался, вникая в причины — то чрезмерного гуденья манюкинского примуса, то непозволительного в ночное время скрипа входных дверей. Ежедневно развешивал он исправленные и дополненные постановления на все случаи семейной и общественной жизни, и, правду сказать, сам поражался готовности человече-

ской натуры ходить в струнке от постоянного опасения нарушить какое-либо примечание к соответственному параграфу. Естественно, административное величие Петра Горбидоныча несколько омрачалось отказом соседки, но и тут он лишь затаился до поры, как поступил бы полководец перед осажденной крепостью.

Путем хитрейших умозаключений, а однажды и проследив якобы из-за случайного совпадения маршрутов, Чикилев сам, еще прежде всяких слухов, дознался до правды. Зина Васильевна навещала Векшина, стояла в очередях, добивалась свиданий и передач. В том и состояло ее убогое счастье, чтобы беспрестанно жертвовать собою для Векшина, бесчувственно, в странном оцепенении принимавшего ее дары. На свиданьях он скользил по ней рассеянным взором и, расспрашивая о посторонних новостях, ни разу не проявил любопытства к причинам ее бесконечной заботливости. Ни смешной тоски своей, ни напрасных надежд ничем не выдавала Зина Васильевна при тех немногословных встречах.

В памятный день, последующий за неудачным чикилевским сватовством, Зине Васильевне отказали в разрешении на свиданье. Снисходя к ее горю, пожилой надзиратель сообщил, что другая удачница опередила ее сегодня. С ревнивым трепетом Зина Васильевна напрасно искала в толпе посетителей лицо соперницы... но, странное дело, догадываясь о многом, она наравне с болью испытала бессознательное удовлетворение за любимого человека. Вместо Вьюги, однако, ей показали на совсем другую, худенькую женщину, одетую с явным намерением казаться моложе своих лет,— по ревнивой и недоброжелательной оценке Зины Васильевны. Она подошла к незнакомке и, оттого что та по неопытности, видно, постеснялась принести что-нибудь с собою, попросила ее о передаче Дмитрию Векшину своего узелка. Так познакомились они с Таней, по достоинству оценившей глубину этой преданности брату, и разговоры у них в этот первый день, на квартире у Балуевой, едва уместились дотемна.

Ее образцово-безнадежная любовь состояла из безотчетного восторга, робких подозрений, страхов утраты, готовности в любое время отречься от права на счастье для малейшего его удобства. Перетрусив после чикилевской угрозы, чтоб не навлечь еще худшей на Векшина беды, Зинка заискивала теперь перед затаившимся управдомом, а заодно и перед другими соседями, лишь бы создать к возвращению Векшина целительную тишину

в квартире сорок шесть. Фирсов утверждал в сочинении своем, что именно безответность эта, *простреленность* Зинкина чувства, как неосторожно сорвалось у него с пера, и возвышала ее низкое трактирное искусство до подлинного *уличного* жанра, пленительного не только для захмелевших завсегдатаев пивной, где она выступала; впоследствии автор получил за это дополнительное нездоровье от критики, усмотревшей здесь пропаганду душевной боли в области современного песнеписания... Еще до выхода повести в свет, имея в виду проделать опыт взаимодействия с жизнью, Фирсов приписал певице цикл собственных стихов, опубликованных под названием *площадных песен*; Зина Васильевна наравне с творениями Доньки включила их в свой репертуар, и это способствовало такому росту фирсовской популярности на дне Благуши, что отныне за любым столиком нашлись бы для него почет и место...

«То было дикое цветенье насмерть ужаленной плоти,— захлебывался Фирсов в одном преждевременно напечатанном отрывке,— когда яд напрасной страсти еще не довел свою жертву до петли, броска на рельсы или ножа — обычной развязки из бульварного романа, а лишь пьянит пока хмелем безрассудного вдохновенья...» Тотчас по прочтении четверо старых фирсовских *дружков*, знатоков по пиву и поэзии, негласно навестили заведение на Благуше, слушали деятельность певицы Балуевой, принимали для ознакомления означенный напиток и великодушно сошлись на том, что если все *это* и составляет балаган, то на том чрезвычайном уровне, когда из него необъяснимо родится *трагедия*.

— Опаляюще поете, Зинаида Васильевна... — с бледностью в лице признался ей однажды пятнистый Алексей, подавая шницель в антракте. — Сколько разов вас слушаю, и всегда мурашки взад-вперед вдоль спины пробегают!

И правда, когда певица, заламывая руки над головой, начинала низким взводистым голосом:

...ах, погибаю я за ерунду,
знать, у бабы и весною осень:
ровно веточку в чужом саду
надломил и, не сорвамши, бросил! —

даже самые хладнокровные поражались, как это не зацветут от ее зноя фальшивые пальмы-хамеропсы в кадушках, как не поломает себе пальцев на сбегающих трелях гармонист,

В ту весну она существовала от свиданья к свиданью с Векшиным. После той единственной тюремной встречи с Таней никто, кроме Зины Васильевны, не навещал его: для всех Митькиных близких — Саньки, сестры, как и для совсем свободной теперь Вьюги, то была переломная весна. Таким образом, Зина Васильевна становилась для Векшина окном в мир, откуда он был изъят; сейчас она была его глаза и руки, а это невольно внушало ей расплывчатые надежды.

Потеплевшие вечера мая Зина Васильевна просиживала у раскрытого окна с шитьем в руках, но не шила, а наблюдала рассеянно, как меркнет свет и наползает тень. Как она верила, что эта ночь ненадолго, как она знала, что за коротким деньком снова нахлынет ночь!.. Клавдя с детской скамеечки возле ног матери озабоченно следила за сменой настроений в ее лице... У брата Матвея начинались экзамены через неделю,— он яростней стискивал ладонями виски и уши и, взглянув на Маркса в рамочке, словно воздуху заглотнув, снова погружался в преисподнюю своей науки, где его не достигали надоедливые вздохи сестры.

— Матвей! — несмело звала она брата. — Да оторвись ты от своей железной книги, так и засохнешь над ней... Оторвись, посмотри, облака-то полосатые какие, Матвей! — И кивком показывала на перистые закатные дороги, в огневеющие предгорья, за которыми располагались вовсе уж призрачные зеленоватые моря. — Сознайся, никогда не тянуло тебя оторваться, бросить все да, никому не сказавшись, уйти туда... и все брести без указания пути? Главное, чтоб мыслей никаких и непременно босыми ногами чтоб!

— Тебя, Зина Васильевна, облака не выдержат,— усмехался брат. — Придется через все небо бревенчатую гать прокладывать...

— Да я и сама знаю, что нельзя... провалишься, разобьешься, а тянет. Я когда пою, то всегда про людей думаю... гляжу и думаю, сколько они денег на вино тратят. Могли бы одежу себе справить хорошую либо там кровать нарядную купить, с серебряными шишечками, а они... Когда пьют люди, то глаза у них совсем пустые, все одно что квартира без мебели. Я так думаю: чем дальше счастье, тем больше люди пьют... вроде от вина мечтанье ближе делается. А вот Фирсов говорит, что мечтание важнее счастья: счастье проходит, а надежда никогда!

В сдержанном гневе Матвей постукивал пальцами в стол.

— Мозги пухнут, Зина, такую ты чушь несешь. Я тебе очень советую почаще выметать из головы этот бесполезный мусор... счастье, мечтание, надежда. Так называемое счастье есть следующая, тотчас же за физическим здоровьем, фаза состояния нашего организма. Оно является высшим результатом гармонического сочетания экономических условий, то есть изготовляется как калоши, колбаса... или вот эти электрические лампы! — Как раз в ту минуту загоралась тусклая нитка фонарей вдоль улицы, уводившей прямо туда, за гаснущие кулисы заката; бледные звезды в склянках, они напоминали людям, что еще не поздно пока. — Итак, понятно тебе?.. если нет, повторю еще раз, но с условием не мешать мне больше!

Ничего ему сестра на это не ответила, а только подошла к мудрецу и с какой-то безбрежной лаской растрепала и без того взлохмаченные волосы.

V

Всю ночь она не спала от сердцебиения. Лежала и слушала — как скребутся мыши, бренчит пружина под Клавдей, первый дождик шелестит об оконное стекло. К утру забылась тяжким сном, и ей привиделся круглый, залитый светом зал. В нем под беззвучную музыку кружится одна-единственная незнакомая пара и скрывается за углом. Полная предчувствий и подозрений, Зинка спускается по такой головоломной винтовой лестнице, какие бывают лишь во снах, и натыкается на страшную пару. Сплетясь, Вьюга и Векшин смотрят на нее и смеются с сатанинским блеском в глазах...

Проснулась поздно. Брат Матвей уходил чуть свет. Клавдя в одной рубашечке играла на майском сквозняке. Зинка увидела свое отражение в оконном стекле. Синякам под глазами соответствовала боль в висках. Квартира сорок шесть занимала угловое положение. Из окна в окно Зинка приветственно помахала Бундюковым. Безработные супруги пили кофе и слушали радио с наушниками на голове. Молодые люди во дворе внизу бренчали на мандолинах и мурчали песенки нежелательного содержания... С полдня снова заладил дождичек. Временами подавленное настроение сменялось у Зинки потребностью лихорадочной деятельности, лишь бы не кинуться в колодец двора. Никогда так трудно не переживала она наступленье лета.

Через неделю Матвей уехал на практику. Сестра насовала ему в сумку опекушечек, даже всплакнула, когда стали прощаться.

— Смешная ты тетка, сестра... на корнеплод похожа и в бога веруешь! Трудно тебе будет в завтрашней жизни, но добрая, добрая,—говорил он, тронутый ее заботами, но от объятий отстранился. — Ну, вернусь не скоро, вора своего брось, потому что он вдобавок и лодырь. Это место почаще проветривай,— и с неожиданной нежностью постучал Зинке в лоб. — Обо мне не плачь, так как родство наше биологическая случайность. Не провожай, не люблю...

Вечером она вынесла на чердак тарные Матвеевы ящики и втащила из коридора скудные векшинские пожитки. Под предлогом полной неизвестности о жильце Чикилев сдал его комнату на учет... Пускаясь в обход, по плану долговременной осады, он весь свой служебный отпуск кинул на завоевание Клавдина сердца. Во избежание несчастий, отправляясь на весь день по своим, а больше — векшинским делам, мать оставляла дочку взаперти,— Чикилев стал забирать девочку с собой в прогулки. Они отправлялись в соседний парк и шли по траве через залитые солнцем лужайки. «Ты дыши, забирай больше воздуху в себя, чтоб ничего вокруг тебя не пропадало,— учил он девочку в промежутках между рассказами о себе маленьком. — Как мимо зеленого дерева проходишь, так и дыши!» Не балованная вниманием взрослых, Клавдя возвращалась румяная, сытая, вся таким тихим светом сияла изнутри, что Зинка боялась потушить его неуместным расспросом дочери, о чем они с Петром Горбидонычем говорили там, в лесу.

— Вот мы и с прогулочки явились... — вкрадчиво, ненадоедливый, немногословный, оповещал Чикилев. — Так что если дельце срочное подвернулось, вы спокойно ступайте, Зина Васильевна: я вашей девочке и покушать дам, и в постельку уложу. Это я во множестве ребятишек недолюбливаю, а в небольшом-то количестве развлечение одно!

— Завтра с Клавдей я сама отправлюсь,— ревниво, с дрожью в губах, давала зарок Зинка, всякий раз новые подарки замечая у дочери — то заправдашнюю соломенную шляпку, то пестрый мячик в сетке — источник ее кроткого сияния. — И зачем вы на нее тратитесь, Петр Горбидоныч! Правда, я не при деньгах сейчас, пивная наша на ремонт закрывается на днях, но... словом, завтра я с нею сама гулять пойду.

— Вот и хорошо,— безоблачно подхватывал Чикилев,— а то похороны у меня завтра, сослуживец помер, товарищ Филимонов... тот самый, рыжеватый такой, с которым мы еще у сочинителя Фирсова имущество описывали. Характерно, на собственных именинах свежей белужки поел и помер... да еще меня к обеду приглашал, разделить трапезу. Так что если бы не затащила меня в кино ваша Клавдя, я бы и сейчас с товарищем Филимоновым, хе-хе, компаньицу делил. Согласитесь, дорогая Зина Васильевна, мячик за жизнь — это совсем не дорого!.. Ладно, побегу пока, а то маляры ждут: крышу завтра собрался красить... — И он исчезал, больше всего опасаясь теперь переполнять чашу Зинкина терпения.

Кроме понятных укоров совести, случай этот заронил в Зину Васильевну серьезнейшие тревоги за свое будущее; произведенный часом позже осмотр Клавдина имущества показал, как далеко за полтора месяца зашло дело. В добавление к игрушкам, которых сама она дочке не дарила, Зина Васильевна нашла новые башмаки с калошками, в чем девочка так нуждалась, и к будущей зиме пуховый башлычок; предусмотрительно приложенный пакетик со средством против моли выдавал его происхождение. Сверх того, обнаружилась уйма мелких вещиц, с трогательной заботой разложенных по уютным аптекарским чикилевского сбора коробочкам, которых и силой у Клавди не отнять!.. Все это показалось разъяренной матери гадкими отмычками к невинному детскому сердцу. Но в довершенье всего кучка отложенных для починки Клавдиных чулок оказалась перештопанной: просто удивительно было, как он поспевал везде, этот осьмирукий господин!.. И тогда-то Зина Васильевна разревелась от стыда — за время и ласку, украденные ею у дочки для Векшина. Разумеется, она немедленно прогнала бы Чикилева с запретом показываться на порог, если бы не примечала в Клавде ряд благотворных перемен: румянец оживления почаще набегал на бледные щечки, а иногда приходилось делать и выговор за шалости...

Как-то в начале июля, вернувшись запоздно, Зинка услышала в своей комнате чикилевский голос. Ей показалось, что это обычная мирная сказка, с какими укладывают детей на ночь. Мать приблизила ухо к дверной щели:

— ...я и рос вот тоже тихим и маленьким,— рассказывал Чикилев,— и все меня обижали, такой я был тихий и маленький. У меня даже кулачков настоящих не было отбиться; совсем дело плохо. Моя мама сбежала с одним дяденькой, под видом

будто умерла, а папа уехал к другой тетеньке, будто в командировку... вот и остался я жить у бабушки. Она была уж вся погнутая, как коряжка над прудиком, которую я тебе показывал вчера. Ее так и звали — корявенькая. Мы бедно жили с корявенькой. У нас был кот, он ел в помойке, всегда мордатый, веселый был. А людям нельзя из помойки...

— Почему? — интересовалась Клавдя.

— Ну, как тебе сказать... животик заболит! А у меня был знакомый мальчик, сын присяжного поверенного... к нему уж босиком горничная в наколке не пускала, и приходилось надевать курточку, в которой я только в школу ходил. У него имелось много игрушек, целая гора... да еще с полгоры ломаных наберется, пожалуй. Он, бывало, до ветру выбежит, а я как начну все его игрушки целовать! Мне тоже ужасно их хотелось, а это называется завистью... Когда же корявенькая померла, меня отвезли к маме. Она тогда квартировала одна и уж выпивала понемножку, потому что ее новый муж опять сбежал с другой тетенькой. У ней на игрушки денег не оставалось, даже колотила меня под пьяную руку... уж сколько я раз жаловался на нее мертвенькой бабушке: письма писал на тонюсеньких бумажках и украдкой складывал за образа. Корявенькая мне часто говорила, что потом, после, она станет жить у него за спинкой, там... — И матери почудилось, что Чикилев показал девочке на икону.

— Теперь у тебя деньги есть, купи себе много штук и играй,— сонливым голосом посоветовала Клавдя.

— Поздно уж, деточка, я фининспектор теперь, со службы исключат!

— А ты когда не видит никто... — и зевнула на вздохе. — А моя мамка где?

— Твоя в пивную пошла, она поет там. Ну, начинай спать, закрывай глаза, маленькая...

— А дома зачем не поет? — не унималась Клавдя.

— Ей не хочется дома. Теперь закрывай глазки... Опять же больше ничего со мною в жизни не случалось. Стал потом мальчик Петя рость, соком наливаться, кашку кушал, старших слушал... вот и получился из него Петр Горбидоныч. Спи!

Тогда Зинка вошла и без единого слова, не глядя на привскочившего Чикилева, прошла к туалетному столу.

— Вот, спать укладываю,— повинным голосом сказал тот,— а не хочет. Желательно, видите ли, мамку обнять...

— Ты свои подлые штучки прекрати... все одно в когти тебе не дамся, не дамся, змей! — гневно, на полукрике заговорила Зина Васильевна, машинально оправляя волосы перед зеркалом, хотя нужды в том и не было. — Наотрез запрещаю, в суд на тебя подам, если ты мне девчонку портить станешь!

— Чем же я ее порчу, вашу девочку, Зина Васильевна? — еле слышно спросил Чикилев.

Незнакомая человеческая нотка в его голосе заставила ее взглянуть через зеркало, что творится у нее за спиной. Она увидела, как, встревоженная угрозой матери, Клавдя жмется к Чикилеву, а тот, весь в небывалой для него краске смущенья, грозит ей пальцем, приглашая к молчанию.

Тогда Чикилев через силу повторил свой вопрос, потому что для него крайне важно было знать, можно ли причинить людям зло посредством рассказов о своих несчастьях.

— Да вот, гадости девчонке всякие рассказываешь...— не сразу нашлась Зинка.

— Так ведь это не гадости, Зина Васильевна, это самое драгоценное детство мое... и оно у нас с Клашей малость схожее. Кроме того, не надо так при ребенке, а то они на всю жизнь запоминают и потом к другим людям применяют,— совсем уж вполдыхания произнес Чикилев и погладил Клавдину головку, чтобы скорее все в ней подернулось пленкой забвения. — Между прочим, завтра общее собрание в конторе, насчет дополнительных расходов по водопроводу... и в заключение о международном положении доклад. Просьба к жильцам не опаздывать... Спи теперь, дочка, спи!

Он метнулся в дверь, прежде чем Зина Васильевна успела удержать его, извиниться за резкость, сославшись на очередные огорчения. И едва пропал, девочка тотчас разрыдалась, что было в особенности тревожным сигналом для матери.

VI

Вскоре по написании первых глав Фирсов столкнулся с затруднениями, какими обычно карается пренебреженье к заранее разработанному плану. Поток событий стал терять главное направление, дробиться на второстепенные русла, внезапно исчезавшие в песке. Требовалось немедленно сократить список действующих лиц и линий; после понятных мучений

автору пришлось расстаться не только кое с кем из неродившихся, вроде таинственного Николаши Манюкина, но и с живыми, так и не прижившимися к сюжету. Прежде всего эта участь постигла Зинкина брата Матвея и Леньку Животика, на что сочинителя надоумила сама действительность: первый должен был возвращаться из поездки лишь за пределами повести, второй же вскоре погорел на одном глупом предприятии и был надолго выключен из жизни... Пока исправлялись непростительные ошибки плана, обнаружились еще более важные просчеты с недооценкой единого замысла.

Многим Фирсов не нравился потому, что ему нравилось кое-что из того, что не должно нравиться тем, кто сам желает нравиться. Ведущим пороком его прозы считалась нехватка в ней прямолинейных выводов и нравоучений, которых он избегал вовсе не из отвращения,— просто введение полезных идей в сознание читателя через неподдельное душевное волнение, доставляемое искусством, казалось ему куда надежней и естественней. Фирсов обожал бытие с его первобытными запахами и терпкой вкусовой горечью, даже мнимую его бессмысленность, толкающую нас на разгадку или подчинение себе, то есть на творческое, нас самих преобразующее вмешательство. Если только верить фирсовской записной книжке, любое на свете — дождевая лужа или отразившаяся в ней галактическая туманность — одинаково являются высшими примерами инженерного равновесия, то есть математической гармонии и в конце концов неповторимым чудом; удел художника в том и состоит, чтобы раскрыть тончайшую механику сил, образующих это явление.

Сложными приемами изображения, дополнительно к прежним грехам, Фирсов навлек на себя обвинение в надуманности, как будто можно было придумать что-либо сложней и неожиданней окружавшей его действительности. Напротив, когда автор в целях экономии бумаги и усилий воображения собрался поженить циркача Стасика с сестрою Векшина, а самого его примирить с Доломановой, чтобы они создали вдвоем уютное семейное гнездышко, ворвалась жизнь и смяла фирсовские домыслы заодно с бумагой, на которой они были изложены. В такие минуты смятения бесценную помощь сочинителю оказывала чугунная обогревательная печурка, буржуйка — в просторечии тех лет... Сощурясь, один глаз больше другого, глядел автор, как пламя скручивало в черную хрупкую стружку уж обжитую им, первоначальную Благушу, как

корчились и гасли там его герои, словно издеваясь над авторскими надеждами и его творческим бесплодием. Время от времени железной клюшкой, просунутой в огненное пекло, помогал он огню прожевать довольно толстую стопку как будто бесценной, исписанной, а на деле всего лишь испорченной бумаги... Зато в перебегающих недолговечных искрах уже приоткрывалась Фирсову истина.

Почему-то неизменно при думах о Векшине его преследовал один и тот же неотвязный образ. Как бы бескрайняя площадь с высоким дощатым помостом посреди, и на нем сейчас будут четвертовать человека и вора Митьку Векшина за разные недозволенные поступки. Обступившая отовсюду толпа в положенном ей безмолвии созерцает, как похаживают наверху надежные молодцы в должностных рубахах, засучивают рукава, собираясь произвести над Митькой ряд действий по обычаю стародавнего времени. Среди зрителей Фирсов замечает почти всех описанных им личных знакомых, и у многих на лицах читаются искренние боль и сомнение — у многих, кроме единственного! Он стоит поодаль от всех, чуть на отлете... и вдруг оказывается, что это не кто иной, как Николка Заварихин. В отличие от прочих, он не просто ждет, а грызет семечки при этом, чтобы не скучать от ожидания. Поразительно, как долго ускользал Николка от записной книжки Фирсова!

На всей Благуше никто, кроме Пчхова, и не заметил, что где-то у них там, в дальнем мусорном углу большого рынка открылась убогая, размером с чуланчик, заварихинская торговля. А все предыдущие шесть недель будущий российский негоциант и вовсе пробегал с галантерейным лотком на животе, не брезгуя самой скудной прибылью. Николай Заварихин примерялся к жизни... Выйдя однажды на рынок проветриться,— он частенько таскался туда под видом покупки овощей! — Фирсов носом к носу столкнулся с Заварихиным, и такое это было по тем временам неслыханное явление природы, что сочинитель и глаз не мог оторвать.

Оно стояло перед Фирсовым во всей ошеломляюще пестрой новизне. Верно, знаменитое райское дерево выглядело так же, сплошь в спелых, соблазнительных плодах, подкрашенных анилиновым румянцем. Прямо с шеи у Николки Заварихина свисала связка цветных шелковых лент в количестве хоть на целую волость, иголками и булавками отменного заграничного качества утыкана была высокая, стародедовская тулья картуза; детские игрушки, барышни и медведи, только что

вылезшие из духовитого липового полена, выглядывали из карманов, а на тесном лотке такое творилось неистовство приманок и красок, что и самой притязательной душе не устоять. Там был и гребень, такой частый, что соринки не пропустит, и особо прочная пуговица, без износу, и репейное масло, чтоб не секся волос от кручины, и мазь от летучего весеннего прыща, и крестик с соской, и сверхстойкие, до гроба не выдыхающиеся духи... словом, всё для всех, от младенца до покойника, а в секретном донце нашлись бы вещицы и на потребу холостяка!

Случилось это в самом начале весны.

— Никак, на товар, гражданин, загляделися?.. себя ли желаете обрядить ай зазнобушку? Могу ленту в бороду предложить, краше коня станете на масленой... опять же на службе больше почитать станут! — цветисто и задиристо, как обычно не говорил в жизни, насмехался Заварихин и на Фирсова чуть свысока поглядывал, словно уже владел им.

— Расчесочку бы мне...— оторопело буркнул Фирсов и в целях восстановления отношений напомнил Заварихину обстоятельства их начального знакомства.— Мы ведь встречались с вами по первозимку, в том пивном низке...

— Как же, мираж, все баловство одно...— быстро отрекся тот. — Только теперь за дело принимаюсь... да что! Всю магазею на брюхе, извините за выражение, таскаем пока... — И с невинным видом принялся расхваливать свои товары.— Мой вам совет, по знакомству, вот эту взять. Заграничная древесина — пальма, исключительно на теплых реках произрастает... по преданию, Исус Навин стрелы вооружения из нее готовил! — И Фирсову занятно было слушать, как племянник приспособил дядины домыслы о древесных породах к своей простецкой коммерции.— Как раз по бороде вам подойдет, чешите да чешите... ежели когда со скуки, так саможивейшее удовольствие получите. Заверяю вас истинным богом, благодарить Заварихина прибежите! — В голосе его зазвучали дружественные нотки, едва прочел покупательский отклик у Фирсова в глазах.— Первеющий сорт, только у нас, и то — в секретности продаются. Я да еще Царапов Иван Иванович... может, примечали поблизости благонравного такого старичка? Только вдвоем, чудаки, и торгуем себе в убыток, а больше ни-ни. Ведь их нонче, по секрету сказать, из обычной березы точат: рубль цена... Олифкой потрут и — жри, а у меня с почтением и всего за полтинку! — И, несмотря на щекотное ощущение, будто его

самого вертели в пальцах, Фирсов оторваться не мог от вкрадчивого Николкина подвиранья.

— Ладно, давай уж, к черту, пальмовую с самой теплой реки! — махнул он, дослушав до конца; кстати, подошел Чикилев купить очередной пустячок для Клавди.

...Недолго потаскал на себе Заварихин походную лавочку. Новооткрытый ларек в самой гуще таких же, с холстинной кровлей и выстроившихся в рядок — как на старте в начавшемся соревновании, назывался Всеобщий коробейник, и из квадратного отверстьица, поверх разложенной хозяйственной мелочи, выглядывал еле умещавшийся там Заварихин. Фирсов поздоровался было и вскоре обнаружил у начинающего коммерсанта озабоченный, с прицелом в будущее и уже без нарядных присловий, речевой холодок, правда с приниженным слегка — ради обеспечения тыла, однако самоуверенным достоинством. «Премного осчастливлены посещением, а помрете, бог даст, то переживем как-нибудь»,— подобные нотки то и дело слышались в заварихинском голосе; за всем тем Фирсов ясно различал в нем скрытую до времени спокойную силу полой воды, готовой с многоверстного разбега обрушиться на плотину.

— Весна...— вздыхал Фирсов, опускаясь на скамейку возле — обмахнуть испарину со лба и кстати занести кое-что в заветную книжечку.

— Всему свое время!.. воспоследствии лето настанет, тоже невредно,— охотно поддержал Заварихин. — В деревнях пашут нонче: на Егорьев день, тут соха резвая... не доводилось повидать? Небось скоро на дачку маханете? Самая пора для укрепления здоровья: травки растут, бабочки летают. Вот вы, гражданин, описываете художественным пером, как любовь происходит, либо события там из жизни генералов... я и нонешних тоже имею в виду!.. а вы бы лучше поехали полюбоваться, последить, как мужицкий пот капит с лица: очень интересно для сравнения, которые непривыкши... — так и сыпал он со злой и ясной лаской, по третьему разу перетирая тряпочкой дешевые одеколоны на прилавке.

С тех пор частенько они здесь посиживали между текущими делами, отлично разумея друг друга и взаимно друг другом не тяготясь. От Фирсова не укрылась подозрительная скорость, с которой обрастал товарами Заварихин. Самая расстановка его товаров оставалась прежняя, только стояли они все плотнее с каждым днем. Когда полдневное солнце поднималось

над рынком и почти отвесный лучик его, пробившись в дырочку холстинной кровли, обегал Николкину лавку, точно по волшебному мановению вспыхивали в углах ситцевые и шелковые пламена... Фирсову ясно было, что расширение заварихинской торговли обходилось не без дядькиных знакомств, хоть и помимо личного пчховского ведома или участия; впрочем, сочинитель никогда не дознавался до источников заварихинского благополучия. Фирсову просто нравилось сидеть здесь, в глухом углу шумной рыночной жизни, заваленном битыми ящиками, камнем и железным ломом, греться, слушать, наблюдать, как оползает его ноги дневная тень, как тянется к солнцу из-под груды кирпича молодая крапивка, с каждым днем взрослея и распуская пушистые, нежгучие пока листки.

Из-за сезонных перемен в погоде, что ли, совсем он обленился в тот месяц.

VII

С переездом в город на вечное, как ему мнилось тогда, местожительство как-то поразительно быстро окреп и возмужал Николка Заварихин. Еще вчера казалось, что так и родился на свет в оранжевом скрипучем кожане, и вдруг словно кожура спала с прорастающего зерна. Не без умысла приобрел он на толкучке старинный русский картуз, но также — для особых случаев жизни и по моде тех лет — кожаную комиссарскую куртку, лишь косая, с тесным воротом рубаха под нею выдавала его крестьянское происхождение... Если и раньше погуливал мало, готовя себя к длительному, почти аскетическому подвигу стяжательства, теперь вдвое строже стал; лишь изредка забредал с приятелями в заведение с подачей полукрепких напитков, да и то — обсудить с глазу на глаз новости международной жизни. Полное воздержание от городских соблазнов и давало Заварихину право посмеиваться над дядиной указкой.

— А что, дядя Пчхов, мало сказать — унылая жизнь у раков! — рассыпáлся подтянутым смешком племянник, попивая дядин покамест чаек. — Опа и опасная вдобавок...

— Ты к чему это раков спомнил? — с неприязнью косился Пчхов.

— Так, с друзьями даве, под пиво, три дюжинки осилили... Вот и ты похож на рака, Пчхов. Под корягой засел, коря-

ге молишься, все небо твое одной корягой устлано! — Заварихин держался в жизни такого правила, что умного откровенностью да правдой не оскорбишь.— Тебя, дядя Пчхов, кажный может бросить в соленый кипяток и скушать за милую душу. Нонче, видишь ли, все людишки на два разряда поделились: съедобные и едучие. Так что ухвати себя за волосья и держись в своей норе покрепче, дядя Пчхов! — Николка потому и хохотал, что с некоторой поры стал причислять себя ко второй разновидности.

К лету Заварихин совсем перебрался от дяди на самостоятельную квартиру, что по времени приблизительно совпало с открытием собственной торговлишки. Тот памятный вечер, в отмену всех правил, Заварихин отпраздновал с приятелями в пивной. Угощал он сам, угощал и хмелел, хмелел и подзабывался, а приятели, все трое стреляные, да и побородатее его, дружественно посмеивались на размашистые откровения не пуганного пока увальня.

— Мы теперь сила, можем все,— бубнил Заварихин, широкой ладонью, как моржовым ластом, сдвигая бутылки как бы затем, чтоб просторней стало мыслям.— Вот ничего не имею, а погоди, все приберу. Врешь, уж меня не согнуть тогда, можем и подождать. Как веревочка ни вейся, кончик ей бывает!.. И вот я вас беспристрастно угощаю, чтобы вы поняли, кто он есть таков, Николай Заварихин! — Временами голос его начинал звучать с такой режущей силой, что приятели, затихнув, с опаской поднимали на него глаза, как на восходящее зубатое светило частного рынка. — Мне мамынька сказывала, будто я в мир со сжатыми кулаками пришел, ввалился, хе-хе, а один цыган предсказал, что буду миром владеть... и что ж, эва, готовы мои руки, пожалуйста! Я ведь с жестоковатинкой, потому как имею собственную голову на плечах. Вот посажу валенок у себя в магазее, а сам в баню пойду, и валенок мой страх на вас, чертей, наводить станет, хе-хе-хе...

Приятели только глазели да перемигивались на озорное Николкино хвастовство.

— Гуди, да потише, чертила этакой, а то и нас-то заедино с тобой в железный кузовок положат... — смеялся один, в холеной раздвоенной бороде, Зотей Бухвостов, из всех самый бывалый, покусывая ус. — На воле ты рос, парень, видать, кнута не вкушал, хомута не нашивал...

Всем тогда врезался в память лишь на минутку пугающе значительный, но чуть позже просто смешной облик Заварихина —

как он вознес над столом судорожно скорченные, ровно перед мертвой хваткой, пальцы. Было в нем что-то от дурашливого лесного зверя, что, вложив голову в западню жизни, дивится удобству этого просторного и прохладного помещения, доселе пустовавшего по недосмотру прочих удальцов. Он был просто пьян в тот вечер, хотя и выпил-то сущие пустяки, так что кураж его был не от пива, а скорей от сознанья первой одержанной победы. Человечество представлялось ему теплой и покладистой компанией, где лишь одного его недоставало для всеобщего равновесия, и это бахвальство, естественно, задевало не менее цепких и самолюбивых собутыльников.

Стремясь перещеголять приятеля в житейских удачах, Бухвостов тоже решил похвастаться одним недавним приобретеньем. Речь шла о кобылке шестилетнего возраста, якобы самопервейшей лошадиной красы — гнедые вострые ушки, лыбединая шеечка, ровные копыточки, что твои дамские каблучки. Помянутые стати сопровождались соответственными деловыми достоинствами — собой сухая, на бегу приемистая, до пространства злая: так и рвет его по клочьям да прочь откидывает. У бородача Бухвостова имелось процветающее извозное предприятие, он и сам походил на коня, а расчесанная надвое борода его была яростно-буланого цвета.

— Уж ладно, полно нахваливать-то, нам не венчаться с нею,— зудил его третий приятель Царапов, старше всех и морщинистей, с самыми вороватыми глазами, и толкал в бок за поддержкой четвертого, самого молодого в компании, без фамилии пока и личности.

И так они по конной части разохотились, что тотчас, по предложению Зотея Бухвостова, решили всей оравой отправиться в цирк полюбоваться на лошадок. С шутливой перебранкой покинули они недостаточно увеселительное место и, всей четверкой погрузясь в извозчичью, до земли прогнувшуюся пролетку, поехали на бульвар, где цирк. Милиционеры косо поглядывали на эту неустойчивую пирамиду поющего и возглашающего мяса. Не рассчитывая на особые удовольствия, лишь бы время без скуки провести, приятели сбирались устроиться подешевле, пускай хоть выше галерки, если оттуда видать; выяснилось, однако, что оставались только дорогие ближние ложи. Выступления штрабатистки Вельтон сопровождались неизменным успехом.

Долго колебались — не закатиться ли куда позанятней, но их все подпихивали к кассе, и вдруг оказалось, что билеты уже взяты. Ворча на Заварихина за напрасную растрату основного капитала, приятели шумно ввалились в ложу; представление давно началось. Внизу, на арене, бескостные полуголые люди, между ними женщина средних лет, совершали различные опасные поступки, кроме того производили бесстрашное хождение на проволоке, в доказательство полной своей трезвости, как пошутил Иван Иваныч Царапов. После того как шелудивые собачки с визгом попрыгали сквозь огонь, а пожилой и невеселый шут гороховый с приставными усами сыграл щекотливую полечку на метле, вышли вроде отец с дочкой в жилетках из стеклянного кружева. Они принялись перекидываться тарелками, после чего родитель маленько подержал ее у себя на лбу, пока она швыряла шарики; лошадок все не было. Чтоб не скучать, предусмотрительный Бухвостов предложил распить бутылку бархатного, прихваченную им под полою про запас, как вдруг вся публика поднялась и оживленно двинулась — кто в буфет, кто до ветру.

В антракте коммерсанты тоже подкрепились по маленькой для дальнейшего благорасположения духа... Между прочим, в толчее у Заварихина пропали — военный билет и накладная на ценный товар, но, к счастью, на другой день все отыскалось за оторвавшейся подкладкой, под семечками. Однако из-за суматохи, связанной с поисками, на места приятели вернулись с запозданием. Музыка играла нечто придушенное, как бы наперед оплакивала кого-то, видно для затравки: разка три все кончалось легким флейтовым воплем, после чего повторялось сначала... Вдруг скрипки заюлили вкруг неумолимого, как шаги судьбы, уханья литавров,— из-за раздавшейся униформы выбежала Вельтон. Своим голубым трико и черным развевавшимся на лету плащом она напомнила Заварихину одну красивую, в детстве дразнившую его бабочку, которой так и не удалось ему прихлопнуть ладонью, чтобы дознаться до причины ее приманчивой прелести. На пути к Вельтон луч прожектора скользнул по Заварихину; он сидел, весь подавшись вперед, поглаживая малиновый бархат ложи. Несмотря на волшебную тайну, подобно безвоздушному пространству всегда отделяющую циркового зрителя от артиста, он тотчас узнал ее. Да, совсем недавно он стоял рядом, и она касалась его чуть близоруким, смеющимся взглядом.

Наступившая вслед за тем тишина содержала минуту, переломную в жизни Николая Заварихина.

— Дай-ка афишку почитать, кто такая ловкая девочка... — протянул было руку бородач, но Заварихин лишь стиснул ему запястье и не выпускал. — Пусти же, дубина чертова, кость сломаешь! — рычал и изгибался тот, царапая бородой Николкино ухо.

Лишь когда артистка поднялась в купол и сбросила черные, вкось порхнувшие крылышки, а веревочная лестница сама упала на арену, отрезая путь к отступленью, Заварихин дал пощаду приятелю. Проступившие было в памяти подробности давней встречи и связанное с нею до сих пор не рассеявшееся чувство неприязни к Векшину стали блекнуть, уступая место незнакомой скованности и, пожалуй, тревоге за совсем чужого человека. Заварихин огляделся, никто кругом не делал и попытки остановить то, что неминуемо должно было свершиться через минуту, — напротив, все с явным нетерпением посматривали на шелковую петлю, что игриво покачивалась, видать по мере приближения теплой девичьей шейки. Единственно чтоб избавиться скорее от стеснявшего его наважденья, Заварихин торопил, гнал глазами вверх это бесконечно слабое существо, отныне приобретавшее странную власть над его свободой и мыслями, если не деньгами. Никто впоследствии, — даже памятливые на несчастные случайности цирковые ветераны, — ни один не сумел отыскать в прошлом что-нибудь подобное заварихинской выходке. То ли жестокий восторг зрителя, который невольно всегда ожидает несчастного конца, или же охватившая Заварихина внезапная, из-за утраты себя, пустота, в которой не на что было опереться, толкнули его на безумный поступок. В самую крайнюю минуту он рванулся с места и выкрикнул слово, столь возмутительное в той обстановке, что на галерке осталось сомнение, не ослышались ли.

Когда служители и добровольцы из публики, в двадцать рук и уже одного, выводили Заварихина, — протрезвевшие приятели исчезли в самом начале скандала, — он двигался как пьяный, не проявляя признаков ни сопротивленья, ни раскаянья. При составлении протокола Заварихин все искал глазами пострадавшую и сам вроде порывался бежать к ней; во всяком случае, на вопросы стал он связно отвечать лишь после сообщенья, что, вопреки опасениям, все обошлось хорошо. К тому времени в директорский кабинет до отказа набились

освободившиеся, еще в полугриме, циркачи и те из зрителей, которые желали своим свидетельством ускорить возмездие злодею. На голову выше всех, преступник стоял у стены и, ко всеобщему негодованию, не озирался затравленно, как ему полагалось бы, а блаженно улыбался своему ознобляющему ощущению чуда, вплотную прошедшего мимо.

Не глядя в бумагу, Заварихин кое-как подписал милицейский протокол. Там беспристрастно говорилось, что «во время опасного номера штрабат, состоящего в кидании с петлею на шее со значительной высоты цирка, то находившийся в подпитии гражданин Заварихин, владеющий галантерейным ларьком на Благушинском рынке, с невыясненной целью выкрикнул слово разбейся, каковое могло иметь смертельные последствия для артистки Геллы Вельтон»,— в скобках было проставлено подлинное Танино имя... И примечательно, никто из собравшихся, тем более сам Заварихин, не обратил внимания на бритого, в опрятной черной шапочке старичка, который все это время кипятился больше всех, то и дело наскакивая на виновного, хватал за руки, пытался трясти его — не более успешно, чем это удается прибойной волне в отношении ненавистной скалы.

— Ти знайт, что совершаль? — коверканными словами кричал он, плача от пережитого. — Ми бедни артист, ти гадки купец. Ти платиль рубль, хотел покупайт смерть? Ermordung...[1] — и под конец разразился такой гневной и быстрой немецкой скороговоркой, что, оторвавшись от бумаги, милиционер с интересом посмотрел ему в рот.

— Ладно, хватит... — неожиданно поднял голос Заварихин, лишь теперь ощутив буквально с ног его валившую усталость от окружающего шума, хмеля, от самого себя, наконец. — Берите, сколько с меня следует... за все приключенье чохом! Все забирайте... — и привычно полез было за деньгами, вызвав тем самым дополнительную бурю гнева, кстати так им никогда и не осознанного.

...Звезды заволакивались тучками, а в благушинских курятниках пели вторые петухи, когда Заварихин постучался к дядьке в дверь. Пока просыпался старый Пчхов, племянник отошел на средину двора и, широко расставив ноги, глядел в небо. «Разбейся...» — повторил он вдруг голосом вопросительным и глухим, пытаясь осмыслить свой поступок. «Осво-

[1] Убийство *(нем.)*.

боди от своих пут мою силу, не дай мне сгореть от тебя...» — приблизительно такое значение вкладывал в его хулиганскую выходку Фирсов, по привычке стремившийся приукрасить своих сомнительных героев, да еще осмелился приписать благушинскому торгашу какое-то подсознательное моление о великой боли, без которой якобы ему никогда не стать достойным ее... А повторив слово, Заварихин растерянно прислушивался к отголоскам эха в себе: что-то происходило там сильней его, чему он отчаянно сопротивлялся. Под ноги ему метнулась было шавка с соседнего двора, даже тявкнула разок для острастки ночного человека, стоявшего со сжатыми кулаками, и, струсив, отбежала прочь.

Впустив племянника, Пчхов задержался во дворе, залюбовавшись свежестью рассвета. Когда же он вернулся, Николка уже храпел, бесследно со всеми своими восторгами и бедами растворясь во сне, как кусок сахару в бездонном и тихом омуте.

VIII

С головой завязнув в путаных векшинских обстоятельствах, Фирсов прозевал зарождение Танина романа с Николкой Заварихиным, к тому же казавшегося ему вначале просто невероятным из-за несходства их занятий и разности характеров. Однажды двинувшись в рост, взятая тема развивалась равномерно во всех своих частях, так что сочинителю пришлось догадываться впоследствии, как же произошло первое сближение героев. В повести знакомство их происходило при довольно обедненных обстоятельствах, потому что автор строил этот важнейший эпизод на несоизмеримо меньшем количестве образующих координат, чем строит жизнь, для которой самое мелкое событие — полновесный кристалл с участием всех наличных элементов мира.

По Фирсову, Заварихин несколько раз на приличном расстоянии издали провожал Таню по окончании циркового представленья, пока та не порешилась справиться у него о причинах столь лестного, не назойливого и потому несколько разочаровывающего постоянства; примечательно, что, так же как и он ее, она узнала Заварихина сразу, после единственной мимолетной встречи. И якобы герой отвесил героине какой-то несуразный комплимент, выражавший меру его восхищенья,

а та засмеялась польщенно и взволнованно, потому что в таком роде еще не случалось с нею даже и простенького приключенья... Одно было несомненно в фирсовском варианте: оба настолько — и каждый по-своему — были подготовлены ко всему дальнейшему, что это помогло им незаметно миновать томительные условности начальных отношений.

На деле же Таня просто зашла к Пчхову посоветоваться о будущем брата, как раз когда Заварихин в поту мужского неуменья пришивал к рубахе оторванные при стирке пуговицы. Слепительное солнце сверкало в апрельских лужах, а девушка после долгой и быстрой ходьбы выглядела осколком того полдня; отсутствие хозяина также содействовало успеху их первого неловкого общенья. Лишь бы заполнить чем-нибудь время ожиданья, Заварихин придумал угощать гостью чаем; накачав бензинку до взрывного предела, он принялся мыть посуду и от усердия раздавил стакан, отчего струйка воды и раковина окрасились кровью. Пока Таня искала, чем завязать палец, Заварихин успел перетянуть его подвернувшейся бечевкой, даже приложил к порезу паутинки из угла — и то ради успокоения своей дамы.

Все способствовало их сближению — и ее стеснительная, но лестная тревога по поводу возможного зараженья крови, и его высокомерное, от преизбытка сил, пренебреженье к собственному здоровью.

— О, все это сущие пустяки!.. давно ли они к нам в деревню, докторя-то ваши, прибыли? У русского народа от веку бабки были да знахари, а гляньте, какого росточку вымахал!.. У Европы-то перед нами шапка наземь валится, мелкие мурашечки бегут.

Заварихину просто повезло на том крохотном несчастье; при их одинаковой любовной неумелости им пришлось бы долго искать предлога для тех желанных и тайных соприкосновений, какими сопровождается взаимное узнаванье. Самое чаепитие напоминало кукольные забавы детства, когда любая нехватка или неудобство лишь умножает удовольствие — и тесный, застеленный ветхой клеенкой стол, и щербатая пчховская сахарница с последним куском на двоих, и прежде всего полная уединенность от мира. Таня была чуть старше Заварихина... но ему именно и нравилось, как она избегала глядеть на него из боязни выдать едва приметные пока птичьи лапки под глазами, а заодно тревожный, помимо воли, блеск надежды в них... К концу встречи у Пчхова они стали скорей

сообщниками по шалостям, чем друзьями, но уже настолько обозначалось обоюдное влеченье, что Фирсову оставалось лишь догонять события. Подоспевший к средине третьей встречи автор одобрил начатый самою жизнью вариант и серией не слишком тонких хитростей постарался подхлестнуть наметившийся ход вещей. Внушив Заварихину стыд за скверную выходку в цирке, он надоумил его снести артистке цветы в знак раскаянья, чтобы, кстати, смягчить озлобление, пока еще не ревность, Пугля... В беседе наедине, причем никогда еще не попадалось столько речевых находок в невод его записной книжки за один улов, Фирсов сумел дополнительно покорить Заварихина преувеличениями мировой Таниной известности. Сильного тянет к сильным,— Заварихин дарил своей привязанностью лишь отмеченных благоволением удачи и как огня бежал всего разорявшего душу жалостью... Что касается Тани, ее не приходилось толкать к Заварихину навстречу; только Фирсову да отчасти Пуглю было известно тогдашнее, настолько ужасное, при неомраченной улыбке, душевное состояние Тани, что сама она спасение свое увидела в размашистой, неразмышляющей заварихинской силе, способной защитить ее от некоторых, все чаще проявлявшихся страхов.

Всегда готовый к превратностям судьбы, Заварихин обзаводился вещами лишь особой прочности, в чем видел наивысшую красоту. В числе ценнейших покупок того месяца оказался непромокаемый, с капюшоном, весьма пригодившийся в его позднейших сибирских злоключеньях плащ из той надежной ткани, что употребляется на чехлы для пушек да на пожарные рукава. Его-то и обновил Заварихин для своего визита к звезде отечественного цирка, с букетиком весенних цветов — по наущенью Фирсова; чтоб не ронять деловой репутации в глазах приятелей, если бы попались на пути, он спрятал до поры свое хрупкое подношение в просторном и жестком коробе кармана... Заварихин отправился к Тане в ближайшее воскресенье, совпавшее со старинным праздником русских, упорно державшимся в советском календаре. Торжественная и пустынная тишина стояла в городе, и если мастер Пчхов двигался в тот день медленно, словно вслушивался в не затихший для него колокольный благовест, смиренно размышляя о так и не достигнутом никогда, то племянник его, напротив, шагал саженным махом, и буквально все кругом: полураспустившаяся на деревьях молодая листва, обжигающий по-

свист майского ветра, верный признак погожего денька,— все сулило ему исполнение самых необузданных желаний.

Едва открылась входная дверь, Заварихин легонечко, чтоб не причинить повреждения престарелому организму, поотстранил перепуганного Пугля, шагнул в прихожую и, в свою очередь почтительно оробев, замер с картузом в руке. За порогом открывалось обширное, хоть картины либо вывески писать, залитое светом помещение,— звезда цирка стояла посреди него, шагах в десяти от вошедшего, сплетя ладони на откинутом назад затылке и как будто на пределе если не полного, по причине Пугля, одиночества, то неодолимой печали и, показалось Заварихину, в черном вся, несмотря на вдвойне светлое утро. В действительности из темного имелся на Тане — лишь коричневый пуховый платок на плечах, так что обманчивое впечатление отчаянья складывалось из какого-то застарелого утомления в ее лице да силуэтности ее фигурки на фоне огромного мансардного окна со зрелищем синих, поминутно возникающих в облачном небе и тотчас пропадающих промоин. По всему было похоже, что Таня стояла так уже бесконечно долго, прищурясь и покачиваясь подобно маятнику, между тем как буквально все остановилось вокруг нее, и, кабы не Заварихин, простояла бы вдвое дольше — в потоке вторгавшегося через окно зеленоватого рассеянного света, в напрасном ожидании чуда, которое в ее возрасте просто могло и не произойти.

Она близоруко обернулась на заварихинское прикашливанье, и так разительна была в ней перемена, что ему почудилось, будто враз оделась в нарядное подвенечное платье.

— Это известный скандалист Николай Заварихин, непрошеный на куличи приперся... — назвался он с запинкой понятной неловкости и вдыхая вкусный чад подгоревшего теста с какой-то особо завлекательной начинкой. — Но ежели не вовремя, так вы со мною не стесняйтесь... опять же я вам тут в сенцах наследил!

— Сыро еще на улице? — не узнавая своего голоса, все равно о чем спросила Таня.

— Имеется кое-где, но через часок-другой всюду пообсушит... А то пальчиком шевельните, вмиг назад смотаюсь.

Чуть скосив глаза, словно не доверяя, Таня вглядывалась в Заварихина как в судьбу и, кажется, об одном лишь умоляла: быть помилостивей.

— Наоборот, я ужасно рада вам, Николай... Заварихин,— раздельно назвала она его, приучая себя к его имени, и, помолодевшая, улыбнулась тайной надежде, и тотчас же качнулся другой незримый маятник событий — словно после долгого оцепенения стронулись ходики на стене. — А мы тут с Пуглем гадали, чем бы нам заняться... и как же вы нам, гость счастливый, помогли! Теперь ясно, будем обедать с вами, присаживайтесь к столу. Пугль, отнеси, поставь куда-нибудь его ужасный брезент и кстати попроси лишнюю тарелку у хозяйки... если она, хоть по случаю праздника, в сносном настроении!

Заодно Таня предупредила Заварихина, чтобы на кулич с пасхой не рассчитывал: это с хозяйской кухни исходила ароматная тестяная гарь. Ведь она, Таня, со стариком существовала налегке, в постоянном состоянии проезда из одного цирка в другой, и обеды брали из ближайшей столовой. С убедительной искренностью Заварихин отказался наотрез: он уже пообедал — по-крестьянски, в полдень, «чтобы больше дня оставалось впереди!». Да и отправлялся он сюда не рассиживаться взаперти, а захватить с собою звезду цирка, да и закатиться куда-нибудь до вечеришка!

Неизвестно, что происходило здесь за минуту до заварихинского вторженья, видно что-то мучительное, запущенное, садное — судя по тому, с какой нескрываемой благодарностью потянулась к нему Таня, лишь бы не раздумал невзначай.

— Хорошо... только не зовите меня звездой цирка, ладно? Не люблю... и боюсь. Но куда, куда?

— А куда глянется, слава те, вольные пока!.. Вы кушайте, а я огляжусь, на картинки ваши полюбуюсь,— и со вздохом притворной зависти обвел глазами развешанные по стенам афиши. — Все про вас?

— Все про меня... — горько улыбнулась Таня.

— Славы-то, захлебнешься!

Она скользнула по нему умоляющим затуманенным взором.

— Не завидуйте: слава высокая гора, выше — страшней. Ладно, посидите... мы с Пуглем быстро обедаем!

И тогда-то черт толкнул Заварихина напомнить артистке про неминучую всюду шелковую петельку на афишах, местами вплетенную даже в орнамент.

— И уж не серчайте за ту мою выходку,— стал он объяснять. — Потому и крикнул, что оземь разбиться — все легче, чем захлестнуться петлей...

Он все равно не понял бы никогда, почему такими испуганными глазами уставился на него старик, почему до конца обеда сама Таня не отзывалась на вопрос и шутку, только туже куталась в платок, так что заострялись плечи; впрочем, Заварихин тоже поеживался, когда ветер с налету сочился сквозь кирпичную кладку, заставляя дребезжать оконное стекло.

За то время, пока в торопливом молчании проходил обед, Заварихин огляделся. Пара тощих подушек, а главное — соседство столика с уймой флаконов и безделушек неизвестного Заварихину назначения указывали, что узкий, под клетчатым дорожным пледом диванчик и служил артистке постелью; угадать же, куда пристраивался на ночь старик, Заварихину не удалось — сидя, что ли, спал, в неглубокой нише за легкой занавеской, где сейчас, судя по знакомому зловонию, пряталась керосинка. Кроме перечисленной мелочи, цирковым постояльцам принадлежала здесь только скрытая под пыльной кружевной накидкой стопка чемоданов в углу, с зеркальцем на самом верхнем. На всем лежал отпечаток походной, если не нищенской жизни, кроме неожиданной здесь кучки невыразимо ярких, поверх пледа, точеных детских игрушек; полусоскользнувшие со штыря цветные кольца распространяли дразнящий запах дерева. Однако нигде не видать было ни колыбельки, ни стираных тряпиц на бечевке, чем доказывалось наличие либо второй подсобной каморочки позади, либо обычной женской предусмотрительности на случай посещения неженатого пока мужчины.

— Я тут следила за вами украдкой, как вы приглядывались ко всему... словно на обыске, право! — собирая грязную посуду после обеда, сказала Таня. — Ну-ка, признавайтесь, что́ вы успели высмотреть у нас?

Ему пришлась по душе такая прямота, с места помогавшая выяснить характер их будущих отношений.

— Как вам сказать... чистенько живете, в аккуратности. Извиняюсь, комнатка эта одна у вас или запасная имеется?

— Нет, вся я тут,— призналась Таня таким тоном, словно извинялась. — А что?.. вы к чему это спросили?

— Временность во всем чувствуется, как-то корешков жизни не заметно... — пожал он плечами. — У лесной птахи и то барахлишка в гнезде больше наберется!

— Да ведь мы циркачи,— простодушно улыбнулась Таня,— мы и есть птицы... не оседлые даже, а пролетные. Заслышим где — в барабан бухают, в трензеля бьют, туда и ле-

тим, на огонь. Мы с Пуглем уединенно живем... кроме брата Дмитрия, нет у меня в целом свете никого!

Заварихин выслушал ее с видом вежливого недоверия, с каким рассматривают сомнительного качества товар; в его привычках было даже при очевидных достоинствах интересоваться товаром с изнанки.

— Оно ведь и выгодней: чем меньше родни, тем расходу меньше,— с готовностью подхватил Заварихин. — Дитеночек ваш, промежду прочим, с нянечкой гуляет в данный момент... али в глухой провинции где, у тети, содержится? — и даже подался чуть назад, чтоб не повредить дела неосторожным расспросом. — А то ведь хлопотливо с ребятами, по материнству, в разъездах-то... Один пока у вас или, для равновесия, парочка?

Таня вспыхнула до корней волос, едва разгадала подоплеку Николкиной любознательности. Нет, ей еще не приходилось бывать замужем... все как-то некогда было из-за вечных разъездов по стране подумать всерьез о коренном переустройстве жизни.

— Ах, вот почему вы спросили... — догадалась она, проследив Николкин взгляд, и рассмеялась так заразительно, как никогда не сумеет ложь. — Обожаю детские игрушки... Николай Заварихин! — И теперь это имя в ее устах прозвучало как пароль жизни. — Ни сластей, ни нарядов, ничего мне не надо, вот только яркие игрушки страсть моя...

— Видать, с детства не балованы игрушечками? — проницательно догадался Заварихин.

— Конечно... и по этой причине также,— уклончиво согласилась та.

За полчаса, проведенные на квартире у Тани, Заварихин неоднократно задерживал взгляд на ней, не в силах разгадать причину странного, не покидавшего его беспокойства. Дразнило какое-то существенное несходство между этой необъяснимо усталой, до застенчивости скромной девушкой, то и дело принимавшейся без необходимости оправлять скатерть на столе, и той, голубой, крылатой, на трапеции под куполом цирка, победительницей смерти — почти фортуной, наделяющей успехом всякого, кто раньше прочих запасется ее благоволеньем. По счастью, до самой их разлуки он так и не разгадал существа этой подмены... Но какая-то бессознательная жалость все время толкала Заварихина поскорее умчать ее отсюда, подальше от этого дохлого старичка в ермолке, распространявшего вокруг себя невыносимую чистоту и скуку,

от злой хозяйки, керосинового смрада, ото всего, что и его самого больше получаса повергало в тоску и раздраженье.

— Вот я и готова, Николай Заварихин... Так куда же мы теперь?

— За городом сейчас всего привольней,—с облегченьем покидая тоненький шаткий стульчик, сказал Заварихин. — Самая пора... воздух звенит, дерева ровно потягиваются спросонок, а вода так и вовсе шальная, нигде себе покоя не сыщет... Айда?

Он и произнес-то всего две-три фразы в описанье загородной природы, но столько грубоватой заманчивой прелести, душевного здоровья раскрылось Тане в его тугой и емкой крестьянской речи, что она одобрила заварихинский план без колебаний. И словно с ее согласия на эту прогулку начиналось исцеление от чего-то, она рванулась одеваться, пока не отменили ее надежды, и все падало у ней из рук, а старик виноватыми глазами покорно следил за ему одному понятной суматохой своей воспитанницы. Через минуту Таня оказалась в нарядном, на синей пушистой подкладке, плаще и в очень молодившей ее, из-за голубого вуалевого облачка, крохотной шляпке; ее вид заметно польстил Николкину самолюбию. Пугль молча проводил их до лестничной площадки; сейчас он был в зеленом коротком фартуке и с пуховой метелочкой в руке, не имевшей другого смысла, кроме того, что как-то оправдывала его существование в мире.

— Один момент, молодой шеловек,— задержал он Заварихина за рукав, пока Таня стремительно спускалась вниз. — Сохраняйт Тания, пожалуйста. Она такой крупки внутри, легко сломать. Я очень много лет стар, но я больше крепки...

У Заварихина нашлось терпенья дослушать его до конца.

— Ничего, не кручинься, папаш. Все будет в аккурате... ай мы звери какие, не разумеем? Ну-ка, держи пока, на табачок! Бери, в следующий раз кофейком Заварихина попоишь... — Наугад зачерпнув из кармана несколько монеток покрупней, он сунул их в Пуглеву ладонь и посжал ее, чтоб не выкатились наружу.

Давно постихли гулкие шорохи в лестничном колодце, а старик все держал в распрямленной ладони, все разглядывал чаевые за услуги, на которые истратил полжизни. Постепенно бессильная старческая ярость в его лице сменялась выраженьем сперва просто негодования, потом раздумья и, наконец, мудрого смиренья перед естественным ходом вещей. Он был готов и не на такие жертвы для Геллы Вельтон.

— Груби русски мужик, да... — рассудил он непреклонно и вслух,— абер мы с Тания сделаем из этот чучель больше шеловек!

Почти беззубый рот Пугля искажал слова сильнее, чем его нерусское происхождение.

IX

Грохоча подковками сапог по ступенькам, Заварихин пустился вдогонку за Таней, которая давно ждала уже у подъезда, придерживая шляпку от ветра, вплотную облеплявшего одеждой ее фигурку.

— Держитесь за стенку, а то унесет вас... Заварихин Николай! — крикнула ему издали Таня и как-то вопросительно вслушивалась в звуки его имени. — Ветрено-то как в мире, чудесно...

— Это в наших краях вольготно, вот где хорошо сейчас,— в голос откликнулся Николка, захлебнувшись воздухом. — А ветру столько у нас, что бабы его руками ровно реку разгребают, чтоб к колодцу пройти. Бывало, гармонь в соседней волости заиграет, а ветер как почнет ее в клочья рвать... все и балует с ней, с песней-то, и балует, ровно котенок. А в котенке-то верста с гаком, вон как у нас!

— И вы тоже, верно, на гармони играете?

— На селе когда-то приходилося... со всеми шалостями распростился теперь... Негде тут, да вроде и за разум браться пора. — Он огляделся, прикидывая в голове план праздничной прогулки. — Имеется у меня закадычный приятель поблизости, шурин не шурин, а вроде по будущему острогу кум!.. — пророчески сболтнул Заварихин, почти касаясь губами ее уха, потому что грохочущий по крышам воздух заглушал человеческую речь. — Махнем-ка к нему для начала!

— Зачем? — остереглась она его порыва.

— Положитесь, звезда цирка Гела, полностью на торгаша Николку Заварихина!

И такое обещание чудес читалось в его властном взоре, что Таня безоговорочно отдалась на его волю.

Они отправились в путь, взявшись за руки и раскачивая ими на ходу, как под песню. Полдороги Николка озабоченно молчал, то ли заранее сожалея об ускользающей холостяцкой свободе, то ли из неуверенности, захватит ли Зотея Бухвосто-

ва дома. Нужно было пересечь пустынную по-праздничному площадь и в конце одной совсем безлюдной улицы, сразу после древней пожарной каланчи, свернуть в тупик налево. Извозное заведение приятеля помещалось в глубине немощеного двора, засаженного по краям хилыми обглоданными топольками. Наказав Тане обождать его не долее полутора минуток, Заварихин всыпал ей в ладонь горстку семечек и, вбежав в сбитые колесами каменные ворота, немедленно, как сквозь стену, исчез в хозяйском флигельке; судя по обстановке двора, там и прежде, в тех же приземистых, полукругом расставленных строеньицах, размещалась конюшня какого-нибудь замоскворецкого богатея... За минуткой потянулось несчитанное время, и, чтоб согреться, Таня принялась ходить по улице вдоль деревянных, по брови вросших в землю домишек, шагов сорок от ворот до забора, за которым красовалась стародавняя каланча. Здесь так и пронизывало уличным сквозняком, прошлогодний сор летел в глаза, праздничное настроенье у Тани стало иссякать быстрей, чем заварихинские семечки. Вдобавок из-за тюлевой занавески в нижнем, на уровне земли окошке напротив появился лысый мужчина в подтяжках; сперва он только ковырял в зубах, разглядывал гуляющую, вернее — ее поминутно обнажаемые ветром коленки, причем, чтоб видеть больше, голову набочок подгибал слегка, после чего стал манить скрюченным перстом и показывать бутылку с явным приглашением разделить компанию. Тогда Таня вошла во двор, обогнула флигелек и, посдвинув на скамейке хомут с воткнутым шилом, пристроилась на заднем крыльце. Постепенно все ее существо стало проникаться целебным спокойствием окраины. Впереди простирался пустырь со сложенными без навеса штабелями грузовых саней в одном краю, весь другой край двора занимала огромная, полная вешней синевы лужа, то и дело рябившаяся от ветра. Никто не окликал Таню, не глядел на нее, а солнце пригревало ноги, а вокруг домовито пахло дальней дорогой и конем от груды навоза, дымившегося на припеке. Таня безропотно просидела бы здесь хоть до вечера, лишь бы поминутно не встречаться с жалобными, сочувственными глазами Пугля.

Через открытую форточку ее слуха достигал то надрывный плач младенца, то какие-то кухонные звуки, вплетавшиеся в неразборчивую людскую речь; Таня стала прислушиваться от безделья. Незнакомый, осипший по случаю усиленного

разговенья голос убеждал кого-то в могуществе взятки на святой Руси, а в доказательство приводил случай с собственным якобы шурином, как тот однажды на Каме в рассуждении страховой премии стукнул по ночному времени о крутой бережок баржонку с хлебом и с помощью взятки легко избавился от грозившего воздаянья.

— Ладно, Зотей Василич, ты мне после расскажешь: некогда мне, да и неловко, ждут меня! — пробулькал точно в бочку заварихинский как будто голос, искаженный форточкой и посторонним шумом. — И не подливай, хватит с меня...

— Уж будто со стакана захмелел! — усмехался первый, прерываемый икотой. — Ты меня послушай, друг мой Коля, поелику я тебе раскрываюсь для науки и примеру... Вызывают моего лоцмана в судовую инспекцию: «Ах ты, собака тебя дери, откуда такое получилося, что исправное судно ко дну пустил?» — «Так и так, отвечает, раскат получился по водной поверхности, маленько не уследил!» А сам заготовленную сотенную, какая поновей, зажимает в кулаке...

— Ладно, хватит, потом доскажешь,— совсем решительно на этот раз оборвал второй, и теперь Таня безошибочно распознала Николкин басок. — Тут сочинитель один, лодырь, по Благуше шатается, для него побереги свою побаску, а мне ни к чему. Мне, брат, вот что, мне хорошую лошадку на денек нужно.

— О, под какой такой товар, Коля?.. в светлое Христово воскресенье возить удумал.

— То не товар, Зотей Василич, а желательно девочке одной богатое удовольствие доставить... чтоб век помнила. Одолжька ты мне, борода, ту хваленую твою, новокупленную!

— Ах-ах,— застонал тот,— так она ж у меня раскованная стоит... да и не масленая вроде неделя нонче, кататься-то!

— А ты, Зотей, от наставлений воздержись, ценная твоя бородка сохранней будет... — в не слишком примирительном тоне отвечал Заварихин, и Таня впервые услышала, какие хрусткие камешки могут пересыпаться в обыкновенной человеческой речи. — Подымайся, запрягать пойдем... а то застынет там на юру моя краля!

— Дак ведь загонишь спьяну, дьявол... А что сделаешь, если не дам я тебе моего конька? — заюлил, засуетился Бухвостов, и тут Заварихин с сердцем ответил что-то, чего Таня не расслышала. — А ты не серчай на старшого, милый Коля, больно сердитый стал...

— Несердитые-то нонче давно уж в братских ямах покоятся,— жестко сказал тот, и опять конца фразы Таня недослышала.

Голоса временно пропали и появились снова, лишь когда смирившийся хозяин направлялся со своим гостем к конюшням в обход флигелька.

— ...так бы сразу и подсказал, что козырнуть перед барышней желаешь,— услужливо, забегая сбоку, сыпал мужчина с рыжей, шибко всклокоченной на этот раз бородищей, а Заварихин шагал чуть впереди его, не удостаивая ответом. — Нешто мы не понимаем: любовь не жилец, с квартиры не сгонишь. К темноте-то, по крайней мере, воротишься?

— Полно вилять, Зотей, надоел. Сказано, мне на ней не песок возить... Выводи!

Вскоре двухместная, на неслышных колесах беговая качалка появилась из сарая, а следом за ней, из отдельного стойла словно вынырнула на свет и самая кобылка. В злом молчании, то и дело одергивая ее, танцевавшую в оглоблях, и самого себя бередя бессильной ревностью, Бухвостов принялся запрягать свою гнедую красавицу. Таня, пока подходила к ним, имела время по достоинству оценить стройное и гордое животное, все стати которого издали даже непосвященному бросались в глаза; не чета своим закормленным и, ради осанки, затянутым в ремешки цирковым сестрам, эта обладала и диким, неукрощенным норовом. Легчайшая рябь пробегала от ветра по ее атласистой коже, как по сбежистой воде, и тогда видна становилась отборная игра каждой жилки, каждой мышцы в отдельности... Отстранив владельца концом невесть когда сломленного тополевого побега, Заварихин потемневшими глазами пригласил Таню рядом с собой... и вдруг на мгновенье ей стало бесконечно жутко этой жестокой ласковости в послушном и в то же время повелительном заварихинском взоре, так страшно, что непременно убежала бы в другое время, но теперь все равно, что бы ни ждало ее в будущем — дома наедине с Пуглем и собственными мыслями было еще тошней.

— Не запали, Николай Егорыч... — еле слышно на прощанье, едва ли не со слезой ненависти взмолился Бухвостов к неумолимому дружку. — Не загуби... не обезножь, главное! — Он имел в виду то нередкое при неопытном ездоке ранение, когда на крутом повороте лошадь сама засекает себе копытом венчик или плюсну на ноге. — Брось прутище-то, пошто лошадь портить...

— Поберегись... — обронил сквозь зубы Заварихин и, колыхнув Таню на ухабе, одним шевеленьем вожжи повел запряжку со двора.

Экипаж вторично подпрыгнул на выбоине в воротах, лужа под колесом раздалась по сторонам, потом Заварихин вполудара щекотнул лошадь кончиком хворостины, чтоб знала тварь, кого и куда везет, легонько коснулся чувствительного места на бочку, и та дрогнула, даже замерла на мгновенье, однако не опрокинула, не понесла, словно уже понимала, что ездок во хмелю и беспощаден сейчас ко всему на свете, в первую очередь к самому себе. В два маха она вынесла бухвостовскую качалку из переулка на широкий простор праздничного затишья. Похоже было, что никаких других звуков в целом городе и не было, кроме звучного цоканья копыт да мягкого шелеста резиновых шин. Таня несмело прижалась к ледяному Николкину брезенту, и вот всю ее охватило то блаженное безразличие, с которого по ее многолетним догадкам и начинается истинное счастье.

Никогда еще ей не доводилось ездить, вернее — так близко быть вдвоем с мужчиной, все время чувствовать сбоку его угловатый, неудобный локоть, причем на виду у появлявшихся по сторонам прохожих, чем странно удваивалась степень удовольствия, и потому с какой-то особо сытной остротой ощущала и встречный жгучий ветер прямо в лицо, и благословенно-загадочную неизвестность впереди, а прежде всего этот непреклонный бег красивой лошадки, которая с такой легкостью, играючи, чуть враскидку и, главное, без всяких усилий ставя копыто, несла ее, Таню, прямиком к ее судьбе.

— За что же он так боится вас, этот тяжелый, рыжий и неприятный человек? — внезапно спросила Таня, потому что хотела проникнуть в мысли сидевшего рядом с нею.

— Зотей-то Василич? Да ведь как сказать... люди тех боле всего боятся, кто сам себя в жизни не щадит,— отвечал Заварихин, искусно играя вожжами, досиня перепоясавшими руку. — Опять же грешок не один за ним имеется. Промеж нами сказать, человека царской злобе выдал, а тот возьми да и опознай его в гражданку. Ну, по военному времени без волокиты: к стенке станови-ись! И до чего живуч Зотей: уж землицей присыпан в канавке бездыханно лежал, да ожил, сукин сын: ума не приложу, каким манером оттуда выпростался. С нехотью лошадку доверил... и впрямь любительская! Это славное приспособление — лошадь, с давнего детства страсть моя!

Они выехали на просторную, старинным булыжником мощенную площадь, тоже почти совсем пустую, даже без положенного милиционера посреди.

— У меня брат родной тоже... коней обожает,— тихо сказала Таня для установления дружбы и взаимного доверия и покраснела.

— Чего, чего он обожает? — из-за ветра не понял Заварихин.

— Я сказала, брат мой в кавалерии служил... — невпопад повторила Таня, прикрывая рот ладонью. — Да ведь вы, помнится, встречались с ним?

— Точно... — сдержанно усмехнулся Заварихин,— случилося промеж нас маненько. Ничего, ножовые-то встречи небесполезные: в них зато всего человека видать.

— Не понимаю,— чему-то содрогнулась и слегка отодвинулась Таня.

— А потому, что в них вся людская повадка наскрозь видна. В мальчишестве, бывало, только на кулашнике и подберешь себе приятеля... и ведь ни разу не ошибался!

Лошадь пошла шагом, предоставленная самой себе. Заварихин стал рассказывать былые картинки из жизни прежней, северных областей, деревни, которые с младенческой поры навечно врисовались ему в память: о необузданных гульбах на последний грош или о безропотном трудовом подвиге на сплаве, лесосеке, пашне. По существу, ранние Николкины воспоминанья вовсе не выглядели так раздольно и заманчиво, как ему хотелось, но он испытывал странную потребность разукрасить в глазах этой женщины мнимые прелести крестьянского быта. Каждое мгновенье он по-мужски ощущал на себе Танин косой, изучающий взор, будивший в нем вспышки бессознательной удали... для того лишь будивший, чтобы немедленно сковать столь же незнакомой ему робостью подчинения. Надо полагать, сопротивление своему неминуемому плену и выразилось у Заварихина в поступке, который при других обстоятельствах у него самого вызвал бы жестокое осуждение.

Увлеченная не столько заварихинским рассказом, скорее — заразительным трепетом его волненья, Таня и не заметила, как подвернулся ему случай для дурного молодечества. В общем, Заварихин обошелся со своей жертвой всего лишь в стиле, какого по его понятиям — входящего в силу крестьянского парня, и заслуживал всякий осколок отжитого дня и режима... но в сжавшемся Танином сердце те же самые при-

меты слились в ощущенье вопиющего о жалости беззащитного убожества — и рваное, латанное цветным лоскутом плечо извозчичьего кафтана, и перекошенная на одно крыло пролетка с потрескавшимся лаком кожаного верха, а пуще всего — выношенный под седелкою ворс на спине самой несусветной клячи, какую только могло представить Танино воображение... Словом, заварихинская игрушка оказалась извозчиком почти Пуглева возраста, и, на беду его, на всем протяжении той безумной и неравной скачки не попалось ни одной пролетки с товарищем на козлах, чтоб помог старику расквитаться с обидчиком. С виду, впрочем, был он не очень дряхлый, еще держался за привычное ремесло, наверно кормился со старухою нищим доходом от своего меринка, выплачивал окладную подать наравне с прочими нэпманами и на стоянку по утрам выезжал с надеждой, что авось разгулявшаяся волна моря житейского не затронет его, помилует, любовно охлестнет сторонкой. А на деле вместе со своим почтенным конем давно уж сошел он на ту крайнюю ступеньку возраста и общественного нерасположения, когда можно простым щелчком начисто вышибить человека из жизни.

Оба они, хозяин и его понурый кормилец, смиренно дремали в ожидании седока, когда, поравнявшись, Николка в приступе необъяснимого и бешеного вдохновенья наотмашь хлестанул кормильца кнутом — не шибче, оправдывался он потом перед Таней, чем крестьянские ребятки стегают кубарик на полу. Однако нападение было столь неожиданно, что бедный одер вскинулся весь, поддал задом, пытаясь отбрыкнуться, а владелец его чуть не повалился с козел, и все вместе получилось так комично, что, несмотря на жалость и естественное возмущение, Таня не смогла сдержать невольной усмешки, которую Заварихин не замедлил принять за одобрение придуманной забавы.

— Пора на сапоги сдавать твою животину, отец... — придерживая ход, обронил сквозь зубы Заварихин и еще разок чирканул кнутом вполсилы. — Всяку падаль да еще в светлый праздник на улицу тащут... совести нет у людей!

И такое, горше смерти, унизительное небреженье прозвучало в заварихинском тоне, что простить его не смогло бы теперь ни одно живое существо на свете... Тотчас старик пришел в мелкое суматошливое движение, зачмокал, задергал своего мерина, который, показалось Тане, даже оглянулся с укоризной на хозяина... и вот, привстав на козлах с ответной

руганью, уж мчался вдогонку за оскорбителем. Весь запас его непритязательной брани был явно недостаточен для такой обиды, да и тот быстро иссякал при столь нерасчетливой трате, от повторения же снижалась ее свежесть, а следовательно, и степень воздействия. Тогда старик сам попытался дохлестнуть до нахального молодца и его спутницы ветхим и негрозным кнутишком, тоже без всякого успеха. Недосягаемый бухвостовский экипаж бесшумно катился корпуса на полтора впереди от дребезжавшей, готовой рассыпаться пролетки, и то, что без труда давалось холеному рысаку, стоило предельной затраты усилий его обделенному родичу. Достаточно было Заварихину вожжой шевельнуть, и тотчас погоня отстала бы, но он медлил, тешился, выдерживая взятую дистанцию.

— Перестаньте, Николай... отпустите их, Заварихин, они же старые совсем! — с мольбой, заранее зная, что напрасно, твердила Таня и цеплялась и со всею нежностью гладила окаменевшую Николкину руку.

— Ничего, ничего Гела, пускай малость погреются по холодку. Злость на безденежье шибче водки греет... Опять же возьмите во внимание, какая замечается упорства у русского человека: хоть бы замертво пасть, абы вдарить всласть! — не разжимая зубов, цедил Заварихин, ради пущей выразительности сминая слова. — И ведь пошто, казалось бы, куды он ее гонит, неповинную свою животину?.. Разве ж сравняться ей с нашею чертовкой? Ведь его захудалую тварь, милая моя Гела, со младых лет овсецом не баловали, все на непосильной работке да на сенной трухе. А подмосковные-то сена́ ужасть плохие... топтаные, дымом травленные, несытные. От них обыкновенный бык, возьмем к примеру, и тот с негодованием отворотится, не то что конь... э-эх! — и наугад хлестнул по морде, за спиной у себя, задыхавшуюся лошадь, чтоб не отставала.

— Злой, злой вы, злой... — навзрыд прокричала Таня. — Остановите, выпустите меня!

— Ах, это в вас одно заблуждение говорит, Гела: ведь он же убьет вас теперь, насмерть кнутишком своим захлещет, ежли догонит! — печально и рассудительно говорил Заварихин, на слух оценивая степень лошадиной задышки позади себя. — Напротив, в своем домашнем обиходе я далеко не буян... да разве бы я иначе в подобной суматохе выжил? А кабы узнали вы, сколько разков вот этак-то и Николку Заварихина башкой о мостовуху колотили али всякие там специалисты

подходящими плоскогубцами дух из него вынали, вы бы не то что похвалили Николку, даже наградили бы меня за такую мою выдержку. Но нет, я не жалуюсь, Гела: это и есть жизнь!

Тем временем широкая магистраль окраины сменилась людной улицей поуже, где нарядные граждане по случаю праздника гуляли целыми семействами, иные с бабушками или же катя детские коляски перед собою,— вдруг все там намертво затихло, плач и смех детский, поглощенное невиданной гонкой. И, значит, несмотря на возникавший при виде ее азарт, несмотря на бесплатность зрелища — со сверканьем спиц лакированной коляски, с властителем жизни в картузе и барышней в распустившейся по ветру вуальке, сразу была разгадана улицей низость происходившей потехи; точно с таким же суровым отвращеньем простой народ созерцает казнь, кощунство или другой несмываемый грех... Чеканной классической рысью, словно вошла во вкус издевательского состязанья, шла гнедая бухвостовская красавица, а за ней на излете души, с грохотом и матерщиной, похожей на рыдание, неслась сама земная нищета. Гикая, стоя в рост, со слезой предельного озлобления старик выхлестывал из своего мохноногого мерина остатнюю силенку на решительный рывок, лишь бы догнать, вцепиться в противника и рухнуть с ним в обнимку... и в том состояла коварная заварихинская игра, чтоб каждое мгновенье быть почти досягаемым и этой надеждой держать погоню как на привязи.

Стало бессмысленно молить его о пощаде. Извернувшись на сиденье, за поля придерживая шляпку, поминутно сдуваемую на глаза, Таня подавленно глядела назад. До крови процарапанный Танин подбородок терся о шершавое заварихинское плечо, она не замечала. И хотя молчанье ее давно означало сдачу и обет ни в чем не перечить впредь заварихинской воле, тот еще продолжал забаву, чтобы показать спутнице хотя бы на своем брате-мужике, какие исключительные развлеченья может доставить к месту примененная сила... Таким образом, Таня видела и конец погони. На глазах у ней загнанная коняга со всего бега рухнула на передние колени, так что оскаленная, прижатая к мостовой и вся в пене морда ее почти утонула в наскользнувшем хомуте; впрочем, животное еще билось под кнутом, скреблось копытами, силясь подняться на задние ноги... Но потом Таня так плотно зажала лицо ладонями, что самое дыханье ее замкнулось.

Как всегда, толпа вмешалась с запозданьем, и вот одни деятельно грозили кулаками, выражая законную вражду к чрезмерно торжествующему превосходству, другие же, пренебрегая отдыхом и праздничной одежей, добровольно с обеих сторон улицы бежали наперерез Заварихину, который, остановив запряжку, дразнил, скалил зубы в улыбке, ждал последней точки. Текли мучительные секунды наслаждения страхом, забинтованные ноги лошади мелко дрожали, стройное легкое тело ее чуть наклонялось вперед. Уже смыкалось кольцо... и вдруг, крикнув своей спутнице держаться за него, Заварихин полоснул лошадь снова появившейся у него в руках хворостиной, как стеклянная разлетевшейся от удара.

— Эх, горы да овражки... — по-ямщицки вздохнул Николка, отпуская вожжи, ровно никого не было впереди. — И-эх, леса темные! — еще унывней повторил он, а Таня подумала, что, верно, и дед Николкин то же самое покрикивал, ведя сквозь ночь почтовую тройку.

Людская петля раздалась, лошадка точно невесомую вынесла в прорыв беговую качалку. Кто-то догадался вскочить на подножку подоспевшего грузовика, и одно время машина накоротке мчалась следом, но, видно, шоферу не по пути оказалось, и, пока преследователи препирались, разделявшее их расстоянье непоправимо возросло. После сворота на параллельную улицу, возвращавшуюся на загородное шоссе, Заварихин дважды сменял направленье на очередных перекрестках. Гам уличного происшествия и гудки погони погасли за спиной, город отстал, а заодно с ним и Танин страх за будущее... Ах, в конце концов, от себя самой она еще больше устала, чем от приключения, и уже порывом безграничного подчинения приникла к твердому заварихинскому плечу. Скакнул петух из-под самого колеса, проводили лаем пригородные собаки, и вдруг ничего не осталось кругом, кроме какой-то малоезженой дороги да прозрачной предвешней дымки впереди. Они были под открытым небом, наедине.

Проселок выводил в мелколесье, где держался пока стоялый сырой холодок. Природа воскресала кругом, но пока не хватало у ней сил сдвинуть с себя могильную плиту. Лошадь пошла шагом, остывая и оставляя рубчатый след резины в необсохшей колее. Заварихин молчал, рассеянно следя за мыслями своими и проползавшей мимо рощицей... И тут при виде укромных ложбинок вокруг как-то само собою возникло в нем одно такое неотложное намеренье: приткнув лошадку

в кусточках, побродить часок с доставшейся ему барышней по окрестности; вскорости подоспело в самый раз удобное для начала местечко. Ковыляя с колеса на колесо, экипажик спустился с невысокой насыпи, однако ближняя уютная полянка оказалась занятой. Там, на низовом майском сквозняке, блаженно раскинувшись на прошлогодней травке, отдыхал подгулявший птицелов. На пригорке виднелась настороженная ловчая снасть, а в клетке рядом, цепляясь кривыми клювами за проволоку, маялись две птицы.

Подойдя к спящему, Заварихин покачал головой, шевельнул ногой порожнюю бутылку и, нагнувшись, без единого слова выпустил пленников на волю.

— Чего невинной твари гибнуть! Пускай порхают на приволье...

— Думаете, простудится? — встревожилась Таня.

— По этой поре непременно помрет... пойдем отсюда! — хмуро обронил Заварихин и долго еще ворчал, возвращаясь на дорогу с лошадью в поводу. — Нет, не уважаю я людишек. То кусок изо рта вырвать норовят, то под ноги валятся самое тебе удовольствие изгадить. Пойдем, Гела... авось найдется где-нибудь и для нас, сироток, сокрытный уголок!

Через полверсты лесок стал погуще, с приветными кущами и как будто прозеленевшими взгорьями; тут, шагах в ста от дороги, Заварихину посчастливилось наконец подобрать лужайку для стоянки. Привязывая лошадь к березе, он испытующе, чуть вскользь взглянул на Таню. Она заметалась, поникла, спросила сбивчивым тоном любознательности и тревоги, что за птиц, милых таких, выпустил Николка на свободу, не чижей ли. На деле она ничего не знала про чижей, даже воробья от них не отличила бы, а спросила лишь для маскировки своего замешательства. Заварихин разъяснил, что мастью чиж скорее в желтизну вдаряет, опять же высокие места обожает чиж, а те, в клетке, были обыкновенные клесты.

— Вы пожалели их давеча? — добивалась Таня, чтоб убедить себя в чем-то, что никак не давалось ей.

— Кого это, птичек, что ли? А пошто их жалеть, они вольготней нашего живут. Просто так отпустил, чтоб товару зря не пропадать...

Тане показалось, что он нарочно упорствует в грубости, чтобы не отступать от задуманного, а ей хотелось верить еще во что-то сверх того, что теперь уж неминуемо должно было случиться. Она собралась переспросить поточнее и вдруг за-

была, о чем так хотелось ей спросить этого страшного, чужого и все же чем-то привлекательного ей человека. Тогда, не сводя потемневших глаз, Заварихин протянул Тане руку, больно стиснув ей запястье, и в полушутку предложил пройтись, оглядеться, не припасла ли и для них подарочка весна. «Там, впереди, вроде потише будет...» — прибавил он, помнится, тоже не своим, ровно простуженным голосом, хотя ветер к тому времени почти утих, а небо стало затягиваться теплой мглой.

Еще хотелось Тане просить, чтоб помедлил, чтобы не так, как все, но стало уже поздно. Все произошло с будничной, напугавшей Таню простотой... после чего Заварихин, верно как все они, сидел с поджатыми к подбородку коленями, ковыряя в зубах прошлогодней травинкой, а Таня еще полулежала навзничь на его брезенте, рассматривая побуревшие, начинавшие пылить сережки орешника, свесившиеся над самым ее лицом. Прямо перед нею простирались подмосковные, изрезанные овражками дали со сквозными перелесками на сбегающихся горизонтах. Промытая ветром окрестность проглядывалась с отчетливой до скуки резкостью, так что ничего там не оставалось недосказанного сейчас, как и в Таниной жизни. И, точно сжалясь, тонкий лучик солнца... не самый пока лучик, а лишь предчувствие его, просочился сверху, и только благодаря ему Таня увидела рядом, возле самого своего виска, едва распустившуюся, еще озябшую и пушистую ото сна лиловую медуничку. Насколько хватило зрения у Тани, она там была единственная: брачный подарок весны вполне соответствовал размерам Таниного счастья.

Тотчас она ощутила смертельный зноб в лопатках, исходивший от ледяной еще земли. Ежась и содрогаясь, Таня присела и суматошно принялась оправлять волосы, шаря под собой рассыпавшиеся шпильки.

Больше всего ее пугало заварихинское молчанье, тогда она решилась:

— Ты ведь сегодня немножко выпивши был, Николушка, да?.. мне там, с крыльца, все слышно было, как ты с тем рыжим чокался. Я понимаю, праздник!.. Но со мною ты уж не будешь столько пить, чтоб это не повторялось больше, верно? Поклянись мне, Николушка...

— В чем это клясться-то? — недовольно спросил Заварихин, отплюнув в сторону надкушенную былинку.

— А в том, что никогда, никогда не будешь и со мною так же поступать, как с нею, с той несчастной клячей, давеча! —

еле слышно напомнила Таня и, лишь бы не обиделся, нелепо и быстро, куда придется, коснулась губами его обветренной шеи. — Если бы ты видел, Николушка, беспощадное какое стало у тебя лицо, когда ты на нее замахнулся...

Кажется, самая дикость сопоставленья немножко смутила нечистую заварихинскую совесть...

— То совсем другое, Гела, то игра жизни... а на тебя какой мне резон замахиваться?.. я и другого кого за тебя на части разыму.

Таня благодарно и несмело погладила его руку.

— Тогда уж скажи заодно, Николай Заварихин... во чистую правду, а то, ой, плохо тебе станет в жизни за меня. Скажи... — продолжала она, суровея и волнуясь. — Что же, действительно я нравлюсь тебе?.. хоть чуточку!

— А то как же... — убежденно, только без особого жара откликнулся тот,— ты для меня на свете самая красивая... почти. А в тот раз, в цирке, как стала подниматься в высоту, сердце во мне страхом и еще чем-то, не знаю, зашлось. Я и потому еще крикнул, что не знал, как мне скинуть тебя с души. Веришь ли, Гела, в тот раз захоти ты любое для проверки от меня... да я бы хоть коня на плечах тебе притащил.

— А чем, чем я для тебя красивая? — поспешно, пока не остыло, стала добиваться Таня: уж очень хотелось ей, чтоб хоть с опозданьем помянули немножко и про любовь.

— Как тебе сказать, Гела... ну, вся ты какая-то на черного лебедя похожая!

За неделю перед тем он имел случай, тоже по развлекательной оказии, любоваться с приятелями черным лебедем в зоопарке.

— Я и сама знаю, что смахиваю... — простосердечно засмеялась Таня. — Всегда у меня нос краснеет с холоду, прямо хоть на улицу не выходи. — И потерла самый кончик.

Тогда Заварихин принялся всерьез возражать ей,— нет, сравнение это осенило его тогда же, в тот скандальный вечер, когда она в черном плаще выбежала для него на арену и стала подниматься, как он выразился, в бездну над головой. И, значит, так понравилось ему с тех пор удовольствие страха, что отныне обещал Тане не пропускать ни одного ее выступления, если только не в ущерб коммерции найдется свободный часок.

Странным образом, от одного упоминания о цирке настроение у Тани испортилось окончательно. Вдобавок все еще не

прошел пронизывающий до ломоты холод в спине от лежанья на сырой, непрогретой земле, и не к месту вспомнился тоже неосторожный, с синими губами, птицелов на майской травке; поеживаясь, со скукой в голосе она запросилась домой. Заварихин поднял с земли свой брезент и, насвистывая, стряхивал с него приставший лесной сор...

Возвращались ближней дорогой, напрямки, как пояснил Заварихин. И тут оказалось, что до города рукой подать. В воздухе похолодало, стало накрапывать; колеса вязли глубже в чавкающей колее, самый экипажик вконец утратил свой праздничный глянец. Когда на одном ухабе Таня схватилась за Николкино плечо, ее рука почудилась Заварихину стопудовым грузом: никакой другой обузы не боялся он так на свете, как женщин. Тем не менее в конце пути Заварихин предложил Тане жить вместе как муж и жена, причем выразился в том смысле, что «каждому семечку долго летать без дела не положено, пора и корешок пускать». Рискуя подпортить дело поспешностью согласия, Таня с молчаливой признательностью пожала локоть своего внезапного жениха. Конечно, немножко пугала своеобразная форма предложенья, но ведь есть же совесть в людях, опять же даже у собак, при хорошем хозяине, бывают дом, покой и дети.

...Когда из-за последнего бугра стало подниматься мутное фабричное небо, словно и не мыли его с утра, Заварихин в последний раз приструнил на полную рысь бухвостовское чудо, скинул картуз Тане на колени, предоставляя встречному ветерку выдуть, вычесать любовную чепуху из головы. Город все больше захватывал их в свое кольцо,— плоский, неизбежный, бескрасочный. У окраины, проскочив сквозь вихрь закружившейся гадкой пыли, Заварихин неожиданно и повторно распространился о ближайших планах на будущее, но, то ли сглазу боялся, то ли по иной причине, прибеднялся до поры, только Тане теперь, после случившегося, они показались трогательно скромны, хотя часа три назад звучали до смешного самонадеянно.

— В гости не зову пока, Гела... вот на новую квартеру переберусь, тогда и съедемся,— говорил Заварихин, и тут за разговором оказалось, что они почти достигли того самого переулка, откуда началось их нынешнее свадебное путешествие. — Ты сказала давеча — ни горшка у тебя, ни гвоздя своего... так вот, запасайся хозяйством. Человек должен на земле своей прочно стоять, чтоб не сдуло его с ног какой-либо не-

своевременной бурькой... много их нонче, без корней-то, по свету бродит! — Он осадил лошадь у подбитых бухвостовских ворот. — Эх, забыл совсем... может, домой тебя завезти?

Она заколебалась.

— Да нет, спасибо... ведь мне две остановки всего, и на трамвае доберусь. — И постаралась убедить себя, что так лучше,— чтобы среди соседей не пошли о ней преждевременные слухи, которые, как она по опыту знала, могли завершиться всеобщим, горше насмешки, сочувствием.

— Вот и славно, тебе недалеко тут... а то мне еще лошадку Зотею сдать да нужного человека навестить до вечерка! Ну... — Он сошел на мостовую проститься и, вспомнив, на всякий случай, не очень больно на этот раз, обнял Таню. — Теперь за тобой очередь... признавайся, кто этот Стасик у тебя? С утра спросить забываю...

— О, и не думай о нем, Николушка! — польщенно зарделась Таня и за одну эту нечаянную ревность простила ему многочисленные мужские оплошности того дня. — У него своих ребятишек детский дом, и он предан им больше всего в жизни.

Затуманенным взором проводила Таня въезжавшего в ворота жениха и все не могла решить, следовало ли благодарить Заварихина за эту в общем удачную пасхальную прогулку. На деле же ей просто хотелось подавить в себе одно, уж последнее, но самое существенное сомненье, как будто еще возможен был шаг назад, как будто от одной ее воли зависел выбор житейских обстоятельств. Стоя за кирпичным столбом, Таня видела, как сломя голову сбежал с крыльца Бухвостов, вдоволь натомившийся у окошка,— бежал и спрашивал на бегу, дивно ли покатались, досыта, без приключениев ли.

— Ничего такого с нами не случилося... а ты поди натерпелся страху, борода? — смеялся Заварихин, соскакивая с качалки. — Принимай красотку в сохранности. Как ей кличка-то?

— Фортунка! — тоном упрека отозвался Бухвостов, оглядывая, оглаживая лошадь, только тут признаваясь — сколько плачено.

— Своих денег стоит, чистая сатана на ходу! — прервал его Заварихин.

Он полез было за платком вытереть забрызганные грязью пальцы и наткнулся в кармане на предназначенный Тане букетик, правда очень видоизменившийся под влиянием проис-

шедших событий. Машинально и без сожаления выкидывая цветы на груду дымившегося навоза, Заварихин даже не вспомнил, откуда взялась в его кармане эта мокрая, мятая, склизкая трава.

X

Недели через две, не дождавшись, Таня решилась напомнить жениху о своем существовании, адрес узнала у Пчхова. Тесная заварихинская каморка оказалась в третьем этаже старого, запущенного дома с нечистым двором и запутанными переходами. В единственном окне, на уровне соседнего брандмауэра, виднелось до тоски бесконечное множество латаных и мокрых крыш жилого деревянного старья. Весна сменила платье, в железный отлив за оконным стеклом бренчала однообразная дождливая дребеденница. В воскресенье торговля не производилась; Таня затем и выбрала этот день, чтоб наверняка застать Заварихина дома.

Тот собирался уходить. По-холостяцки, стоя, он расправлялся у подоконника с вареным судаком, сплевывая кости в консервную коробку рядом. Он был весь на ходу, внезапное Танино появленье явно нарушало какие-то его срочные планы. С судачьей головой в руке, застигнутый врасплох, он заметался, ожидая заслуженных попреков, но выражение виноватости в его лице показалось Тане настолько искренним, что она извинила ему слишком уж откровенное смущенье. Безошибочное женское чутье подсказало ей, что неотложные торговые напасти, а не равнодушие или сердечное непостоянство были причиной его непростительного, казалось бы, поведенья. В ее условиях разумнее было не обнаруживать уныния или обиды.

— Ты не бойся, я не задержу тебя... торопишься? — поспешила она успокоить после прохладного, неуверенного рукопожатья. — Верно, все срочные заботы, Николушка?

— Да так, пустяки, выгодной холстинки предложили в одном месте, по случаю... — в краске мальчишеской досады пояснил Заварихин. — Ты не серчай на меня, Гела... оно верно, уж цельную неделю я тут, да опасался даже на новоселье тебя позвать. Живности в щелях целые полчища от прежних жильцов остались... Сбираюсь заново комнату переклеить, а и за обоями сходить некогда.

Она внимательно дослушала до последнего звука и чуточку дальше, пожалуй.

— Ты мог и мне это поручить...— легонько намекнула Таня.— Но все равно, ты, в общем, славно устроился, рада за тебя. И комната не такая плохая, потому что... ну, уединенная. С первого взгляда понятно, что здесь только начинается разгон человека, у которого все впереди...

И еще мелькнуло у ней в мыслях, до какой степени любая мелочь здесь на учете, на виду, именно — как у солдата в переходе через трудный перевал.

Впрочем, над койкой, покрытой лоскутным деревенским одеялом, висела на ремне дешевая гармонь, показавшаяся ей, горожанке, самой чужой вещью здесь.

— Играешь? — незначащим тоном спросила Таня.

— Случается, по праздникам... что, не любишь?

— Нет, почему же!.. но в прошлый раз, помнится, ты сказал, что давно бросил это... баловство, как ты выразился.

— Ишь память-то у тебя какая! — чистосердечно подивился Заварихин.

— Я вообще памятливая, Николушка, в особенности на ласку. Я даже помню, какие странные вещи ты мне в прошлый раз говорил... не поверишь, если тебе напомнить: почти любовные! Впрочем, ты ведь немножко выпивши был... — Все это она произносила легким голосом, без слез или горечи. — Теперь откройся мне начистоту... очень недоволен моим приходом? Я все понимаю, но... знаешь, мне одной так грустно стало!

— Как тебе не стыдно, Гела... — отбивался Заварихин от ее печальных пристальных глаз. — А дела мои подождут... каб еще шерсть, а холстина не раз до конца месяца набежит. И присаживайся пока хоть на койку.

За истекшие несколько минут он мысленно успел все углы обшарить в поисках угощенья для гостьи. Сам он сластей не терпел, кондитерские были закрыты по случаю воскресного дня, а вторично отшутиться скудостью, как в прошлый раз у Пчхова, не позволяло самолюбие.

— Вот что значит без хозяйки жить,— перевела на шутку Таня,— даже обедаешь стоя да всухомятку! Сейчас я тебя по праву будущей супруги чаем напою, кстати я захватила половинку торта: Стасик вчера на рожденье преподнес! Такой вкусный, что грех было бы утаить от тебя... хочешь попробовать? — И, не давая ему времени сгореть от сознания своей дикарской неуклюжести, притянула за плечи к себе. — А ведь ты немножко каешься, Николушка... нет, не в том, что не

пришел вчера, ты же не знал!.. а в том, что между нами произошло тогда. Но ты не жалей, Николушка, ничего особенно непоправимого не случилось. Так что не порть себе здоровья укорами совести: я, как и ты из моей,— легко смогу удалиться из твоей жизни и непременно удалюсь, как только торт съедим... но ненадолго удалюсь, не рассчитывай!.. А пока я действительно присяду, с твоего позволенья, а то устала... ведь собственного трамвая на своей улице ты не завел пока... кажется, целый год тебя в этих трущобах проискала! — Так все смеялась, впустую звенела она и сама развязывала принесенный пакетик, сама вешала пальто на одинокий крючок в простенке, но шляпку зачем-то оставила на себе. — Теперь марш на кухню, Заварихин Николай... господи, да хоть чайник-то у тебя найдется, по крайней мере?

В ее положении надлежало быть легкой — в том смысле, чтобы ни капризом, ни плохим настроеньем не быть в тягость этому неукрощенному, неохочему до обязанностей человеку... ах, еще лучше было бы, пожалуй, даже тени собственной здесь не иметь! Видимо, ей удалась беспечная притворная улыбка,— Заварихин стоял перед нею в полном понимании своего убогого провинциального ничтожества, не в силах оторвать взор от худощавой подвижной фигурки незлопамятной, необременительной и тем в особенности приятной ему женщины. «Лакомая...» — крикнуло в уши мужское чувство. «Знаменитая!» — подсказало польщенное тщеславие. «Денежная!» — подшепнула проворная, заставившая его зардеться, деловитость. Как раз на неделе, перед выгоднейшей сделкой, обнаружилась досадная, не по аппетиту, заминка в денежных средствах. Под скользящим, испытующим взглядом Тани он невольно опустил глаза,— не от стыда за свою гадкую сообразительность, впрочем, а от врожденного в каждом молодом, не униженном пока существе гордого достоинства, которое само пружинно противится негодяйству. Еще и еще оценивал Заварихин на глазок стоявшую перед ним женщину и все на ней: до невесомости легкое, с крупными васильками и дразнящим запахом платье, шляпка на пушистых и нарядно подвитых волосах, простые, но очень дорогие туфельки — все теперь кружило ему голову, хотя какой-то внутренний трезвый голос все еще спрашивал его — по карману ли будет ему эта городская, наверно с прихотями, полубарынька. И хотя не собирался возвращаться в деревню, силился представить на всякий случай, как эта нарядная госпожа в непрочной, точно

из пепла сотканной одежде станет в весеннюю страду управляться с вилами на крестьянском дворе, по щиколотку в навозной жиже.

От этого промелькнувшего в его мимолетном взоре недоверия, почти отчужденности, что-то дрогнуло и у Тани на душе. Однако она нашла в себе силу немедленно подойти к Заварихину, положить ему руки на плечи, заглянуть в глаза.

— Не узнаю тебя, Николушка... Может, помоложе успел завести, так сразу признавайся... ну, пока чая не заваривал, чтоб добро не пропадало зря!

Ее жестокая шутка попала в цель, он усмехнулся.

— С того самого воскресенья мысль меня одна неотступно гложет... — проговорился он.

— Какая же тебя мысль гложет? — тихонько удивилась Таня. — Из-за меня?

И тогда постепенно, неуклюжими словами Заварихин признался Тане в неприязни к городу, к его непонятным забавам и потребностям, к его древним уловкам и западням на всякую природную неукрощенную вольность,— к его обходительным и расчетливым дельцам, владеющим недоступной ему умственной изворотливостью, к его обольстительным женщинам с коварной заманкой в очах, столь губительной для едва пробудившейся мужской силы,— к бабам вообще, наконец!

Охватив его руками за шею, Таня искренне смеялась над этими страхами дикаря.

— Да ведь это все фантазия твоя, Николушка, пугапая выдумка твоя. В городе ведь и хитрые бывают и отзывчивые, богатые и бедняки... да и женщины в нем тоже разные. Откуда у тебя такая боязнь, оскомина на *нас*, если иногда и не таких уж жалких, то, как видишь, довольно беспомощных?!

И так душевно глядела она, так преданно, что смешанное чувство вины и благодарности за прошлое пересилило в нем врожденную подозрительность, вернуло ему дар речи, прорвалось. Его забавный ужас перед женщинами объяснялся одним случаем детства, в деревне... впрочем, и вспоминать о нем зазорно! Таня мягко настояла, чтоб Заварихин раскрылся ей... Итак, все началось со знакомства с бабкой Маврой, *пастушихой* по прозвищу, которая юных подпасков, безусых и безволосых, обучала греху.

— Яблочком да пряником заманит, бывало, в баню, на огороде у себя, да и тешится с ним...

Таня полуприкрыла ему рот рукой.

— И ты тоже? — спросила она с гадливым любопытством.

— Пыталася! — и жестоко ухмыльнулся воспоминанию. — Досталось ей от меня... недели две, гадюка, только ночью на колодец выходила...

— Ноготками, что ли?

— Зачем? И кулаком тоже. Он у меня сызмальства такой... родимец! — и с косой приглядкой, как на постороннее существо, положил себе на колено сжатый до синевы ужасный свой кулак. — Иногда такое чувство от него, словно он-то и ведет меня вперед, и веру в себя внушает. Завижу — дерево при дороге стоит, и знаю: вот возьмусь за шейку поухватистей и достану с корешком... — И заодно, в припадке откровенности, а возможно, и в поисках сообщницы, раскрылся перед Таней — впрочем, не весь пока, а до первого донца. — Вот вроде и силен, Гела, а на душе кошки скребут. Ведь я тебя не навещал, чтобы заботами не омрачать, вконец одолели. О, если бы ты понять смогла, как мне торопиться надо, пока другие такие же не освоили самые доходные, разоренные-то места... — Понятно было, что он имел в виду не только свою торговлю. — Ведь эту шатию порохом через год-другой не выкорчуешь, дружков, вроде того — рыжего, а деньжат, к сожалению... словом, погонялку завел, да вот ехать не на чем. Ведь я соврал тебе давеча насчет холстины... товарец мне один чуть не дарма́ предлагают... вроде и темноват малость, а упустить — изведусь я весь, Гела!

— И много тебе денег надо? — очень серьезно, что-то переломив в себе, осведомилась Таня. — Может быть, у меня найдутся...

Она еще не предлагала, боясь обидеть, а он уже соглашался: то был наиболее безопасный выход из затруднения. Заварихина в ту встречу и подкупила в Тане ее безоговорочная готовность поддержать владевшую им страсть, разделить ответственность, понять его роковую одержимость... И оттого, что Таня оказалась сейчас сильней Заварихина, его вдруг неукротимо повлекло к ней. Он оживился, воодушевленный необозримыми планами, и лишь теперь в полную меру испытал радость от прихода невесты.

— А ты дельно придумала, Гела, что пришла,— бормотал он, по-холостяцки прибираясь на столе. — Погоди, я тебя чайком по всем правилам угощу... Тут у меня ларечник один, тоже будущий туз козырной, с заднего хода по воскресным дням торгует!

И, роняя все кругом, забывая закрыть дверь после себя, Заварихин умчался за лимоном, который, в простоте крестьянского воображения, почитал пока высшим лакомством на свете.

Оставшись одна, Таня оправила постель, подняла опрокинутую Николкой табуретку и попыталась навести хоть самый поверхностный уют в его хозяйстве; отчасти это помогало ей оправдаться перед собою в мыслях. Из-за небогатого заварихинского обихода вся уборка заняла не больше трех минут. Ни цветика не виднелось на окошке, ни лубочной картинки на стене, ни даже осколка зеркальца,— только дешевый кухонный стол, затекшая салом керосинка на полу и, в пару к табуретке, кособокий венский стул подмосковной выделки. Примериваясь к будущему, Таня присела для пробы на скрипучую железную койку, кстати заглянула под нее. Сундучок с пузатой крышкой прятался там да одеревеневшие от времени несмазанные сапоги; ничто не выдавало занятий жильца. Внешне как бы нараспашку открытое, все по существу было крайне обманчиво здесь. Главное Николкино — нажитая движимость вместе с заветными мечтаньями были сокрыты где-то понадежней. Фирсов описывал это помещение как образцовое для стремительного, с медной полушки, возвышения незаурядного русского капиталиста; к слову, в повести его заключались кое-какие неоправдавшиеся пророчества. У Тани, не обладавшей даже и фирсовским политическим чутьем, в сердце захолонуло от мысли о великой заварихинской будущности. Себя она в тот месяц считала к о н ч е н о й.

В намерении заодно подмести комнату, Таня поискала щетку либо веник,— их не было; не оказалось их и в темном коридоре за дверью. Тут ей почудились протяжные булькающие звуки, которых не смешаешь ни с какими другими на свете. Таня приподняла голову, звук не повторялся. Ни пятнышка света не сочилось ниоткуда. Уже она собралась вернуться,— опять, словно дразня, всхлипнули в глубине квартиры, где заварихинская комната приходилась первою от лестницы. Не в силах преодолеть колдовское, сдавившее ей горло любопытство, шаря руками впереди себя, Таня двинулась по неровному, изношенному паркету. Теперь плакали шагах в четырех, никак не дальше, тихонько, женщина, верно, за приспущенной до полу портьеркой и в прижатый ко рту платок, как бывает на исходе неутешного горя. Какая-то, по самую грудь, дощатая вещь с жесткой бахромкой по борту стала падать на Таню,

задетая впотьмах коленом; пришлось некоторое время подержать ее в руках, пока выяснялась причина того ранящего плача.

— Дура, ты теперя чистая, как есть слободная, можешь в кино сходить,— слышался бесстрастный шепот увещанья. — Дочка твоя жребий свой полностью отстрадала... ужли ж за соседский приниматься? Куды ей, хроменькой... ионче и без костылей-то в жизни еле управляешься. Опять же кому любо слышать писк калеки, все одно что стон чужой любви?

— Умирала-то, как розочка лежала,— всхлипывал другой, как бы выцветший от слез женский голос. — На спинку откинулась и померла...

Лишь теперь Танино вниманье перекинулось на предмет, который почти держала на весу,— едва не вскрикнула, догадавшись о его назначении. За дверью лежала в гробу мертвая девочка-подросток. Эпизод показался ей уже не первым зловещим предзнаменованьем, и в этом укрепившемся предчувствии бесследно растворялась живая Танина сила. Едва не кинув крышку, цеплявшуюся за пальцы парчовой бахромкой, Таня бежала назад, к свету, к Николке в комнату.

В ту минуту одна паническая тревога владела ею: любой ценой скрыть от жениха свое состоянье. На глаза попалась зачитанная газетка с важным разъяснением о частной торговле,— по счастью, у Тани нашлось время до возвращения Николки принять убедительную видимость углубленного чтения.

Движеньем бровей старалась она не выдать своего смятенья, но так билось сердце, так безнадежно приковался взор к облюбованной строке, что Заварихин сразу распознал Танино неблагополучие. Он озабоченно подсел рядом, и у Тани не нашлось воли отолгаться от него подходящим пустячком, пока все не забудется.

— Боюсь, Николушка...

— Чего, чего тебе бояться, чего?

— Ах, гибели... ну мало ли чего! — пожалась она.

Из опасения утратить расположение этого сильного и, как нередко — на взлете, суеверного человека, она и сейчас не призналась ему в мучившем ее с некоторых пор страхе смерти.

— Так ты же не одна на свете,— говорил Заварихин, расправляясь с лимоном большим карманным ножом, годным хоть и для сапожного ремесла. — Вот погоди, обоями раздобудусь, тогда съедемся в одно гнездо... а там уж, со мною, ничего боле не страшись!

— Обои-то еще купить надо, на стенки наклеивать... да потом они сохнуть будут, а тем временем жизнь-то помимо нашей воли все идет... к одной какой-то точке! — насильственно улыбнулась она.

— А пока, для постоянного разговору, старик твой завсегда при тебе живет.

— Ах, Николушка, да ведь с ним еще горше мне! — вырвалось у Тани, и затем вся распахнулась настежь, едва Заварихин догадался взять ее за руку. — Нет, ты не думай, что он мешает мне или вообще в тягость... нет! Конечно, он ко всем меня ревнует, потому что я у него последняя зацепка в жизни... как нянька при мне, чулки мои стирает, как-то даже утомительно предан мне... как, впрочем, и остальные товарищи, хотя без всякого повода с моей стороны. Нет, я не то что холодная к ним или там скупая, а только неумелая, стеснительная. Сойдутся, заласкают, надарят всего и уйдут, а я остаюсь наедине со своими подозреньями: за что они меня так горько любят, за что? Верно, знают кое-что наперед про меня и заранее, чтоб потом не каяться, стараются будущее мне подсластить?

— Чего ж они про тебя могут знать? — хмурясь, добивался Заварихин.

— Ну то, что должно когда-нибудь случиться... какая-то ужасная мгновенная боль. Тебе этого не понять, Николушка! Попадаются же такие счастливцы среди людей, ничто к ним не пристает: ни зараза, ни предчувствие душевное, ни слезы чужие. Со временем они становятся властителями жизни, и ты из их числа! А я... — Она огляделась, ища причину давнего, лишь теперь осознанного ею неудобства. — Послушай, отчего у тебя воздух какой-то ледяной здесь?.. даже ноги застыли. Ведь лето...

Тот пожал плечами.

— Верно, со двора несет: ровно колодец, глубокий да узкий... и в полдень солнышко до дна не достает. Зато в летнюю жару, соседи хвастались, никакой загородной дачки не надо: прохладность, как на речке! — Танино смятенье представлялось ему той самой городской блажью, возможно по причине временной женской хвори, и так как вникать или переспрашивать полагал неприличным, то и рассудил пропустить эту историю мимо ушей. — Не обращай вниманья, Гела,— убедительно заговорил Николка, сходив за чайником на кухню. — Все вокруг нас завлекательный мираж один, как отец говаривал, и мое тебе наставленье — ничем не огорчаться от жизни!

У меня по приезде красавка одна всю поклажу на вокзале слизнула начисто... веришь ли, тряпицы не осталось с пуговкой после бани сменить. Через полгода вспомнилось, посмеялся да рукой махнул. Любые быль и боль проходят хоть бы для того, чтоб другим местечко уступить... И ты, между прочим, за свой капитал, если мне доверишь, не беспокойся, Гела: у меня как в банке прочно, вексель выдам и процент стану платить. Мне бы на проселке не завязнуть, а дальше... там пряменький большачок пойдет. Веришь ли, с утра высуня язык мотаюсь по городу, никто в долг не верит, обеспеченья нет... Эва, весь заварихинский пожиток! — не без злобы и хитринки кивнул он на голые стены, но видно было, что кое-что скрывал даже от самого себя. — А вдруг, дескать, сдохнет Заварихин, сбежит, под трамвай попадет? Плохи твои дела, Россия, пропал умный делец, мелкой вспашки мудрецы осталися...

Озабоченная неожиданным поворотом разговора, Таня вглядывалась в раскрасневшееся, как тогда, в пасхальной гонке, искаженное жестоким вдохновеньем Николкино лицо. Безнадежной дальности расстоянье разделяло ее с этим человеком; этот смог бы выдать расписку родной матушке с обязательством покрыть ей расходы, связанные с его появлением на свет.

— Да разве это оплачивается, Николушка?.. разве я такая? — мягко упрекнула Таня и, совсем расстроившись, даже поднялась было уходить. — Как мог ты о процентах заговорить, когда я всю себя без остатка тебе предала?

Мелькнула невольная мысль о бегстве, пока не поздно, но... куда?.. Отовсюду обступало ее безвыходное пространство, и в нем одни только испуганные, тысячекратно повторенные, округленные тревогой глаза Пугля... да еще этот полузнакомый, ограбивший ее в дороге брат, в котором жгучей неизвестности заключалось несоизмеримо больше того, что удалось Тане выведать за несколько мимолетных свиданий.

Догадываясь о своей промашке, Заварихин смущенно потирал руки одна об другую и бормотал про то, что в коммерции, как и в политике, на обмане далеко не уедешь, без взаимного доверья пропадешь.

— Расчет дружбы не портит,— ворчал он глухо,— не брани за мужицкую прямоту... зато без яду она, неотравленная! — И вдруг, в бессознательном расчете на грубое и действенное средство, привлек ее к себе. — Ладно, ладно, не укоряй больше, затихни ты, ящерица... вьюркая моя, голубая, жалостная!

Было что-то бесконечно кощунственное в этой властной, стремительной ласке почти рядом с мертвой девочкой за стенкой, но больше нигде вокруг спасенья не было. И едва он обнял Таню, всю и самую душу в ней, она сдалась ему снова, на этот раз навсегда и безоговорочно.

— Ящерица... — повторила она несколько минут спустя, удивленная и благодарная. — Вот выйду за тебя, ты и посадишь меня за конторку, чтобы деньги считала и даром хлеба не ела твоего. Облиняю я у тебя, заленивею... Смотри, я на деньги небережливая, разоришься со мной!

— Кого, тебя в конторку? — усмехался Заварихин, смущенный правдоподобностью предположенья. — Ты чудо для меня! Я тебя на версту к лавке не подпущу... если сама не захочешь. Да разве так с чудом обращаются?

...Стали пить чай наконец, и Таня шутливо подражала жениху, который по-крестьянски схлебывал чай с блюдца, шумно сдувая горячий пар. О деньгах больше не было сказано ни слова, но Таня из разговора поняла, что крайний срок оплаты за товар истекал через трое суток. Заварихина интересовали подробности цирковой жизни, средний заработок артиста, предельный возраст для работы и еще — за чей счет готовится необходимое снаряженье. Но при скользкой деловитости вопросов его по-прежнему пленяла, как мальчишку, мишурная и смертельная романтика Танина ремесла. Дальше медлить стало невмоготу. Таня решила доверить жениху некоторые свои намеренья, окончательно созревшие за минувшую неделю.

— Ведь я неспроста о кассе да конторке с тобой заговорила, Николушка. Сложно и долго объяснять, но что-то сломалось во мне, хотя... — с заблестевшими глазами пошутила Таня,— кроме костей, в циркачах ломаться вроде и нечему. Искусство наше грубое, но... значит, мы тоже люди. Я просто утратила доверие к себе, а когда-то могла бы исполнить свой номер хоть вслепую... С некоторой поры странный туман рассеянности находит на меня в последнее мгновенье... и вдруг потом нестерпимый, до исступленья, страх. По-нашему, по-цирковому, я потеряла кураж... Ну, смелость, что ли! — Таня положила руки на Николкины плечи и пристально вгляделась в его вдруг забегавшие, неверные зрачки. — Словом, ты не пугайся, но крепко подумай о том, что я тебе скажу сейчас. Я, знаешь, решилась уходить из цирка... и мне надо делать это немедленно, даже не завтра, сейчас. Видишь ли, классический штрабат это не совсем обычный номер... даже поговаривают, что вовсе запретят

его. — Она попыталась подкупить жениха улыбкой. — Ну, что с тобой, Николушка?.. неужели расстроился?

— Сразу не ответишь, подумать надо. Жизнь и есть сплошной штрафбат, все мы маненько с петелькой балуемся. Тоже когда с отвесного берега в воду ныряешь, всегда вроде сердце сжимается... сожмется сперва, а потом поотпустит. Да пройдет это у тебя!

— Быль и боль... — непонятно усмехнулась Таня, снимая руки с Николкиных плеч.

Она стала одеваться, Николка ее не задерживал. Провожая до ворот, он пообещался забежать на днях по тому самому денежному дельцу. Низкие, так и не ставшие дождем, куда-то торопились тучи. Мгла от них стояла в небе. Таня уходила быстро, прижимаясь к фасадам, точно хотела скрыться поскорей с Николкиных глаз, и верно, что-то новое, бесконечно будничное было сейчас в ее поспешно удалявшейся фигурке. Раздвоившимся взором Заварихин смотрел вдогонку и никак не мог разобраться в существе происшедшей подмены. Человеческое в людях всегда пугало его,— будет ли этой под силу карабкаться вместе с ним на кручи, цепляться, падать с отбитыми руками и вновь ползти на овладенье миром? Нет, он еще не собирался нарушать данное Тане слово, но что-то в ней разочаровало его самую малость.

XI

Единственное Танино спасенье заключалось теперь в Николкиной близости. Раз начавшись, болезнь катастрофически усиливалась: неверие в свои силы влекло за собою расплывчатые пока сомнения в жизни вообще. Перед выступленьем Таня раздражалась по пустякам и нередко в слезах кричала на Пугля за одно лишь напоминанье, что вместе со спокойствием она может утратить темп и погубить себя.

— Ах, это совсем не твое дело... ты стал нестерпимо надоедлив, Пугль! — бросила она однажды, ненавидя себя за несправедливую резкость.

— Детошка, я нянчил твою славу. Ты стала Гелла Вельтон, но в твоей славе один кусочек, пусть самый маленький — мой! — возразил Пугль почти без акцента, показалось Тане, на этот раз.

В ее характере, кротком и безоблачном, все резче проступала придирчивая мнительность, мелочная взыскательность к ближним, все реже дарила она товарищей по арене шуткой или одобрительной улыбкой; даже Стасик избегал встречаться с нею... самые выступления ее выглядели порою изощренной безвдохновенной выдумкой, скверной платой за повседневный хлеб. Артистка зябла, горбилась, кусала губы, однажды вспотела от страха наверху; это был конец.

Род занятий неизменно являлся для Фирсова одной из главных, хотя далеко не единственной краской при изображении героя. В повести у него поэтому в подробностях излагалось как цирковое Танино ремесло, так и самый источник ее поломки. «Недуг Геллы Вельтон,— говорилось там,— обнаружился незадолго до встречи с братом. При переполненных рядах, четкая и свежая, она взбиралась по канату в купол, безошибочным мускульным расчетом предвидя все наперед. Сейчас, после десятка предварительных, не слишком головоломных вариаций на неподвижной трапеции, прирученная веревочная петля вкрадчиво скользнет на ключицы, и тогда можно будет отдохнуть целый десяток мгновений — до того, как внезапно, на полутакте замолкнет оркестр и тело втугую как бы спеленают лучи прожекторов, после чего наступит сосредоточенное безмолвие, и тогда, по возможности спокойнее отыскав внизу знакомую щербинку на барьере, надо прицелиться в нее — скорее всею волей, чем телом, но непременно чуть дальше и выше точки прицела в расчете на естественное отклонение тяжести... и вслед за тем станет возможно сделать самый бросок, однако артистка несколько пооттянет его как бы из понятного колебания перед пропастью, так что потекут считанные и длинные, давним опытом выверенные секунды, а дети в партере забудут свои леденцы и мороженое, и только потом последует почти искровое включенье воли к полету, который завершится вышибающим из сознания толчком во всю длину тела, и это будет означать прибытие на место... Когда же суматошная, после пережитого, музыка вернет зрителей к действительности, артистке останется лишь собрать урожай рукоплесканий за жгучий ужас доставленного наслажденья, и потом ее, знаменитую и невредимую, цирк проводит овациями, чтобы она без помехи могла теперь отдыхать, все отдыхать в кромешной пустоте своего женского одиночества!»

Механика этого на редкость впечатляющего номера была до мелочей отработана немногочисленными, наперечет, пред-

шественниками Геллы Вельтон по штрабату. Шелковая веревка пружинным ударом в шейные мышцы останавливала запущенное ласточкой тело всего в двух метрах от арены, после чего исполнителю ничего не стоило вывернуться из наклонного, головою вниз, положения, описать полукруг и сорвать с шеи еще раз посрамленную удавку... «Но в тот несчастный вечер, едва Вельтон изготовилась к заключительному броску, почти легла на воздух, кто-то оглушительно чихнул внизу; по случаю оттепели гнилая простуда бродила по городу. Тотчас же артистка различила внизу седоватого военного в рядах,— бормоча что-то своей даме, он торопливо доставал платок из шинели... и, значит, тотчас должно было последовать повторенье, так что артистке выгодней стало чуточку помедлить, чтобы вторичный звук не застигнул ее в полете. Откачнувшись назад, из боязни рассеяться, она ждала, но звука не было. Вполне пустяшное происшествие это заняло долю минуты, но ожидание вклинилось в Танину волю, как бы расщепило ее. Мучительное напряжение артистки передалось публике, в партере раздались неуверенные требования тишины, некоторые привставали в поисках виновника, а на партер зашикала галерка, так что еще с полминуты тихое безумие бушевало в цирке... Держась за тросы, Таня глядела вниз, где в неопределимой дальности мерцала то делившаяся на отдельные особи, то сплывавшаяся воедино людская масса, со множеством точечных стерегущих глаз. Никто теперь не смог бы помочь артистке, даже сам старый мастер цирка Пугль, воровски затаившийся позади униформы. Что-то выключилось из Таниной памяти, так что, прежде чем вхлестнуться в утраченный ритм номера, требовалось освоить, как это она, неумелая девчонка с железнодорожного разъезда, очутилась на зыбкой железной жердинке, под крышей непонятного здания, почти голая, в одном трико. Не потому ли всего страшнее сны, когда мы не можем восстановить порвавшиеся связи?» — так описывал Фирсов состояние своей героини, применяя полюбившийся ему прием рассмотрения в лупу.

Заметались прожекторные лучи, словно им передалось замешательство акробатки. И потом с жалобным вздохом, будто простреленная, артистка метнулась вниз... В тот раз все сошло для нее благополучно, так как сама она крика своего не слышала. Таня даже нашла в себе неуместную смелость раскланяться перед зловеще молчавшей публикой. Впечатление провала несколько посгладил Пугль, выскочивший на манеж к своей питомице с неистовыми слезами и объятиями. Мелодра-

матические, сверх программы, волнения Пугля были по справедливости оценены зрителями. За всю свою цирковую практику не имел он столько недружных и грустных оваций... У Фирсова в повести скандал завершался сердитой рецензией в одной газете, где особо порицалось «беспринципное цирковое гладиаторство», и под влиянием ее дирекция собиралась было предложить провинившейся знаменитости другой аттракцион, но подоспели хлопоты с летней гастрольной поездкой, так что вскорости все забылось и улеглось.

Предчувствием неминуемого пропитались Танины дни и ночи. Еще усердней тренировалась она на арене по утрам, понуждая тело к высшему и точному повиновенью. Пуглю, да и ей самой казалось иногда, что та роковая заминка под куполом — лишь следствие скопившегося переутомленья. Надо было дать телу передышку, и если бы не скорая свадьба, отпустить его на волю до зимы, куда-нибудь на нехоженые лужки под Рогово,— пусть его полежит в высокой траве с заброшенными за затылок руками! Памятуя себя в молодости, Пугль не сомневался, что Заварихин найдет способ хотя бы по субботам навещать и там свою невесту. Старик и в мыслях не допускал, чтобы его питомица бросила цирк из-за ничтожного, в сущности, происшествия, которое лишь обострило его детски высокомерную неприязнь к зрителям.

— О, публикум,— оправдывался он за кулисами перед зловеще молчавшими товарищами.— Когда жерепятина прыгал четыре ноги, они хлопал. Когда молодая девошка немножко упал на колено, они готов шикайт... а? — и в поисках высшей справедливости вскидывал к потолку слезами негодования переполненные глаза.

В тот раз, зимой, несколько очередных Таниных выступлений были заменены другими по болезни артистки. Кстати она решила воспользоваться обычным перерывом перед намеченной летней поездкой по провинции для того, чтобы решительно отвлечься, отвыкнуть, отучиться от цирка. С утра отправлялась она в обход музеев, обзаводилась хозяйственными мелочами к предстоящим семейным переменам,— никогда не удавалось ей при этом избегнуть самой себя. Чем дальше забредала от дому, тем острее помнила — зачем. Заварихин не догадывался об ее метаньях, а Пугль, в надежде на предположенный в конце лета отпуск у моря, умолял Таню не предпринимать решительных шагов хотя бы до закрытия сезона, затянувшегося в том году. С отчаяньем открывала Таня, что ниче-

го другого не умеет в жизни, кроме как прыгать, вертеться в рейнском колесе, делать стойку на перше, низвергаться в пропасть,— ее душевное здоровье разрушалось от раздумья, что станет делать без ремесла — в случае разрыва с Николкой. Тогда она решилась на пробный шаг, чтобы поглядеть, как будет выглядеть изнутри ее отступленье.

Отослав Пугля куда-то из дому, Таня взгромоздила на стол табуретку и стала срывать со стен афиши, драгоценные памятки и ступеньки ее славы, некогда будившие профессиональное вдохновенье, ненавистные сегодня как напоминанье. Скинув последнюю, поверх пыльного бумажного вороха, Таня без подготовки взглянула вниз, и вдруг сознание стремительно качнулось в ней. Верно, она разбилась бы, если б вовремя не схватилась за подвернувшийся крюк гардины.

Теперь оставалось только сжечь эту постылую пересохшую ветошь, от которой и руки саднились и душа. Наступала тихая летняя ночь, печная труба почти не втягивала дыма; хорошо еще, что догадалась приоткрыть окно, прежде чем у соседей поднялась пожарная тревога. Приятная расслабленность, почти как при выздоровлении, охватывала Таню по мере того, как отрекалась от прошлого и самой себя. Скорей бы к Николке, в его каменную щель... а еще лучше, кабы умчал в свою глухую, без адреса, деревню, где никто не признает в ней беглой циркачки.

По возвращении Пугль нашел Таню на полу, у печки, с головою на подлокотнике придвинутого кресла. Она сладко спала. Дым целиком вытянуло, в воздухе держалась только горечь гари, да незаметный в потемках пепелок непостижимо разнесло по комнате; одна его черная стружечка как живая шевелилась на столе. Старик распахнул окно, извозчичья лошадь шагом зацокала в ночной тишине. За один вечер похудевшая Таня раскусанными губами улыбалась во сне, точно достигла наконец желанного безветренного берега. Чтоб не потревожить ее сна, Пугль включил свет в коридоре и сперва не мог понять, что именно, такое существенное, вынесли из помещения; минутой позже он различил на выцветших обоях пятна от уничтоженных афиш. Непоправимая, как сожженная бумага, новость отемнила ему рассудок, ноги отказывались держать его, он опустился на пол рядом с Таней.

— Не улыбай, не улыбай так... — заклинательно шептал старик и тянулся рукой, не смея коснуться, как к самоубийце.

Танино пробуждение было болезненное, неохотное, точно ее, согревшуюся наконец, снова выталкивали на стужу. Опустелая комната и плачевный вид Пугля напомнили о происшедшем; лицо ее тоскливо сжалось при мысли о напрасности жертвы. Она отряхнула платье и машинально стала приводить в порядок перед зеркалом растрепавшиеся волосы. Больше невмоготу было оставаться дома, и она надоумилась на самое худшее и лишнее в ее тогдашнем положении — бежать средь ночи к жениху, разбудить, открыться с риском проиграть все в одну ставку.

Даже не заметила дороги, так быстро донесла ее боль.

— Ну что же ты, ненаглядный и бессовестный мой!.. и сам не приходишь, и к себе не берешь? — еле добудившись, тормошила она его, угрюмого и заспанного, напрасно стараясь зажечь былую искорку страсти в мутных слипающихся глазах. — Ах, ведь ты даже не догадываешься, как безвыходно трудно мне сейчас... Бог тебе судья, я знаю, ты много любить не умеешь, у тебя дела, товар... но если хоть капельку можешь, то заступись, прижми к себе покрепче, Николушка, не отпускай меня никуда!

— Ладно, будя, будя, безумная... что с тобой творится? Это все мираж у тебя, ничего такого не случилося!.. — успокоительно шептал тот, гладя голое подрагивающее плечо и уныло борясь с неодолимым сном. — Это ты напрасно, будто я любить не могу... только слово такое не в ходу у нас, не наше. Мужики честнее говорят: я тебя жалею... чтоб не ошибиться. Потерпи кое-как до свадьбы, теперь скоро... обои привез, эва в углу сложены, и вообще житьишко знатно налаживается. Завтра еще одна ловкая сделка предстоит, а через годок так все и загудит в нашей жизни, Гелка!.. не боишься, что и на тебя наползут? — посмеивался Николка, почесываясь от усиленной, по ночному времени, деятельности невидимой нечисти. — Ладно, ступай теперь, а то у меня квартирные хозяева насчет женского полу строгие, враз откажут. В субботу свидимся, вот и натолкуемся досыта! — Одной рукой помогая подняться, он другою лениво шарил одежду, чтоб проводить невесту до ворот, в чем сказывалось ее облагораживающее влиянье, но Таня великодушно возвратила под одеяло огромную, горячую, не очень сопротивлявшуюся Николкину руку.

— Ладно, не нужно, я сама, я неслышно выпорхну, дверь защелкну и никого не разбужу,— усыпительно, дрожащими губами шептала она на прощанье, подсовывая концы одеяла За-

варихину под бока. — Ты спи пока, поправляйся, наживай деньги, побольше! И потом мы с тобой купим за мильон самое расчудесное счастье, размером в солнце... у цыгана из-под полы, ладно?

Она исчезла, унося частицу недолговременного Николкина тепла, тем еще странного, что по выходе на улицу ей стало вдвое холоднее. Мрачное безлюдье ночного города соответствовало Таниной болезни. Не нужно было притворяться, прихорашиваться, да и сама ночная жизнь большого города представала в неожиданных, чуточку развлекающих поворотах и сочетаниях. То пересечет мостовую торопливый озирающийся монах с саквояжем, то пробежит несообразно длинная собака, то проедет пьяная компания на извозчиках, держа на коленях у себя повизгивающих мамзелей... Тане полюбилось до свету, до полной бесчувственности бродить по опустелым улицам, заглядывать в освещенные окна, где еще не легли пока, чтобы без дозволенья побыть немножко при крохотных радостях чужой жизни. И почему-то лучшей погодой для таких прогулок бывало полное безветрие и еще если моросило вдобавок.

В одно из подобных странствий она лицом к лицу столкнулась с Фирсовым. Сочинитель возвращался с приятельской пирушки, был в меру под хмельком и напевал нечто себе в усы.

— Слава аллаху, мисс, который высылает вас навстречу моим мыслям! — вскричал он, галантно подметая тротуар своей разбойничьей шляпой. —А мы только что выпивали по маленькой, шумели, как оно и положено витиям,— о том, о сем, о всегдашнем к ним на Руси пренебрежении, хотя как раз им всегда приходилось подводить исторические итоги!.. — Он пренебрежительно махнул рукой. — А может, оно и правильно, так и надо с нами, мисс?.. разная сочинительская рвань, сплошь Моцарты да Сальери! Истинная мудрость не терпит шума, она в ледяном размышлении летописца, в уединенном скрипе его гусиного пера. А мы шатаемся, полыхаем, дразним пожарных на каланчах... потому что умственное вещество наше разогрето в высшей степени от беспорядочного трения противоречивых мыслей... поскольку мы существуем в эпоху величайших откровений и на мучительном переходе к высшему всезавершающему счастью, мисс! Когда-нибудь, если аллах дозволит, я еще обрисую приблизительные контуры будущего... Ужасно как тесно стало в извилинах ума и лабиринтах сердца, мисс. И вот, к примеру, в клетчатом пугале, что, оскорбляя благородный

взор, торчит сейчас перед вами, одновременно проживают без прописки двадцать семь человек. И вы, и вы там же обитаете, хотя, сознаюсь напрямки, на второстепенном положении. Мне вы нужны только затем, чтоб вконец осиротить героя. И оттого, что братец ваш пребывает во временном небытии, то есть в бездействии, теперь ваша очередь сгорать. Все хожу и маюсь, хожу и гадаю, как же мне дальше с вами поступать, бедная вы моя? — вздохнул он словно над чистой, неисписанной страницей, но тотчас испугался откровенности своей. — Кстати, до зарезу справочка нужна по цирку... как эта чертова махинация у вас называется, перекидка с одного турника на другой при вытянутых руках?

Она настороженно покосилась в его сторону.

— Банола, не мой номер... ко мне хотите приспособить?

— Не скажу, строжайший творческий секрет, мисс Вельтон. Сюда посторонним входа нет...

Они двинулись вместе, но не оттого, что Тане, как и Фирсову в ту беспутную ночь, было в любую сторону по дороге, а потому, что лучше хоть с Фирсовым, чем без никого.

— Клянусь, что возвращаетесь после нежного свиданья со своим коммерсантом, но где-то там, в середке, неизъяснимая тревога щемит... ведь правда? — приступил к допросу Фирсов. — Кстати, что он там очередное, грозненькое и грязненькое, замышляет, будущий повелитель ваш?

— Я не в шутливом настроении сегодня, Федор Федорыч!

— Нервы?.. а помнится, вы разъясняли мне, что циркачи народ грубый, что циркачам эти болезненные живые ниточки не положены.

— У меня другое болит, сочинитель.

— Что же именно, мисс? — вскользь осведомился тот, стараясь не замечать ее жалкой заискивающей улыбки.

— Крылья болят мои!.. но давайте сменим наш легкомысленный тон разговора, мы не ровня, Фирсов. Видите ли, я вот хожу и умираю, а вы всего только пишете интересную повесть о том, как умираю я...

— Поверьте, она не даст мне ни душевной сытости, ни телесной,— трезвея на мгновенье, вставил Фирсов. — Сколько я могу судить по житухе своего двойника, судьба этой повести будет поистине печальна, мисс!

— Но, по крайней мере, она сейчас доставляет вам радость проникновенья в тайны, которых до вас не открывал никто. Ведь это все притворство ваше, будто пьяны, чтоб удоб-

ней было щекотливые вопросы задавать. Признайтесь, вы и дня не смогли бы прожить без порции ваших бумажных мук, из которых только и черпаете мало-мальски терпимость к себе, жестокий вы человек. Не жалуйтесь, вам даже немножко приятны пристрастные критические побои, которыми всенародно и столько лет отличают Фирсова из всей вашей братии. Венки и розги сродни друг другу, разве не правда?

— Послушайте, мисс, мы с вами разрушаем жанр... циркачам не положена чрезмерная умственность,— еще суше проскрипел Фирсов.

— Ничего, мне теперь можно, я ведь ухожу,— недобро усмехнулась Таня.

— Не знаю, не знаю, откуда у вас эти блистательные прозренья?.. я предпочел бы вернуться в рамки наших профессий.

Они шли дальше, не различая улиц.

— Где-то у вас же читала я, будто перед гибелью наступает иногда странная прозорливость. Начинаешь видеть самый краешек бытия... видно, и я так же! — И вдруг в голосе у ней послышалось приказание пополам с нетерпеливой полудетской просьбой. — К слову, без гаерства: сколько еще у вас там страничек на мою долю осталось? Ага, недобрый знак молчанья... вот она откуда, ваша шутовская маска. Остающимся всегда капельку неловко перед теми, кому приходится досрочно исчезать... — Она умолкла, предоставляя место возраженьям, их не было. — Объясните же мне под конец одно мое последнее недоуменье. Вот чуть не всякую ночь теперь я в каком-то полузабытьи надежды скитаюсь по городу... и жадно прилипаю чуть не к каждому попутному окну. Может, не везет мне или глаз дурной, а только, куда ни взгляну, краска такая тусклая...

— Это цвет жизни, общедоступная мудрость се... — с поучительной иронией сказал Фирсов,— чтобы больше солнышко ценилось!

— И все же так увлекательно заглядывать в чужие окна... словно великое таинство свершается перед тобой.

Фирсов блеснул очками и благодарно потискал в локте влажный от непогоды Танин рукав.

— А она и есть таинство, жизнь-то! — подхватил он. — И ведь как же мы сроднились с вами за это время, мисс... Вы живете моими мыслями, я мучаюсь вашими страхами. И меня тоже давненько занимает это самое вопиющее несоответствие! Да потому, мисс, оно и манит так, чужое окошко, что это и есть театр в самом высшем смысле этого понятия. Не будем

льстить автору: уже добрую сотню веков там исполняется, не опуская занавеса, одна и та же, меж нами говоря, довольно банальная пьеска... даже без определенного нравственного и философского содержания, ибо то, к чему приложима тысяча вер и толкований, по существу не имеет ни одного. Конечно, драматургия и должна быть незамысловатой, как уличное происшествие, которое равномерно интересно всем прохожим. Потому что, в конце концов, всякий спектакль нечто вроде обеда по подписке, где зрители участвуют — редко наравне — в лучшем случае с чувством покровительственного превосходства над поваром. Они купили билеты на свои кровные, вдобавок их больше и числом. Они страсть не любят, когда чистоганом оплаченная еда урезается за счет чрезмерной сервировки... Нет, истинная беседа с современником может быть умной только с глазу на глаз, без театральных ротозеев, с правом выйти из нее в любую минуту, то есть беседа через книгу... эх, написать бы хоть одну такую! А пока давайте изберем себе окошечко в качестве наглядного пособия и взглянем, что творится на сцене в данный миг.

Он потащил и без того не сопротивлявшуюся Таню к полуподвальному, в уровень с тротуаром, и, из-за позднего часа, единственному теперь окошку, слабо сиявшему в потемках переулка.

— Имейте в виду, Фирсов, для меня это очень важно... все, что вы говорите сейчас! — напряженно вставила Таня.

Там, внизу, в неприглядной, оклеенной газетами каморке молодая женщина бранилась, судя по жестам, с кем-то за перегородкой и в то же время кормила грудью ребенка, державшего в откинутой пухлой ручке кусок колбасы. Из других умонаправляющих подробностей Фирсов с профессиональной беглостью отметил новые, не снятые, к слову, сапоги спавшего на кровати мужчины, бутылку из-под портвейна с давно проросшей вербочкой, цветное мерцанье лампад в углу и на стенке под ними изображение знаменитого современного полководца на лихом аргамаке.

— Вот... — торжественно указал Фирсов жестом лектора, приглашая ко вниманью. — Перед вами образцовое нагроможденье жизни, где все свалено в кучу и все играет одновременно, оглушительно, беспорядочно и нелепо... словом, оркестр в полтора километра длиной. Но стоит поднести лупу доскональ-ного следопыта к любой точке, и вас поразит гармония слагающих частей, глубина мотивировок, филигранность отделки и,

наконец, величайшее разнообразие, искусно втиснутое в предельную простоту, где любой зритель отыщет себе сюжет сообразно своей мерке и вкусу. И одного до слез потрясет здесь трагическая нищета и темная власть отживших навыков, другой же, напротив, порадуется на зажиток столичных низов и стихийное приобщение к победившей новизне. Третий полюбуется мимоходом на извечную святость мадонны с ее младенцем, четвертый в социальном разрезе подчеркнет опасное бытовое уклоненье главы семейства... и даже для ночного гуляки вроде меня, с запозданьем бредущего под семейный кров, тоже найдется комическая пища в соответствии с его веселым настроеньем. Всякий читает эту книгу на свой образец, только мертвецы придерживаются более или менее единого взгляда на явления жизни. Жаль еще, что окно закрыто, речей не слыхать, выбор тем тогда значительно возрос бы!.. Так и возникают враждующие литературные школы, встречные течения, всесокрушающие циклоны от могущественного завихрения идей, идущих в атаку или отступающих,— страстные поединки, даже костры под еретиками, сгорающими ныне без дыма и запаха. Примечательно, что порой на эти дискуссии и потасовки у человечества уходит сил гораздо больше, чем на самое творчество, пожалуй. Истина всегда была людям дороже счастья... к сожаленью, за последние две тысячи лет они пока еще не выяснили в точности, в чем она заключается. Да я и сам не могу решить, что же это — героизм, стремление к единству, нетерпимость зоологического вида или нечто за пределами нынешнего знания?.. Вон какие мысли родятся у чужого окна! В томто и состоит пленительная сила окна как зрелища, что по ту сторону этой идеальной рампы всегда действует безупречный актер. Он читает свою роль с листа, ни разу в ней не оступится, не оговорится, да сам же и расплатится жизнью в конце за сомнительное удовольствие ее исполнить. Вот отчего так трагически-значительно получается у этого актера... Отсюда и нам, художникам, урок: делать свои книги и полотна о жизни в полный беспощадный накал, без страха и с нежностью на границе безумия, как любят самую желанную на свете, причем — последнюю. Посмотрите же через мою лупу, мисс, на мир вокруг себя, даже на этот оббитый проезжими колесами, у помойки, голодную дворнягу напоминающий тополек. Какая неукротимая жажда бытия в этом пониклом блеске, в бессвязном бормотании мокрой листвы спросонья. Да и наша с вами отвлеченная, не очень будто правдоподобная беседа — может

быть, накануне роковых событий!.. какой занятный приобретает она игровой оттенок, если подслушать ее через воображаемое окно! — Утомясь, Фирсов принялся шарить табак по карманам. — Я действительно хватанул нынче через край, по причине одного неуместного раздумья... так что извините, коли где наврал!

— Напротив, вы сегодня в ударе, Фирсов,— сурово и холодно отозвалась Таня. — Неужели это судьба моя — причина такого неистового вдохновенья?

— Не только в ваше окно гляжу я, а и в свое собственное,— примирительно подтвердил Фирсов. — Я гляжусь в него ежеминутно, поелику это и есть хлеб моего ремесла.

— Вы полагаете, мне и самой было бы завлекательно поглядеть на себя, нынешнюю, через это окошко?

— Ну, для этого вам пришлось бы хоть бегло полистать мое сочинение, мисс.

— Могу я надеяться, что оно еще застанет меня? — как-то вскользь обронила Таня. — Или сочинения пишутся одновременно с действительностью?

Фирсов укоризненно качнул головой.

— Вы вторично спрашиваете меня о том же,— грубо и честно сказал он. — И не посматривайте на меня этаким гефсиманским взглядом. Я понимаю, вам не хочется... но вас у меня целый хоровод, и кровь во всех вас из одной и той же склянки. Наконец, это просто творческий секрет, мисс! Сопротивляйтесь, это облегчает... Ну, тут мне пора к супруге своей сворачивать, а вы... не опасаетесь? Он усиливается, этот коварный дождик!

— Я погуляю, пожалуй... в моем положении не простужаются. Ступайте, не стесняйтесь: повести всегда короче жизни, так что авторы имеют время спать.

Он снова коснулся шляпой тротуара.

— Да, уж извините меня как-нибудь...

Откинувшись затылком к газовому фонарю, Таня выжидательно, чуть вкось глядела сочинителю вслед. Тот уходил бочком, торопливой, то и дело сбивающейся с шага походкой, как бывает при нечистой совести. В мокрых плитах, подобно нитке оплывших фантастических бус, отражалась вся, до поворота вдали, фонарная аллея. И уже почти скрылся за углом, как вдруг спохватился, обернулся, побежал вспять.

— Эх, о самом-то важном и запамятовал я,— крикнул он еще шагов с десяти. — Известная вам Зина Васильевна Балуе-

ва справляет день рожденья послезавтра и просила передать вам при оказии, что лучше всякого подарка было бы ей обнять любимую сестренку Мити Векшина. Ведь вы возвращаетесь в цирк лишь на той неделе, так что вечера у вас свободные пока? Вот для верности и с вашего позволенья я и забегу за вами во вторник вечерком...

Таня не изменила позы и ничем не выразила своего отношения к сказанному: ни согласия, ни благодарности за очевидную отсрочку своей гибели.

На сей раз Фирсов исчез почти мгновенно.

XII

Прежде чем приступить к описанию всеобщего переполоха на сборище у певицы, Фирсов не без пользы провел денек накануне, причем в самом опасном столичном — после разгромленного Артемьева шалмана — логове, как пришучивал он над собой. К лету Доломанова перебралась на новую квартиру, в скромное, на глухой улочке, трехэтажное строение, сплошь населенное приличными малосемейными людьми умственной деятельности. О своих прежних мимолетных встречах с нею сочинитель вспоминал с нескрываемым раздражением, особенно после той конфузной неудачи, на паперти. Ему было маловато острой, чуть иронической дружбы, которою дарила его эта женщина, в его сердитом просторечии — Агеева вдова. Несмотря на доводы рассудка, прочно держался осадок какой-то детской обиды, происходившей из смешной уверенности, что по своему авторскому положению, как свой человек, он просто право имеет на особое расположение у своих персонажей.

Из этой игры в интеллектуальную близость, причем философствовал главным образом сам Фирсов, а собеседница с не меньшим искусством внимала ему, сочинитель почерпнул немало ценнейшего материала для изображения маленького фирсовского двойника и такой же доломановской тени в теперь почти до средины доведенной повести. Полегоньку автор свыкался со своей скромной участью, когда дошедшие до него стороной нелепые и тем не менее упорные слухи насторожили и по сорвавшейся у него обмолвке просто оскорбили его навылет. Утверждали со слов пятнистого Алексея, что Доломанова вот уж побольше месяца как поселила при себе давно и безнадежно влюбленного в нее курчавого Доньку — видимо, на пра-

вах телохранителя или привратника пока. Всем понятно было, что при его адском и вспыльчивом самолюбии Донька никак, по выражению того же Алексея, не подался бы в холуи к Вьюге, если б не рассчитывал на соответственное подвигу вознаграждение. У всей подпольной Благуши невольно создалось тогда впечатление, словно при тишайшей водной поверхности выхлестнулись наружу два сильных и темных, сцепившихся в мертвой хватке тела и снова исчезли до поры.

Поначалу известие это до такой степени разгневало сочинителя, что он впопыхах поклялся не встречаться более со злодейкой, по всей видимости — беспредельно распущенной, а писать ее аскетически, по памяти. Однако по трезвом размышлении сам постигать стал, что равным образом и Доломанова, при ее проверенной, до надменности гордой щепетильности, ни за что не приблизила бы к себе хоть и талантливого, даже смазливого в известном смысле парня, но бесшабашного и слишком уж падкого на любые радости жизни, если бы не сбиралась сделать его орудием какого-то еще не открытого сочинителю плана... Словом, целую неделю едва ли не с ожесточением вспоминал Фирсов о Доломановой, как вдруг в канун означенного вторника, чуть утром глаза протер, представил себе со всей живописной неотвратимостью, как на исходе дня, близ пяти, будет он униженно и неминуемо стучаться к ней в черную, наверно аккуратной клеенкой обитую дверь. Оставшееся время он с пользой употребил на придумыванье поводов для своего визита, лучшим из которых оказалось — пригласить Доломанову в гости к певице на предмет дальнейшего взаимного ознакомления. Как ни вертелся по редакциям весь день, какие ни придумывал затяжные предприятия в другом конце города, но ровно за десять минут до рокового срока уже торчал на ближайшем углу, грыз папироску, проклиная себя, клетчатого мальчишку с бородой, за вопиющую безвольность... В расчете на предсказанное и неоправдавшееся похолоданье был он в неразлучном демисезоне, а уж с полудня июльский воздух в небе пылал как синее пламя. Никаких тучек не замечалось пока над головой, но, судя по скопившейся в воздухе истоме и — как чистились куры под заборами, а благушинские хозяйки снимали белье с веревок, откуда-то подбиралась благодетельная гроза. Первый же с пылью поднявшийся вихрь Фирсов счел достаточной причиной укрыться в доломановском подъезде. Взбежав затем, не без борьбы с собой, на два марша лестницы, он позвонил сперва, после чего побарабанил от не-

терпенья в безошибочно предвиденную, глухую и строгую дверь и наконец, для соблюдения авторского достоинства, пристукнул снизу башмаком.

Тотчас за дверью послышался шорох воровского движенья, и в узкой, за дверною цепочкой щелке показалась знакомая кучерявая голова с подпухшим от безделья и сытой жизни лицом.

— А, мировой сочинитель,— с кошачьей незлобивостью приветствовал Донька и притворным условным кашлем оповестил кого-то в квартире. — Давненько не видалися! Как, книжечку свою не нацарапали пока? Весь блат столичный рвется почитать...

— Книжечку написать — это, братец, не карман в трамвае вырезать,— поучительно отвечал Фирсов. — Иной раз перед ее выходом завещание писать приходится... Никак, на новое местожительство сюда перебрался?

— Да вот кельицу тихую отыскал себе для спасения души. В услужение поступил! Пожалуйте сюды амуницию, я ее на гвоздик определю...

— И как, доволен, братец? — скидывая демисезон ему на руки, поддразнил Фирсов. — Харчи, видать, достаточные?

— На нас с тобой обоих хватило бы... да и коечку найдется где всунуть. Так что ежли надумаете для вдохновления...

Это означало, что и Доньке кое-что было известно про фирсовское увлечение нынешней Донькиной хозяйкой.

— Под векселек, значит, нанялся? — не сдержась, отплатил Фирсов.

— Никак нет, Федор Федорыч, наличными получить рассчитываю...

Теперь ясно становилось, что со вселением Доньки к Доломановой на письменный стол к Фирсову валилась богатейшая какая-то, дотоле скрытая от него сюжетная находка, чем до некоторой степени возмещались чисто личные фирсовские огорченья. Автор попадал в разгар, может быть, еще год назад начавшегося действия, однако, стесняясь перед сочинителем, Донька наигранно щеголял своим новым лакейским положением у Доломановой. Голосом погромче Фирсов осведомился, дома ли уважаемая Марья Федоровна, и тот известил тоном показного усердия, что уважаемая, дескать, в настоящий момент р о л ю для кино изучают, сам же с гримаской приложил ладошку к склоненной на плечо щеке в обозначенье истинного ее занятья. Неожиданно, невесть откуда, верно из нахо-

дившегося тут же, за округлой стеной, святилища, послышался окрик хозяйки. С невозмутимым лицом Донька отправился через завешенный драпировкой проход доложить о приходе сочинителя и вскоре воротился с недобрым лицом.

— Просют... тогда уж, ежли доверите, то и бесценный колпачок дозвольте,— зло ухмыльнулся он, потягивая шляпу из фирсовской руки.

— Ну-ну, не хамить! — отбился Фирсов и на этот раз даже пальцем погрозил. — Вот погоди, изготовлю я из тебя нечто такое, с подливкой... Лучше вот слетай, братец, за папиросами пока... сдачу себе оставишь!

Он протянул бумажку покрупней, припасенную было на срочные домашние покупки, и Донька таким его взором опалил, что у иного дух зашелся бы, однако сочинитель выстоял. Оба одинаково обожали азартные игры. Принимая вызов, Донька усмешливо сжал деньги в кулаке и повел гостя, как у него вырвалось при этом, в пасть к хозяйке, в преисподнюю. Они миновали непонятного назначения округлый коридор, создававший преувеличенное впечатление обширности от сравнительно небольшой квартирки,— дверь впереди оказалась открытой. Фирсов вошел, пообдернулся; никто не окликнул его, он огляделся. В погоне за емкостью своей прозы он в описанио жилья и подсобных житейских мелочей неизменно включал характер и общественное положение действующего там лица, но что-то не получалось на этот раз. Фирсов находился в скорее овальной, чем продолговатой комнате, с одной стороны разгороженной не поровну гардеробом,— довольно просторной и вместе с тем удушающе-тесной из-за обилия незапоминающихся вещей. Дорогие, из дореволюционной действительности, безделушки, давно оплаканные бывшими владельцами, торчали всюду среди старомодной мягкой мебели, обезличенной множеством перебросок, конфискаций и прочих превратностей социальной катастрофы. Даже опытному фирсовскому глазу не за что было уцепиться здесь, все кругом было чужое, как маска. Только сквозь щели небогатой ширмы в углу удалось различить высокую, неудобную, девичьи белую постель с набором подушек, по-мещански пирамидкой сложенных одна на другую.

Единственное окно было заглушено тяжелой драпировкой с ниспадающими фестонами, электрический свет выбивался из-за шкафа.

— Ты не задремал там, Федя? —запросто и дружественно окликнул голос Вьюги. — Не слышно тебя...

И оттого, что некогда стало записывать некоторые первостепенные наблюденья, Фирсов втиснул в память как попало, без всякой очевидной связи,— гильотину, французских импрессионистов, Золя и еще одно словцо, им самим так и не разобранное впоследствии.

— Ах, вот она где, отшельница! — заторопился Фирсов и заглянул к ней в образованный огромным шкафом уголок, законно ожидая такого же стилевого продолженья. — Вон где предаетесь вы сладостному забвенью сна и во сне тому, кто так досадно и не вовремя угодил в казенную неволю...

— Не мели глупостей, Федя, а то прогоню,— не прерывая чтения, сказала Вьюга. — Лучше иди поближе, усаживайся прямо на пол, по-турецки... ешь вкусный привозной изюм и рассказывай.

Хозяйка полулежала на тахте, подобрав под себя ноги и с книжкой в руке, а на низком столике рядом стоял поднос с разнообразными сластями и огромным апельсином посреди.

— Шербета со звездочками нонче не выдают? — спросил Фирсов, неодобрительно и поверх очков обследуя угощенье Вьюги.

— Шербет надо заслужить сперва... Как, перестал наконец дуться на меня, бедный донкихот?

— Жуан, с вашего позволенья,— снисходительно поправил Фирсов, опускаясь на ковер,— если вы имеете в виду тот незадачливый эпизод на паперти...

— Ах, я путаю их всегда,— лишь теперь оторвавшись от книжки, засмеялась Вьюга. — Поделись же, где ты пропадал, какие виднеются паруса на твоих горизонтах и что я поделываю сейчас в твоем сочинении?

Фирсов взял большой грецкий орех, понюхал задумчиво и с пренебреженьем кинул назад.

— В повести моей, Марья Федоровна, вы возлежите сейчас на кушетке, на манер популярной финикийской богини, и взасос читаете раздирающую романею в трех частях с прологом и эпилогом. С улицы доносится начальный гром, готовится откровенье в грозе и буре, но богине на все это начхать. В гости к вам пришел колючий когда-то, а ныне прирученный чудак в известном демисезоне, и вы в награду за его муку собираетесь кормить его ценным изюмцем с ладошки... — гладко и монотонно говорил Фирсов, точно списывал с натуры.

— С ладошки не собираюсь... — улыбнулась Вьюга. — Так на каком же месте застыла твоя повесть?

— Повесть моя, в общем, цедится помаленьку. На днях с цирком заканчиваю... — скупо поделился Фирсов и замялся, хотя изнемогал от подробностей; после недавней ночной беседы начистоту Таня стала вдвойне дорога ему, и не хотелось произносить ее имя в скользком и грешном разговоре. — А в самом деле, чего это вы взаперти, в душном закутке сидите, как в остроге? Гнева божьего опасаетесь али так... по стародавней привычке?

Впрочем, он и сам осекся, даже губу закусил. Вьюга не прощала напоминанья о прошлом, а злой фирсовский вопрос прямо намекал на болезненную склонность покойного Агея к потемкам. Однако хозяйка ничем не выразила своего неудовольствия, будто не поняла.

— Совсем не то, Федя, а просто тишины ужасно мне хочется... лет на семь сроком! — спокойно отвечала она чуть погодя. — Кроме того, я тружусь теперь, Федя, хоть и не в поте лица, а все же устаю... очень глаза с непривычки от юпитеров болят. В кино снимаюсь, пробы пока, а все равно ночи напролет не сплю... не слыхал разве? — Вкратце и с убийственно меткими примечаниями она рассказала про задуманный фильм и открывшего в ней талант режиссера, довольно известного, к слову, и с такими же наивными домогательствами, как у одного ее знакомого сочинителя. — Тоже славу мне сулит, звездой экрана сделать обещает, а какой у меня дар, Федя, сам суди! Видать, уж я не первая у него... артист! Вытащит иную пташку из дворницкой, в каракуль оденет, ослепит суетой да поклонением, чтоб врезалась в него, болезная, как в господа творца своего... ну и потешится на старости с полгодика за казенный счет. А мне щекотно, да и забавно, я молчу... пускай его, думаю, пускай до конца меня откроет! Люблю, грешная, на людское удивление полюбоваться... — И, оставив на время ту дальнюю, ничего не подозревающую жертву, принялась за ближайшую. — Сколько я тебя знаю, Федя, никогда ты так не опускался. Какой-то неприглядный стал, и борода еще дремучей... Труды неусыпные гложут али с женой нелады?

— Да кто же виноват-то в том, карательница вы моя и сама нераскаянная грешница? — в тон ей шутил Фирсов. — Заездили вы меня вконец, право, вы и окаянные спутники ваши. Один супруг ваш покойный чего мне стоил! Из-за стола не вылезаю, в баню не пускаете сходить...

— Между прочим, в студии у нас личность подходящую ищут на беглого каторжника, в сценку одну. Не желаешь ли, я замолвлю за тебя словечко...

— Не жжет па этот раз, не кусает, повелительница! — иронически поскрипел Фирсов. — Заметьте, таланта на юмор тоже у вас нет... да и откуда ему взяться? Только злость.. да и то главным образом для домашнего употребления.

Гроза была в разгаре, но ни пальба летнего проливня, ни ее слепительные озаренья вовсе не проникали сюда. Лампа ровно светила на столике, и обуглившаяся сигаретка вертикально чадила в фарфоровом черепке. Хозяйка потянулась за другою, отложив книжку, и Фирсов узнал томик ранних своих рассказов, изданных накануне революции. Его перекосило всего, едва опознал свою фамилию на корешке. То было собрание начальных проб его пера, накиданных в запале юности, без знания предмета, с одним лишь нетерпением поскорей отведать всех пряностей на свете... При этом движении легкий китайский халатик распахнулся на Вьюге, и сочинитель различил ногу в сквозном чулке со смутной полоской кожи в конце, под каемкой белья. Своеобразно сложившиеся отношения автора и его персонажа, да еще в пылу шутливой перебранки, допускали известную степень фамильярности,— теперь это была расчетливая, безотказного действия месть. Фирсов демонстративно отвернулся, но Вьюга не поправляла беспорядка, будто не знала о нем; сочинитель снял очки, но и это не помогло, потому что, куда ни пытался смотреть, всюду видел одно и то же.

— А кстати, Федя, как же ты не навестил меня на новоселье?.. стыдно забывать друзей!

— Не заслужил, видать, приглашения, не удостоился... — поскрипел на ее уловку Фирсов.

— Ай-ай, неужто я своего автора из списка упустила? Полон дом гостей, а без самого главного... Тогда кто же это в буфете шуровал... а потом его унесли куда-то? Тоже из непризнанных гениев, только без бородки и вообще помельче, помнится...

— Кому же и быть, как не придворному поэту вашему,— в том же духе поддержал Фирсов, кивнув на стенку в сторону прихожей. — Как же это вы нас смешать могли... Жаль, что не довелось... до смерти люблю наблюдать вас в вашей природной компании!

Он тотчас понял, что не рассчитал силы удара; вместо ответа Доломанова только посмотрела куда-то в лоб Фирсову с не предвещавшей добра улыбкой.

— Ну, и как же я, на твой взгляд, устроилась... нравится? — спросила она как бы мельком.

— О, я вам отвечу, и даже с небольшим прогнозом на будущее, но предварительно несколько замечаний насчет коленок вообще и дамских в частности... — невозмутимо начал Фирсов, напрасно стараясь закрепить взгляд на чем-нибудь грустном и постороннем. — Со времен нашего с вами знакомства я неоднократно задавался вопросом, мадам Вьюга, о предназначении в кругообороте вселенной вашей признанной красоты... не зря воспетой тем самым стихотворцем из чулана! И я довольно долго гадал, знаете, какого черта ради природа вложила столь адского действия заряд в довольно заурядную дамскую коленку, в которой, право же, нет ничего ошеломляющего, вроде Ниагары там, Попокатепетля или чего иного в том же величавом стиле... однако крупнейшие общественные деятели всех времен и народов пускались ради нее на всякие неописуемые шалости, пакости и, порою, даже геройку на грани преступленья!

— Ну и что ты придумал? — не шевельнувшись, поинтересовалась Доломанова.

— Лично мне и с вашего позволенья, штука эта представляется довольно наивной конфеткой человеческому роду в награду за размножение... по существу — обманом, который раскрывается лишь по созревании семянки в облысевшем цветке. И вообще они дорого обходятся нам, эти ползучие, вслепую, поиски совершенства, сопровождаемые капризным и свирепым вдохновеньем... а без взятки попробуй-ка, уговори нас! Природа нахлестывает и гонит людей по самому дикому бездорожью... и кто предскажет, какие еще чудеса и подвиги может выхлестать она из человечества детским кнутиком любви? И ведь так хитра, проклятая, что, ослепленный женской наготою, юноша всякий раз забывает, зачем в конечном итоге создана эта розовым светом изнутри пронизанная округленность. Но примечательно, что, наверно, и майский жук, хоть и не пишет сонетов в чулане, так же млеет при виде своей жучихи и в меру воображения превозносит ее с ума сводящие коленки на своем жучином языке. Что поделаешь, нечестивица, природе нужны детишки... как, впрочем, и умные повести о них, без которых больно уж неприглядно выглядело бы все это. И вот вровень

с усердными тружениками любви шагают великие пророки, первооткрыватели глубин... но ведь за самое божественное творение ума и сердца природа не платит им и сотой доли наслажденья, как за это с а м о е... разве только костер при жизни да посмертно монумент в Таганке из каслинского чугуна! — Все это изверглось из Фирсова почти без запинки, и вдруг, сдаваясь, взмолился о пощаде: — Любое поношение принять от вас готов, но сделайте же милость, прекратите вашу неумную пытку, ни в каких застенках не предусмотренную. Прикройте ваш коленный сустав, не делайте из меня майского жука, вы... наставница грешников и радость падших!

Доломанова откровенно тешилась видом гостя, терзаемого подобием смешной и жгучей лихорадки.

— Я порою просто боюсь тебя, Федя... — невесело пошутила она,— и все вы одинакие... потому что все люди одинакие, когда дуреют. На нож полезете, мать родную ограбите за эту самую сласть жизни. Ишь ведь как корчит тебя... Так что же, нравится тебе у меня?

Фирсов несколько раз принимался раскуривать папироски, почему-то все рассыпавшиеся по швам.

— Ничего себе гнездышко... с паутинкой,— еле сдерживаясь от ярости, заговорил Фирсов. — В таких вот прелестных уголочках, обставленных уютной бахромчатой мебелишкой, романисты прошлого века, вроде Золя, любили помещать красоток с перерезанным горлышком... Непременно чтобы поперек этакой белоснежной невинной кроватки и тоже обрамленное кружевцем обнажение слегка, растоптанная роза на ковре посреди застылых до черноты потеков... словом, натюрморт в манере Спейдерса... лихо, черт голландский, всякую убоину писал! Нет, вы не меня бойтесь, красотка, а этого самого, из прихожей. Мне, конечно, все поступки ваши сгодятся в повести, а только зря вы себе мужскую прислугу завели, доверчивая вы душа. Любопытно, чем же прельстил он вас, сей бедовый мальчик с большим и печальным будущим?.. мужественной наружностью, гением поэтическим своим либо бачками, то есть сходством с одним известным вам лицом?

— Ах, Федя, Федя, нашел с кем счеты сводить! — пристыдила Вьюга. — Ты до некоторой степени светило, на тебя сколько места в газетах тратят, когда бранят, а Донька обыкновенный вор. Не ревнуй, а лучше пример с него бери: тоже в стихах меня превозносит и, между прочим, ничегошеньки в награду не требует... не как другие! И пить перестал вдоба-

вок, цены такому нет. Полюбуйся, вон целая кипа на подоконнике скопилась...

— Такие стишки, хе-хе, по восемь метров в час пишутся, а ежели автора свиными шкварками подкармливать, так и вдвое! — горячился Фирсов, утрачивая душевное равновесие. — Слыхал я не раз его рукоделья... «Засунь мне руку в сердце это и расхвати напополам...» — прочел он с издевкой превосходства. — Вам и в самом деле щекочут самолюбие эти скорбные острожные вирши, чудовище?

— Произведения его, возможно, и не удовлетворяют требованиям тонких знатоков, вроде тебя, Федя,— рассудительно и мягко возразила Вьюга,— зато они кровью сердца писаны, а у тебя только чернилами. Опять же Донька нынче третья, всесильная рука моя. Прикажи ему сейчас — пришей Фирсова, сделай ему мокрый гранд, так ведь без раздумья, ветром на тебя кинется...

После подобных взаимностей следовало только ссоры ждать и даже полного вслед за ней разрыва, если бы только сочинитель смог на достигнутом этапе прогнать Вьюгу из повести своей, а Вьюга — самовольно уйти с его страниц. С некоторого времени Фирсова преследовало поганое ощущенье, что беседа их происходит при незримом свидетеле; то и дело внятный шорох слышался за шкафом, на входном пороге, а потом предупреждающе стукнулась о стенку отошедшая дверь. Лишь гораздо позже догадался он, что вовсе не для него предназначалось сказанное, а для того третьего, которого она точила, как нож на оселке, для последнего и главного теперь поступка в ее жизни.

— О, обещаюсь вам, Марья Федоровна, особо отметить в повести своей,— не сдержась, процедил сквозь зубы Фирсов,— что незабвенный облик покойного Агея Столярова то и дело проступал то в жесте, то в живой образной речи вашей...

Снова испугавшись дерзости своей, он смолк и уныло ждал кары, но гнева не последовало и теперь. Только Вьюга с холодным любопытством покосилась на смельчака, сидевшего у ней в приножье,— только тени в ее глазницах поглубже стали да щеки будто осунулись слегка.

— Я сейчас тебе, Фирсов, одну вещь повторю, и ты ее на всю жизнь запомни,— внятно произнесла она чуть погодя. — Запрещаю тебе имя это при мне произносить... мысленно даже, потому что все одно услышу. Не дразни меня: я гораздо хуже, чем ты думаешь и читателям своим меня выдаешь. Я всякая...

прежде всего раскаленная очень! — С полминутки она выжидала с закрытыми глазами, пока не вернула себе прежнего спокойствия. — Ты последнее время какой-то неприятный, раздражительный стал: и на язык, и вообще... За то и костерит тебя критика, ровно конокрада на ярмарке. К твоему сведению, у воров эта процедура п р и м о ч к о й н а п у п называется... запиши, может и пригодится где!.. И столько все кругом наперебой толкуют, будто у тебя постоянное роенье мыслей, доставляющих хлопоты окружающим, что я решилась наконец всего тебя почитать. И прочла я твои мысли, деньги затратила, а они, знаешь, неинтересные у тебя. И не то чтобы очень неинтересные, а неуместные, даже несмирные иногда, а уж пора бы тебе и угомониться! И на что похоже, Федя, самовиднейшие герои на поверку оказываются у тебя и не герои совсем, а чудаки какие-то, маньяки, и даже буквально черти рогатые присутствуют в ранних рассказах. Ай как нехорошо прививать массам веру в нечистую силу!.. ты что, действительно мистик или из духовного звания?

— Бывший мулла с довоенным стажем,— мрачно выдавил из себя Фирсов и, лишь теперь расслышав что-то, с признательностью припал к руке Вьюги. — Вы умница-разумница моя, Марья Федоровна, Маша... и как хорошо, что время от времени украдкой от мира я могу прийти и помолчать с вами о самом святом на свете!

И тотчас, как тогда, на паперти близ Артемьева шалмана, прорвалась обманчивая, безраздельно овладевшая Фирсовым страсть к этому образу, с прибавкой скопившихся за истекшие месяцы авторских тревог и ревнивых подозрений. Он даже забыл о возможном свидетеле своих признаний,— ничем нельзя стало теперь унять, остепенить сочинителя. Галстук его сбился набок, дымчатые очки валялись на коврике, в опасной близости от беспокойных колен, а Вьюга еле успевала отбиваться от фирсовских рук, точно их выросло вдесятеро. Никогда не привлекали ее внимания фирсовские серые с желтинкой сумасшедшие глаза — наиболее примечательные в его плебейском, заурядном лице... но как же стало любопытно ей глядеться сквозь его потемневшие зрачки и там, на дне, узнавать свою собственную пленительную и зловещую тень... так интересно, что для этого даже стоило претерпеть фирсовские, все заново и со всех сторон возникающие руки, даже эту необузданную, лишь в альковных потемках допустимую бормотню.

«Вот уж месяц зарекаюсь ходить к тебе... отречься, но, проклинаясь, прихожу. И опять ты нехотя внимаешь смешным признаньям человека в клетчатом демисезоне и не гонишь — разве только из надежды, что дальше станет еще смешней. Мне нечем обольстить тебя, потому что воистину невесомы мои богатства, и только один я на свете знаю, до какой степени царство мое от мира сего. В отличие от столь многих, бездумно благоденствующих среди всемирного смятенья, я не дам тебе ни славы, ни достатка, ни душевного веселья. Она безрадостна, моя пустыня, населенная тоскующими призраками, которым не дано осуществиться никогда. Вот я хожу и сбираю в свою корзину эти огоньки во мгле!.. Хочешь, будем смотреть вместе, как блуждают они по нескончаемым Дантовым кручам, среди фантастических пейзажей... и ткут из этой светящейся нитки клубки мнимых событий и людских душ... из которых одни стремятся привести в исполнение знаменитую мечту, померкающую немедленно по достижении, другие же завоевывают бесполезные для счастья пространства или всю жизнь напролет сражаются из-за ничем не утоляемого влечения к мнимой истине. И все они усердно, со знанием дела покрывают ранами друг друга, но не умирают, предоставляя это мне одному. Когда же им наскучит взаперти, какой-нибудь один да вырвется наружу... и вот по небосклону среди надменных возничих, вечных дев и тучных чиновных козерогов скользит падучая звезда, а следом — свора преждевременно ликующих гончих псов и ты за нею — со своим кометным шлейфом и клетчатым чучелом позади, завершающим этот адский полет сквозь предрассветную мглу на шабаш неродившихся душ... Все это я дарю тебе, но... поторопитесь, ведьма, пока не сгинуло: уже седые пряди на висках, и скоро петух запоет на соседнем дворе!.. словом, захоти, и я поведу тебя сквозь туманную, тревожную, как серое пламя, колеблющуюся толпу... и ты одна станешь решать жребий каждого. Или я сам напишу их судьбы по твоему выбору и принесу тебе, а ты прочтешь, разорвешь и бросишь. И потом, когда перегорят тонкие вольфрамовые нити и погаснет лампа, ты сможешь выйти иногда из своей могилы — погреться теплом людского участия или удивленья...» Так выглядело в несколько причесанном виде, у самого же Фирсова, его хаотичное словесное изверженье, которому дополнительную убедительность придавали то потрясавшие дом раскаты грома, то страстный, о стекло, шепот ливня.

Он кончил своевременно, коротки июльские грозы.

— Ну, все теперь? Вот и славно... — заключила Вьюга,— а то испугалась, совсем ровно припадочный стал, вроде и пена на губах. Уж не помер бы, думаю,— хоть и бранят, а хлопот с ним не оберешься. Опять же, ведь все это чистое бахвальство твое, Федя. Ну, какое такое царство ныне у частного лица... да еще с призраками! Счастье твое, что не критик с дубцом, а только вор за ширмой стоял, подслушивал. Всыпал бы тебе по первое число за призыв к загробной жизни. Доня,— чуть повысила она голос,— открой нам окно, дружок, а то душновато у нас тут стало...

В то же мгновенье, не скрываясь больше, Донька выступил из-за шкафа. С каменным лицом, ни на кого не глядя, он прошел к окну, поднял штору и распахнул обе рамы настежь. Влажная, зеленоватая прохлада ворвалась в убежище Вьюги. Гроза ослабевала, только громадная лужа во внутреннем дворике изредка вздрагивала от запоздалых капель, но главная туча уже отгремела, отблистала, изошла; рваные клочья ее с отдаленным урчаньем уносились на восток. В проникновенной тишине слышались голоса вперемежку с птичьим щебетом в смытой, ликующей листве, взводисто орал металлический баритон, звенело удаляющееся что-то, но все эти шумы улицы звучали так раздельно и благостно сейчас, словно граммофоны, птахи, трамваи и люди поклялись хоть часок пожить дружно, не утесняя друг друга.

— Шербету не принесть? А то застоялась там початая бутылка три звездочки,— бесстрастно спросил Донька. — Тоже и лимон в запасе найдется.

— Гостя спрашивай... не угодно ли, Федя?

— Пить хочу,— без выражения отвечал Фирсов.

— Ступай пока, Доня, в чуланчик к себе... я кликну, если понадобишься. Накропай мне еще стишочек там хорошенький... отправляйся!

Проследив по шорохам его уход, Вьюга разорвала апельсин со столика и половину, истекающую, дружественно протянула сочинителю. Тот потянулся было, однако, прежде чем взять, поднял с полу очки, чудом уцелевшие при объяснении; без них и после случившегося он почитал себя как бы голым. И тотчас, бросив рядом щедрый дар Вьюги, принялся суматошно записывать какую-то осенившую его внезапность. У него был вид человека, распихивающего по карманам пригоршни золотоносного песка с намерением промыть дома, на досуге;

видимо, он долго мучился в поисках малой крупицы, пока не напал на целое месторождение. Чтобы не мешать, Вьюга отошла к зеркалу оправить волосы, потом оказалась у окна,— Фирсов все писал. Он делал это с забавным ожесточением, присвистывая, шевеля корявыми перстами мастерового, усмехаясь чудесно возникавшим сочетаньям действительности, вернее — отражениям ее в себе самом, причем нисколько не смущался присутствием Вьюги — потому ли, что за минуту перед тем показывался ей еще более комичной стороной, или — нечего стесняться сидевшего перед ним призрака. Когда накал чуточку поостыл и как бы вязнуть стал в бумаге карандаш, Фирсов поднял на хозяйку усталые, огоньком утасной радости светившиеся глаза,— их взгляды встретились.

Тут деревья зашумели, засверкали падающей капелью, закачались за окном от прощального шквала покидающей грозы.

— Как странно, Фирсов,— совсем другим тоном, неуверенным и чуть искательным, заговорила Вьюга, опять отходя к окну. — Вот я шучу над тобой, читаю тебя, сержусь... а ведь ничего о тебе, в сущности, не знаю. Сколько лет тебе?

— Не так много, чтобы отказываться от глупостей, но уже достаточно, чтобы втихомолку становиться мудрым.

— А ты давно женат?

— Восемь лет... и сверх того еще какое-то несчитанное количество.

— И дети?

— Лишь предвидится, сударыня.

С заложенными за спину руками Вьюга еще стояла чуть поодаль от окна и в профиль к Фирсову, по-прежнему сидевшему на полу. Багряный свет, пробившийся сквозь мокрую листву, и прозрачный шелк халатика скоротечно и в последний раз обнажили молодую женщину,— всю линию от горла до колен... да еще вечерний ветерочек услужливо отпахнул легкую ткань, вновь бередя воображенье наблюдателя, но теперь Фирсов и бровью не повел, а лишь поглядывал хозяйственно, как на всякую иную ценность бытия, которая бесследно развеется, развалится, истлеет, если своевременно не закрепить ее в вечной памяти искусства. Он снова достал из-за пазухи спрятанную было записную книжку и, мельком заглянув в тесно исписанную страничку, всунул туда еще строку.

— Что ты записал сейчас? — ревниво спросила Вьюга.

— Так, поправка к недавно высказанной мысли... из взаимоотношений одного творца и досрочно отслоившегося творения.

— Не понимаю... — нахмурилась Вьюга. — Покажи!

— Никак нельзя, сударыня, в зародыше эти вещи непривлекательны. Вот блюдо изготовится, подрумянится, подслащу малость, тогда кушайте на здоровье!

Он поднялся с полу и постряхнул приставшие на коленях ворсинки от ковра.

— Собираешься вставить в повесть и эту сцену... как ты ползал передо мною здесь?

— Непременно, сударыня,— с горькой прямотой признался Фирсов. — Художники всегда циники... никакой задушевной бесценности не пощадят! Чуточку сгодится — немедленно туда, все туда же, в ненасытную пучину. Отравленный народ, такие!.. ну, я пошумел тут, разболтался, извините. И разрешите откланяться теперь!

Ему пришлось опустить напрасно протянутую руку. У Вьюги было мучительное чувство, что вот он уносил самое существо ее с собою, ни капельки себя не оставив взамен. И неопределенная тоска неизвестного ей настающего одиночества помешала ответить на фирсовское рукопожатье.

— Знаешь, Федя... мне захотелось расспросить тебя... и, если еще не поздно, побродить с тобой немножко по твоему царству. Оставайся, сочинитель!

— Не могу, пора,— разводя руками, отстранился тот. — Кроме вас, еще дюжина персон сидят во мне некормленые. Вопят, толкутся, жуют меня извнутри... Они питаются мясом!

— Очень советую тебе остаться, Фирсов,— настойчивей повторила Вьюга, прибегая к последней уловке.

— Никак нельзя, обольстительница,— поклонился Фирсов, шутовской ужимкой защищая нечто не подлежащее не только прикосновеньям, даже обсуждению теперь. — Высоко ценю вашу любознательность к творческим вопросам, но... время ваше истекло, сударыня!

Чопорно откланявшись, Фирсов без сожаленья покидал эту на некоторый срок поблекшую для него комнату, потому что другие соблазны призывали теперь его карандаш и воображение. В прихожей, прислонясь височком к дверному косяку, поджидал его Донька с демисезоном и шляпой наготове.

Сочинителя он встретил сочувственным прищелкиваньем языка.

— Ай-ай, опять с неудачею? — умильно пошутил он. — Вот и у меня по той же отрасли невезенье... Дозвольте, я вам по товариществу помогу в мантильку облачиться. Да вы не стесняйтесь, Федор Федорыч, все это ей в один счет запишется.

— Спасибо, братец... — бросил ему через плечо Фирсов, влезая сразу в оба рукава. — Да прямей держи, чего ты там ерзаешь, ровно насекомое на игле?

— Ценных вещичек, извиняюсь, либо ножичка перочинного впопыхах, по полу ерзамши, не оставили?.. Я к тому, чтобы с полдороги не возвращаться.

— А что, опасаешься, за недобрым делом застану, в свидетели попаду?

— Куды! — подмигнул Донька. — Рано еще, не приспело, потерплю. Любовь... самая выносливая скотинка на свете. Чего честь людская либо гордость с совестью не стерпят, любовь все снесет... да еще от себя добавит. Ведь гляньте, какую петрушку из меня скрутила, весь блат потешается! Сна решился, волос падать стал, Федор Федорыч: вконец от нее полинял. Сам диву даюсь... А ведь сколько я их, всяких, перецарапал... Травились за меня, иголки глотали, с центрального моста в полую воду кидалися, а тут смотрите-ка...

Он спустился проводить сочинителя до улицы, чтобы без утайки поведать ему злоключенья воровской любви.

— Большую награду, значит, посулила? — негодуя на себя за свою низкую любознательность, проворчал Фирсов.

— Как тебе сказать, Федор Федорыч... в том-то и горюха моя, что почти безнадежно, з а т а к пропадаю. Велела проживать при ней в чуланчике, быть по надобностям... и вот живу. Господи, до чего Донька кучерявый докатился, в тараканьей щелке квартирует на манер мопсика! Даве ты у ей сидишь, может ручкой оглаживаешь, а я тем временем огрызок слюнявлю, стишоночек корябаю. А сдается мне, Федор Федорыч, и не ты у ей, не я, не Векшин даже на уме... еще какой-то ненаглядный дружок имеется. И, может быть, это всего только обыкновенный ножик... на кого? — Вдруг он приникнул, обжигая дыханьем ухо Фирсову. — Я и не знал, что и ты вроде меня ее описываешь... и т а м она у тебя тоже не дается, упирается? Я не изомну, одолжил бы на ночку почитать, Федор Федорыч...

— Поди ты к черту, рвань сизая! — взбесился Фирсов, как и прежде с ним бывало при неосторожном сближении с некоторыми персонажами повести своей.

Оттолкнув очень довольного этим вора, он вышагнул из подъезда прямо в лужу и, пока шел до ближайшего угла, по меньшей мере раз шесть зарок себе давал ногой больше не ступать на порог окаянного дома... и уж, во всяком случае, нарушить клятву не ранее, как через неделю. Фирсова немножко успокоило созерцание могучего клена за глухим забором соседнего больничного квартала, в частности — как величаво, в мажорной гамме только что пережитого тот всеми своими воздетыми руками приветствовал уходящую грозу.

Зайдя в укромный уголок, Фирсов записал, наравне с помянутым деревом, и Донькину просьбу, как черту к его характеристике — раз сами в руки дались!

XIII

Именины Зина Васильевна праздновала в середине октября, а родилась в июле. К этому дню и подгонял Фирсов общее собрание персонажей из своей повести,— торопливо заключались новые знакомства и связи, а ковчежные сожители втихомолку готовили подарочные сюрпризы. Вернувшись в тот вечер со службы с огромным пакетом красной смородины, избранной не за дешевизну, а исключительно за ее символическое цветовое значение, Петр Горбидоныч заглянул к себе в полураскрытую дверь и сокрушенно ахнул. Поведение сожителя и в самом деле являло собой пример непозволительного в общежитии своеволия.

Находясь в состоянии вопиющей раздетости, хотя и не совсем, Сергей Аммоныч выводил пятна со своей расстеленной по полу, довольно поношенной оболочки и, что в особенности возмутило Петра Горбидоныча, вполголоса при этом напевал. Рядом находился сомнительный пузырек пахучего содержания и стакан с водой, которою Манюкин и брызгал посредством рта на подлежащее уничтожению пятно.

— Чем это вы так, ваше сиятельство? — заходя сбоку, щурясь и всесторонне вникая, понюхал Чикилев. — Чем это вы отравляете общественную атмосферу?

— Нашатырным, ваше превосходительство! — будучи в отличном настроении и весь в испарине от усердия сверх того, поднял к нему разрумяненное лицо Манюкин. — Потом иголочкой кое-где дырки подтяну и снова буду годен к применению в жизни...

Уже одного этого достаточно было, чтоб взорваться и проучить наглеца, но Петр Горбидоныч сдержал в рамках свое законное негодование.

— Хорошо, допустим... Ну, а если посетитель придет ко мне?

— Так ведь некому, Петр Горбидоныч. Человек вы холостой, одинокий пока... друзей у вас, а тем паче собутыльников не имеется.

— Это мне не резон,— вскипятился, накрепко прилипая, Чикилев, возмущенный столь нахальным сопротивленьем.— А если ко мне, предположим, недоимщик ворвется взятку дать?.. должен я на него натопать, в страх вогнать, свидетелей созвать для привлечения преступника к ответу?

— Обязаны, ваша светлость,—смиренно мямлил Манюкин, тем не менее продолжая заниматься угрожающими здоровью пустяками.— Если не изменяет память, именно так повелевает закон.

— Так где же мне тогда простор для этого?.. как я могу соседок к свидетельству приглашать, ежели в комнате у меня разлито ядовитое вещество и почти полуголый старик врастяжку на полу валяется...

— Во-первых, я не валяюсь, а всего только сижу, что не воспрещено обязательными постановлениями,— заикаясь, однако вполне резонно указал Манюкин.— А во-вторых, от моего тут наличия вам только прямая выгода, Петр Горбидоныч, потому что, пока свидетелей звать, он ее, взятку-то, назад спрячет, да и отречется начисто, подлец. А вдвоем мы его ровно в клещи возьмем... цап за руку да в коробочку!

— Экую вы несусветную чушь плетете, Сергей Аммоныч...— искренне возмущался Чикилев столь очевидным нарушением логики и правдоподобия.— Какой же идиот, если хоть с самомалейшим соображением, станет при посторонних взятку совать? Настоящая взятка вручается наедине, еще лучше в ночное время, чтобы взаимно глаз не видеть и постороннего вниманья не привлекать...

— Это верно, пожалуй,— соглашался Манюкин, беря на ватку новую порцию все того же преступного состава,— на людях ее неудобно давать. В наше время из одной только зависти донесут!.. А не опасаетесь, Петр Горбидоныч, что ежли с соображением, так наедине-то он вас еще скорее уговорит? Ведь это все отборные говоруны, пройдохи, сквозь замочную скважину вагон мануфактуры уведут.

При столь откровенном повороте все аргументы возражений иссякли у Чикилева. Он только вздулся было от охватившего его негодования на род людской, съежился и потом снова вздулся — теперь уже на должностных лиц, по нерадению недоглядевших сей опаснейший обломок прошлого.

...Если не считать той заурядной стычки, остальные приготовления к именинам протекали безупречно. Жена безработного Бундюкова пекла сдобный крендель, и сладостно-тяжкий аромат его вытекал наружу через раскрытое окно. Такое безветрие стояло в тот вечер, что, несмотря на значительную высоту, аромат этот, который за маслянистость и некоторую приторность никак нельзя было назвать смрадом, свободно достигал улицы. Поэтому вся округа косвенно извещена была о радостном событии в помянутом многоэтажном доме. В ту же праздничную струю попал и Николка Заварихин, направлявшийся на торжество с некоторым запозданьем после закрытия дневной торговли,— Таня ушла туда значительно раньше, с Фирсовым... Николка шагал обычной небыстрой походкой, прицеливаясь на ходу ко всему, что можно было с барышом пропустить через кошель и прилавок, и так как не успел пообедать из-за неотложных дел, то эта вкусная тестяная гарь напомнила ему деревенские гульбы и годовые ярмарки по случаю совсем близкого теперь Петрова дня. Он подобрел, если не развеселился... и вдруг замер на месте от необъяснимого пока ошеломления чувств.

Чем-то бесконечно знакомая и нарядная — хотя ничто не бросалось в глаза, вовсе не запоминалось на ней! — женщина прямо перед ним входила в ворота дома. Заварихин узнал ее не сразу, ту самую, что однажды обманула его на вокзале в час прибытия в Москву, потому что в ином теперь была, построже, даже высокомерном облике. Крадучись, Заварихин скользнул за нею через двор, полный играющих детей да нянек, и сперва минуты на полторы потерял ее из виду, а потом камнем метнулся за нею в ближайший подъезд, где только и могла она исчезнуть. Торопясь, он взбирался через ступеньку, так что, даже предупрежденной грозным ширканьем заварихинских сапог, ей все равно некуда стало скрыться от погони.

Заварихину удалось преградить ей дорогу на промежуточной перед третьим этажом площадке. Положив руку на перила, он вгляделся в черты ее лица, таинственные для него и смутные в рассеянном свете пузырчатого лестничного окна. С терпеливой, чуть свысока улыбкой Вьюга ждала продолженья.

«Если ты грабитель, то долгая еще и болезненная предстоит тебе наука...» — казалось, говорили ее глаза.

— Скажите... — оробев, спросил он наконец, чтобы сверить с памятью полонивший его когда-то голос,— вы и есть та самая... или только сестра ее?

— Представьте, даже и не родственница... — с издевкой над деревенщиной отвечала Вьюга, одним взглядом отстраняя Заварихина, и у того осталось досадное ощущенье, будто прошла сквозь него.

Из-за позднейших пристроек номера квартир в тех доходного типа корпусах оказались перепутанными,— Вьюге пришлось опять спускаться на двор. И так велика была степень Николкина порабощенья, что он не посмел снова преследовать ее. Из-за бесконечных блужданий по этажам и подъездам к праздничному столу он попал со значительным запозданием — ровно настолько, чтобы за это время успела беспрепятственно удалиться Вьюга. По причине сюжетных изменений в замысле автора эта пара не сходилась больше ни разу; если даже впоследствии и встречались мельком, Заварихин не опознавал ее... Только в памяти сохранялся сгусток тревожного волнения, как на теле бывает оставшийся с детства, забытого происхождения рубец.

Никто у Зины Васильевны за стол пока не садился,— гости стояли где пришлось, разбившись случайными парами и тройками, казалось — спрашивая без смысла и отвечая невпопад. И до такой степени все пока сыровато и неустроенно было в фирсовской повести, что и двадцать минут спустя, к примеру, впервые приведя сюда Заварихина, автор даже не удосужился представить хозяйке это совершенно незнакомое лицо, чтоб поздравило ее со днем рожденья. Впрочем, из-за разгоревшегося к тому времени скандала никто из присутствующих не обратил на вошедшего особого вниманья.

Сочинителю было сейчас не до правил приличья или правдоподобья. Сидя в отдалении от всех на кухонной табуретке, без очков, но с записной книжкой наготове, локтями опершись в колени и в ладони погрузив лицо, он озабоченно и близоруко поглядывал сквозь пальцы на свое донельзя хлопотливое многоголосое хозяйство. Перед ним толклись, галдели вперебой, пытаясь спорить, вступать в надежные или, напротив, немедленно распадавшиеся связи, буквально все его персонажи, собранные отовсюду ради какой-то генеральной сверки. Если Зина

Васильевна действительно искала дружбы с Таней, как сестрой любимого человека, то Заварихин неминуемо должен был присутствовать на правах жениха последней, а Зотей Бухвостов и прочие с ним плечистые, рыночного обличья молодцы — в качестве постоянных Николкиных приятелей, будущих шаферов и компаньонов. В дальнем углу, у стола с бутылками и фруктами, остепенившийся Санька Велосипед украдкой прятал в карман для молодой супруги зеленое раннее яблочко, а невесть зачем взявшийся здесь Донька воспаленными очами всматривался в свою мучительницу, присевшую на диванчик поблизости от самого сочинителя... да еще какие-то там недорисованные, с мочалками вместо лиц, покуда не бывшие в деле, полузадуманные, дополнительно высовывались из коридора — не пора ли? Словом, их как сельдей там набилось, дышать нечем, несмотря на раскрытое окно, и Фирсов время от времени уныло скреб левый висок, словно не ведал, чем ему связать воедино свою, вот-вот готовую разбежаться паству.

Однако среди гостей сам собою завязался наконец недружный вначале разговор — неминуемый в силу различия характеров, положения в повести или несогласия во взглядах. И оттого, что Дмитрий Векшин был центром фирсовского замысла, споры и начались вкруг Векшина.

Неизвестно, с чего возник этот довольно вялый сперва и не в пользу Векшина обмен мнениями, но только, когда сам Фирсов вникнул в происходящее, спор был уже в разгаре, причем хозяйка, завитая и расфранченная, не скрывала беспокойства по поводу взаимных шпилек и отвлечений в смежные, нежелательные области.

— ...я понимаю, что как сестре мне полагается высказываться в последнюю очередь на такую щекотливую тему... — увлеченно, но с поминутными запинками говорила Таня при почтительном внимании окружающих — ее знали и бывали на ее представлениях. — Но я все равно вступилась бы за Митю, даже если бы совсем посторонней была. Лично я считаю брата очень прямым... и не то что добрым, потому что это не характерное для нашей эпохи слово, а скорее — до железности справедливым и, несмотря на все, честным... в том смысле, что он и под кнутом к врагу не перебежит, неправде не поклонится, словом, всегда таким останется, в какую бы ни попал беду. И, признаться, я не ожидала, что какие-то неуловимые, чернящие его намеки я услышу именно в доме, где, по слухам,—

и бросила беглый взгляд на пунцово запылавшую хозяйку,— где так любят его...

— За некоторыми исключениями!.. — зловеще уточнил Чикилев вежливым покамест голосом и в поисках вдохновения подмигнул увеличенной фотографии хозяйкина родителя на стене.

— Конечно, Митя суров и не щедр на ласку... как это вообще свойственно людям нашего времени,— с настойчивостью и несмотря на всеобщую настороженность горячилась Таня,— именно у таких людей трудней всего завоевать дружбу... но посмотрите, как быстро, и в депо и на фронте, одаривали его своей преданностью сослуживцы и соратники... после самого даже краткого с ним общенья. Мне Федор Федорыч рассказывал также, что и нынешние его товарищи все время предлагают ему деньги взаймы, хотя и не навещают в больнице... но вообще на все для него готовы. Я понимаю, что хорошего в этой дружбе мало... однако ведь это указывает на какое-то свойственное Мите обаянье, разве не правда? Люди, когда их много, никогда не ошибаются в оценке человека или событий... людей в массе нельзя, вернее трудно обмануть. Но почему, однако, все молчат... разве неверно я говорю?

Нуждаясь в поддержке, она окинула собрание заискивающим взором, но одни разглядывали картину над Клавдиной кроваткой, изображавшую осенний пруд с лебедями, розовыми от стыда за художника, другие налегали на смородину, ловко протаскивая веточки сквозь плотно сжатые губы, третьи делали еще что-то, тоже с видом деликатности, стремящейся замять бестактность известного им и симпатичного, в общем, человека. Лишь один из всех, вдруг оживившийся Фирсов послал дружеский, и немедля другой следом, одобрительный кивок Тане, которая даже побледнела слегка от своего сомнительного вдохновенья. И вот с новыми силами устремилась на защиту м л а д ш е г о брата, без особой надежды оправдать в чужих глазах его крепко опороченную репутацию, а, видимо, затем лишь, чтоб довести апологию Векшина до крайности, непременно поскользнуться на ней и тем облегчить сочинителю важнейший, только что прояснившийся перед ним сюжетный ход. Было что-то неприятно-деспотическое в том, как на пробу, верней для обкатки, вкладывал Фирсов в уста этой, все равно обреченной у него циркачки некоторые пришедшие ему на ум оправдательные соображения.

— Ужасно боюсь испортить торжество вам и вашим гостям, милая Зина Васильевна... — со всего разлета продолжала Таня, и так как никто не понимал, откуда бралась ее страстная и чрезмерно смелая горячность, все вопросительно поглядели на Фирсова,— но только хочется мне сказать, что когда такой великий, как у нас, происходит переплав людей и всяческого на протяжении веков накопленного ими достоянья и когда все, насколько глаза хватит, полыхает кругом, то всему живому больно бывает... хоть далеко не поровну. А когда больно, то непременно либо крик излишний с закушенных губ сорвется, либо ненужное телодвиженье совершишь... в такую пору бывает, что и боги извиваются!.. И без этой добавки в кипящее вещество никак живому не обойтись, иначе не становилось бы оно лучше, гибче, звонче впоследствии. Не от радости же бытия отправлялись раньше российские переселенцы на дальние, необжитые земли... — вслух думала Таня и, точно утратив ход мысли, сделала паузу, потому что Фирсов в ту минуту записывал в книжку: «Хотя случалось и от скуки, от удали, от мечты, от казачества...» — А потом приживались! В нашем бурливом круговороте все плавится, пляшет, клубится, течет, так что каждая крупица человеческая тыщу раз с другими перетасуется, прежде чем качественно новыми кристаллами застынет извергнутое вещество... разве не верно? Оно еще не кончилось, так кто же возьмется наперед предсказывать Митину судьбу? А ведь, карая, непременно следует будущее виновного учитывать, чтоб руки и благо человеческое зря не обагрять. В том-то и сила России нашей, что даже в пору благополучия никогда не обольщалась настоящим, а всегда добивалась в жизни высшей чистоты, жила смутной надеждой на лучшее впереди... Собственно, народ-то наш никогда и не жил как следует, а все к чему-то готовился, к предстоящему, не щадя себя и деток, не покладая рук. Я не шибко уверена, сознательное ли это качество, но только сдается мне, что ни у кого из прочих народов не развита до такой степени эта хлопотливая, даже досадная порою желёзка непрестанного усовершенствования, как у нас, пожалуй. Так уж предоставьте живому докипеть до конца, и не будем каркать преждевременно, где еще окажется Митя — на верху жизни или где-то в самой преисподней ее накипи. Не было случая, чтобы хоть однажды Митя обманул веру мою в него!

— А как давно вы знакомы с вашим братом? — неповторимым тоном сочувствия и превосходства спросила Вьюга.

Таня невольно опустила глаза.

— Это правда, я рано убежала из семьи от нужды и мачехи, и потом мы не виделись больше десятка лет... но что вы хотели выразить вашим вопросом?

— Мне нравится ваш запальчивый тон, вы примерная сестра, и, ах, как мне недостает такой же! Но вы непосильное взваливаете на себя. Вас ведь Таней, кажется, зовут?.. так вот не рухнуть бы вам под своей чрезмерной ношей, Таня. Я почти согласна, в этом кипящем каменном бульоне, как вы удачно выразились давеча, стихийно действуют восходящие и, напротив, низвергающиеся потоки... не скрою, это подтверждается кое-какими событиями и личной жизни моей. Однако, по счастью, сверх судьбы мы наделены еще и волей... и если у меня не хватило ее, к примеру, самостоятельно выйти из дурной игры, так я и несу за это полную ответственность. Мне тоже бог судил повстречаться с Митей... Так что когда я обмолвилась давеча, что ясность мысли и внимательность к ближнему не являются основными признаками Митиного характера, то я другие, неизвестные вам обстоятельства его биографии имела в виду... — и усмехнулась одними губами.

С непривычки к длинным спорам Таня уже устала и дважды виноватой улыбкой извинялась перед хозяйкой за отнятое у гостей время, но теперь никак нельзя стало ей сдаваться, отступать, отдавать Митю на новую разделку.

— Простите, как я могла понять по ряду довольно злых суждений о моем брате, вы и есть т а с а м а я Маша Доломанова? Кстати, он гораздо теплее отзывался мне о вас... но это вскользь. И вам, как я понимаю, все известить меня не терпится, что брат мой Митя вор? — пронзительно спросила Таня. — Мне это и самой известно, что он в остроге... верней, в острожной больнице находится, душевно благодарю вас. Видно, вы из тех, для кого единственную утеху составляет с у щ у ю правду про ближних разглашать... преимущественно жестокую. Они думают, что чем больше другого чернят, тем чистоплотней сами выглядят... но поверьте мне, это ошибочное мнение и, вдобавок, опасное. Великодушный народ наш не велит радоваться чужой беде... не зря он когда-то калачиком да грошиком острожника привечал, в пояс ему кланялся на лобном месте, вон как оно бывало!

Если все высказанные через Таню фирсовские рацеи выслушаны были с зевотой и недоуменной переглядкой присут-

ствующих, то заключительный ее оборот вызвал всеобщее оживление, так как почти у каждого имелись ценные практические соображения, как вырубить преступность во всемирном масштабе и в кратчайший срок.

— Ну, такое вредное милосердие к ним разве только в бывалошние годы случалося... — тем смелее внес свою поправку безработный Бундюков, что представителей уголовного мира, уже вычеркнутых Фирсовым, не виднелось больше на месте,— и потому лишь случалося, что находившийся в порабощении простой народ от воровства и не страдал, так как не только недвижимостью, а и движимостью-то ровно никакой не владел: чего на тебе надето, то и собственность. Я с Петром Горбидонычем в корне согласен, что в самых высших умах поразмыслить надо, стоит ли на преступников народные сбережения и и продукты продовольствия изводить, когда на те же самые средства можно вечерние университеты пооткрывать или водные станции с наймом лодок для отдыха трудящихся. Калачиком-то их и раньше разве только в светлый Христов день баловали, а нонче, с увеличением всеобщего достатка и поскольку вышло повсеместное облегчение народа от религии, в железные бы, бессрочные калачики надо их ковать, а еще лучше без поднятия лишнего шума на мыло их спущать... разумеется, только на техническое!

Речь его была выслушана с большим вниманием, хотя и без заметного одобренья.

— Понаслышке-то да без зазрения совести какие угодно пакости можно на человека наплести,— не сдержалась хозяйка, заливаясь румянцем и от негодования переставляя посуду на столе. — Ежели Марья Федоровна на те шесть тысяч намекает, что из артели взяты были, так даже на суде признато было, что Дмитрий Егорыч свою долю в тот же вечер до копейки вернул, под столом подкинувши. Кроме того...

— Ну это все вещи маловероятные, чаще всего в плохих романах попадаются, когда автор чрезмерных красок побаивается или сюжетные линии не в ладу... — не повышая голоса, лишь бросив иронический взгляд на Фирсова, перебила Вьюга. — Нет, я другое, поважнее имела в виду... посущественнее денег, пусть даже с в я т ы х казенных денег. Конечно, я не сестра ему, всего лишь подруга детства Митина... но еще до того, как однажды нас разлучила жизнь, мне довелось жестоко раскаяться в доверии к этому человеку...

— Вы понимаете сами, что надо твердо знать вину человека, которого вы беретесь обвинить в его отсутствие,— забегая вперед, страстно предупредила Таня.

Вьюга лишь головой покачала в ответ.

— Поверьте честному слову, милая Таня, мне и самой хотелось бы думать, что я ошиблась, но последствия Митина поступка я постоянно ношу на себе, на самом теле моем... впрочем, лучше не вникать глубже в это дело, потому что если уж очень станете настаивать на доказательствах или сердиться, как давеча, то я... — и поиграла ноготками по звонкой рубчатой поверхности стакана,— то я вынуждена буду открыться и у всех спросить заодно, не приходилось ли случайно и им пострадать от той же Митиной... назовем условно, железности!

— Это раньше вы его обвиняли или и теперь обвиняете? — дрогнувшим голосом, отторговать пытаясь что-то, спросила Таня.

— И теперь,— улыбнулась Вьюга. — Сказать?

Замешательство, страдание и борьба читались в лице у Тани.

— Верно, очень дурное что-нибудь? — мучилась она своим неведением.

— Ну, милая, это в зависимости от того, с какой точки смотреть, конечно... Но если вам так хочется, то я скажу, пожалуй.

Даже сидевшая вся теперь в пунцовых, под цвет платья, пятнах Балуева боялась слово замолвить за Векшина, чтоб не вызвать гостью на опасную откровенность. И оттого что не указано было, какой грех лежал на его совести, большой или маленький,— в создавшихся условиях можно было подозревать любой. В предвкушении острого блюда собрание так и подалось в сторону Вьюги, многие и про смородину забыли, а Бундюков даже привстал, увеличив площадь уха приложенной ладонью, чтобы попозже поделиться удовольствием со своею временно отсутствующей супругой. Уже, подобно актеру на выходе или тигру перед прыжком, Петр Горбидоныч изготовился перехватить интригу у Вьюги, уже Заварихин поднимался по темной лестнице, зажигая спичку перед каждой дверью, да приближались и прочие участники игры, а Фирсов всё писал, забыв выключить действительность. И пока он прокладывал черновые просеки в дремучую неизвестность повести, пока прикидывал в уме догадки о все еще не прояснившейся векшинской вине перед Машей Доломановой, пока сращивал узлы отдаленней-

ших глав, персонажи его жили сами по себе в соответствии с заданным характером каждого.

Следовало ждать, что сейчас-то, из той же неукротимой боли, Вьюга и приоткроет еще одну бесславную тайну Векшина, как вдруг, сдаваясь на милость, Таня быстро и предупредительно пошла ей навстречу с протянутыми руками, даже сделала неловкую попытку обнять за плечо, примостившись на что-то рядом.

— Не надо больше, пожалуйста...— примирительно и быстро заговорила она, слова не давая произнести,— ведь мы с вами и без того надоели всем, а я вдобавок за прошлую ночь глаз не сомкнула... еле на ногах держусь. Лично я вам не причиняла зла, правда?.. хотя и понимаю, что должна потерпеть от вас, если Митя в чем-то так ужасно провинился перед вами; ведь я родная сестра Митина!.. но вы по-другому взглянете на дело, когда узнаете, что я ничем, ни крохотной долькой не счастливей вас. И лучше давайте я к вам приду на днях... у меня сейчас уйма свободного времени, вот я и приду, да и порасскажу вам кое-что, в обмен на ваше, с глазу на глаз и без утайки... и вы мне тоже добрый совет дадите. Я с самой первой минуты поняла, у вас так много всего внутри, что вам поделиться с другим ничего не стоит... тем более что сама я безоговорочно верю тому хорошему, что Митя мне о вас говорил. Может быть, тогда нам всем троим чуточку лучше и проще станет. Так всегда с людьми в истории бывало: что бы ни случилось сегодня, самое, казалось бы, непоправимое, но все равно завтра им снова надо подниматься со светом, работать, обед варить, детей нянчить, жить... Значит, не прогоните, если я приду к вам, можно?

Так, нараспашку вся, старалась она подкупить, умолить, отсрочить что-то, но нечаянно, в поисках ответа взглянула в пристальные, немигающие глаза словно закаменевшей Вьюги, отшатнулась, попятилась, отбежала и неожиданно, что было уж совсем лишнее, разрыдалась, припав к высокому подоконнику. Тотчас собрание разделилось, женщины бросились утешать Таню, мужчины же, в пределах отпущенного, принялись обсуждать возможные варианты векшинского секретца, проявляя по части грехов значительную осведомленность, причем количество участвующих в суматохе лиц, одно время предельно сократившееся по воле Фирсова, к концу происшествия стало заметно возрастать, так что еще часом позже дело завершилось в битком переполненной квартире. Но пока сочинитель

прикидывал в уме, сколько и чего ему потребуется для предстоящей сцены, пока вокруг происходил тот невыносимый галдеж, какой позволяют себе действующие лица только в авторском воображении, до поднятия занавеса, Вьюга сама подошла к сочинителю.

— Слушай... я с тобой всерьез поссорюсь, Фирсов, если ты и впредь станешь неосмотрительно обходиться со мною,— заговорила она в привычном для обоих тоне полушутки, как если бы тот и впрямь распоряжался ее судьбой. — Я никогда не понимала своей роли в той начальной черновой прикидке на вокзале с ограбленьем Заварихина, но если даже я и понадобилась тебе как символ, как запевка... а потом она вросла в сюжет и, видимо, чем-то полюбилась тебе, эта запасная и, в сущности, никогда не использованная линия, то зачем тебе было вторично сводить нас сегодня в подворотне? Вот он постучится сюда через минуту, и затем неминуемое мое разоблаченье заведет тебя в такие дебри, откуда тебе уже не выбраться... Поторопись, вычеркивай меня скорей отсюда!

— Ах, вы всегда что-нибудь испортите, постоянная нарушительница благочиния и тишины! — раздраженно отбился Фирсов.

— И еще: я не спрашиваю тебя, автор, по какому злосчастному вдохновенью ты испортил мною мирное домашнее торжество этой толстой даме,— настаивала Вьюга,— но зачем, зачем было пугать до поры бедную и без того по всем статьям обойденную тобою девушку? Самые слезы ее просто не в характере циркачки, избравшей своим коронным номером исключительный волевой акт. Ну, кончай, Заварихин поднимается по лестнице... Мне пора уходить, Фирсов.

— Ладно... но прежде приоткройте свой намек на прощанье: в чем же состоит знаменитая векшинская вина?.. в том ли, что сам, не дойдя до цели, рухнул или — безоружного зарубил?

Почему-то не желая делиться тайной, Вьюга упорно противилась прямому фирсовскому приказанию, а тем временем запущенное в ход действие стремительно разворачивалось само собою. Уж сочинитель заставил Заварихина для задержки бумажку с адресом потерять, а дальнейшая отсрочка грозила приторможением сюжета. Раскрасневшаяся от кухонных хлопот супруга безработного Бундюкова уже вносила на листе фанеры чудо пекарного мастерства, богатырский крендель, напоминавший как бы сплетенные для объятья собственные руки

именинницы, чем решительно обозначалось наступление второй, развлекательной половины вечера. И, наконец, Петр Горбидоныч все настойчивей, постукиваньем в плечико гостьи, напоминал прямейшую обязанность сознательных граждан повседневно участвовать в разоблачении окружающих, особливо лиц с подмоченной репутацией, причем в голосе его наравне с бархатными нотками сквозили уже и железноватые.

— Да вы нам и не выдавайте секрета вашего, уважаемая Марья Федоровна,— внушал он ей в самое ухо,— а только подайте умам руководящее наставленьице... остальное мы своими силами расшифруем. Оно вслух-то и не надо, а только зажмурьтесь, да и оброните вроде невзначай хотя бы даже во образе шарады, чтобы обществу не скучать. Характерно, я не как преддомком вас опрашиваю, приставленный к человечеству для соблюдения правильности, а только из глубокого бытового интересу... ей-богу, просто до щекотки заманчиво раскусить, чего еще там недозволенного этот наш Дмитрий Егорыч натворил?

Напряженье минуты тем еще усилилось, что как раз с кухни донесся заварихинский стук в дверь,— последние мгновенья истекали. Фирсов неохотно склонил голову, соглашаясь на неминуемую теперь, хоть и запиравшую ему в дальнейшем один выгоднейший маневр, ссору соперниц. И сразу, словно только и ждала сочинительского дозволенья, Зина Васильевна вступилась за беззащитную Митину сестренку, избрав для этого первые попавшиеся довольно оскорбительные слова, на которые последовала сдержанная, однако не менее обидная отповедь Доломановой. Незамедлительно поднялся такой переполох, что безработный Бундюков счел за лучшее ненадолго покинуть помещение, чтобы не быть привлеченным к свидетельству в случае убийства. Тогда, имея нужду высказаться до конца, Зина Васильевна закричала на Доломанову еще громче, в отместку за себя, за свое одиночество, уже как на личную свою разлучницу,— кричала и машинально гладила головку разбуженной скандалом Клавди, которая, вбежав откуда-то в рубашонке, привычная ко всему такому, лишь обхватывала потуже колени матери, чтобы успокоилась скорей. Вьюге ничего не оставалось, как с торжеством удалиться в прихожую, все невольно полюбовались перед уходом на ее отточенную бесстрашную красу... и тотчас, достучавшийся наконец, с черного хода вступил Заварихин. Прежде всего он увидел свою невесту с выраженьем застылой горечи в закушенных губах.

Таня сидела в глубоком кресле, затылком отвалясь к спинке, а вокруг с успокоительными каплями и не без видимого удовольствия суетились и судачили женщины. Заварихин послал озабоченный взгляд, но появление своевременно подоспевшего жениха ничем не отразилось в ее заплаканном, еще не обсохшем лице. Правда, соскользнувший со лба локон застилал Тане левый глаз, но ведь правым-то она прямо в упор на него глядела! Именно не слезы ее, не отголоски еще не затихшего скандала взволновали Заварихина, а это пугающее, несообразное с обстановкой безразличие. И не жалость, не потребность защитить любимую, а жгучая необходимость тут же, на месте выяснить загадочное, многое менявшее обстоятельство толкнуло его прямо к Тане... Несколько ошеломленный упущенным из вниманья оборотом дела, Фирсов лишь с запозданием догадался представить гостям Заварихина, уже когда тот, припав рядом на колено, тормошил невесту, допытывался, изнемогая от подозрений.

Самая радость Танина еще больше насторожила его.

— Знаешь, я за брата тут вступилась, потому что все до одного молчали кругом... и так мне одиноко стало, Николушка!

— Нет, я не про то... что с глазом у тебя?

И, значит, так нуждалась в слове участия, что не соображала, кому признается в своем роковом недостатке, потому что в нем-то прежде всего и заключались корни ее неодолимого физического страха перед пространством.

— Ах, Николушка, это давно уж!.. лошадь репетировали на манеже, и кончик с шамбарьера оторвался... ну, длинный кнут такой у берейтора, резина со сталью, видал? А я в рядах сидела, и мне по глазу и вот... отслоенье сетчатки называется. — Она вцепилась в его сильную, чуть обвядшую руку, вцепилась и не отпускала. — Знаешь, он у меня, Николушка, ничего, ровно ничего не видит...

Такая беспомощная надежда зазвучала в ее голосе, что даже грубая заварихинская сила, пока не вмешался рассудок, не посмела оттолкнуть ее.

— Ладно, уймись, не дрожи, лихо ты мое одноглазое! Все слюбится, позабудется, с полой водой утечет... — хитрил он, даже волосы огладил Тане — не для посторонних ли, которые все прикидывались, будто не смотрят со стороны.

Едва постихло в их углу, Фирсов приготовился подать знак ко вступлению в очередную главу, и тотчас, все еще всхлипывая по своей природной рыхлости и чувствительности, хозяйка

стала примериваться с ножом по числу гостей к именинному кренделю. Заварихин длинной рукой сгреб с большого блюда остатки смородины, самые что ни есть кислые-раскислые, а Петр Горбидоныч поднял руку, прося внимания для одного сверхсрочного заявленья. Он напустил было на лицо шутливое выражение, когда слово самовольно перехватила одна, в косынке, провинциальная старушка, тетка именинницы, давно порывавшаяся завести душевный разговор.

— Угораздило же меня тащиться в гости к тебе, племянница! Кабы знато было, лучше бы мне было, Зиночка... — нараспев начала она и здесь исчезла, на полуфразе вычеркнутая Фирсовым.

Никто не выразил сожаления по этому поводу, тем более что взамен, по тому же сочинительскому мановенью, появился большой, исходивший паром русский самовар.

XIV

— Призываю собрание к порядку, как негласный ваш председатель и преддомком, который в курсе не только всех изданных ранее правил общежития, но и впредь подлежащих изданию! — шуточно возгласил Петр Горбидоныч, приступая к одному ответственнейшему заданию и звоня ложечкой о стакан. — Осталось всего полчаса до срока, после которого, заметьте, скандалы в жилых помещениях возбраняются... так что рекомендую нового не начинать.

Присутствующие, кроме Тани да не меньше ее разволновавшейся именинницы, по достоинству оценили природный юмор Петра Горбидоныча.

— Плесните-ка мне тогда чашечку погуще, поскольку в этом качестве вы ближе всех к раздаче благ земных поставлены,— в не менее оптимистическом тоне попросил безработный Бундюков, воротившийся за стол, как только опасность убийства миновала.

— Увольте! — игриво-ускользающим движением отстранился Петр Горбидоныч. — Изобилие дам, характерно, дает мне право уклониться от чисто исполнительной власти... но взамен обязуюсь представить обществу один исключительный сюрприз, который возместит вам напрасно потерянное время! Словом, не жалейте, что ценнейшая тайна только подразнила всех

нас, а в руки не далась. Я вам другую... а может, и ту же самую, только с заднего крыльца поднесу. Итак, оставайтесь на местах, я сейчас вернусь, но давайте уж постараемся, чтобы ни стуком ножей, ни шумом хождения не прерывать теперь удовольствия.

— Неугомонный у нас Петр Горбидоныч, никак не даст задремать: то порядки в доме совершенствует, то еще чем-нибудь остреньким общество развлечет! — с похвалой ушедшему отозвался кто-то, даже неизвестно кто, потому что, начиная с этой минуты, все только и глядели на дверь, поглощенные жгучим интересом к предстоящему сюрпризу.

Именинница и чая не успела разлить гостям, как Петр Горбидоныч уже воротился крадучись и с тем же неиссякающим юмором, как бы сгибаясь под тяжестью ноши, которую усердно прятал как бы за вздувшейся пазухой.

— Ну, кто из вас более проницательный, тогда догадывайтесь по очереди, граждане, что у меня тут? — лукаво возгласил Петр Горбидоныч.

— Бутылка,— с твердой надеждою высказался мужской голос.

— Толстая книга,— сказал женский голос, разочарованный.

— Все книги по злобе написаны,— дополнил хорошо опознаваемый даже сквозь грохот землетрясения голос безработного Бундюкова.

— Ни то, ни другое, а, как видите, обыкновеннейшая, скрозь исписанная тетрадка... — и, положив на стол одному лишь сочинителю пока известный дневничок в черной клеенчатой обложке, приотступил, сделав знак, чтоб никто не притрагивался. — Какое же, прикинем на глаз, содержание может скрываться под столь скромной внешностью? Может быть, под ней заключены неинтересные хозяйственные записи потрат и доходов или нечто другое в том же роде? Нет, сразу отвечаю я, чтобы вас напрасно не томить, а просто задушевная исповедь некоего тут подразумеваемого помещика. Но чья — не добивайтесь, и вздохом не намекну! И ведь что особенно характерно, целых сто восемьдесят пять страниц исписал, ахнешь, причем почерком самогнуснейшим, а буквально глаз не оторвать...

— Чего вы еще там, Петр Горбидоныч, затеяли? — томно спросила Зина Васильевна и покраснела, вспомнив, как хорошеет она в смущении.

— Собираюсь, прелестная, ваших гостей поразвлечь,— раскрылся наконец Петр Горбидоныч, законно чувствуя себя душой собравшегося общества. — Я уж с год за этой штучкой слежу, как она созревает... и чуть о н стол забудет запереть, уходя, я тут как тут, да и загляну украдкой. Казалось бы, такой безунывный выпивоха и весельчак, писец-то, а, характерно, все его мысли скрозь упадочные... однако меж них прелюбопытные жемчужинки и гвоздики попадаются!

Если последовательно сопоставить смену выражений в фирсовском лице — то удивления, то детского почти интереса, то негодования, по мере того как входил в свою роль Петр Горбидоныч, можно было вывести заключение, что все это совершалось без ведома самого Фирсова. Едва сближенные вначале, противоречивые характеры его повести сами теперь, помимо сочинительской воли, вступали в отношения сообразно вложенным в них идеям. И, раз уж началось, сочинитель недоверчиво и, обратясь лицом к окну, на слух выверял ритм и диалог этого только что наметившегося в повести поворота... Погода решительно испортилась с приближеньем ночи. Изморось висела в низком и тускло освещенном небе, уныло дребезжало в водостоках, блестели мокрые крыши, а с ближнего вокзала доносились глухие окрики паровозов.

Совершенно бесстрастным тоном, чтобы тем очевидней становилась преступность манюкинского мышления, Петр Горбидоныч приступил к чтению заветной тетрадки, но долгое время никто не понимал, в чем тут перец и когда надлежит прибегнуть к осмеянию, но едва чтец намекнул одною общеизвестной манюкинской интонацией, сразу раскрылось авторское инкогнито, обострявшее увлекательность чикилевской забавы. С одной стороны, всем любопытно стало поглядеть как бы в щелочку за знакомым человеком наедине с самим собою, а с другой — без особых попреков совести, так как Манюкину в его нынешнем состоянии вовсе небось безразлично стало, что именно с ним и каким способом проделывают.

— «...не обидно мне, Николаша, стоять на своем уголке с протянутой рукою, не от слабодушия решился я на сей легкий и постыдный заработок. Все же, каюсь (лгать-то мне незачем... дохлый я, мятый стал!): купил я тут на днях привозной тепличной клубнички плетеную коробочку, в четыре ягодки всего, шел по нашему с тобой Камергерскому и ел на глазах у всех, а веточки сплевывал прямо на поздний московский снежок. И не оттого купил, что личное достоинство в своих

глазах восстановить хотел, а просто захотелось мне клубнички: так захотелось, что заплакать по-стариковски впору. Старики на износе что беременные, капризней малого ребенка... А уж плохи мои дела: предложил один благодетель на днях, да и то в секрете, легкие туфли шить — ночью до ветру сбегать, забыл уж, как их по-нонешнему. Ну, взялся я на пробу, и работа вроде легкая, а пришлось отказаться. Не из ложной фанаберии опять же, Николаша, а просто не лезет у меня игла в картон, и все тут. А мне и невдомек, дворянскому дураку, что для этой цели шильце у человечества имеется. За семнадцать копеек все руки исколол — не лезет, проклятая, хоть камушком ее заколачивай!»

В этом месте Чикилев пропустил несколько строк, как не имеющих касания, только помычал, но Бундюков все равно хохотнул, ради поддержки чтеца, прочие же попридвинулись со стульями поближе, чтоб не утратить чего-либо существенного.

— «Вот тогда-то и докатился я до нищенской своей точки, любезный Николаша. Сам суди, каково было мне истории собственного сердца моего в балаганном стиле пересказывать... к тому же в голове сплошная маразазия какая-то! Иной раз до двугривенного цену себе спускал, до того дошел, что историю Ветхого завета в амурные сюжетцы перекладывал, да. На извозчиков наскочил раз, на староверов: так накостыляли, еле жив ушел... Вот вспомнил про туфли-то, Николаша: бухалы они в просторечии называются!»

— Так то бахилы будут, а не бухалы,— толково поправил Заварихин. — В них покойников обувают, на картонной подошве, а вовсе не для надобности...

— «И ежели придется тебе однажды на уголок встать по образцу родителя твоего,— вычитывал Петр Горбидоныч, голосом выразив Заварихину порицание за помеху,— то не теряй духу, суровый судья мой. Народная мудрость, равно как история нашей на редкость континентальной страны, учит нас ко всему быть готовыми. Не завещая тебе ни кредитных билетов, ни поместий кавказских, ни мужиков крепостных, ни даже портрета дедушки, чтобы любоваться в моменты настроения, тем не менее оставляю добрый совет, на опыте проверенный. Выбери себе не шумный уголок, да, сложив чашечкой, руку-то дальше брюха как шлагбаум не вытягивай, при себе держи. Не трясись, не голоси, нонче воробьи стреляные, вздоху смертному не поверят. Лучше всего жгучий стыд лицом и фигурой

изобрази, а коли таланту не хватит, просто лицо в ладони спрячь как бы в смятении крайнего позора. Люди привыкли и счастье и горе чужие на себя украдкой примерять, отсюда родятся зависть и жалость... Это и есть способ познанья ближнего! Целься в указанное место — без добычи домой не воротишься. Кстати и обращенье себе придумай позамысловатее,— я тут шепнул одному с пятном от царской кокарды на картузе: коллега, говорю, одолжите недостающий до бутылки гривенник впредь до возвращения узурпированных латифундий! Веришь ли, Николаша, целковый отвалил, так его прошибло... да еще и уходя все оглядывался».

Не менее минут десяти вчитывался Петр Горбидоныч, а все не мог нашарить одно, особо полюбившееся ему за игривую амурность местечко. Обманувшиеся в ожиданиях слушатели переглядывались в недоумении, не смея прервать и просто не узнавая осрамившегося затейника. Поиски затруднялись вдобавок особо отвратительным почерком Манюкина; словно нарочно досадить хотел соседу, а возможно, и вовсе вывести ответственного работника из строя посредством умышленной порчи зрения. Сколько ни заглядывал вперед, через строку, через страничку, и дальше шла та же унылая ерундистика, как с раздражением обронил сам Петр Горбидоныч, пожимая плечами. Однако, кроме наполовину прикончениого кренделя, других удовольствий в тот вечер не предвиделось... Идя напропалую, он героически решил читать все подряд.

— «Есть непостижимое какое-то упоение в нищете, Николаша, вкуси ее, попробуй! Потому, во-первых, что на самом краю уж ничего не страшно и можно презирать людскую бесчувственность, во-вторых, когда обида заполняет целиком нестерпимую твою, вечно сосущую пустоту внутри, то не так больно. В обиде на мир заключается обманчивая видимость каких-то отношений с жизнью, по существу давно уже утраченных,— однако, не без надежды на восстановление попранной справедливости. В истории, как в лотерее, иногда и на долю битых выпадает счастливый билет... Новые знакомые завелись у меня в моем укромном переулке, куда в секрете от квартирных жильцов второй месяц хаживаю как бы на служебные занятия. Причем, экая шутница эта жизнь: даже кинжал погружая в иное сердце, совершает сие порою не без юмора. Так, по левую от меня руку стоит барышня пятидесяти с лишним годов... кто бы ты думаешь? Да милого моего Саши Агарина та самая маленькая кузина, которая, по слухам, с высокого берега в полно-

водную Кудему бросалась когда-то, узнавши о моей помолвке. Сподобились встретиться на закатце!.. но мы нашли в себе силу не узнавать друг друга; во гробах не здороваются! Справа же другая, не менее архаическая, препоясанная веревочкой фигура со внушительной, апостольских размеров бородой, имеющей исключительный успех у давальцев. Две недели, знаешь, шарил я в воспоминаниях, где же он мне раньше попадался, голубчик?.. и вдруг осенило — да ведь это тот самый штатский генерал Толстопальцев, что в пятом году восхвалениями Европы старался снискать популярность у столичного студенчества, но все без особой удачи, пока в одни сутки не прогремел на весь Петербург... и всего лишь посредством того, что пукнул во время тоста на одном торжественном банкете. Вот что значит благосклонность фортуны, Николаша!»

— Тут я невольно прошу извинения у публики, что такие востроватые вещицы при дамах! — с еле скрываемой брезгливостью процедил сквозь зубы чтец. — Язык щемит от одного произнесенья... а что еще будет, если подобная гадость молодому поколению на глаза попадет?

— Да вы не обращайте внимания, Петр Горбидоныч,— воодушевленно поддержал безработный Бундюков. — Падшее всегда пахнет, но к чистому чужая грязь не пристает!

Так, несмотря на все попытки, никак не удавалось Петру Горбидонычу хоть ненадолго оживить аудиторию, которая вскорости окончательно повяла бы от скуки, если бы затихшая Таня не проявила интереса к личности автора только что прочитанных строк.

— Видимо, он из наших краев, с Кудемы... кто бы это мог быть! Скажите, как давно он умер, владелец этой тетрадки? — спросила она, одновременно робея и негодуя на что-то.

В вопросе ее довольно явственно прозвучал намек на священную запретность чужих писем, замочных скважин, дневников, но Таниной интонации Петр Горбидоныч сознательно не расслышал.

— В том-то и удача наша, гражданочка,— подхватил он,— что автор сих строк здравствует промеж нас и в любое мгновенье может быть призван, усажен, распытан по существу каждой фразы в отдельности. И вы сами сейчас увидите, что это не просто дневничок, а скорее исповедь, и местами, характерно, даже сущий документ эпохи... А уж психологии-то,— куды иным бесталанным сочинителям нашим, которые жизнь все

больше суриком да печною сажей изображают! — и порицательно взглянул на дрогнувшего Фирсова.

— В таком случае мне хочется спросить... — настойчиво продолжала Таня. — Не кажется ли вам, что это не вполне... ну, нравственно, что ли, вслух и без разрешения владельца подобные вещи оглашать?

— Ах, вон вы про что... — скрестив руки на груди, сразу нахмурился Петр Горбидоныч. — Что же именно находите вы в этом безнравственного? Да я и сам, быть может, не стал бы мараться о чужие излиянья, где от кажной строки классовым разложением так и разит... если бы здесь не содержались полезнейшие для нашего собрания сведения. А уж в таком разрезе ни чистоплюйством меня, ни ложными попреками совести не устрашишь! Чтобы не быть голословным, я вам охотно покажу в этой тетрадке кое-какие ценнейшие указания на одно только что упоминавшееся сегодня лицо... Эх, мне бы действительно по пинкертоновской линии да во вселенском масштабе вдарить, а я пожитки за недоимки описываю! И, характерно, сколько же вы сами давеча, барышня, невразумительных и вредных просто рацей наплели, про какой-то там переплав и прочее, и обоснование братнего паденья, а ведь все без толку... Но вот стоит внести ему в биографию одну лишь крохотную поправочку, один лишь пунктик... не скажу, чтобы умышленно, но все же каким-то чудом ускользнувший от анкетки, как вдруг все наши противоречия рассыпаются, возникает новый вариант, события равняются в стройную шеренгу, и оступившаяся было истина снова шествует в обнимку с теорией! — Петр Горбидоныч сделал паузу для привлечения особого внимания, и Фирсов удостоверился, что он гораздо умней своей маски. — Да если бы этого пунктика вовсе не существовало, его тогда изобрести надлежало бы, как сказал один популярный гений человечества... к сожалению, фамилия выскочила из головы!.. изобрести для упрощения мировых загадок и дальнейшего безболезненного прогресса!

— Не терпится вам, Петр Горбидоныч... опять про Дмитрия Егорыча слушок какой-нибудь сбираетесь пустить! — с возрастающим беспокойством догадалась Зина Васильевна, а ее белые руки так и заметались, затосковали на столе. — И чего он дался вам, Петр Горбидоныч, ненасытный вы человек, день и ночь вкруг него невидимо шнырите, ямки копаете... ровно ворон над ним кружите, несмотря что он и без того лежит бездыханный, как в степи казак, прости господи... и дырка на нем

кровавая по самой что ни есть по середке души! Ведь вы даже на Кудему о прошлый месяц скатали, грязцы про него по старым местам наскрести... все я про вас знаю, ворон вы экий!

— В точности, смахал... и докопаюсь! — неподкупно подтвердил Петр Горбидоныч и, сделав в ее сторону отстраняющий жест, снова обратился к Тане, совсем приветливо на сей раз, потому что примиренье с нею наносило добавочный ущерб ненавистному врагу. — И вы тем, что я сейчас с краешка приоткрою, особо не огорчайтесь, барышня, вам персонально ничего плохого не грозит, а даже напротив. Признаюсь, как вы бросились давеча на защиту признанного громилы и ворюги, ровно в прорубь головой, все сердце во мне перевернулось от жалости. В какую, думаю, душу кроткую закрался, где свил гнездо себе, злодей! Тогда и порешил я довести до вашего сведения фактец один, от которого, допускаю... даже небольшое головокруженьице наступит, потому что кое-что шиверт-навыверт станет... но вот уж Векшин вроде бы и не Векшин, и даже не брат вам родной... так что и не стоило бы его кое-кому в повестушки свои включать, когда непочатые штабеля всеполезнейшего материала сколько годов киснут без надлежащего отражения!.. А вся разгадка в том, что имеется тут, в тетрадке, увлекательнейшее местечко насчет одной скоропостижной любви, со значительными последствиями. Ведь эта штука как смерч накатит порою на нашего брата, скрутит, наземь бросит, а проклятым по рождению потомкам век расхлебывать... да и не прямым потомкам только одним, а и нам, грешным, тоже. Словом, будучи лицом посторонней специальности, я, конечно, не берусь давать советы, однако на месте иных сочинителей я бы именно этот вариант избрал, как избавляющий от гнева критиков! — И он торжествующе покосился на Фирсова.

— Простите, я все еще не поняла смысла всей этой игры... поясните, пожалуйста! — сказала Таня, выжидательно поглядывая то на Фирсова, то на Чикилева, но оба молчали пока.

Собственно, ничего еще дурного, тем более нового, Петр Горбидоныч про Векшина не сообщил, да и трудно было бы опорочить павшего человека сверх уже достигнутого им состояния, однако смутный намек на какое-то, возможно бессознательное, векшинское самозванство вызвал такое шумное любопытство у женщин, такие крайние, одна хлеще другой догадки у мужчин, что Петр Горбидоныч встал перед необходимостью начистоту поделиться с гостями своим открытием.

— В самом деле, вы уж договаривайте, господин хороший,— лишь теперь догадавшись о чем-то, вмешался Фирсов,— а то слушателей раздразнили, ниточку показали, воздух неблагополучием испортили, как давешний генерал ваш... и в сторонку собрались отойти? А что, если ваши предположения неправда... да вдобавок и сам Дмитрий Егорыч узнает сторонкой, как вы ему заглазно ворота дегтем мажете?

— Тут никакого дегтя и следов нет... — так и заюлил Петр Горбидоныч,— а я лишь на основании неопровержимых документов собираюсь показать, куда ведет моя ниточка... если дамы разрешат, разумеется! Но предварительно хотелось бы лично вам, гражданочка, поставить ряд вопросов в подтверждение моей теории. И вы меня не бойтеся, я ваш первейший друг и признательный за доставленное в цирке удовольствие зритель... трех сослуживцев уговорил Геллу Вельтон посмотреть и сам вторично сходить сбираюсь, как отпуск получу!.. Напротив, не только не противьтесь, а даже доверьтесь мне, и я моментально, вроде хирурга, к ранке вашей... ну, к ране мнимого вашего родства с Митькой Векшиным легонечко как ляписом прикоснуся, чик-чирик, после чего вы немедленно почувствуете облегчение!

— Ладно... задавайте ваши вопросцы,— через силу усмехнулась Таня, чтобы снова своим сопротивлением не раздражать затаившуюся публику.

— Прежде всего,— незаметно, как бы вскользнув в душу к Тане, начал Петр Горбидоныч,— ведь вы со своим братом оба родились где-то близ Рогова, в трудовой железнодорожной семье?

— Да, в семье сторожа на разъезде... — поддалась на его уловку Таня. — Это приблизительно верстах в тридцати от Рогова.

— Меня, характерно, интересуют расстояния как раз в обратную сторону от разъезда,— загадочно улыбнулся тот. — В частности, насколько я смог лично удостовериться, от вас до усадьбы некоего помещика Манюкина было рукой подать...

— Напрямки, я думаю, минут двадцать ходу, хотя дети обычно все бегом, у них расстояния немереные. Если подняться на кудемский мост, их дом слегка просвечивал сквозь березовую рощу... у нас там главным образом береза повсюду. Старая манюкинская усадьба еще в пятом году сгорела, мне тогда лет восемь было всего, а новые хозяева начали строить...

— Для краткости, давайте лучше держаться в рамках по-

ставленного пока вопроса,— не без деликатности прервал ее Петр Горбидоныч. — Теперь не затруднит ли вас ответить... верно ли, будто супруга помещика Манюкина, равно как и покойный батюшка ваш... прихварывали в ту пору вашего детства?

— Да, у помещицы, помнится, был какой-то редкий вид паралича, ее возили в кресле. Мы раз полезли в сад к ним за яблоками и наткнулись на нее... до сей поры ее остекленевшие глаза в память мне приходят, едва я запах яблочный услышу!

— Чрезвычайно ценное показание, благодарю вас! —дополнительно оживился Петр Горбидоныч, и все подивились врожденному мастерству следователя, с каким он как бы невзначай и вразнобой ставил свои вроде и несовместимые вопросы. — А не возьметесь ли вы подтвердить заодно, милейшая Татьяна Егоровна, что матушка ваша, судя по вашей внешности, равно как и вторая супруга родителя вашего, Марфа, отличались редкой миловидностью, но мачеха ваша обладала сверх того... ну, в некотором общеупотребительном житейском смысле, и особой *общительностью*? Чтобы не утомлять вас, я в дальнейшем вполне удовлетворюсь простым ответом *да* и *нет*. Меня интересует в частности, посещали ли обе эти почтенные женщины манюкинскую усадьбу по всяким хозяйственным приглашениям: скажем, капусту шинковать, белье постирать, то же самое полы помыть... да и мало ли какие могут возникнуть в богатом доме надобности при наличии вечно больной хозяйки!

Увлеченная горьким и милым зовом воспоминаний, чем-то схожих для нее с засохшими цветами, Таня не различила коварства, прозвучавшего в голосе ее собеседника. Она вовсе не догадывалась, с какой целью Петр Горбидоныч столько досуга потратил на изучение семейной векшинской хроники, к тому же сам он при допросе на жертву свою глядеть избегал, а все смахивал со скатерти отсутствующие крошки либо разглаживал и без того ровные странички манюкинского дневника.

— Я уже плохо припоминаю подробности, но из-за отцовского недомоганья семья очень нуждалась в ту пору, и все мы охотно брались за любую поденщину. Я и сама полола клубнику у Манюкиных на усадьбе, пока... — Вдруг, поймав на себе полульстивый, тусклым желтым огоньком светившийся взгляд Петра Горбидоныча, она испугалась его поразительной осведомленности в обстоятельствах совсем чужого ему, неинтересного детства. — А скажите, зачем они вам, столь... обширные сведения?

— В самом деле... вы безбожно затянули свою роль, Чикилев, у нас еще громадная повестка впереди,— с раздражением и вполголоса заметил Фирсов. — Сокращайтесь... перестаньте мучить бедную гостью!

И тотчас же тот как-то расправился, заглянцевел, как если бы действительно получал в управление весь шар земной:

— Минутку, одну минуточку терпения, граждане, и затем я предоставлю вам беспристрастно оценить некоторые чикилевские умозрения, возникшие от рассмотрения прошлого и сопоставленья его с настоящим,— зашуршал он бумажно-деловым тоном, исключающим право постороннего вмешательства. — Вот вы давеча, Татьяна Егоровна, заядлого отщепенца и преступника бросились от дурной молвы оборонять, и это прекрасно с одной стороны, на этом, на вере в человека, по слухам, весь гуманизм покоится! Но с другой-то, характерно, вроде и не стоило бы, ой не стоило бы вам пускаться в такое рисковое, я бы сказал, плаванье, чтобы на мель в непроверенном месте не наскочить. Вот я и предлагаю вынуть нашего героя из присущей ему земельки да, легонько корешки отряхнув, взглянуть на них в целях распознания, кто таков, стоит ли честным людям скорбеть о нем и, характерно, нет ли прямой классовой закономерности в его нынешнем позоре... — Он вперил продолжительный взор куда-то поверх всего собрания, как поступают выдающиеся ораторы, также артисты в наплыве особо возвышенного вдохновенья. — С этой целью мысленно перекинемся на ту самую речку Кудему, не имеющую пока судоходного или рыбохозяйственного применения, зато изобилующую по бережкам уютнейшими зелеными альковцами для укромного уединения всякой живности... как летучей, равно и ходячей на своих двоих. По слухам, Марья Федоровна доверительно рассказывала кое-что о них одному присутствующему среди нас и преждевременно возомнившему о себе литератору!.. Вообразим также подгнивающий поблизости от речки дом с белыми колоннами, когда-то цитадель столбового российского феодализма, этак чуть на горке и в окружении столетних зеленых кущ. И там по запущенным парковым тропинкам слоняется с ружьецом, в охотничьей тужурке весьма нам знакомый, вынужденно находящийся на холостом положении местный барин в наилучшем расцвете лет. Однако ему не гуляется, не стреляется, и шагает, бедняга, в том единственно расположении, куда бы ему приткнуть скопившуюся от калорийной пищи силенку, хе-хе! А вокруг своим чередом происходит цветение природы с преобла-

дающей липой во главе, нащелкивает про свободную любовь всякая мелкокалиберная птичура, и не исключено также, что надвигается гроза, нагнетающая в неплохо сохранившегося барина дополнительное мужское электричество. Итак, в наивысшем томлении духа минует наш Сергей Аммоныч пустынные анфилады родового замка, поднимается к себе в сиротливый апартамент и там, характерно, к низменному своему воодушевлению, застает привлекательное и, характерно, совершенно безответное, потому что благодаря тогдашним социальным условиям вполне подневольное, существо женского пола, которое, соблазнительно подоткнув юбки, моет жалкой тряпицей грязные, возможно в недавней феодальной пьянке затоптанные, полы. Я бы тут многое мог подчеркнуть, только из-за женского присутствия воздержусь!.. И заметьте, в качестве бесстыдного представителя своего класса, он не поинтересовался, к примеру, расспросить согбенную женщину про ее стесненное житье-бытье, с целью помочь ей в приобретении коровенки, как поступил бы всякий развитой начитанный гражданин нашего времени, нет, а в высшей степени наоборот, ему приходит в голову совсем тому противоположное и даже чудовищное, невзирая на то что перед ним находилась тихая поденщица, скромная подруга недомогавшего в ту пору труженика железнодорожного транспорта. Ничто: ни ослепление минутной страсти, ни очевидная выгода уединенного местоположения — ничто на свете не давало ему права на его безобразный поступок... ни — если бы даже сама его жертва напевала при этом фривольную песенку в духе неграмотной тогдашней, задавленной царизмом крестьянской массы! С характерными для опытного сластолюбца хитростью и обольщением, разложившийся феодал тотчас бросается вперед и предпринимает некоторые шаги...

Незаурядное прокурорское вдохновение Петра Горбидоныча сулило собранию картинки еще более сочной живописи, так что все положительно замерли в созерцании не дорисованного покамест приключения, и даже Клавдя, вытянув шейку, приготовилась выслушать подробность из биографии дедушки Манюкина, но, ко всеобщей досаде, вмешалась по праву старшинства супруга безработного Бундюкова. Каким-то режущим римским голосом она призвала рассказчика устыдиться хотя бы незнакомых, незамужних, пусть даже и на выданье женщин, в особенности же невинных малюток в образе прислушивающейся хозяйкиной дочки. Остальные гости тотчас зашикали на строгую Бундюкову — в том смысле, что манюкинское приклю-

ченье не выходило за рамки печальной бытовой осведомленности, уже имевшейся у Клавди; не говоря о том, что всем ужасно хотелось проследить до конца некрасивое поведение Манюкина, всех одинаково сверх того манило влекущее предчувствие, что развлекательный вечерок этот увенчается, бог даст, каким-нибудь пустячком с кровью. И действительно, не успел Петр Горбидоныч двух глотков из стакана отхлебнуть, как вдруг, вся зардевшаяся, рванулась на него из кресла Таня, лишь теперь осознавшая смысл чикилевского намека.

— Сколько я поняла вас, гадкий вы клеветник... вы намекнули нам, что брат мой вовсе не то лицо, за кого он себя выдает? — вся подавшись вперед и звенящим голоском спросила она и, верно, вцепилась бы в него ногтями, если бы тот посмел головой кивнуть в подтвержденье.

И так как самой ей было непосильно справиться с мужчиной хотя бы и посредственного чикилевского телосложения, она бессознательно и рукою пошарила Заварихина за спиной у себя, чтоб привлечь его на помощь, но то ли отвлекли его коммерческие соображения, то ли еще что, только он давно уже сидел поодаль, на подоконнике, явно наслаждаясь ночной прохладой и вслушиваясь в гулкие звуки опустевшей к тому времени улицы. Хотя с Векшиным у него не случалось пока особых соприкосновений, он крестьянским чутьем угадывал в нем непримиримого, даже смертельного своего противника. Не потому ли, что слишком хорошо понимал корни Векшина, даже предвидел, что Векшин еще выберется из ямы, он и не прочь был своею жинитьбой на Тане обеспечить на всякий случай близость с ним, в особенности ценную — пока тот находился во временном упадке. Поэтому он не испытал никакого злорадства от чикилевского открытия, что Танин брат сверх его нынешней профессии является последышем разгромленного сословия и, следовательно, из породы тех бродячих псов, каких из опаски бешенства перед покосом давили у них в уединенном овражке за гумнами. Фирсову же это разоблаченье грозило вовсе катастрофой, так как смывало романтический ореол с героя, и он тут же решил при первой оказии отправить Векшина в деревню, на Кудему, для выяснения родственных обстоятельств.

Снова, как часом раньше, смятенье и шум поднялись за именинным столом, но Таня уже не плакала теперь, а лишь как затравленная всматривалась в обращенные к ней отовсюду лица. Все наперебой, вместе с хозяйкой, пытались убе-

дить ее, что если даже с векшинской стороны имеется налицо кое-какое самозванство, то непреднамеренное, бескорыстное, что и среди дворянства в российской истории попадались незамаранные личности, если судить по памятникам из цветных металлов, уцелевшим кое-где в городах, что изменение социального положения ничем не сможет повредить Дмитрию Векшину в его нынешнем состоянии, а если и скажется — разве только незначительным повышением квартирной платы, ничуть не обременительным при его неограниченных источниках дохода... и вообще Тане остается лишь радоваться, что бесфамильный вор этот перестанет их родовую фамилию чернить!

Здесь, призывая к осторожности и вниманию, Петр Горбидоныч поднял указующий перст, и все затихло. Из-за томительной духоты двери в коридор, равно как и с кухни на черный ход, стояли открытые. Внезапно оттуда послышалась приближающаяся возня, порою чуть не грохот, словно в квартиру втаскивали продолговатый, бултыхавшийся на веревках предмет, то и дело задевавший развешанную по стенам домашнюю утварь, причем вся ватага носильщиков была трагически и беспросветно пьяна, и в том лишь таилась крохотная надежда на прояснение, что один из них все старался запеть что-то слишком уж знакомым фальцетом... Гости привставали от напряженного ожидания, Таня же, напротив, опустилась назад в кресло, стиснув зубы и побледнев. Бундюкова перекрестилась, Зина Васильевна, не мигая, глядела в проем двери, жадно зовя свою судьбу.

— А, наконец-то, мошенники... а уж мы заждались их совсем! — с воодушевлением воскликнул Петр Горбидоныч, стаканом чая салютуя вошедшим, так как в его роли председателя и души общества надлежало проявлять временную терпимость даже и не к такому еще отребью человеческого рода. — Ой, и навели же вы панику на нас...

И действительно, трудно было допустить, что всего двое, хотя бы и в наивысшем спиртном градусе, способны были производить подобный переполох.

XV

За несколько минут перед тем Заварихин различил на тротуаре внизу две смутные фигуры — в обнимку и враскачку подвигавшиеся в тумане. В той главе на протяжении вечера Фир-

сов неоднократно менял не только состав гостей или рисунок скандала, но и самую погоду заодно.

— Сам не знаю, смешной старик, как ты не надоешь мне за целый вечер! — ворчал глуховатый, не узнанный вначале Заварихиным голос.

— Не иначе как сердце подсказывает,— разудало вторил другой. — Вроде родственнички мы с вами, хоть и отдаленные весьма. Я в том смысле, что все человечество по Адаму родня и в этом качестве стремится слиться в единую семью, однако применяет к сему столь сильные средства, что в конце концов, хе-хе... пожалуй, сливаться-то будет и нечему. Ну-ка, найдется у вас сколько-нибудь убедительное разъяснение на сие стариннейшее, признаться, опасение мое?

О чем шла речь, Заварихин из-за расстояния не смог уловить, только вывел из подслушанного отрывка заключение, что обоими было выпито приблизительно поровну. Неизвестно, при каких условиях подцепили они друг друга, но самый факт их совместного возвращения вызвал на губах у Петра Горбидоныча нескрываемую усмешку ликования, а у прочих, не исключая и Зины Васильевны, невольный полувосторг перед его несравненным даром сыскного прозрения. Все переглядывались, и так силен был гипноз клеветы, что и Таня, суеверно сжавшись в кресле, мучительно сравнивала новоприбывших в поисках наследственного сходства... Ведущее место в этой шумной паре явно принадлежало Манюкину.

Сергей Аммоныч находился в состоянии отличного, даже чуточку утомительного для прочих благодушия, чему не противоречил большой багровый, но вполне безвредный затек на рубашке — верно, от вылитой за ворот вишневки, как поступают с теми, кто в компании не пьет. Дружественно, даже не без оттенка понятной теперь фамильярности, опирался он на руку Дмитрия Векшина, который с сыновней корректностью, при очевидном упадке собственных сил, помогал старику сохранять приблизительную устойчивость. Несмотря на летнее время, Векшин был в прежней роскошной шубе, несколько слежавшейся за минувшие месяцы в тюремной кладовой, и не столько заношенной, сколь просто порванной местами и с пятном свежей краски на рукаве. Так они стояли посреди комнаты, и вот уже Тане не по себе становилось от пронзительной ясности векшинского взгляда.

— Двойная звезда шлет привет всем...— ординарным! — расшаркиваясь, прокричал Манюкин и тыльной частью ладони

щелкнул сперва Векшина в грудь, а там и себя в затасканный до неблагопристойности, о двух всего пуговицах жилет.— Вот мы и вторглись, незванные, на высокопоставленное торжество, в самую гущу всемирно-исторических событий... И до какой же степени причудливо иной раз судьба играет человеком: вышибли меня сейчас из одной пивнушки коленом под сиденье, лечу стрекачом и размышляю, чего еще посногсшибательнее пошлет мне господь на пути. Как вдруг с маху ударяюсь в нечто теплое и родственное, зажмуриваюсь и по-стариковски повисаю в естественном ожидании, что и этот наподдаст сейчас за оскверненье... и тут попутно возникает шкурный интерес, по какому месту наподдаст? Ежели по спине, думаю, так жир, по голове — так кость, а вот ежели по животу придется, в самый дых человеческий? Потихонечку соскальзываю с высоты куда-то в щемящее ничтожество, в прах, на голый шар земной, поднимаю молящие очи, и во мраке убийственной ночи — он! Стоит и размышляет под соленым этаким дождичком, в хорьковой мантии своей... Митрий, восклицаю ему, Егорыч, вор московский, принц датский, и прочая и прочая... помоги встать поверженному Лиру! — Но здесь Сергей Аммоныч стал заметно клониться на сторону, тогда Фирсов подставил ему стул, чтобы нужный ему для дела старик раньше сроку не выбыл из строя, и тот присел, после чего ему тотчас подали на тарелке кусок кренделя с добавком колбасы, а вернувшийся на свое место Фирсов записал, что всем было приятно зрелище жующего Манюкина, из чего следовал несколько неожиданный вывод, что находившиеся там гости принадлежали все же к человеческой породе.

Был поставлен стул и Векшину, но вряд ли тот заметил его, а лишь обвел присутствующих взором и, как бы смирившись, по-прежнему в шубе, машинально пошел здороваться со всеми, кроме Чикилева, выскользнувшего на минутку якобы по хозяйственной надобности; никто не посмел отказать Векшину в рукопожатии. Подойдя же к Заварихину, он долго держал его руку в своей и, точно силясь вспомнить, пристально всматривался в то место Николкина лба, откуда начинаются волосы. Возможно, он припоминал старую встречу.

— Это жених мой, Заварихин Николай... подружись с ним, Митя! — волнуясь и кусая губы, сообщила Таня.— Вот скоро сестренка твоя станет купчиха Заварихина... не рассердишься?

Как ни хотелось ей придать видимость шутки своей новости, брат даже не взглянул на нее, а продолжал глядеть

в Заварихина, но, пока не заговорил, у того не было полной уверенности, что Векшин видит его.

— Сожалею, что нет у меня власти отменить...—жестко и совсем трезво произнес он, подразумевая замужество сестры,— по плечо руку дал бы себе отрубить, лишь бы того не случилось! — И многие переглянулись, потому что вложил в свои слова какое-то болезненное, снедавшее его раздумье.

Тогда, обычно столь робкая с ним, а сейчас почти суровая, только будто почерневшая лицом за те недолгие минуты, Зина Васильевна сняла с Векшина шубу и за руку, как хозяина, повела к столу; он машинально повиновался. Все так же не спеша, не стесняясь глазевших гостей, на виду у помертвевшего Чикилева, Зина Васильевна по-семейному отвернула край парадной скатерти, чтоб не залить невзначай, и, ко всеобщему удивлению, принесла с кухни тарелку исходивших паром щей.

— Не хлопочи, гости у тебя...— вяло сказал Векшин.

— Ничего, поймут, люди же,— отвечала та. — Покушай, Дмитрий Егорыч. Там у вас небось рано обедают, а ты, видать, на радостях еще погулять успел...

— Друзья угостили, Зина,— в таком же точно тоне, словно наедине, признался Векшин.— А так ни к чему и не тянет что-то, да, по правде сказать, и не на что.

Он сидел очень прямой, похудавший и серый с больничной койки, но чистый и выбритый,— сидел, шевелил ложкой в тарелке, не ел. Время от времени, безмерно удаленный от всего происходящего, он приподымал голову и скорее вслушивался, чем вглядывался в ничем как будто не занятое пространство перед собою. Подсевшая сбоку Таня вполголоса выспрашивала его о здоровье, о планах на будущее, обо всем, кроме недавнего прошлого,— допытывалась с тем большей нежностью, что все вокруг таили про него несправедливую правду. Ее усилия разговорить брата неизменно разбивались об его рассеянные кивки и такие же односложные замедленные ответы... Посреди одного особо настойчивого Танина обращенья он придвинул тарелку сидевшему наискосок Манюкину с предложением похлебать горяченького, пока не остыло зря.

— Два раза давеча жаловался старик, что оголодал весь,— пояснил сестре Векшин.— А у меня ни копейки, как на грех, и взять негде.

— Что ж так, Дмитрий Егорыч?.. прохожих в переулках не оставалось либо из гордыни... мараться не хотелось, не по специальности? — вкрадчиво, тоном разлюбезной шутки, и,

видно, неожиданно для самого себя, спросил Петр Горбидоныч, и всем показалось, что надолго оглохли от испуга.

Векшин так внимательно поглядел на обидчика, что безработный Бундюков опять бежать собрался с побоища, вместе с супругой на этот раз, не выносившей зрелищ с пролитием крови. Но, видимо, другие голоса донимали в ту минуту Векшина,— чего-то недослышал сперва, а потом Манюкин подоспел на выручку.

— Высосу, пожалуй, тарелочку,— засуетился он, обеими руками прихватывая векшинское подаянье, как бы из опасения, чтоб не отняли. — Вдоволь было выпито нынче, а вот пообедать чего-либо, кроме закуски, не довелось. Кассиры беглые угощали... странно, целых пять штук — и одинакие все, как из зеркала вылезли. Ох, какие же мы все милостивые становимся, как почуем свой смертный час!.. при мне же их и забрали. Зато и я для них по чести старался... такие фортеля выкомаривал, право слово, богу душу не отдал едва.

— Вот для чужих и жизни не жалеете, а своим хоть бы кусочек отвалили посмеяться, Сергей Аммоныч! — от лица присутствующих попрекнул безработный Бундюков, не посещавший пивных как из страха влипнуть в историю, так и ради экономии. — Право, уже сколько годов стенка в стенку с нами квартируете, а того нет, чтобы своих вспомнить. За деньги можно, а по дружбе нельзя... необщественно получается, Сергей Аммоныч!

И, разохотясь после незавершенного чикилевского рассказца, все так и прилипли к Манюкину с просьбой поведать им задаром какое-нибудь, в легком духе, похождѐние из помещичьей жизни, тем более что Клавдя мирно спала в своем уголке.

Тот даже руками замахал.

— Куды!.. ведь я же прекращаю ее, завирательную мою деятельность. Последнее время уж самое заветное с донышка доставал, шаришь-шаришь, ан нет ничего: выдохся Манюкин. Давеча принялся было рассказывать, как на Святках покойный родитель мой у проезжих цыган кривого черта купил по случаю... лучшая история из всего репертуара, а не смеются. Двое уставились в меня, жевать забыли, и глаза вроде мокрые. На поверку выходит, что не мне с них, а вроде им с меня причитается, за сочувствие... — и задрожавшей от волнения рукой поправил ломоть хлеба перед собою. — Впрочем,

русские обожают глушить пиво под соленую слезу, заместо моченого гороху!

— Извиняюсь, вы это прежних русских, из обеспеченных классов имели в виду или нас, извиняюсь, из современности? — зловеще поинтересовался Бундюков.

— Тех, прежних, конечно... — немедленно сдался струсивший Манюкин.

— Уж не стращайте его, гражданин Бундюков,— великодушно заступился за того Петр Горбидоныч. — Дайте ему подкрепиться, он тогда еще общительней станет!

После удачнейшего — оставшегося безответным, да еще в присутствии дамы сердца! — выстрела по сопернику Петр Горбидоныч пребывал в чудесном настроении. Нигде в организме не болело, жизнь манила вперед, созревала одна новая пилюля в адрес Векшина. В отличие от помянутых кассиров, он благодушно посмеивался на смешные выражения и действительно забавные кривлянья Манюкина, проявляя тем самым снисходительность в отношении низшего существа, неспособного скрыть свои никому не интересные переживанья.

В ту минуту он до та́кой степени не питал обиды на Манюкина за причиненное ему, Петру Горбидонычу, зло, что решился дружески пошалить с ним.

— В таком случае, раз от привычных занятий отстраняетесь,— вполне безразлично спросил он,— откуда же вы извлекать станете свой доход... хотя бы на выкуп пайка, на оплату жилплощади?

— А я себе службу отыскал постоянную, Петр Горбидоныч! Не похвастаюсь, но очень покойное местечко!

— И не утомительное?.. все на ногах небось? Я к тому, что ни в какую приличную канцелярию вы из-за курячьего почерка своего никак не сгодитесь...

— Это ничего, хоть бы и на ногах,— махнул рукой Манюкин, но уши его уже выдавали непривычку к мелкой лжи. — Любая должность на свете хороша, Петр Горбидоныч, если только человеческая!

— В чем же конкретно состоит такая ваша должность? — продолжал Петр Горбидоныч, как бы запуская в душу ему вращательный зонд испытателя природы.

Прижатому к стенке Манюкину приходилось выдать свои взгляды на смысл жизни и объем человеческой деятельности, чего ему в большой компании делать отнюдь не следовало, но он все равно выдал бы, если бы вдруг не бросилась ему в

глаза одна не замеченная раньше несообразность. На столе перед Петром Горбидонычем находилась заложенная посреди чайной ложечкой та самая его сердечная тетрадка, которую он полагал запертою на два оборота ключа. С ужасным тиком в лице, глаз не сводя с находки, Манюкин напрямки, так что даже стул опрокинул по дороге, устремился к Петру Горбидонычу. И хотя тут всего можно было ожидать от разъяренного собственника, еле скрывавшего свои намерения под довольно некрасивой ухмылкой, Петр Горбидоныч и жеста не сделал для самообороны, только руку положил на предмет, принципиальную принадлежность которого приготовился оспаривать, из чего стало видно, что без рукопашной делу не обойтись.

— Никак, вслух почитывали тут эти каракули мои? — через силу осведомился Манюкин, весь дергаясь, причем левая половина явно не поспевала за другой.

— Скорее просто ознакомились слегка... я вообще люблю почитать похождения прежних времен,— без тени вражды отвечал Петр Горбидоныч. — Только уж и почерк у вас, действительно... чему только мадамы да гувернанты учили вашего брата, диву даюсь!

— Так что понравилось, значит? — все кивал Манюкин, озираясь и не решаясь на что-то: видно, под руку ничего такого не подвертывалось.

— Далеко не везде... — строго оговорился Петр Горбидоныч,— да и стиль местами неровный. То вроде смешное начинается, только рот для смеху раскроешь, а тут тебе поперек какая-нибудь заумственность!.. Я бы тоже разнузданные краски поубрал да пессимизм кое-где почистил, хотя немножко-то для настроения я и сам не прочь; маловато ее у вас, заметьте... ну этой самой, как ее? Бодростью недостаточно пропитано. Надо гораздо больше пропитать. — Он сковырнул с зубов леденец, затруднявший словопроизнесение, и подержал его в отставленных перстах, пока не закончил до точки начатого сужденья. — Но то местечко, где вы разоблачаете либерализм петербургского генерала, очень у вас такое получилось, сильное, я бы сказал. Не лишено, не лишено, а местами так прямо Плутарх какой-то!

— Про генерала лучше всего описано, побольше бы нам таких описаний, только особо сальные места лучше точками обозначать! — благодушно вставила супруга Бундюкова, очень довольная, что после происшедшей стычки снова все налажи-

вается. — Я намедни книжку читала одну, название забыла, тоже прямо живот со смеху лопался: очень как-то... воодушевляет!

— Нет, вы не отмахивайтесь, вы поприслушайтесь, Сергей Аммоныч, к ее ценнейшему совету! — перехватил идею Петр Горбидоныч. — Я бы на вашем месте таких фактиков побольше подсобрал, из быта банкиров, графиней, архимандритов тоже разных... да и бабахнул бы отдельной брошюркой как агитацию. Заметьте, нынче и за чепуху большие деньги платят. Полюбуйтесь на пишущую братию... некоторые, характерно, даже в клетчатых демисезонах среди бела дня фигуряют, эва до чего распоясались!

Никто — ни Фирсов, пристально глянувший поверх очков в ответ на чикилевский щелчок, ни тускло взиравший куда-то в средину обчищенного теперь до крошки стола Дмитрий Векшин, ни тем более прочие,— никто не вмешивался, хотя больше и не развлекался этой игрой кошки с мышью.

Бормоча нечто о лестности столь преувеличенной оценки, Манюкин потянулся было за тетрадкой, но Петр Горбидоныч тотчас положил вещь под себя, буквально прикрыв ее своим телом. Положение настолько осложнилось, что безработный Бундюков в третий раз приготовился постоять за порогом то время, пока Манюкин не совершит свой заключительный кровавый поступок.

— Ну отдайте ее теперь, Петр Горбидоныч,— тихо и настоятельно сказал Манюкин. — Посмеялись, и хватит. Не драться же мне с вами, старику. Я устал и, право, спать хочу!

— Поверьте слову, сам хотел бы, но из высших побуждений, извиняюсь, не смогу пока,— наотрез спазматически отказался тот. — Мы разыскиваем здесь факт первостепенной для всех нас важности. Можете в суд подать на квартиру номер сорок шесть, если это вас обижает, и мы охотно уплатим положенную трешницу штрафа, в складчину, или сколько там следует по таксе, но интересы всеобщего благоденствия для меня выше любых меркантильных соображений. Разумнее же было бы для вас терпеливо посидеть в сторонке и не позже чем через полчаса получить обратно свой жалкий м у м у а р... однако лишь до возникновения ближайшей надобности.

— Тогда... не представляется ли вам несколько подловатым ваше поведение, гражданин Чикилев? — спросил Манюкин, пытаясь хотя бы приветливой улыбкой смягчить резкость своего обращения.

Петр Горбидоныч призывно постучал ложечкой о стакан и поискал глазами Бундюкова, но того уже не было в комнате.

— Зарубите себе на своем сизом алкоголическом посу, Манюкин,— сказал он холодно,— свят любой инструмент, коим добывается благо общественное. Если же вы все еще пытаетесь отстаивать за собой дурацкое право на свои поганые секретцы, то заранее плачьте, любезный Сергей Аммоныч. Каб назначили меня, скажем, директором земного шара, так я бы вообще никому частных тайн не дозволял. А чтоб кажный ходил к кажному в любой момент дня и ночи и читал бы его настроения посредством машинки с магнитными усиками, вона как! При нонешних-то достижениях технической мысли — луч смерти да газ чихания! — в единый миг можно жизнь целиком изгубить... Нет-с, человека с его раздумьем нельзя без присмотру через увеличительное стекло оставлять! Мысль — вон где главный источник страданья и всякого неравенства, личного и общественного. Я так полагаю в простоте, что того, кто ее истребит, проклятую, того превыше небес вознесет человечество в благодарной памяти своей! — и обвел всех глазами с целью выяснения, остались ли там еще несогласные.

Расширительно толкуя свою должность преддомкома, Петр Горбидоныч любил в трудных случаях жизни, когда речь заходила о протекающей крыше либо неисправной канализации, прикрикнуть на жильцов от имени будущего, что неизменно оказывало на них успокоительное действие. Судя по началу, так оно должно было случиться и теперь. Наступило проникновенное молчание, и самое занятное, что все забыли на это время про Векшина, с которого началась та затянувшаяся дискуссия. Вдруг Фирсов решительно поднялся с места и двинулся к Петру Горбидонычу, стоявшему теперь несколько на отлете, чем создавалась как бы некоторая предварительная зона недоступности.

— Теперь пришла моя очередь сказать нечто от лица присутствующих,— обратился к нему Фирсов, машинально пытаясь вправить в карман записную книжку, где все это было уже накидано в черновике. — Вот вы целый вечер занимаете общественное внимание и уж не впервой шантажируете нас будущим, Чикилев! Вы ужасно утомительны стали, любезнейший...

— И што? — с вызовом нахмурился тот. —Современность жмёть, под ложечкой щекотит, не ндравится?

— Нет, современность мне как раз нравится... так и укажите в доносе, который этой ночью вы на меня напишете,— раздельно произнес Фирсов, чтобы ни у кого уж не оставалось сомнения, особенно у стоявшего за дверью Бундюкова. — Больше того, я сам деятельный участник этой современности, за что неоднократно получал угрозы врагов ее как письменные так и по телефону... покончить на плахе жизнь свою. Но, правду сказать, мне до смерти опротивело ваше поведение в помянутой современности. Словом... ну-ка, верните старику его тетрадку!

— Не надо бы, Федор Федорыч, на мне же заступничество ваше отзовется... — жалобно шелестел сбоку Манюкин.

— Я считаю до трех,— повторил Фирсов и сразу начал с двух.

— И не подумаю,— так же внятно отвечал Петр Горбидоныч. — И не запугивайте!.. слыхал я про вашу угрозу, будто так описать меня можете, что сотню лет в этой стране смеяться будут... этим Чикилева не проймешь! И подачек ваших, как вы меня кротким пострадавшим ангелом с Клавдюнькой описали, мне не нужно. Мне, характерно, наплевать на ваши акты сочинительского милосердия, Федор Федорыч. И бывшим дворянам не позволю священное право мое у меня назад отнимать...

— Зато сам я, происходя из низкого сословия, все же попробую с вашего дозволенья,— с тихой яростью проговорил Фирсов, после чего довольно сочно щелкнул записной книжкой по воздуху.

Так, по крайней мере, Петр Горбидоныч на другой день Бундюковым объяснял, что всего лишь по воздуху пришлось, звук же пришлепки образовался якобы из множественного соприкосновения страниц. Но, судя по одностороннему левому румянцу у преддомкома, душевной разрядке и ощущению сытности в фирсовской руке, цель была вполне достигнута.

— Ага, так! — после кратчайшего остолбенения воскликнул Петр Горбидоныч, весь бледный за исключением помянутого места и, возможно, даже обрадованный фирсовской выходкой, сулившей тому неисчислимые бедствия. — Ну, держитесь теперь, Федор Федорыч: вам Чикилева в обиду не дадут... вам за Петра Горбидоныча бородки поубавят, хотя бы до эшафота на сей раз и не дошло.

Из-за позднего времени собрание стало редеть задолго до непозволительной сочинительской расправы, и раньше всех ушла Таня с Заварихиным, которого Фирсов почти заставил проводить ее: после происшедшего опасно стало оставлять ее наедине с собой.

— Теперь извините, гости дорогие... больше из угощения ничего не будет! — с поклоном объявила супруга безработного Бундюкова за хозяйку, находившуюся в самых расстроенных чувствах.

Все высыпали в прихожую, кроме одного Векшина. Безличным взором смотрел он, как снова разбуженная шумом Клавдя лакомилась отставшей от кренделя сахарной корочкой, положив подбородок на стол; впрочем, вряд ли он видел девочку. Несколько оправившаяся к тому времени именинница провожала гостей и каждого порознь просила на прощанье не серчать, если не все так кругло получилось, *как хотелося*.

— Трешница штрафа за мной! — со шляпой набекрень посулил Чикилеву сочинитель, уходя.

Петр Горбидоныч вдогонку ему лишь мизинчиком погрозил, и тот, несмотря на азарт ожесточения, спиной его мановение учуял, а вскоре по выходе повести в свет и остальным телом испытал неблаговоление к себе затронутой стихии.

XVI

За всю ночь Петр Горбидоныч глаз не смежил,— лишь на рассвете, как вставать, накатило краткое похмельное оцепенение. Ему приснилась дощатая, семь на семь, как бы эстрада на Таганской площади, близ кино, и сюда доставили для четвертования сочинителя Фирсова, причем сам он, Петр Горбидоныч, присутствует в качестве доверенного лица от домоуправления, даже придерживает преступника за полу, чтобы не выскользнул из-под топора... но из-за проклятого будильника доглядеть самое существенное так и не удалось. Тут же, пока вдохновенье, Петр Горбидоныч в одном белье присел было за донос, но такая поганая тусклятина с пера текла, что еле челюсть зевотой не вывихнул. Поэтому мероприятие свое он решил отложить до лучших времен, а пока на том успокоиться, что никто из гостей не порешится разглашать про нанесенное Чикилеву оскорбление,— одни из брезгливости, другие по нехватке смелости, а если у кого и хватило бы, вроде

Векшина, так тоже остережется по здравом размышлении. Векшинская прописка в квартире давно кончилась, и в комнату его на время ремонта подвального этажа перевели домовую контору, так что за отсутствием своего угла он почевал на раскладушке у Балуевой, с негласного чикилевского разрешения.

Утром, перед службой, Петр Горбидоныч забежал к ней справиться, настолько ли оскорбительной выглядела вчерашняя фирсовская выходка: требовалось удостовериться, дружно ли у них там ночь прошла. Как ни юлил, Зина Васильевна к себе его не впустила, а сама вышла к нему в коридор. Она вполголоса присоветовала Петру Горбидонычу не слишком-то во вчерашний случай вникать, поскольку писатели сплошь нервные и, биографии ихние почитать, до такой степени поведением беспокойные, что лучше с ихним братом и не связываться. Чикилев и сам достаточно был осведомлен, что русский сочинитель — народ аховый, а которому и посчастливится петли да плахи избегнуть, своего лично либо соперницкого пистолета, так уж непременно от запоя норовит помереть, да еще с приложением чахотки. И если Петр Горбидоныч до сих пор не вносил законопроекта, чтобы заблаговременно эту публику по сумасшедшим домам распределять, то только из соображения, что тогда через самый короткий промежуток останутся в России одни читатели.

Приведенные резоны не доставили Петру Горбидонычу желательного успокоения. Конечно, никакая пощечина, даже с повреждением кожной поверхности, чего, к слову, не было, не есть еще увечье, лишающее средств к добыче пропитания. Вызывать Фирсова на дуэль Петр Горбидоныч не желал единственно из опасения доставить огорченье начальству, тем более что за битую наружность со службы не выключают. Все это отнюдь не означало отказа от лютой мести; следовало для виду как бы примириться сперва, убавившись до микробьей незримости, усыпить ликующего врага, а самому тем временем исподтишка и любыми средствами добиваться всемерного возвышения и, однажды заполнив своей особой свод небесный, нависнуть негаданно в какую-нибудь блаженнейшую для обидчика минуту да, погрузив ему во внутренность руку по самое плечо, причинить там надлежащей силы боль. Месть должна была начинаться сразу по выходе фирсовской повести в свет, и несомненная выгода отсрочки заключалась в возможности приложить к доносу перечень наиболее вопиющих в книге мест вольнодумства, политической клеветы, половой распущен-

ности — пока, а там, глядишь, и еще что-нибудь годненькое да гаденькое набежит. К тому времени неплохо было бы сотенку читательских подписей подсобрать, понеразборчивей, от сослуживцев либо по местожительству, хотя, конечно, от области в целом либо от всей центрально-черноземной полосы было бы еще куда внушительней, чтобы сразу в хлорную известку его, писучего подлеца!.. Так, весь дрожа и замирая от ненависти, Петр Горбидоныч становился на вахту в большую литературную подворотню, где уже толпились с чернильными приборами старые, самого пестрого происхождения фирсовские дружки.

Прибрав комнату в то утро и оставив завтрак на столе, Зина Васильевна отправилась на рынок задолго до векшинского пробужденья. Проснувшись и открыв глаза, Векшин осмотрелся, не отрываясь от подушки; ровно ничего не хотелось ему, и потом свинец болезненно катался в голове. Но погода была прекрасна, солнечный свет и дождик на рассвете досиня промыли небо и навели веселый блеск на клочок природы под окном. Было еще не жарко, солнце стояло смирно, как привязанное, и так благоухали внизу тополя, что Векшин невольно расширил ноздри.

Ленивое мяуканье заставило его приподняться на локте. В косом солнечном ромбе на полу Клавдя возилась со старой кошкой, пытаясь укрепить у нее на хвосте алую ленточку от вчерашних конфет.

— Что, не ладится твое дело? — пошутил Векшин девочке, разливавшей своим платьицем алый радостный отсвет.

— Бантик склизкий... — общительно отвечала маленькая; в ту же минуту кошка юркнула в дверь вместе со своим украшением, и Клавдя не побежала следом, а наблюдала, чуть скосив глаза, как Векшин натаскивает на ногу тесный сапог. — А я знаю, кто ты,— сказала она наконец.

— Кто же я? — приподнял Векшин голову.

— Ты Митька, вор,— очень внятно произнесла девочка. — Ты теперь будешь мамин муж. Она тебе кровать купила, в сарае стоит, а дядя Матвей на ящиках спал. Мама добрая, она у меня толстая. Ты ее не бей, ладно? Прошлый папа посуду колотил и все ругался... — невинным голоском она произнесла мерзкое слово, чуть усилив его детским искаженьем. — Только он недолго папа был... А ты сам больше чего воруешь, деньги или чего?.. ты игрушки тоже уворовываешь?

— Ладно, ступай куда-нибудь... или займись своим делом, девочка,— безразлично сказал Векшин, вставая.

Он увидел приготовленный ему на комоде, заметно побывавший в употреблении бритвенный прибор и сперва потянулся к нему рукою, но, кажется, по дороге забыл свое намеренье. В необъяснимом раздумии он примерил на голову чужой парусиновый картуз с гвоздя и постоял перед зеркалом, стараясь опознать себя в черном, жеваном господине с лакейскими бачками по ту сторону пятнистого стекла. Поношенные, тоже чужие мужские шлепанцы выглядывали из-под постели,— о н о как бы обступало его. Вполне исправное гнездо предлагалось ему судьбою, настолько обжитое, что можно было вложить себя в готовые, на простыне, вмятины от предыдущего мужа... Когда вернувшаяся Зина Васильевна внесла в комнату кофейник, она еще застала Векшина в том же поразительно подлого покроя картузе. Векшин почти не отвечал на ее угодливые многословные обращенья. Никогда еще он не испытывал к Зинке такой отчужденности, если не враждебности; она вязала ему руки, эта клейкая ее ласковость. Пить и есть не стал, а, не снимая картуза и раздумчиво, словно сомневался в необходимости выходить из дому, взялся за скобу двери.

— Хоть покушал бы на дорогу! — еле слышно сказала Зина Васильевна, но тот промолчал. — Тебе деньжонок на табачок не нужно, Митя? — еще спросила она, и тот отвечал таким же шелестом, что у него полпачки папирос в запасе.

...Векшин пропадал весь день. Сперва он отправился к Саньке, который, по дошедшим в тюрьму сведениям, поселился на противоположной окраине города. Санькино местожительство отыскалось в полуподвале, в углу неопрятного, обставленного мелкоэтажными каменными строеньями проходного двора. К перекошенной двери сводили покатые щербатые ступеньки. С а п о ж н ы й к о л о д о ч н и к А. Б а б к и н — было написано на жестянке, прибитой мелким сапожным гвоздиком. — П р и е м з а к а з о в и з с в о е г о м а т е р ь я л а. Пониже висел бумажный лоскуток с уведомлением о срочной продаже вещей п о с л у ч а ю. Тщательно перенумерованный, перечислялся там весь небогатый Санькин скарб: кухонный стол и ломберный без одной ножки, мясорубка, с т у л о... Под номером восьмым стояла балалайка, а под девятым приглашение — с п р о с и т ь з д е с ь. Кривой улыбкой преодолевая снисхожденье жалости, Векшин спустился вниз и вошел.

Двери стояли открытые настежь, домотканый половичок смягчил его шаги.

Незастекленное оконце скудно освещало никогда не просыхающие стены. Здесь на полке, в тесных сенцах, стояли пыльные горшки, а самое пристенье внизу завалено было деревянными заготовками, из которых Санька делал свой хлеб. Помещеньице за второю дверью вовсе не годилось бы под жилье, кабы не потрудилась вдоволь заботливая женская рука,— несмотря на это, нужно было привыкать к тяжелому плесневому воздуху, зеленоватым сумеркам, к спертой тишине подвала. Лоскут дешевого, на гвоздиках, тюля закрывал единственное окно, а с потолка свисала клетка, но за все время векшинского пребывания птица в ней не только не чирикнула, даже не двинулась ни разу. Спиною к облезлому, бывалому комоду сидела и шила бесцветная, совсем молодая женщина, ловко пользуясь светом из окна, отраженным грязноватой штукатуркой прилегающего вплотную брандмауэра.

— Привет, привет... — без всякого выражения поздоровался Векшин,— сам дома?

Что-то во взгляде этой тихой, до хрупкости худенькой женщины заставило его сдернуть с себя картуз.

— Ой, как вы напугали меня... — растерянно заулыбалась та, хватаясь за сердце, и Векшину эта робкая и светлая улыбка невольно показалась здесь, среди всякого лома и самодельщины, единственной, пожалуй, ценностью. — Шуры нету дома, он к заказчику пошел... но скоро вернется. Присядьте пока!.. вы, верно, от Ложкиных будете, за товаром?

— Нет, я буду от самого себя,— отвечал Векшин, опускаясь на низенькое подобие табуретки, и полез за папиросой.

Женщина тотчас забеспокоилась:

— Только... если вам не трудно, то... не курите тут, пожалуйста,— подкупающей скороговоркой попросила она. — У меня легкие не в порядке... так, слегка, а лечиться перед отъездом уж некогда, и окошко у нас наглухо замазано. А то соседняя помойка очень накаливается на солнце, и мы только по вечерам у себя проветриваем, и то через выходную дверь. Но Шура такой лист фанеры изобрел, так что при махании воздух очень хорошо просвежается...

— Ладно, ладно, не буду,— прервал ее Векшин и спрятал коробку в карман. — Далеко уезжать собираетесь?

Вместо ответа она виновато заметалась, даже щеки зарделись от смущенья, и видно было, что клянет себя за сорвавшуюся с языка тайну.

— Скажите... у вас очень срочное дело к Шуре?.. недельки две подождать не может? — еле осмелилась спросить Санькина жена и вся поникла под леденящим векшинским взором. — А то много работы последнее время. Вот я прикинула сейчас его дела, и у меня вдруг пропала всякая уверенность, вернется ли он до вечера...

Видимо, она принимала посетителя за одного из сподвижников мужа по брошенному ремеслу, вздумавшего пригласить Велосипеда на очередное ночное предприятие. Голос ее дрожал, просил пощады, она стала как-то прозрачней от внезапно налетевшего страха, кашель разочка два колыхнул ей грудь, и Векшин не без основания подумал, что, кабы Санька не подобрал ее в тот вечер с бульвара, так через месяц-другой лежать бы бедной дамочке в морге.

— Нет, я Векшин, Дмитрий Векшин, тот самый... вспомнилось теперь? — с чувством оказанного великодушия успокоил он, раскрывая себя не из бахвальства, а единственно чтобы не боялась его, испытывала к гостю одно лишь благодарное доверие, как к давнему руководящему другу. — Мы боевые друзья с Александром... и славы и горечи, черт возьми, досыта с ним как тины нахлебались! Он у меня чувствительный был, наверно надоел вам рассказами про меня?

В голосе его прозвучали и смущенная гордость за испытанные лишения походной жизни, и снисхожденье к отбившемуся товарищу, так что в дальнейшем можно было рассчитывать и на полное от Векшина прощенье. Он ждал благодарного оживления, подтянул было свои гладкие, дорогие сапоги. Однако векшинское сообщение не вызвало ровно никакого отклика у совсем неискусной на притворство Санькиной жены.

— Векшин, говорите? Не знаю... нет, он как-то ни разу мне не поминал про Векшина. Да его и судить нельзя за это, он последнее время такой рассеянный бывает... — постаралась она смягчить непростительный в глазах гостя, если только не вполне сознательный, промах мужа и еще ниже склонилась над шитвом.

Векшин огляделся,— ни в чем вокруг не содержалось и намека не только на существование Дмитрия Векшина, но хотя бы на совместное прошлое с ним. Будто ничего святого не оставалось у Саньки Бабкина позади, будто метелкой вымел, выскреб и руки тряпкой вытер начисто. Тогда Векшин отложил в сторонку хозяйские ножницы, которые вертел в руке, и как бы между делом отправился взглянуть на семейные фотографии,

расставленные в рамочках на комоде или приколотые веером к обоям. Среди них уж непременно должна была находиться одна, фронтовая, где снимались всем эскадроном вместе с видным товарищем, наезжавшим из Москвы. Помнится, месяц спустя тот прислал в часть дюжину оттисков для раздачи наиболее достойным, и с реликвией этой как с паспортом личных заслуг не разлучался Векшин никогда. Неизвестно, куда задевал Санька свою, только нигде ее тут не было, а везде красовалась лишь эта самая худенькая — то в веночке вроде из васильков, то в сообществе барышень и подростков сильно нетрудового облика, а то и вовсе возле дачи с терраской, где подозрительно чистая публика баловалась чем-то среди бела дня в хрустальных бокальчиках, небось — бланманже. Только на одной карточке Санькина жена была снята вместе с мужем, голова к голове, видимо в первый час супружества, еще в свадебной фате. То была вещественная улика — что венчались в церкви, через попа, и, так как в глазах Векшина это означало нечто гораздо худшее, чем просто отступничество — прямую измену, у него почему-то возникло странное, тоскливое, невыносимо чадное, никогда толком не объяснившееся чувство, словно лучшие друзья не только ограбили его или даже обставили в ристании современников, но и достигли этим путем помимо его воли какого-то заключительного для себя благополучия. Лишь бы не видеть улыбки идиотского блаженства на Санькином лице, он стал разглядывать соседние, в особенности крайнюю слева карточку, непоправимо побуревшую, надо думать, от длительного хранения в каком-то сыром тайнике. Добрых полминуты потребовалось на то, чтобы различить на ней длиннолицего насупленного старика с подусниками и в мундире с расшитой грудью.

— Бравый какой... из полиции, видать! — протянул Векшин с сожалением за друга, оступившегося в такую бездну. — Родственник, что ли?

Санькина жена испуганно обернулась:

— Да, это папа мой. У них форма была такая, обязательная, он в сенате работал... я хочу сказать, он одно время... сенатором был.

— И как же, трудная там у них была работа? — смущенный таким открытием, осведомился Векшин, и с этой минуты буквально все раздражало его кругом.

Она замялась:

— Как вам сказать: законы обсуждал. Трудная — если их для себя писать, а для других законы придумывать, на мой взгляд, одна забава приятная!

И опять почему-то не понравилась Векшину фальшиво прозвучавшая у ней резкость в оценке отцовской деятельности.

— Небось и навещает вас, под вечерочек... как-никак тестя палкой не погонишь? — шаг за шагом добирался Векшин до самой глубины Санькина паденья. — Или с соображением старик, воздерживается?

— Нет, он воздерживается... — школьным голосом начала Санькина жена, потом оборвалась, головой закачала с непривычки к неправде. — Собственно, он даже умер тут как-то... в позапрошлом еще году.

Векшин холодно посмотрел на Санькину жену, явственно распознав неуловимую лжинку в ее признании, по всей вероятности скрытую от Саньки.

— Но от чего же он умер?

— От простуды... — сказала та на глубоком вздохе.

На несколько мгновений их глаза встретились, почти спаялись и с болью разошлись, но за это короткое время Санькина жена успела оценить отношение к себе собеседника, его незаурядную волю и, следовательно, характер опасности, грозившей ее благополучию. Впервые вместе с тем ее собственная вина в настолько полном объеме предстала перед нею, что ей оставалось рассчитывать лишь на великодушие этого загадочного Векшина... и сразу в расчете на что-то, с решимостью — словно в полынью бросалась — она горячо и сбивчиво принялась описывать страшному посетителю, какого труда стоило ей заставить мужа порвать с блатом, и как первое время таскались в гости к ним разные там, пока чуточку не поотвыкли, и как сам Шура тяготится прежними знакомствами, и что заказы в последний месяц, слава богу, значительно увеличились,— «все колодки за время голодных лет, сами знаете, на дрова пожгли». И, наконец, излишней и многословной откровенностью стремясь подкупить непримиримого пришельца из прошлого, принялась рассказывать, что́ едят они с Шурой, на чем экономят, куда отправляются праздничный вечеришко скоротать. Любопытно было видеть, как усердно, хоть и бессознательно, всем существом своим, не только привычками, даже речевым складом старалась она стать поскорее Санькиной половиной.

— Мы с ним как-то по лекциям все больше пристрастились ходить... и дешевле театра обходится, да и пользы не в пример больше. Теперь много разных лекций читают — про крестовые походы или какие рыбы на дне океана живут. Саня у меня ужасно жадный на эти вещи... да и я с ним: так и замру, чтобы ни крупинки мимо ушей не пролетело. Нас с сестрой в детстве больше взаперти держали, кипяченым воздухом приходилось дышать!.. А то на днях про луну попалось, как она, бедная, вкруг земли-то мотается, никак от нее оторваться не может. Ей, наверно, и хотелось бы порхнуть к солнышку... а не может!

Векшин рассеянно внимал ее жалким уловкам оправдаться в чем-то, поглядывал, как бегали по шитву ее тонкие, прозрачные, не наши пальцы, хотя она ими и белье стирала мужу, и полы мыла, и все там прочее... Он даже соглашался, что, в общем, это были неплохие руки, тихие и добрые, но тем именно бесконечно опасные, что в сладчайший ил, по-русалочьи, затягивали пригодного для великих походов бойца. Строй его мыслей в достаточной мере показывал, что после тюремной спячки Дмитрий Векшин разгуливался понемножку и, постепенно согреваясь на людях, возвращал себе утраченную было во хмелю способность суждения о добре и зле.

...Санька вернулся через час, и тотчас все ожило, сильней забурлило в кастрюльке на керосинке, а закоченелая птица его принялась за свою коноплю,— из клетки развеселая полетела шелуха. Он показался Векшину поопрятнее, чем в прошлую встречу, усы под влиянием неограниченного счастья разрослись еще пышней, а пестрый, при веснушках, загар придавал его и без того смешному лицу забавную деревенскую простоватость. Выглядел теперь Санька заправским мастеровым в своих стоптанных штиблетах и кургузой куртчонке ровно с чужого плеча, с поразившими Векшина черными, в порезах и клею руками, запотевший с дороги, пятернею чесанный, а в конце концов все тот же незабвенный Санька Бабкин, славный товарищ недавних лет.

— Хозяин! — воскликнул он, сперва отстраняясь от друга, как от видения, но потерялся, раскаялся под прямым векшинским взором и лишь руками развел на убогий уют своего каменного закутка. — Хозяин... — еле слышно повторил он и заплакал от нежной радости о векшинском приходе на его новоселье.

Тому было немножко и стеснительно наблюдать чересчур сильное душевное волнение товарища, но вместе с тем неудобство это было какое-то приятное. Тем более сумрачно оглянулся он на Санькину жену, которая сзади подавала мужу всякие суматошные знаки и, по всей видимости, собиралась отнять у Векшина эти лично ему принадлежавшие слезы.

— Ладно, здравствуй, Велосипед,— твердо сказал он, во-первых, чтобы уравновесить нестерпимое мещанское благолепие и показать, во-вторых, что и в беде не намерен выпускать дружка из объятий своего одностороннего приятельства. — Да уймись же ты, чудище гороховое... эх, а еще колодочник сапожный!

Так поталкивал он Саньку в плечо, и тому пора бы перестать, а он все всхлипывал, с бегающими глазами помахивал принесенным узелком, возможно, в намерении выиграть время, сообразить обстановку, понять путаную мимику жены. Подмеченная переглядка несколько поохладила векшинское расположение к этому долговязому парню, который, лишь ненадолго оставшись без присмотра и указаний, успел наделать столько почти непоправимых промахов.

— Птица-то у тебя клест, что ли? — поинтересовался Векшин.

— Поползень... — отвечал Санька, а Векшин обратил внимание на то, как несообразно быстро высохли его слезы. — Это я намедни с получки растратился... обожаю, чтобы шум и сор завсегда в дому были. Знаешь, шум и сор самое первое дело, когда жизнь! Ты, Ксеня, ступай пока отсюда,— строго велел он жене,— я кликну, как понадобишься!

Бросив на мужа взгляд отчаянья, Санькина жена двинулась к дверям, но он окликнул ее уже на пороге. Они пошептались, даже не без мелкой ссоры, кажется, после чего женщина ушла совсем, забрав с комода медную мелочь.

— Сейчас она нам с тобою доставит провиант и поднесет по чарочке, а ты окажи ей честь, не брыкайся,— стал усиленно просить Санька и все подмигивал, хотя Векшин и не собирался отказываться. — Она тебя страсть как уважает... Да ты садись, пристраивайся, хозяин... ай уж насиделся? — пошутил он про тюрьму.

— Нет, я все же присяду,— недобро усмехнулся Векшин, садясь прочно и надолго. — Ну, как ты тут?.. процветаешь, замечаю.

— Живу по маленькой, не жалуюсь, впустую не работаю. Гляди, весь я тут и потроха мои! Да вот с Ксенькой не везет, прихварывает...

— Постой, разве ее Ксенькой зовут? — чему-то удивился Векшин. — А почему же мне казалось, будто Катька...

— Ксеньей Аркадьевной... — тихо поправил Санька. — Рановато здоровьишком поизносилась, но только ты не подумай чего дурного,— и сделал большие глаза,— я ее почти в самый тот момент из огня выхватил. И чудно́, так мне это дело понравилось, хозяин, что сам я ее, собственными своими руками из такого горя вызволил, что... ни с какою сластью не сравнить. А то две войны подряд сидю в седле да шашкой направо-налево полосую, а тут как-то...

— Соображать надо, о чем треплешься,— оборвал его Векшин. — Слышно, уезжать собираешься?

— Уж набрехала? А иначе не отобьешься от них, от друзьишек. Придет незваный, водки требует, с сапогами в душу лезет, а сапоги со шпорами! — Разволновавшись, Санька придвинулся с табуреткой и схватил дорогого гостя за руки. — Вот мы с Ксенькой и спептались: махнем-ка давай в самую малую, какая найдется, городишечку о двух колоколенках... чтоб птички в деревьях журчали и чтоб печали нашей ежечасной, все об одном и том же, не было. Выйдешь вечерком на крылечко, а тишина тебе и от хлопотных мыслей полный спокой. Доктор толкует, что сразу тогда и с грудью полегчает у Ксеньки моей... — Он закрыл глаза, и похоже стало, будто песню сочиняет колодочник про то, что так и не далось ему в жизни. — Я люблю, знаешь, когда небо в отливах, ровно раковина, и облачишки лоскутками дремлют, и коростель с шумком колынется. А тут лунишка из оврага выползает... и ночь, ночь, на тыщу верст ночь кругом, как сметана: ночь! А главное, никто в тебя пальцем не постучится, ничего постороннего в тебя не заронит. Нет в природе дряни, хозяин, вся от человека дрянь. — Из осторожности он приоткрыл сперва лишь один глаз на гостя. — Чудно, бывшие воры про птичек разговор завели...

— Я и теперь вор,— резко сказал Векшин, смахнув со своих рук Санькины. — Самого меня в эту тину и плесень никогда не тянуло, да и тебе, Велосипед, не советую.

Санька боязливо оглянулся на дверь,— не столько советом задетый, как самим обращеньем.

— Ты меня так не зови больше, хозяин, а то... рассержусь. Ксеня не любит, как припадочная делается тогда... Ладно, и сам не буду, а только... разве это плесень, хозяин, птица-то? И опять повторю: вот уж сколько ты мной командуешь, то есть, как я понимаю, к самолучшему ведешь, а ведь и не подразумеваешь поди, какой я птишник у тебя. И даже не ем ее никакую, вот как я птицу люблю! Не могу, точно самого себя ем... — со смешком извиненья вырвалось у него, и Векшин невольно улыбнулся такому шальному у человека пристрастью. — А ведь на фронте ел, забвенье находило... все забывал, самое имя свое забывал. Слыхал ты, хозяин, как скворец иволгу дразнит? Ты послушай только! — И, вытянув губы, он артистически изобразил и кошачьи взвизги птицы, и нежное ее задушевное тюрлюлюканье. — Я тут попка одного кашкой подкармливаю, на птичьем рынке подобрал... бывшего, не бойся! Весь пропился, крест нагрудный пропил, за двугривенный на икону плюет!.. а тварь эту летучую обожает, только за птиц в жизни и держится. Разговоримся порой, и кажется мне, что расселись они там по кусточкам и ждут меня, ждут. Да ты вроде задремал у меня, хозяин... как по-твоему, ждут еще меня птицы? — в крайнем воодушевлении вскричал он, покачав векшинское колено.

— Какую чепуху плетешь... вконец оглупел ты, братец, со своей женитьбой,— поохладил его жар Векшин и окончательно решил, что все дурное влияние исходит от Санькиной жены, значит, отсюда и следует приступать к леченью.

— Нет, не чепуха, не воспрещай во мне души, хозяин! — Санька сам испугался угрожающей нотки в своем голосе и в течение целой минуты пошел бы на любую уступку хозяину. — Донька на днях пришел, пьяный и с бабенкой. Повздорили мы с ним... Вон фикус сломал, а потом схватил ключи, да как швырнет Ксеньке в грудь, аж звякнуло. Ты полагаешь, и это нужно в жизни, чтоб ключами в грудь? Ох, уж не молчал бы ты со мной, хозяин! А то еще хуже, денег клянчат на пропой, водкой поят, на твои же деньги купленной, спать потом остаются. И не выгонишь: приятели, промышляли вместе, одним клеймом меченные... — дрожащими от горечи губами произнес он. — А я Ксеньке смертный зарок дал капли не принимать...

Митька сдержанно усмехался и похрустывал пальцами.

— Так, так... когда уезжаешь-то? — спросил он наконец.

— Да за деньгами дело. Мы уж стараемся, жмемся. Ксенька мережку на магазин делает, скатерочки разные под буржуйный рисунок. Пятьдесят целковых накопили, хозяин... Сотенку наберем к зиме и бултыхнемся камнем с бережка! Про деньги эти я тебе одному открываю, в цельном мире не знает никто!

— Очень хорошо,— покачивался гость, покусывая губы. — Действительно, черт возьми, пора же и тебе когда-нибудь отрываться от каторжной гири. А пока вот: на дело пошел бы со мною? Подвертывается небольшое одно...

Никакого дела у Векшина пока не предвиделось, и сейчас, приглашая Саньку единственно ради испытания, он пронизывал его привычным взором, который так недавно зажигал в этом парне восторженные удальство и преданность... но вот, весь в пятнах, как при тифе, Санька молчал сейчас, откинувшись к стенке, потому что успел тем временем на койку от Векшина пересесть, поднятыми руками как бы заклинаясь, словно от призрака.

— Не зови, хозяин, не пойду,— сдавленно, будто за горло его держали, признался он наконец. — Убьюсь, не пойду.

— А прикажу если? — настаивал Векшин, но тот опять замолк, и Векшин горько усмехнулся: — Да я и не зову... это я волю твою проверить хотел. Не нужен ты мне больше в жизни... существуй со своей Катей как знаешь.

— Правда, вправду ты говоришь? — захохотал Санька, засновал по комнате от радости высвобожденья, ежесекундно поглядывая на дверь в очевидной потребности залить немедленно, закрепить навечно, припечатать хоть бы казенным сургучом высокое векшинское решенье. — Ты погоди, не уходи, хозяин, я Ксеньку мою за квасом послал. Тут в кунеративе у нас хлебным, по шестнадцать копеек, торгуют... прямо душу наскрозь просверливает, как пьешь. — Исключительно от волнения он сбегал к керосинке и покрутил в обе стороны фитиль. — Ведь я так и знал, что ты шутишь, хозяин. Зачем еще тебе Санька потребовался?.. мало он тебе жизни отдал? Ты ж орел... кликни, цельная стая за тобой подымется, всю Москву наотмашь расклюют! — Вдруг он припал к железным векшинским коленям и с молитвенным отчаяньем снизу заглянул в опущенные векшинские глаза. — И знаешь, пока Ксеньки нет, не ходи ко мне больше, хозяин, ладно?.. никогда не ходи! И если умирать станешь, и кабы мимо, с петлей на шее тебя повели... все равно не стучись ко мне, пожалей. В сердце своем

завсегда носить тебя буду, руки-ноги тебе расцелую, а только не ходи... оставь меня, как ты ее называешь, в тинке моей теперь!

В его искаженном мольбой лице проступило даже какое-то несвойственное ему вдохновенье, какого раньше и не бывало, а одна нотка в этом сиплом постыдном вопле до тоски резнула Векшина по сердцу.

— Ну, значит, на том и порешим... — сказал тихо Векшин и медленно поднялся. — Засиделся я у тебя!

Надо думать, в срок воротившаяся Санькина жена подала бутылку мужу через форточку, что ли,— Векшин уже уходил. На ходу вышибая ладонью пробку, Санька выскочил за гостем в каменные сенцы. Дверь с подвешенным на блоке кирпичом сама собою захлопнулась на этот раз. Все складывалось как нельзя лучше, уже держался Векшин за скобку второй двери, чтобы выйти наружу из помещения, да и вообще из памяти, и Санька не особенно его удерживал, но тут случилась вовсе не объяснимая заминка.

— Ну чего, чудак, чего стоишь с бутылкой? — неожиданно в последнюю минуту обернулся Векшин.

Кажется, ему хотелось еще здесь, на месте, додумать одно не полностью созревшее в нем утреннее решение, но внимание ужасно рассеивал попавшийся на глаза ремешок, на котором держались Санькины штаны. На нем, во фронтовое время, помнится, и бритву править приходилось, им же однажды были крепко связаны буйствующие руки Дмитрия Векшина.

— Кваску... выпей кваску на дорожку, хозяин,— с неверными глазами бормотал Санька и чуть не приплясывал перед необъяснимо задержавшимся дружком.

И непонятно, то ли откупиться хотел Санька тем злосчастным, за шестнадцать копеек, кваском, то ли совестился, что уйдет без ласкового слова и угощенья бессменный властитель его судьбы... но еще верней — стремился чем попало заполнить образовавшуюся между ними прощальную пустоту, чтобы не вторглись в нее иные, непоправимые обстоятельства. Так оно и случилось, как опасался Санька.

— Нет, не надо мне твоего кваску,— сказал Векшин и теперь явственно вспомнил даже, при каких обстоятельствах в последний раз видел эту медную пряжку незабываемого ремешка. — Так ты говоришь, пятьдесят накопил? Это, брат, очень кстати... Собственно, я на сотню рассчитывал... тут мне

для одного щекотливого дела непременно честные, даже святые деньги надобны!.. но ладно, давай из них *сороковку*, попробую уложиться!

— Ровно полсотенки... — молитвенно прошептал Санька, а пена все текла и пузырилась из склоненной бутылки, словно ничего, кроме пены, там не было.

Ухватив болтающийся кончик, чтоб унять душевный Санькин пляс, Векшин стал накручивать на палец раздражавший его теперь поясной ремешок, так что и Санька механически подтягивался поближе. Однако какое-то мучительное, казавшееся ему чисто обывательским чувство мешало Векшину поднять глаза. Вдруг он пересилил себя, сразу решась на многое.

— Так вот, братец, мне бы, пожалуй, и тридцать хватило, но лучше все сорок дай! — твердо выговорил он, поразительно не сбиваясь в словах и не отпуская ремешка. — Сам понимаешь, я могу достать их, сколько захочу, но мне нужны непременно честные, потные... словом, *чистые* деньги! И я тебе обещаюсь из первого же заработка такими же вернуть!

Он умолк и разом спустил с пальца роковой ремешок.

— Тебе это сразу, сейчас нужно? — с боязливой надеждой заюлил Санька. — Видишь, они у Ксеньки в одеяло вшиты... но мы ничего, мы их сейчас вспорем ножичком, вспорем вострым ножичком, и хана! Да я и спрашиваться не стану, она у меня и не пронюхает ничего, Ксенька моя... Да я, глядишь, до отъезду, может, еще клад от беглого купца найду, хе-хе... Сороковку, говоришь? Ты погоди меня тут, хозяин, пей пока квасок-то, прямо из бутылки вали... ох, занозистый!

Своею утомительно многословною, как бы сообщнической скороговоркой он, видимо, срок давал Векшину одуматься, как впоследствии он выразился, *бога в себе увидеть*, но тот, будучи человеком военной решимости, не смущался и не отступал. Таким образом, ничего Саньке Бабкину не оставалось, как юркнуть за обещанным в обитую войлоком дверь, с глухим могильным пристуком вставшую на свое место.

Затем в действие вступило время, потому лишь не замеченное Векшиным, что неизменно, едва оставался один, накатывали на него одни и те же, с утра, болезненные размышленья. Пожалуй, он сам себя испугался бы, если бы осознал, сколько за этот раз времени незамеченного утекло. Его вернуло к действительности откровенное перешептыванье за дверью... но Векшин строго взглянул на нее, и там все смолкло, а в

темной, разношенной замочной скважине неожиданно объявилось светлое пятно; ключа в ней не было. Тогда липкая непобедимая хитрость обволокла Векшину разум,— надвинувшись сбоку, он с колена приник к тому же отверстию и сперва увидел в нем лишь овал стены, оклеенной газетами, а потом оно стало застилаться чем-то медленным, неуверенным, воровским. То был подглядывающий Санькин глаз. Некоторое время, пока не освоились, оба взаимно всматривались в этот зрячий бессловесный мрак и, осознав, отпрянули почти одновременно. Векшин успел занять прежнее положение, когда кирпич пополз вверх.

— Вот они, достал, достал... — беснующимся шепотом крикнул Санька и еще с порога показывал обвязанную ниткой добычу в бельевом лоскутке. — Ждать тебя заставил, хозяин, извини! Вишь, мы ее зашили, чтоб до самого новоселья не касаться... а тут, как на грех, не видать ни стамесочки нигде!.. не найдется у тебя чего железненького, полоснуть? Ксенька моя там речкой разливается, я ее даже стуканул для острастки. Ты, может, по передовизму своему и осудишь мою серость, а только ежели бабу не учить, она тебе на шею как в седло вскочит... рази не верно? — Судя по тому, как старательно он делал вид, будто ему не терпится поскорей добраться в глубь заветного пакетика, он все еще рассчитывал на великодушие Векшина,— оттого и не удавалось ему никак заскорузлыми, вполовину сточенными ногтями распустить крохотный, на нитке, узелок.

Как бы ужасное нетерпенье клокотало в нем, и всего его трясло словно в ознобе, словно перед конной атакой его трясло, так что Векшин не без удовлетворения и ненадолго признал в нем прежнего Саньку, голого и великодушного, пьяней хмеля, вострей шашки, русского хлеба щедрей.

— Да не торопись ты, сатана... поддень палец и рви нитку-то, чего ее жалеть,— бормотал и Векшин, заражаясь его лихорадочным волненьем, но Санька тем временем, зубами раскусив узелок, уж выдирал из тряпочки новенькие, на подбор, хрустящие бумажки.

— Эва, бери, хозяин... рази ж Санька отказывал тебе в жизни хоть раз? Все у меня забирай, что в карман поместится... а не поместится, только адресок дай, на горбу притащу. Сердце во мне упало, как ты в прошлый раз про Ксеньку спросил, красивая ли: думаю — не иначе как руку за ней по старой дружбе тянет... а ведь, знаешь, может и отдал бы! — И чуть

не со слезой, чтоб польстить Векшину, кивнул на дверь, за которой, верно, стояла в тот час и маялась Санькина жена. — И не серчай, хозяин, соврал я тебе даве про Ксеньку, будто ударил. Уж и замахнулся было, да боязно стало: рука у меня тяжелая, помрет бабенка, а там милиция нагрянет, отвечай тогда за нее... рази ж не верно, хозяин? Она хоть и дрянь, вора бывшего маруха, а тоже поди на учете у государства, верно? Но вечерочком нонче расскажу я ей теперь, уж не торопясь, как оно сложилось промеж нас... как скакали мы с тобой встречь ветра за всемирное человечество, как стегали нас из-за ракитовых кусточков беглым огоньком... и ничто: ни хворь, ни контра белая не смогли нас с тобой свалить, а подточила, вишь, ползучая ржавчина. Я даже так рассчитываю, что не смеет ни один честный человек, на нашу с тобой долю глядючи, не расплакаться... а ведь женщина-то страшна — пока без слез. Как из глаз у ей закапало, взнуздывай хоть паутинкой, в любую сторону поезжай! — Вдруг он скомкал все сбережение в ладонях и протянул Векшину. — А еще лучше, хозяин, забирай целиком, вместе с тряпочкой, чтоб сору в доме не оставалося...

Не желая огорчать порывистого друга отказом, Векшин уж и взял было вместе с тряпочкой, чтоб выкинуть ее за первым углом... но в последний миг какое-то темное соображение заставило его втиснуть Саньке в руку десятку на разные могущие случиться в семейном быту надобности. Примечательно, что Санька и спасибка в ответ не сказал, как, впрочем, не благодарил и Векшин, который, разумеется, тоже отдал бы Саньке самые кровные, если бы в равных условиях смогла потянуться за ними Санькина рука. Остальные сорок Векшин спрятал в брючный кармашек и, все по той же болезненной рассеянности забыв проститься, пошел через двор. Он шел и с теплотою думал об отзывчивости простых людей, всегда готовых в беде поделиться с приятелем последней крохой.

Веснушчатый мальчик, футболивший оглушительную консервную жестянку, надоумил его обернуться в воротах. Там, теперь довольно далеко позади, в глубине залитого вечереющим солнцем двора стоял Санька.

— Хозяин... — в который, видно, раз кричал он и правой рукой назад манил,— допивал бы квасок-то на дорожку! — А в левой показывал вполовину полный стакан, где, сколько можно было видеть с расстояния, успел осесть, не пенился больше знаменитый напиток.

Из-за низкого свода каменной подворотни звук Санькина голоса превращался в неопределенный гул. Векшин дважды, без особого успеха, прикладывал к уху ладонь, потом, махнув рукой на прощанье, скрылся за углом. Нет, он не испытывал и доли раздраженья на этого долговязого, бестолкового, всегда довольно утомительного парня; кстати, привычка к людскому подчиненью помешала ему расслышать в чрезмерной Санькиной ласке тот трепещущий скрежет, что бывает и у ножа на оселке. Занятый своими мыслями, он не поинтересовался даже, каким образом при отсутствии заднего хода и замазанных окнах проникла в дом Санькина жена... Эту несообразность, среди многочисленных прочих, приводил, кстати, один дотошный критик в качестве показательной фирсовской небрежности; ему же принадлежал вполне уместный упрек, что приписанные автором своему герою тогдашние побуждения вполне чужды Векшину, как будто не понимал, что не с повышения в должности или получения диплома, не с переезда на новую квартиру или приобретения лишней пары обуви, а как раз с несвойственных, зачастую неуклюжих мыслей зачинается новый человек.

XVII

Полчаса спустя Векшин застал себя на пустынной, вовсе ему не знакомой улице, с изъезженной, почти без булыжника, мостовой. Раньше у него не бывало подобных выключений сознанья, разве лишь в минуты напряженных поисков какого-нибудь упорно ускользающего решенья. Но в описанный день он несколько раз просто забывал свое местонахожденье,— показалось, например, будто он в центре старого Рогова в жаркое лето перед самой немецкой войной, и за вторым углом налево прячется в зелени доломановский особнячок; поломанный бурею осокорь в том направлении усиливал степень сходства. Так же безнадежно искал Векшин выхода из стеснившихся обстоятельств, так же безвыходно обступали его провинциальные флигельки с пониклыми черемухами в палисадниках... Полная тишина стояла, как будто все они заснули там, пока не схлынет июльский зной, положенные в таких местах зевучие кошки в окнах, кашляющие старички на табуретках, оглушительная с обручами детвора. И снова, забыв все на свете, Векшин уставился на свою короткую полдневную тень с пучком яркой тра-

вы посреди... впрочем, он ничего не примечал как бы в приступе душевной слепоты.

Неотвязная, утренняя, без конца и начала мысль кружила его до одури, как в карусели, и едва усильем воли, шевеленьем губ удавалось задержать мелькнувшее звено, смежные думы втрое быстрей проносились мимо. Лицо Векшина мучительно кривилось.

«Значит, нельзя, но можно. Когда война или большая историческая расчистка, то можно, а с глазу на глаз нельзя. Труп пахнет в зависимости от повода, почему он стал трупом. Но моя вина только перед живым, пока ему руку рубишь, а едва сомкнулись навечно его очи, кто же меня тогда укорит, раз некому? И если некому, значит, можно... так почему же нельзя?»

Ему не удалось додумать и на этот раз. Из-за поворота в пыльном облаке, насыщенном сверканьями меди, выступала молчаливая процессия; продолговатое, красное с черным, пятно посреди придавало ей беспокоящую значительность. Векшин увидал это, лишь когда стало слышно шарканье ног и перестук колес по неровностям мостовой. На бывалой погребальной колеснице покачивался обитый кумачом гроб, сопровождаемый десятком деловых граждан с портфелями, без вдовы, никто не плакал, впереди же плелись музыканты с инструментами, начищенными до рези в глазах. Они надвигались прямиком на застывшего Векшина и, приблизясь чуть не вплотную, приложили к губам замысловатые медные кренделя,— возможно, чтоб посторонился с дороги; недружные печальные трели огласили полуденную тишину. Одновременно от заборов и домов стали отслаиваться ребятишки, тетки с подсолнухами, милиционеры и просто местные ротозеи,— некоторые пристраивались и двигались в общем потоке, как втянутые ветром листья. Векшин находился в их числе.

На передке катафалка ехал мальчик лет шести, точь-в-точь в такой же синей ластиковой рубашке, какая и у Векшина имелась в детстве. Ребенку нравилось сидеть выше всех и с дозволения возницы постегивать прутиком лошадку, увозившую его отца. Векшин шагал вровень с колесом и за весь оставшийся до кладбища путь никак не мог насмотреться на этот — мнилось ему! — все недуги жизни исцеляющий цвет, как не удается порою утолить застарелую жажду. Неожиданно лошадь остановилась по своей лошадиной надобности,

и все ждали, музыка же продолжала играть: лошадь была живая.

Тут-то, перед самым прибытием на место, и подскочил к Векшину один из провожатых с выраженьем отчаянья в лице, пожалуй даже исступленья.

— Скажите, вы не от областной станции, товарищ, не Иван Максимыч?.. может, хоть родственник? Безобразие какое, пообещаются и не едут... а без прощального слова как-то неловко человека в землю зарывать: доставили, и стряхивайся! Оно конечно, не генерал он, городов пушками не громил, но ведь и у него заслуги... тонкорунною овцою уж по меньшей мере процентов на тридцать мы ему обязаны. Сам-то я, знаете, смежного профиля, картофельщик, в соседних кабинетах сидели... но если и ввязался не в свое дело, то единственно из стыда за человечество! Одинокий, с чертовых куличек он к нам недавно переведен, кроме вот мальчишки, ни души у него не осталось, слезой гроб побрызгать некому! Вот и приходится и за попа, и за коменданта действовать, и за неутешную вдову...— Внезапно осененный, он вцепился Векшину в рукав.— А может, скажете речишку, хоть на десяток слов, а? О человеке вообще в текущей жизни...— Но он заглянул нечаянно в остановившиеся векшинские глаза и со странным потрескиваньем истаял в сухом пламени полдня.

Прислонясь к решетчатой ограде по соседству, Векшин глаз не сводил с синего пятнышка там, над толпой,— в предпоследнюю минуту кто-то поднял мальчика на руки, чтоб видней ему было и чтоб не оступился в могилу вместе с землей. Самая толпа к тому времени возросла чуть не вдвое за счет слонявшихся по кладбищу престарелых любителей похоронного обряда, которые заранее, с острым любопытством присматриваются к предстоящему. Одна такая выцветшая старушоночка, возможно уцелевшая от прошлого московская просвирня, оказалась как раз рядом с Векшиным. Вся ее родня и ровесники давно покоились в древней здешней почве, и, не имея с кем душу отвести, она по праву возраста тормошила бесчувственного Векшина за рукав.

— Глянь, ровно бревно в землю засовывают... без молитвы, без пенья, без ладану,— сокрушалась она, по обычаю стариков оплакивая нищую в ее глазах новизну.— Скажи, живых травить горелым бензином можно, а мертвого и ладаном побаловать воспрещено: уж я бы поделилася, припасла себе,

грешная, горстку на смертный час. Не-ет, не убажают нонче человеков на земле,— заключила она, имея в виду что-то среднее между уважением и обожанием.

А дело шло своим чередом, и сбоку, в холодке, докуривали цигарки трое проворных мужиков со сверкающими лопатами. Напутственное слово досталось тому же картофельщику, и Векшину видно было, как усердно воздевал тот одну за другою руки, чем достигается проникновенность в ораторском искусстве.

— ...ты закладал опыты по племенному животноводству, дорогой товарищ, до самой той поры, пока твой беззаветный подвиг не оборвался под случайной пятитонкой,— доносилось до Векшина.— Над безвременным прахом твоим клянемся и дальше продвигать мериносовое овцеводство по намеченному тобой пути, чтобы еще лучше процветало...

Здесь вмешался боковой милосердный ветерок, что живет вместе с птицами в могучих кронах кладбищенских деревьев. Векшин вздрогнул и открыл глаза, лишь когда пронзительно закричал мальчик. Потом тишайше заиграла музыка, и ребенок смолк, убаюканный вкрадчивым, до сладости нестройным напевом. Синее пятнышко временно пропало, так как стало возможно спустить ребенка на твердую теперь почву.

Не спеша Векшин выбирался из круга могильных холмов и чугунных оград. Солнечные зайчики резвились на песчаных, без единой соринки, дорожках. Он шел и глядел внутрь себя. Временами все мысли заглушало чувство голода, и тогда память сослепу натыкалась на Балуеву, ее утомительную заботливость и тоскливую любовь, поджидавшие его дома. Векшину не хотелось уходить отсюда, он оглянулся. Дорогое ему синее пятнышко еще виднелось позади, часто заслоняемое расходившимися,— оно то вспыхивало на солнце, то гасло под тенью колыхавшейся листвы. Каждый раз перед Векшиным успевал проструиться рой воспоминаний о щемящей высоте над Кудемой, о пронизывающей звонкости майского дня, о вступающем на мост длинном, железном, хвостатом чудовище, о навечно передавшейся ему дрожи худенького девичьего тельца. Не потому ли привлек Векшина в этом эпизоде и синий давний цвет, что по смежному ощущенью подсознательно возникало в памяти красное Машино платье?.. Фирсов не преминул также отметить в этой главе проявившееся в тот день впервые влечение Векшина к пограничным с жизнью

местам и мыслям. Стараясь разглядеть кое-что за последней чертой, он порою настолько приближался к самому краю, что соблазнительней было оступиться туда, чем разбираться в хаосе скользких сомнений и пугающих открытий.

XVIII

Лишь когда уперся векшинский взгляд в расписного турка на вывеске, разъяснилось вдруг, зачем и какой обходной дорожкой приводил его давешний поиск на порог ко Пчхову. Пожалуй, единственный на свете старый примусник мог без осужденья и насмешки помочь Векшину в его затрудненных нынешних обстоятельствах. Сквозь раскрытую дверь из мастерской далеко разносилось по Благуше мелкое металлическое постукиванье, и, примечательно, было что-то в нем успокоительное, как прикосновение к лекарству.

— А ты не бранись, не трать здоровья попусту, красотушка, а лучше прикинь в мозгу маненько,— терпеливо выговаривал Пчхов рослой рябой кухарке, вручая ей медную многосемейную кастрюлю.— Ведь ты за свой целковый бессмертие купить норовишь!.. Ишь какие смешные люди стали,— продолжал он уже стоявшему на пороге Векшину,— в самом малом к вечности стремятся... ровно без конца собираются жить. Иному год сроку остался, а он на цельную вечность норовит запастись. И так весь род людской верой в бессмертие держится, чего бы на свете ни делал он... но ежели хоть маненько веру эту, Митя, пошатнуть, то за год весь наш Вавилон неизвестно куда провалится!

Впрочем, он обнял Векшина не раньше, чем доклепал придирчивой заказчице еще на гривенник. На сей раз Пчхов не досаждал гостю ни расспросами, ни назойливым рассматриваньем, а только опросил мимолетно, тревожным взором, не болен ли, и тот ему не ответил.

— А у тебя все по-старому, по-вечному, примусник. Греться к тебе хожу...— пряча глаза, вздохнул Векшин.— Живет еще мокруша-то?

— Чего ей, ползает по назначенному кругу,— проворчал Пчхов и отправился закрывать свою слесарню на обед.— Ну, места мои тебе знакомые... входи, посети старика!

На Благуше давно стало известно о последних векшинских злоключеньях, и, видно, Пчхову неинтересно было знать

сверх того, через какие чисто временные фазы из края в край проходит данный человек, то есть на чем попался, как и надолго ли на волю выскочил,— его занимал лишь смысл проделанного Векшиным зигзага. По неряшливому, верней — без тени прежнего щегольства, облику да мутным, как в бессоннице, глазам он догадывался, что никогда еще в столь непроглядной душевной мгле не забредал к нему Митя Векшин, и теперь ждал, когда тот сам раскроется для исследованья недуга.

Они молча принялись за единственное, как обычно, блюдо пчховского изобретения, смесь супа с кашей,— вдруг посреди еды Векшин положил свою ложку.

— Что же ты не спросишь ни о чем, мастер Пчхов?

— Так ведь и не знаю, Митя, в какую сторону голос подать. У тебя теперь быстро дело пойдет, кажную неделю иным становиться будешь.

— Весь я как-то погано прозяб, примусник, — безжалобно сознался Векшин. — Вот и жарко нонче, а не чую. И все понять не могу это самое... ну, как это называется?.. плохое оно или хорошее, что происходит теперь со мною?

Пчхов даже улыбнулся на его беспомощность.

— А видишь ли, милый Митя, у природы завсегда так. У ей ни к чему приписного названия не имеется, она, как люди, из названия вывода не делает... — туманом на туман отвечал Пчхов. — К примеру, жук ползет на дерево... разве он помышляет, дескать, я, жук, взлезаю на дерево или, скажем,— я, гора огнедышащая, произвожу трясение земли? В природе ничего такого и нет, одно движенье соков, а его по-разному можно толковать. Сколько различных умов ни зарождалося, а всем ценные памятники поставлены... значит, не ошибался ни один! — Непременной частью пчховской трапезы всегда являлось чаепитие, и вот уже стоял на гудящем примусе уютный, щербатый чайник. — А только шибко поизменился ты, милый Митя. Назад всего полгодика такой статный господин в перчаточках захаживал... и взор, бывало, ровно хлыст железный. А нонче облинял, почернел... одним словом, некрасивый стал, Митя. С чего бы это, невзначай не остудился ли?

— Да так... — неопределенно вздыхал и мялся Векшин. — Темно в жизни, примусник. Так темно, что даже боязно.

— А как же ее живому не бояться! Только слепые да мертвые не страшатся темноты. Все из нее приходит и падает туда же по миновании срока... а, собственно, что тебя в ней

тревожит? — На деле он о многом догадывался, но хотел, чтобы тот сам сказал об этом. — Сколько разов ни спиживал я с тобой, так и не уловил, к чему у тебя в жизни главное расположение...

— Так ведь и я о тебе не больше знаю, Пчхов! — усмехнулся Векшин.

— Я к тому,— тотчас поправился Пчхов,— что одних, скажем, пуще всего деньги манят, другие наивысшей власти добиваются с правом снятия кожи с непокорного, третьи, напротив, любовным утехам себя посвящают, а бывают, которым и хромовых сапог за глаза достаточно. Ты чего сам-то ищешь, Митя?

Векшин лишь головой мотнул, и на щеке, обращенной к Пчхову, бешено проиграл какой-то мускул.

— В том и беда моя, Пчхов, к чему в жизни ни тянуло, все достигнуто. Раннею порой, казалось, слаще шоколадной бутылочки нету счастья на земле. Потом конь офицерский взлюбился мне, с каштанчиком... тоже недолговременная была радость. Две ночи в царской, резного дерева и с балдахином, кровати спал... не сымая сапог, из солдатской любознательности... Тоже не великая сласть!.. Да и сверх того подвертывались кое-какие развлеченьица из житейской практики, а все нету сытости душе. Ровно в тумане шарю, примусник, себя в нем не вижу. Ужли ж о туман бесследно истерлось мое хотенье. А ты все знаешь, только молчишь... вот и подсказал бы, чего в жизни искать посущественней, чтоб побольше за пазухой унести!

— Откуда ж мне знать, Митя, полуграмотному? — подозрительно вскинулся Пчхов. — И чего подразумеваешь, не ведаю!

— А то самое, что кажный раз прячешь от меня!

Пчхов испытующе посмотрел на собеседника и, значит, не нашел в нем зрелой готовности понять себя.

— Как тебе сказать... в темноте-то немало всего напихано, а только чего нет, про то и знать нечего,— поотстранился сначала Пчхов, но потом старая приязнь к этому пылающему человеку пересилила в слесаре природную осторожность. — Давай напрямки, милый Митя. Ты уж на такой ступеньке стоишь, что и убьешь кого али похуже штучку выкинешь — никто не удивится. А я серый человек, добываю хлеб из ржавого железа, всего лишь по керосинкам лекарь, хоть и немало навидался всячины на своем веку... Но когда Пчхову предмет в почин-

ку приносят, то на верстак его кладут и паяльником прикасаться дозволяют. Ладно, показывай... какая в тебе мокруша завелась!

Фирсов потом писал самозабвенно, что, если не считать пчховского примуса, так все и насторожилось в ту минуту на Благуше. Мастер успел расставить чайную посуду на столе, а кот его — проверить у пробоины в подполье посторонние шорохи, примерещившиеся спросонья,— Векшин все думал. Терзавшее его сомнение было совсем коротенькое, да никак не хватало духу произнести. До некоторой степени Пчхов догадывался о нем, так что все это время они как бы вращались одна вкруг другой, две разных мысли об одном и том же.

— Никак не могу от одной навязчивой мыслишки избавиться,— издалека приступил Векшин, стараясь легкомысленной окраской приглушить существо вопроса,— и ты мне в этом, примусник, помоги. Признавайся для начала, случалась у тебя такая неотложная оказия... людей убивать?

— А тебе зачем, Митя? — посуппился Пчхов. — Ай Агеевым делом заняться собираешься?

— Я после скажу зачем... и ты меня не бойся, я не выдам. Я и сам не боюсь: если что и было у меня, то дозволенное. Я даже так думаю: людям и впредь никак без этого не обойтись. Вон Фирсов говорит, не все гладко и у господа бога получается, и тому приходится кое-что вымарывать... — И опять прикрылся шуткой: — В частности, я вот чем интересуюсь — ходят ли к тебе привидения, примусник?.. да часто ли?

Пчхов молча снял и отложил в сторону бесполезные теперь очки. «Давно ли этим маешься?» — спросили его ясные глаза. «Не пугайся,— отвечали векшинские, затуманенные,— ежели и больной я, то смирный!»

— Ты это в каком смысле спросил... про привидения? — тихо осведомился Пчхов.

— В самом обыкновенном,— впервые за весь разговор усмехнулся Векшин. — Вот мне все больше доводилось на речках живать, и воинская часть наша тоже на реке стояла. Так что и не перечесть, сколько я там этих самых комарей нащелкал, сколько рыбы половил да раков. Иных самолично обезглавливал... а ведь любопытно, не являются!

— Кто это к тебе не является? — чуть не обиделся Пчхов.

— А вот привидения этих самых комарей да раков. Что-

бы, положим, сымаешь сапоги на ночь, а она и вплывает к тебе с укором... тень накануне съеденного тобою судака. Не вплывает, Пчхов, хотя я ему тоже причинил величайшее зло посредством лишения жизни. Ты на это мне немедля выставишь тот резон, что все дело в совести, а совесть у людей гибкая, хитрая: от комаря, дескать, вред, судак — пища. Ладно!.. но вот имеется, к примеру, у гуляющих горожан преподлое такое пристрастие муравейники в лесах разорять. Со скуки расковыряет тросточкой и наблюдает смертное ихнее смятение... а ведь муравей тварь полезная, работящая, жалостная, молчаливая. Так почему же, я спрашиваю тебя, людское привидение имеет власть к палачу своему приходить, а муравейное — не имеет. В чем тут дело, примусник?.. в размере туловища либо в количестве ножек?.. Ай чем больше ножек у жертвы, тем меньше грех?

Оба знали, в чем тут дело, оба помолчали, чтобы освоиться со сказанным.

— Дальше давай,— сказал Пчхов. — К чему тебе привидения далися, раз известно из науки, что их нет?

— Охотно объясню, примусник. Довелось мне однажды у покойного Агея справиться все о том же, можно ли людей убивать! «Не стоит»,— отвечает. Не сказал — нельзя, но — не стоит, в смысле — опасно. «А если постовой милиционер в командировку уехал либо при смерти лежит?» — спрашиваю. «Все одно, лучше не надо... — говорит, и даже губа отвисла.— А то почнут по ночам навещать, на койку присаживаться да костяным пальцем щекотить — не отобьешься!» А уж Агею можно было верить, большой специалист по сей отрасли был. Я от него прямо к сочинителю нашему кинулся, тот пограмотней — «если в совести все дело, спрашиваю, так ведь совесть— это покамест руку ему рубишь, а как в канаву сволок, какая же моя перед ним вина, раз он больше не существует? Не может быть моей вины перед тем, чего нет больше! Кто ж меня в таком случае навещать может?» — «А тогда сам себя станешь навещать,— отвечает Фирсов,— потому что, убивая, ты себя в нем убиваешь, живое отражение свое в его очах!»

— Ишь как ловко вильнул и вывернулся... что значит образование! — насмешливо подивился Пчхов. — Даже то берется объяснять, чего всякий ум трепещет.

— Вот и я вроде тебя онемел даже, а он мне сам же и смеется потом: «Да ты, Дмитрий Егорыч, чересчур не волнуй-

ся, призраки только малограмотных навещают, в ком живы предрассудки прошлого, а что касаемо полководцев разных, царей выдающихся, религиозных мечтателей либо прочих благодетелей человечества, к тем привидения не вхожи, адъютанты не пропускают». — «Так в чем же загвоздка-то,— добиваюсь у него,— в том ли, чтобы заглазно действовать, самому рук не мочить али при массовом производстве скидка дается совести?»

— Замысловатый господин, не зря его по газетам и треплют,— с одобрением отозвался Пчхов. — У нас за дурость редко бранят!

— И в ответ на мой вопрос Федор Федорыч требует сперва огонька у меня прикурить, потом затяжку делает — да такую, знаешь, когда дым из-под ногтей идет, после чего оглядывается на все четыре стороны и раскрывает под жесточайшим секретом, что истина потому и вечная, что она одна, да только имен и лиц у ней множество... и в каждом веке — свои! Тогда уж вконец я запутался...

— С ним запутаешься, лучше бог с ним! — рукой махнул Пчхов. — Про себя досказывай... чего ищешь ты?

— Вот и охота мне дознаться, примусник,— как-то вдруг и наотмашь заключил Векшин,— кто же я на самом деле, тварь или не тварь... и если тварь, то в каком, собственно, из этих двух смыслов. Может, и нет вины на мне никакой, раз я тварь в высшем роде... и к чему тогда все мое беспокойство? К медведю привидение коровы не захаживает, а тем более ко мне, который все на свете сможет целесообразностью либо ошибкой изъяснить... так? Умная совесть всегда умнее совестливого ума! И мне шагу теперь нельзя ступить, пока я точного решенья себе не вынесу... потому что отсюда главный план мой вытекает на тыщу лет вперед, в каком направлении нам, Векшиным, двигаться, чего добиваться? А то при послушании да соответственном энтузиазме такого можно наковырять, что и в сто веков не разделаешь... взять хотя бы те же самые христианские средние века.

Непонятным озлоблением, запальчивостью крайней спешки, если только не мятежом был окрашен как этот несомненный векшинский дневной бред, так и не записанное Фирсовым его продолжение. Пчхов внимал ему, не спуская с гостя погрустневших глаз, а брови его стали еще насупленней и чернее. Жара спадала, пора было открывать заведение для посетителей, — а он все думал, словно в шашки играл.

— Да, ты крепко болен, Митя,— объявил потом Пчхов,— и хотя ты мне теперь еще родней прежнего стал, нечем мне тебя утешить.

— Меня и отпустили, будто болен, а я прикидывался: в жизни не бывал здоровей,— с болезненным возбужденьем подхватил Векшин.— Только вот... чего в руки ни возьму, во всем сомневаться начинаю, и тогда уж роздыху мне нет. Бывает, бежишь за трамваем иной раз на остатке дыханья, вроде и рукой схватился, а никак не дается на подножку вскочить. А ведь ты у нас на Благуше мудрецом слывешь, к тебе бабы с мужьями за советом таскаются, от запоя лечишь... вот ты и вшепни в меня, примусник, кто же я? Вели мне что-нибудь, посоветуй...

Пчхов на это лишь головой покачал.

— Я тебе на это притчей отвечу,— сказал он с небывалой еще мягкостью,— притчей из собственной жизни. И я вот так же вскоре после солдатчины твоей же хворостью маленько приболел... ну и надоумили меня под чужую мудрую руку бултыхнуться, за высокую каменную ограду. К уединеннику Агафадору под начал и пристроился я келейничком, возложив на него свое попечение: авось и на мою сиротскую долю маненько обрящет, поелику глуп есмь. И нигде я впоследствии такого не хлебнул, Митя, как в монастырьке у него, за те за два с половиной годика. Кваском лишь по праздникам баловались, а так все больше варепая рожь с капусткой. Да еще взбудит средь ночи клюкою в бок: «Все спишь, нерадивый раб Емелька? Читай акафист сладчайшему Исусу!» Сам-то слепнул он понемножку... Я и почну, язык заплетается, буква на букву лезет, а он притихнет на чурбачке и плачет. Он плачет, а я, значит, учусь с него наглядно жажду утолять... Ну, у монастырька под боком базар располагался,— как положено, трактиры да карусели... самая утеха младости! Мы в колокол с утра, они в гармошки. А как послали меня разок в мир с поручением, я и заглянул, грешный, в самое пекло, да и прельстился с голодухи. С той поры, чуть вечерок, заладил я к одной торговке за ограду лазать, лесенку себе украдкой сколотил. Выпиваем с ею, источаем дым кольцом, получаем обоюдное развлечение... и вроде бы от мыслей отлегло. Старец мой тогда прихварывал!

— Все горит во мне, Пчхов,— нехотя пожаловался Векшин,— а ты со мною как с ребенком малым. К чему мне она, сказка твоя?

— А к тому, что и я в ту пору мыслишками баловался, в гульбе да в забвении ответа искал... Вот раз, этак-то, возвращаюсь привычной дорожкой, через стену, а луна!.. и только я за крепостной зубец ногу занес, глянь — наставник мой в садике у себя на лавочке перхает. Лесенка же моя отставлена, на травке лежит. Я было назад метнулся, а он кротко так смеется: «Прыгай, Емельяша, ничего». Я ему: дескать, лесенку бы! «Не страшись, говорит, бесы тебя, блудня, подхватят на лету!» Я, полы подзабрав, и ухнул в ров... еле потом до койки дополз. Месяца два провалялся, да все одно вкривь срослось. Так и охромел твой Пчхов...

— А мне что из этого следует? — устало спросил Векшин.

Пчхов ответил не сразу. Кто-то с улицы ломился в мастерскую,— он даже не обернулся на стук. Пристально вглядывался он в молодого друга, и хотя тот находился в явной беде, кажется даже радовался чему-то. Когда же заговорил наконец, на время вовсе исчезла из его речи присущая ей простонародная окраска,— осталось одно действие.

— Только то и следует, милый Митя, что хромит чужая воля. Хоть и не смертельная пока твоя болезнь, да затяжная. Руки вяжет, сна не дает, и не сыскано от ней надежного лекарства. Оно верно, немало и бумаги про человецкую душу исписано... да ведь из чужого ковшика не напьешься, а умный с книгами лишь советуется. И хуже всего, Митя, что вовсе без нее становится человек как немой зверь... Так что никуда со своею хворостью не стучись, посмеются, а в себе самом поглубже колодец рой. И сам я тоже от совета воздержусь пока, извини! Уж не знаю, правда ли, Николка мой сказывал, ужасть медведя к ним о прошлый год ветром нагнало. Вот и ты...— Ненадолго в голосе Пчхова прозвенела боль, видимо скопившаяся за весь год, пока издали наблюдал за Векшиным.— И тебя выгнало из берлоги великим сквозняком, а что ты умеешь, кроме как рвать зубами хлеб из земли да пропастей шарахаться, которыми сплошь выстлана столбовая людская дорога. Я тебя спрашиваю, можешь ли ты, Векшин, соорудить мост, чтоб держал над бездной мимо бегущую тяжесть?.. или так описать свое мечтание, чтобы и внуки твои ему не изменили? Можешь ли ты себя осмыслить отцом и хозяином всей жизни земной?.. или умереть с горя, однажды совершив неправду? А болезни своей ты не бойся, не каждая

ко вреду ведет!.. Бывают на березах наплывы такие, в простонародии **капом** называются... видал? С единой почки зарождаются они, с заболевшего глазка. Может, ужалит ее кто мимоходом, и потом всю жизнь пылает в ране яд, и, заместо того чтобы в прямой сук рость, в доброе полезное полено на радость истопников, начинает она вкруг себя самой накручиваться, пока не образуется вот этакой предмет.— Он взял с полки некрупный, с ребячью голову наплыв и ловко смахнул стамеской верхнюю стружечку, под которой обнаружился тонкий узор причудливо скрученной древесины.— Смотри, Митя, как она маялась тут, под корой, как извивалась в смертной муке, не умея зеленым листком наружу пробиться; все иного выхода себе искала. А ведь какая красотища получилась... в ней топор вязнет, огонь гаснет, ее пила не берет: ценность! Принимайся и ты за свой колодец, не медли! — Он скатил деревяшку с ладони к себе на койку и с но́вым озарением взглянул на друга.— А почему бы не уехать тебе, Митя, куда подале и где нет особого трясения, а просто проживает обыкновенный русский народ?

— Уж и то, на родину скатать собрался...— стыдясь своего просветления, сознался Векшин.— Отца хочу проведать, если жив. Ни письма ему не послал, ни копейки с самой поры, как из дому ушел... пятнадцатый год истекает. Пройдусь, огляжусь, проветрюсь!

— Вот и порадуй старика,— иронически одобрил Пчхов.— Оно полезно время от времени землякам в очи заглядывать, для проверки. Только не откладывай, а враз с места трогайся, в чем пришлось. Да сыми форсистые свои бачки, блудному сыну не к лицу. В бывалошнее время босыми **туда** являлися, да еще пепел насыпали на голову, из смирения... Деньги-то найдутся на дорогу?

— **Чистых** достал немножко,— через силу откликнулся Векшин. — Завтра гостинцев пошлю посылочкой, чтоб мачеха с порога не прогнала...

— Ладно, начинайся, Митя, пора тебе!.. и ступай, а то мне двери с петель сорвут.

Однако он проводил гостя до двора; чтоб не порочить друга своею близостью, Векшин уходил задним ходом. Было еще далеко до сумерек, но уж проступал молодой месяц в отускневшей синеве. Оба постояли бездельно, как бы досказывая друг другу, чего не успели.

— Эх, шатаетесь тут, осколки свои ко мне тащите,— привычно проворчал Пчхов.— Вот брошу всех вас и уеду в Туркестан!

— Чего ты потерял там, примусник? — благодарно, впервые за весь день засмеялся Митька.

— Овоща там, сказывают, дешевые...— проворчал Пчхов и повернулся к нему спиною.

...Так вот, всего этого разговора, в отчаянии придуманного Фирсовым во оправдание своего героя, в действительности не было.

XIX

На самом же деле Векшин в тот раз ко Пчхову вовсе не заходил, а, перекусив среди дня на рынке, вплоть до поздних сумерек плутал по городу, погруженному в пыльную вечернюю истому. Его толкали, бранили обидными словами, не раз над самым ухом визжали тормоза,— занятый своими мыслями, он ничего не замечал. Правда, часов никак не меньше двух, пока не утомилось вниманье, он со многих перекрестков и пристально, как в лупу, приглядывался к сутолоке городской жизни, вникал в игры детей, в уличные происшествия, чуть ли не в надписи на вывесках, и, как ни странно, многие впечатления были ему в новинку... однако к исходу дня воротилась прежняя рассеянность, происходившая от разноголосицы чувств и ощущений. Если вначале ему бесконечно интересно было наблюдать за житейским потоком, то позже, к закату, это сменилось тягостной физической неловкостью, особенно при виде играющих на бульваре ребятишек, спешащих с работы граждан, наклеенной на заборе газеты, марширующих в баню солдат. Кроме этих естественных неудобств социальной отверженности, Фирсов своевольно и все с теми же сомнительными целями подмешивал сюда дополнительные ощущенья, настолько сбивчивые, неточные, бессвязные порою, что только через мнимое болезненное состояние и можно было показать их читателю. Критика справедливо обвиняла его впоследствии в надуманности векшинской идеи и вины, но вся беда заключалась скорее в неправомерности философской постановки вопроса, нежели в несовершенном мышлении автора о своем герое. «Древняя обжитая почва действительности вместе с ее моралью была поднята на воздух великим взрывом и

не осела, не уплотнилась пока. Сама того не сознавая, эпоха готовилась к опытам еще невиданного размаха...» — намеренно путая карты, писал Фирсов все в той же главе, когда с печальным запозданием убедился в непосильности своей задачи.

Приблизительно со средины в повести с наглядностью предстает бесплодность фирсовских попыток — ссылкой на душевное нездоровье от какой-то там навязчивой отвлеченной идеи! спасти еще недавно симпатичную ему — хоть и пошатнувшуюся,— а ныне почти ненавистную автору личность Векшина; было бы любопытно приглядеться, откуда и когда началось это разочарование сочинителя в своем герое. Даже, как это изложено у Фирсова, векшинское поведение у Пирмана в тот же вечер, исполненное хозяйственно-практической сообразительности, полностью исключает всякий разговор об его якобы юридической невменяемости. В особенности комично поэтому выглядит авторская настойчивость, с какою он, в целях вызвать моральное просветление, то и дело подставляет на пути Векшина две воображаемые фигуры — то, на пробу, неказистого молодого человека с погонами поручика и банальными усиками, то, гораздо чаще, скорбную, в черной косынке и провинциального облика старушку. В повести она частенько появлялась впереди Векшина, объятого навязчивым ожиданием, что сейчас та обернется и враз опознает убийцу ее сына по спрятанным за спину рукам, по нечистому взору, по развязности, какою чаще всего маскируется смятение. Вряд ли она решится на что-нибудь чрезмерное в публичном месте, тем более что у Векшина имелись оправдательные мотивы для его известного поступка, хотя матерям и безразличны побуждения, отнявшие у них сыновей. Беда была в том, что огненные всемирно-исторические слова, столько раз произнесенные Векшиным на митингах, слипались теперь в комок у него на языке. Он был вор и отребье своего класса, в походе таких, как он, п у с к а л и в р а с х о д без суда.

Фирсов довольно правдоподобно описывал, как Векшин в тот вечер снова увидел е е на другой стороне улицы. Старуха плелась краем тротуара, сторонясь людского потока и — такой бесцельною походкой, когда идти, в сущности, некуда. И якобы непобедимое любопытство заставило Векшина перейти мостовую, причем он окончательно убедился в безошибочности своей догадки, когда, догнав, начал различать те самые лило-

вые продольные полоски на ее вдовьем платье. Уж кое-где в витринах стал зажигаться свет, так долго и в ногу они шли,— вдруг старуха остановилась, и Векшин одновременно с нею. Теперь ей оставалось лишь оглянуться на преследователя жгучими, как камень сухими глазами... в ту минуту кто-то звучно шлепнул Векшина по плечу.

Его оглушили ворвавшиеся в сознанье звуки улицы, и чертова старушенция враз завалилась куда-то, а на ее месте, словно из-под земли взявшись, стояли, посмеиваясь, Федор Щекутин и Василий Васильевич Панама Толстый.

— А мы как раз по тебе скучали, Митя,— радостно пыхтел последний, в который раз приподымая щегольски помятую соломенную шляпу, тогда как Щекутин, по обычаю, нелюдимо топтался да кривил с одного края рот.— Какого же ты лешего на таком, можно сказать, карнавале жизни ровно нанюханный стоишь? Вон Федька только что из Иркутска воротился, еле ноги унес, а не теряет равновесия... Давно выпустили-то?

— Не узнали, не узнали, обветшал...— снисходительно вторил Щекутин, держа не пустые, видимо, руки в карманах черной, не по погоде кожаной тужурки.

— Новостей полон короб, не слыхал? — как всегда не дожидаясь ответа, весь так и переливался Панама радостями бытия. — Животик сгорел на шухере, а князь Бабаев снова на какой-то тухлой тетке засыпался. Сам знаешь, пойдут невзгоды, так и на велосипеде можно нарваться на что-нибудь этакое... скажем, на телеграфный столб! Вьюга́ в артистки поступила, совсем Доньку под себя подмяла... ровно воробышек, бедняга, на зубах хрустит. Фриц намедни из-за границы за тобой приезжал, дельце в Лодзи наклевывалось, да не дождался. Кстати немецкую тройноножку показывал, последнего образца: птичка!.. ни один медведь не устоит... куда нашему кустарному производству! А сверла элекрические...— От восхищения он незаметно перешел на блатную речь, острил, переступал короткими ногами в модных штиблетах и так руками размахивал, что улица теперь из предосторожности обтекала троицу с обеих сторон.

— Спрыснуть надо, Митя, твое благополучное возвращение! — сказал Щекутин. — Веди, а то мы проголодались...

— В долг не прошу, но только не при деньгах я...—нехотя отказал Векшин. — И не до шуток мне, Федор.

Весь векшинский вид, неузнаваемый сравнительно с прежним, особенно впавшие, как-то изнутри прочерневшие щеки, убеждал в правдивости его признанья.

— А мы издали смекнули было, не к старому ли дружку своему Митя примеряется,— сквозь зубы зловеще поворкотал Щекутин. — Оглянись, полюбуйся на харю!

За спиной у Векшина сверкала ярко освещенная витрина, полная всевозможных ювелирных соблазнов: кольца и броши с драгоценными камнями типа обсосанных леденцов, портсигары с богатырями и русалками, серебряные компанейские братины-ковши для преуспевающих разбойников. Умноженное боковыми зеркалами, все это наповал поражало некрепкие умы. Поверх зеленой шелковой ширмочки выглядывало бледное, перекошенное ужасом лицо; из-за бородки, которой в прошлый раз в Артемьевом шалмане вроде не было, Векшин не сразу и не без удивления узнал банкомета Пирмана.

— Какое интересное выражение глаз, обратил внимание?.. впору бельишко менять! — погудел в ладошку Василий Васильевич, отвертываясь, чтобы не доводить до обморока подвернувшуюся жертву. — А что, зайдем, попросим на пивко у благодетеля.

— Он теперь оторвался, в буржуи вышел... не даст, пожалуй,— поддразнил всех, себя в том числе, Щекутин.

— Кому... мне не даст? — внезапно взъярился Векшин, устремляясь к дверям магазина. — А ну, не отставай...

Гуськом, соблюдая старшинство в славе, они ввалились в святилище к Пирману. Щекутин шел за Векшиным, шествие замыкал Василий Васильевич, пожмуриваясь от предстоящего удовольствия,— он же перевернул при входе уведомительную табличку, что магазин закрыт. Им пришлось переждать минутку: в магазине находились покупатели, пугливого типа толстячок со своею увядшей от забот подругой — из тех, что запасаются ценностями по весу, из расчета на близкий конец мира. Трое огляделись, им понравилось... Кроме аляповатого серебра и низкопробного золота на малиновом бархате, кроме висячих часов в простенках, ценимых по мелодичности производимого ими музыкального шума, опытный глаз Щекутина нашарил за скромной занавеской, в нише, несгораемый шкаф с товарами для более требовательных клиентов. Судя по фотографии, в рамочке, бородатого патриарха над конторкой, владелец предприятия смотрел на себя как на

основателя знаменитой, лет через тридцать, фирмы с дочерними разветвлениями по всей России.

— Здравствуй, Ефим,— деликатно проворчал Щекутин.— Вот, босяки по тебе соскучились, навестить пришли на новоселье. А ты, я вижу, неплохо устроился, баловник...

— Это просто вокруг тебя сплошная сказка тысяча одна ночь! — восторженно подтвердил Василий Васильевич, на глаз оценивая обстановку.

Хозяин магазина безмолвствовал, от растерянности позабыв про спасительную в таких случаях веселую вежливость. Однако он ухитрился подать знак жене, едва та освободилась от покупателей, и этой внушительной даме уже удалось слегка продвинуться к наружной двери, когда Василий Васильевич предусмотрительно заступил ей дорогу.

— Такая исключительная женщина,— галантно заулыбался Панама, наступая ногой на самый носок ее лакированного ботинка,— как просто чайная роза, извиняюсь за выражение, и вдруг... хе-хе, за мильтоном! Мадам, вы меня погубите, мне практически смех вреден, могу показать удостоверение врача... не говоря уже о том, что роза при буре может утратить наилучшие свои лепестки!

— Позвольте, гражданин, — неуверенно взъерошился Пирман, и бледность ненадолго уступила место пятнистому румянцу,— если моя супруга имеет выйти по технической надобности...

— Не пыли, блатак, и пускай промеж нами будет тихо,— примирительно поднял руку Щекутин, которому крик мешал интересоваться выставленными в витринах безделушками.— А то, знаешь... из порожней бочки выходит спирт вина!

— Что вы имеете этим сказать? — с еще более мертвенным лицом прошептал Пирман, которого тем именно и устрашила щекутинская фраза, что, как в ночном кошмаре, не имела никакого смысла. — Я буду жаловаться...

— А на правилку хочешь? — голосом судьбы издали вступил Векшин и прибавил несколько дурных слов, к чему редко прибегал в обычное время.

Все затихло, даже часы, а Пирман опустился на близстоящий стул, и почему-то все это в такой степени развеселило Панаму, что, глядя на него, засмеялся даже Щекутин, и тогда Пирмановой жене также пришлось хоть улыбкой принять участие в общем оживлении.

— Митя имеет сказать этим,— стал добровольно переводить Панама,— чтобы ты перестал филонить, Ефим. Хотя в прошлую игру, у Корынца, ты унес свою колоду, но карточку одну под столом оставил. То недобрые у тебя были карты, с бородавочками, а своих не грабят, Ефим. Сам знаешь, ту руку напрочь рубят, которая фальшивит... — значительно прибавил он, и эта случайная, сорвавшаяся с языка оговорка показывала, насколько широко, к тому времени, был осведомлен московский блат в подробностях векшинской биографии.

К слову, в интересах дела он прилгнул, Пирман играл в тот раз честными картами, хотя в прошлом и был заправский стирошник.

— Ладно, некогда нам с тобой...— может быть, поэтому и ввязался Щекутин,— быстро гони пятерку босякам, и пусть каждый занимается своим делом!

Сильно приуменьшенная сумма имела чисто символическое значенье дани и, естественно, должна была сопровождаться нолями в зависимости от расположения к друзьям и среднего, за полгода, оборота. На свою беду, хозяин совершил непростительную ошибку.

— Если бы я грабил, как вы, у меня не было бы вот так! — визгнул он как проколотый, выставляя вперед правый заштопанный локоть парусинового пиджака.— Вы же видите, у меня даже на костюм нету, даже не имею налог Чикилеву заплатить.

Наступившее затем скверное молчание длилось с минуту, и в самом конце Пирман полностью раскаялся в своем отказе, однако стало поздно.

— У нас не дрогнула бы совесть тряхнуть твой оборотный капитал, Ефим, но пускай мы останемся вечными друзьями... а лучше будем к тебе почаще в гости ходить! — с ужасной ласковостью в голосе сказал Панама, водя пальцем по стеклу витрины, будто размолвки и не было.— А пока я давно мечтал к часам себе цепочечку завести. Заверни мне эти две!.. И еще давно есть у меня желание знакомой девчурке колечко подарить... найдется у тебя что-нибудь недорогое, с камушком?

— Пожалуйста, не трогайте его больше... его сейчас вырвет,— решительно вмешалась Пирманова жена, разумно примиряясь с неминуемыми потерями.— Это действительно, муж прав, какая же торговля в летний сезон... Но давайте без па-

ники, а только подскажите, какая она из себя, ваша девушка? Вам больше нравятся полненькие, как я, или блондинки? Если же у ней хорошая фигура, то я вам посоветую с аквамарином. Это натуральный цвет морской воды, слегка напоминает курорт... но с добавкой чисто весеннего неба!

Панама только мурчал, жеманился, как бы завороженный бархатными полувзорами, лебедиными ласканьями рук.

— Я, пожалуй, вон то, крайненькое предпочту...— и ткнул пальцем в нечто подороже.

— О, у вас есть вкус, Панама, это самые шикарные вещи... скажите, и вы всегда так выбираете самое лучшее в своей жизни? — певуче говорила хозяйка, не глядя доставала вещицу из витрины и вот уже завязывала розовым бантиком коробочку с фирменным знаком, кладя тем самым предел запросам клиента.— Я давно знала, что вы, Панама, интересный мужчина, но вы еще вдобавок и жуир?

— Ах, вы мне льстите, мадам...— жался Панама с явным огорчением, что сказка кончается.

Стремясь загладить давешнюю ссору, Пирман выскочил из-за прилавка открыть дверь старым друзьям, и все завершилось бы благополучно, если бы не его вторичный роковой промах. Основная цель визита оставалась далеко позади, но, то ли опасаясь возвращенья, то ли из стремления свести дело к шутке, хозяин сунул Векшину упомянутую Щекутиным пятерку; из каторжного юмора он назвал это премией наиболее почетным покупателям. Выстрел в упор не произвел бы равного впечатления на Векшина. Он сгреб в кулак всю парусину у хозяина на груди, так что затрещало во швах, и каждая точка лица его пришла в движение.

— Паяц...— просвистел Векшин, раскачивая ювелира в обе стороны, причем тот, в целях сохранности одежды, предупредительно старался угадать направление векшинской руки,— кто ты здесь, паяц, чтобы так говорить со мною?

— Я бедный человек и, кроме того, радиолюбитель...— шелестел тот в совершенном упадке сил.

Воспоминанье о почти жертвенной Санькиной щедрости со стаканом копеечного кваску утроило гнев Векшина, так что неизвестно, чем окончилось бы происшествие, если бы не Панама.

— Да перестань же, Митя,— сказал он с притворным негодованием и прибавил что-то про свойство варваров омрачать самые безоблачные развлечения.— Не говоря о том, что ты

портишь человеку парадную робу, ты ему вдобавок роняешь фирму: в любую минуту может подкатить маркиз за недорогим бриллиантовым ожерельем! Ах, как все это грубо, по-русски, братец...— и до той поры стыдил Векшина, пока тот не разжал кулака.

...Вопреки утреннему зароку, попозднее Векшин оказался с друзьями в одном не слишком благоустроенном месте, где блага жизни отпускались верным людям в кредит. Впрочем, они провели там всего полтора часа и за самым умеренным угощеньем — Панама торопился на свиданье, а Щекутин готовился в ту ночь еще разок попытать фортуну. Обоим ничего не удалось выведать у Векшина о причинах его очевидной поломки.

Так прошел первый день фирсовского героя на воле.

XX

Еле справляясь с ногами от усталости, Векшин прокрался по знакомому коридору, полному теперь липкого сладкого смрада,— украдкой от соседей супруга безработного Бундюкова варила малиновое варенье. Петр Горбидоныч укладывал девочку спать и не без любопытства покосился на полинявшего соперника. Векшин машинально пошарил глазами по подоконникам, но нигде не виднелось ни самого пузырька, ни даже пятна чернильного: Клавдя в школу еще не ходила, а Балуевой писать было некуда и незачем. И так как дело у Векшина было неотложное, то он примиренно попросил у Петра Горбидоныча, и тот немедля притащил полный набор письменного оборудования. Услуга давала ему право перекинуться десятком незначащих слов по поводу установившейся погоды.

— Не уловлю никак, чем именно, а только... до чего ж, характерно, похожи вы на старикашку, сожителя моего, Дмитрий Егорыч,— вскользь закинул он словечко после порицания наступившей жаре. — Неужели самому в глаза вам сходство не бросилось? В наше время разве только у Клавди вот встретишь такое ангельское незнание...

— Спать хочу, ступай прочь! — махнул ему Векшин, тотчас забыв свою просьбу о чернилах, и, повалившись на койку, утомленно закрыл глаза.

Намерение написать отцу пришло в голову лишь теперь,— утром он собирался просто напомнить старику о себе посылкой

денег. Самое намерение возникло у Векшина еще на тюремных нарах, когда разум мучительно искал лазейки из сгущавшихся кругом сумерек. Его неотступно преследовало чувство, словно, до одышки загнанный, дорогою ценою ускользнув от погони и забившись в угол огромного пустого сарая, уставился он на недоступный для него полдень в квадратном проеме ворот. Это естественное для волка томительное одиночество Фирсов высокопарно приравнивал к поэтической тоске, с которой при взгляде в ночное небо угадываешь там свою отдаленную родину.

«Здравствуй, отец... и не рви мою бумагу прежде, чем дочитаешь до конца,—вилась в уме Векшина воображаемая строчка.— Конечно, легче было бы нам обоим, кабы давно сгнил твой Митька в братской яме, где люди не чета ему легли. Казалось бы, не из тех я, отец, кого слишком баловали смолоду, прощали, одаряли, чем могли... с того и ожесточился я. Не щадила меня жизнь кроткого, тем более не пожалела обозленного. Подумать жутко: в каких сечах ни бывал, не подранили ни разу,— видать, чтоб хлеще получилось впоследствии. Вот я и оступился на черной злости своей! Но ты раньше сроку не кляни сына, Егор Векшин, когда достигнет тебя его худая слава. Не оттого молчал он столько лет, что показаться было не в чем, а потому, что не закончена пока его биография: не отрублены пока его руки, и помнит он до гроба твое наставление о глиняных ногах. Дай сыну посильный срок...» Пропустив через память заученные строки письма, Векшин с утомлением обнаружил в них фальшивую заискивающую торжественность, тогда как, по Пчхову, туда надлежало являться в рубище молчанья, с пеплом самоосуждения на голове.

Векшин приоткрыл глаза от легчайшего прикосновенья к колену. Рядом, едва не задевая дыханьем, в лицо ему заглядывал Петр Горбидоныч. И такой был упадок сил у Векшина, что нечем стало отогнать Чикилева.

— Так и знал, что замечтались только, а не спите,— шепотом, чтоб не разбудить Клавдю, заговорил он.— Тут и сам я, на вас глядя, в размышленья впал...

— В какие же это ты впал размышления? — вяло повернулся к нему Векшин, так как разговор временно избавлял его от мучительных попыток облечь в точное слово свою вину.

— Да уж разные там, потом скажу... — извернулся Петр Горбидоныч, смелее присаживаясь возле и заманивая на крупный разговор. — Характерно, мне бы ненавидеть вас, поскольку

и вы в числе прочих наблюдали недавнее мое столкновение с сочинителем и втайне, очень вероятно, насладились моим упиженьем... а я, напротив, мириться с вами иду! Причем, заметьте, незаслуженно пострадал от его руки, так как имел абсолютное право поинтересоваться указанной тетрадкой и как квартирный сожитель, и как преддомком, и как стенной газеты редактор, и как гражданин, беззаветно преданный интересам ближайшего будущего... да, в конце концов, и по самой должностной отрасли своей. Нищенство, помимо своей общественной безнравственности, представляет собой злостный нетрудовой источник дохода и в качестве такового подлежит обложению по наивысшей шкале... так? Кроме того, что может составлять предмет писаний неполноценной в социальном смысле личности? Исключительно клевета на современность! Вы спросите, откуда мог я с подобной глубиной проникнуть в частный секрет? Отвечаю: путем переноса на себя. Вы только вообразите себя на месте ущемленного хищника и тотчас получите ключи ко всем неразрешенностям враждебного нам мира... вы следите за моей мыслью? И вот, к примеру, всякий гений есть крайне антисоциальное явление, направленное к моральному принижению трудящегося большинства... и, по секрету сказать, будь я действительно директором земного шара, уж я бы подыскал ему хозяйственно-целевое применение!.. тем не менее сам я нередко просыпаюсь в холодном поту от мысли, а что, если ты, Петр Горбидоныч Чикилев, и есть высший, только сокрытый пока, гений? И тогда я целый день слоняюсь, как сонный, на службе, как мне в таком случае с собою поступить? Оно, с одной стороны, будто и так, зато с другой-то этак!.. и в чем же она, гениальность моя? Открываюсь: для меня любое житейское обстоятельство есть как бы яйцо, и, характерно, еще никто в целом свете не догадывается, что из него выведется, а я не только наперед проник, ровно в желток ему глядел, а уже и принял предупредительные меры. Да если только правильно дело поставить, у меня бы никаких событий в истории и происшествий не случалось бы, а получился бы сплошной проспект прогресса! На данном этапе для меня, заметьте, уж ни в чем загадок нет. Мне и во сне чаще всего, заметьте, представляются не какие-либо буржуазные красавицы, скажем, в запретных позах, не находка саквояжа с биржевыми акциями в пустынном закоулке, как другим, а будто полная тишина, и я разбираю на части разные хитроумные машинки... не только нынешние, а и которые через тыщу лет появятся. Разберу, опровергну,

что следует, и на полочку положу. И, обратите внимание, в чем сила моего изобретения, Дмитрий Егорыч? А в том, что на все винтики у меня одна и та же заветная отверточка, и, таким образом, каждому это занятие доступно на основе даже заочного самообразования и без лишних затрат. Спросите меня, что же это такая за отверточка? Искренне отвечаю: стремление к наивысшему благу, чтобы все вокруг меня стало еще лучше, круглее, так сказать, симпатичнее. И такой характер у меня, что, как только дома у себя порядок наведу, тотчас принимаюсь за окружающие улицы и так далее, вплоть до вселенной, где также немало еще пока замечается беспорядка! — Так он болтал, болтал, но вдруг взглянул на часы и ужаснулся: полночь близилась, а он и половины еще не достиг намеченного плана. — Эх, жалко, времени нет, а то я бы вам пополнее приоткрыл мою теорию... Словом, вы меня, Дмитрий Егорыч, не остерегайтесь, а смело идите ко мне все навстречу и навстречу. Я, характерно, зла никому и нисколько не хочу, а только стремлюсь упростить всеобщую жизнь посредством приложения жгучей правды! А ведь это и есть счастье...

— Так чем же ты меня осчастливить собрался? — сквозь полудремоту спросил наконец Векшин, зевая и потягиваясь. — Кончай, а то спать хочу...

— Сколько я ни искал, так и не довелось мне ознакомиться с полным жизнеописанием вашим, Дмитрий Егорыч. Именно поэтому я и спрошу у вас кой о чем сперва, а потом и сам косвенным образом отвечу путем указания на ряд примечательнейших совпадений! — начал было Петр Горбидоныч и осекся.

То самое, чего недавно не удалось достигнуть через векшинскую сестру, теперь представлялось совершить непосредственно. Затея, видимо, состояла не только в том, чтобы лишить Векшина его ложноромантического ореола в глазах Балуевой, но и обессилить его самого развенчанием в собственных глазах. Петру Горбидонычу оставалось капнуть заразкой на достаточно подготовленную почву, а дальше сомнение само в такие глубинки просочится, куда стальному буру не пролезть. Полудремотное состояние противника и некоторая расслабленность почти обеспечивали успех дела; все же из предосторожности Петр Горбидоныч поотодвинулся на расстояние чуть подальше векшинской руки.

— Рубанул по живому, так уж напрочь отрубай... — лениво подтолкнул Векшин.

— Сколько мне известно, ведь родились вы на Кудеме, по соседству с имением нашего общего друга Сергея Аммоныча Манюкина...

— Как же, Водянец! — усильем памяти припомнил Векшин и приподнялся на локте. — А ведь я и не знал, что оно было манюкинское...

— Как же, в том-то и горе,— оживился Петр Горбидоныч, глазами и жестом выражая сочувствие,— что заинтересованные лица всё узнают в последнюю очередь. Да вы одолжите у него самого скрытую его тетрадочку хоть на денек, по родству, и не такое еще раскопаете! Лично мне хотелось бы пока проверить правильность некоторых помещенных в ней сведений... может, и клевета? Ведь ваш батюшка, характерно, довольно хворого здоровья был?

— Он с японской войны жестокую грыжу домой принес, очень ею маялся... а что?

— Точно! — воскликнул Петр Горбидоныч. — А не помните, не лежал ли он одно время в роговской больничке? Достойная же матушка ваша, чрезвычайно красивая женщина, по свидетельству того же Манюкина, жертвуя всем для семейного блага, мыла в тот период полы на Водянце... так? Я сам понимаю, как трудно человеку запомнить такие подробности, случившиеся пусть и незадолго до того, как он приступил к жизни, однако...— Он замялся, мысленно прикинув, во что ему может обойтись ошибка. — Горе в том, что тетрадочка какому-то Николаше адресована, а, характерно, не помечено там нигде, кто таков и сколько годков данному Николаше... хотя я почти не сомневаюсь, что Николаша только псевдоним! Дайте-ка я еще разок прикину для проверки...

Спустив теперь ноги с койки, Векшин полусонно следил, как елозил по лоскутку бумаги граненый карандашный огрызок, вдруг возникший у Петра Горбидоныча в пальцах; по прочертившимся жилам на чикилевском лбу можно было судить о степени его нечеловеческого напряженья. Он призвал на помощь всю свою незауряднуе память, страсть, ненависть, сличал даты большой русской истории с событиями векшинской хроники, накладывал их на сетку манюкинской биографии, поверял сопоставленьем с собственными воспоминаниями, и как будто уже срасталось,— чтобы снова разойтись по швам. Достойно удивления, насколько терпеливо слушал Векшин, все еще не понимая пока, о чем шла речь.

Своевременно, к великой удаче Петра Горбидоныча, верну-

лась Балуева из пивной. По тому, как шла по коридору, расшвыривая вещи из-под ног, можно было понять степень постигших ее на работе огорчений. Мрачнее ночи она посмотрела на мужчин, и Петр Горбидоныч незамедлительно улетучился восвояси, успев, однако, послать Векшину довольно нахальный поцелуйчик, и тот, вдруг проникнув в смысл чикилевского навета, погрозился в следующий раз испортить ему настроение и прическу за подобные бредни... Тут Зина Васильевна, не произнеся ни слова, даже не спросив у Векшина — не голоден ли, погасила свет, задернула занавеску во всю ширину комнаты, и потом с ее половины слышались лишь вздохи да шелест ниспадающей одежды. Так они лежали, думая каждый о своем, глядя в залитое луной окно.

— Ты не спишь, Зина? — спросил вполголоса Векшин и продолжал, хотя не получил ответа. — Ума не приложу, где я посеял твой картуз...

Проникнутая лунными чарами ночь не располагала ко сну. Под окнами внизу бродили молодые люди с гитарами. Векшин думал о запавшей ему в душу чикилевской фантазии и, странно, не мог придумать ни одного довода в опровержение навета о манюкинском родстве. Действие чикилевского яда начиналось с тупого постыдного ощущения, будто его застукали на присвоении чужого честного имени, и почему-то смертельно не хотелось, чтобы эта гадкая выдумка дошла до Маши... Вдруг Векшину померещились как бы заглушенные подушкой всхлипыванья; босиком он отправился к занавеске послушать. Судя по металлическим шорохам на той стороне, женщина тоже присела на кровати. Вдруг наброшенные на веревку простыни соскользнули на пол. Луна заливала светом смежную половину комнаты. Зина Васильевна в приспущенной рубашке сидела на кровати, затылком откинувшись к стене. На лице блестели слезы, река волос ниспадала на круглое плечо. Горе ее было сильней стыда. Тронутый этой детской безутешностью, Векшин невольно переступил запретную тень веревки на полу. Женщина глядела на луну, она не отвечала на вопросы, только подчинялась... но он и сам не мог вспомнить впоследствии, как получилось все это.

— Клавдю разбудишь, безумный, — услышал он, когда стало поздно.

Никакого другого средства хоть чуточку смягчить горе Балуевой и не было у Векшина под рукой — такое оно было безутешное.

XXI

Письмо отцу было написано только утром, и в полдень Зина Васильевна отправила его вместе с деньгами по назначенью, после чего потекли несчитанные черноватенькие деньки. Самому Векшину казалось, что еще никогда не опускался он так низко. Выбритый, в свежей накрахмаленной сорочке, сохранившейся от лучших времен, и оттого еще более черный на вид, он бродил по комнате, ширкая калошками на босу ногу,— шлепанцы предшественника под кроватью женщины мнились ему издевкой жизни. Иногда он отламывал кусок черного хлеба, или бездельно глядел в пустое августовское небо, или, для проверки, еще раз прогонял сквозь память отосланное письмо, или разглядывал отправительную квитанцию... и всю эту неделю напряженно прислушивался к звонкам в прихожей. Он ждал отцовского ответа. Уже всевозможные истекли поправки на чрезмерную загрузку почты, простой вагона или болезнь письмоносца,— ответа не было. С каждым часом ему становилось гаже и хуже. Женщина старалась не попадаться на глаза, чтобы отдалить неминуемый разрыв.

За целый месяц никто, кроме Доньки, не навестил его ни разу. Он принес записку от Доломановой, к слову — незапечатанную, с неопределенным приглашением навещать ее. Цель этого посещения была иная, явная, но за всю четверть часа соглядатай почти ни разу не взглянул на Векшина. Глухим неискренним голосом он поделился блатными новостями, уже известными от Панамы, но с добавлением злободневных сплетен о Саньке, сопровожденных недвусмысленным смешком. Среда не хотела отпускать на волю Саньку Бабкина, и решенью его хотя бы ценой крови порвать со своим прошлым придавался довольно предосудительный оттенок.

Как всегда между ними, разговор велся стоя.

— Санька свой в доску и верный до гвоздя,— властно сказал Векшин. — Зря его мараешь, Доня.

— Тики-так,— иронически подернул тот плечами. — Да ведь мало ли чего урки брешут. Не стоит на всякий треп расстраиваться!

Презрительная нотка заметно встревожила Векшина.

— А чего еще они брешут?

— Так, мелочь! Вон Щекутин дивился намедни, как быстро сам ты из-за решетки выпутался. Ну, я ему растолковал,

дурню, дескать, то-се, Дмитрию Егорычу за фронтовые заслуги скидка!

При других обстоятельствах несдобровать бы Доньке за подобную выходку, но как раз Клавдя забежала в комнату за игрушкой, и не хотелось при ребенке омрачать гостеприимство ее матери. Впрочем, действительно за время краткого векшинского небытия была проведена с ним одна откровенная, не без ведома Арташеза, однако не очень успешная беседа со ссылками на прежнюю Митькину незапятнанную деятельность.

— Саньки не задевай, у него верные друзья найдутся,— пригрозил Векшин. — Зачем ты ему фикус сломал?

Тот лишь головой покачал сожалительно.

— Довольно странно мне, Дмитрий Егорыч, видеть такую неосведомленность у коммуниста, хоть и бывшего. Все в том же порядке борьбы с обывательским мещанством! И чудно как-то: храмы божии взрывать можно, а фикус повредить нельзя...

— Не дергайся передо мною... — крикнул тогда Векшин, бессознательно кладя руку за пояс с левой стороны.

— Не горячись, не замахивайся, Дмитрий Егорыч, ведь нечем! — с вызовом засмеялся Донька. — Может, я от малярии дергаюсь... тут меня злой один комарик укусил. Ну ладно, я пошел, а то скушно мне с тобою!

И он проявил неслыханную раньше смелость — в ссоре повернуться к Векшину спиною.

...Да и квартирные соседи не проявляли теперь к нему прежнего почтительного обхождения, а с некоторой поры даже избегали встреч с ним, в особенности после того, как заходил однажды пожилой милиционер проверить векшинские документы. Вообще за один истекший после тюрьмы месяц очень многое изменилось в квартире номер сорок шесть, и в привычном фирсовскому оку созвездии жильцов обозначилась склонность к распаденью. В то время как одни заметно клонились к упадку, другие уверенно восходили в зенит. Так, безработный Бундюков раздобылся где-то слушком о громаднейшем повышении Петра Горбидоныча по службе, что подтверждалось его личными впечатленьями от того подозрительного интереса, который тот целых три недели сряду проявлял в отношении финансов некоторых европейских держав. Музыканта Минуса неслышно схоронили еще в начале месяца, а за ним стал собираться в дорогу и Манюкин. Он заметно оседал к

земле, хотя еще и пытался присаживаться за свою развенчанную, никому уже не интересную тетрадку. По забывчивости стол зачастую оставался незаперт, и Петр Горбидоныч испытывал понятное удовлетворение от того, как все торопливей и неразборчивей становился манюкинский почерк, что означало скорый теперь переход комнаты в полное чикилевское владение. Утро Манюкин проводил в постели, глядя в потолок, примериваясь к чему-то, на работу же в свой переулочек отправлялся лишь к концу дня, когда толпы служащих запруживали улицы. При встрече в коридоре он всем одинаковый проделывал шутливый реверанс и пластом заваливался на койку.

Вечерком как-то, когда закат расчертил комнату на оранжевые клетки, во дворе заиграла, верно последняя в России, бродячая шарманка. Векшин присел на подоконник и слушал. Сипловатый голос уличной певицы трепетал, как птица, в раскаленном каменном колодце двора. Песня была старая, про великого воителя, с кремлевской стены наблюдавшего пожар незавоеванной столицы. Векшин рассеянно слушал и видел вечерний же омуток на лесном ручье близ Кудемы,— всегда над ним висели стрекозы, созерцая себя в черной бочажной воде. Маша с берега издевается над мальчишкой, который баламутит воду и расплескивает радуги брызг; если запереть корзиной выход и поднять ил со дна, рыбы всплывали подышать на поверхность, становясь легкой добычей ребят... Кстати, о чем он думал тогда, господин в сером походном сюртуке? Верно, тоже сожалел, что покинул вечное лето ради лютой декабрьской стужи... Тане пришлось дважды окликнуть брата, прежде чем он обернулся.

Сестра глазами просила дозволения войти, неотвязная тревога мешала ей переступить порог, пока не удостоверится в дружественном приеме. На туфлях видна была пыль далекой дороги, светлое простенькое платье обмялось на вспотевших плечах, шляпку она держала в руке, на ленте. Чтобы выглядеть так, нужно было пройти пешком не меньше полсотни верст. У Векшина сердце защемило от жалости при виде неуверенных искательных глаз сестры. Таня упрекнула брата, что забыл ее совсем,— оба знали, что это только повод сдвинуть с места взаимное вопросительное молчанье.

— Распорядка твоего не нарушила, Митя? Николка тоже собирался со мною, не порешился в крайнюю минуту. Ты уж как-нибудь сам встреться с ним... ладно?

— Зачем это?

— Ну, потолковать! Он тебя очень ценит... несмотря на то что... вы такие разные.

Преданность сестры этому человеку обозлила Векшина.

— О чем же ему со мною толковать? — грубовато оборвал он, хоть и сознавал, что причиняет боль сестре. — Если по поводу товара дешевого, так специальность моя неподходящая: ведь он железным ломом не торгует!

Таня попыталась возражать:

— Ты просто несправедлив к нему, Митя! Если он торговец, то, во-первых, ведь не сам же он, а с дозволенья! А во-вторых... — и осеклась.

Вспыльчивая обида за жениха прозвучала в ее словах; ей казалось, что в Заварихине она защищает свое право на счастье.

Векшин на лету перехватил ее мысль.

— Ты права, Танюшка, не мне рассуждать об этом. Ведь я-то уж вовсе... без разрешения. Что ж, если ему так хочется, пусть завтра попозже... на пиво у меня найдется. Мне самому интересно взглянуть, какие они, нонешние!

— Ах, видишь ли, Николка ужасно занят завтра,— заметалась Таня под его пристальным взором. — Он до такой степени занят, что сама почти не вижу его последние дни. Большое дело начинает, не то по льну, не то по хлебу... кажется, в аренду что-то сватает!

— А деньги откуда берет? — в упор спросил Векшин.

— Ну, я пока свои ему дала, у меня было немножко... — Таня окончательно смутилась под насмешливым взором брата. — Я, знаешь, в его дела не вмешиваюсь, да мне и не понять в них ничего... К сожалению, у меня своих забот по горло!

Скороговоркой, чтоб не возвращаться к опасной теме, Таня принялась рассказывать о себе. Итак, свадьбу пришлось отложить месяца на два, пока все у Николки не наладится... да оно и лучше не спешить, испытать чувство хоть небольшой отсрочкой! На досуге она займется Николкиным самообразованием, станет водить его в концерты и на выставки, причем особые надежды возлагает на его природную одаренность. Если с Пуглем и придется разъехаться, так как слишком ревнив стал, мелочен и утомителен в своей повседневной опеке, то непременно поселив старика на той же лестнице, чтоб не отнимать у него последнюю цель существования.

— Я собираюсь уходить из цирка... разве не говорила тебе? — как можно мимолетнее сообщила сестра. — Знаешь, устала я...

Так вот, с цирком было еще не покончено, но у ней уже хватило воли отказаться от сибирской поездки, и Стасик доверительно сообщил, что товарищи по арене сговариваются не то на прощальный обед ей, не то на подарок в складчину... Таня вводила брата во все свои денежные расчеты, в самые сокровенные планы, не упуская ни дат, ни сумм, ни сроков, ни даже второстепенных подробностей, однако расставляя их так, чтоб обеспечить себе его поддержку и, следовательно, дополнительную решимость на этот шаг. Лекарство требовалось немедленное, и, будь Векшин чуть внимательнее к окружавшим его людям, он без труда подметил бы, что с таким разговором Таня способна была обратиться к первому встречному, лишь бы тот оказал ей немножко терпеливого участья. Во всяком случае, она излагала обстоятельства предстоящего ей счастья с таким неискусным, фальшивым восхищением, что не верилось ни одному ее слову.

Сам находившийся в упадке, Векшин плохо разбирался в метаньях этой оступившейся души. А Тане как раз требовалось, чтобы брат сейчас же, затем и шла сюда, одобрил, даже благословил ее на разрыв с привычной средой и милым искусством, без которого, втайне знала, все равно не могла существовать! и на ее брак с человеком, которого боялась, никогда не понимала до конца, друзей и занятие которого презирала.

— Я вижу, тебе не нравятся оба мои решенья... и цирк и замужество... но подскажи другие! — вновь приступила Таня, не дождавшись желательного отклика. — Пойми, не из чего мне выбирать. В жизни ничего я больше не умею, кроме моих прыжков в пропасть да этих смертельных г л у п о с т е й там наверху. Конечно, мне еще не поздно поступить нянькой в детдом или белье шить на фабрику, но ведь мне не просто работа нужна в обмен на хлеб, на паспорт, на твое признанье, мне еще постоянная радость существованья от нее нужна. Не вынуждай меня, Митя, на еще более плачевные слова! — В замешательстве она поискала какой-нибудь приличной случаю концовки, не нашла и, видимо, в качестве крайнего довода прибавила шепотом, как сообщнику: — И, наконец, пойми, Митя, я же старше его чуть не на три года... ты забыл?

Векшин достал из шкафа бутылку сельтерской воды, в изобилии заготовленной ему любящей женщиной, и разлил

в два стакана, но Таня не заметила ее до самого конца, хотя так и приковалась взглядом к рою подымающихся пузырьков.

— И все же дорого я заплатил бы, сестренка, чтобы не состоялась твоя свадьба,— смягченно повторил Векшин.— И, знаешь, уплачу, пожалуй! Не при деньгах пока, но по первой же оказии я твоему женишку тыщи три отступного предложу, для проверки... и тогда без надреза мы яблочко изнутри увидим!

— Что ты, не надо, не надо... — зашептала Таня, хватая брата за руки, однако не настолько крепко, чтобы он отказался от своего намеренья. — Он же обидится!

— А я осторожно с ним, я сторонкой! а если и обидится, то будь покойна, не застрелит... слишком скуп, чтобы такую роскошь душе позволить! — усмехнулся Векшин. — На самых лютых врагов не обижаются, их убивают. Тесновато нам с ним на земле... Даже если вдвоем во всемирной пустыне останемся и, случится, сойдемся ночью, ровно волки, сообщий котелок на костре погреть, на самом последнем костерке! а все одно — с ножами за пазухой. Больно уж давно копилось э т о, и в большой масштаб дело всходит: он выживет — мне вечное ярмо, зато уж если только сам уцелею... Наверно, подобная угроза смешно звучит в моем исполнении, но... — оборвал он, гася шуткой не к месту возгоравшееся пламя. — Прости, я не верю в твое счастье с этим человеком.

Все это время Таня бессознательным поглаживаньем старалась расслабить его стиснутый на колене кулак. Вдруг она с любопытством подняла голову.

— Я и сама побаиваюсь брака с Николкой, но ведь я-то другое дело... я теперь столько знаю о нем. А ты, откуда т ы берешь такую завидную смелость с набегу судить о людях?

Он с неловкостью пожал плечами.

— Не знаю... может, из душевного расположения к ним, не знаю! — сказал Векшин, и раздражение послышалось в его словах. — В первую очередь это относится к тебе, потому что ближе никого у меня не осталось на свете. Пойми, ты кроткая и тихая, и тебе этот торгаш лишь кажется иным, потому что, как бы сказать?.. и на него ложится отблеск твоего сиянья. А он волк, и тебе нужна совсем другая пара. И верь мне, Таня, всего себя отдал бы я за твое хорошее, надежное счастье...

— Надежное... это в смыле п р а в и л ь н о е? — тихо пе-

респросила она и засмеялась. — А если всего отдал бы, то что же останется на ту твою ночную встречу... в последней пустыне?

— Я хотел сказать,— честно и прямо поправился Векшин,— что все отдал бы, кроме этого.

Оба сразу почувствовали, что, начиная с этой минуты, что-то существенно сломалось в их отношеньях; ни одна сторона не сделала попытки загладить крохотную пока размолвку. Вдруг с особой остротой, как это случается лишь в присутствии постороннего, ощутив беспорядок в своей внешности, Таня пошла к зеркалу оправить волосы и заодно попыталась смахнуть сероватый,— ей показалось, от пыли,— налет со щек, но он как-то не стирался. Она делала это так, словно ничего главнее не было у нее в ту минуту.

— Поскольку дело немножко касается и меня самой... не взялся ли бы ты накидать хоть вчерне... как оно выглядит, полагающееся мне счастье? — спросила она, подкрашивая губы в промежутках и раскрывая пудреницу.

— Я вижу, ты обиделась,— сказал брат.

— Неужели ты не заметил, Дмитрий, какая я притащилась к тебе?.. четыре часа шла! Ведь я целыми ночами по улицам шляюсь, домой страшусь идти, к мыслям моим, к старику, к проплаканной подушке. Уж на самом краешке качаюсь, где любое лекарство впору, вот-вот кровь горлом хлынет, а вы все свою целебную теорию к ране прикладываете! Дорого мне обходится ваша любовь, Дмитрий. Странно, всегда люди друг в друге каких-то необыкновенностей ищут, не находят и оскорбляются. А людей не за то, что они сделали, надо любить, не за чудо, не за силу их...

— А за слабости? — усмехнулся Векшин.

— Нет... а за то, чего, несмотря на загубленные усилия, так и не удалось им свершить в жизни!

— Их за это не любить, а судить надо, Танюша.

— И тебя в том числе?

— В первую очередь! — жестко сказал Векшин, и какой-то мускул зигзагом проиграл в его лице.

Разговор прервался, кстати обнаружилось, что гостье пора уходить,— кажется, по дороге домой она собиралась сделать необходимые покупки. Брат подошел и до боли стиснул локти сестры.

— И, несмотря на все, какая же мы родня с тобою, Танька! — примирительно шепнул он.

— Ты все же находишь? — переспросила та и холодно покачала головой в том смысле, что совсем, ни капельки не похожие. — А мне в свете некоторых слухов кажется сейчас, что даже и не дальняя: никакая!

Намек получился злой, хоть и бессознательный, — по странному совпаденью оба при этом подумали об одном и том же. Нелепость чикилевского предположения к тому времени стала почти очевидной для Векшина, но все же что-то с незнакомой силой заныло внутри; впрочем, он не сомневался, что поездка на родину принесет необходимую ясность. Внезапно он предложил сестре съездить вместе на Кудему, полечиться детством, как он бегло выразился при этом.

Она сослалась на скопившиеся заботы.

— С удовольствием как-нибудь в следующий раз. Ты туда ненадолго?

— На недельку... Кланяться?

— Некому, да и не за что, пожалуй. У меня только слезы позади. Видать, в дождик родилась...

Как ни уговаривала вернувшаяся раньше времени Балуева попить чайку в дорогу, Таня отказалась наотрез. До закрытия магазинов оставалось меньше часа.

XXII

Любовная удача подвалила к Балуевой крайне несвоевременно. Особым предписанием эстрадные программы в пивных, равно как и в прочих зрелищных предприятиях, подверглись строжайшей чистке. Балуеву же просто сократили, так как пела она по старинке, без научной постановки в голосе, опять же исключительно про телесную любовь да еще в недопустимо упадочном стиле. О состоявшемся приговоре ее уведомили устно, в памятный вечер сомнительного счастья, незадолго до того, как скользнула на пол роковая занавеска.

Взамен же, пока не перестроит своего репертуара в нужном направлении, Зине Васильевне обещали место старшей буфетчицы, однако не ранее конца года, когда откроется дополнительный, мавританский зал. Правда, Фирсов взялся по знакомству срочно написать ей злободневную сатиру на Като, Гардинга и Хьюза, любимую тогдашнюю мишень эстрадных остряков, но, когда куплеты были переложены под гармонь, на политическом горизонте появился, взамен и на дру-

гую рифму, известный лорд Керзон; возобновление работы отодвигалось на неопределенный срок, а деньги таяли, и, кроме Чикилева, занять было не у кого.

Ближе всех огорчения соседки принимала к сердцу супруга безработного Бундюкова. Когда Зине Васильевне случалось излить ей на кухне свою печаль, та неизменно находила ценные практические наставления. У ней имелся большой житейский опыт, так как похоронила двух мужей, прежде чем подыскала себе нынешнего, столь же прочного и жилистого. Чаще всего певица жаловалась на любовника, который, несмотря на всякие чрезвычайные меры, никак не поддается более глубокому пленению.

— Ровно воздух пустой обнимаешь, милая, до такой степени его нет со мною,— признавалась Зина Васильевна, вертя мясорубку. — Ровно бы и рядом лежит, а мыслями с другой ночует! Из-за того и худею, милочка, все ночи безусыпно провожу...

К слову, это было явное преувеличение, позаимствованное как раз из запретной песни: именно в отношении сна и здоровья дело у Балуевой обстояло благополучней всего.

— Это ничего, сиротинка вы моя, пущай его лапочками подрыгает,— певуче откликалась на ее стон Бундюкова, по обыкновению варившая свое варенье. — Вон Адам-то, сведущие люди сказывают, сто пятьдесят годков Еве своей противился... тогда долгие века бывали! Уж она его будто и тем и этим, пока не надоумил черт яблочком. И всего лишь разок куснуть дала, а по сей срок жует. И плюется, и скулит, и зарекается, а все отстать не может!

В одну из таких доверительных бесед Балуева и надоумилась было обратиться к соседке с просьбой о небольшом займе в связи с лишением работы и умножением семьи. Тотчас выяснилось, что Бундюковы как раз в эту пору бедствовали, на самом краю такой нищеты, что на крыжовное да малиновое кое-как наскребли капиталу, а о мирабельном, по которому просто обмирали вместе с мужем, всякое попечение пришлось отложить. К ночи, после состоявшегося разговора, полдвора знало, что певица из сорок шестого деньжат у соседки клянчила на содержанье своего кота.

Убийственная правда заключалась в этой сплетне для Векшина. Дни его потому и выглядели черноватенькими, что были до отказа напитаны скукой, стыдом и щемящей неизвестностью. Несмотря на стремление как-нибудь подчеркнуть

тогдашнее паденье Векшина, Фирсов должен был скрепя сердце признать, что с каждой новой страницей все труднее становилось ему придумывать неблаговидные действия для своего героя. Утрачивая всякую чувствительность, Векшин ждал ответа с Кудемы. Самому ему вязкая, теплая, усыпляющая преданность Балуевой мнилась болотной тиной,— не стоило сопротивляться ей, чтоб не запутаться еще подлее. Ночью иногда, закуривая, он при спичке подолгу вглядывался в большое, пропудренное лицо женщины, спавшей рядом с ним. Днем же Векшин почти не примечал ее, оцепенело сидел у окна в ожидании ответной почты и все всматривался в себя, как он сидит у окна — как бы в обносках предыдущего Зинкина мужа.

Однажды Балуевой припомнилась вдруг ее коронная песня,— даже в груди заныло, так захотелось петь.

— Не пой,— вяло, хотя на предельном раздражении, оборвал Векшин; он ел тогда семгу и просматривал невесть откуда взявшийся номер прошлогодней газеты. — И еще, откуда ты берешь т а к у ю пищу... по-моему, уже два раза побывавшую в употреблении?

Подбежав к столу, женщина начала униженно перекладывать рыбу, старательными ломтиками уложенную на тарелке.

— Да нет же, она только подвяла от жары. Лето очень знойное, Митя, леса горят кругом... — шептала она, любой ценой готовая искупить свою вину. — Я тебе давеча сига купить хотела, но ты не любишь, и все равно там только первый сорт был...

— Я этого не ем: не умею... — И поднялся, чтоб не присаживаться более, а когда та стала прибирать со стола, сквозь зубы приказал ей н е ш у р ш а т ь.

Ниже этого Векшин еще не падал.

Фирсову выгоднее всего было оправдывать Векшина болезненной рассеянностью под воздействием разлагающего безделья, гнетущей августовской жары и, прежде всего, снова, чикилевского яда. У Векшина не было силы противиться ему, так как хорошо понимал, что все теперь, вплоть до манюкинского родства, возможно с ним на достигнутом уровне паденья. Ничего не уточняя, всякий раз под предлогом якобы развлеченья, Петр Горбидоныч стал доставлять Векшину возможность лично ознакомляться с манюкинской исповедью, причем вызывался даже посторожить у дверей. Действительно, за

исключением некоторых недоговоренностей, достаточно там имелось подробностей для предположения о векшинском родстве с автором тетрадки, кроме путаницы с датой подразумеваемого манюкинского романа, которая могла оказаться и преднамеренной. Избавиться от наваждения было не легче, чем от надоедливой черной мухи, что дразнит и сводит с ума, кружа у лампы в предночной духоте.

Даже страничка та помялась, в которую вчитывался Векшин, и, замечая его пристальность, Петр Горбидоныч вконец обнаглел.

— Осторожней, папаша по лестнице взбираются... — оповестил он однажды, исчезая с порога.

Вслед за тем сквозь стенку из смежной комнаты донеслись знакомые отголоски их препирательства с угрозами причинить взаимные повреждения, дребезг падения какого-то хозяйственного предмета, после чего Манюкин ввалился к Векшину, причем тот едва успел спрятать улику под скатерть.

Старик заметно раскис по жаре, однако собрался сделать привычный реверанс... впрочем, раздумал и с равнодушием в лице лишь рукой махнул.

— Чуть не скапустился из-за этой чертовой погодки. Поверите ли, каблук давеча в асфальте завязил, зато семь гривен за день настрелял... стоял и все думал, где правда: стремленьем к радости или опытом страдания движется вперед человек! Насквозь дамочку одну прослезил... и помяните старого хищника Манюкина: когда люди окончательно преодолеют слезы, им однажды станет до такой степени ото всего смешно... что, с вашего позволения, даже страшно!

— Вот кстати... — в непривычном для себя почтительном тоне сказал Векшин, придвигая стул,— имеется у меня к вам небольшой разговор, Сергей Аммоныч!

— Устал, увольте,—отстранился тот. — Я только по минутному дельцу... Завел я себе тетрадочку сомнения записывать, житейские примечания, разные штучки там. И, представьте, как ни вернусь, нет ее на месте, такая непутевая!.. не забегала ли?

— Как же,— слегка растерялся Векшин,— у меня как раз. Мне Петр Горбидоныч принес... в целях ознакомления!

— Петр Горбидоныч? — деланно удивился Манюкин. — А я уж полагал, кошка затащила. Кошки, знаете, любят бумагу таскать. У дружка моего Александра Ивановича Агарина кошка фамильный архив съела. Заперли мышей ловить, а

она... пришлось пристрелить. И что же, Дмитрий Егорыч, тоже стилем моим интересовались?

— Не скрою, есть тут местечко занятное одно,— со стыдом и волнением забормотал Векшин, извлекая вещь из укрытия. — Не поделитесь ли по соседству и дружбе, кто он таков, Николаша ваш, и какого года рождения?

— Ах, вон вы куда! — брезгливо поморщился Манюкин. — Так ведь нет на свете никакого Николаши, один литературный прием. В моем возрасте все единоплеменники мои до некоторой степени сынками мне доводятся. И примите совет старика: бросьте вы свои недостойные и гадкие измышления! Это у сочинителя в башке мелькнуло в родню ко мне вас пристроить, чтобы повесть от разгрома спасти, а Петр Горбидоныч по запаху и подхватил. На лету подхватил, да и пустил в обращение, чтобы петлю на вас потуже затянуть. Эка, нонче все попроще стало, а раньше, бывало, за подобное поношение мамаши воздавали даже рукодействием... Ладно, спите! И давайте-ка ее сюда, беглянку: мне еще разговор наш надо записать. — И ушел, унося пропавшую собственность.

...Когда Зина Васильевна решилась наконец отправиться на поклон к Чикилеву, тот принял ее сидя за столом, как бы при составлении важнейшего доклада о повышении чего-то и без того высокого, возможно даже человеческого на земном шаре совершенства на еще более высшую ступень. Женщина стояла перед ним с опущенными руками — большая, смирная, полудостигнутая, и Петр Горбидоныч оторвался от пера не раньше, чем она до конца пропиталась сознанием своей бедственной участи.

— Просимые деньги, характерно, я вам дам,— заговорил он наконец, вычитывая как по книге, когда у Балуевой иссякли все ее виноватые покорные слова,— но предварительно мне придется рассмотреть с различных точек зрения тот предмет, которого вы только что коснулись, Зина Васильевна! Должен прямо сказать, что, как личность общественная, не могу сочувствовать всему тому, что длительный уже срок наблюдаю, проживая от вас поблизости. Согласитесь, что поведением своим вы не только внушаете легкомысленные настроения жильцам вверенного мне домовладения, но, характерно, и подаете нежелательный пример собственному ребенку, который в данном возрасте жадно впитывает впечатления бытия. Равным образом в качестве должностного лица, облеченного доверием,

не имею я права поощрять безнравственность и выдачею денежных средств потакать разврату...

— Все одно, Чикилев, скоро бросит он меня... так дай уж на солнышке понежиться! — устало обронила женщина, которую только страх утратить любимого человека удерживал на месте.

— Виноват, я еще не кончил,— перебил Петр Горбидоныч, лишь теперь предлагая стул просительнице. — И ежели я в этой позиции не принял должных мер к пресечению зла, то, каюсь и упреждаю, лишь по отсутствию сигналов от начальства, коего я, Чикилев, являюсь инструментом. Дело же последнего, заметьте, на полке лежать, пока за ручку не возьмут и не приведут в должное употребление. Но вы не теряйте духу, Зина Васильевна, еще третье лицо в Чикилеве имеется под условным названием Человек! — и поднял палец в ознаменованье наивысшей откровенности. — Он хотя в давнем загоне от двух вышеуказанных стервецов, однако, чую, еще теплится во мне. А уж как же оба его смурыгают, на побегушки приспособить норовят... то и дело приходится ему дохлым прикидываться, лапки вверх подымать, лишь бы отвертеться. Ведь он хитру-ущий, Человек-то! Вот ровно двадцать пять годков нынче, как человек во мне им сопротивляется, хоть юбилей справляй. А того не подозревают оба вышеуказанные, служивые-то, что Человек пострашней их вместе взятых, древней потому что, помнит много, да не блудливым забывчивым разумом помнит, а самой шрамистой шкурой своей! В нынешнем сочинении Фирсова, которое по заслугам подвергнется изничтожению, один там вставной писатель называет человека даже обезьяной с ангельскими крыльями, что действительно порочит всех нас прежде всего как сознательных членов профсоюза. Уж если сравнивать, я бы его пушке уподобил, что заряжается с дула кровью, горем бабьим, костью солдатскою, неправдой людской... детская слеза тоже в этом порохе участвует. Много туда всякого товара влезает, зато как выпалит однажды — ни ее самой, ни лафета не останется... а только, можно сказать, математическая невещественность одна! — Если Петру Горбидонычу и не хватало сейчас образования для выражения своего пророчества, то уж прозорливости было с излишком — живой пример того, как почти неодушевленный предмет расцветает под влиянием страсти. — Этот Человек открывает вам душу настежь... не без риска заслужить новое гонение от обоих вышеуказанных. Итак, смело запускайте

руку ему в карман, там нет зубов, забирайте сколько надо на табачок Мите да на сельтерскую, а Чикилев отвернется в сторонку, терпеливейше переждет ваше безумие... нельзя назвать иначе влеченье ваше ко внебрачному подонку, да еще непролетарского происхождения вдобавок! Не ищите в Чикилеве ревности, ее там нет: к болезням не ревнуют.

— Да уж вы не опасались бы в самом деле, Петр Горбидоныч, ваша доля вам останется! — увядая от чикилевской словесности, взмолилась Балуева.

— И вот где она кроется, роковая ошибка ваша! — поймал ее на слове Петр Горбидоныч. — На Чикилева легко наклеветать, он-де пухленьких любит, в охоте любое стерпит. Ан и неверно! Кто знает, может, придете вы к Чикилеву должок платить, а он вам его и скостит, да и отпустит без попреку, покаянную-то магдалину, да еще на гостинчик девочке прибавит!

— Да что же ты со мной делаешь, Чикилев... дашь или не дашь, злой ты человек! — вскричала Балуева, вся угрожающе покачиваясь.

И тогда оказалось, что деньги у Петра Горбидоныча уже припасены, стоит руку протянуть, под матрацем. Правда, из предосторожности он много дома не держал, но командировок у него в ближайшее время не предвиделось, и, таким образом, ничто не мешало Балуевой вновь постучаться к нему через неделю. Чтобы облегчить ей неминуемый переход в семейное состояние, Петр Горбидоныч решил выдавать ей по мелочи, постепенно приучая женщину ко внешности своей, к строю мыслей, к постоянной зависимости. И в том заключался механизм приручения, чтобы всякий раз, вручая в конвертах неодинаковые суммы, не брать долговых расписок, провожая лишь шутливым укором, такой ли он безнадежно плохой человек?

Случайно Векшин подслушал тот разговор — самый конец его, к великой удаче Петра Горбидоныча. За последние полгода ничто другое не повергало Векшина в подобное, хоть и не слишком длительное, замешательство совести. Он сам подошел к Балуевой с чувством предельного смущенья, которое, однако, внезапно превратилось в гнев за малодушие занимать деньги у Чикилева. Так получилось в конце концов, что не он винился перед Балуевой, а сама она навязывала Векшину свое прощенье.

— Перед кем пресмыкаешься! — стыдил Векшин.

— Любовь моя мне велит,— глядя в сторону, отвечала та. — Скоро потеряю тебя... стараюсь отсрочить хоть на недельку. Я тебя во сне все с н е ю вижу. А уж после тебя всех других презирать буду, тогда все равно мне станет. Плохо мне, Митя...

— Добрым всегда плохо,— вспомнил Векшин пчховские слова и прислушался к такому милому и неожиданному мелодическому троезвучию за спиной. — Сколько он тебе дал?

— Не важно... он мне радости горстку дал! — заранее испугалась женщина.

— Нехорошо, Зина, подлеца из любовника делать! Обойдись пока... если одного письма на днях не дождусь, я тебя засыплю этой радостью. А теперь ступай купи вина на его деньги!

— Ведь ни копейки у меня на завтра, Митя... — начала было она, но подчинилась нетерпенью в его лице.

Давешние бесхитростные звуки повторились, приблизились, и стало понятно — Клавдя в углу пробовала очередной подарок Петра Горбидоныча: колясочка с пестроватенькой музычкой — словно цветные стекляшки пересыпались в темноте. Векшин подошел к окну. Улица была длинна, сера, суха — страшно спичку заронить. Внизу мостовую перебежала Балуева под шалью. Сбиралась гроза, ломаные молнии бесшумно резвились на небосклоне. Быстро темнело. По железному отливу подоконника прохлестнули брызги косого дождя и перестали.

Векшин обернулся на внезапный шорох. У двери смутным пятном маячило чье-то лицо.

— Принесла? — спросил Векшин, но ему не ответили. — Кто там, дьявол? — резче повторил он, кожей ощущая из сумерек враждебный холодок.

— Это я, хозяин,— робко сказало пятно и сделало неуверенный шаг в направлении к Векшину.

XXIII

— Как напугал меня... чего ж ты, шальной, без спросу входишь?.. а может, я деньги делаю тут, впотьмах! — с облегченьем засмеялся Векшин, и, если бы не какая-то неуловимая тревога, его даже обрадовал бы Санькин приход.

— Потому и пришел, что вчистую замучился, хозяин! — пробормотал Санька вполголоса.

Огня не зажигали. Полыхнувшая молния осветила их, почти дружелюбно сидящих за столом. Векшин ковырял в зубах, слепительный в расстегнутой без ворота сорочке, Санька же, чуть привстав, как бы тянулся обеими руками к нему через стол. Первый трехступенчатый громовой раскат заглушил вступительные Санькины слова.

— Вот, принес, хозяин! — досказал он, и сразу ясно стало по его нетвердому срывающемуся голосу, что он слегка под хмельком.

Туча наползала, из окна веяло сырой, приятной после зноя, ознобляющей прохладой.

— Не дело, пьяный на ночь глядя бродишь!.. чего ты мне там принес? — вместо привета насторожился Векшин.

Тогда Санька прорвался рассыпчатой деревянной скороговоркой, причем часто повторялся, верно из-за состояния своего, пускался в откровенности, делал странные паузы, словно какого-то опроверженья ждал, и до такой степени горячился, что Векшину порой приходилось зубы стискивать, чтобы не оборвать эту насильственную искренность.

— А вот десятку-то, что от т е х пятидесяти осталась, помнишь? Вконец извелся, веришь ли... Это я на новую получку выпил, а ту я словно зеницу ока храню! И чуть вспомню, что во всем мы были вместе и все я тебе в жизни без задумки отдавал, а эту вроде бы недодал, так и взмутит всего меня, так и вскинет как на дыбку. Тебе в тот раз и полагалось отказываться, да я-то не имел права у себя ее оставлять! И сколько ж я метался с ею, с той десяткой. В печку кинуть — не кидается, опять же жена с черным лицом на руки мне глядит... А я ей: «Молчи, кричу, обывательша, буржуйское отродье, не можешь ты соображать, какая сила в той десятке содержится. Весь я теперь наскрозь хозяинов: велит — снова в ш у х е р кинусь, велит — на мокрое пойду...» А и верно, как выкинул я его в помойку, так разом ровно гору сняли с меня: спасибо Доне! Оно и жалковато: полгода растили, спитым чайком поливали, на дождики вытаскивали, а тут единым махом. Зато как сладко рушить, хозяин, лихо да весело... Мне теперь цельный мир запалить — не содрогнуся!

— Кого это ты выкинул? — помрачнел Векшин от одного упоминания Донькина имени.

— А фикус-то! — с легким смехом напомнил Санька. —

Ничего у нас боле не осталось: ни фикуса, ни кикуса никакого... одна только дружба чистейшая твоя. Да ты бери ее, проклятую, бумажку-то, освободи, хозяин, а то руку жжет...

Здесь он принялся втискивать в обмякшую руку Векшина ту самую комканую, волглую от пота десятирублевку, и Векшин хоть не сразу, а взял, лишь бы отделаться, и примечательно, до такой степени не имел влеченья к деньгам, что немедленно позабыл, куда сунул полученные деньги, не придав никакого значения своей непростительной, как оказалось позже, оплошности. В ту минуту не без волнения подумал он о такой же вечной, несмотря ни на что, дружбе своей с Арташезом, в котором для него странным образом олицетворялись все его современники.

Несколько колечек Клавдиной музыки, опять прозвучавших за спиной, воротили Векшина к действительности.

— Ладно, возьму, если так тебе нужно... для твоего спокойствия. Но имей в виду, не нравятся мне твои истеричные подергиванья, Александр,— не на шутку сердясь, предупредил Векшин. — Дождешься, прогоню я тебя. Кстати, я и прежде замечал в тебе эту несвоевременную чувствительность, а иногда, извини, и прямую неустойчивость. Нетвердо, шатко ты на земле стоишь... от росту своего, что ли? Вот и теперь, серьезный будто, женатый человек, а весь ходуном ходишь, как порченый!

И у Саньки ничего не нашлось ответить на заслуженный упрек.

— Эх, попить бы чего... — только и сказал он и, нашарив на столе, наливал что-то в чашку, расплескивая на пол и колени, так тряслись у него руки. — А ведь ты дитя и чудак у меня, хозяин, всегда чудаком был, простодушным тоись... не замечаешь, что вокруг тебя творится. И такое у меня сейчас настроение, что даже поцеловал бы тебя, каб не такой заросший я был...

Впрочем, поднявшись, он потянулся было вроде как с объятьем через стол, но коснулся в потемках векшинской руки и отдернулся как от огня.

— Ну-ну, без лобзаний, пожалуйста... — поднял голос Векшин.

— Не кричи и прогнать меня не грозись, мы с тобой кровью паянные, так что и бежать мне от тебя некуда... как и тебе от меня! — Здесь Санька сделал затяжной глоток и с

испугом понюхал из чашки. — Ай кто заболел? никак, лекарством пахнет...

— Это мамочка капли пила, когда к Петру Горбидонычу за деньгами ходила,— раздался сзади ломкий детский голосок.

Оказалось, Клавдя сидела недалеко от стола, на детском стульчике, пристально вслушиваясь в беседу старших.

— Спать ложись, милая... — железным голосом произнес Векшин, и та послушно отправилась к своему диванчику в углу.

...Балуева вернулась еще сухая, с кульком покупок, суетливая и бесконечно виноватая. Едва успели закрыть окно, гроза ударила в стекла полными пригоршнями дождя. Частая молния, выхватывая кадры из темноты, сообщала людским движеньям отрывистость приторможенного кино, отчего непонятно было, что за тряпочку такую с поротыми нитками достал из кармана Санька и почему в продолжение двух смежных вспышек озиралась женщина, запустив руки под кружевную дорожку на комоде.

— Остатки денег прячешь? — холодно спросил Векшин, наблюдая ее через зеркало. — Я же приказал тебе...

Чуть приподнявшись со стула, он включил свет.

— Не брани меня, Митя, все у нас подобралось, суп заправить нечем... — заторопилась та. — Я не к тому, что голодные будем сидеть... Мне в театр вышивальщицей предлагают, я быстро научусь, я понятливая. Все тебе будет, пока не выздоровеешь!

— Молчала бы при посторонних,— оборвал Векшин, хотя, по всей видимости, Санька дремал с открытыми глазами, в такой неподвижности созерцал он складку на скатерти.

Натомившись наедине с собой, Векшин бессознательно боялся лишиться гостя. На столе появились зелень, хлеб и первая пока бутылка. Как ни грохотало за окном, все же на звон посуды своевременно подоспел Манюкин, а там и хозяйке пришлось принять участие в пиру... За все лето то была самая продолжительная из гроз. Почти непрерывные раскаты грома и гул водостоков настолько заглушали людскую речь, что сказанное на одном краю стола приходилось переспрашивать на другом.

— Пей, Александр, за нашу кровную связь,— глухо твердил Векшин, то и дело подливая товарищу. — Мы с тобой маленькие люди, делаем, что умеем... умрем, когда потребуется.

Жалости да пощады у вчерашних друзей не просим. И ты за меня не бойся: я в свое время из ямы вынырну и тебя вытащу с собой!

И за тем же столом, полуобхватив плечо заглянувшего на огонек Манюкина, исповедовалась ему Балуева — с такою безудержной искренностью, что нет-нет да и скользнет слезинка в ее пропудренном улыбающемся лице.

— Ведь я когда хмельная, барин, то я враз хорошая становлюсь, веселая и разговорчивая,— признавалась она, закидывая голову и обнажая знаменитую, сводившую Чикилева с ума шею. — Вот ты барин родовой, а моя мать захудалой прачкой была... но я не из тех, я тобой ни капельки не брезгую. Я простая Зинка, пою песни про людское горе, про разлуку, про сердешную боль... пою, пока молода, а как застекленеет во мне душа, вернуся к материну корыту. Я быстро состареюсь, потому и жить тороплюсь! И тут запретили Зинке про горе петь, велят про счастье... а мне бы хоть издаля его повидать! Про горе-то я с одиннадцати годков пою, еще как нищий конфеткой меня сманил да под шарманку во дворах петь заставил... эва когда! И пела я, барин, слезами заливалася, и чистые люди во всех окошках навзрыд плакали, на меня, на рваную девчонку, глядючи. И не то чтобы сжилася с ним, с горем-то, а в самые очи ему смотрелася, через него и себя поняла... Горе правде учит, даже неумного!.. а счастье и в сказке никого не доводило до добра. Мать-покойница говаривала: у горя сто ушей, у счастья сто когтей — да все на ближнего. Горе последней крохой делится, счастье стеной зубчатой обороняется, вон оно как! А он меня отчитал, новый-то наш директор, как распутную по харе отхлестал... ровно в шейных кандалах от него ушла. Да ты сам хоть капельку уважаешь меня, барин? — и вглядывалась во внимательные манюкинские глаза.

— Герцогиня, муза, умница... восторженно внимаю вам,— патетически восклицал тот и так взмахивал свободной рукой, что выплескивалось из стакана в честь сказанного красное вино.

Из-за грозы старик и женщина не расслышали происходившего рядом с ними воровского сговора. Только сейчас Векшин вспомнил о присланной утром записке от Щекутина с предложением совершить дружеский набег на одного знакомого ювелира и его кладовые; кстати, на взгляд Векшина, ничего преступного не содержалось в довольно забавном развле-

чении — вырвать из-под пэпмана золотой коврик, на котором тот с такой приятностью расположился. Грозного отцовского ответа Векшин по неотвязному предчувствию ожидал теперь не ранее конца недели, так что довольно безопасная пирмановская операция помогала до некоторой степени скрасить обычное предотъездное томленье. Выгодность ее заключалась еще и в том, что хоть и ворованные — но отнятые у блатака деньги эти приобретали видимость как бы чистых... Сразу протрезвевший Санька не меньше минуты раздумывал, прежде чем дал согласие на участие в деле.

Пирушка состояла из жарких речей и не менее щедрых возлияний. Занятый в соседней комнате составлением одного текущего доноса,— даже не особо интересного, а лишь бы рука не отучалась! — Петр Горбидоныч и не подозревал, на что пошли его трудовые накопления. Впрочем, все теперь работало в его пользу: опрометчивая трата занятых денег вынуждала Балуеву раньше срока вновь обратиться к нему за подкреплением, что в окончательном итоге приближало час полного чикилевского триумфа.

XXIV

Когда Векшин разомкнул глаза, солнце освещало довольно безотрадный беспорядок на столе, но окно было открыто, воздух в комнате после вчерашней грозы был особенно свеж и взбодряюще пахнул сельдереем,— Зина Васильевна уже успела сходить на рынок. Векшин сразу заметил на стуле возле себя почтовый пакет с роговским штемпелем на марке, но взялся за него не прежде, чем оделся и тщательно выбрился. Однако, по мере того как близилась минута прочтенья, нетерпение сменялось колебанием недоверия. Векшин ждал корявой, нескладной весточки, написанной с ошибками, на случайном лоскутке, а перед ним лежало нечто исполненное писарским, с франтоватыми зачесами почерком, каким не пишутся письма с родины. Он испытал поэтому облегчение, когда Зина Васильевна, войдя с кофейником из кухни, сообщила о приходе сочинителя.

— Он тебя спрашивает, Митя, но по дороге к Манюкину заскользнул, селедок ему пайковых притащил... мимо шла, заглянула. Подкармливает, видно, старика, чтоб не скапустился раньше сроку, пока сочиненье про Благушу не закончено...

Не успел Векшин выбранить женщину за ее унизительное подсматривание, как Фирсов уже приветствовал его взмахами шляпы из коридора и ждал дозволения войти. Сочинитель находился в отменном настроении, в меру кривлялся и пенился отвлеченными соображеньями, маскируя ими свою беспощадную в то утро приглядку к действительности. Он как будто только и ждал любого вопроса от любого собеседника, чтоб распространиться на любую затронутую тему, однако жильцы квартиры сорок шесть, видно из чувства самосохранения, избегали в то утро опасной разговорчивости.

— Предупреждаю, темный принц мой... — привычно оглушал Фирсов еще с порога, парализуя способность жертвы к сопротивлению,— нет у меня к вам никакого дела... почти как всегда. В то время как одни с понятной робостью в коленках вскрывают посланье с родины, другие же торопятся под шумок убрать со стола улики вчерашней пирушки, одни мы, чернильные бездельники, таскаемся с утра по миру, запускаем нескромные взоры в запретные потемки, тычем пальцем куда не дозволено, пробуем на язык, ищем где поострей вкус, цвет и запах жизни. Но не бойтесь меня, Дмитрий Егорыч, я не принес вам никаких разочарований, я пришел сказать лишь, что все на свете замечательно, особенно — волшебные щекотанья цветочков, птичек и ветерков, улыбки и подачки любви, эти нежнейшие взятки во имя довольно грубых практических целей... или всякие такие мимолетные обольщения разума, тоже не менее коварные ловушки ощущений... Потому что не успеет очарованная ими жертва толком сообразить, кому и на кой черт потребовалось все это, как ее уже вышибают взашей из бытия!

— Я, правда, в баню собирался, но входи, Федор Федорыч, входи... для тебя всегда найдется у нас свободная минутка! — приветливо отвечал Векшин.

— Отчего-то он больно веселый нынче, наш Федор Федорыч? — не без зависти отметила Зина Васильевна.

— А с того, милостивица, что после долгих поисков краску я на днях басовую отыскал, недостававшую на моей палитре. Мрачнейшую одну личность на самом что ни есть краешке бытия: воздыхания грудной клетки еще замечаются, но печали уже ни следа. Яйца со скорлупой жрет и Анатолием Араратским себя именует... Поразительный столп бесчувственности и бессмыслия! Зато уж рассказчик!.. за неделю любимцем кабака и ночной Благуши стал. Верите ли, как птицу пев-

чую слушать хожу... самые необыкновенные смятения современности... при совершенно каменном лице, со сверкающими подробностями и без признаков пессимизма или уныния. Так что бедному Манюкину полная отставка теперь!

— Меня-то не заменили еще? — вскользь поинтересовалась Балуева. — Сказывали, будто шаркуна на мое место наняли...

— Это верно, отстукивал там какую-то дрянь чечеточник под ксилофон, я не обратил вниманья,— сказал Фирсов, продолжая добиваться чего-то от Векшина. — Советую посетить до отъезда на родину, послушать восходящее светило, Дмитрий Егорыч, не раскаетесь!

— Так ведь врет он поди... — хмурился Векшин.

— Явно врет,— убежденно поддержал Фирсов,— но ведь главное в искусстве не о чем, а к т о врет! Истинное искусство и заключается в отборе матерьяла, то есть в подмене общего частным... или наоборот! Я хочу сказать, что искусство и есть до некоторой степени обман с неписаного согласия заинтересованных сторон... а потому, кстати, не кажется ли вам, Дмитрий Егорыч, что личность художника всегда важнее темы?

— Какой же́ я в этом деле авторитет,— не поддался на фирсовскую приманку Векшин, хотя что-то ему и льстило в начавшейся игре. — Я уж говорил, что ты, Федор Федорыч, до некоторой степени у себя в храме признанный жрец, а я всего лишь обыкновенный житель...

— Ну, достаточно выяснилось, что бывают храмы вполне пригодные и для хранения фуража...

Векшин в ответ лишь пощурился и, согревшись теперь до желательной степени благодушия, осведомился напрямки, что именно потребовалось от него сочинителю в столь ранний час.

В ответ Фирсов принялся шутливо убеждать, что забежал исключительно по дружбе и расположению,— если же его собеседнику самому не терпится проявить те же чувства, то легче всего ему сделать это посредством передачи сочинителю некоторых сведений по линии нынешней векшинской деятельности.

— Вы понимаете, конечно, что я не собираюсь хлеб у вас отбивать, Дмитрий Егорыч!.. все над повестушкой своей потею, и, кстати, довольно любопытные эпизодцы получаются, но дальше мне без вашей помощи ногой не ступить.

Векшин машинально взял папироску из подставленной Фирсовым непочатой коробки.

— Да я и сам в моем деле новичок,— в раздумье сказал он,— а если слава у меня **т а к а я**, то оттого, что никогда плохо в жизни не работал... но все равно спрашивай, в чем твое затруднение! — согласился он и дальше молчал по какой-то стесненности перед Балуевой, пока та не покинула комнату, поставив стакан кофе перед гостем. — Ты намекни, по крайней мере, что именно интересует тебя... техника **н а ш а**, суеверия, самая работа по **в с к р ы т и ю**... или другое что?

Между делом Фирсов пометил у себя в книжечке, как тщательно избегал терминов своего ремесла Векшин, и все же, едва коснулся темы, в облике его тотчас произошли перемены, способные поразить опытного наблюдателя. Он заметно посутулел, отяжелели руки, зарделись кончики ушей, взгляд приобрел исподлобную пристальность, а речь стала отрывистей. Вряд ли то был естественный стыд наготы, скорее профессиональная сноровка ночного преследуемого человека, причем на короткое время в нем проступило нечто от волка на бегу, на мушке, даже от Агея Столярова что-то, правда в зародыше пока.

— Мне требуется все **ц е л и к о м**... — осторожно заикнулся Фирсов,— не только словарная часть, но и человеческие взаимоотношения, законы и обычаи вашей среды, суеверия и приметы... Деталь произведения возникает в точке пересечения множества образующих обстоятельств, и чем их больше, тем тоньше она!

— Э, долга история получится, Федор Федорыч,— иронически предупредил Векшин. — Наиболее краткое и точное описание земного шара — сам шар земной!

— Согласен... — усмехнулся Фирсов этой собственной своей мысли, вовремя подсказанной собеседнику,— тогда разумней будет рассмотреть механику отдельного эпизода. Кстати, он у меня вчерне почти накидан... верней, схема, душа его. Вот я и стремлюсь с вашей помощью подобрать ей подходящее тело!

— Да не торгуйся ты, Федор Федорыч, я тоже сочинительский хлеб не собираюсь отбивать, твой моего не слаще... Ты мне покажь его, костяк-то, а я охотно подправлю, что не так.

— Да как же я его покажу, раз **о н** бестелесный пока? —

мялся Фирсов, но другого выхода не намечалось, и он нехотя сдался. — Ладно... вы уж сами подберите мне какой-нибудь, пусть давний, случай из вашей практики... тем более что и вам любопытно будет со временем прочесть о нем в книжке!.. а я лишь намекну предварительно, в каком направлении производить поиск. Боюсь быть непонятным вам, Дмитрий Егорыч, но некоторые недавние творческие неудачи приводят меня к заключению, что героя наших дней выгоднее рассматривать не сквозь лупу общеизвестных моральных истин, из которых к тому же большинство погребено под пластами катастрофического социального смещения, так что действуют покамест лишь политические!.. даже не в свете лирической трагедии, потому что самая распрогеройская личность со своими любовными экстазами будет рисоваться по меньшей мере странно на багровом небе нашей действительности!.. а единственно через трудовой процесс, где объединяются ум его, жизнеспособность и воля!.. — Вдруг сочинитель вспомнил, что чуть ли не вчера толковал с кем-то на ту же тему, вдобавок такое озабоченное нетерпение выражалось у Векшина в лице, что лучше было здесь поставить точку. — Словом, мне требуется написать одно там небольшое ограбленьице, по всем правилам моего и вашего искусства, однако без риска вызвать брезгливую гримаску у чрезмерно щепетильного читателя. Я потому в качестве пострадавшего лица и беру личность, в социальном смысле подмоченную, малоценную... и которую не жалко.

— Б а б а я, по-нашему,— деловито вставил Векшин и облизал утончившиеся губы.

— Вот именно!.. потому что возмездие бывшему злодею всегда встречается глубоким удовлетворением в простом народе! Теперь допустим, перед вами поставлена цель: в з я т ь этакую бронированную цитадель нэповского мануфактурщика или, еще точней, процветающее ювелирное заведение, возникшее на людной улице некоего столичного города вследствие случайного обогащения в одном ныне уже разгромленном шалмане...

Естественно, оба они в ту минуту, автор и его герой, думали об одном и том же, о предстоящем налете на Пирмана, но Векшин еще не подозревал в этом эпизоде фирсовского авторства, а сочинитель, зная наперед место его в повести, целиком зависел от частностей в поведении персонажа, начавшего жить самостоятельной жизнью. К этому моменту их

обоюдное взаимодействие достигло максимальной остроты, и Фирсов из всех сил старался запоминать выяснявшиеся ходы и фазы эпизода, чтобы провести по ним своего двойника-сочинителя в собственной его повести.

— Давай я обрисую тебе один давний, но забавный случай... — со странным блеском в глазах начал Векшин.

И, захваченный вдохновеньем начавшейся игры, он стал рассказывать то самое, что должно было случиться лишь завтра. Затая дыханье, забывши про карандаш, Фирсов вникал в разработанный до мелочей векшинский план. Сам про себя, пером своего двойника он писал в повести, что эти беседы с только что отслоившимся от автора созданием и составляют единственное, недолговечное наслажденье, которым только и окупается многолетний, иногда каторжный труд писателя. И хотя порядок операции, место происшествия, состав участников — все было известно Фирсову заранее, разум его то и дело обжигали подобно искрам все новые, одна чудесней другой, помимо него зарождавшиеся подробности, имевшие ценность то уголовной улики, то неожиданного психологического открытия. Естественно, в мысленном пока наброске пирмановской операции Фирсову приходилось учитывать и векшинские, на сабельный удар похожие, решительность и прямоту, и внешне простодушную, на грани адского коварства Санькину выдумку, и осатанелую дерзость курчавого Доньки, тоже приглашенного в дело, и ползучую мудрость неоднократно стрелянного Щекутина... словом, свойства всех участников, через которых должен был пройти авторский замысел, чтобы приобрести убедительные цельность и законченность.

В сжатом виде векшинский рассказ содержал все необходимое для написания не слишком замысловатой, однако вполне обстоятельной главы о ночной операции со взломом — от распределения ролей до гомерического затем празднования в одной пригородной увеселительной берлоге... Но едва Векшин поставил заключительную точку, даже лицом будто подобрев, тут-то Фирсов и принялся полосовать хозяйским карандашом эту посредственную безупречность плана. Прежде всего был поломан благополучный конец задуманного предприятия.

— Должен огорчить вас, несравненный Дмитрий Егорыч... у меня тот же эпизод закончится небывалым провалом!

Векшин так и нацелился на собеседника, чтобы вникнуть в основательность его тревог.

— А что?.. благополучные концы тебе не нравятся? — иронически напомнил он одну совсем недавнюю статью о Фирсове, где с унылым постоянством твердилось об ущербном мироощущении писателя.

Фирсов даже озлобился на его неуместную шутку.

— Вы, оказывается, не только по московским кладбищам шатаетесь, а и статейки критические почитываете? — ядовито спросил он, явно намекая, что все до малейших оттенков известно ему в поведении Векшина.

— Как же мне за приятеля не порадоваться!

— Я бы вам ответил на полном литературном уровне, Дмитрий Егорыч, кабы вы в баню не собрались. Видите ли, почтеннейший, у кого на инструменте всего одна струна, тому трудновато в меланхолию впасть... что касается жизни, то струн у ней множество! — огрызнулся Фирсов, но вовремя заметил раздражение в лице собеседника и воздержался от дальнейшего. — Словом, вы взяли слишком идеальный случай сотрудничества...

— Поясни... — велел нахмурившийся Векшин.

— Смогу лишь намекнуть... Я бы на вашем месте побольше обратил внимания на взаимоотношения участников. Гиблое дело, знаете ли, подобными вещами в рискованные минуты пренебрегать!

— На кого капнуть хочешь, Федор Федорыч?.. полагаешь, успел ссучиться который-нибудь? — не без угрозы проворчал Векшин.

— Я имел в виду... — стал отступать Фирсов,— что никому в жизни и истории не следует полагаться на чрезмерное свое обаяние... тут-то и рвется ниточка порой!

Неизвестно, что руководило сочинителем, когда в ущерб собственным творческим интересам стремился предупредить теперь уже бывшего своего любимца о грозившей тому неудаче; лишь из опасения вспугнуть Векшина он не произнес слова предательство. И примечательно, что к тому времени Векшин до такой степени думал независимо от своего творца, что не внял предупрежденью.

Впрочем, в наступившем затем молчании Векшин поочередно мысленным взором вгляделся в лица завтрашних компаньонов. Они стояли перед ним, как на перекличке, и, хотя в каждом с расстояния ощущалась какая-нибудь личная пугающая нотка или черточка, ему было некогда и просто лень разгадывать душевные настроенья тех, кому можно приказы-

вать. Так было проще, легче, главное — дешевле для души; к тому же он торопился в баню.

— Пустяки... не посмеют,— тяжко, в Агеевой манере ухмыльнулся он. — За такое дело можно на счет и правилку вызвать, на суд — по-вашему, а у нас это не шуточное дело!

Аудиенция кончилась, Векшин пошел взять с комода приготовленный сверток с бельем. Фирсову видно было через зеркало, как тот на короткую дольку минуты опустил глаза, повторно охваченный сомненьем и, может быть вспомнив из собственного опыта, что бывает ненависть сильнее даже животного страха... затем в лице его отразилась злая уверенность — «нет, не посмеют».

— Я вас провожу... — поднялся с места и Фирсов.

Они вышли вместе.

— Я согласен с твоим критиком, уж больно все сложно у тебя,— говорил Векшин, спускаясь по лестнице. — Проще надо жить, писать и думать, совсем просто... чтобы самому что ни есть захудалому умишку все понятно было. И вообще на кой тебе черт понадобилось о нашу жизнь свое перо марать? Чтоб Векшина написать, должен ты в него сам по макушку влезть, а из этой одежки, поверь, чистым не вылезешь. Ведь не чернилами поди оно пишется-то...

Фирсов ничего не ответил.

— Кстати, насчет Марьи Федоровны,— через минуту вспомнил он. — Виделся с ней на улице дня два назад, про вас спрашивала, просила...

— Вьюга никогда не просит, она велит,— сумрачно заметил Векшин. — Ну и чего ж она тебе велела?

— Как всегда, кланяться повелела. «К себе, говорит, Митю больше не зову, неравно новая супруга кислотой глаза выжжет, но в точных этих словах передай ему от меня задушевное поздравление с достигнутым семейным счастием». При мне же открытку в ящик бросила: двое голубков целуются и у третьего писулька под крыло засунута... не дошла еще? Скоро получите... Но только вы, Дмитрий Егорыч, не обращайте особого внимания, сами знаете: повелительница и насмешница... сама себя не щадит! — Вдруг, точно сжалясь, Фирсов прихватил спутника за локоть и зашептал ему доверительно и дружественно, что в самый бы раз теперь, вместо Пирманова заведенья, отправляться ему на Кудему, к отцу... нашептывал, однако, без обозначения цели и адреса, во избе-

жанье встречного вопроса, откуда сочинителю известны сокровенные векшинские намеренья. — Опять же багажа при вас вполне достаточно, а я бы вас сейчас на извозчике, Дмитрий Егорыч, к самому вокзалу подкатил...

Движеньем локтя тот скинул фирсовскую руку.

— Я, правда, говорил, что тебе писать попроще надо... однако не до последней же, братец, степени. Как-никак я потому и стал *таким*, что обладаю собственной судьбою, что я *живой* человек. Дай же мне быть самим собой. Ну, мне влево теперь... мерси, катись!

Векшин пустился в путь, не простившись, так сильна была в нем досада на сочинителя — не за обидную передачу от Доломановой, однако, а за посеянное в его душе смятенне. Шагов десяти не дойдя до бани, он свернул в сторону и както слишком быстро, несмотря на расстояние, без всяких поисков даже, оказался перед незнакомым домом, где не бывал пока ни разу. Подымаясь по лестнице, он еще не знал, что станет делать на квартире у Доломановой... но оттого, что наибольшего, из всей завтрашней четверки, сомнения заслуживала неукротимая личность курчавого Доньки, он и решил, нажимая звонковую кнопку, что идет заглянуть врасплох в карие с зеленой искоркой Донькины глаза.

XXV

— Дома нет, и когда вернется — неизвестно... — не дожидаясь вопроса, через дверную цепку сообщил Донька и захлопнул бы дверь, кабы Векшин не придержал ее носком сапога.

— А может, я в подворотне как раз и дожидался, пока барыня твоя уйдет? Пусти, я тебя не обижу, только погляжу... — настоятельно сказал Векшин.

— Вот как засыпемся завтра, вдоволь наглядимся тогда друг на дружку,— зловеще пошутил тот, так что вроде начинало слегка оправдываться туманное фирсовское предсказанье.

— В том и дело, что мне еще нынче, на воле, охота на тебя полюбоваться,— повторил Векшин. — Ладно, не томи, милый Доня, открой!

Дверь отошла, и выглянуло заспанное Донькино лицо.

— Что, отменяется, что ли?

— Я этого не говорил... Чего среди бела дня спишь? Распухнешь, дурак, от беспросветного сна любая краса слиняет.

— И то зажирел... ничего, кажную потраченную крупинку в счет поставлю! — как-то не раскрывая рта, бурчал Донька, пропуская гостя в прихожую. — А пока в ничтожестве квартирую, правда, не погребуешь моим шалашиком?

Прохладная и, за зеленые сумерки в ней, справедливо названная шалашиком, Донькина клетушка еле вмещала в себе кровать да впритирку к ней столишко, закиданный окурками и бумагой с карандашными, не без таланта, набросками знакомых дам в различных видах, по памяти. Здесь сгорал Донька от любви, вгоняя свое нетерпение и надежды в поэтические неистовства; нигде, впрочем, не виднелось никакого черновичка, стихи у него сами собою слагались в уме, как родится народная песня... Имелось здесь единственное, казематного типа и на уровне плеча окошко, годное, пожалуй, высунуть голову на воздух в припадке отшельнического исступленья, кабы не было наполовину заложено изрядным, разных марок, запасом папирос и табаку. Поникшая снаружи кленовая листва шевелилась, и пробившийся сквозь нее солнечный луч елозил по рисункам, словно выбирал себе позабористей.

— Куда табачи́ны столько держишь... торгуешь, что ли? — спросил Векшин.

— Это чтобы из дому не отлучаться. А то Марья Федоровна у нас частенько из дому, не сказамшись, уходит... и неизвестно, когда воротится, как сейчас. Приходится беспросветную жизнь вести, ровно как в тюрьме.

— А если она на полгода вздумает укатить?

— И полгода без стону высижу, милый Митя,— царапающим голосом произнес Донька.

— Азартный ты человек, Доня,— оглядевшись, признал Векшин, и ненадолго восхищение этим скованным удальством даже пересилило в нем глухую, прихлынувшую было неприязнь. — Интересно живешь, вроде черта во пне лесном!

— Это непохоже, Дмитрий Егорыч... скорее уж камердинер при королеве,— в тон ему поправил Донька.

— Тоже не подходит,— не сдержался Векшин,— камердинер — тот же лакей, ему ливрея положена, а ты глянь на себя, ровно пугало в баретках на босу ногу.

— Нам ливрея ни к чему... — дерзко шел тот на сближенье. — Все одно сымать-разуваться, как до расплаты дойдет!

— Не хвастайся, раб... Что же, в королевских-то покоях теплого местечка пока не выслужил?

— Потерплю... — с пороховым бесстрастием согласился

Донька, и пепельный румянец слегка отемнил и без того смуглую щеку. — Да мне и не скушно, Митя, во сне да за стишками незаметно время бежит. Фирсов обещался иные в сочинение к себе включить... глядишь, и прославлюсь! Нонче утром смешной один стишок составил «цепному псу не внятно униженье...» и так далее, а кончается так: «не осуди ж виляния собачьего хвоста!» Хочешь, почитаю заместо угощенья? Там и про тебя строчка-другая найдется...

— Уволь, лучше так посижу,— сухо отклонил Векшин. — Ну, полно нам царапаться! А вот касательно главного дела крепко помни: за кротов ты мне всею прической отвечаешь, причем вместе с головою.

Донька только зашикал в ответ.

— Потише ты!.. я только чтоб проветриться согласился, а так не велит она мне. Не ровен час, услышит за дверью, метлой отсюда погонит: лисий у ней слух...

— Это мне совсем неинтересно,— оборвал Векшин. — Сам-то их работу проверял хоть раз?

Теперь лицо у Доньки даже перекосилось слегка от холодного, свысока поставленного вопроса.

— Белоручка, комиссар, на готовенькое ходишь... Небось о мозолистых руках сколько раз на митингах трепался, а сам-то избегаешь их землицей помарать! — Глубоким вздохом он потушил в себе неуместную вспышку и прибавил по-блатному, для краткости, что его кроты не подведут.

Подразумевались подсобные, в особо выгодных случаях лица, которые по найму или любовному долевому соглашению пробивают подземный ход с выходом на цель. И так как соседнее нежилое помещение, откуда велся подкоп к Пирману, должна была снять под ларек свободная от подозрения Санькина жена, то Векшин и счел необходимым остеречь Доньку в отношении молодой четы.

— Ты мне Саньку не черни,— предупредил Векшин,— он мой. Помни: в Казани ему на ногу наступишь, а ко мне на Благушу извиняться придешь... понятно?

Тот лишь зубами поскрипел.

— А я бы на твоем месте, Дмитрий Егорыч, данного верзилы еще более опасался, чем Щекутина самого! — Он намекал на скрытую неприязнь этого опытнейшего шнифера к Векшину за его скорую, высокомерную славу. — Эх, не нравится мне твой Санька... лучше бы ты черта самого в компанию пригласил!

— И эти твои намеки тоже не имеют для меня никакого значения, Доня,— спокойно отрезал Векшин. — Лучше за собой последи...

Некоторое время они, готовые на любое, смотрели друг другу в лицо, потом Донькины губы расплылись в насильственной улыбке.

— Ну, раз ты слов моих сторонишься, а других где ж я тебе достану? то займусь-ка я сном пока, Дмитрий Егорыч. А ты меня покарауль, пожалуй! Знаешь, солдат спит, а служба идет... — И, рухнув на кровать лицом в тощую подушку, как-то подозрительно быстро засопел.

Ни один звук со двора или улицы не проникал сюда, в Донькино уединение, так что Векшин остался как бы наедине с собою. И тотчас же его поглотило прежнее навязчивое раздумье, потому что, кроме него, ничего и не оставалось теперь у Векшина в душе. Вдруг подумалось, что никому не поверил бы в те годы, на Кудеме, что однажды под маской пирмановской операции, под предлогом проверки фирсовских намеков, тщательно скрывая от самого себя истинную цель посещенья, он притащится сюда, в подлую и грешную каморку вора, лишь бы удостовериться, что он еще не сошелся с Машей, что не началось ему, Митьке, возмездие за какую-то якобы допущенную им бесчеловечность... а ее-то и оставалось ему теперь в жизни осознать. Кстати, он не ревновал к Агею, на которого смотрел как на отвлеченную беду в обличии человека.

В связи с этими мыслями вспомнилось отцовское письмо,— Векшин достал из-за пазухи и неуверенно разорвал конверт.

«...братцу первородному, барину Митрию Егоровичу низкий поклон,— так начиналось долгожданное письмо с родины,— и приветец от братца и слуги Леонтия, который и пишет это письмо. Еще кланяется и родительское благословение шлет, а покеда сидит на печке и бессменно жует, как герой многолетнего безответного труда, сообщий папаша наш. Ему с тех пор, как вы дом покинули, похужело. Все на грудь жалится, просится к доктору, а сам ехать никуда не годится. Да и то еще, что денег нету, тоже факт. До того достигли, чего по хозяйству скопили, и нам пополам бы досталось, все продали: прости, Христа ради. Припадки с отцом кажпый день, у мамы нога опухла...

Еще извиняюсь, что нарушаю ваш покой. Слышали, буд-

то в еноте ходишь, это очень хорошо, что в еноте, в еноте потепле. Я отцу ваше письмо прочитывал, он сказал, что валяй в таком же духе. Он совсем слаб, хотя покеда в понятии. А мы живем плохо: нету в доме ни куска сахару, ни кожаного сапога. На Пасху яйца красного не съели. Барин Митрий Егорыч, нашел я себе должность в плетении лаптей, а и то хотят рассчитать, очень помалу плету, четырнадцать лаптей в день. Настоящее письмо прошу ответить, а затем прошу не смотреть на него с презрением. И если можно, еще пришлите отцу на обувку. У вас там добро дармовое, а мы за вашу милость маненько к жизни подтянемся.

Было у меня на разуме Парашку сосватать, демятинскую: поди не помнишь, такая очарующая милочка. Однако я отложил все попечение. Почему отложил? Да потому, что денег крах. Мать говорит, продадим корову, и женишься. А без коровы-то в хозяйстве сами знаете как, братец, опять же боязно, дети пойдут: мужик — что ветловый сук, как воткнешь — так и примется. Да и то печаль: и Праскутку хочется, и Аксютка до страсти хороша.

Хотя, как видно, ваши чувства не совсем отпали от нашего сообщего дома. Действительно, нас интересует отношение ваше к нам. Хотите вы или нет иметь часть в доме, что поболе десяти годов молчите как убитые. Может, как вполне износится ваш енот, то придется одеть посконину, захотится вам и земельку попахать: в Расее ни от чего не зарекайся, случается! Лучше в таком настроении енот продать, а к нам везти прямо деньги. У нас по серости енота не поймут, просвещение покамест у нас неважное...»

Кроме прямого издевательства, ничего не заключалось в липучих, нарочно недосказанных мыслишках; руки долго комкали, точно жевали, Леонтьево письмо. «Дразнит, имеет право... — томила смутная досада,— потому что кормит отца в укор старшему блудному сыну, кормит и греет оглупевшего, верно, вконец обеззубевшего Егора». Теперь Векшин живо припомнил этого Леонтия, братца от мачехи, выжившего, несмотря на природную болезненность, ползунка, который с отцовских рук вялым помахиваньем ладошки провожал Митю в Рогово... И вдруг Векшин испытал неодолимое влечение взглянуть в глаза этому незнакомцу,— в них заключалась разгадка.

Неслышно, чтоб не будить спящего, он поднялся уходить и неожиданно сделал маленькое открытие. Донька лежал спи-

ной к нему, рубаха его задралась выше пояса, и по обнаженной мускулистой пояснице, складываясь и распрямляясь, полз теперь червячок-землемер, так крепко спал Донька. На стенке же, над прибитым ковриком, висели старомодные золотые часы, с головой выдававшая его улика ремесла, и в задней полированной крышке ясно отражались следящие за Векшиным Донькины глаза.

— Ладно, хватит притворяться,— окликнул Векшин и спросил, который час. — Ну-ка, поверни свое зеркало стеклышком ко мне...

— Не торопись, к вечеру воротится,— без движенья отозвался Донька.

— Я спросил, час который... — повторил Векшин, не повышая голоса, и, значит, было в нем нечто, заставившее Доньку дрогнуть, подняться и, почесываясь, присесть на постели.

— Вот,— ткнул он в световое пятнышко, уже перебравшееся со стола на стенку,— как добежит до гвоздя, будет два без четверти.

Перед уходом Векшин еще раз наказал последить за подготовкой проломного хода к Пирману; уходил он с безнадежным чувством неизвестности. На улице вспомнилась пропущенная им ранее от гнева и боли боковая приписка в смятом Леонтьевом письме. Он остановился допить до конца отпущенную ему горечь. «И еще опиши, братец, почему вы теперь стали Королев. Напрасно мы голову ломали, ни к чему не доломалися. Мать говорит, не иначе как в отличие дадено. У нас один в Предотече тоже переменил, а то такое у него было фамилие, ни одна девка замуж не шла. А наше чем плохо? Вы нам опишите из интересу и еще какого колера вышеуказанный енот». Последнюю, со дна, горчинку Векшин дважды как бы на вкус опробовал да, верно, и третий раз пробежал бы глазами, если бы над самым ухом не назвали его по имени... Возле дома, событие для того пустоватого переулка, разворачивался черный открытый автомобиль, и в нем махал заграничной соломки шляпой пожилой холеный фраер, каких частенько постреливали в то время за красивую жизнь, сопряженную с растратами казенного имущества, а рядом с Векшиным стояла Доломанова.

Сейчас она показалась ему до пленительности прекрасной, потому что без прежнего вызова во внешности, без угрозы в разлете стремительных бровей, без напряженья в рисунке повелевающих губ, без той цепенящей жути, заставлявшей про-

хожих оглядываться и запоминать. Она выглядела человечней и тем недоступней для Векшина, как женщина другого круга; следовало считать особой милостью, что не постеснялась задержаться на улице с проходимцем в чрезмерно просторном ему парусиновом пиджаке подозрительного происхождения.

— Не ко мне ли в гости приходил? — как будто не без оттенка радости осведомилась Доломанова, доставая взглядом до самой глубины, и было видно, что ей известно о назначенном на вечер предприятии.

— Нет, это я по Доне твоем соскучился,— в тон Маше отвечал Векшин. — Смешную себе собачку завела!

— Ах, не брани его хоть ты, Митя, он, право же, славный. А вели-ка лучше Зине Васильевне пиджак чуточку в плечах обузить, ровно ворованный сидит... — и даже показала, где сколько выкинуть, чтоб спустившийся рукав поднялся на свое место.

Она не скрывала своей близости с Векшиным ни перед глазевшими из окон жильцами дома, ни перед влиятельным кинопоклонником, верно директором чего-нибудь такого, который, уезжая, все еще размахивал своим роскошным соломенным предметом, способным толкнуть на преступление Панаму Толстого.

— Хватит, убери лапку теперь, мне пора... — сквозь зубы бросил Векшин, но не уходил, не смел повернуться спиной, точно сзади выглядел еще позорнее.

Никогда не была ему столь ненавистна та самая Маша Доломанова, в которой так нуждался теперь. Снисходительная улыбка чуть подкрашенных губ довершила дело. Без сожаления вскочил он в пролетку проезжавшего извозчика — как раз в ту минуту, когда, казалось, Доломанова, неожиданно для себя, собралась сказать ему нечто душевное и далеко не бесполезное.

XXVI

Изобретение в з л о м а с к а б у р о м, означающего на блатной м у з ы к е ограбление с прокладкой потайного хода из прилежащего помещения, начитанный в своей отрасли Щекутин относил ко временам Древнего Египта. Давностью приема он

обычно доказывал на допросах неизбежность своей профессии в практике рода человеческого, чем с первых же слов добивался веселого расположения следователей. По словам Щекутина, при ограблении фараонских гробниц кроты, почти как и в наши дни, зарывались в землю и сверлили лазейку, достаточную для смельчака и его довольно громоздкой в то время, из-за отсутствия денежных знаков, добычи. С тех пор технический прогресс и умственное развитие значительно облегчили дело и сократили сроки, благодаря чему довольно опасная когда-то затея стала приобретать азартность спортивной игры, где всякое лишнее препятствие умножает удовольствие успеха...

В последней главе второй части, при описании налета на ювелирное заведение, Фирсов как бы ради блеска и правдоподобия громоздил несколько страниц излишних подробностей, вроде наиболее ходовых способов взлома или технологических сведений по скоростной резке стали, что и вдохновило потом одного простодушного критика обозвать повесть популярным наставленьем ко вскрытию чужих несгораемых шкафов в походных условиях. Все эти отвлекающие вниманье махинации требовались автору для временного сокрытия несомненного, уже тогда начавшегося предательства. Достаточно утомив читателя, Фирсов прибегал сверх того к испытанному приему всеобщей путаницы, для чего, кроме помянутой четверки, явочным порядком вводил в дело не только заклятого векшинского врага, раньше срока выпущенного на волю Леньку Животика, но и воскрешенного на этот случай Котьку Ярое Око. Не говоря уж о том, что последний был всего лишь халамидник, то есть не брезговал ничем, и, подобно первому, по причине исключительной бесталанности негоден был даже стоять у старших на маяке, он сверх того был еще застрелен в самом начале фирсовской повести, при разгроме Корынца. Покамест читатели ахали да сетовали на вопиющие авторские передержки, компания успевала ползком проникнуть в помещение к Пирману. Случившиеся один за другим два праздничных неторговых дня ускорили работу кротов, вслед за которыми в действие вступили касситы. На противоположном, через улицу, углу тарбанил под фонарем Санька, и его долговязая домашняя фигура не менее успокоительно действовала на работавших, чем общая уверенность, что жаловаться на вчерашних партнеров Ефиму Пирману не след, а след примириться, положившись на свою отменную плавучесть в самые штор-

мовые погоды. Таким образом, все звенья операции сработали бы с логикой колес в часовом механизме, кабы не одно непредусмотренное обстоятельство.

В тот роковой вечер указанный Котька, видно на радостях воскрешенья, нагарнирился до полного непотребства, за что и был собственноручно, еще в подкопе, наказан Щекутиным, который всегда боролся с нездоровыми явлениями на работе. С разбитой губой Котька якобы незамедлительно исчез, а через какую-нибудь четверть часа с небольшим последовал тот бесславный, поразивший Благушу провал. На деле же сбежал не он, не Котька, а гораздо позже пропал Санька Велосипед со своего ставшего бесполезным поста, потому что не сдаваться же было облаве!

Приступали к заветной дверце в нише, когда из подкопа выскочил курчавый Донька — он пружинно перемахнул через прилавок и ударом по щекутинской руке чуть не вышиб приготовленную для Векшина тройноножку.

— Хай... — крикнул он с дикой улыбкой в лице в ответ на щуркий недобрый взгляд Щекутина.

И сразу все увидели, как под окном, не таясь, прошел тот стройный чернявый человек из розыска, гроза столичной шпаны, о котором уж в ту пору слагались унывные блатные песни. Он направлялся ко входу, оттуда тоже ползли предупредительные шорохи и мелькнуло чужое лицо из-под козырька кепки. Время поделилось на дольки мгновенья... Неторопливой строгой походкой начальник миновал еще одно окно и вдруг, как во сне, минуя следующее, сразу оказался на пороге. В него никогда не стреляли, почитая его как бы за судьбу, но, видно, поэтому Щекутин и выпалил дважды туда, во мглу за стеклянной дверью.

Увидев в развороченной стене исчезавшие Донькины сапоги, Векшин тотчас сам нырнул туда же — ногами, чтобы быть лицом к опасности. Щекутин начал стрельбу, когда Векшин почти весь втянулся в спасительный мрак лазейки — кроме последнего пальца на левой руке; его-то и коснулась садная боль пулевого ожога. Кто-то бросился ему вдогонку, но Векшин опрокинул при выходе приготовленную стопку кирпичей и выскочил на задний двор, на бегу обматывая платком кровоточащий палец. Головоломным маневром удалось обмануть ближайшего облавщика, другие умчались на звук стрельбы; постоянных милицейских постов в переулке не было.

...Дома Векшин застал сестру; из-за позднего времени та собиралась уходить. На скатерти стоял пустой кофейник и остатки ватрушки; не имея в жизни иных, Балуева старательно соблюдала церковные праздники. Дочка ее находилась рядом и, наглядевшись на повадки старших, шумно дула на блюдечко с жидким остылым кофейком. Таня сидела спиной к двери... Первою о случившемся догадалась Балуева — скорее по внезапности векшинского появленья, чем даже по надорванному в плече рукаву. Не произнося ни слова, он показал ей палец в платке, который успел окраситься насквозь. Кровь насмерть перепугала женщин, всех, кроме Клавди, которая невозмутимо запоминала на всю жизнь поднявшуюся вслед за тем суматоху.

В поисках тряпицы для перевязки Балуева дернула нижний ящик комода, он тяжко рухнул на пол. С полминуты все четверо вопросительно глядели на стенку, отделявшую от Чикилева.

— Поторопись и не слишком шуми... — сказал потом Векшин, потому что в случае предполагаемого предательства следовало ожидать скорой погони.

Женщина не спрашивала ни о чем; одно было понятно ей — она теряла этого человека навсегда. Лентами из порванной сорочки она начала бинтовать обмытую, еще влажную руку. Ее пальцы примирились раньше сердца, свое дело они выполняли точно и быстро.

— Не пугайтесь обе, это мне дверью в трамвае защемили... до свадьбы заживет! — жалко пошутил Векшин, напряженно слушая улицу в открытом окне.

— Где он у тебя землей испачкался? — спросила Таня, принимаясь чинить пиджак.

— А, задел где-нибудь... — отмахнулся брат и насильно, свободной рукой, поднял за подбородок ее поникшую голову. — Чудно, никогда ты мне сестренкой не была, а сразу сестрой... почему? И детства у нас с тобой не бывало: непонятно. Тихая ты, тебе бы на клиросе монашкой петь, а ты вон смерть кнутиком по ее костяшкам дразнишь... зачем? Да и сам я: мне бы... — Он закрыл глаза и закусил губу, когда Балуева плеснула на рану полпузырька йоду. — А я стал вор!.. заправский, без смягчающих обстоятельств. Бежал сейчас по большому, столичному, моему городу, с собаками наперегонки, и весь будто из одной спины состоял. Но ты меня, Таня, сразу из

сердца не вычеркивай, повремени, хотя и не жалей... и не принюхивайся ко мне, нечего! Вот я поеду теперь... отдыхать, а ты постарайся отыскать себе счастьишко помимо Заварихина. Прошлый наш разговор забудь, за мою властную любовь прости. Я ведь знаю: людей для того любить надо, чтоб им теплей было, а не затем — чтобы у самого поспокойней стало на душе. Так-то! — Он очень волновался, чем, верно, и объяснялась его беспорядочная и не по характеру откровенная скороговорка.

— Где ж ты жить теперь станешь? — только и нашлось у Тани.

— А везде, вору земля просторная...

Перевязка закончилась, Векшин резко отстранил Балуеву, с которой не обмолвился ни словом, и принялся беспорядочно рассовывать по карманам мелкие вещи, какие могли понадобиться в предстоящем отъезде. И если родную сестру не обнял при расставании, не мудрено было вовсе пренебречь женщиной, которая, без слез стоя в сторонке и помня прежнее Митино удальство, боялась даже глаза поднять на его нынешнее лицо, жалкое и растерянное.

Лишь на пороге, уж в новом картузе, он обернулся к ней махнуть перевязанной рукой.

— Вот и все, Зина, размыка нам пришла. Прости, какой уж есть. Спасибо за обновку, а вообще... наплюй на меня! —и вышел.

Наступила долгая бездельная пустота, как после покойника. И вдруг Балуева осознала, что утратила последнего своего перед Чикилевым, самого трудного и желанного. «Белье, бельецо-то...» — забормотала она, выбегая на лестничную площадку мимо Чикилева, который к этому времени уже находился в коридоре, как бы исследуя состояние потолков на предмет текущего ремонта. Он ни слова не сказал женщине, явно нарушавшей постановление про обязательную после полуночи тишину.

Векшина не было, снизу не доносилось и шороха шагов.

— Митя, захватил бы, я тебе постирала тут... — крикнула Зина Васильевна, свешиваясь в темный могильный пролет. — Хоть по письму в год присылай! Митя!

Запоздалая слеза не догнала беглеца. Лестница гудела эхом. Тане потребовалось сделать усилие, чтоб оторвать покинутую от гулкой соблазнительной бездны. Они вер-

нулись в комнату и должное время в молчании отсидели у стола.

— Видно, с такими, как я, и не прощаются... — сказала наконец женщина и негромко заплакала, чтоб не разбудить тем временем задремавшую Клавдю.

Когда же была оплакана первая тоска, Балуева скипятила еще кофейку. Обеим не нужно было отправляться с утра на работу. Обнявшись, они глядели, как в уцелевшем лоскутке никеля на кофейнике возникает слепительная точка отраженного солнца.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В той губернии и солнце пораньше прочих встает, а все судьба ее не слаще волчьей ягоды.

Лесистая да ровная, легла она в стороне от новых больших путей, а прежние омертвели и перезабыты. Некогда славная ярмарками, щепным товаром да соборами, нынче одно лишь сохранила утешенье, что великая река и с нее взымает свою вольную силу. Да и то — где весной сгонялся сплав по тугой полой воде, там в летнюю пору посиживают по мелям пароходики на радость мордатых буфетчиков.

Неизвестной жизни граждане обитают во глубине неоглядных лугов, заросших пижмой да колокольчиками,— их пеньковолосые ребята и продают земляничку на пристанях.

— Эй, парнище,— пошутит иной путешественник, подпухший от сна и выпивки,— чего больно земляничка твоя мелка да горька?.. не волчья ли ягода?

Тотчас переглянется ребячья стайка, усмехнется на словоохотливого и потупится в землю. Нешумно звенят тамошние колокольчики.

Скуповата здешняя землица, отхожими промыслами кормились искони,— Демятино тому первый пример. Видно, за непочтение к родителям посажено на такую болотину село, а не было его богаче во всей округе: по всей стране рассылало оно свое смышленое, неунывающее племя. Хвастают старики, будто и садов в ту пору цвело поболе, храмы величавей перекликались на закатах, свадьбы справлялись веселей, да полиняли нарядные оконницы, украшенные твореньями старинных

резчиков, проносились полы — яйцу посреди не улежать, не найдешь в округе непокосившегося крыльца. Замшелые, с высокими поветями, избы усмехаются кривыми ртами, надменно смотрит заплаканная краса на пришлых людей, что пробуют накинуть на Кудему электрическую уздечку... Оползает отжившая плоть, а новая не наросла пока или непривычна; страшна обнаженная живая кость.

Все это своими глазами видел Митя Векшин, пока добирался со станции к Демятину — где прямо по путям, а где вдоль насыпи, некошеным откосом с опрятной тропкой. Окрестная луговина вокруг, населенная разнообразной жизнью, издавала ровный гул, и все же стояла великая, полдневная тишина, потому что все там было связано воедино — стремглавые в синей бездне облака, ветровые волны по травяному подсыхающему шелку, самозабвенно стрекотавший кузнечик и птица, что неслась вверху крылом вперед, падала и взвивалась вновь, начисто растворяясь в буйном ликовании жизни... Один Векшин чувствовал себя чужим здесь, избегал встречных с их нежелательными расспросами и, как ни тянуло его, не посмел подняться на знаменитый, над Кудемой, мост, где стоял теперь часовой. Временами Митя не мог припомнить места, и место тоже не признавало Митю.

С этим чувством спустился он к темной, под ольхою, неприветливой воде и, присев, опустил в нее раненую руку. Все чудесно остановилось —боль, мысли, самый неспокой. Забытье охватило его сразу, едва раскинул тело по склону, и сытная земная прохлада потекла по нему. Будто сквозь дрему позвали по имени, и он не откликнулся, хотя еще видел качавшуюся сквозь ресницы, убегавшую в небо травинку.

Пробуждение его было внезапно и тревожно. Горело обожженное лицо, непонятное отчаянье томило. Шла буря,— прибрежные кусты почти ложились наземь под вихрем, белые гребешки бежали по реке. В бурю Кудема менялась,— рябая и враждебная, она злилась и брызгалась на Митю, точно это он собирался впрягать ее в серебряные вожжи... Синяя, посверкивая и громыхая, туча выметывалась на демятинский луг, когда путник добрался до отцовского дома.

Кроме свежего пня на задворках да пристроенного крылечка, почти не было здесь новшеств: человечьим голосом распевала на ветру калитка. Митя застегнул ворот рубашки, пообдернулся и с обнаженной головой вступил на порог. Сердце его сжалось — никто не окликнул вошедшего, и не сидел на

лавке старый Егор, как того страстно хотелось. В спертой избяной духоте стояло ровное мушиное гуденье.

— Есть кто дома-то? — оповестил о своем приходе Митя.

Тотчас на печи заперхало и зашевелилось. Сперва свесились босые жилистые ноги, потом такие же узловатые руки обшарили воздух, и под конец показалась белая борода в темном иконописном лице,— не Егор, даже не тень Егорова.

— Я сам завсегда дома, в самый раз,— сказал незнакомый старик, вглядываясь в Векшина со своих печных высот. — Ты не паромщик ли?

— Нет, я не паромщик,— еще не веря, сказал Митя. — Я так, прохожий...

— То-то я и вижу, что не паромщик. Того еще как в ерманскую призвали, так и не воротился. Верно, убили... а может, при должности где! А я лежу, слышу ровно голос паромщика... — И еще раз строго посмотрел на Векшина.

— Нет, я не паромщик,— с тоской и горем повторил тот. — Не знаешь ли, отец, куда Векшины отсюда перебрались?

— Не слыхал таких,— зашамкал, затарахтел старик, подумав. — Вот Серегу-ямщика знаю, которого сынок на Кудеме-т мастерит. Ладит, вишь, огромадное колесо на речку поставить, зерно молоть и чтоб заодно свет от нее исходил, от воды. А откуда ему взяться, вода-т не керосин, чай... Шагать в Сибирь голубчику, как казенные деньги изведет. Оно так, ихнему роду Сибирь привышняя, в Сибири у них кладбища искони. У меня самого оба племянника там, на поселении, да дочка с зятем... зажитошно живут. Вот и охота мне перед успленьем внучатков потормошить, а вишь, не дадено. Лежу, и мухи меня едят... — И верно, мухи вокруг него так и вились; время от времени он наугад ловил стайку и привычно тискал в горстке, но те без поврежденья вылетали из ослабевшего кулака. — Обещался снохе путевой мастер билетец исхлопотать, к внучаткам, а то пешком из-за ног хлопотно уж больно. Ох, много ими хожено, много камени попрано. Я камнетесом в Перму состоял... пристань Ялабурх на Каме, не слыхивал? Поди, горы две, а то и с половиною, за пятьдесят-те годов расколол... карточку сымали с меня и рупь денег дали. Все там самород-камень, и наверху камня черква сложена на манер водокачки. Черти, сказывают, участие принимали, по заклятию...

Старому да одинокому, ему лестно было потолковать со смирным человеком, что стоял теперь перед ним едва ли не

навытяжку, мучительно вникая в рядовую человеческую повесть. От постоянных потемок, что ли, глаза у старика были не по-крестьянски большие, в их тускнеющей поверхности с удивительной четкостью отражалось все то, что за ненадобностью уже не проникало глубже, в ум и сердце,— оба окошка с цветущими бальзаминами в черепках, и буря за ними, чесавшая ливнем посеревшие космы берез.

Вернувшаяся вскоре стрелочница, сменившая Егора в его сторожке, удачно вспомнила о новоселах Векшиных в Демятине. Мите хотелось есть, голод немножко ослабил его отчаянье. Заслышав голос снохи, старик поспешно втянулся назад, в свою запечную нору, и затих.

Митя вышел наружу. Гроза уходила, только в роговской стороне, на проясневшем охолодавшем небосклоне еще свисали лохмотья дождя. Зато крупные капли дружно накрывали сверху, с деревьев, при самом легчайшем дуновении ветерка. Дорога в Демятино шла лесом. Вечер приступал ясный и свежий. Митя продрог и вымок, прежде чем добрался до места.

II

Солнце садилось за спиной, и в сизой дымке обильно подымавшихся рос багровым видением проступила знакомая колокольня, когда Векшин выбрался на демятинскую пойму. Он ускорил шаг; тень опережала его, рвалась под родную кровлю. И, видно, под влиянием жизни такая образовалась у него за годы скитаний беззвучная походка, что ни одна собака не облаяла гостя, только теленок встретил равнодушным мычаньем в прогоне меж высоких плетней. Волглая благостная тишина стояла над селом... как вдруг перед самым носом Векшина проскочили две молодайки навеселе да лихой старик с прицепной льняною бородою, судя по хохотку — их же ряженая подруга. Все трое помахивали платочками и голосили непристойную песню. Тут же, галдя и сшибаясь, мальчишки перебегали улицу, спеша на выселки, откуда донеслась и погасла осатанелая гармонная трель.

Векшин придержал за плечо меньшого, поотставшего из-за огромных, не по возрасту, сапогов.

— С ума, что ль, повскакали у вас православные-то? — удачно вспомнившимся местным говорком спросил он.

— Не мешай веселиться, сестру замуж выдаем...— отбился тот с воодушевлением и помчался догонять, прихватывая за ушки свою пахнущую дегтем гордость и обузу.

Целью их был третий от края выселок дом со старинной поветью, крытый древней и темною соломой. Глухой топ, шум и песня сочились сквозь настежь открытые, облепленные ребятишками и щедро освещенные окна. Необъяснимое чутье заставило Векшина подняться на крыльцо, разукрашенное пестрыми лентами... и с этой минуты все покатилось к тому, чтобы полнее нацедился положенный блудному сыну стакан горечи.

С моста и до сенника все было сплошь забито народом, но Векшина пропускали сразу, чутьем угадывая в нем запоздавшего и важного, несмотря на мокрую, невзрачную одежду, гостя. Его протиснули в передний ряд зрителей, так что даже пришлось потесниться назад, за чью-то спину, чтобы не привлекать липучего мирского внимания. Образцовая гульба русской свадьбы была в самом разгаре. За столом с надменным видом помещались дружки, сваты, надутая невестина родня, кроме того суровый здешний, при полном вооружении милиционер, прочие же, соседи и просто зеваки, безобидно примостились на корточках, на полу, чтобы без помехи наблюдать за ногами неказистого мужичонка, выполнявшего довольно сложный танец посреди содрогавшейся горенки. Плясун то вскидывался вверх, поровя прищелкнуть ладонями по голенищам, то похрамывающим шажком плыл в предоставленном ему кругу, то, наконец, совершал махательные движения руками, как бы собираясь улетать от земных печалей. И не то было примечательно, что все это вписывалось в задыхающуюся от быстроты музыку, даже не новые калоши на сапогах, не только не обременявшие танцора, а напротив — вдохновлявшие на еще более замысловатую деятельность, а то, что делал он все это с остановившимся, куда-то в сторону устремленным лицом, как если бы сам себя наблюдал при исполнении осточертевшей свадебной обязанности. С точно таким же видом трудились и гармонисты, двое, сидевшие под потолком на печке; особо приставленный мальчик время от времени подкреплял их самогоном чистейшей выгонки.

У Векшина было достаточно времени рассмотреть жениха. Невысокий и болезненного сложения, тот восседал рядом с красавицей, какими издавна славилось Демятино. Он один не глядел на пляску, раздумье придавало странную старообразность

его не по-деревенски тонкому лицу и озабоченность — рассеянному взору из глубоко запавших глазниц, как у людей неотвязной, сжигающей или не совсем чистой мысли. Заметив пристальное векшинское вниманье, он принялся приглаживать начес на лбу, пока не вспомнил чего-то. Вдруг, сделав знак молчания музыке, он стал выбираться из-за стола,— во избежание какого-либо повежденья ему пришлось стороной обойти плясуна.

— Пожалуйте к нам в задушевную компанию, Митрий Егорыч... очень вами тронуты! — тоном писарского расположения сказал он, и Векшин сразу узнал в нем Леонтия, но не по облику, так как не мог бы вспомнить за давностью лет, а исключительно по характеру обращения, такому близкому к тону и почерку письма.— Мы своим благодетелям завсегда ради!

Леонтий приглашал, разведя руки в знак заблаговременного извиненья и за неподходящий изысканному уху дикий строй деревенской песни, и за христианский обряд, возможно неугодный комиссарскому сердцу, и за все в совокупности провинциальное торжество, с его убогим, на городской вкус, харчем. Точно любуясь на внезапно объявившегося родственника, приклонив голову набочок, он всматривался в него, примечая всякий изъян в обугленном векшинском лице, в его неказистой одежде.

Мнимая Леонтьева ласка пугала, сбивала с толку, но уже говорки догадок бежали по сторонам, потому что и сюда, в демятинскую глушь, доходили отрывочные вести о шумной векшинской карьере,— вполне достаточной для удивления в волостном масштабе. Деваться Векшину стало некуда, с опущенной головой он позволил Леонтию взять себя за рукав и подвести к самому столу. Посаженый отец новобрачного, судя по взору и носу успевший достичь вершин блаженства, с ворчаньем потеснился для гостя на почетном тулупе.

— Ты уж меня слишком, Леонтий... неловко мне,— бормотал Векшин, идя как в западню и пуще всего стесняясь все подмечающих, отовсюду устремленных на него детских глаз.

— Ничего, привыкайте к почету, очень вами тронуты. Никак, вы пешком со станции, Митрий Егорыч, а мы-то вас в простоте на троечке поджидали... сообразно енотам! — кротко посмеялся тот и стал наливать с верхом стакан чего-то желтого, густого, пахучего.— Третьевось цельный день к околице на переменку бегали, не слыхать ли ваших колокольцев? Ан и

самой пыли не видать... Очень вы мне в моем счастии подмогли, но я бы на вашем месте из присланной сороковки оставил бы на подводу себе хоть пятерку для сбережения обуви... а то и гостинцы на себе тащить, да и простудиться очень свободно по дожжу. Пейте, братец, поздравьте нас со счастием. Сам и гнал, на чистом сахаре... прошу, опробуйте мой вкус!

— Не много ли будет, Леонтий? — беря стакан и косясь по сторонам, усомнился Векшин.

— Ничего, в самый раз с устатку, очень вами тронуты. Эй, там, голосастые, братца Митрия повеличайте! — полужестом распорядился он в левый угол, откуда пялилась на пир орава незамужних девок.— Откушайте, гость дорогой, чтоб люди не глазели...

Следуя известному ему лишь по сказкам дедовскому обычаю, Векшин покорно опустошил стакан, и тотчас на разум накатила веселая беспечность забвенья, а высокие девичьи голоса запели тягучее, досадное, насильственно-приятное.

— Как же ты этак женишься... в самую страду? — тыча вилкой неизвестно во что, спросил Векшин.

— Да какая же нонче страда, уж все по гумнам сложено. Ай вы эти годы за границей находилися, отбилися от русской жизни, братец? Оно точно, пост был, так ведь после Успенья венчанье дозволено. Невтерпеж стало... взгляните только на нее, какая очарующая милочка! — проникновенно, точно сладостную тайну, сообщил Леонтий, однако даже не взглянув на невесту, сидевшую со смутной тоской во взоре, и заодно поделился косвенными соображениями хозяйственного характера; вовсе неизвестно было, когда он успел налить второй стакан.— А страсть как любят у нас, Митрий Егорыч, даровое угощенье... ишь стараются, ровно год не кормленные!

— Неправильно рассуждаешь,— невпопад возразил Векшин и тревожно подивился непроворству своего языка во рту.— Россия всегда с горя плясала, вон что!

— Сущая истина! — со вздохом поддержал Леонтий, полновластно вставляя новый стакан в его натуго сомкнутые пальцы.— К примеру, это не простой перед нами плясун... у него надысь от грозы изба со скотиной вместе сгорела, окроме калош ничего из огня не выхватил. Мужицкая, девяносто шестой пробы, горюха... ему нонче не пить да не плясать — значит в петлю лезть. Вы меня, может, по марксизму, сейчас и осудите, и мне, при моей вековой отсталости, перечить вам не к лицу, а только полагаю — если ране у нас от горюхи пили,

теперь, помяните мое слово, от чего-нибудь другого пить почнут. А вот от чего такого почнут, про то я вам не скажу, братец, поколе вы долгу своего не допьете, нас всех не догоните...

Холодная трезвость звучала в тоне его речи.

— Знаешь, Леонтий, ты меня больше не угощай, что-то развезло меня...— очень серьезно отстранился Векшин, причем с возраставшей тревогой искал везде Егора Векшина, ради которого прибыл сюда, а спросить было страшно, однако не потому, что любил отца, а потому — что вне этого логического покаянного звена не видел пока пути к своему исцеленью.

— Я это явственно понимаю, насколько наша пища грубая, а только разве можно нами брезгать в такой день? Уж вы соприкоснитеся с нами духом, не отвращайтеся. Кто чего нонче предскажет во мгле, не станем наперед загадывать. Мираж пройдет, земля останется... сказано в Писании, а если нет, то зря опущено. Ведь вот и дальняя мы с вами родня, опять же малознакомая, может, завтра и разъедемся навек, а нонче чего плотней свела нас судьба на тесной житейской тропочке... надоть дорожить! И ужасно вам желается сейчас вызнать мои мысли, а мне ваши. Вот я и угощаю вас, братец, чтобы вы заглянули в мое открытое сердце, какая там находится штука. И вы тоже от меня не таитеся! Ну-ка...

Он напирал так настойчиво, и с таким затаенным ожиданием чего-то глазели все вокруг, а дру́жка, получивший указание, такими рассыпался усердными прибаутками в честь вымышленных доблестей Дмитрия Векшина, что ничего тому не оставалось, как разом от всех приставаний отделаться, залпом опустошив очередной стакан.

— Ты далеко пойдешь, Леонтий... ой как далеко! — с угрозой и злостью на себя, больше всего на внезапное расслабление свой воли, проговорил Векшин, прихватывая пальцами из миски зеленый выскользающий груздь.

— С божьей помощью, Митрий Егорыч, и его светлых угодников...— неуступчиво вторил тот, дрожащими безресничными веками прикрывая неверные, странно мерцающие глаза, и поочередно придвигал все простецкие лакомства из стоявших на столе.— И до чего ж мы родня с вами, Митрий Егорыч, хоть и малознакомая, что вы, издаля угадав, в самый раз на торжество мое пожаловали. Да вы закусывайте, закусывайте... Ах, так мы вами за это самое тронуты, то и объяснить затрудняюсь... Извините, братец, там горько кричат, я вам сейчас

мысль свою продолжу! — Он обернулся поцеловать невесту, но прежде хозяйственно привернул фитиль закоптившей лампы.— Одним словом, я бы и сам вас на свадьбу позвал, да Федосей Кузьмич, дружок мой из Предотечи, не велел: им, сказал, общественные заседания на пустяки отвлекаться не позволяют. Нонче они такие, говорит, дела заворачивают,— что па весь свет, а то и пошире, раз с богом места не поделили. И приспичило мне после того спросить у вас, братец, какие все больше теперь ваши занятия, торговые там или, к примеру, загодя обдумываете что? Ночей не сплю, интересно очень.

— Как тебе сказать, Леонтий...— мялся Векшин и напрасно искал захмелевшим рассудком злое слово, обрубить эту наползающую, в самое сердце жалящую дерзость.— Бывают и торговые... а иногда подлецов тоже искоренять приходится!

Леонтий сочувственно почмокал губами.

— О, значит, большая вам, братец, работа предстоит, огромадное нонче развелось злодейство... смотрите, здоровье не расшаталось бы!

Пусть с запозданьем, но следует из справедливости признать, что в этом месте благодаря чикилевским разысканиям сочинителю представлялся соблазнительный случай приписать падение своего героя его сословному от помещика Манюкина происхождению. Стоило лишь удалить из текста попадающееся там слово м а ч е х а да подскоблить две-три даты, и клеймо исторической обреченности легко, закономерно, без всяких возражений со стороны перешло бы от отца на его ближайшего потомка, как если бы социальные пороки и добродетели передавались по наследству. Ничтожная по существу уступка эта, нисколько не нарушавшая сюжета, вместе с тем помогла бы автору избегнуть как довольно шатких объяснений векшинского паденья, так и жестоких нареканий критики. С тем большей страстностью автор наделил Леонтия чертами бессилия и злобы, роковыми признаками гибели.

Все обхожденье Леонтия в тот гадкий вечер, его ласкательные прикосновения, самая манера скользкой дразнящей речи, не говоря уж об издевательском содержании ее, весь этот з м е и н ы й ж и м, по выраженью Фирсова, якобы и толкнули пришельца на довольно неуместную в семейном торжестве выходку, примечательную и в том отношении, какими плакатными средствами приходилось автору выпутывать из беды вконец поскользнувшегося героя. В действительности никакого столкновенья между Леонтием и Векшиным не

произошло, а просто принятое почти натощак, по случаю прибытия на родину, Леонтьево зелье оказало на гостя слишком быстрое действие.

Как раз высокий, пожилой уже мужик в зеленой, от гражданки, гимнастерке вышел на средину избы, и зрители почтительно поприжались к стенкам, освобождая место.

— С чего вроде потеснело помещение-то у вас, Векшины?.. ай сам я вырос? — шутливо обронил он, доставая до потолка рукой и пробуя ногою прочность половиц.

Тотчас все засмеялись, подбодряя знаменитого на всю волость плясуна, а гармонисты на пробу пробежали по ладам, учитывая ответственность предстоящего испытания.

— С кем на пару пройдемся? — сановито продолжал удалец и ждал, подбоченясь, как в престольный праздник на рукопашном единоборстве.

В ответ и последовала глупейшая выходка со стороны Векшина, которому — чем сильнее хмелел, тем больше не терпелось доказать, что он еще не забыл, не отбился от обычаев родины. Ничего не видел он сейчас, кроме насмешливых глаз того сурового мальчонки с улицы, чье расположение любой ценой потребно ему стало завоевать... Всем показалось, какое-то дикое непростительное озорство вымахнуло Векшина из-за стола.

— Давай, давай...— закричал Векшин, покачнувшись, причем неудачно схватил подвернувшуюся сватью за рябое толстое лицо; та с визгом оттолкнула обидчика на стол, где жалостно зазвенела посуда,— с того и началось.— Гуляй, свадьба... сторонись! — кинул он Леонтию, старавшемуся побольней ухватить его за пальцы... и вот уже стоял один на один со своим статным противником, ловя то плечом, то локтем судорожные приступы гармони... К тому времени действовала лишь одна, другая отдыхала возле, раскинувшись пестрыми мехами, и от владельца ее, на соломке поодаль, торчали лишь сапоги носками вверх.

Никогда в жизни не плясал Векшин, не пробовал, но тут особый случай подступил: рушились мечта и детство, и он по-русски топтал обломки, чтоб уж не оставалось ничего. Нелепо вскидывая руки, вопреки музыке и потешая зрителей, он производил суматошные движенья человека, уносимого потоком.

— Придержите его, дяденьки... этак он нам избу завалит,— с осуждением произнес мальчик в богатырских сапогах, ради которого через десяток логических звеньев и совершался танец.

Свесив ноги с полатей, он сурово и презрительно поглядывал на происходившее, и нос его был облачен в шуточные, из проволоки гнутые очки. Отрезвляющая детская насмешка остановила Векшина, как кубарь в разбеге, затем изба стала клониться на сторону, и он сам повалился вместе с нею.

Векшин очнулся на пустых мешках, в затхлом амбарном мраке, с глухим отчаяньем и каким-то будто подмененным телом. Откуда-то поодаль, сквозь тонкую стенку сочился расплывчатый говорок пополам со стуком перемываемой посуды, а сзади лилась на затылок духовитая луговая свежесть, сверчок пилил, и, если, несмотря на ломоту в шее, откинуть голову назад, в квадратной бревенчатой отдушинке сияла тяжелая полночная звезда. Едва шевельнулся, немедленно заломило в висках и захотелось пить. Постепенно прояснялись стыдные подробности гульбы: сорванная при падении оконная занавеска, злые глаза ближней старушонки, в которой до сих пор не признал мачехи, и, уже по догадке,— терпеливое, бесстрастное вниманье, с каким простой народ созерцает возвышение и ничтожество знаменитых земляков. Первая мысль была о бегстве. Векшин на ощупь поискал дверь и нашарил еще не остылый самовар. Следующим неосторожным движеньем он задел что-то железное, верно безмен со стенки, и тотчас на дребезг паденья явился Леонтий, словно и не ложился.

Он был уже без пояса, в расстегнутой у ворота рубахе, босой. Пламя свечи, вровень с лицом, позволяло рассмотреть его непроницаемые, пристально наблюдающие глаза.

— Приятно ли отдохнулося, Митрий Егорыч? — спросил он без гнева, или сочувствия, или удовольствия от созерцания крайнего векшинского упадка. — У нас тут хорошо, в самый раз.

— Принеси водицы, брат,— с обессилевшим сознаньем сказал Векшин.— Чего я там натворил, шут гороховый?.. да еще на глазах у всех!

— А ничего, в общем, зазорного! На свадьбе и не то случается, а наш народ привышный, он всего навидался. Мы сперва-то вас на воздух было вынесли, травкой непорядок с пиджака стереть, да потом испугалися. Ночь ясная, росная, долго ли остудиться... Ну, мы вас сюда, в каморочку, тем же манерцем: главное, вольготно здесь, и комар над ухом не позудит... Теперь опирайтеся на мое плечо, Митрий Егорыч, я вас на сеновалец провожу!

Далеко отставив свечу, чтобы гость толчком не наделал пожара, Леонтий помог Векшину выбраться на заднее крыльцо. Здесь, на нижней приступочке, была сделана необходимая передышка. Утраченные было силы гораздо быстрей возвращались на знобящем холодке. Белесый туман подмывал старые плакучие ветлы в низинке, и, кабы не похмельная боль в висках, ночь была бы до колдовства прекрасна. Загадочные, подсвеченные восходившей луной толпы кочевых облаков ночевали в демятинском небе. Дергач в ближнем поле принялся усердно перепиливать тишину. Изредка на свисавшей у крыльца березовой ветке шевелился спросонья листок, бормоча о дневных поветерьях. Даже собаки молчали.

— Ты бы уж шел к супруге-то...— точно о снисхождении прося, сказал Векшин, потому что ужасно тяготился наступившим молчанием.

— Ничего, подождет... пока раздевается, пока что,— совсем невозмутимо отвечал Леонтий.— Вот я вас на сон грядущий теперь определю, а там можно и все прочее... очень вами тронуты! Вы завтра подольше спите! С рассвету ребятишки за пряничками к молодым придут, как на деревенской свадьбе положено... им всегда не терпится! А там и взрослые ровно дети почнут под окнами корчаги бить, новобрачных с постели подымать. Ничего не поделаешь, чин крестьянской жизни... а отобрать его — один тогда сущий мужицкий страх останется — перед погодой, да перед ползучим червем, да перед похмельным начальником. А покуда какой-либо страх в человеке держится, я так гляжу, он не человек пока, а сущая скотина!.. но, промежду прочим, вы меня поправьте, братец, ежели я где не так, не по науке, выражусь! Как, уже прояснилось оно у вас, вы умком-то своим все разумеете, что я вам толкую? А то, ежели голова кружится или мутит, то можно и до утра с разговором повременить. Я к тому, что все сердце у меня на части разрывалося при виде того, как вы папашу на пиру глазами искали. А он уж помер, и сравнительно давно... да мне огорчать вас в письме шибко не хотелось. Опять же и деньги ваши как есть перед самой свадьбой прибыли, назад отсылать характеру не хватило... да тут у меня как назло безвыходно-материстическое затруднение сложилось. Федосей Кузьмич и посоветуй мне сокрыть от вас указанное обстоятельство папашиной смерти, обернув полученную сумму на содержание его могилки и прочий там христианский обиход. Промежду прочим, упреждаю, крестик я ему пока поставил чисто временный, год послужит,

а там можно и сменить... Ведь я понимаю, братец, что сорок рублей деньги немалые, тем более что нонче загробную жизнь согласно научному веянью начисто отменили, так что отцовские могилы являются не что иное, как отживший пережиток. Да ведь оно и верно, в сердце-то память о родителях хранить не в пример удобней, поскольку она завсегда при себе... да и дешевше! Но когда жалко вам потраченных средств, то вы, в таком разе, Митрий Егорыч, не стесняйтеся, прямо отрежьте, а я вам, несмотря, что без расписки, ту сороковку по почте вышлю... вот как коноплю продам!

— Не надо мне твоих денег,— заплетающимся языком сказал Векшин вместо чего-то другого, бесконечно гневного и более к месту.

— Это тоже верно, свои люди сочтутся!.. как, больше вас, братец, не тошнит? Тогда давайте я вам подмогну, с богом к постельке двинемся. А утречком, чуть по хозяйству управлюся, то мы с вами и смотаемся папашу навестить...

Идти до сенного сарая было недалеко. Пряным зноем сухой травы дышали настежь раскрытые ворота. По приставной лесенке Леонтий сам слазил наверх притоптать местечко для спанья, потом втянул туда же за руку не вполне еще, оказалось, окрепшего гостя.

— Как хлеба-то ноне удались? — единственно от жгучего стыда спросил Векшин, с досадой поймав себя на льстивом подражании деревенскому говору.

— Ладно... Приятных снов вам, братец! — ограничился вместо ответа Леонтий, растворяясь в сенном шорохе.

Значит, и это заключительное унижение также входило в состав лекарства, потребного для скорейшего векшинского выздоровленья.

III

Рассветно алел небосклон, когда Векшин воровски спустился с сеновала и убежал, просто сгинул от дальнейшего позорища. Несколько бездомных дней, проведенных наедине с природой, вернее — самая усталость от беспорядочных скитаний по уезду внесла немножко ясности в его душевную сумятицу. Легче всего боль переносится в движении, и вот быстрым шагом он проходил сквозь деревни, о существовании которых раньше не подозревал, мимо молчаливых людей и темных изб со

взъерошенными соломенными кровлями, вглядывался в затихших детишек, зарастающие травой дороги, видел обозленную стихию и нищету. Земля, с одинаковым материнским усердием растящая чертополошину, яблоню и дубок, лежала вокруг него — непаханная, несеянная после недавней разрухи милая земля.

В сиянии августовского полдня все это выглядело порою черным до сходства с глыбой руды в пламени великой плавки — по всем расчетам из нее-то и должен был выйти новый, более совершенный человек... и тут возникали у Векшина сомнения, естественные, впрочем, перед погружением в огненную купель неизвестной длительности и с не установленным пока температурным режимом. «Вдруг обманет и вылезет кто-нибудь другой? — задавался вопросом Векшин, но тут же махал рукой и усмехался: — Ничего, пускай пока горит да плавится!»

Не всякая хозяйка решалась пустить на ночлег путника, без котомки даже и с таким мерклым светом в лице, неохотно делилась черствым куском и щами после пастуха: не по притче принимала м а т ь. Кстати, необыкновенной жарой завершался и август, так что нередко, отоспавшись днем в попутном стожке, Векшин шел ночью под просторным предосенним небом, где изредка волшебным махом прочеркнется метеор да неотступно, как отродясь полагалось на русской земле, виснет зарево безвестного пожарища. Прежние полудетские недоуменья о сущности человека на земле сменялись такими же неумелыми пока раздумьями об его земном предназначении. В тогдашних мыслях своих Векшин был совсем одинок, но любая облегчительная подсказка загнала бы его теперь вовсе в противоположный тупик. Ему нужно было с а м о м у, своим умом унять себя и ввести в покинутое русло жизни. Так, медленно и на собственном примере вызревал в нем образ э л е к т р и ч е с к и х в о ж ж е й, способных не только обуздать, но и насытить высшим историческим смыслом разбродную, бессмысленно протекавшую раньше по низинам истории людскую гущу. Отсюда зародилась у Фирсова неоднократно примененная им впоследствии и как раз у Векшина подслушанная мысль о коммунизме как о могущественной и умной т у р б и н е, вращаемой объединенным, бессмертным всечеловеческим усилием.

И вдруг, когда почти разъяснились чикилевские бредни, кто кому родня, Фирсов из неразгаданных сюжетных соображений навязал своему герою круг мыслей, снова породнивших его с тем же почти уже отыгранным персонажем. Он застав-

лял Векшина прийти к заключенью, что само континентальное время в России текло медленней, чем на Западе,— в силу неохватных расстояний, непомерных географических пространств на душу населения, жесточайших зим, которые по полугоду держат землю на замке. Так, на протяжении веков, усиливаемое гнетом политического строя, складывалось отставанье от мирового прогресса, постепенно превращавшее Россию в обоз надменной процветающей Европы. Главная беда заключалась даже не в горечи неминуемых и чисто временных поражений, не в материальной скудости, никогда не терявшей у нас благолепия и достоинства, а в том, что понемногу страна свыкалась с ролью дурнушки в хороводе, создавая наравне с несчастной Аленушкой образ недалекого Ивана из любимой сказки, злоключенья которого если и кончались удачами, то не всегда по причине высокого национального гения. Хуже всего, что характер таким образом исторически приспособлялся к судьбе, так что почти во всей творческой деятельности неустрашимого, озорного, безунывного, в сущности, народа — от философии до уличной песни! — стали возникать поразившие весь мир образцы поэтического любованья смирением и кротостью, на пределе убожества порой. И плохо было бы дело России, кабы каждые два века не оказывался на облучке решительный ямщик, пускавшийся догонять, выхлестывая все из знаменитой русской тройки. Чрезвычайно примечательна эта векшинская перекличка с манюкинскими мыслями... впрочем, нельзя не согласиться и с сомненьями критиков в правдоподобии таких размышлений хотя бы и у московского, хотя бы и временного вора.

Когда тоска поулеглась, Векшин из другого угла, через весь уезд воротился в Демятино.

...Последнюю ночь он провел на высокой овсяной скирде и, продрогший от росы, слушал крики сов в ближнем лесу, следил за угасаньем звезд в зените. Несмотря на многие фронтовые ночи под открытым небом, никогда не бывал он до такой степени наедине с родной природой, и всю ночь не покидало его ощущенье, будто она в тысячу очей присматривается к нему отовсюду на предмет его пригодности в дальнейшем... На рассвете, когда задремалось, приходил медведь полакомиться спелым овсецом, и, возможно, это было также неспроста. По его уходе Векшин спустился погреться у костерка, и дым ему был сытнее хлеба. Потом лесовая дорога, поводив среди болотец и огнищ, выкинула бродягу прямо к демятинским задворкам.

Все находились в поле, кроме Леонтия, который, по своей сельской должности, составлял ответственную казенную бумагу. Он был без сапог и лишь кое в чем, чтобы не стеснять писарского вдохновенья. Наклоном головы оповестив Векшина, что заметил его, не дивится его недельному отсутствию и просит обождать, он продолжал с наморщенным лбом сочинять словесные петли и закругления, способные повергнуть в прочный сон самое неусыпное начальство. Чтобы не мешать, Векшин вышел на крыльцо. Пели петухи, и мычал бычок у колодца, потом протараторила по бревенчатому настилу телега, отправляясь за снопами. Была утренняя рань, но жгучий зной уже лился отовсюду, и гарью пахло, точно сызнова все начинало гореть вокруг. За спиной простучали Леонтьевы сапоги — несмотря на погоду, теперь он был уже в полной суконной справе. «Не иначе как для снискания почета у населения»,— решил Векшин.

— Эх, делишек навалилось с утра... да уж все равно, братец, давайте сходим к папане в гости, раз обещано,— сказал Леонтий без особой приветливости, зато и без стеснительного одолженья, во всяком случае без тени прежнего глумленья.

Как ни старался Фирсов чернить его, для сравненья и — в пользу своего Векшина, Леонтий выглядел теперь еще степеннее, чем на свадьбе, до приторной порою благолепности, сквозь которую, хоть и тщательно скрываемое, проглядывало застарелое мужиковское раздраженье на умножившиеся обиды.

Векшин поднялся и посторонился, готовый в дорогу.

— Далеко нам, Леонтий?

— Часа за полтора взад-вперед управимся.

Тропинка извивалась по вторично только что окошенному берегу ручья, так что идти вдоль самой воды, среди запахов свежего сена было совсем не утомительно. Пока не кончились плетни, оба молчали, потом для начала Векшин повторно извинился за свое нескладное поведение на Леонтьевой свадьбе.

— Напротив, Митрий Егорыч, очень вами тронуты... да я и сам тогда лишку хватил! — обычным присловьем отозвался Леонтий и сперва засвистал было, чтоб отделаться от привязавшейся заботки, а потом принялся хвалить Векшина за намеренье прогуляться по родине, потому что это занятие, на вольном воздухе, не токмо здоровье укрепляет, но и проясняет иные неумеренные умы. — Почаще бы всем в а м в нашу сторонку поглядывать, братец. Вот вы в прошлый раз спросили, как хлебушко сей год удалось. Я вам так отвечу: которое не

вымокло, то вроде и веселое. Девятнадцать мер мы сеяли... а ведь вот вы и не знаете, много ли, мало ли девятнадцать-то мер!

— Намекаешь, что неважно живешь? — увернулся от вопроса Векшин, вспомнив размах недавней свадьбы.

— Того не скажу, братец... но откуда и хорошему-то быть? Как в песне сказано, земля тощает, народ ропщет. Нонче повестку прислали из уезда, за плохие дороги костерят. А при чем тут мужик? Наша телега и по трясине пройдет, а у тебя ум свой, свои и руки! Опять же председатель вторую неделю запоем болеет, а мне хоть разорвись: и туда, и сюда, и молодуху потешить, и должность!

— Ах да, ведь ты еще в исполкоме секретарь! —вспомнил Векшин застольные прибаутки свадебного дружки. — В России должность иметь очень хорошо, Леонтий, в России все должностя́ доходные!

— Э, кроме моей,— отмахнулся Леонтий. — Пуд картошки за год набежит. За чужим не гонюся, абы свое было цело!

— Будто совсем уж безвыходно? — дразня, допытывался Векшин.

— Чем же безвыходно, я того не сказал,— жался и пятился Леонтий. — Не похвастаюсь чем, а каждый день сыти.

— Тогда очень хорошо,— открыто рассмеялся Векшин. — Город нынче вовсе с передышками жует. Денек покушает, два отдыхает... да ты не жмись, Леонтий, взаймы у тебя просить не собираюсь, а хозяйство твое отличное. Молодой, оборотистый... далеко пойдешь!

Оба рассмеялись, и смех не то что сблизил их, а столкнул на искренность и откровенность.

— Чего вы ко мне пристали, Митрий Егорыч, в самом деле? Я и не жалуюсь. Нонче все вроде тифозные, такой уж воздух жизни дурманный стал. Федосей Кузьмич из Предотечи так объяснял, что землю солдатской кровью перепоили, лишнее усердие проявили полководцы в ерманскую войну. И до той поры, сказал, неспокой на свете будет, пока все закопанное, кость и тело, в невинную травку не изойдет. Годика на четыре хватит, а там, бог даст, еще чего надумают!

Угрюмой древней мудростью дохнуло на Векшина от этих слов. Поотстав, он кинул косой взгляд на Леонтия. Тот шел, сшибая сломанным по дороге прутом распушившиеся головки придорожных чертополохов и посвистывая, увлекаемый какой-то зудящей неутоляемой страстью.

— В третий раз ты мне про него поминаешь. Кто он таков, твой Федосей Кузьмич, не священник ли?

— Зачем же непременно священник, просто гражданин, только второстепенного значения. Это нонче он вкруг магазеи с дробовиком ходит, караулит... три корыта, колесной мази бочку да хомут-недомерок, а в прежние годы ценный человек промеж мужиков был, выдающий грамотей! Я с его чердака многие книжки перечел, все — без начала и конца. Это он близ японской войны велосипед деревянный построил, во всех газетах описанье было... да вы зайдите познакомиться, он вам лично покажет. С пустячка дело началось, с заграничной картинки: далась ему эта штука, спит — видит, даже сохнуть с азарту стал. Иной в церкву идет, другой в огороде овощ растит, а этот мастерит себе дубовый велосипед. Годов шесть, семь ли руки прикладал и ведь поехал под конец... на целых полверсты хватило. Не обратили внимания, мосточек близ леска, мостовины паводком посдвинуты? До самого до того места доехал. После чего сгорела его машина, развеселым таким огоньком! И как отболело это у него, то стал он обыкновенный мужик... Вот, собираемся благодарность ему от сельсовета выносить за исправное стороженье!

Чувствуя недоверие спутника, он прибавил, видимо, слышанные от виновника торжества, подробности, которых не мог бы выдумать сам, в частности о попойке съехавшихся газетчиков и тосте земского начальника в честь отечественных изобретателей.

— Сумасшедший, что ли? — завороженный острым правдоподобием рассказанной несуразицы, усомнился Векшин. — Сколько лет жизни на такую дурость отдать!

— Он не из осины строил, братец, а из самолучшего дуба!

— Все равно выдумываешь ты, Леонтий. Кто из дерева машину строит!

— Так ведь иного-то под рукою не имел,— объяснил тот, и опять в голосе скользнула нотка раздражения. — Человек из того сочиняет, что пред его глазами лежит...

Оторвавшись от речки, тропинка стала взбираться на каменистый косогор, заросший местами кошачьей лапкой, колокольчиком и рослой, порыжелой пижмой по самой вершине. Неслышное, но с ума сводящее стрекотанье августовских кузнечиков висело в остекленевшем полуденном воздухе. Как ни приглядывался, пользуясь паузой, Векшин к спутнику своему, не мог разгадать главного в Леонтии, что вначале смешило,

потом пугало, а теперь растравливало сердце. И как бы заодно, пока не взбунтовался собеседник, Леонтий осторожно попросил его разрешить одно мучительное застарелое сомненье.

— Если смогу, то пожалуйста! — согласился Векшин.

— Вот вы теперь, братец, судя по всему, наверно, видные посты занимали... и я так думаю, ко всему в нашей окружающей жизни ключик подобрали, в том смысле, что все на свете произошли, даже с богом справились, и ничего от вас больше нет сокрытого. Вы не подумайте, что я должностной секрет собираюсь выпытать или что другое в том же духе... совсем напротив!

— Да ты прямо спрашивай, Леонтий, не стесняйся,— охотно шел навстречу Векшин, тронутый его немужицкой деликатностью да еще взволнованный прогулкой по луговому затишью на могилу отца.

— Для начала откройтесь мне, братец... вы в жизни устриц не едали? — очень тихо и вдумчиво спросил Леонтий, продолжая двигаться в гору с тем же устремленным в одну точку взором.

Векшин даже поотстал, ожидая неминуемого за таким вступленьем нападения.

— Нет, не удосужился пока... а что?

— Мне тем более как-то не случалося. Пища привозная, в нашем уезде не водится, а уж больно интересно, братец. Я из старой книжки вычитал, как их один мотатель отцовских капиталов потреблял... и, промежду прочим, оказывается, их с лимоном надоть! И такая на меня зависть напала, тоска такая, что и помрешь, не отведамши... не слабже, чем по велосипеду у Федосея Кузьмича моего! Главное, обидно, что сознание-то вроде и пробуждено в достаточной мере на устрицу, а утолить нечем. Мне бы даже не столь завлекательно проглотить ее самое, сколь послушать, как она взвизгивает. Знакомый буфетчик из охотницкого клуба Федосею Кузьмичу моему сказывал, будто настоящая устрица в этом случае как бы тихий стон издает... да тут из одного любопытства, братец, стоило перекувырк устраивать! Не скажу про всех, а немало таких найдется, которые из-за устрицы на в с е пойдут! Вот и хотелось мне узнать, чего ради лично вы такое значительное бремя на себя приняли, чтобы не покладая рук и себе и окружающим подобные огорчения и расстройство доставлять?

Свой вопрос Леонтий задал в тоне отвлеченного раздумья, так что можно было и не отвечать на него, но тогда самое молчанье становилось ответом. И такой тайный яд сочился сквозь речистую напевность Леонтия, такое неусмиренное неистовство прорывалось чуть ли не из каждого слова, что Векшина потянуло вдруг разведать хоть разок в жизни, отчего, точно извнутри сжигаемый, корчится в его присутствии собеседник.

— Сколько ни говорю с тобой, Леонтий, а все слышится мне в твоей речи как бы ссыпаемой щебенки хруст. Злой тебя огонь гложет...

— Это у вас очень ценное наблюдение, братец,— поддержал тот,— что злой я. Злой от не достигнутого мною...

— Перестанем путлять, Леонтий!.. Ты все нападаешь, принимая меня за кого-то иного, а я всего лишь прохожий. Не у дел я пока, то есть совсем даже не у дел: голый, бездомный человек. Неспроста же я Королевым стал! — чуть приоткрыл Векшин свои житейские обстоятельства. — Вовсе не значит, что у меня не нашлось бы нужных слов на беспрестанный скрежет твой, а только совестно мне произносить их в нынешнем моем положении...

— А вы не стесняйтеся, братец, со мною, вы скажите их! — так же туманно намекнул Леонтий. — Ведь и я тоже не совсем Векшин...

— Мне не тебя, мне скорее себя совестно! — не сразу разгадав его оговорку, бросил Векшин. — Позволь и мне заодно задать вопрос... Мы с тобой в детстве и словом не обмолвились, ты даже не опознал бы меня при встрече, кабы я лицом не в отца был... и я понимаю, что тебе любить меня вроде и не за что!

Леонтий сочувственно взглянул на него.

— Это вы тоже глубоко подметили, любови я к вам далеко не чувствую, Митрий Егорыч... и задолго до того невзлюбил, как впервые увидел. Не имея силы над вами, помалкиваю, но сердцу моему я сам хозяин.

— Вот и объясни, за что ты так ненавидишь меня, который всегда добра тебе желал?.. в чем тут дело, где тут собака зарыта?

Некоторое время Леонтий шел, покусывая сорванную на ходу полынку.

— А можно мне, братец, не объяснять вам, в чем моя собака заключается? — тихо спросил он.

— Что ж, не объясняй, пожалуй...

— Вот и спасибо, братец... очень вами тронуты.

Этой предосторожностью Леонтий почти выразил свое мнение о Векшине; он боялся его. Разговор прервался, кстати они почти добрались до цели. Отлично зная окрестность, Леонтий вел напрямки. После того как они миновали вброд болотистый ручеек, приток Кудемы, им осталось пересечь наискосок старое щербатое шоссе. Егорово место приходилось на противоположном солнечном склоне высокой шоссейной насыпи, поросшей сухой курчавой травой.

— Воп там оно и случилося... — шагов за десяток кивнул Леонтий на еле заметный холмик с крестом, похожим издали на дорожную отметку.

Присев в сторонке, Леонтий надолго занялся кисетом с домашним табачком. Стояло полдневное безлюдье, ни одна птица не шумнула крылом поблизости. Все как бы удалилось, отвернулось, чтоб не мешать встрече блудного сына с отцом... Один Фирсов, отложив перо, следил теперь за ним из-за стола, не смея продиктовать своему герою самый второстепенный, казалось бы, в его скандальной жизни поступок. Требовалось выверить, много ли человечности успел накопить голый человек Векшин за ничтожный срок своих предварительных испытаний.

В фирсовской повести эта сцена обозначалась так:

«Мастерового обличья человек в мятом пиджаке и с намотанной на палец грязной тряпицей стоял перед земляным бугорком, под которым сотлевали отцовские кости. Ему предстояло совершить действие, которому раньше вслепую учили обряд и обычай, а ныне, за полной их отменой, надлежало отыскать самому. Никто не предсказал бы теперь, бросится ли Векшин грудью на посрамленную им родную землю, или присядет отдохнуть и закурить после долгой ходьбы, или выкинет еще что-нибудь, пользуясь пустынностью местоположения и безнаказанностью иных шалостей в переходную эпоху. Он был всего лишь вор, то есть распоследнейший из своего героического поколенья, брошенного на штурм великой твердыни... Но он был живой, а тем, которые сразу не полегли в атаках, предстояло продолжать жизнь и строить целый мир не только вне,— но и в н у т р и себя, без чего стали бы напрасными все затраченные жертвы и усилья...»

Между прочим, Векшин не опускался на колено, как льстиво или для краткости написалось у Фирсова. Но он долгое время простоял в приножии отцовской могилы — чернила успели

высохнуть на фирсовском пере, он все стоял. И до такой степени слепительно и знойно было вокруг Векшина, что ему невольно пришло в голову, как темно и холодно там, в вечных земных потемках. Незнакомая раньше потребность заставила Векшина машинально наклониться и на пробу коснуться пальцами земли. Она была жестка и тепла здесь, на припеке, чуть влажна в глубине от утренней росы, хотя солнце уже калило. У Векшина осталось чувство, словно коснулся щекою небритой отцовской щеки; колючая мелкая травка удвоила сходство. Так было повторено Векшиным извечное, присущее человеку движенье.

На обратном пути Леонтий рассказал, как было дело. Сюда достигал дальнобойный обстрел Колчака, и когда года три спустя стали делить покос между Демятином да Предотечей, то и найден был на меже уполномоченными неразорвавшийся снаряд. Среди почетных стариков, сползших с печки ради важного мирского дела, находился и Егор; по словам Леонтия, Векшины к тому времени уже владели домом в Демятине, доставшимся мачехе от бездетной тетки... Обступив стальную оборжавевшую находку, мужики с мрачной ненавистью созерцали ее, пинали ногами, но стал накрапывать дождь, а уходить с неутоленным сердцем не хотелось. «Об шошу ее, суку...» — вырвалось у кого-то, и тотчас все хором согласились на месте прикончить гадину, чтобы не погибнул неповинный скот. Снаряд подняли и, благословясь, махнули с откоса на небольшой валунок внизу.

— Федосей-то Кузьмич сказывал, как бы воспламеновение огнедышащей горы получилось, он издаля видал,— закончил свое описание Леонтий. — Он потому лишь и уцелел, что бабка ранним кваском его опоила, в кусты побежал. С предотеченского старосты всего только картуз сорвало, а Егор, вишь, как военного происхождения лицо, на самом краю стоял, распоряжался...

Нетрудно было представить изобретательных мужичков, как они раскачивают начиненную смертью болванку под дребезжащую стариковскую дубинушку; щемящее душу несоответствие события и сопроводительных житейских обстоятельств несколько путало векшинские чувства. Создавалось странное убеждение, что у вора и трагедия выглядит не краше балагана!

Обратно двинулись другой дорогой,— Векшин соблазнился взглянуть перед отъездом на сооружение, возводимое новой властью на Кудеме. По словам Леонтия, там день и ночь про-

исходила непрестанная работа и, к великому соблазну окружающего населения, слышался круглосуточно ужасный скрежет никак не менее чем трехсот лопат, вгрызающихся в древнюю материковую глину. Оттого ли, что обратная дорога всегда короче, до самых демятинских задворков хватило им одного разговора, прояснившего, к слову, многие взаимные недоумения. Разговор велся с перерывами и отступлениями, причем на иные, не заданные вслух вопросы следовали такие же, всего лишь мысленные ответы.

— Ну, раскрывайся напоследок, почему давеча *про зарытую собаку-то утаил?* — с полушутки начал Векшин.

— А как же, береженого-то и господь бережет... — по-мужиковски вздохнул Леонтий.

— Не видишь разве, в каких отрепьях на родину воротился? — с горечью посмеялся Векшин. — Ужели так и не догадался, мудрец, кого в доме принимал?

— Умный мужик не по тому человека судит, чем вчера был, а кем завтра станет,— холодно и жестко проговорил Леонтий. — Карахтер у вас шершавый малость, вот и подзадержалися на пути к светлому, как оно говорится, будущему!.. но кто знает, куда вас завтра судьбица вымахнет? А нам тут век коротать, хлебушко из землицы выковыривать. Это вверх камешком не докинешься, а вниз-то его легче легкого спустить... Нонче мужикам много думать достается!

Какая-то несбыточная правда таилась в Леонтьевом предсказании, произнесенном с ледяным беспристрастием. Она внушала обжигающую надежду, и тут, подчиняясь мимолетному озаренью, Векшин оглянулся. Не стало видно ни крестика, ни того поворота, где распылился в вечность старый Егор. Пегая лента шоссе узилась, пропадала в низине и снова стрелой вонзалась в горизонт, в прошлое, вместе с телеграфными столбами и непрестанным пеньем проводов, вместе с загубленной молодостью и печалью о Маше. Векшину так хотелось запечатлеть в памяти милую окрестность, что, кажется, с самым дыханием старался вобрать ее в себя.

Разговор возобновился не раньше чем шагов через двести.

— Откуда ж ты знаешь, Леонтий, кто я теперь?

— Отписывали мне про вас, братец... некоторое одно наблюдавшее лицо.

— Родня или так, сосед? — с замирающим дыханьем закинул словцо Векшин, потому что понимал, о ком речь.

— Не шибко дальняя, хотя по пачпорту и не родня совсем... — неохотно бросил Леонтий.

Плохо скрытая неприязнь с оттенком невольного злорадства послышалась в отзыве Леонтия об отце.

— Только писал тебе про меня Сергей Аммоныч... — или при личном свидании про меня рассказывал? — двинулся в обходную Векшин.

— Было дело, наведывался,— прямо ответил Леонтий на плохо замаскированный вопрос. — Нонче блудных отцов не меньше блудных сынов по русской земле скитается... Годка два тому назад, близ закатца, вышел я до ветру на заднее крыльцо, а он там стоит с непокрытой головой да на колени по-русски встал, папаша-то: погреться просится, сукин сын! А уж октябрь месяц на дворе, на телеге у нас в эту пору не проехать... артист! Слезою прошибить мужика хотел...

— Так сразу и признал его? — удивился Векшин.

— Не столько признал, как дрогнувшим сердцем догадался. Из зависти к зажитку давно про нас по волости сплетни ходили. Сам я про мамашин грешок еще ребенком узнал... зазвала одна старушка жалостливая малинку в саду пощипать, да и нашептала мальчишке, как его мамаша клад однажды с Водянца принесла: бывают такие правдолюбивые старушки... Все мне отравила — хлеб, радость, самый сон мой. С одной стороны, вроде и свободный я стал от всех долгов на земле, без роду-племени, но вместе с тем... сырую воду дома пьешь, а ровно краденая!.. Словом, враз я почуял, что за харя на меня со слезой да объятьем из грязи лезет. И отхлестал же я его в тот раз, всласть отхлестал под мелким осенним дождичком, всю накипь сердца высказал, и про Россию, до чего довели, и про кукушек, как они яички в чужие гнезда подкладывают... Поди, сказал ему, к Николаше своему расстрелянному, грейся!

Судя по приблизившемуся горизонту и срезанному облаку за ним, невдалеке находился речной обрыв. Пока шли туда по скользкой сохлой траве, Векшин успел задать последний вопрос о Манюкине.

— Так и прогнал к черту старика?

— Зачем же, выслал ему краюшечку на дорогу. Хлебушком-то глубже кнута прохлестнешь... Опять же я так гляжу, братец, что есть вражда, а есть на свете кое-что больней вражды. Вы как, с этим не особо согласные?

Представшее за краем обрыва зрелище заставило Векшина забыть про последнюю Леонтьеву недомолвку. Величественная

панорама крупной по тому времени стройки невольно захватывала дыхание. Работа по созданию электростанции на Кудеме была в полном разгаре, веселое муравейное оживление происходило на обеих сторонах реки, стиснутой в том месте берегами. Леонтьевы сведения о численности рабочих явно устарели, теперь их там было никак не менее четырехсот. И одни ручной бабой забивали очередную сваину, другие же деловито толклись и тоже делали что-то — по дальности расстояния не понять было, зачем и что. Из ясно обозначившегося котлована вперекидку доставали грунт через три яруса прямо в тачки, бесконечной вереницей увозившие его поближе к будущей перемычке; изредка тусклым лучом сверкали лопаты в желтой глубине. А издалека крепкие крестьянские лошаденки тащили по дорогам грабарки с бутом, кирпичом и еще чем-то... Все это призрачно расплывалось в знойной дымке, к тому же редкий звук достигал высоты, где стояли Леонтий с Векшиным; полуденное затишье со стрекотом полевых сверчков полностью поглощало грохот стройки.

— И давно они начали? — тихо спросил Векшин.

— Как снега сошли. С тех пор я частенько сюда хожу... не знаю почему, а как к вину тянет. Сяду и смотрю, часами смотрю, как на видение...

— А что, засасывает? — всем существом понимая эту тоску отставшего, покосился на него Векшин.

— Да многих уж и втянуло, братец, ровно в водоворот какой. Из одного нашего Демятина трое с подводами ушло туда. Дьячишко предотеченский тоже все леживал на этом месте: пристынет взглядом и глядит... сбежал! У вас глаза резкие, братец? Вон он, вон под красным флажком тесину складает... Бригада там одна имеется, старшему только под сорок, остальные молодые ребята на подбор... веришь ли, и в непогоду под кровлю не загонишь, ровно самая сласть им в грязи изгваздаться. Да все это со стиснутыми зубами, без песенки, ровно обреклись... аж страшно!

— Сила, это хорошо, чего ж тебе страшно-то?

— А то, что в ужасную высоту восходим, братец. Мы вот с вами шляемся вокруг, друг дружку костерим, ухмыляемся, а ведь оно уж началось. Самого начала-то, коль оглянуться, уж и не разглядеть за чертой небосклона.

— Погоди, и ты сбежишь туда же! — пошутил Векшин.

— Нет, Митрий Егорыч, за меня не опасайтеся. Я одинокой души человек, мне такой теснотищи не вынести. Я и на свадьбе у себя истерзался весь... Ну-ка, пойдемте от греха!

Больше до самого дома не сказано было ни слова. Только в конце пути Векшин попросил Леонтия присмотреть за отцовской могилой.

— Ладно,— отозвался тот, поглощенный будничными заботами. — Итак, насчет крестика не беспокойтесь, враз сменю, как износится. У меня белильца оставалися, вот я с керосинцем и промажу...

Леонтий молча вынес гостю на крыльцо его походный узелок. У него хватило прямоты не звать Векшина к обеду, а может, догадывался, что и тому было бы не менее тягостно сидеть с ним за одним столом. Прощанье их было недолгое,— тут же Леонтий обернулся к рукомойнику, чтоб время не терять. Векшин пошел к околице.

Он спускался на пойму из Демятина, когда детский оклик остановил его. Незнакомая девочка лет семи догоняла его с ношей в чистом платке, как носят кутью.

— Вот гостинчик велели передать блудному братцу... — в задышке бега, не понимая затверженных слов, произнесла она певучим говорком своей губернии.

В узелке находились горбушка хлеба, каленое яйцо, два куска сахару — подсластить обиду. И Векшин подаянье принял, погладил Леонтьеву посланницу по голове.

— Кем же ты Леонтию доводишься, маленькая?

— Свояченица... — кротко улыбнулась та, и в лице у Векшина бессознательно отразилась ее улыбка.

— Тогда надо и мне чем-нибудь отдариться, раз свояченица,— удержал ее Векшин и в поисках монетки пошарил по пустым карманам.

Рука накололась на вещь, непонятного на первый взгляд происхождения, — тяжелая золотая брошь, в суматохе бегства захваченная с разгромленного Пирманова прилавка. Пока Векшин закалывал ее у девочки под шейкой, счастливица не спускала скошенных глаз с подарка, которым с лихвой окупался Леонтиев гостинец.

Прохожий толканул ее в плечико и проследил с усмешкой,— пока взбиралась в гору, как сверкали маленькие босые пятки из-под старого, затасканного платьишка.

IV

Вследствие опоздания к поезду Леонтиева милостыня пришлась как нельзя кстати, — очередной проходил ближе к ночи. Значительную часть времени Векшин потратил на прогулку по Рогову, сознательно на каждом шагу бередя сердце воспоминаньями; маленькая боль отвлекала от большой. На месте сгоревшего особняка начальника Соколовского высился теперь двухэтажный трактир с незнакомой фамилией на вывеске, во дворе доломановского домика неразговорчивая чернавка кормила кур с крыльца. Последний час Векшин продремал на станции и только в сумерки, безбилетный и беспаспортный, сел в поезд.

Из-за скудости света от казенной свечи ничего было не разобрать в вагоне; пассажиров было немного, почему-то все налегке. Против Векшина сидели трое мужиков, дружно покачиваясь и дремля; двое крайних, постарше, везли среднего, узколицего малого лет двадцати, в ближний городок, в сумасшедшую больницу. Пока длились потемки, тот ничем не выдавал своей болезни, дремал да жевал что-то. Едва же яркий станционный свет на остановке пробегал внутренность вагона, парень проявлял беспокойство, мычал и бился, порываясь из объятий провожатых, казалось — из самого тела своего, и тогда в его провалившихся глазницах зажигалась немая животная скорбь.

— Эк, ведь ночь, и дороги не видать, а люди по адресу едут... — время от времени выражал удивление могучий старик слева с почтенной седой бородой, придававшей ему сходство со святителем церковного письма. — И все винтики, винтики да колесики кругом... — прибавлял он, со скрытым удовольствием отдаваясь железной махине, видимо впервые в жизни уносившей его из родных мест. — Ведь экое давленье, так и садит!

— Машина, Павел Парамоныч! — тоном сведущего в технике знатока поддерживал другой, потощее и всего лишь с усами, полускрытый в тени, после чего в разговор включался их подопечный и по очереди начинал спрашивать обоих про каких-то кривых детей.

Перед очередной остановкой тот, второй, как более опытный в обращении с благами цивилизации, стал почаще выглядывать в проход соседнего вагона и наконец подал привычный знак своим; по-видимому, сумасшедший тоже понимал, что

едут без билета. Все трое чинно и неторопливо двинулись на тормозную площадку. Догадавшись о контроле, Векшин последовал за ними. Огни приближавшегося полустанка все более светлили мглистый мрак снаружи; видны стали лапти и поношенные сермяжки векшинских спутников.

— Главное, не теряйся, Павел Парамоныч... со мною с головы твоей волос не упадет! — поднимаясь и гремя чайником, сказал старшему тот, что помельче, со следами всех крестьянских горестей. — Тута придется нам маненько по станции погулять, заодно кипяточку нацедим... а как пройдет билетная проверка, в задний вагон повалимся, станем чай пить.

— А ты смекалистый, видать, гражданин... — заискивающе пошутил Векшин, стремясь установить хоть какую-нибудь, взамен порванных, связь с людьми надолго покидаемого края. — Громадные поди капиталы нажил?

— А как же, бедность — мать ума! — заносчиво отозвался тот, скользнув взором по Векшину.

Лишь сойдя на платформу, тот, постарше, пояснил из опаски нажить врага в пути:

— Вот племянника едем в сумасшедший дом сдавать, братовья были с покойным его отцом. Одиннадцать ртов семейство осталось: как разинут враз,— оторопь берет. А и билетов неохота брать, нам и ехать-то всего четыре-пять, от силы шесть остановок...

— В пути ни с кем дружбы не заводи, Павел Парамоныч,— наставительно упредил усатый,— с живого сапоги сымут.

Собеседники взаимно поглядели друг на друга, и тотчас же их разделила ночь.

Кстати, по Фирсову, при возвращении Векшина с Кудемы, с последним произошел странный эпизод, который критика не без причины объясняла скорее болезненным состоянием самого автора, чем его героя. Будто бы в предпоследнем вагоне, куда тот вошел, едва тронулся поезд, было совсем пусто, только громоздилось нечто на лавке в дальнем углу, не то мешок обиходного тряпья, не то женщина дремала, прикрыв голову шалью. Присев на лавку, Векшин глядел, как изредка то искра, то желтоватого пара клуб прочеркивали сумрак в приспущенном окне; холодный ночной ветер выполаскивал внутренность вагона. Наглядевшись, Векшин устало прикрыл глаза, но через короткое время его разбудил несмелый толчок в колено: кто-то просил вниманья и как бы извинялся при этом.

— Уж не прогневайтесь, закройте ваше окно...— послышался умильный старушечий голос. — Так мне сквозняком надуло, вся рука по самое плечо отваливается...

— Вы спиной обернитесь, со спины не так дует... — в странном оцепенении отвечал Векшин, досадуя на потревоженный сон.

— Голова у меня шибко кружится спиной-то ехать. Ничего у вас боле не прошу, сделайте одолженье! — И старуха оперлась обеими руками в векшинские колени. — Вот и еду, а не спится мне... все думаю, все думаю о нем! Так мы с ним из-за вас и не повидалися... — Было что-то поистине сводящее с ума, до такой степени знакомое в этом заискивающем, на шепоте, словесном дребезге, которого, странное дело, вовсе не заглушал размеренный стук колес. — Исполните просьбицу, кстати дозвольте разочек в глаза вам заглянуть. Повидать его хочется, а то все думаю, все думаю...

— Что же, карточку я с него сымал, что ли... — рассердился Векшин, с усилием вырываясь из сна, лишь бы избавиться от этой гнетущей близости.

Он открыл глаза, его оглушил лязг движенья и ослепил свет кондукторского фонаря.

— Не карточку, а билет спрашивают... — произнес голос над головою, по настойчивости судя — не в первый раз.

Желтый язык огня в фонаре окончательно рассеял наважденье. Похожий на старуху тюк качался на прежнем месте в углу, но теперь рядом с ним почесывался разбуженный контролем хозяин. И хотя в окне прыгали явственно различимые, без единого строения, полосы неба и леса, в лице Векшина отразилась неподдельная досада.

— Ергенево проехали... — не без злорадства подстегнул контролер.

С возгласом притворного огорченья Векшин ринулся вон и, миновав вагона четыре сряду, выскочил на тормозную площадку. В откачнувшуюся на повороте дверцу ударил твердый гулкий ветер из стремительного сумрака, пожиравшего пучки паровозных искр. Путь одновременно с подъемом делал в том месте полукруг, оставляя в стороне тусклое, исчерченное травинками болотце. Дверь из вагона открылась за спиной, и векшинское тело свесилось на поручнях перед прыжком, но вовремя один из голосов позади показался ему знакомым.

— Главное дело, Павел Парамоныч, никогда духу не теряй! — степенно обучал спутника разуму векшинский знакомец,

уводя его от очередного контроля. — Счас, как станции достигнем, враз и перевалимся в задний вагон. А там не боле одной остановки останется... Вон уж и огни видать!

— То не контроль был в прошлый раз, зря ты всех перепугал,— по-приятельски попрекнул Векшин.

Тот тоже признал попутчика.

— Запас да осторожность русскому мужику николи не повредят,— несравнимо дружественней, чем раньше, отвечал он. — Сам-то отколе да куда, парень, направляешься?

— Из Демятина... вот на родину ездил, отца навещал.

— О, случалось мне у вас в Демятине о прежние годы на ярманках бывать. Самое рассвятое дело!.. — похвалил тот — не то поступок Векшина, не то знаменитые когда-то на всю губернию демятинские торжища — и покрепче прихватил больного за рукав.

Судя по частому мельканию света на стрелках, поезд подходил к большому железнодорожному узлу. До остановки попутчики успели обменяться сведениями об урожае, погоде, также о повадках поездного начальства, и снова поразили Векшина сытость и целительность даже беглого разговора о самом важном и простецком на свете, что помогает жизни, не мешая жить.

V

К немалому удивлению самого Фирсова, едва он начинал заниматься вплотную кем-либо из персонажей, остальные немедленно разбредались по своим незначительным бытовым делишкам за пределами повести... тогда вволю хватало работы его безжалостному карандашу! Так было и с квартирой сорок шесть, в которой после векшинского бегства водворилось серенькое запустенье. У каждого из жильцов своим чередом назревали события, из которых главным представлялась чикилевская женитьба.

Обещанное вслед за буфетчицей место вышивальщицы в театре пока не выходило, да еще дочка заболела некстати... словом, Зина Васильевна все больше должала Чикилеву, билась и вязла, постепенно свыкаясь с мыслями о скорой неминуемой сдаче. Векшин вставал в ее памяти невозвратимым и милым призраком — «последний вихрь ее постылых дней», как говорилось в одной песне бывшего ее репертуара. На целый месяц он точно в воду канул, никакого известия о нем не пробива-

лось на Благушу. И Зина Васильевна не только простила, а может, и благодарна была теперь покинувшему ее любовнику за доставленные слезы, в которых по той же поэтике уличных песен заключались якобы «венец — утеха всякой бабьей доли...».

Впрочем, чикилевская свадьба могла бы затянуться до крайности, кабы одна непредвиденная, чисто временная катастрофа не ускорила этой унылой победы. В самую ту пору, когда все трепетно ожидали назначения Петра Горбидоныча в какую-нибудь жуткую высоту, откуда он мог бы поступать с людьми в полную силу должностного воображения, его вдруг самым неблагодарным образом сократили по службе. Вначале он принял это за неуместную шутку судьбы, за ошибку, которую завтра же поправят с повышением, за испытание верности и стойкости, тем более что в расчете на дальнейшее вознаграждение никогда не брал взяток, ни разу не был замечен не только в ропоте или, скажем, вздохе осуждения, но даже в мало-мальски неуместном молчании,— напротив, он, заблаговременно и без разбору, исключительно дружно одобрял все, что бы ни случалось в его учреждении. Первые дни, в надежде на чудесное прояснение, Петр Горбидоныч продолжал ходить на службу, хотя уже другой, сидя на освоенном чикилевском стуле, перебирал его самозаветнейшие бумаги, причем иные кощунственно отправлял в корзину. Петру Горбидонычу оставалось только смириться с необъяснимой прихотью начальства, как с не подлежащим обсуждению климатическим явлением.

Тут-то подтвердилась поговорка о несчастиях, не склонных навещать в одиночку. Вскоре на перевыборах домкома Петр Горбидоныч был провален самым безжалостным образом. При полном стечении ковчежных жильцов на него напал с канализационного фронта один лохматый гражданин из полуподвального этажа. На деле канализация находилась почти в отменном порядке, и не в ней заключалась суть, а просто чикилевскому противнику, как и самому Чикилеву когда-то, осточертело его квартирное ничтожество. На ползучие штучки и шуточки вчера еще смиренного врага Петр Горбидоныч отвечал сдержанно и, сознавая свои достоинства, удалился с собрания, когда тот обозвал его заграничным словом м а р а б у. Ему еще казалось, что за ним побегут, расплачутся, силой потащат назад, он даже заблаговременно примирился с потерей одного рукава, но дальнейшее показало давно признанную черствость человеческих сердец. В голосовании приняли уча-

стие лишь бессловесные старушки, сами же ответственные съемщики в роковую минуту отправились предаваться вечернему отдохновению. В составленной противником блистательной резолюции старый преддомком был безоговорочно забракован, а на его место поставлен он сам. Тут же у Петра Горбидоныча была самым унизительным манером отобрана печать, которой скреплялись ремонтные, помоечные и всякие иные ведомости.

Удары судьбы сказались на всем облике Чикилева. Кроткий свет как бы на исходе дня излучался теперь из его глаз, а в каждом слове чувствовалось замедленное угасание. Нечто задумчивое, даже, пожалуй, человечное, как у всех таких после крупной взбучки, проступало во всем его обращении, так что, когда Зина Васильевна постучалась к нему с просьбой об отсрочке платежа, она невольно пожалела Петра Горбидоныча и тем помогла ему накинуть на себя свадебную петлю.

...Как-то в начале зимы, когда на улицах неопрятно таял первый снег, сочинитель забежал к Манюкину по таинственному делу. Вообще фирсовские сношения с затаившимся бывшим помещиком подозрительно участились, и только личное неустройство мешало Петру Горбидонычу целиком отдаться их расследованию. К этому времени надежда поправить свои обстоятельства посредством подкидного письмишка с клеветцой окончательно иссякла; по чикилевским расчетам, теперь делу мог помочь только его обстоятельный донос на нечто монументальное — на незапятнанный дотоле столп общества, например, либо на упущенный из внимания памятник сомнительному деятелю прошлых эпох, причем не в кладбищенском закоулке, а желательно на самой людной площади, где прогуливаются ничего не подозревающие трудящиеся и их семейства. С этой думою и отныне владея в избытке свободным временем, Петр Горбидоныч и стал было похаживать по московским улицам, но, кроме старинных соборов, ничего такого, на что стоило бы открыть глаза начальству, как-то не попадалось. Тогда он принялся копить впрок улики на Фирсова, чем, во утоление старых обид, могло быть достигнуто не только повреждение сочинительского здоровья, но и благодарность от некоторых заинтересованных литературных лиц за проявленную бдительность... И верно, на участившихся тайных совещаньях Манюкин с Фирсовым неизменно шушукались, следовательно скрывали нечто, причем, насколько удавалось подслушать, всякий раз о б с у ж д а л и т е к у щ у ю ж и з н ь. Таким образом, раз-

говор их походил некоторым образом на сговор, а сговор — наполовину уже заговор! Доказательством этого могла служить обнаруженная Петром Горбидонычем при очередном ознакомлении дарственная надпись на обложке манюкинского дневничка, завещавшая его — «Ф. Ф. Фирсову с тем, однако, чтобы принял на себя издержки по преданию меня земле приличным для человека способом»,— надпись явно маскировочная, так как похоронные расходы явно не окупались ничтожной ценностью помянутой тетрадки.

В тот вечер, не застав Манюкина у себя на месте, Фирсов собрался навести о нем справки у Бундюковых, но мимоходом задержался у балуевской комнаты. В щель полупритворенной двери слышалась невообразимая трескучка, которую напрасно пытались вправить в рамки мелодии. В силу профессиональной любознательности, несмотря на позднее время, Фирсов позволил себе заглянуть в занятое двумя дамами помещение; впрочем, старшая, Зина Васильевна, встретилась ему в подъезде внизу, по дороге в аптеку. Фирсов увидел в профиль Петра Горбидоныча, игравшего на обернутом бумагой гребешке и выполнявшего одновременно забавные мимические движенья, а прямо перед ним, на векшинской кровати, разметавшись ручонками и с мокрой салфеткой на лбу, лежала младшая. Света от лампы у ней в изголовье хватало различить жалкую Клавдину улыбку, по удачному сравненью Фирсова напоминавшую раздавленный цветок. Музыкальным слухом Петр Горбидоныч не отличался, никто не слыхал, чтоб он хоть чижика насвистал в минуту благорасположения, так что неизвестно, кто из них теперь больше проявлял доброты и терпения.

По Клавдиным глазам Петр Горбидоныч мгновенно догадался о постороннем присутствии. Мужчины обменялись взглядами, скорее вопросительными, чем враждебными, так что после двух-трех по возможности деликатных словесных соприкосновений между ними могло бы состояться примиренье. Тронутый комичным усердием развлечь больную детишечку, Фирсов собрался принести извинение за не совсем уместный жест на именинах Балуевой и сделал было шаг в сторону Петра Горбидоныча для рукопожатья, но допустил при этом особую литераторскую приглядку, свойственную, впрочем, всем мастеровым, от портного до гробовщика.

Как бы искра проскочила меж ними, и зеленый румянец проступил на щеках Петра Горбидоныча.

— Характерно, вы портите удовольствие ребенку, гражданин! — звеняще отчеканил Петр Горбидоныч, заложив два перста за пиджачный отворот. — Потрудитесь-ка оставить...

Подобная обидчивость объяснялась служебными огорченьями бывшего преддомкома, так что Фирсов решил повторить попытку сближенья.

— Мне очень хотелось бы...

— Вы!.. — взвизгнул тот фальцетом. — Вы врываетесь к болящей крошке в вашем сальном демисезоне, в котором таскаетесь по шалманам и толкучкам, а еще сочинитель разных там... брошюр! — Древнее презрение ужаленного обывателя к сочинительскому ремеслу прозвучало в его выпаде. — И не рассчитывайте, что Петр Горбидоныч не подымется больше из-под колес истории... Я еще разоблачу вас и всю вашу шатию где следует, как и подо что проковыриваете вы подкоп своими бесшумными перышками! А пока потрудитесь...

Рука его произвела движение, сходное с выстрелом, и тогда произошла вторая, не менее неприглядная расправа автора с неугодным ему персонажем.

— Так вот, — шелестящим голосом произнес Фирсов, — я отменяю и этот вечер, и больную девочку, и ваш собачий танец перед нею, гражданин Чикилев... отменяю начисто. С моей легкой руки отныне именем вашим всякую тварь мещанскую называть станут! — гробовым тоном посулил он и затем вышел — не с чувством удовлетворения, однако, а тоскливой досады на себя за действительно непозволительное вторженье в верхней одежде, за хвастовство не по литературному чину своему, а больше всего за опасную фамильярность в обращении с действующими лицами.

Вычеркивая это место из повести, Фирсов как будто был и прав, не стоило повторять ранее написанной сцены чикилевского приятельства с Клавдей, хотя без маленького оправдания Петра Горбидоныча в глазах читателя получалось, что единственно нужда да одиночество толкнули Зину Васильевну на ее горькое замужество. Несомненно, сыграли роль и временные материальные затруднения, тем более что у этой женщины имелся печальный опыт выходить таким образом из житейских тупиков, но главным доводом в ее согласии было совсем другое: матери совестно стало перед дочкой за вереницу мимолетных мужей, из которых ни один так и не сгодился в отцы для Клавди. Она сама ухватилась за эту странную дружбу девочки и своего постылого жениха, даже рада была, когда кру-

пица воображенной в нем человечности перевесила пуды сомнений.

И до такой степени устала ото всего Зина Васильевна ко дню официального чикилевского сватовства, что не хватило сил встать, дверь прикрыть от любопытства затаившихся соседей.

— Только крайность да временность моя понуждают меня на согласие, Петр Горбидоныч: видать, в нужде-то ничего не стыдно... — признавалась она так просто и открыто, что слышно было в самом дальнем уголке квартиры. — Только смотрите, ведь ненадежная я, в детстве по дворам под шарманку пела. С той поры, как заслышу подобное, так и потянет меня тот звук в скитанье, в непогоду, в неизвестно куда!

— Это ничего, драгоценная Зина Васильевна, нонче обязательным постановлением отменены они, скитанья-то,— резонно заметил Петр Горбидоныч. — Дальше заставы Семеновской от меня не уйдете!

— Так ведь для души не бывает их, обязательных! — со вздохом покачала головой женщина. — Я затем упреждаю вас, чтоб потом вам не серчалось.

...Во избежание вредных толков о фининспекторских излишествах, Петр Горбидоныч на редкость скромно отпраздновал свое торжество. Приглашенных было совсем немного, по понятным соображениям отсутствовал даже Фирсов. Зина Васильевна с кривой усмешкой так и обмолвилась ему в тот раз, в подъезде, что на собственные похороны не зовут. Предоставив застольные хлопоты неутомимой Бундюковой, молодая сидела как в трауре; время от времени омочив губы в бокале сладкого вина, она виновато озиралась на стены, осенявшие ее короткое счастье. Сдружившаяся с Балуевой по общности душевных бед, Таня весь вечер продержала ее большую влажную руку в своей, горячей и сухой... к слову, сама она выглядела несравненно свежее прежнего и, кажется, была довольна близостью с Заварихиным, заставившей ее забыть недавние смешные страхи. Ввиду особой его занятости — и потому, что ежедневно буквально на волоске повисала судьба его предприятия! — свадьба у Заварихина все откладывалась — теперь уже с месяца на месяц, а не с недели на неделю, как раньше. К концу пира пришел и сам он — еще более возмужавший, сосредоточенный в своем напоре, по-своему нарядный, только с каким-то ожесточенным лицом. Посаженные рядом на правах очередной четы, жених с невестой за весь час не обмолвились и десятком слов,—

прозорливая Бундюкова так и поняла, что теперь не венчанье их откладывается, а окончательный разрыв.

Вечер тянулся бы совсем уж серенько и прискорбно, если бы за столом не присутствовал новый жилец из бывшей векшинской комнаты, восходящее светило черной биржи, слывший в среде столичной торговой знати за *гуталинового короля*. То был солидной внешности и с одышкой холостяк поразительной житейской гибкости, что и позволяло ему шутить про себя, будто застрелить его можно только из гаубицы. В промежутках между блюдами он выпаливал в гостей столь оглушительными анекдотами, делился такими отменными случаями из собственной практики, что Заварихин лишь головой покачивал; кстати, общенье с ним уже не могло бросить тень на отставленного от финансов советского чиновника. Напротив, из мести к неосмотрительному колесу истории, а может, в надежде обрести покровителя на черный день, Петр Горбидоныч усердно ухаживал за нэпманом, то и дело подливал из особой бутылки, душу вкладывал в довольно откровенные и настолько громкие тосты, как будто помянутое колесо могло услышать, содрогнуться и раскаяться в допущенной к отступнику несправедливости.

— Прошу вас, пейте это вино... — увещевал Петр Горбидоныч важного гостя, к ревнивой зависти безработного Бундюкова. — Заметьте, это очень интересное винцо, три с полтиной бутылка... так уж давайте до дна, чтоб до капли впрок пошло!

— Винцо, на мой взгляд, довольно мадеристое... — неопределенно соглашался гуталиновый король, налегая одновременно по рыбной части.

— Как это вы, Петр Горбидоныч, некрасиво поступаете, что цену поминаете за общим столом,— встревоженно шепнула мужу Зина Васильевна. — Настоящий гость сам должен понять!

— Нынешнему коммерсанту как раз и требуется обо всем иметь представление,— с приятным лицом прошипел Петр Горбидоныч,— так что уж, характерно, попрошу вас поправок в мои действия не вносить!

Это было первым для Зины Васильевны отрезвляющим напоминаньем, что ее новые будни уже начались. Она поймала на себе наблюдательный, через весь стол, Клавдин взгляд и вся облилась изнурительным зноем при мысли, что и двух часов нет ее замужеству, а по самочувствию уж совсем конче-

ная старуха. Хоть неловко было для новобрачной, тотчас, как бы по хозяйственному поводу, вышла из-за стола — немедля проверить ощущенье. В комнате у Бундюковых висело овальное, за резную раму и через Чикилева, на описи купленное старинное зеркало. Из мертвого, местами пролысевшего стекла на нее глянула крупная и, видно, своенравная когда-то, а теперь исхудавшая, точно кнутом застеганная, женщина, затянутая в пышное, выглядевшее трауром на ней светлое платье.

— Дохлая ты стала, Зинка... — сказала она самой себе и, прижавшись лбом к своему ледяному изображенью, попыталась всплакнуть немножко, но не получилось. — На какую польстился!

Лютая правда заключалась в ее признании самой себе. Когда, ликуя и торопясь, Петр Горбидоныч вступил наконец в сдавшуюся крепость, она была холодна и безжизненна, чем можно было, в конце концов, и пренебречь, так как от сознания греховности своей Зина Васильевна была обольстительно покорна... не говоря уже о притягательной синеве под тоскующими глазами, составлявшей для Петра Горбидоныча высшее мужское лакомство.

Наглядевшись, Зина Васильевна вернулась в коридор, показавшийся ей безнадежно длинным и безлюдным. Все население квартиры вместе с гостями сбилось за столом в той угловой, откуда клубился табачный дым и слышались раскатистые залпы гуталинового короля.... но самые милые ей понемножку отбывали отсюда. Вслед за Минусом и братом Матвеем сгинул лиходей ее сердца Митька Векшин, и вот уже собирался в дорогу весельчак своей жизни Манюкин.

VI

Когда это случилось наконец с Манюкиным, у всех поголовно жильцов сорок шестой квартиры осталось естественное в таких случаях виноватое чувство, что недосмотрели, не вникли, дозволили... однако по трезвом размышлении совесть у них оказалась чиста. Припомнилось, что сникать Манюкин стал задолго до переезда к ним в соседство, нередко в ту пору жалуясь на сердечные недомогания, последнее же время он даже и не бедствовал — в силу, верно, небескорыстного фирсовского покровительства, иначе откуда могли взяться в его повести отрывки из манюкинского дневника; остальное, надо полагать,

оказалось непригодно для опубликования... Напротив, всегда на манюкинском столике лежала под газеткой какая-нибудь пища, причем хватало и на квартирные, на осветительные, также налоговые расходы. Всего за неделю до несчастия он поразил Зину Васильевну своею жизнерадостностью, пошутив мимоходом в коридоре, что не состояться бы чикилевскому злодейству, как он рассматривал ее замужество, кабы повстречала его, Манюкина, годочков сорок с небольшим назад... В переулочек к себе он уже перестал ходить, а чаще пластом валялся на койке в чутком, дремотном забытьи... если же любой шорох поблизости и заставлял его вскакивать и затем по часу и более валяться замертво, то виной тому было, несомненно, его разгульное прошлое, как известно способное разрушить самое богатырское здоровье.

Беда произошла на рассвете, денька через два после того, как Фирсов застал музыкантствующего Петра Горбидоныча. Девочка выздоравливала, и, столько отдавший ей внимания, не говоря о денежных расходах, бывший преддомком заслуженно почивал на своей половине. Среди ночи ему примерещилось, будто из прихожей уносят шубу, и он босиком сходил удостовериться в напрасности тревоги, причем, крайне удивленный на обратном пути, что тишина не оглашается всегда раздражавшим его манюкинским сопеньем, даже потратил несколько спичек на выяснение причины. Койка его сожителя пустовала, что нисколько не было удивительно ввиду беспутного образа манюкинской жизни...

Вторично Петр Горбидоныч проснулся по ту сторону полночи, крайне раздосадованный малоупотребительным неприличным словом, которым и во сне допекал его полуподвальный, выскочивший в преддомкомы гражданин. Пока не забылось, Петр Горбидоныч пересек во тьме пограничное пространство и присел на краешек манюкинской койки. Гуляка спал, не раздеваясь, так как одеяло продал незадолго перед тем за ненадобностью; он всегда говорил, что собирается закалять свой организм посредством холода и воздержания от роскоши.

— Сергей Аммоныч... — потормошил его бывший преддомком, мучась сверх прочего от обычной своей изжоги, и, как твердо помнил, тряс сожителя до тех пор, пока тот не очнулся, бормоча всякую чушь, отголоски пережитого за день. — Мне тут, характерно, словцо одно приснилось, м а р а б у. Что такое значит марабу? Вы хотя человек и неуравновешенный, но довольно начитанный...

— Марабу? — переспросил Манюкин спросонья. — Ах да-а Марабу... это министр был такой, из французской революции.. а что?

Петр Горбидоныч сидел расстроенный, правой рукой придерживая босую поджатую ногу, левой же не давал заснуть сожителю, который, чуть его упусти, немедля начинал посапывать.

— Сергей Аммоныч... — приступил он снова, уже настойчивей, так как сравнение с иностранным министром придавало оскорблению вдобавок и недвусмысленный политический оттенок. — Нет, уж раз так, то вы не спите, а потрудитесь толком объяснить, что это за министр такой!

Протирая глаза, Манюкин спустил ноги с койки и тут впервые обратил внимание, что правая рука выходит из повиновения, как если бы отлежал ее во сне.

— Ох, зачем вы меня разбудили, мучитель мой... ну, какой еще вам потребовался министр среди ночи?

— А вот марабу-то...

— Так ведь какой же это министр, Петр Горбидоныч... Это вовсе даже наоборот, марабу это просто носатая птица!

— Ну, со слезою вспомянете издевательство свое! — скрипнул на это Петр Горбидоныч и побежал в свой угол, где вскорости и заснул.

Как ни бился потом Манюкин, не возвращался сон. Он попробовал досчитать до тысячи, но сердцебиенье не проходило и внимание отвлекалось отлежанной рукой. Тогда он встал и в потемках рассвета перешел к окну. Все кругом происходило правильно, на пустырь внизу падал робкий снег. Со вздохом вынужденного примиренья Сергей Аммоныч присел к столу, обернул лампу старреньким шарфом и достал тетрадку. Она заметно пополнилась за последний месяц, однако не за счет каких-либо новых эпизодов и мыслей, а главным образом — расходных записей, в копеечном пересчете, да и то — помеченных одному лишь автору понятными значками. Раскрыв наугад, Сергей Аммоныч с холодком недоверчивого любопытства прочел чужие, как бы незнакомой рукой написанные размышленья, словно читал их уже с т о г о всезавершающего берега.

«...и так обширно стало теперь душе и глазу моим, Николаша, что дух замирает. Как бы на страшном утесе стою, лицом в последнюю беспредельность, и уж слышно — сзади подходят, значит спускаться пора, а лесенки-то не видать впереди, так что прыгать... ух, как боязно! Все мне видно и внятно отсель,

хотя вроде уж и ни к чему. Бескрайняя страна Россия распростирается во все стороны от моего подножья, а мне уж и неинтересно порой, как звалась она вчера и как назовут ее завтра... хотя и сам я среди прочих ходил по ней, по милой, радовался ее лужкам да зорькам, наполнял ее обширный воздух шумом своего голоса и шепотом муки, прожил свой век в ней... словом, плох ли — хорош, а и мои кости из этой земли не легче выкинуть, чем слово из песни. Ныне, принимая мою крохотную дольку России из отчих рук, ты вопрошаешь меня безгласно, что́ видно мне с одинокого утеса моего, а я отвечу тебе, пока язык шевелится...

Оная Россия, на мой нынешний взгляд, не есть собрание сладостных преданий старины, тем более березок, которые и в других странах успешно растут,— она не есть также какая-нибудь почтенная цель, описанная в самоучителях исторических подвигов на долгие века Российской империи, равным образом — не свод незыблемых постановлений различных правителей с незапамятных времен,— иначе не бывать бы великой революции семнадцатого года. Россия есть прежде всего живой народ, обитающий некое обжитое дедами географическое пространство, а живое и в счастье не остается неизменным, Николаша, живое растет и ширится, раздвигает житейскую тесноту: оно течет, не иссякая. Душа народная растет в безвестности и вдруг лопается, как почка, и тогда невиданное предстает миру... Горько признаться, что сословье мое знавало народ лишь по лакеям, банщикам, нянькам да плательщикам оброку. На плечи к ним привстав, благоговейно и беспечно поглядывали мы в знаменитое Петрово окошко на чужую непохожую жизнь: высоконько его Петруха прорубил, далековато было под ноги глядеть, вот оно и случилося!

Все мы лишь капли и сильны — покамест в океане, который швыряет волны, гложет скалы, спорит с небом... поэтому и надлежит нам благополучие народа считать единым мерилом деятельности нашей. Не особо огорчаюсь поэтому, когда спиливают помянутые березки, или сожигают барские усадебки от полноты переживаемого чувства, или с маху ударяют по святыньке, хотя и не следовало бы из уважения к родителям, ибо тем самым научаем детишек такому же обращению с собою в презренной старости. И уж вовсе радуюсь, когда поэтические речки впрягаются в машину на потребу человеческого счастья. Временами видится мне иное лицо России нашей и дела иные, но зреющую силу народную да охранит господь от

зла надменности и довольства, и надо ему в том подсобить, а то нерасторопен стал всевышний по дряхлости, видать. Великий прыжок совершает конь русский из простодушного, чуть ли не Гостомыслова века, но... в который?»

Чуть ослабев почему-то, Манюкин положил перо и задумался; впрочем, раздумье его походило на дремоту, а дремота на оцепененье. Откинувшись на высокую спинку кресла, оставшегося в доме от сбежавшего за границу домовладельца, Манюкин смотрел на обмотанную шарфом лампу, плохо соображая происхождение легчайшего струйчатого дымка... и вдруг ему тоже вздумалось закурить. Непослушными руками он насыпал в бумажку табаку и, заклеив папироску, потянулся было за мундштучком, который лежал на краешке стола. Тут ему почудилось, что сзади подбирается с какою-то хлопушкой Чикилев; сердце его мучительно сжалось и подпрыгнуло. Он не дотянулся до мундштучка, а с хрипом отвалился в кресло. Папироска осталась незакуренной, страничка недочитанной: Сергея Аммоныча разбил удар.

Только через час Петра Горбидоныча пробудила гарь от манюкинской лампы; боявшегося смерти пуще лишения службы, его буквально в смятение привела чужая беда, вплотную прошедшая мимо. Чтобы не расстраиваться, он даже упросил безработного Бундюкова до прибытия С к о р о й п о м о щ и повернуть кресло с Манюкиным к стенке,— тем временем супруга его сбегала за преддомкомом и доктором из нижней квартиры. Последний оказался молодым санитарным врачом, крайне нелюдимым спросонья, когда же разгулялся — на удивление обаятельным человеком. Он не только сделал необходимые наставления, но кстати на страничке подвернувшегося манюкинского дневничка натурально изобразил, с целью просвещения, самый корпус пострадавшего и — условным пунктиром — путь фибриновой пробки в нем, роковой причины происшествия. Подивясь откровениям медицинской науки, Петр Горбидоныч передал набросок Клавде, которая тем же карандашиком приделала к голове бородку и рога.

— Сам-то он не слышит, как мы говорим тут про него? — спохватилась Балуева, прервав лекцию на самом интересном месте.

— А разве он перестал быть человеком теперь? — резонно отвечал Петр Горбидоныч. — Ему не менее других интересно, я так полагаю, послушать про себя...

В передней он задержал уходившего доктора деликатным вопросом, не может ли тот захватить больного с собою, так как тому и в дальнейшем может потребоваться врачебная помощь, но тут же смутился чего-то и рассыпался в извиненьях. Таким образом, Петр Горбидоныч по чужой, хоть и не злонамеренной вине попадал в крайне стесненные обстоятельства, а переселяться к будущей супруге за неделю до свадьбы, которая до последнего дня висела на волоске, казалось ему унизительным.

Из почти безвыходного положения выручила исключительная расторопность чикилевского преемника. Все жители дома с тревогой и восхищением следили за его искусными усилиями сбыть Манюкина. Трудность заключалась в том, что из-за риска, связанного с перевозкой такого рода пациентов, в больницы принимали лишь подобранных на улице. Однако новый преддомком, в прошлом подпольный адвокат, сумел юридически разъяснить, что лишенное родни и семейства лицо de facto[1] не имеет и дома, а следственно, и пристанища в принятом социально-этическом смысле, то есть проводит жизнь как бы на улице и eo ipso[2] подлежит заботе о нем надлежащего ведомства. В то же утро Манюкин отбыл на носилках в соответственном направлении.

VII

Молча, чтоб не сглазить, Петр Горбидоныч стал замечать с некоторого времени как бы раскаяние судьбы в допущенных к нему несправедливостях. Не говоря уже о лотерейном выигрыше ценного хозяйственного предмета, а также о сдаче Зины Васильевны, самое ласкающее впечатление произвела на него одна трамвайная встреча с бывшим сослуживцем. Сам чикилевского склада, человек этот, не упускавший случая задеть любого сослуживца коготком критики, целых три остановки, хотя давно ему следовало вылезать, расспрашивал Петра Горбидоныча о делах, здоровье, предстоящей женитьбе, в чем нельзя было не видеть благоприятного отголоска из соответственных сфер. И верно, дошло стороной, что одно полувысшее финансовое лицо, находясь в бане и, что особенно дорого, на жарком полке́, когда все силы ума и сердца, естественно, от-

---

[1] Фактически, на деле (*лат.*).
[2] Тем самым (*лат.*).

клонялись в ином направлении, неожиданно осведомилось у помогавшего ему подчиненного сослуживца, куда задевался некий Кичилев, причем оговорка вполне извинялась как душевностью произнесения, так и высокой температурой окружающего пространства. Вскорости последовало желанное согласие Зины Васильевны на вступленье в брак, и в этом свете самая манюкинская поломка выглядела как скромный предсвадебный подарок судьбы, за которым должны были последовать и другие. И верно, через несколько дней в домоуправление нагрянула ревизия — никак не без ведома провидения, ибо вряд ли успело дойти по назначению чикилевское письмо о допущенном при ремонте крыши расточительстве средств и других темных проделках чикилевского преемника, как оказалось вдобавок, царского сутяги в прошлом.

Таким образом, серию обидных отставок надлежало рассматривать всего лишь как дополнительный отпуск, в котором, к слову, Петр Горбидоныч крайне нуждался для поправки здоровья и устроения фамильного гнезда. Задолго до того, как жилплощади жениха и невесты соединятся через пробитую амбразуру и взорам приглашенных откроется роскошная анфилада из двух комнат, Петр Горбидоныч занялся приобретением солидной мебели, желательно из хором какого-нибудь видного прислужника свергнутого строя; на случай, если бы она оказалась местами простреленная, в истопниках при доме состоял тихий старичок из бывших столяров, который, не торопясь, между запоями, мог бы вернуть ей пленительное своеобразие.

Дыша подвальной, а то и могильной затхлостью, похожие на эшафоты деревянные творения то и дело поднимались в будущие чикилевские апартаменты; временно кое-что Петр Горбидоныч в разобранном виде развешивал в коридоре, по стенам. На месте изгнанной манюкинской коечки водворился исполинского замысла шкаф, а чуть сбоку часы, давнишняя и ужасающая мечта Петра Горбидоныча. Бой у них был настолько продолжительный, что едва успевали они пробить четверть, как уж приступало время начинать другую, и такой душепробойностью обладал их звон, что пришлось обмотать пружины бумазейкой, ибо через неделю Петр Горбидоныч сам вскакивал по ночам с палкой в руке, взирая на хрустящее и лязгающее чудовище... И хотя полный план чикилевских мероприятий по возвышению себя был рассчитан по меньшей мере на два десятка лет, причем с непременным ущемленьем

ненавистного Фирсова в самом конце, частично его тщеславие было удовлетворено и теперь.

— Характерно,— рассуждал он иногда после ужина, пока супруга его шила или вязала что-нибудь полезное в виду предстоящей жизни,— если гражданин не гонится за имуществом, нуждающимся в утайке от властей посредством закопки в землю или замурования его в каменной стене, это значит прежде всего, что и намерения его безобманны. А если безобманны его намеренья, то и руки его достойны доверия. Если же достойны доверия его руки, то и расположение к нему начальства будет не опрометчиво. А уж когда достигнуто благорасположение начальства, то кто он тогда, Зина Васильевна?

— Столп... — со вздохом отвечала та, делая стежок за стежком, зевок за зевком.

— Да, но в каком смысле столп?.. заметьте, иными столпами и заборы подпирают!

— Государственный столп! — незлобиво заключала Балуева, понемножку становившаяся Чикилихой.

...Замужество Зины Васильевны нисколько не нарушало сюжетных линий фирсовской повести, поэтому лишь особой авторской неприязнью к ее новому супругу следует объяснить тон досады и сожаления при описании того, как быстро, бесследно зачахла в этой женщине, житейским сорнячком заросла ее давняя греза о н е с б ы т о ч н о й л ю б в и, воспетая в одной из ее трактирных песен. В порыве раздражения сочинитель даже на Клавдю переносил последствия этого нежелательного брака, посвятив запальчивую, правда — вычеркнутую в окончательной редакции, страничку будущему пробуждению в тихой, не по возрасту сообразительной девочке — худенького, насмешливого бесенка, с обширным знанием жизни и, якобы по наследству от матери, с неуловимо-скользящим взором сквозь приспущенные, трепещущие ресницы.

Вряд ли сочинитель предполагал, что могучая трактирная певица зачахнет, подобно пташке в золоченой чикилевской неволе, хоть, возможно, и полиняла малость перед самым замужеством. Тем более постыдно нескрытое авторское озлобленье, когда, словно нарочно — в угоду чикилевским вожделениям, не знавшая прежде довольства и внимания, Зина Васильевна начала не то чтобы хорошеть, а вроде расцветать — только каким-то не шибко желательным колером. Возможно, после пережитых унижений и бедствий не в меру нежного сердца ей действительно первое время нравились достигнутые наконец

сытость, постоянство и спокойствие, но Фирсов в запальчивости уже предсказывал, как через годок-другой из певицы прорвется властная и злая Чикилиха, перед которой поблекнет постаревший муж и посмирнеет неукротимая Бундюкова. Все это дает печальные основания предполагать, что замужество Зины Васильевны автор рассматривал как женскую, лично в отношении него допущенную измену, тем более непонятную, что всего два месяца назад по поводу Векшина он не испытывал и тени ревности.

Да и сама Зина Васильевна чувствовала эту по меньшей мере странную именно вину перед Фирсовым, если проследить — как стеснялась, хлопотала с кофе, заискивала отныне при его посещеньях; по старой памяти сочинитель продолжал забегать иногда, в отсутствие супруга, с шоколадкой для Клавдии и с неразлучной записной книжкой в руке. Но если раньше Фирсов почти без позволенья врывался в душевные тайники этой женщины, теперь он осмеливался заглянуть в них лишь после многословных и усыпительных комплиментов. Да у него и самого меньше оставалось охоты созерцать это пепелище мечтаний, где нередко любит селиться простецкое людское счастье.

В те недели Фирсову особенно ожесточенно работалось,— повесть близилась к концу, он чумел от усталости. Идя по улице, он разговаривал сам с собой, на соблазн постовых милиционеров, и в общении с собеседником слышал только совпадавшее с содержаньем очередной главы. Человечество теперь состояло для него лишь из немногих трагических масок, соответственных персонажам повести,— остальные голоса вовсе до него не доходили. Он был как улей с громадным запертым населением, для прокорма которого едва хватало дневного сбора души. И если не удавалось за день взяться за перо, все равно, изнемогая от этой беспрестанной толчеи внутри, обессилевал к ночи до истощенья.

В ту пору он начинал важнейшую главу о новой Доломановой, и творческие помыслы его странным образом сплетались с никогда не утоленной страстью к ней; одно подогревалось другим. Чтобы не пересыщаться, Фирсов заходил к Маше лишь изредка, и хотя всякий раз ровно ничего не случалось между ними, но даже и краткого срока хватало обоим, чтобы до взаимной ненависти устать друг от друга. Неоформленные, еще кровоточащие куски своей повести он приносил ей в качестве цветов распаленного сердца и потом, просиживая вечер

на полу, возле ее кушетки, и не стесняясь Донькиных подслушиваний, до последнейшего опустошения рассказывал Доломановой будущие замыслы, на осуществление которых не хватило бы и сотни фирсовских жизней; так любил он ее в себе... Зачем? Она странно улыбалась, когда дрожащим голосом заклинателя, ради нее одной, он вызывал из сумрака образ другой Маньки Вьюги, ранящий, как бы завихреньем увлекающий вслед за собою, грозный своею созидательной властью, одновременно девственный и грешный, насмешливый и недоступный. В такие минуты Доломанова зачарованно, боясь шевельнуться, гляделась в зеркало, которое держал перед нею Фирсов,— верно, потому и не давалась, чтоб не выронил, чтоб не разбилось!.. В самой повести Фирсов изобразил терзания своего двойника еще хлеще, неистовей, и так как списать всю эту чертовщину автор мог лишь с себя самого, оставалось временно допустить, что так оно и происходило в действительности.

Кое-кто из застарелых его дружков и коллег находил маловероятными затяжные фирсовские отношения с своею героиней, тогда как в личной их практике флирт с музами обычно завершался успехом тотчас после выпивки. Впрочем, и настоящие друзья советовали Фирсову перед сдачей в печать посгладить неумеренную пышность своего романа в романе, где наряду с довольно банальными прогулками по творческой мастерской попадались вдобавок такие сомнительные перлы: «...иногда, на границе самовозгоранья, она торопливо накидывала на себя шубку и тащила сочинителя на улицу. Гаснул свет в окошках, полупрозрачная синь наступала на безлюдной окраине. Из-под полога уходившей метели выглядывали звезды. Лишь последние снежинки, задержавшиеся в дороге гостьи из дальней мглы, реяли вкруг фонарей, отыскивая математическое место, где согласно непреложным законам им надлежало лечь однажды, блеснуть разок и неприметно исчезнуть... Автор и его женщина шли рядом, прокладывая по снегу первый след, как в ту благословенную ночь Агеева возмездия, только еще более разъединенные теперь страшной силой взаимного притяженья. Где-то в зыбкой полуночной глубине зарождались три печальные зовущие ноты из так никогда и не спетой строки, и вот нельзя было противиться ей, звучавшей сигналом иного какого-то начала...» Подозрительного происхождения трехнотный звук этот подкреплялся противоречивым фирсовским указанием, будто «оба напрасно искали друг в друге того

вечного счастья, какое заключено в самой тщетности всяких поисков».

Такому сумбурному вступленью соответствовали не менее беспредметные беседы помянутых лиц, порою не имевшие даже косвенного отношения к окружавшей их действительности.

— Нет, ты все же не прав, Фирсов... — вновь и вновь начинала Доломанова, хотя за всю предыдущую четверть часа тот ровно ничем не подал повода к несогласию. — Я не защищаю то, что осуждено самой жизнью... но, выброшенный из действительности с порванной логикой обстоятельств да еще на твою белую страницу, дурной человеческий поступок выглядит и значительней и хуже, чем обстоит на деле, правда?

— Ваши страхи за Дмитрия Векшина преждевременны и напрасны,— вежливо и в открытую отзывался ее спутник, очень недовольный поворотом к этой теме. — Я не собираюсь порочить его по суду... потому лишь, впрочем, что при судоразбирательстве мне пришлось бы упомянуть и какое-то главное его злодейство — против вас, которого я так и не знаю до сих пор...

— Примирись, что и не узнаешь, Фирсов.

— ...почему я и ограничиваюсь общей карой по совокупности,— невозмутимо продолжал автор. — Лично с меня достаточно, что при бегстве с пирмановской операции он в повести моей целый час просиживает в закрытой помойке... пока не снимается облава.

Доломанова только головой покачала на столь ветреное непостоянство.

— Недолга же сочинительская привязанность! Очень жалко, Федор Федорыч, что после твоего краткого, подкупившего меня вначале увлеченья Митей ты столь быстро разочаровался в нем... и даже задолго до окончания самой повестушки твоей!

— Какое же там было увлеченье!.. просто требовалась достаточно прочная болванка для примерки некоторых моих в шитве пока находящихся раздумий о культуре, о человеческой начинке, мало ли о чем. Надо сказать, жиган мой не шибко оправдал себя в этом качестве...

— Не мсти ему, Фирсов... неужели ты меня к нему ревнуешь?.. кстати, одну меня или всех женщин в повести своей?

— С чего бы это ревновать вашу особу, Марья Федоровна? — покривился сочинитель.

— А с того хотя бы, что ведь я... люблю его, Федор Федорыч.

Странная прихоть — во что бы то ни стало заблудиться в вечернем городе — вела их в тот раз, и вот незастроенный, девственным снегом занесенный пустырь встретился им в пути. Удобней было миновать его поодиночке, пользуясь чьим-то чужим, только что проложенным следом. Доломанова оказалась впереди, Фирсов не видел ее лица и — чтоб проверить искренность признанья, решил пуститься на одну подвернувшуюся уловку.

— Да вы просто шутите насчет своего увлеченья, мадам,— поворчал он сзади с обиженным смешком,— грешно возводить в ранг любви просто затянувшееся недоразуменье. Вообще как часто из лености ума мы разные бытовые понятья — склонности житейские, влеченья или пристрастья! — обозначаем словом, которое следовало бы произносить с непокрытой головой! Я поясню, мадам. Бывает любовь к родине, к ребенку, к пиву с воблой, даже к возможности причинять ближним зло — всякий раз разная... не правда ли? Одна бывает как благословенье, другая как удавка, одна из восхищенья или жадности, другая божественная или скотская... Конечно, встречается и еще одна: слепая, злей болезни и хмельней зеленого вина, горькая любовь за доставляемое страданье, как у Балуевой... но ведь вы-то совсем иная, ни капли на эту добрейшую толстуху не похожая. Интересно, однако, чем же это он ранил вас, злодей?

Полуобернувшись, Доломанова открыто посмеялась на еще один неудачный фирсовский маневр.

— Не хитри и не льсти мне, Федор Федорыч... уж который раз к этому замку ключик подбираешь!

— Да просто я представить не могу, какого масштаба должно быть горе, чтобы причинить вам такую любовь...

— Не старайся, все равно не скажу. И не потому, что тайна... ты еще хуже какую-нибудь придумаешь! А просто не найдется нынче весов таких, чтоб горе мое взвесить. И глянька, невесомое вроде, а тяжеле камня всякого, на самое дно с ним ушла. Я и солнце как сквозь тину вижу, оно мне зеленое, как утопленнице...

— Отчего бы это столь странное ощущенье? — иронически покосился Фирсов.

— Скажу, пожалуй... — и, рукою в перчатке зачерпнув снежку, Доломанова долго смотрела на образовавшийся слепок в ладони, пока не распался. — Только я издалека начну... Знаешь, мне часто кажется, что все вещи вокруг: снег и вон та

звезда, поступки наши и сами мы — только следствия, логические кончики каких-то бесконечно длинных и дальних явлений и бурь... не поддающихся подсчету, но, поместь для подслушивающих, вполне математических, Фирсов! — говорила она явно фирсовскими словами и мыслями, которыми тот, от влюбленности своей и сам того не замечая, наделял Доломанову в наиболее ответственных местах своей повести. — Вот и сейчас, к примеру, словно бы и нет тебя вблизи, только голос издали знакомый... а будто все опять и опять неотступный и громадный, во все небо, ветер, и сквозной мост на Кудеме, и щемящее сердцебиение от высоты... и потом какая-то гудящая сила прижимает меня к этому неумелому мальчику в синей рубашке. Кажется порой, что уж все отболело, отошло, все захватано, потоптано, а знаешь, до сих пор чувствую его руку вот здесь, на плече... — и коснулась того места на фирсовском демисезоне, где вшивается рукав. — И как вспомню, то даже и неинтересно, что там дальше случилось в жизни... Скажи теперь, разве это не любовь?

— Нет, не любовь, Марья Федоровна, а всего лишь боль по несостоявшемуся... между прочим, глубиной этого чувства также мерится человек! — поправился Фирсов в намерении смягчить то, что готовил этой женщине в повести своей. — Не скажу вам ничего утешительного: заболевание не из смертельных, зато оно и не излечивается... и как дохлестнет до бешенства, то мало ли чего натворишь тогда в полной-то душевной слепоте!

Шаг за шагом, без единого слова больше, они приближались к окраине,— мельчали дома, множились деревья, черней становилось небо над ними. Хлопья непрочного пока снега срывались с перегруженных ветвей, а прокаленный морозцем воздух приобретал такую прозрачность, что почти видно становилось глазам то самое, для чего открывались однажды. Уж возникала надежда, что заблудились; засветив пучок спичек сразу, Фирсов вчитался в синюю дощечку над головой — с этого пустынного перекрестка начиналась Благуша. Так и записалось в фирсовской памяти: Доломанова надеялась отыскать непременно и где-то рядом существующий проход в смежную действительность мечты и детства, чтобы встретить там прежнего Митю.

Тот пребывал совсем близко,— то и дело доносились скандальные отголоски векшинской деятельности. Слава возвращалась к нему — падающая звезда ярче светится к концу. Кто-то

пустил слух по московскому дну, будто Дмитрий Векшин успешно показывает рекорды шниферского мастерства в одном европейском королевстве, водя за усы самых проницательных пинкертонов Запада. Ставший после смерти Щекутина хранителем блатных традиций Василий Васильевич Панама Толстый передавал за точное происшествие, будто Векшин, напоив в перворазрядном кабаке одну такую сыскную знаменитость и сделав ей замысловатый подарок, что-то вроде кофейника с музыкой, послал спать со словами — дескать, я могу бросить на тебя, в глазах капиталистов, нежелательную тень, любезный, как на службиста, потому что хотя я и линялый теперь, но по-прежнему красного оттенка!.. Известия эти сопровождались мифическими преувеличениями вроде того, что крупнейшая фирма несгораемых шкафов через объявления в газетах целого континента пригласила Векшина на постоянную работу в качестве эксперта по банковским сейфам, но тот отказался из понятных политических соображений, а это уже означало, что русский Чуркин выходит в Рокамболи международной категории... Так из дружеских симпатий напрасно старался Василий Васильевич романтической шумихой поддержать славу падшего героя, на деле давно готового превратиться в заурядную шпану, которую общество просто смахивает, как сор с большого стола.

VIII

При всей их невероятности мнимые заграничные гастроли Дмитрия Векшина тем более льстили цеховому тщеславию столичного дна, что уж казалось временами, навеки миновала пора великих свершений. В связи с отмиранием строя шальных богатств и сословия денежных воротил всего за несколько лет успело измельчать искусство быстрого обогащенья: блатным тузам, чьих следственных материалов хватило бы на отраслевую диссертацию, оставалось либо ржаветь от безделья, либо выбираться за добычей на мелкую воду, где их ловили за руку обыкновенные рыночные тетки.

Уныние и растерянность охватили московскую плутню, когда за один незабываемо пасмурный денек посреди зимы оборвалась по пустякам едва наладившаяся карьера Котьки Ярое Око, сгорел на слитке фармазонского золота Василий Васильевич и прикрылась мельница Тихого Бенчика,

владелец коей вскоре был выслан в полярную местность, совершенно непригодную ни для расшатанного здоровья, ни для его кипучей деятельности. На другое же утро после тех прискорбных событий курчавый Донька порадовал Доломанову известием, будто никогда не уезжавший за рубеж Векшин только что погорел на громе с раскатом в одном провинциальном госспирте, причем удирал от погони через городскую площадь, полную воскресной публики, и на штанах у него висела комнатная левретка местной нэпманши.

— Видала небось... нету злей этих маленьких трясучих собачонок,-- говорил Донька тоном ленивого безразличия, рассчитывая унижением соперника приблизить час собственного торжества. — Такая ежели пристынет, ее только с мясом оторвешь!

— Кто это рассказывает?.. один подлец лжет, другой за ворота носит... — стоя вполоборота, обмолвилась Доломанова, но в чулан прогнала не прежде, чем дослушала до конца.

— Дружок даве приезжий передавал, он там в пивной у окна сидел... могу самого привести! Намекал даже, будто штанов на нем вовсе почему-то и не было, на Митьке, уж не знаю... Может, для резвости скинул, хотя по осени и застудиться можно!

— Так вот, Доня, сплетни этой никому не повторяй,— без выражения сказала Доломанова и отвернулась, мускулы ее рта кривились, как отравленные. — Услышу, так тебя накажу, что и вздохнуть не успеешь.

Донька лишь головой покачал, любуясь ее спокойствием.

— Что ж, если от твоей собственной руки...

— Мне мараться ни к чему, грязная рука и среди вас за двугривенный отыщется.

...Вскоре случаи провалов настолько участились, что дно сперва ощетинилось, потом притихло, испуганно оглядываясь на себя. Обреченные чаще всего проваливались на деле, так что невольно возникало подозрение о тайных ушах в среде самого блата. Когда едва не засыпался всеобщий любимец и новичок на дне Петя Ребенок, парень исключительной силы и незлобивости, то решили сперва, что его из мести хотел сжечь паук Артемий, которого тотчас потащили на счет и били, прикрыв голову детским одеяльцем. Позже выяснилось, что старика позорили зря: каторжной суровости человек, тот и знать не мог про Петину гастроль, лишь накануне выйдя на волю после полугодовой лежки в тюрьме и ночь проведя в

пустом вагоне. Заподозренная было Катя-перетырщица, незадолго перед тем брошенная Петей, оправдалась дорогой и странной ценой, принесла на суд в газете свои чудесные, воспетые Донькой косы и на глазах у всех швырнула посмевшему очернить ее любовнику в лицо.

Кто-то выдавал с озлоблением на грани дьявольского вдохновенья, словно мстил подполью лишь за то, что оно и его, мстителя, содержит в своей мрачной утробе. Черная печаль воцарилась на дне, беседы велись опасливым шепотком, все украдкой вглядывались в лицо соседа или собеседника. Никто не верил ни стенам, ни любовнице, ни вину, ни ночной тишине. Железный палец розыска одного за другим выковыривал из небытия даже почитавших себя в полной безопасности... и вдруг радостная молва несколько оживила застойную скуку подполья. Весть об удачном побеге Саньки Велосипеда мигом и в преувеличенно-сказочных подробностях облетела уцелевшие столичные вертепы. В этом дерзком бегстве из тюремной кареты, на ходу и с роскошными приключеньями, виделось предзнаменованье грядущих удач.

Подготовку побега упорно связывали с именем Векшина, который сам не мог этого подтвердить, так как не показывался на людях, Санька же отрицал его участие лишь в той степени, чтобы не подвести высокого покровителя. Беспримерная удача и старинная векшинская дружба возносили его теперь на вершину блатного внимания и почета. Стало известно, что в период Санькина небытия Векшин выплачивал пособие его осиротевшей жене, правда — не помесячно, а единовременно, перед самым возвращением Саньки в воровскую семью... Неизвестно, откуда она добывала средства, но только Ксенья пила в ту пору горькую, с беспечностью новопосвященной невинности посещая все те подпольные щели, где бывал прежде ее муж. Разгул украсил ее щеки двумя насмерть пылающими розанами; подорванное здоровье не выдержало налетевшей непогоды. Путь отступленья к мирному житию был для нее отрезан: просто не успела бы теперь! Зато, обветренное отчаяньем и опасностью, лицо ее поразительно заострилось и похорошело. После короткого перерыва в счастии они снова рука об руку проходили с Санькой сквозь жизнь, одержимые не болью сожаленья, не фальшивой удалью отчаянья, а какой-то темной, никем пока не разгаданной страстью. Всюду с тех пор они появлялись вместе, и замечено было, что их присутствие приносило веселье гуляке, бодрость неудачнику, счастье

игроку. Временный Санькин отход толковали как хитрую уловку, заметавшую старые следы. Умея быть по-своему великодушным, блат не напоминал этой чете о недавней чуть было не состоявшейся измене.

Сапожно-колодочное заведение Александра Бабкина окончательно захирело, да после тюрьмы его с женою как-то и не тянуло назад, в милый, но тесный в конце концов и сыроватый подвал. Блатная фортуна улыбнулась побитому ею, два мелких дела успешно сошли с Санькиных рук; в ту же неделю она подкинула несколько крохотных удачек и прочей шпане. Отныне Санькина легкая рука стала предметом не меньшего удивленья, чем подметально-холуйское Донькино житьишко у Доломановой. Сам Донька почти перестал бывать в низах, как назывались на Благуше полудозволенные укромные уголки сговора и отдохновения, потому что совсем не прикасался к вину, и все умолкало при нем — такой он стал опасный, похудевший с лица, напряженный до сходства с тетивой. Даже заочно не смела шутить молва насчет пресловутого поединка любовных воль, а все женщины почему-то ждали в газетах извещеньица в черной рамочке о безвременной гибели новой звезды экрана в подворотне от ножа неизвестного злоумышленника; сама Доломанова однажды печально пошутила Фирсову, что, наверно, по его предсказанью, умрет внезапно и в кровати... Во всяком случае, все было к тому готово, даже закончились съемки фильма с ее участием, поставленного по фирсовскому сценарию таким же, видимо, обезумевшим от Вьюги режиссером.

Когда в начале зимы картина поступила наконец в прокат, балованной столичной публике был предоставлен случай поворчать еще на одно посредственное кинотворение. В нем роскошная, подозрительного социального происхождения дама губила одаренного, чрезмерно пылкого поэта, посредством которого мстила главному герою, поскользнувшемуся изобретателю какой-то машины механического счастья; всех их стремился вовлечь в пропасть старого мира подыхавший с приплясом разнузданный толстяк помещик, своевременно разоблачаемый прозорливым преддомкомом. Оттого ли, что по самому свойству кино не задерживать подолгу внимание на одной сцене экран лучше прочих искусств скрывает находящуюся за ним действительность, только весь зрительный зал на дневной премьере вместе с журналистами привычно аплодировал режиссерской выдумке, ловкой сюжетной логике сценариста,

а больше всего — порабощающе-тревожной, какую иногда, несмотря на старанье, никак не успеваешь рассмотреть! — прелести вчера еще безвестной актрисы. И ни одна душа в зрительном зале не догадывалась, что перед ней проходит та самая Манька Вьюга, тот самый Векшин, те самые Манюкин, Донька и Чикилев, чье нетерпеливое дыхание постоянно слышалось по ту сторону уличных плакатов.

— Послушай, Фирсов, в чем тут дело? — обжигая ему ухо, спросила Доломанова, чтоб не слышали соседи. — Меня снимали по кускам, и я строго соблюдала предписанные мне характер и переживанья... но целиком всю эту тараканью свадьбу я вижу впервые. И не пойму никак, что же именно здесь происходит?

— Обычный условный восточный театр — условных пороков и добродетелей, прелестница,— отвечал Фирсов, покусывая губы,— только он в зародыше пока, этот театр масок, надеваемых перед выходом на сцену. Личное и частное, душа и рубище исполнителей сдаются за кулисами под номерок, участвуют одни классические пороки и добродетели. Такое искусство выгодно тем, что не утомляет ни актера, ни зрителя. Немалое его преимущество и в том, что за время спектакля можно пробежать газетку и даже, без ущерба для дела, сходить в баню, если поблизости...

— Ах, мне это совсем не важно, хорошее оно или дурное!.. но ты объясни без злости: может быть, оно нужно?

— Нет, но оно закономерно, как все людское на земле,— помялся Фирсов. — Если оно просуществует триста лет, о нем напишут почтительные книги. Сам я сторонник другого театра, но, как правило... люди зачастую не склонны менять удовольствие, пока не насладятся им до смерти!

На той премьере Фирсов сидел в ложе с Доломановой. Хмуро, с видом неловкости и терпения следил он за плоскостной игрой своих теней, из которых ни одна не сходила с экрана, чтоб на прощанье до боли стиснуть в кулаке чье-нибудь сердце. Сценарий этот, написанный в негативно-иронической форме, он считал своим выступлением в как раз начавшейся тогда и затянувшейся на десятилетья дискуссии о месте идей в творчестве художника, о некоторых опасностях пренебреженья явлениями духовной жизни, о разном прочем в том числе, и теперь был несколько смущен шумным успехом своего памфлета... Но, странное дело, то ли опознал кто подпольную героиню, то ли проболтался соседу дежурный наблюдатель из

розыска, но только во второй половине фильма вдруг как бы искра зигзагом пронизала зрительный зал. Как раз случился обрыв, и все обернулись в сторону ложи, где в обычном своем, в черном, позволяя Фирсову объяснять себе что-то, недвижно сидела бывшая Вьюга. Никто и теперь не знал о ней ничего, кроме ничтожных подробностей, но даже две-три ноты из трепетной живой человеческой биографии, обогащенные живой кровью собственного опыта, становились основой иной музыки, несравненно умней и страстней, чем звучала с экрана. Тем временем в фильме начался главный канцелярский самум с личным участием самого товарища Егорова, но никто не смотрел туда, и некоторые, под шиканье с задних мест, предусмотрительно пробирались к выходу, чтобы дождаться, ближе разглядеть Доломанову, когда та побежит наконец от неумеренного зрительского любопытства.

— Знаешь, у них еще надолго там,— внезапно сказала Доломанова,— поедем ко мне, сочинитель, кофий пить...

— ...если найдется нечто утешительное для главного страдальца? — неопределенно досказал Фирсов и прибавил, ничего не получив в ответ, что его знобит с утра.

Пока Доломанова возилась в раздевалке с ботиками на виду у первого робкого еще десятка глазевших поклонников, Фирсов нанял у подъезда захудалую, припавшую на одно крыло московскую пролетку... и потом ждал свою даму на улице, с завистью следя за мокрыми воробьями на заборе, проявлявшими редкий в их положении оптимизм; гаже, чем в это время, не бывает погоды в Москве. Недавний снег превращался в стылую кашицу,— все надежды на близкий морозец и счастье таяли вместе с ним. Что-то множественно чавкало и хлюпало кругом, сырая пакость текла и валилась с крыш за поднятый воротник, гулко ухало в водостоках. Мир исчезал в вечереющей мгле, только рисовались дома по ту сторону улицы да еще деревья, как попало развешанные по туману... и тут у Фирсова само собою проструилось из ума в записную книжку, что лучшей поры для самоубийства не сыскать!.. Вдруг смутное красное пятно родилось за стволами деревьев и, поминутно заслоняемое кустами, стало приближаться из глубины бульвара. Какая-то нечаянная кроткая утеха содержалась в нем для глаза, и вот уже оно выглядело как чудо, наделявшее особым смыслом, даже высшей красотою сезонное уныние вокруг... Подвыпивший мастеровой вел за руку дочку, прижимавшую к груди круглое, милое, красное, видимо — отцовский подарок.

То был детский воздушный шар, такой симпатичный, хотя и не летал по причине сырости, даже приходилось прикрывать его варежкой, чтоб не простудился.

— На кого ты загляделся тут, сочинитель? — раздался знакомый голос.

Фирсов вздрогнул и молча полез в пролетку. Извозчик поднял кожаный верх, вожжи плеснулись по захудалой безответной твари, путешествие началось.

Ехать было далеко и скучно, потому что, хоть и прижата была вплотную, в тот раз Доломанова в особенности далека была от Фирсова. Лишь в самом конце пути она справилась у него, о чем задумался, и тот ответил не прежде, чем прогнал из памяти все еще маячивший там детский шарик.

— Не надо огорчаться тому, что чудес в продаже не бывает,— рассеянно откликнулся Фирсов. — В пасмурную погоду его может заменить мерцанье души, в ком она водится, разумеется!

— Знаешь, Фирсов, никогда я не понимала до конца ни книг твоих, ни тебя самого... и не только моя в том вина. Вот ты давеча насчет искусства наворчал, а ведь я так и не узнала, какое тебе нужно искусство...

— Ладно,— вздохнул Фирсов и огляделся по сторонам, хватит ли ему времени на объяснение; к сожалению, до места оставалось всего минут пять езды. — Видите ли, миледи, человеческая душа довольно странный механизм. В отличие от швейной машинки, она не выносит, например, когда в нее вводят отвертку. Она не терпит всякой химии в предохранительных от зла таблетках, ей требуется натуральный продукт. Другими словами, она желает самолично созерцать все, из чего составлено бытие, то есть вечность, борьбу света с тьмой, начала и концы, а также все прочее, в чем требуется строгий, однажды в жизни выбор и раздумье, то есть — собственными, широко отверстыми очами, а не в передаче оперативных творцов литераторского цеха. Человеческое вдохновенье не любит иначе, оно чахнет тогда и отмирает, не имея надлежащего благоговейного упражнения, вследствие чего из него однажды может получиться что-нибудь в высшей степени наоборот. Словом, я стою за искусство, которое делает человека лучшим вообще, а не по какой-либо отдельной административно-хозяйственной или, скажем, санитарно-домостроительной отрасли... Понятно теперь, подстрекательница?

— Все равно нет... — засмеялась Доломанова.

Дальше некогда стало объяснять, они приехали. Фирсов соскочил с пролетки первым и самоотверженно, по щиколотку в стылой простудной слякоти, помог даме перебраться через лужу, подступавшую к самому подъезду.

IX

Еще в прихожей Донька с нарочитым поклоном, без гаерства на этот раз, даже не без почтения доложил Доломановой, что ее уже давно поджидает незнакомая б а р ы ш н я... Сидя с ним за шашками в чулане, Фирсов весь тот вечер проискал, что именно дало Доньке основанья назвать этим словом Таню Векшину, и лишь позже, на улице, понял, что Донькино определение прочно ложится на место при условии добавки к нему — с т а р а я. Что-то крайне старомодное проступало во всем Танином облике, какая-то даже запущенность от долгого пренебрежения собой, как у многих занятых неотвязным и бесполезным размышлением людей или когда они решаются на жизнеопасный и благородный поступок. Фирсову показалось сверх того, что Таня торопилась совершить его — не оттого ли, что уже созрела для происшествия, которого сам автор теперь не смог бы отсрочить или отменить.

Оказалось, что Таня больше часа дожидается Доломановой, и все это время Донька усердно знакомил ее со своими стихами,— видимо, из жгучей потребности доверить какой-нибудь чуткой душе свои мечты и звуки. Угрюмое доверие его, наверно, подкупили неблагополучие и неспокой в Таниных глазах, заставлявшие предположить в ней родственную сердечную неустроенность,— Тане же, не очень придирчивой в делах поэзии, понравились его своенравные вирши, в которых клокотала предвестная тоска, тоже как бы перед смертельным восхождением на высочайшую гору. Наряду с пророческими попадались и строки, окрашенные предельно искренней и настолько естественной чувственностью, что как бы утрачивалась их запретность, и Таня краснела на тех местах скорей от удовольствия, чем от стыда, как на высоких качелях. Видимо, это была странная, с первого взгляда зародившаяся и тотчас оборвавшаяся дружба.

Выглянув на звонок в коридор, Таня видела, как хозяйка снимала шляпу перед зеркалом, машинальным жестом разгладив складку утомленья возле рта, как услужливо подхва-

тили Донькины руки сброшенный Фирсовым демисезон,— но Таня не пошла к ним навстречу, а вернулась к окну, так что обе женщины смогли взаимно, с достаточного расстояния разглядеть друг друга, прежде чем была произнесена вступительная, ключевая ко всей их встрече фраза.

Таня начала с нескладного напоминания, что она Митина сестра, что они уже встречались в одном месте и что, наверно, у Доломановой впечатление о первом их знакомстве осталось не без оскоминки,— конечно, по ее, Таниной, вине. Потом Таня предоставила хозяйке возможность выразить свое отношение к ее неожиданному визиту, но та по-прежнему молчала, не сводя с гостьи неожиданно грустных и пристальных глаз, отчего последняя испытала знобящее чувство наготы. И сразу так разволновалась, что не заметила дружественного ободряющего кивка, вряд ли даже самого Фирсова заметила, с особым интересом следившего за разворотом встречи; профессиональное чутье подсказывало здесь лазейку к давно томившей его загадке.

— Митя не так уж много, но крайне тепло рассказывал мне о вас... — неуверенно начала Таня, делая машинальный, не поддержанный с другой стороны шаг вперед.

— Да, вы мне поминали об этом в прошлый раз... и я очень порадовалась за Митю, его не утраченной пока способности говорить о ближних хорошо,— с туманной и жестокой иронией ответила Доломанова, возможно — чтобы не подумали, будто имя Векшина служит безоговорочным пропуском прямо в сердце к ней.

— Я только хотела сказать,— с подкупающей горячностью объяснила Таня,— что Митя всегда вас Машей называл, а полного вашего имени... пока ждала, я как-то не успела, верней не догадалась у него спросить,— и сделала полувопросительный, тоже оставленный без внимания жест в сторону прихожей. — А вы понимаете, обращаться к вам ближе со второго раза я просто не смею...

— Да ведь это и несущественно... — помимо воли загоревшись странным огоньком, отвечала Доломанова, а затаившийся в дверях Фирсов, как ни приглядывался к собственному, в конце концов, созданию, не мог и полстроки прочесть из ее тогдашних мыслей. — Давайте не будем громоздить лишнее там, где и без того тесно...

Несколько мгновений Таня растерянно глядела в пол, и лишь неотложность цели помогла ей устоять перед очевидной

неудачей своего вступления. Видимо, ее смятение несколько смягчило Доломанову.

— Верно, у вас срочное дело ко мне?.. я к тому, что мы с Фирсовым прямо с просмотра одного вернулись и, правду сказать, я в дороге продрогла немножко. Не хотите поужинать с нами?

— О нет, что вы... — откровенно заторопилась Таня и тотчас испугалась при мысли, что ее восклицание будет принято за отказ от общенья с женщиной несколько скользкой, неопределенной известности. — Я не потому, что тороплюсь... да мне, признаться, и некуда!.. а просто за едой как-то неловко будет об э т о м. Знаете, еще утром сегодня, чуть проснулась, мне так явственно приоткрылось вдруг, что я была непростительно резка с вами в тот, прошлый раз... причем — по поводу, о котором если даже имеются у меня какие-то жалкие сведения, то бесконечно смутные... и односторонние к тому же. И меня смертельно потянуло как можно скорей... нет, даже немедленно! прийти извиниться перед вами... вот я и пришла,— закончила Таня, виновато улыбнувшись.

— И вы так долго шли ко мне? — недоверчиво переспросила Доломанова. — С утра?..

— Я не сразу после завтрака вышла, и сперва потянуло в цирк, по старой памяти, пыль понюхать... шибче табака привыкаешь! Мне как-то полюбилось пешком ходить, мне на людях легче, хотя и ночью тоже гулять хорошо... — Вдруг она с озабоченной приглядкой посмотрела на хозяйку. — Но вам никогда не казалось, что чем больше в одном месте людей собирается, тем... не то чтобы одиночество сильнее, а как-то незаметней становится человек... пропадает, растворяется. Я даже спросила раз у Фирсова, а что будет, когда и х станет сто мильярдов, и он мне не ответил...

— Я потому лишь не ответил, что вы меня об этом мимоходом спросили, в фойе цирка и перед самым третьим звонком,— задетый за живое и выдавая свое присутствие, сказал из коридора Фирсов. — О н потому и незаметней становится, что когда перед ним множество — это его народ!

Доломанова внимательно взглянула в его сторону.

— Вот видите, какой у нас умненький автор! — улыбнулась она и, лишь теперь подойдя, покровительственно, вместо рукопожатья, обняла Таню за плечи. — Пальто ваше в прихожей совсем мокрое... где вы так? И ноги, наверно, промочили, я же вижу, что промочили... хотите туфли мои? Мохна-

тые и теплые, как две печки, сразу настроение переменится... пойдемте!

Не дожидаясь ответа, Доломанова отвела Таню к себе в обжитой угол, захватив по дороге шаль со спинки стула, и больше мужчины не видели их вместе, слышали только разговор: сперва смущенный и благодарный Танин голос, потом хозяйкин, настороживший своею еле сдерживаемой двойственностью. И Фирсов так и затаился при мысли о совсем близкой теперь разгадке главной тайны.

— Кофе нам покрепче приготовь, Доня, да все к нему тащи сладенькое, что в доме есть... и утешительное тоже, погреться! — распорядилась Доломанова, но едва Фирсов приготовился захлопнуть неуловимую птичку в записную книжку, вспомнила вдруг и о нем. — И ты с ним ступай, пожалуйста, помоги Доне, Федор Федорыч!.. Можешь там у него на койке с газеткой до обеда поваляться. Да закрой дверь поплотнее, Доня!

Оставшись вдвоем, женщины уселись было в низенькие кресла у такого же низкого стола, но показалось холодно и неуютно, тогда они перебрались с ногами на тахту и молчали, пока не установилось согласие слушать друг друга и, главное, думать об одном и том же.

— Верно, заждались тут меня?

— О, пустяки, уйма свободного времени у меня теперь. В силу разных там причин я почти ушла из цирка... вот, последнюю жилку, паутинку, не хватает силы порвать.

— Я слышала... но, если это опасно, разве нельзя другой номер приготовить?

— Ах, все другое многие умеют... — со вздохом улыбнулась Таня. — Конечно, можно, да слава не пускает!

— Во всяком случае, я ужасно жалею,— дружественно сказала Доломанова,— что так и не пришлось мне вас в цирке повидать. Фирсов недавно сказал мне, что это получалось у вас необыкновенно строго, графично и жутко почти до потрясения. Впрочем, он оставил мне маленькую надежду, что, может быть, и успею...

Особенная в тот раз внимательность Доломановой располагала Таню к горячей, как-то наотмашь, искренности.

— Сама теряюсь, с чего это у меня началось... — пригретая похвалой, заторопилась она,— с утра как будто ничего, но все маетней, хуже к вечеру, и потом взгляну вниз из купола, так все кругами и поплывет подо мной: словно отроду

наверху не бывала и от всего отвыкла. Про летчиков тоже говорят, будто с годами вылетываются, но у циркачей этого не бывает... почти! даже у тех, кто без лонжи и сетки работает. Я у стариков наших справки наводила... нет, говорят, такого не помнится. Видно, одна я такая, Митиной породы, тронутая. У него тоже — пристанет мысль и все жужжит, вьется над ухом до безумия, глаз смежить не дает. Видно, что-то наотрез кончилось прежнее во мне... ну, я и перекочевала из циркачек в невесты, хотя, судя по всему, состояние это грозит затянуться, а в моем возрасте звание невесты со стажем комично звучит... не правда ли? Слишком уж он деловой у меня, денежную машину себе мастерит, чтоб деньги делала... верно, и я такой же с годами стану, каргой на пару ему, потому что ужасно боюсь потерять его. Товарищи под эту прощальную мою панику уйму подарков ценных натащили, а мне они хуже венков погребальных... да и неловко, потому что самое тело ни капельки у меня нигде не болит, совсем здоровая... докторам совестно показаться, скажут — притворство одно!

— Вы не нарочно ли для меня так огрубляете свою историю... или у вас основания имеются так плохо думать обо мне? — мягко попрекнула Доломанова, и скрытая в ее голосе ласка внушила Тане надежду на благополучное завершение задуманного предприятия. — А ведь я почему-то думала, что он тоже циркач у вас...

— Что вы, всего только торговец, да еще из нынешних. Митя его за это ужасно невзлюбил, хотя внутри Николка не такой уж испорченный. Молодой, не закостенел пока... ах, да мне все равно: разве глядят, в какую яму прятаться со страху? Вот я и мотаюсь по всему городу как маятник, сама от себя бегу... но странно, что и у брата точно такая же пора настала: все бежит и сам себя настигает. — Она невольно усмехнулась поразительной игре попутных обстоятельств, повернувшей разговор на главное направление. — Недавно мне во сне привиделся: будто в незнакомых воротах встретились, и я его обнять тянусь, а он молча уставился в меня пустыми глазами, ничего в них нет... угол дома с осыпавшейся штукатуркой сквозь них запомнила, на картинке бы это здание узнала! Любому, да и вам в том числе, если бы вникли, стало бы страшно за него... И я нисколечко его не оправдываю, да и смешно в наше-то время, когда вокруг... ну, вот это самое! Напротив, я даже сдаваться ему советовала: прийти и пускай

что хотят делают, все равно легче... долго ли гору такую в себе проносишь? А он отвечает мне, что через силу сдаться значит солгать, а ложь штука такая хлопотливая, все время подновленья требует, и ночью-то покоя не дает. Оно и подождать можно бы, время есть, да плохо, что люди таких занятий постепенно приучаются питаться чужим потом и горем, уж до такой степени впоследствии свыкаются, что, вроде клопов, собственного запаха не слышат, бесчувственные. А Митя каждую минуту, мне Зина Васильевна еще раньше по секрету рассказывала, даже и ночью помнит, кем он стал, и тогда как бы обмирает и по часу, по два как мертвец среди ночи лежит, только с открытыми глазами. Ничего, что я все о нем рассказываю?

Сплетя втугую пальцы, Таня прижала руки ко рту и пережидала с закрытыми глазами, пока отхлынет от ума и сердца.

— Позвольте, Танечка... дайте же и мне хоть слово сказать... — вдруг прервала ее Доломанова, беря за руку, и сама не заметила, как холодно, льдинкой, сошло с ее губ это имя. — Прежде всего я действительно рада нашей встрече, а то немножко не понравились вы мне в прошлый раз, когда вслепую бросились защищать предмет... не имея о нем ровно никакого представленья. Вот и теперь вы ужасно как неосторожно, я бы сказала, за свою родню волнуетесь, хотя ровно ничего Мите теперь не угрожает!.. через каждое слово ее вспоминаете, а в этом доме... оно вроде и не надо бы. Кстати, он знает сейчас, что вы ко мне отправились?

— Ой, что вы... да разве он позволил бы! — со всею честностью вырвалось у Тани.

— Это хорошо, милая Танечка, а то после одного там случая я ужасно как не люблю небрежного с собою обращения... я тогда такая сердитая, плохая, просто неприличная становлюсь! А вам совсем не следует за этого человека волноваться, потому что как раз вы с ним ни чуточки не схожие, да и бегства ваши, как вы сами назвали, происходят от разных причин... уж поверьте слову. В силу некоторых личных переживаний у меня довольно проницательный глаз выработался на людей. Митя скуп на чувство, тогда как вы расточительны по натуре, вам раздать себя всем хотелось бы... хотя не стоит, поверьте слову, потому что больше чем по кровинке на брата не достанется, и меньше всего оценит ваш смешной подвиг собственный брат ваш. Такому кровинки мало, даже людской...

Не зря он сам про себя говорит, что железный, а железо людей не любит, оно презирает их именно за то, что они теплые, непрочные, согнуться под болью могут. Потому и не осталось у него кругом никого: железо ржавеет в одиночку! И тем болезнь его страшна, что от ней выздоравливают чаще всего в другую, в Агееву сторону... по ту сторону честной смерти. Вон Фирсов взялся на свою шею Митю описать, подарочек подкинуть любимой родине!.. а теперь за голову с горя хватается — поскорей бы с ним разделаться. Брат ваш, Таня, и нынче не хорош, а дальше с ним еще хуже статься может, так что не заступаться за него надо, а отвернуться бы вам, вовсе на него не смотреть, пока сам не окликнет вас однажды человеческим голосом. Все на свете, побывав под большим колесом, становится мягче, даже камень. А пока лучше забудьте о нем на время...

Таня виновато развела руками.

— Нет, это никак не возможно для меня.

— Не понимаю... И почему вы не пришли ко мне с этим сразу после той, первой нашей встречи?

— Вчера было еще рано, а завтра, может быть, и поздно станет,— потупившись, сквозь нечаянные слезы улыбнулась Таня.

— Вот я и добиваюсь от вас — почему?

— Ну, привычка у меня такая,— смущенно призналась Таня.

— А в чем она, привычка-то?

— Ну, с годами от постоянного усилия... верней, от насилия над собой у меня выработался такой обычай... перед каждым выступленьем непременно требуется мне вымести комнату, платья развесить, посуду вымыть — словом, начисто прибраться дома... и в мыслях тоже все позади себя в полный порядок привести. Ничто постороннее не должно отвлекать меня там, на высоте. И не то что судьба брата, а даже вот... вы смеяться будете, пуговица затерявшаяся!

— Но вы же сами сказали, что уходите из цирка! — вспомнила Доломанова.

— Да у меня перед любыми отъездами та же привычка, а то вспомнится в дороге какая-нибудь недоделанная мелочь, и все путешествие насмарку. Знаете, иногда песчинка в башмак забьется, так ведь изведешься в пути!

Решительным и дружеским движением Доломанова взяла ее за руку.

— Вы что же, одна или с мужем собираетесь уезжать? — врасплох и настойчивей спросила она.

Таня покраснела, принялась сцарапывать воображаемое пятнышко с покрывала на тахте, и стало ясно, что сейчас она попытается солгать.

— Еще не знаю... но Николка жаловался мне однажды, что его забивают более опытные дельцы: их везде как мух развелось! Я тогда ему и посоветовала лучше с провинции пробиваться... да и мне было бы полегче, где без цирка, где соблазна нет. А так разве без дела усидишь?.. Вот в силу этого предположительного отъезда мне и захотелось устроить все семейные дела. Я старшая осталась...

Доломанова начинала понимать, что все это скорей болезнь, чем даже прихоть. Невольно обращали на себя вниманье запавшие вглубь Танины щеки, ее скользящий, как бы не находивший опоры взгляд; к этому прибавлялись какая-то лихорадочная воспламененность, многословная повторяемость некоторых оборотов и, в первую очередь, та знакомая Доломановой заискивающая растерянность обреченности, какую когда-то наблюдала у напуганного старостью отца. Все показывало ей, что она не вправе отказать Тане в этом утомительном и пока что бесцельном разговоре.

— Хорошо, предположим, что мы с вами примирились...— по возможности сдержанно согласилась Доломанова. — Чего же вы еще хотите от меня?

— Я вам отвечу сейчас, только дайте слово сперва, что сердиться на меня не станете. Что́ бы та, другая, женщина мне про вас ни твердила, вы ведь, по-моему, очень душевный человек, хотя я и не знаю вашего колеса!.. а у Мити в его почти бесповоротном пройгрыше ничего больше не осталось, кроме надежды, что люди в конце концов всегда хорошие!

— Люди не дурные и не хорошие, они прежде всего живые... и все наши разочарования происходят от ошибок наших... в ту или другую сторону,— словно предвидя возможный поворот впереди, несколько волнуясь, поправила Доломанова, и тут обе почувствовали, что начиная с этой секунды накопленные было искренность и дружба пошли на убыль. — Но все равно, я слушаю вас!

— Видите ли,— сбиваясь с дыхания, приступила Таня,— по моим самым последним наблюденьям, что-то почти вполне созрело у моего брата, какое-то спасительное решенье... если

и не в сердце, то хотя бы в уме! Ведь это так же трудно, вы понимаете, все одно как от земли при полете оторваться, пока тебя подхватит воздух! причем я уверена, что он непременно поднимется, если только ему вовремя руку помощи протянуть. И как часто мы потом раскаиваемся, что запоздали... или еще там что-нибудь!

— И кто же, по вашему мнению, должен этим благородным делом заняться... вот помощь-то Мите протянуть? — вкрадчиво усмехнулась Доломанова и сняла руку с Танина плеча.

— Да кому же еще, кроме вас одной? — простодушно подсказала Таня. — Ведь вы с ним по-прежнему любите друг друга... как, может быть, уж мало любят в наши дни! Стоит только ту начальную кудемскую встречу вспомнить...

Утверждение вырвалось у ней так искренне, что Доломанова в первое мгновенье лишь головой недоброжелательно покачала. Ей неприятно было напоминанье о Кудеме.

— Откуда же у вас такая преувеличенная осведомленность о чужих чувствах, дорогая моя? — неподдельно удивилась она. — Ах, верно, вы напечатанный фирсовский отрывок в журнале прочли... про любовь розовых малюток, как мы с ним тогда на кудемском мосту обнимались. Оно и вправду лихо там все обставлено, при чтении, как от горчицы, глаза пощипывает, только ведь это все врака одна на лирической патоке, чистая липа, как у нас блатные говорят. Во-первых, это в тихий летний дождик случилось, так что никакой ветреной погоды не было. А во-вторых... — Подобие молнии пересекло ее лицо. — Или это Митя вам по родству своими успехами хвастался?

— Что вы, никогда!.. напротив, ни словечком про это не обмолвился, только горестно так удивился вашему выбору в жизни и прибавил потом с сожалением, что вы несчастная.

— Милый какой! — почти благодарно улыбнулась Доломанова, но у ее собеседницы сердце защемило от ее злой, скользнувшей в углу рта улыбки. — К сожалению, вы заблуждаетесь, бедная вы моя... и да охранит вас господь — когда-нибудь на собственной шкуре убедиться, как глубоко и безжалостно заблуждались вы! А вообще-то лучше бы вам не путаться в эту тину, милочка, не бередить бы наше старое, подзаглохшее: у меня с этим мальчиком особый счет.

Таня как будто только и ждала этой вспышки.

— Вот-вот, вы оттого его и ненавидите, что слишком его любили... Да и теперь еще! иначе я не прибежала бы к вам...— горячо, даже просияв немножко, подхватила Таня. — Я еще в прошлый раз заметила, вы даже красивей, еще лучше становились, чем неистовей говорили о Мите... и Зина Васильевна это острей всех нас поняла, все губы в кровь тогда раскусала, видели вы? Только чувство ваше немножко загнанное... ну, жизнью! и вот огрызается на каждый неосторожный шорох поблизости. Это бывает... ничего, что я так откровенно говорю? А почему бы вам самой не пойти к нему навстречу?.. Думаете, у него не найдется сердца понять ваше состояние? Конечно, не мне разбираться в обычаях, что ли, вашей с ним нынешней среды... — неосторожно поскользнулась она на несколько опрометчивом предположении и тотчас с мольбой и испугом взглянула в совсем теперь бестрепетное доломановское лицо,— но отчего-то все кажется мне, что тут лишь недоразумение сердечное?.. Я охотно допускаю, что невольно он сам чем-нибудь и обидел вас: мне тоже намекали, что он бывает небрежен в отношениях даже с друзьями... но это не значит, что он не любит людей! Мне совсем на днях кто-то жарко доказывал, не Фирсов ли, что еще неизвестно — что́ именно выше, священнее — люди или отвлеченная идея о благе людском, потому что если их просто так, без идеи и плана любить, то ничего не выйдет, а сразу обессилеешь от глупой жалости и завязнешь в ней, именно как в тине. А ведь правда-то в том, чтоб сквозь нужды, даже кровь современников своих звезду ведущую впереди видеть... не верно разве? И потом самый даже беспощадный суд принимает во вниманье прошлое человека, закованного перед ним на подсудимой скамье... и если не ради самого Мити будьте снисходительны, простите его хотя бы во имя того дорогого — в прошлом, что осталось у вас обоих в безраздельном, на всю жизнь, владении. Господи, да коснись это меня...

Никем не прерываемая, она задохнулась без воздуха доказательств, запуталась, иссякла, и тут стало ясно, что вся эта беспредметная, смятеньем сердца внушенная мольба затянется еще надолго, если прямо не повернуть разговор к некоторым происшествиям, которые из какого-то горестного стыда так хотелось Доломановой утаить от всех.

— Вы уж, пожалуйста, успокойтесь, милочка... и за брата хлопотать вам вовсе не требуется и, возможно, даже не очень хочется, а просто вы забрели ко мне наугад, в поисках чело-

веческого тепла, погреться, что, в свою очередь, показывает, до какой степени нет у вас никого из близких. Видно, показалось вам в прошлый раз, что я жаркая, и не ошиблись: раскаленная я. Так что все это у вас нервы одни, от одиноких переживаний. Меня тоже после Агеевой смерти целый месяц трепало... еле выправилась. И я потому еще, Танечка, не советовала вам давеча о брате убиваться, что у меня был случай узнать поближе этого человека. Повторяю, не горюйте о Векшине: коли суждено, он и без вас поднимется из праха... немножко обопрется о плечо неосмотрительного приятеля, на худой конец наступит на грудь или темя подвернувшегося простака. И я допускаю, что он действительно их любит... но не самих людей, а человечество, причем довольно безличное, потому что ужасно как отдаленное, приятно молчаливое, даже туманное за далью веков... и этим самым бесконечно для любви удобное! а ведь это вещи разные, может быть даже противоположные. Фирсов в своем каталоге любвей называет это любовью впрок, любовью без оправдательной расписки в получении. Нет, я не обвиняю Митю, сама не лучше его стала... а все вместе это означает, что не в ту дверку вы стучитесь, залетная пташка вы моя!

Теперь это уменьшительное обращение прозвучало так жестко, почти бесповоротно, что очевидна становилась бесполезность дальнейших упрашиваний. Тане оставался лишь крайний шаг.

— Вот вы и простите, возьмите да и простите ему разом все, что он причинил вам...— с силой прошептала она и во исполнение какой-то истерической потребности соскользнула было на пол, но все сорвалось из-за непредвиденной заминки.

Несомненно, она встала бы на колени, если б догадалась заблаговременно подвинуть мешавшую скамеечку внизу,— в следующее мгновенье Доломанова успела подхватить Таню и усадить на прежнее место, так что все получилось не только не трогательно, как хотелось бы, а даже суматошно, фальшиво, смешно.

— Ну, этого удовольствия я никак не смогу вам позволить, милочка,— сказала сурово Доломанова,— и старомодно, да и лишнее совсем. Верно, по болезни своей вы на такой поступок решились и, правду сказать, не меньшую бестактность только что совершили одну. Вот вы просите за Векшина, а ведь не знаете толком, что́ именно я должна ему простить. Да вы и в прошлый раз, на именинах, не очень пытались

выяснить, на что я тогда так зловеще намекала... а почему бы это? Может, боялись такую **новость** узнать, какая навсегда отвратила бы вас от брата? Вы не Митю, вы себя пожалели, милая, потому что хоть и ограниченный, в сравнении с моим, жизненный опыт ваш вполне представить способен возможности человеческого паденья. Вот только что я помянула имя Агея, которое даже тот дерзкий вор из моего чулана не смеет в этом доме произносить, вполне сознательно помянула... но опять из той же спасительной осторожности вы не проявили интереса, кто бы это мог быть. А это, видите ли что... Это был личный мой, постоянный, домашний, так сказать, палач... извините, не подыщу поделикатней слова. И предал ему меня брат ваш Митя. Соврала я вам давеча... детство наше с ним в точности так и происходило, как в опубликованном фирсовском отрывке. На диво правдоподобно выписаны у него и Рогово тех лет, и весна томительная перед революцией... всё, кроме моих, пожалуй, скитаний по окрестностям. Как раз не любила я дальних прогулок... и не то что трусиха, просто **щекотливая** была я, царевной-недотрогой дома звали. Могут подумать, кто умом попроще, не за тем ли царевна на все время с Агеем связалась, что уж больно понравилось ей с ним в тот раз, на апрельской травке. А это неверно, милочка! Фирсов ногти грызет, ума приложить не может, за каким чертом меня в экую дебрь понесло... к Агею на рога! Но вам я немножко приоткроюсь. А на самом деле это Митя, нелегально приехав в Рогово, свиданье мне в той чащобе лесной назначил... никак ему нельзя было на глаза посторонним попадаться. И уж как я тогда весточке его обрадовалась, еле часа назначенного дождалась... А Митя, несмотря что сам же и назначил, шалун, возьми да и не приди: на заседании задержался. Он в ту пору, как по-нынешнему говорится, большой общественник был. И тут, пока прохаживалась, зябла недотрога на том кудемском бережку, Агейка из кусточков и вышагнул. У него руки дли-инные были, у кобла, что ноги у тебя... И чего он только в тот раз, бесстыдник, не делал со мной, дорогуша ты моя, и так и этак поступал со мною!.. рассказала бы на ушко, да вроде неловко девушке, хотя ты и на выданье. И смотри, какая я крепкая: никому в цельном свете не пожаловалась... так что никто и представленьица даже не имеет, как извивалась я тогда, каменное лицо Агейке грызла, землю талую ела, сама земли черней. Ах, да если бы даже за тыщу верст, в гостях у бога самого находился твой Митя, и тогда,

пусть на одном крыле, пускай даже на сломанном, *должен* был на помощь ко мне подоспеть, вона как!.. понятно тебе теперь, Танюша, куда ты невинной детской ручкой без спросу забралась? — Доломанова помолчала, зажгла потухшую папироску, затянулась, стряхнула с колена осыпавшийся пепелок. — Не говоря уж о том, милая моя, что долго ли и простудиться было в одной рваной-то кофточке да еще на почти голой, апрельской... ух какой ледяной земле!

Таня долго глядела на угасавшее в окне небо.

— И что же, важное заседанье у него было? — невпопад, белыми трепетными губами спросила она.

— А я не спрашивала, голубушка... да мне как-то и неинтересно, милая, чего они там обсуждали,— одними губами усмехнулась Доломанова. — Верно, про всеобщее счастие что-нибудь...

— Тогда, значит, это совпаденье было!.. — горячо воскликнула Таня,— просто несчастное совпаденье!

Та снисходительно кивнула на ее порыв.

— И это тоже поразительно, как метко ты подметила, милочка,— с недобро засиявшими глазами согласилась она,— сообразительность у вас какая! Теперь-то мне и самой ясно, что чистый пустячок произошел, как говорится *частный случай*... так что, собственно говоря, и прощать мне Митю не за что. А с другой стороны — чего ради мне такое, кровное *мое*, прощать?.. по знакомству с вами, знаменитой артисткой, по заповеди ли христианской или из внимания к душевному Митину драгоценному спокойствию? А только все мнится мне, видно по блатной моей низости, что, кабы побольше людям вниманьица оказывали, оно бы и горюхи поменьше стало на земле! Тут и конец, тут мы с вами точку поставим, милочка, и будем теперь кофе пить... и давайте настрого, будто ничего промеж нами не было сказано. Даже Фирсов этого не знает... сама стараюсь не чаще раза в сутки вспоминать. Уж не сердитесь, что слегка вспылила я: больно безнравственным мне показалось — у мертвеца, пускай живого, да еще чужими устами прощенья просить. Признавайтесь, ведь знает все-таки Митя про ваш поход?

— Богом вам клянусь...— вся задрожав, взмолилась Таня.

— Ну и ладно тогда... и за брата своего, повторяю, вы не бойтеся, никакого вреда ему от меня не предстоит. Верьте слову, уж Агей *все* бы сделал для меня, если б я того захотела. Так что забудем наш разговор, и давайте будто приходили

вы ко мне знакомиться, и хоть не сдружились пока, а едва по-бабьи перемолвились — и то для начала вещь хорошая. Почему-то верится мне, что всему переполоху причиной даже не мнимая болезнь ваша, а естественное перед свадьбой волненье. Успокойтесь, выходите замуж, а пока улыбнитесь мне разок... ну-ка! — и, приподняв ее голову за подбородок, обожгла взглядом самое донышко души.

Нужно было отлично владеть собою, чтобы вслед за тем, дружественно и без всякого перехода, спросить у гостьи про глубокие меховые туфли у ней на ногах,— славно ли греют, хваленые. Благодарно прошептав что-то, Таня, поднялась с тахты и оттого, что уходить сразу было неловко, разглядывала какую-то картинку на стене, плохо понимая содержание. Ничего не было у ней ни на языке, ни в мыслях. Доломанова распахнула дверь в ответ на стук, тотчас из коридора показалось торжественное шествие.

Впереди Донька тащил круглый поднос с полным кофейным набором на трех персон,— а следом, видно по предварительному сговору, с салфеткою под мышкой и услужающим выраженьем в лице выступал перегруженный сластями и закусками Фирсов; последним, в расчете на поживу, шел черный Донькин, проживавший с ним в чулане, заморенный кот... Когда все было расставлено на столе, Фирсов приступил к исполнению обязанностей Донькина помощника, причем, из соображений равенства, Доломанова велела и Доньке налить себе чашечку. Усмехнувшись, тот отправился было за посудой для себя, так что Тане, если бы могла, представлялся случай понаблюдать установившийся в этом странном доме своеобразный распорядок отношений, но тут раздался звонок в передней, и полминутки спустя Донька невозмутимо возвестил ей с порога, что там за Таней какие-то старички пришли.

В прихожей, мокрый от непогоды и чем-то донельзя разволнованный, ждал Таню Пугль, которому она с некоторых пор, в предчувствии возможного несчастного случая, оставляла адрес, уходя. Старику не сиделось на табуретке, и, если бы не Донькино запрещение, несомненно в пальто и калошах прорвался бы к воспитаннице. Принесенное им известие повергло Таню в сладостную растерянность.

— Я как мальчик прыгал весь путь,— шептал ей на ухо Пугль, а она, вдруг бесконечно ослабевшая и чуть покачиваясь, внимала ему с полузакрытыми глазами. — Потом можно

уходить любой место, теперь нельзя. Здесь настоящая слава, вся Германия! еще деньги... Я подорожно сшитал, если открыть тихи табашни лавочка, можно прожить сто два лет.

Уголок с табачными изделиями поблизости от цирка мнился ему венцом мечтаний для престарелого циркача,—и чтобы молодежь после утренних репетиций забредала к нему поделиться своими надеждами, а он раздавал бы им наставления вперемежку с воспоминаньями, как оно обстояло в золотые годы его младости. Смущенная и порозовевшая, Таня вернулась извиниться перед хозяйкой за необходимость немедленно уйти; от прежнего смятенья почти не оставалось следа, так действовал глоток таинственного лекарства. Она сослалась на одно важное, только что случившееся событие, которое, по ее словам, в корне меняло многие обстоятельства...

— Не секрет, какое?—спросила Доломанова, догадываясь, как хочется ей самой рассказать о нем.

— Мне сделано очень лестное предложение насчет гастролей... ну, в одной там стране.

— Не будем спрашивать, она боится сглазить!.. — пошутила Доломанова сочинителю, который, невесело прищурясь, следил за Таней сбоку — поверх рюмки с коньяком.

— Самое главное тут, от к о г о это предложение исходит,— с горячей радостью объяснила Таня.— Вряд ли сегодня найдется в нашей цирковой среде более почтенное имя... старик мой просто поглупел от счастья!.. да и в самом деле, это самое крупное для меня профессиональное признанье. Спасибо вам за долготерпенье ваше, и если только до отъезда за границу у меня состоятся выступленья, я непременно приглашу вас... придете?

— Обязательно... — не сразу отвечала Доломанова.

Прочтя тревогу в фирсовском взгляде, она задержала и погладила Танину руку, а сам сочинитель глазами и развязно-маскировочным жестом выразил уходившей на прощанье — вот видите, мол, как отлично все складывается, вопреки вашим страхам!

Все вышли в прихожую проводить счастливицу. Сразу за тем воротившийся в комнату Фирсов успел застать в окне, как Таня со стариком прошли через двор. Поднявшийся со снежной крупкой ветер гладко охватывал ее стройную, чуть наклоненную вперед фигурку; сбоку бежала, заскакивала вперед куцая, маленькая тень ее.

— В суматохе она может и забыть обещание свое. Последи за афишами, Федор Федорович. Мы с тобой непременно и съездим вместе... завяжи узелок на память!

— Избавьте, не поеду,— мрачно пробурчал Фирсов.— Мало за столом сижу, повесть пора кончать.

— Поскучнел с чего-то!.. опять с женой не ладится?

— Жена, премьера, погода тоже...

Поразительно, как быстро успел он нахлестаться в тот вечер при небольшой сравнительно затрате средств. И выражалось это у него на сей раз не в шумном поведении или болтливой опрометчивости суждений, а в сосредоточенном молчании, с каким после всякой выпитой рюмки он подходил к рано отемневшему окну и вглядывался в пустынные сумерки. Однако ничего интересного там, внизу, не было, кроме как стлалась по белу свету косая да мокрая метель.

X

Действительно, при встречах с невестой Заварихин нередко жаловался на опережающих конкурентов, на тернистость купеческого пути при новом строе и, значит, на искусственный застой в делах, но сдаваться и покидать столицу не собирался. Несмотря на всякие уловки, он поднимался в гору не так быстро, как ему хотелось. Ловчей всего крутилась заварихинская коммерция, пока рвал из грязи, из-под самых ног, сбивал в кучку начальные гроши, из которых впоследствии образуются деньги. Сперва в пьянящем гуле толкучего рынка он различал лишь суетливый писк копеек да, значительно реже, тугой деловитый шелест пробивающихся меж ними рублей, но вдруг навострился безошибочно распознавать вкрадчивое похрустыванье сотенных. И как только сам первую свою тысячу закинул подобно неводу в мирскую пучину и достал добычу, сразу стало ему не хватать ни воздуха, ни опыта, ни добавочной минутки на личные дела. Все чаще приходилось пускаться в утомительную изворотливость, особливо для утайки товарной наличности и оборота от налогового обложенья. Тогда-то и распространился по рынку слух, будто в их район назначают еще не слыханного фининспектора, только что прошедшего полосу несправедливого угнетенья, чем, как выяснилось на практике, втройне умножается обозленное усердие чиновника. Зотей Васильич уверял затихших

за пивом приятелей, будто дважды наблюдал этого человечка, инкогнидо гуляющим промеж ларьков и как бы помечающим в бумажке лиц, на ком проявит бдительность и рвение тотчас по вступлении в должность...

Постепенно встречи Заварихина с невестой становились реже и безрадостней,— он еще не тяготился ею, но уже почти остыла былая страсть, больше не подогреваемая постоянным восхищением перед чудом. Тоскливая виноватая жалость к измученной женщине разъедала остатки чувства, отравленного вдобавок досадным сознанием невозвращенного долга. Чаще всего свиданья протекали в обмене новостями, которых всегда недоставало в газетах, да еще в обсуждении предстоящей свадьбы, которой, как втайне догадывались оба, вряд ли суждено было состояться теперь. С первого слова Таня ловила на себе холодный, взыскательный взор жениха и уже не делала попыток удержать свое счастье, потому что с отчаянья преувеличивала и постылый возраст свой, и свою до такой степени непозволительную для невесты будничность, что начинала ревновать Заварихина к себе прежней. Да и самой ей не удавалось иногда преодолеть возраставшее отвращение к его темным, потому лишь не разгаданным где следует плутням, что Заварихину так везло во всем, как бывает только на подъеме.

Обычно Заварихин угощал невесту чаем с твердыми, фарфоровой прочности баранками, пристрастие к которым осталось у него по воспоминанию о знаменитых русских трактирах, причем украдкой посматривал на часы, а иногда в назначенное время выбегал на улицу для переговоров с загадочными посетителями, не смевшими открыто подняться в квартиру. Таня научилась издали распознавать заварихинских поставщиков, слонявшихся поблизости или поджидавших в подворотне — спившихся грузчиков, маклаков в стеганых по колено пиджаках, щеголеватых нервных мальчиков с гадкими глазами. Однажды Заварихин ушел так и вернулся только два часа спустя с громадным помятым тортом и заметно навеселе... Ввиду того что все труднее становилось заставать его дома, было условлено, что отныне он сам будет навещать Таню в свободные вечера, это обеспечивало ему возможность исчезать на целую неделю. И неизменно отныне опаздывал к невесте, всякий раз застревая в пути по какой-нибудь секретной и, значит, подпольной оказии.

Все его секреты, пусть не всегда преступные, как хотелось Тане уверить себя, раздражали ее не меньше, чем внезапная, неудержимая до хвастовства порою, откровенность про них. Тогда с предосторожностями, из-за которых теряла уважение к себе, она старалась усовестить жениха,— он снисходительно выслушивал, с холодком улыбался в знак отказа, но, к чести его, никогда не ссылался на дурной пример Векшина.

— Ты у меня, Танюша, кроткая душа, и все на свете тебе в диковинку,— говорил Заварихин, и это новое обращение, на котором настояла Таня, вместо прежнего, праздничного Гела, также казалось ему унылым предзнаменованием грядущей супружеской скуки. — А в жизни ничего такого уж особо зазорного нет. Положен тяжкий камень на зеленый лужок, а травочка его огибает, к солнышку тянется... в чем же ее грех? — По прежней крестьянской привычке думать вслух, чуть не с третьего слова он вдавался в незамысловатую, но раз от раза более стройную философию быстрого обогащенья, которым возмещался вынужденный революцией перерыв. — Разве у моря можно украсть? А море это и есть вольная жизнь народная, и что из него ни возьми, все туда же воротится. Ведь это сверху порядок да теплынь, покуда солнышко, а там, во глубине-то, во мраке вод, чего не творится: все жует, все снует, во взаимности друг скрозь дружку проходит, и между тем, заметь, ничего не убавляется, а человеку, царю природы, от этого прибыль и пропитание!

— Так ведь совестно, Николушка! — краснея, возражала Таня. — Так только звери лесные живут...

— Совесть, Танюша, это кому что выгодно,— уж пожестче выговаривал Заварихин. — Нонче ее в запасе не осталося, заместо мякины сожрали в голодные годы... Бог даст, скоро новую зачнем копить! Эва, без совести братья мои земли помещичьи засевают, а не засей, так и с голоду сдохнешь. И не надо, милая Танюша, людей со зверьми равнять. Там-то, во глубине сердцевины народной, самое главное золотишко и водится... да еще какое! Покойный дядя мой издавна у нас леском казенным баловался, тоже по тайности. Сказывал — отправился раз товарец на корню присмотреть, стоит близ ручья, примеряется. И тут выходит к нему из чащи в общем незначащего вида папаша в лапотках да бородишке, вроде бы пенек на голове. «Чего, спрашивает, дурена, без ружья в лес ходишь! А вдруг медведь?» — «Эва, мала, отвечает, гвоздил-

ка?» — мой-то ему и кулак показал. Горестно старичок усмехнулся. «Ну-ко, встань, дите, спинкой ко мне...» И встал дядька, а тот как саданет его под самое место коленком, так на другой бережок и перемахнул дядька мой. Неизменно со слезою рассказывал, так его это тронуло, а ведь пятеричком запросто игрывал покойник!

— Ладно, ладно... — прощала ему Таня все это. — Теперь поцелуй же меня наконец!

Заварихин хмурился, и нельзя было представить ничего в природе целомудреннее, чем прикосновение его сухих недвижных губ.

На притворство потоньше не хватало у Заварихина ни охоты, ни времени, да не было и нужды в нем, поэтому происшедшее к невесте охлаждение не могло укрыться от пытливых знакомых и соседей на рынке. По всем приметам и еще более по его внушительным замашкам Заварихин выходил в люди, и Зотей Васильич, давно дороживший приятельством с несомненным, хоть и помоложе себя, самородком, придумал заблаговременно породниться с ним на предмет дальнейших, возможно и фирменных связей. И оттого что от века холостую да непугануя богатырщину сподручней всего было вязать девичьей косой, то и была срочно выписана из вологодской дебри, со славного озера Кубинского, пропадавшая там зазря Зотеева племянница, по заочным описаниям — истинная жемчужина тамошней красы. Подтвердилось по ее прибытии в столицу, не сыскать в целом свете равной по нраву и пригожеству, глаз не отведешь, вся в Николкиной поре и стати, двадцати двух годочков всего, оба глаза целые,— Тане было не тягаться с ней! Фирсов, самолично под предлогом найма помещения сходивший удостовериться в бухвостовский тупичок, отметил сверх того у приезжей грустный, исключительной силы завлекающий смешок и городское лукавство в обхождении, так как еще девочкой по месяцу и дольше гостила у отца в Питере, где тот имел постоянный подряд по кровельной специальности в министерстве иностранных дел. И еще в том заключалось ее вечное преимущество, что уж эта никогда не станет обременять печалями да страхами и без того ограниченный досуг своего будущего супруга.

По Зотееву замыслу хомутать молодца надлежало немедленно, пока не утек мало ли куда от своей полухворой, как теперь выяснилось в достоверности, артисточки. С этой целью в бухвостовском флигельке была подстроена сущая западня,

подобно тому как берут медведя в сибирской тайге на заправленный водкою мед. Жертву позвали на вечеринку, а в сенцах припасли ведра с водой, подопревший брезент без употребления и свежей зарядки огнетушитель с конюшни. И как явился дорогой гость, тут Зотей Васильич и впустил его ненароком в угловую каморку, где при огне семилинейной керосиновой лампешки мылась в корыте вологодская богиня. У Заварихина осталось впечатление, ровно бы в глаза ему плеснули чего-то алого, хмельного, круглого, как бы сияющего золотцем и в сметанке. Озадаченная по своему девичеству краля ахнула и пропала во тьме, стегнув чем пришлось по огню, который всласть растекся по полу. Пока хозяева дружно тушили один пожар, успешно разгорался другой.

За ужином Зотей все благодарил гостя за участие в спасении имущества и мимоходом извинился за допущенное по женскому недосмотру происшествие.

— Это она, видать, с дороги привяла, не стала утра ждать... Уж больно грязь да теснотища нонче в вагонах!

— Кто такая? — односложно спросил Заварихин, пряча глаза и ковыряя ложкой белорыбицу.

— А вишь, от покойного женина брата обуза, на побывку приехала. Капа зовут... а что, ай встречалися?

— Да так, точеная игрушечка, по гроб жизни не надоест, не сломается,— сквозь зубы процедил Заварихин, и хоть для достоинства не следовало больше говорить, а прибавил: — Наливная такая ягодка, костяничка...

— Уж подумаешь, венец природы! — простодушно отмахнулся Зотей, расправляя надвое бородку. — Да ты пей, на дне не оставляй, Николаша! Сам-то чего долго на свадьбу не зовешь?.. ай все психует твоя голубенькая? — И смешком, ровно кнутом, стегнул Таню, верно в отместку за косвенные, через любимую лошадку, доставленные ему тревоги.

Целый вечер Заварихин просидел задумчивый, крошки не скушал, нюхал изредка корочку да вздыхал подспудно, ровно кипы ворочал,— словом, вел себя, как ему и полагалось по характеру проглоченной наживки. И хотя больше ни словом о ней не обмолвился, наблюдавшим изо всех щелей бухвостовским домочадцам ясно становилось, что дальше поводка конь не уйдет, а станет кружить в окрестности, пока не напьется из рокового омуточка до блаженной одури... Так и случилось согласно пророчествам, но за пределами фирсовской повести и в несколько более печальном начертании.

Более близкое их знакомство допустили едва через неделю, по явной случайности, будто прятать устали ненаглядное сокровище. За всю вторую — только и досталось Заварихину всенощную рядом с нею отстоять да разочка два съездить вместе в московские увеселения, и то — в присутствии Зотея; облава велась верным дедовским способом. Вскоре Заварихин зачастил в бухвостовский тупичок чуть не дважды на дню, а то и просто за воротами ждал в ущерб своим торговым занятиям. Здесь и надоумил Зотей приятеля прокатить девушку по первопутку в близлежащую подмосковную окрестность... сразу оказалось, что и лошадка не хуже той, прежней, и в санцы вправлена, и сама Капа в высоких полсапожках на крыльце стоит. Тихий вечер наступал, редкие снежинки подолгу реяли в воздухе, выбирая, где им посуше лечь.

Несмотря на морозец, девушка была в легкой шерстяной, сдвинутой со лба,— так что пробор виднелся, цветной косыночке.

— Простуды случайно не опасаетесь? — берясь за вожжи, деликатно осведомился Заварихин.

— А ничего со мною такого не случается, чего сама не захочу... — шелковистой ниточкой просмеялась та.

Поддаваясь острому искушению, Заварихин повел лошадь по тем же улицам, что и с Таней полгода назад. По причине пустынной местности и быстро наступившей темноты, представлялся удобный случай пригубить любовное Зотеево питье, однако из осторожности, потому что о чем-то догадывался, Заварихин на сей раз никаких происшествий не устраивал, а только пустил лошадь крупной рысью и молчал, все молчал, сравнивал по памяти обеих, причем ради справедливости избегал глядеть на нынешнюю свою затихшую соседку, сплошь закиданную снегом из-под копыт и теперь вовсе с обнаженной головой — скорей из озорства, чем от ветра. Заварихину посчастливилось и местечко знакомое за городом отыскать, где с Таней побывал и где теперь было бы еще уютнее, как на перинке из легковейного снежка. Капа не обмолвилась ни вопросом, ни взором недоуменья, когда, спустив лошадку с откоса и выскочив из саней, Заварихин стал их к дереву прилаживать,— напротив, в насмешливом, из-под приспущенных ресниц своей спутницы, блеске глаз читалось явное поощренье.

Воровскими руками отстегнул он медвежью полость и понес было на знакомую опушку, чтоб без опасенья насморка, без помехи полюбоваться оттуда переливчатым ожерельем

московских огней. Но едва скрылся за кусточками, девушка развернула сани на тесной полянке, и пыталась ускользнуть. Заварихин настиг ее на подъеме из низинки, когда та, нахлестывая рысака, выбиралась на шоссе, и успел вцепиться в задок саней,— тут один кнут достался и ему. Опоясав голову, ремешок до крови прохлестнул щеку от уха до самого рта, и все померкло ненадолго, когда же приоткрыл на пробу один глаз, ничего не виднелось поблизости, только шевелил былочки просвежающий ветерочек да чернела на скате взрезанная полозьями земля... Зная заварихинскую натуру, с утра Зотей распорядился готовить шубку на хорьке племяннице и всю подвенечную справу, а ровно через сутки, смущенный и заклеенный, притащился с медвежьей полостью и сам Заварихин. Теперь срок окончательного разрыва с Таней зависел лишь от того, как быстро скопит деньги Заварихин на уплату ей злосчастного должка. Не дотерпев, однако, он разлетелся однажды к Тане с половинной суммой, запасшись на другую, по наглому совету Зотея, предъявительским вексельком.

Дверь оказалась незапертой, что само по себе указывало на какое-то исключительное событие,— на пороге Заварихин был встречен предостерегающим шипеньем Пугля. С благоговением в лице старик тащил поднос на кухню — верно, за чаем для какого-то сидевшего у Тани редкого гостя. Взволнованное состояние его, не меньше, чем заграничное рисунчатое пальто на вешалке и трость с тоже нерусскими рукавичками на подзеркальнике, доказывало исключительную важность происходящего события. За дверью говорили на непонятном Заварихину языке, и, кроме женского, сразу опознанного, там слышались два мужских, один глуховатый и надтреснутый, другой помоложе, опережающий.

И, значит, до такой степени оказалось несвоевременным появленье Заварихина, что старик предпочел задержаться с подносом у полупритворенной двери, лишь бы не допустить такое пугало на глаза высокого посетителя.

— Молшание... — шепнул вошедшему Пугль и с отвагой заправского укротителя приложил ладонь к самому рту оторопевшего Заварихина. — Там Мангольд!..

Оказалось, что Таня понимает и сама говорит немножко по-немецки, тем не менее переводчик стремился даже интонацией передавать речь ее собеседника. Принимая во внимание известность артистки, герр Мангольд предлагал ей высший гонорар, каким у него на родине оплачивается самый чрезвы-

чайный аттракцион. Кроме того, в случае дополнительного дозволения с советской стороны, импресарио гарантировал мисс Вельтон не менее триумфальное турне по ряду европейских столиц, что удвоит сумму ее заработка... В обоих случаях Заварихин не поверил бы названной посетителем цифре, если бы сам Пугль почтительно не повторил ее вслед за переводчиком. Неуверенно соглашаясь, Таня намекнула в заключенье, что не от нее одной зависит окончательный ответ, но Мангольд успокоительно пояснил что, все и везде улажено и приезд его следует рассматривать лишь как визит уважения к труду циркача, пот и вдохновение которого он лично изведал в молодые годы.

Признание знаменитого иностранца, в глазах Заварихина, возвращало Тане прежнюю пленительную дымку. Он вновь увидел эту женщину там, вверху, в облегающем, как перчатка, голубом трико, готовую еще раз повергнуть его вместе с рукоплещущей толпой в легкое и пронзительное содроганье. Даже вероятным показалось, что все Танино смятенье — чистое притворство, а история с подбитым глазом всего лишь уловка для проверки заварихинского чувства к ней. Уши его зарделись от виноватого открытия, что чуть не отдал в чужие руки доставшийся дураку клад, и сдобная бухвостовская красотка представилась ему просто ржаной ватрушкой, что пекли у них в деревне на престольные праздники.

— О, герр Мангольд,— тем временем захлебывался Пугль, выделывая перед самым заварихинским носом всякие сочетания из пальцев,— он имейт голова шуть меньше земной шар. Он сделал три летающих Робинсонс, я сам видел его корделолан с факел, его знайт весь свет. Он предлагайт моя Таниа всемирная хастроль! — и, вдруг разъярившись, оттолкнул от себя в грудь пристывшего сбоку Заварихина. — Што ты хочет?.. хочет Гелла Вельтон рожат мужицкого дитя? Вы есть громадни шудак, господин Заварихин...

За дверью задвигали стульями, и в поднявшейся затем прощальной суматохе старику удалось вытолкнуть растерявшегося жениха на площадку лестницы — там и торчал тот со своими деньгами и шапкой в руке. Ему слышно было, как все вышли в прихожую, а Таня засмеялась на оставшуюся без перевода заключительную шутку посетителя, потом донесся непривычный смрад Мангольдовой сигары. Лампочка перегорела на площадке,— из внимания к великому соотечественнику

Пугль светил ему откуда-то взявшейся свечкой, в самозабвении не замечая горячего стеарина, заливавшего ему руку.

— Я тоже понимайт немножко русски,— крайне довольный успешными переговорами, шутил Мангольд и лишь теперь приметил фигуру Заварихина, монументальную и недвижную, вроде каменных истуканов, подпирающих архитектурные сооружения. — Этой кто-о?

То был естественный интерес к новой русской действительности, слегка окрашенный этнографическим удивлением в отношении значительно отличавшейся от него человеческой особи,— Заварихина разъярил даже не тычок сигарой в его сторону, а пренебрежительный, с оттенком извинения ответ Пугля.

— О, это просто так... это русски мужик! — и одновременно с какой-то смешной немецкой фразой сделал рукой легкомысленное движение, обозначавшее ничто.

Прежде чем Таня успела вступиться, Заварихин оказался возле оторопевшего со страху старика и несколько мгновений смотрел ему в темя.

— Я тебя в узелок завяжу и через глотку наизнанку выверну, папаша, ежели еще разок так на меня махапешь... — вялым голосом посулил он и, вправив в Пуглеву руку выпавшую свечу, стал неторопливо спускаться по лестнице, к удивлению наблюдательного герра.

...Часом позже Таня застала его дома. Вопреки ее ожиданьям, Заварихин был трезвый, сидел с гармоньей на койке, напевал сквозь стиснутые зубы что-то вроде:

...эх, М'сква-М'сква-М'сква,
золотые главушки,
не снести моей головушке
твоей отравушки...

Без единого слова присев рядом, Таня сделала попытку обнять его за плечо, оторвать от ладов словно окаменевшие пальцы. Он яростно молчал. Изловчась, она прильнула подбородком в ямку обнажившейся в расстегнутом вороте ключицы, соскользнула щекой на сильную, щекотную грудь. Он позволял ей это и продолжал молчать — уже без гнева, но и без прощения пока. Наконец ей удалось отобрать, спихнуть за спину противный, пахнущий столярным клеем ящик с музыкальными вздохами. Под маской кровной обиды Заварихину легче было скрыть замешательство своей едва не состоявшейся измены.

Искоса заглянул он в зрачки невесты — догадалась ли, но ничего там не было, кроме обычной мольбы о милости, и вдруг, счастливая, она прочла в его лице предвестье страсти, телом ощутила прошедший по нему знакомый темный ветер...

Потом они лежали, бросив руки вдоль тела, и Таня рассказывала не пропускавшему ни слова Заварихину об условиях предстоящей поездки,— он предостерегал ее, чтоб не продешевила второпях. Показавшаяся ему вначале головокружительной сумма вознаграждения была не так уж велика — за границей, как и всюду, не слишком ценили риск и молодость циркача!.. но Заварихин добывал эти деньги изнурительным сидением в ларе, ценой опасных и унизительных ухищрений, тогда как Тане они доставались буквально полминутной работкой там вверху, после чего, по широко распространенному мнению, артист может предаваться ленивому безделью. Больше всего Таню взволновало признание от чужих людей, тем всегда в особенности дорогое, что приоткрывает равнодушные глаза своих... Теперь-то уж свадьбу приходилось непременно отложить до возвращения из-за границы,— кстати, посвященный в сокровенные намеренья артистки герр Мангольд так и собирался обозначать на афишах ее гастроли как лебединую песню, Schwanengesang, то есть прощанье знаменитой Геллы Вельтон с цирковой ареной.

— Я, знаешь, решила согласиться, Николушка,— говорила она, глядя в тяжко нависший над нею потолок. — И звал он меня с таким горячим нетерпением, что это влило в меня новую веру по меньшей мере... я даже не знаю на сколько еще лет! Мне вдруг показалось, что я моложе и красивей стала, потому что меня давно уже никто так не хвалил... молчи, молчи! — и поторопилась поцелуем закрыть путь возможным возраженьям. — Мне и самой интересно посмотреть их столицы, музеи, самые цирки, чтобы не очень от жизни отставать. Бабьих вещей ворох накуплю... да и любимому супругу в случае похвального поведения кое-что достанется. Ну, выражай самые нахальные желания, что тебе оттуда привезти?

— Что касается меня, то я советую тебе отказаться... — глухо и неискренне произнес Заварихин, угадывая ее настроенье и уставясь в ту же точку на потолке.

— Но почему же, Николушка?.. ведь сезон уже начался, так что на два-три месяца всего, от силы четыре. Главное, чтоб меня за это время один человек тут не разлюбил!.. но мы с ним условимся каждый вечер в назначенное время об

одном и том же думать, так что я сразу узнаю, если что... Кроме того, знаешь, я успела позвонить в управленье, и оттуда даже намекнули на желательность моей поездки, так что я важная особа теперь. — Она сделала паузу, давая время жениху окончательно отговорить себя, но тот молчал. — Почему, Николушка, почему ты не хочешь меня отпустить?

— Мало ли что может случиться... у них и поезда быстрее ходят, и обстановка для русских непривычная. И вообще, на мой взгляд, всегда лучше держаться раз принятого решенья. Потом поздно станет сокрушаться да руками махать...

Так они чуть не до ночи убеждали друг друга, имея тайной целью как раз обратное тому, что говорилось. Напрасно ждала Таня, что жених по-мужски под страхом разрыва запретит ей отъезд,— тот, напротив, старательно поддавался ее доводам о необходимости согласия. И когда Тане надоело наконец это фальшивое состязание мнимого мужества и притворной добродетели, она решилась на последний опыт.

— Да и деньгами не стоит бросаться, Николушка... ведь правда? — сказала она, притянув к себе жениха и безжалостно всматриваясь ему в душу. — Если все осуществится, как Мангольд обещает, знаешь, сколько со всей-то Европы набежит?

Несмотря на прочный загар, Таня отлично видела, как заливалось краской смущения заварихинское лицо. Она отвернулась, щадя его сконфуженную совесть, и тотчас же, уличенный и признательный, он снова сгреб ее в свои объятья. Так окончательно прояснилось, что предложение Мангольда в первую очередь возвращало ей утраченного было жениха.

Будущее представало Тане глубоким и недобрым сумраком, и в него приходилось входить без перил!.. но постепенно там зажигались огни, слышались медные ритмы циркового галопа. Благодарное воспоминание тянуло ее назад, в милый, залитый праздничным светом и конским потом пахнущий дом, с тысячами зрителей и круглой бездной над ними, для которой она, видно, и родилась. И вот уж не было сил противиться возникшему среди ночи зову.

XI

Когда при установке нового буфета выносили на чердак манюкинский сундучок с пожитками, на полу осталась клеенчатая записная книжка. Вещь эту Петр Горбидоныч неодно-

кратно наблюдал в руках у Фирсова, так что в принадлежности ее не сомневался. Надо полагать, она завалилась в один из последних, незадолго до катастрофы, визитов сочинителя к старику, и, значит, Фирсов не сумел припомнить ни обстоятельств, ни места потери. То было собрание хронологически беспорядочных заметок и рабочих заготовок к повести, которую он в то время писал, словом — весь тогдашний Фирсов с изнанки и даже года на два вперед, так что можно было полностью наблюдать умственное сокодвижение в сочинительском организме... однако соображения мести заслонили от Петра Горбидоныча редкую возможность заглянуть в самую колыбель литературного произведения.

Первые листки фирсовской книжки содержали лишь отрывочные ключевые полуфразы, скорее даже ноты для обозначения идеи и тональности того, чему еще только предстояло родиться в отдаленной неизвестности. С понятным унынием разглядывал Петр Горбидоныч исчерканные черновые прорисовки отдельных фигур и событий, сопровожденные графическими схемками для проверки логических связей в его литературных замыслах,— нигде, к сожалению, не намечалось ничего особливо преступного. Со средины попадались более развернутые, пусть без начала и конца, пробные наброски, похожие на словесные сгущенья, напоминавшие небесные туманности; еле приметное вращательное движенье в центре уж раздвигало крылья сюжета. Вот-вот назревало что-то дразнящее, едва же Петр Горбидоныч, разохотясь, карандашик для отметки припасал, как все начисто обрывалось, чтобы на оборотной страничке начаться сызнова... и так до бешенства, несчитанное количество раз. К тому же вскорости у Фирсова наступил, очевидно, тот искусительный момент, когда по крохам скопленное и мучительно недостоверное начинает проситься на б о л ь ш у ю б у м а г у, потому что, как шепнул он сам однажды в Векшина, наиболее полный и точный план есть само произведение... но доступа туда Петр Горбидоныч уже не имел.

Буйная радость многообещающей находки постепенно сменялась у Чикилева раздражением на свою фортуну, как вдруг впереди открылось нечто, воротившее ему веру в окончательное торжество д о б р а. Приблизительно со средины фирсовской книжки начиналась заветная, с отрадно-затхлым душком кладовая, где хранилась навалом всякая сочинительская рухлядь, имевшая хотя бы предположительное отношение к действующим лицам повести. Там были собраны

цирковые и блатные словечки, никогда не пригодившиеся профессиональные подробности, по разным оказиям пронзенные сердца и порезанные при этом жилетки, набор нехороших людских поступков, впрочем и хороших также, всякого покроя облака — то с застрявшим солнечным лучиком, то вроде со следами грязи, как все побывавшее под ногами, непромытое золотишко скрытных мыслей и, в поэтической кожуре пока, подлежащие посеву семена добродетелей, пороков и страстей... словом, все заготовленное впрок к гигантской предстоящей сборке. Отсюда следовал вывод, что художнику не обойтись без красок горя, непогоды, одиночества, которыми в искусстве оттеняются подлинные — подвиг, молодость и солнце. И как бы в подтверждение правила следовала первая в книжке запись, видимо намечавшаяся эпиграфом к фирсовской повести и отвергнутая перед самым ее опубликованием.

«Всякий сор от жизни. В тюрьмах и на кладбищах не бывает сора».

(Дальше исключительно для отведения бдительного глаза возможного читателя, как сразу раскусил Петр Горбидоныч, следовали малокачественные стишки):

«Кушать надо осторожно
и диету соблюдать,
пред обедом выпить можно
рюмку, три, четыре, пять».

(По некоторым признакам, Фирсов вначале вместо курчавого Доньки замышлял наделить поэтическим даром самого П. Г. Чикилева, творчество которого должно было отражать влечение к положительным истинам, в данном случае — по линии народного здравоохранения.)

«Средний художник строит свой замысел от силы на десятке координат, за двадцать — ставят памятники в наиболее людных местах. Жизнь творит события из бесчисленного множества их. Различие талантов, мировоззрений и личных судеб художников не зависит ли от того, сколько, которые и откуда их взять?» (На бумажной вкладке полицейская пометка Чикилева: «Расшифровать и представить кое-кому на усмотрение».)

«Надпись на стене в уборной, когда Донька и Санька заманивают друг друга на п р а в и л к у,— «Гринька Тузов живет с тещей».

«Удар векшинской шашки. Библейская заповедь **не убий** имела в виду частное, а не общественное поведение человека. Сам Моисей убил за жестокость египтянина-надсмотрщика. Еще в средневековье: ценность человеческой жизни обратно пропорциональна величию идеи, государства, эпохи, человеком же и созданных. «Чем чего больше, то всегда мельче и дешевше...» — Пчхов однажды про яблоки. Так в чем же истинный гуманизм — в утверждении святости каждого неповторимого бытия или в преодолении этого древнего, по ходу прогресса, все более отживающего табу?»

«На наших крупных стройках всегда поражает обилие битого кирпича в отвалах».

«Анат. Арар. должен **сам** застрелиться на правилке».

«Со Пчховым — «...а раз кажное мечтапие зависит от существования, что же станет с человечеством, когда все земное будет достигнуто? И когда оно все наскрозь познает, то не восхотится ли ему знать чуточку поменьше?» И закончил по непонятной логике — «...а может, свет уже не для человеков и ихних деток стоит, а для некоторых птичек и букашек, еще не осквернившихся?» И еще: «Нонче в мире промеж собою борются Люципир и Больвызуб, а третьего ровно бы и нету. Как поборет один другого, тотчас пополам победитель раздробляется, и зачинают грызться половинки. «Вечно ли так будет?» — спрашиваю его. «Нет, отвечает, но всего лишь до горького познания...» Чего человеку в голову не придет под беспрестанный стук молотка по железу!»

(Видимо, для памяти нарисована рыба с раскрытой пастью и похожая на кисет, на ней три тщательно замазанные чернилами буквы. Рядом пометка комариным чикилевским почерком: «Испытать чтением при свете синей лампы».)

«После примирительного свиданья Заварихин ищет способа загладить перед невестой свою вину наполовину состоявшейся измены. Написать, как идет купить ей подарок, и тут выясняется, что не знает ни одной прихоти **любимой** женщины. Он дарит ей полдюжины венских стульев для будущего **гнездышка**. Таня трагически не понимает, что согласием на турне по Европе лишь отдалила свадьбу, которая не состоится никогда. Заварихин не женится, пока не обеспечит себе господства в семье. «Наши кони на узду щекотливые...» Танино **счастье** было бы стократ горше уж неминуемого теперь несчастья, потому что дольше и мучительней».

«Скорей, скорей его ловите,
Скорей мошейника давите,
Вот этот самый рыжий бес
К нам только что в карман залез!

(Беспризорник запел в трамвае, едва я подумал о Векшине.)»

«На базаре, разговор с Заварихиным перед закрытием. «Нет, любезный мой Фирсов, человек без собственности сущее дите, ему непременно надо что терять. Оно и мало иметь опасно, еще того опасней ничего не иметь. Плохое дело без корешков, любой ветришко к земле гнет, может напрочь вырвать. И как надоест ему со скуки, голому-то, душу в себе таскать, от которой ни барыша, ни развлеченья, забота да стеснение одно, он тебе такую, любезный Фирсов, махентрапецию шарахнуть может, что и мертвечатина содрогнется. Бывало, корова у нас на деревне сдохнет — бабы три дня слезами-воем исходят, а вон на углу третьевось целый магазинище сгорел... акт составили, заложили по баночке и разошлись довольные, что бог привел. Так что я, разлюбезный ты мой Федор Федорыч, в кооперацию твою не шибко верю: не может купленный человек по-хозяйски чужое добро стеречь». Я ему возразил, что не чужое, мол, а общее! Он засмеялся, махнул ключами и запирать стал».

«Векшин в минуту откровенности: «...рубанул я его, нагнулся потом, а он все светится у него, зрачок-то, не гаснет, сволочь!»

«Доломанова в разговоре о прошлом: «Вероятно, я слишком горда, чтоб доверяться хотя бы дневнику». Неверно это, а просто, будучи по горло в грехе и смятении, страшится в зеркало на себя взглянуть!»

«Выбрать наконец манеру повествованья: расточительную щедрость изложенья или скупой пунктир намека. Второе выгоднее, потому что недосказанное больше мобилизует воображение читателя, впрочем только умного. В этом смысле Манюкин при мне вчера посоветовал в шутку Чикилеву для экономии бумаги не клеветать в доносах полностью, а лишь подшепнуть в желательном направлении, привести в движение подозрительность адресата: больней достанешь и больше преуспеешь. Чикилев сделал вид, что не понял, о чем речь.

В том же разговоре Чикилев: «...характерно, я как гуманист всегда стремлюсь не ошарашивать просителя отказом, а напротив — выспрошу со всей душевностью, приласкаю, обогрею всемерною надеждою, а там уж и откажу. Потому что

мне как гуманисту глубоко чуждо, даже отвратительно частное благо, а всегда — лишь общественное». (Рядом размашистая, с чернильными брызгами резолюция Петра Горбидоныча: «Крайне зазорно для сочинителя, хоть и посредственного, подслушивать у чужих дверей!»)

«Вчера на скучнейшем литераторском собрании приятель из тех тощих библейских коров, что кушают тучных и сохраняют при этом спортивную худощавость, долго и тоскливо расспрашивал про мою повестуху и в заключенье испросил червонец на пропой, за резной ореховой дверью направо, в буфете: опаснейшая фигура литературного планктона. «Мы с тобой, Федор Федорыч, в одном куле рогожном, а мало ли что приключается впотьмах!» И посулил глазами. Чернила становятся тягучей, рука ленивей и трусливей мысль».

(Дальше, видимо, за беседой со сведущим криминалистом написано рисунчатыми буквами — Дак, Тил, Оскопия,— тут же изображена горелой спичкой гусиная лапа, простейший прибор для вскрытия несгораемых шкафов.)

«Чикилевское хвастовство — «могу выжать недоимку даже с неодушевленного предмета».

«Манюкин начал было вчера лирически: «...нет, вы дрозда не хулите! Жирок у него виноградцем таким, с капусткой восхитительно. Выпалишь в стайку бекасинником, сразу пяток, как не больше. Вспоминаю с глубоким удовлетворением, близ Водянца моего, за будкой тамошнего путевого сторожа Егора, густейший рябинник находился, самое дроздиное место. Признаться, обожал я после охотки на том Егоровом биваке передохнуть, на сеновальчике у него, ко мне там неплохо относились...» — но вдруг оборвался, прочтя что-то в моих глазах, и в замешательстве стал распространяться про старинное охотничье поверье, будто раз в году охотник заряжает ружье на самого себя, причем, если останется жить, так это звериная милость к нему».

«Поместить в дневничок Манюкина его же рассказ про бескровные, отеческие меры, какими родитель его, Аммос Петрович, усмирял местные крестьянские бунты. Якобы надевал все регалии, выходил на сход. «Которые против меня бунтуют, приготовсь!» Движенье и стенанья в толпе. «Зачинщиков под дерево отводи!» Ставили троих, какие погоремычней, в лапотине, на указанное место у пруда. «Помаленьку вешай в мою голову, с флангового начинай!» Понятые бледнели, виноватые валились на колени,— тут он их и прощал.

Будто бы мужики за такую отходчивость души в нем не чаяли, но однажды кто-то кинул к нему в коляску камень, на волосок просвистевший у виска. Однако ежели такая патриархальность, то откуда же все э т о?»

«Когда Векшин возвращался с могилы отца, то увидел мимоходом голубое крыло сойки на фоне желтевшего дуба, и ненадолго раскрылась маленькая облегчительная щелочка в его судорожно замкнувшейся душе».

«Балуева — Митьке в ночь, когда упала занавеска: «...не будем как в с е, не трожь еще минутку, я ровно в инее вся и боюсь осыпаться!» Отличие от Тани с Заварихиным, которая в мыслях, несмотря на целомудрие, как раз торопилась, чтоб скорей к а к в с е».

«Векшин мне на упоминанье о з о л о т о м в е к е цивилизации: «...ты мне его все втемную, точно кота в мешке, всучить хочешь, это самое с ч а с т ь е. А ты не спеши, покажь мне его лицом, стоит ли оно цены, которую запрашиваешь». Справедливый упрек нам, литературе, которая должна стать разведкой будущего, а мы всё пока остерегаемся ворваться с пером в предстоящую нам неизвестность».

«Кто-то у блатных продолжает свирепо выдавать направо и налево. Такое смятенье, что, по увереньям Саньки В., двое самолично приходили в розыск для доказательства своей непричастности к одному недавно прошумевшему ограбленью. Проверить при случае Санькины подозренья на Доломанову, которая, якобы будучи через Доньку в курсе всех дел, бешено стремится отплатить в с е м за Агееву близость. Но вряд ли!»

«Два принципа зависти. А. Зачем у меня нет того, что есть у тебя. В. Зачем у тебя есть то, чего нет у меня.

Русские всегда любили полакомиться незрелым, до Спаса, яблочком и потом страдали жестокой исторической оскоминой».

«Впрочем, всякая молодость торопится вступить в наследство при живых родителях, в расчете натворить побольше до наступленья ночи. И в том заключается ее опрокидывающая сила, что ничего не знает, не помнит, не подозревает о собственной участи впереди по закону повторяемости и смены. И вначале ею руководит как бы эстетическое отвращенье к грешному запаху тлена, а в сущности старого тела, каким бывают пропитаны все обжитые стены, позже вступают в ход чисто практические соображенья. К постройке собственного гнезда она приступает без стеснительного благоговения к отцовскому, и тут среди деятельной работы по освоению иму-

щества раскрывается вдруг, что главное-то сокровище презренного и поверженного старика состоит не в алмазных фондах, даже не в патентах материальной цивилизации, находится не в подземелиях, а рядом, рукой достать, в глубине его взгляда, вернее, в неуловимой проникновенности зрачка, еще точнее, в крохотной и как бы влажной точке света, в невесомой блестинке на его поверхности. Несомненно, эта малая крупица света — кроткой вечерней звезде сестра родная, только старшая и потому видная со всех концов вселенной. Без нее род людской враз становится волчьей стаей, пробегающей по закатному снегу за своим вожаком».

«И тут комическая сценка: над поверженным у дерева, с кляпом во рту, стариком наклонился с инструментом нетерпеливый наследник, озабоченный необходимостью без повреженья достать ценную звезду из такого ненавистного иронического зрачка.

Отсюда три решения задачи об овладении сокровищем: 1. Погасить блеск в зрачке противника, чтобы не было разницы между зрачками. 2. Уничтожить условия, при которых он может возникнуть в чьем-либо зрачке. 3. Приобрести его самому... и тогда вырвавшийся вперед протуберанец вопреки своей воле возвращается в материнское лоно.

Которое примет Векшин?»

«Еще из балуевской песни —

...вот вхожу я в тюрьму,—
вижу, нары стоят
и один к одному
кавалеры сидят...»

«На днях, пока дожидался МФД в ее поганом чуланчике, Донька справлялся, нельзя ли за собственный счет пропечатать его куплеты книжоночкой с золотым обрезом: «Скажи им, что засыплю деньгами...» Дикость, но с полки у себя такое издание не выкинул бы. Продумать, на каком сгибе плакат и лубок становятся художественным произведением и наоборот. Интерференция, как в данном случае с моею повестью. Написать пошлые рассказы».

«Интересно, кто мог подсказать Доньке эту затею, как и Векшину — его неожиданную мысль: «Человек бывает, лишь когда его много, а без того он либо царь, либо зверь, либо вор вроде меня, Дмитрия Векшина». Самому ему до этого не додуматься, разве только тот, другой Фирсов, двойник

мой, шалит, нашептывает? Показать в повести, как стихийно персонаж ведет иногда автора, утрачивающего однажды власть над ним».

«Заключительная строка в *стишке* у Доньки: «...за перевалом светит солнце, да страшен путь за перевал!»

«Сводка на 19 октября. Таня тренируется в цирке, заграничная поездка чуть отодвигается ради нескольких прощальных выступлений в Москве. Везде ее афиши. Встретился у ней на манеже с Мангольдом, разговор на барьере, пока готовилась вверху. Он вскользь обронил намек, что мир вступает в полосу, когда человечество все больше станет нуждаться не в генералах, ученых или философах, а в людях просто великого сердца. Неплохо для бывшего клоуна!.. и тут штрабат. Ужасно волнует меня эта пренебрежительная грация в обращении с жизнью!»

«В моем присутствии Донька сообщил МФД, что Векшин *помогал* Санькиной жене во время вынужденного отсутствия ее супруга, закидывая ей деньги в форточку. Когда та похвально отозвалась об этом поступке, выяснились обстоятельства, поприпридержанные Донькой. Оказывается, грошовое и единовременное пособие это в конверте с объяснительной припиской было заброшено, пока Санькина жена относила вышивки в кустарный магазин, и составляло всего 75 целковых, видимо — включая долговую сороковку. Негусто. Первый случай, когда МФ в такой степени утратила самообладание. Через минуту ее мнение: семьдесят пять рублей — наивысшая сумма, близкая к месячному заработку вышивальщицы и единственно *приличная* в рамках человеческой дружбы. И якобы превышение ее, вполне возможное при тогдашних векшинских *удачах*, означало бы щедрость *вора к вору*. Но ведь деньги-то эти все равно были *нечистые*, так что не слишком ли все это тонко, дорогая МФ?»

«Тревожный и по секрету заданный вопрос Балуевой, незадолго до свадьбы: «Дозволено ли будет грустить при *полном* коммунизме?» Отшутился, что *только* в престольные праздники. Не поняла, но заметно поуспокоилась».

«Встретил Чикилевых на *Руслане*. Привлекало общие взгляды катастрофически модное платье на молодой, выполненное, видимо, по чикилевскому замыслу, сумка крокодилового тисненья и кораллы на шее, походившие на супружеские укусы. Она не заметила меня в соседней ложе и ни разу не взглянула на сцену, а все только вниз. В третьем ряду партера

сидел мятый и совсем почерневший Векшин, во втором антракте он ушел. Шипенье Чикилева: «Надо смотреть в бинокль (взятый напрокат у капельдинера), милая моя, раз за него заплочено...» Она даже осунулась за один тот час на моих глазах. Когда-нибудь из этой цветастой и пахучей мишуры выскочит бездомная кошка и в два прыжка вернется назад, на крышу».

«Навязчивая и нелепая идея Векшина, что судья и реформатор одинаково обязаны хотя бы раз в год принимать личное участие в казни, чтобы не утрачивать представления, какова в натуре назначенная к пролитию кровь. Тогда как дело не в этике, а в самой земной практике общежития. Всякий замок на сундуке есть признание некоторых досадных несовершенств человеческой породы. И опять — откуда это у вора, от Пчхова? Зайти непароком, под вечерок, когда они с Векшиным шушукаются взаперти и наедине».

«Дать Чикилеву суждение о Башмачкине по прочтении Шинели: «Этот самый мелюзговый человечек, характерно, еще сошьет себе шинельку, да еще какую... и тогда покажет себя кое-кому в натуральную величину!» (Приписка Чикилева: «То-то, испугался нас, чернильная душа?»)

«Название главы с векшинской точки зрения — «Торжество злодея Заварихина, или Повесть о соблазненной девушке двадцати девяти лет».

«В конец главы о возвращении с Кудемы, вместо той старухи. Заварихин и Векшин встретились в поезде. Едут, молчат, качаются в разных концах пустого вагона. Ненависть и ночь. И когда стало невмоготу — «давай кончать, а то помрем, несытые... Выйдем, дружок, а?» На ближайшем полустанке ушли в ночное поле за насыпью. Последняя ножовая драка решающего значения. Кровь не видна из-за потемок. Поезд тем временем ушел».

«Кажется, певица беременна. Итак, Петр Горбидоныч бросает якорь на достигнутой позиции».

«Выяснил в точности от Доньки. При бегстве с пирмановской операции Векшин был ранен не до погружения в подземный пролом, как это изображено у меня в повести, а лишь когда вылезал наружу во дворе. Кто-то пытался пристрелить его, возможно с ужасным замыслом — чтобы тот и умер по-скотски, стоя на четвереньках! Вряд ли это выстрел облавщика, иначе взяли бы живьем! Почему, беспощадный в сведениях о себе, Векшин утаил это от меня и откуда стало из-

вестно Доньке про этот выстрел? Если бы стрелял он сам, вряд ли стал бы злорадствовать, зная о моих отношениях с Векшиным».

«Пирман никуда не жаловался, имен нападавших не сообщил, найденных на мертвом Щекутине драгоценностей не опознал».

«Фокус-покус: Донька зовет МФД на «ты»? А повесть еще не готова».

«И не в том главный интерес, пожалуй, посмел бы Векшин протянуть руку за Санькиной женой на очередном этапе их священной дружбы и своего паденья, а позволил бы это сам Санька по своей неограниченной преданности... или нет».

Чтение документа до такой степени увлекло Петра Горбидоныча, что лишь по третьему разу расслышал приглашение к обеду. Сложив страницу клинышком, чтобы местечка не потерять, направился он к столу и, поглощенный досадными раздумьями, провел время без обычного удовлетворения, доставляемого принятием пищи. Его переполняли мысли по поводу прочитанного, даже терялся — какое наиболее убийственное найти применение несомненному кладу. Если одно в обнаруженной книжке могло доставить лишь временное уязвление ненавистному сочинителю, зато многое другое по своей скользкой игривости, да если еще соответственным фонариком сбоку подсветить, вполне годилось в качестве грузила, надеваемого на шею противника перед опусканием его в воду. Итак, находку эту надлежало считать наиболее тонким за последний месяц подарком раскаявшейся судьбы...

К несчастью, из-за отсутствия каких-либо прямых указаний на принадлежность находки сочинитель мог легко отречься от авторства. Тогда, по зрелом размышлении, Петр Горбидоныч решил отослать находку со своими пометками владельцу, чем подчеркивал свое великодушие, бдительность и неусыпное коварство. Перед отсылкой, однако, он снял себе с документа четыре нотариально заверенных копии, на случай если одна сгорит, другая тоже сгорит, а третью постигнет что-либо вовсе непредвиденное.

XII

Кстати, за последнею из прочитанных Петром Горбидонычем фирсовских записей начиналась уже полная, страниц на десяток, неразбериха хаотических, одна поверх другой,

подробностей какой-то, видимо, важнейшей в фирсовской повести главы. Но если бы у бедного преддомкома имелся такой же навык проникать в хаос первоначального сочинительского замысла, как в путаную бухгалтерию налогоплательщиков, видеть завтрашний сад в оброненной семянке и проращивать за автора недописанные мысли, бродить по лабиринтам наводящих стрелок и трехэтажных перекидок, словом — нанизывать на логическую нитку беспорядочный, иногда закатившийся под строки бисер, то представшая перед ним глава доставила бы Петру Горбидонычу истинное наслаждение, так как касалась дальнейшего падения главного его врага Векшина.

Прежде всего он узнал бы, что событие это состоялось в начале ноября, когда снизу задувала колючая поземка, а сверху ночная пучина ударяла по городу злою снежной пылью. Застигнутые беспримерно раннею зимой извозчики подымали верха пролеток, и пешеход на перекрестке суеверно задирал голову, силясь разглядеть причину в беспросветном бешеном вращении таежной мглы. Метельные вьюнцы шныряли и пели в щелях и водостоках, и отправлявшийся на работу в низок Фирсов даже подивился в новой записной книжке отдельной строкой — «как это не лопнут щеки у ветра!».

Все тот же под вывеской, где год назад знакомился он с Манюкиным, безнадежно мотался на железном глаголе фонарь... только сквозняком эпохи посдувало прежние буквы с городских вывесок, а другие, помоднее, намело, но смысл их остался все тот же — пивной, развеселый, утешительный... Словом, чем неистовее хлесталась снаружи непогода, тем тесней смыкались тут в беседах сердца друзей.

По-иному расставлены и столики, совсем разлохматилась африканская пальма в углу: изнашивается и фальшивое, старятся и от безделья... но те же, подновленные масляным лаком, лоснятся ниши в отсыревших стенах, тот же носится по опилковым дорожкам разбитной пятнистый Алексей. Только серым озлобленьем подернулся постаревший на год Алексеев лик, да не звучит больше площадной романс простонародной певицы. Пять понуро скрюченных людей в фуфайках играют на мандолинах, совершая непривлекательные движения правой рукой, уныло колотит по клавишам беззатылковый тапер... никак не ладится к пивному гаму их щекотальная музыка.

Под свесившей сизые космы африканской ведьмой снова маячит в табачной дымке клетчатый демисезон, но никого те-

перь не пугает, что нет-нет да и черкнет два словечка его карандаш на продавленной папиросной коробке... Сочинитель угощает задушевных своих друзей и сам с ними чуть навеселе от участия и жалости.

— Не пила бы ты больше, Ксеня... — вполголоса просит Санька Велосипед, с притворным равнодушием разламывая вареного рака. — Сама знаешь, не положено тебе это, не пей...

— Ах, уж все равно мне теперь, строгий хранитель мой! — улыбается она и, смахнув с кружки клок горькой грязноватой пены, несет ко рту. — Мне нынче все на свете можно... верно, Федор Федорыч?

— Не знаю, право... — сомнительно качает тот головой и смотрит поверх очков, запоминает готовые отцвесть нестерпимые розаны сгорания и неизлечимого недуга в ее лице: у подбородка один, другой близ самого виска.

В этот вечер Фирсов курит больше, чем пьет, наугад тыча окурки под пальму.

— И ты напрасно за меня боишься, Саня,— чуть небрежно говорит ему жена. — Жизнь моя будет еще бесконечно долгая... а знаешь, как я того добилась, Федор Федорыч? Я остаток ее на мелкие грошики разменяла, так что их получилось у меня великое множество, и я скупо живу. Каждую денежку долго в пальцах держу, налюбуюсь досыта, прежде чем начисто отжить ее... во как у меня, Федор Федорыч!

— И всегда, заметь, слеза у ей катится, Федор Федорыч, как сейчас! — вскользь пожаловался Санька.

— Так ведь это не от горя у меня, Саня, а скорей... — и Ксения поискала в воздухе перед собою нужное слово,— скорей от этого... ну, от созерцания! Я болезни моей по гроб благодарная, она меня всего на свете бояться отучила, так что я теперь ни пылиночки про себя не скрываю. Я теперь человек из-за ней стала, ничего не страшусь, на все смотрю да щурюсь. Вот мы наше детство с покойной сестрой у деда провели... огромное поместье у него было, и все там у нас свое имелось: река и лес дремучий, даже гора своя была, небольшая, правда... Кума-гора называлась! Чудно даже, что еще год назад я до изнурения, до мерзкого пота в ладонях прятала эту тайну, а теперь любая опасность вокруг только веселит меня... это ценить надо, Саня! — Она как-то расслабленно улыбнулась от достигнутого счастья. — У матери мания была, чтобы дети под открытым небом спали, и я привыкла, засыпая, на звезды глядеть... как они шепчутся там, а иная сверкнет и сгинет.

— Метеоры называются... — глухо и просветленно пояснил Фирсову ее муж.

— Я тогда и поняла, что и люди так же... тысячу веков летят во тьме, скорчась в этакие... ну, беспамятные камни, а достигнув земных пределов, начинают светиться, сгорать, плавиться, и так — весь путь земной, пока не скроются во тьме до будущего раза. А пепелок их падает вниз, свой у каждого. От тебя, Федор Федорыч, книжка про нас с Санькой, от меня слезинка упадет на эту... ну, эту проклятую и милую землю мою!

Почти задохнувшись, она с открытым ртом перевела дыханье, запила пивом и больно закашлялась, а муж протянул руку и как-то благоговейно смахнул повисшую у ней слезинку.

— Нежная, летящая над миром в вас душа, Ксения Аркадьевна... — взволнованно сказал Фирсов,— но зачем вы так торопитесь промотать последний грошик жизни? Это уж не щедрость, а растрата...

За приступом кашля вряд ли она расслышала хоть слово.

— И я не жалуюсь, Федор Федорыч, что солнышка на мою долю мало досталось... даже слюбилась с ненастьем моим... иной раз ноги застынут мокрые, а мне все одно хорошо!.. И я богу моему по гроб благодарная, что он мне, шлюхе, такого человека, Саньку Велосипеда, лучшего человека на земле, в мужья послал! Видать, я тому матросу из твоей книжки сродни, помнишь? — Она улыбнулась, переходя на певучий размер народного сказа. — Славно у тебя описано, Федор Федорыч,— как отстал он в тифу, помнится, от своего отряда в гражданскую войну и привалился, бедняга, к тыну передохнуть, а уж такая слякоть стояла в тот вечерочек по всей земле. А случилось тут фее-красоточке по делам окрестность пролетать... заприметила бродягу, да и втюрилась на свою печаль, как часто с нашей сестрой бывает... вот как я в тебя, Саня!.. ни за что бабенка врезалась, единственно за его бездомное да несбыточное скитание. Вся затрепетала, бедная, вознесла моряка к себе в небесные хоромы, подлечила, устроила ему чистую семейную жизнь при полном окружающем достатке. Стал поправляться парень, а через недельку омордател совсем от трехразового-то питания... и помнишь, Федор Федорыч, как у тебя там сказано? «Не то чтоб помогал дамочке своей в ее благотворительной деятельности, а преимущественно создавал ей необходимое к тому расположение...» — прочла наизусть

Ксения, и никогда еще на фирсовской памяти так не совпадал его злой и хлесткий текст с душой чтеца. — Словом, стал при ней тот матросик, по-нашему, по-блатному, вроде заправский кот...

В это самое время какое-то чрезвычайное замешательство случилось в пивной. Заодно с оркестром все затихло ненадолго, самая речь и звон посуды, холодком повеяло от входной двери, и почти рядом с фирсовским столиком произошла краткая суматоха, но ни Ксения, ни оба ее слушателя даже не оглянулись, увлеченные рассказом.

Тут еще Санька обеспокоенно тронул локоть жены, потому что слишком уж исходила палящим жаром, словно и впрямь догорала на лету.

— Сам же он, Фирсов, и писал, глупая... чего ж ты ему рассказываешь?

— Не мешайте, Бабкин, у меня это всего лишь чернилами написано... — сурово обмолвился Фирсов.

— Так валялся раз матросик в ожидании ненаглядной феечки, поглядывал со своей облачной перинки в сумеречки под собою... — продолжала Ксения и вдруг благодарно погладила фирсовскую руку. — Россия наша внизу под ним лежала, и по всей той России дождик шел. И неизвестно, чего вдруг от этого парню приключилось, а только поскидал он с себя легкую ночную одежку из стрекозиных крылышек, достал болотные свои сапоги, в старый бушлат облачился поверх тельняшки, да, пока не воротилась, и шмыгнул с высот от своего круглосуточного счастья в самую что ни есть хлябь беспросветную, на эту, как ее?.. ну, на проклятую нашу и милую!.. Покажи мне чернильницу свою, Федор Федорыч, я ее поцелую... во как! — заключила Санькина жена дрогнувшим голосом, и опять в ее влажной, глубоко запавшей глазнице сверкнуло что-то, потрясшее Фирсова.

— Тут не в авторе, в рассказчике дело... — хмуро проворчал он. — И так полагаю, что ежели в печной горшок раскаленной человечины налить, да обруча железные нагнать потуже, чтоб не лопнул, да на небо подальше закинуть... годов сто заместо солнца прослужит!

— И греть будет, кому холодно... — чуть поостынув, подтвердила Санькина жена. — Признаться, у меня двойное чувство, Федор Федорыч. Сердцем-то я и понимаю матросягу твоего: ни кислого там, ни горького, ни снежка, ни огорченьица... Опять же — оно и деньги-то хранить на теле жутко,

а счастьем владеть еще страшней... поминутно трястись со страху: не потерять бы! Но только... разве надежда лучше счастья, Федор Федорыч? За то и разругали в газетах сказку твою, одна я тебя пожалела...

— Это верно, досталось мне тогда... даже банщики и брадобреи выражали сочувствие! — иронически подтвердил Фирсов.

— А вот Санька вовсе не понял, хоть я ему дважды вслух прочла...

— Чего ж там непонятного? — защищался Ксеньин муж. — Матрос, он шибко сознательный был!.. если с полгодика в полном счастии проваляться, не хотеть ничего да ни к чему не стремиться, так ведь все производство на земле остановится, самая душа закоченеет навек... не зря мы на богачей и руку подняли! А может, бывших товарищей своих сверху увидел, как они жизнь свою за какое-нибудь там рассвятое дело отдавать шли. Я раз с дружком одним этак-то, лицом к лицу столкнулся, так на всем ходу из трамвая выкинулся, лишь бы не опознал. Кровь в ладонях проступила, как я ими по асфальту хлестнулся...

Внезапно он оборвался, словно коснувшись обнаженных проводов, тотчас же и соседям за столом передался толчок его потрясенья; сочинитель и Санькина жена обернулись почти одновременно. За тем же столиком, что и ровно год назад, сидел Векшин, рассеянно созерцавший буфетную стойку вдалеке. Из-за мехового воротника шубы сверкала белоснежная сорочка; отличная бобровая шапка — тоже напоминанье о варшавских гастролях — казалось, одним ворсом держалась на краешке грязноватой скатерти. Как и в вечер фирсовского появления на Благуше, цветные искорки необсохшей измороси переливались на плечах у Векшина, стынул перед ним в стакане своеобычный, без сластей, чай, и, хотя, казалось, ни одна душа не примечала здесь этого человека, все так же владел он всеобщим настороженным вниманьем. Не меньший, чем в начале прошлой зимы, дерзкий вызов читался и в спокойствии, с каким Векшин, разыскиваемый, открыто подвергал себя риску, и в замедленном движении, каким отпивал очередной глоток и возвращал стакан на место... Все было по-старому, но вместе с тем черты необратимых перемен проступали во всем — в предупреждающей, готовой взорваться заторможенности его движений и взора, в глубокой, как надрез, складке, просекавшей лоб от виска к виску, и прежде всего в отношении вчера еще почтительного благушин-

ского сброда к своему кумиру — вследствие ли одних только роковых и неминуемых за кратковременным взлетом провалов?

Случаю угодно было повторить опыт, столь пригодившийся Фирсову для начальной — год назад — характеристики своего героя. Неожиданно сорвавшаяся векшинская шапка соскользнула на мокрые опилки, но, хотя все видели, потому что иного занятия ни у кого и не было сейчас, ни одна из затихших за соседними столиками душ не метнулась поднять ее, как раньше. Фирсову предоставлялось решить, благодаря чему Дмитрий Векшин утратил в их глазах песенный ореол героя, который в любых условиях чтит простой народ. Вряд ли это была суеверная опаска прикоснуться к обреченному на грозную муку человеку. Может быть, пора было ему — не сгореть, так разбиться в разлете своего паденья, а он все торчал перед глазами, застрявший на небосклоне метеор, примелькавшийся до пошлой обыкновенности, способной вызвать панибратство, зависть и озлобленье? Или в неослабной, полуразоблаченной надежде Векшина вернуться на поверхность жизни подполье разгадало его гадливое презренье к своей среде?.. И не успел Фирсов занести в записную книжку избранное им сужденье, как подоспело скандальное событие, вовсе невозможное год назад. Появившаяся откуда-то с задворков заморенная скверная кошка лениво подобралась, кощунственно обнюхала векшинскую шапку и, как всем почудилось почему-то, с очевидным пренебреженьем пошла прочь.

Очень возможно, что во всем зале только сам Векшин не обратил внимания на тот знаменательнейший в его личной судьбе факт... но уже через мгновенье Фирсов усомнился, могло ли вообще хоть что-нибудь пробиться в затемненное сознание этого человека, если тот никак не ответил даже ему, своему придворному сочинителю, на его приветственный, с оттенком артистической фамильярности жест! Дальнейшее подтвердило худшие фирсовские опасенья.

Санька не успел удержать свою жену,— Ксенья, подобно подстреленной лани, вырвалась из его руки, только ткань затрещала на ней где-то. Немедленно, словно лишь и ждали, все раздалось по сторонам, люди и столики, и в образовавшемся пространстве они оказались лицом к лицу: неподвижный Векшин и до полного безобразия разъяренная Санькина жена. Волосы на ней сбились, зубы стучали, как в лихорадке,— с надорванным в плече рукавом и распылавшимся румянцем она

казалась бесшабашно пьяной. Правой рукой она суматошно шарила что-то на себе, то заглядывая за не в меру просторный ворот блузки, то пытаясь вытрясти из подола юбки крайне важное, ничем не заменимое и, на грех, куда-то завалившееся, как всегда оно бывает в спешке. И хотя до общей свалки с кровопролитием было еще довольно далеко, сидевшая невдалеке по случаю получки компания из трамвайного парка стала заблаговременно перебираться поближе к выходу.

— Тут они, тут где-то были, счас найду... одну, ради Христа, одну минутку! — дергались тем временем как отравленные Ксеньины губы. — Второй месяц при себе таскаю, чуть не истлели на мне... Ишь щеголем вырядился, проклятый, в кабак притащился смерть дразнить!.. чтоб нам, дуракам, показать, какой он герой всемирный и какая все остальные перед ним шпана, мыши под столом, слизь помоечная... потому что за кишки и копейки свои дрожат. А они потому дрожат за них, дурак, что они люди, люди они, понятно?.. Ты сгниешь, а им и завтра придется во что бы то ни стало дома строить, детей нянчить, жить! Думаешь, железный ты, раз тебе не больно, не холодно, не совестно, а это только всего и означает, что скотина ты, бесчувственная и опасная... ну, бодай меня рогами, дьявол, пока жива, а то некогда мне, я сдыхать собралася!

— Замолчи, прочкнись ты, шальная, опомнись... ведь он застрелит тебя,— чуть не плача, бледный и перепуганный, бормотал сбоку Санька, не смея коснуться жены, да та и сама не далась бы.

— Пусти!.. ты шут и раб его. Вот он, злодей: еще революцией хвастает, а сам небось на фронте сухари да махорку у солдат воровал... признавайся, ведь воровал поди? Да еще милостыню через форточку подает... Пусть он назад берет свои подлые краденые бумажки, проклятые! Спасибо, что из той полусотни хоть червонец нам оставил, видать, тот самый, что пожаловал мне за девство мое тот первый, еще до Саньки, первопроходец мой! — Осипшим голосом она обозначила помянутое товарное качество площадным словом хлеще и точнее сказанного, но поперхнулась, и вот уже розовая пена жемчужилась у ней на губах. — Ласковый такой, благообразный старичок с бородкой попался мне на разживу, все головой качал на повесть мою, даже языком в конце пощелкал от жалости... словом, умилился очень, но не помиловал, Кащей. Вот и ты, адская скотина, польстился на наше нищенское счастье... да ты русских-то вчистую обобрал бы, кабы на трупятине не

оскользнулся: не успел! Ведь мы для тебя были только пища твоя. Недельки через две приходи полакомиться мною на свалку, где я сгнивать стану, упырь!

Так она срамила, чуть по глазам не хлестала безмолвного, побледневшего Векшина, видимо с притворным пренебрежением воспринимавшего ее тираду как нормальную классовую вылазку падшей девки, как сразу же догадались все, вернуть общеизвестное его вспоможение за время Санькина следствия и тюремного заключения. Но именно предвиденье скорого конца на больничной койке придавало ей, падшей девке, право и силу выполнять свой несомненно государственный акт исторжения злодея из нации, и, характерно, к тому решающему бесповоротному моменту весь кабак без малейшего шевеленья, стоя, внимал происходящему, как, по неписаному народному правилу, и положено свидетелям присутствовать при казни... Попутно она обеими руками себя ощупывала, охлопывала, не догадываясь спрятать вывалившуюся наружу грудь, каждый шов выворачивала на себе, но оттого, что нигде не было векшинских денег, а пятиться от ею же вызванной бури стало некуда, во внезапно остаревшем лице объявилось загнанное детское отчаянье и униженная суетливость в руках.

Вдруг Ксения всхлипнула, без сил и в бесстыдной наготе опускаясь на пол посреди непроизвольно образовавшегося круга.

— Саня, я потеряла его деньги... — беспомощно прошептала она и, обезумевшая от отчаянья, то сыпала на голову мокрые опилки с пола, то хваталась за черные, вправленные в сапоги воровские шаровары мужа. — Ах, как нехорошо мне, Саня... да крикни же ему, что я непременно ему отдам!.. наворую, в церкви для него украду, чтоб такими же отдать. — Непонятно, что имела она в виду — то ли что украденные у бога деньги грешней, страшнее по возмездию или же безнаказаннее по великой милости господней. — Ей-ей, Федор Федорович, родной вы мой, еще утром нынче вот здесь у меня, под грудкой терлись... еще краснота тут осталась, видите? — И, как перед богом обнажась, показывала сочинителю и прочему потрясенному сброду то местечко на груди, под лифчиком, где хранилось у ней утерянное.

Сомнительно, чтобы в подобных обстоятельствах Фирсов и впрямь сумел подметить, как нервничал пятнистый Алексей, будто бы состегнувший бокал с чужого столика своей салфет-

кой, или как закрывал лицо руками пожилой мандолинист в фуфайке, придерживая под мышкой музыкальный инструмент. Вероятно, то были чисто сочинительские подробности, подсмотренные впоследствии сердцем и на бумаге, а не глазом — в действительности. Одно верно, что за исключением лишь Векшина буквально все посетители и администрация стоя наблюдали, как догорает перед ними маленькая, третьестепенная, столь нежелательная в современном повествовании жизнь. И еще прежде, чем от нее осталась горстка пепла, две доброволицы, кассирша да еще там одна, совсем уж неприкасаемая, подняли с полу Санькину жену и, накрыв с головой пальтишком, повлекли во двор, на чистый милосердный снег.

Бесповоротное, на грани ненависти, осужденье читалось в гневном внимании свидетелей к происшедшему переполоху. В том заключалась его суть, что призванная служить интересам слабейших совесть народная, вопреки ожиданьям, склонялась сейчас в сторону бывшей гулящей девчонки, да еще сословно чуждого им происхожденья. К тому времени московской бражке уже до черта опаскудело насильственно навязанное ей восхищение сомнительной векшинской славой протестанта против отовсюду проступавшей нэпманской нечисти. Наравне с трофейной шубой с буржуйского плеча все в нем раздражало теперь падшую среду и особенно унизительное, на базе псевдореволюционного учительства, высокомерие к шпане, словно облагораживал подонков своим комиссарским присутствием. Но уже в те годы созревала и оформлялась помаленьку главная, историческая провинность истинного фирсовского героя, никем пока в России, кроме самого сочинителя, не осмысленная и выразившаяся у него в эпизоде нищенской, по крохам скопленной сороковки, негодяйски изъятой Векшиным у молодой четы Бабкиных на пороге ее социального возрожденья. Лишь для маскировки замысла, столь трагично подтвердившегося впоследствии, Фирсов и отправился со своей опасной темкой в темное столичное подполье, не смея воплощать ее на какой-либо лойяльной категории. Здесь надо искать причину, почему шнифер и медвежатник Векшин с его аристократической специальностью взломщика несгораемых шкафов получил в помянутой повести наименование вора — самое скользкое и обидное, пожалуй, из уголовных ремесел... Кстати, лукавое искушение представало сочинителю —

объяснить дворянским озлоблением выпад Санькиной супруги против активного участника гражданской войны,— он отвергнул его как *тоже* слишком легкий, хоть и поощряемый хлеб искусства, зато в силу обязательного оптимизма утверждал в описанной сценке, будто в тогдашнем надменном молчании Векшина содержалось *нечто* от железа, когда его прокатывают в тесных обжимных вальцах, чтобы сделать годным для полезного употребления. Так исподволь готовил автор голубую версию социального заказа о якобы неизбежном возвращении отступника в лоно *трудового народа*.

На деле же сам Векшин трезво понимал чрезвычайность безмолвного уже финального поединка, чреватого последствиями не только для его престижа, но и здоровья. Ему лучше многих известно было священное, на практике проверенное право охваченной поклонением толпы на растерзание кумира, преступившего любой параграф в нравственном кодексе святости. Тем не менее надлежит отметить исключительное векшинское мужество, с каким он, чуть побледневший, высидел ту поистине нескончаемую минутку, когда все живое кругом собиралось ринуться на него с ножами. Между прочим один он, как бы погрузясь в эпохальные раздумья о человечестве, сидел посреди изготовившихся к прыжку верноподданных, но едва подался вперед — вроде бы, всего лишь за валявшейся в ногах шапкой,— как бунтарское быдло вмиг отхлынуло на прежние места, будто никакого бунта не было. А сочинитель мелким почерком записал в потайную книжечку, что укрощение зверя произошло без малейшей векшинской угрозы окриком или жестом,— но просто щегольская золотинка блатного *шика* проблеснула вдруг в оскале зубов, обнаженных недоброй полуулыбкой. Так ознаменовалось его окончательное перерожденье из трибуна, каким представлялся самому себе, в полновластного главаря, что равнозначно переводится титлами *пахан* и *бугор* в воровском словаре.

XIII

Столпившаяся было публика понемножку расходилась по местам, едва увели Санькину жену. Фирсову, между прочим, хоть и сочинитель был, показалось донельзя черствым поведе-

ние Саньки Велосипеда, который, несмотря на свою хваленую преданность Ксенье, не только не остановил ее, не прикрыл собою, когда она билась на полу, даже не побежал проводить ее, да и позже не справился у других о состоянии своей подруги: что-то еще более важное занимало тогда его мысли. Стоя у стенной ниши, в полутени, он искоса мерцающим взглядом следил за Векшиным, видимо в ожидании подходящего момента... может быть, догнать его хотел с просьбой о прощении или еще с чем на выходной лестнице, если тот подымется с места, но Векшин уходить не собирался и бывшего дружка как-то странно не примечал. Именно в ту минуту Векшин был действительно занят одним важным раздумьем, от которого ровно ничего особенного не проистекало — кроме выясненья, стоило ли ему вообще заниматься раздумьями в жизни.

И как только он сделал очередной глоток, Санька тотчас поспешил ворваться в его оцепененье, впрочем с неясною покуда целью. Как-то машинально, совсем неожиданно для самого себя, он поднял с полу векшинскую шапку и, сдунув приставшие соринки, приладил с уголка на прежнее место,— в свою очередь, услуга эта внушила ему смелость присесть без дозволения к старшему товарищу за столик.

— Знаешь, хозяин, ты уж плюнь, не серчай на Ксеньку мою... з о л а ее дело, хозяин! — прерывающимся голосом приступил он, совершая какие-то просительные, примеривающиеся движенья. — Совсем она у меня плохая стала... Это теперь полегчало денька два, а то по ночам шепотком да на ухо уговаривала руки на себя совместно наложить. Доктор сказал, неделечки три погореть ей осталось. Щеки-то видал какие?

Всего можно было ждать от Векшина после только что случившегося, но, видимо, под влияньем помянутого раздумья он успел простить Санькину жену.

— Ничего, Александр, это все пройдет, если вовремя болезнь захватить,— почти заботливо, в ответ на непростительное Санькино малодушие сказал Векшин. — Только тебе зевать не надо, в больницу ее теперь...

— Это даже весьма бы неплохо, в больницу-то! — со вздохом подхватил тот. — Да ведь спросят доктора, как пить дать спросят, сами люди служащие... кто такая бабенка, адрес местожительства где. Осподи, да тут со стыда сгоришь, прежде чем слово ответишь! Каб еще на улице подобрали, из-под трамвая вынули, тогда другое дело... убирай куда знаешь, чтобы загромождающий беспорядок не получался! Опять же и

прописки у нее нет, поскольку мы пока, по стечению обстоятельств, в порожняке Савеловской железной дороги временно квартируем. Гостинища, между прочим, огромадная и бесплатная, все номера одинакие, с продувной вентиляцией... большое удобство: любой выбирай!

— Потому-то я тебе, голова, настоятельно и советую в самом срочном порядке лечить свою жену. Она и теперь кашляет, а т а м ты ее вконец застудишь,— заметно тяготясь многословным Санькиным излиянием, обрезал Векшин. — Неужели ты объяснить ей толком не можешь, сколько она нынче вредной чуши наплела?

— Вот еще раз спасибо тебе сердечное за совет, хозяин,— сразу присмирев, заторопился Санька. — Все уши ей прожужжал, дурехе, чем я тебе обязан... и в самом деле, кем, кем я был до тебя? Чудь лесная, обыкновенный колодочник, любой заказчик мною помыкал, а ты меня на сознательную дорогу вывел... ну, в смысле, тоись, наивысшего пониманья. Может, в заключение и проштрафились мы с тобою маненько, так ведь мало ли какая временная невзгода случается! Вот недавно совсем было и нас с Ксенькой в обывательскую трясину эту засосало, но ты пришел, все железной рукой прекратил, одним словом вытащил... а ведь у него, говорю я ей, небось и на свои-то дела времени не хватает!

— Опять что-то виляешь ты, Александр... не люблю! — остерег Векшин, понемногу начиная вслушиваться в скрытое звучанье произносимых слов.

— А чего мне вилять... разве ж неправда?.. а как за фикус за наш семейный перед Донькой вступился? Простая растения, а тоже в обиду не допустил... — не унимался Санька, пуще растравляя себя темным, ненасытным усердием поклоненья. — Видишь, все мне известно про твою деятельность. Да и бог с ним, с фикусом... давно их надо на всем земном шаре искоренить! А знаешь, за что, я так полагаю, Донька его сломал? Зашел мимоходом, когда Ксенька моя щи варила, разрумянилась, а ведь он страсть до дамочек охочий. Обозлился, что не поддалась ему Ксенька, как шлюха, хотя и бывшая, тут и почал все крушить: расстроился, одним словом. Ведь это зверь, знаешь, черный гладкий чесаный зверь, такие на адских лужках пасутся... мы когда с Ксенькой венчались, я на стенке в церкви С т р а ш н ы й с у д видел, и Донькин портрет там же. Я бы еще немало мог тебе о нем приоткрыть...

— Время позднее, Александр, лучше в другой раз давай,— сказал Векшин и полез было в карман расплачиваться.

— Вот и опять некогда тебе, хозяин. Сколько годов задушевно поговорить с тобой стремлюся, о самом главном промеж нас, да все... то времени нет на меня, то вероятия. А может, я о недобром деле упредить тебя сбираюсь?

— Насчет чего упредить-то? — мельком покосился Векшин.

— Да вот насчет себя, хозяин! — бесстрашно молвил Санька, постучав себя в грудь.

— А чего тут упреждать?.. ты человек хороший, смирный, свой! — впервые за целый вечер улыбнулся Векшин и опять собрался поманить пятнистого Алексея.

— Да и насчет Доньки тоже упредить... А сказать тебе, на что он меня подговаривал?

— На что же он тебя подговаривал? — не меняясь в лице, повторил Векшин и не стал звать Алексея.

— Из жизни тебя уговаривал убрать. Это чужак, говорит про тебя, он с нами за одним столом жрать не станет, ровно в мышатнике: брезгует. Даже намекал немножко, будто ты через своего Арташеза московский блат розыску секретно продаешь... видать, проследил за тобой, как ты его навещал на другой-то день. Опять же и Щекутина тебе простить не может! Векшин, говорит, практику у нас проходит, а как накопит себе опыт да у властей прощенне, то и назначат его нашего брата, шпану, со света выводить. С той, дескать, целью, чтобы ко светлому будущему прибыть без всякой шатии, без балласту. В таком духе рассуждал...

— Интересный товарищ,— высказался наконец Векшин без всякой, однако, личной окраски или интонации. — А не врешь, Бабкин?

— Да будь мне век свободы не иметь! — отчаянно побожился Санька, и Фирсов различил отчетливо блеснувшую у него слезу. — Намекал даже, что и сам бы занялся этим комиссарцем, да дельце в жизни щекотливое есть одно, не вполне законченное.

— Какое ж у него дельце... не выяснил?

— Скрывает, темнит, но я догадываюсь.

— Раз догадался, сказывай!

— А вишь, романец у него завелся... да ты не притворяйся, хозяин, поди сам знаешь с кем! Такая интересная дамочка...

я так считаю, что изо всего кина равной ей нету по силе наружности... Только с чего, не пойму, она с простым вором милуется?

— Подметил что-нибудь или просто игра мысли, подозренпе?.. — вскользь, чтобы не открываться простаку, допрашивал Векшин.

— Так ведь как тебе сказать, хозяин... под кроватью не лежал, ночью в щелку не подглядывал,— пожался Санька и облизал донельзя пересохшие губы. — Однако сколь я смекаю в данной области, то, пожалуй, полный имеется промеж них контакт. Вчера в одной хазе хвалился за Байкал податься... а я ему, будто сдуру, и подкинь,— дескать, на кого милашек оставишь, милый Доня? А он в ответ только рот обтер ладошкой да выразился в том роде, что все бабы на свете одинакие.

— Пьян был? — все более мрачнея, сухо поинтересовался Векшин.

— В том-то и дело, что разговелся... а ведь она его, слыхать, за единую каплю спиртную прогнать грозилася. Опять же деньги завелись, тоже после значительного поста, значит, и с другого конца разрешил... ну, насчет этого! — и вороватым вынимающим жестом пояснил существо второго Машина запрета. — Так и сорил деньгами... и ровно бы из себя еще красивше стал, гад!

Долю минутки Векшин поглаживал край стола, давая срок улечься поднявшемуся сердцебиению, а скопившимся ранее подозреньям свариться в одну бесформенную пока болванку улики... Но в конце концов Донька мог с цепи сорваться и от досады, от одной тоски по недостигнутой цели!

— А зачем ему зимой да еще за Байкал... — вслух сомневался Векшин, думая о чем-то другом, и Фирсову, втайне торопившему эту минуту прозренья, послышался тон приговора в дальнейших, ничего пока не означавших словах. — Если отдыхать, он еще куда-нибудь отправится. Мало ли у нас укромных мест, где не дует... при теплом море, например!

Оба они до такой степени считали сочинителя человеком не от мира сего, то есть не только бесполезным, но и безопасным, что разговор свой вели почти в открытую. Часть их беседы, естественно, заглушал оркестр, стремившийся силой звука наверстать вынужденный при скандале простой, но другая ее половина дошла до Фирсова во всех изгибах. Самое имя

Маши Доломановой ни разу не упоминалось, даже неизвестно, понимал ли Санька святость векшинских отношений с нею, потому что никогда Векшин не делился с ним сокровенными кудемскими тайностями, но о чем-то Санька догадывался, если совал жальце своего навета на пробу то здесь, то там, все поблизости, не спуская глаз с векшинского лица в расчете заметить, когда тому станет совсем невтерпеж. Делал это Санька в манере задушевного, чуть озабоченного за друга беспокойства, так что Фирсов за своим столиком только диву давался, с каким убийственным искусством этот долговязый простоватый малый шарит в душе Векшина; впрочем, в самую последнюю минуту ему довольно ясно стало, откуда берется Санькино мастерство.

Предвидя направленье разговора, становившегося сговором, Фирсов собрался предупредить соседей по столику, что слышит все до последнего слова и лишен возможности сменить место, но в это время у заднего выхода снова появилась Санькина жена. Без провожатых, присмиревшая, мертвенно-бледная, с обильным снегом на плечах и, видно, продрогшая очень, она покивала, потолкалась у портьерки в надежде привлечь внимание супруга, потом виноватой тенью стала пробираться по стенке ко входной вешалке и все проверяла пуговицы на блузке, застегнуты ли.

— Ладно, мы еще вернемся к этой наболевшей теме... — чуть иронически сказал Векшин, по чрезмерно образному выражению Фирсова, в е ш а я у л ы б к у н а л и ц о к а к з а м о к. — Выяснишь дополнительно сведения об этой паре — адрес мой знаешь, а пока ступай, ждут тебя. И жене своей передай, что я на нее не сержусь...

Несколько минут после Санькина ухода Векшин высидел в сосредоточенном безмолвии, потом в отмену обычая заказал пятнистому Алексею все то, ч е м у т о л я ю т з н о й д у ш и в п у с т ы н е, как необыкновенно вышутилось у него при этом. Давно не случалось Фирсову сделать в один вечер столько плодотворных наблюдений. Так он в непосредственной близости видел, как занималось в Векшине темное пламя и как пытался тот из разных бутылок залить резвые, охватившие его язычки. У него вдруг опунцовели уши и еще более посерело лицо, а нос, по определенью Фирсова, огрубел до сходства с куском дерева, как это бывает будто бы у людей на эшафоте, когда тело заранее приспособляется к тому, чем оно станет

через минуту... Незаметно было, хмелел ли Векшин при этом, потому что сидел по-прежнему недвижно, даже не подымая глаз, словно страшился увидеть перед собою вдесятеро худшее всякой казни. Теперь Фирсов избегал даже глядеть на него впрямую, чтоб, не вовремя попавшись на глаза, не вызвать его на какой-нибудь бешеный поступок. И тут, как живописно говорилось в повести у Фирсова, «черт и подсунул Векшину на разделку это громадное воняющее мясо».

В пивную спустился новый посетитель с подпухшим лицом и атлетического сложения, без шапки, в бронзового колера непромокаемых ботфортах и в распахнутой настежь телячьей куртке; чернильного цвета русалка, глядевшая из-под тельняшки с голой груди, удостоверяла его принадлежность к моряцкому сословью. В его запущенной гриве содержался пушистый снег: первая зимняя метель кружила над Благушей... То был спившийся, полностью бесполезный к жизни обломок великого российского перелома, каких множество крутилось тогда в водоворотах текущей жизни. Однако, подобно Векшину, то был осколок не от разбитой твердыни, а от раздробившего ее молота, на котором также должна была сказаться сила удара.

Вошедшему было холодно и тошно, его сразу опьянил благословенный запах пригорелой пищи и пролитого пива, теплая прель тлеющих опилок. Он потоптался, стряхивая слякоть с головы и ног, согревая дыханьем сизые, как конина, ладони, потом быстрым, слезящимся от стужи взором обежал помещение, выбирая подходящую жертву... Однажды его нанесло сюда осенней непогодой, ему понравилось, и с той поры он приходил в этот низок ближе к ночи сбирать дань с растратчиков и трусов. И оттого, что это всегда сопровождалось нарушением благочиния, пятнистый Алексей тотчас, хоть и с благоразумного расстояния, зафыркал на пришельца, замахал салфеткой, словно изгонял большую человеческую моль.

Из пренебрежения к опасности Векшин всегда садился спиной ко входу, так что вошедший не сразу и заметил его. Напрасно брел он меж столиков, готовый зацепиться за неосторожный взгляд, неосмотрительное слово, за выставленную в проход ногу... все догадывались и стереглись, предупрежденные угрожающим, перекрывавшим гам и музыку простуженным квохтаньем. Наконец он обнаружил векшинский оазис с непочатыми бутылками, и, значит, ему пришелся по душе их

одинокий и смирный обладатель, одним расстроенным видом суливший богатую поживу... Остановясь возле, он ждал хотя бы движенья брови векшинской, чтобы соответственно применить тактику наглости, панибратства или устрашенья, но тот пребывал в прежнем безмолвии, словно ничего не было для него важней теперь Доньки и Маши Доломановой, словно глаз не мог оторвать от счастливой и ненасытной пары, распростершейся у его ног. Посеянное Санькой зерно пускало первый длинный корешок.

— Это ж хоххот!.. вокруг фиялы и баяны, бубны и литавры, а мыслящему человеку забыться нечем... хха! И вот человек, который лично Арарат брал, служит у чужого стола на задних лапах, как пес... ахх! — со вздохом стыда произнес вошедший, для пробы возлагая тяжелую ладонь на плечо намеченной жертвы.

Векшин легко стряхнул его руку и со скукой раздраженья поднял голову. Перед ним, подбоченясь и стараясь изобразить по меньшей мере огнедышащую гору, стоял всего лишь озябший, очень проголодавшийся человек, не столь уж пьяный, каким прикидывался для пущей бравады, посредством которой добывал ужин на ночь и стакан вина. И не жалость привлекла к нему векшинское внимание, а знакомая, на последнем взводе отчаянья бездомная тоска, с какой сам стоял недавно у свадебного стола брата Леонтия.

— Присядь,— сквозь зубы разрешил Векшин, может быть в надежде заслониться им от боли своей, но и сквозь него лишь с ослабленной четкостью видел на просвет, как сплетались там, в глубине, ласкательные имена и дыханья, голые руки Маши Доломановой и Донькины.

— Зовут меня Анатолий Араратский...— начал бродяга, одновременно рекомендуясь и наливая в подвернувшийся стакан из двух бутылок разом с намереньем скорей достичь цели,— но ты зови меня просто Толя... валяй! Чтоб тебя не разорять, жрать ничего не буду, только спроси мне десяток каленых яиц к пиву. Эй, у двери, иди сюда... слышал приказание этого гражданина, Алеша?.. да выбери почеррней, чтоб дымком припахивало... и еще какую-нибудь самую там рассухую, трагическую воблу, никогда не познавшую материнства и младенчества... в количестве д в у х! — но показал он пятнистому Алексею три своих опухших перста.— Пошел теперь... Крраноидолы! Когда эпоха на крыльях мечты — либо пешком, иные же в таксомоторах — устремляется в голубое будущее, где не сегодня-завтра

все станет дарма́, до той поры яйца́ печеного авансом человеку не поверят... как при проклятом царском строе. Боже, что̀ творится вкруг тебя по твоей ужасающей рассеянности?..

Появившись здесь на смену Манюкину, он также добывал свой хлеб разговором, и действительно слово порою вкусно похрустывало у него на языке — отборное, точное, способное поразить случайного покровителя игрой, напором и внезапностью. Не дожидаясь приглашенья, Толя выпил залпом свой состав, покачал головой на сокровенную прелесть мироздания, понюхал корочку, пожал локоток подбежавшему с заказом Алексею.

— И еще, голубь мой, доставь пяток в запас да сольцы заверни в бумажку... с собой прихвачу на черный день. Пусть он платит, нэпман окаянный, спекулянт! У-у, нажива... — и, дружественно погрозившись молчавшему Векшину, снова взялся за бутылку. — Кстати, все спросить позабываю, с чего бы это лик вроде заплесневел у тебя, Алеша?

— Не иначе, как от людского воспарения,— зло и загнанно поскалился тот, втискивая второй прибор в тесноту векшинского стола.— Вон картина из жизни охотников повешена, для культурности, чтоб не матерились. На зорьке называлась, а уж полная ноченька на ней: пожухла. Мельхиор от вас, сукиных детей, ржавеет! — нахально вымахнул он в самые Толины глаза и убежал, вильнув салфеткой.

— Шутник и малость тронутый, но славный, сла-а-вный паренек,— полусмущенно пояснил пропойца,— мы старые с ним приятели. Иной раз присядем после закрытия, да за пивком и обсудим весь шар земной. Он потому у меня мудрец великий, что ведь в трактирах да меблирашках самый отстой всего круговращенья, изнанка жизни... а ведь умный купец исключительно с изнанки товар смотрит. И как прокричится кто там вверху, выкричится весь, то и падает сюда, на дно, к Алешиным ногам, вроде Анатолья Араратского... смекаешь теперь? То-то, смотри у меня... — и, нахально подмигнув, опорожнил вторую.

Речь у него была громкая, жесты крупные, повадки раздражающие, так что, разохотясь после истории с Санькиной женой, ближние соседи нетерпеливо ждали еще одного дарового развлеченья от его нестерпимого хамства. Однако у Векшина как раз оставалось свободное время для одного только что задуманного и медленно созревающего предприятия,—

кроме того, какое-то острое, почти болезненное любопытство не позволяло ему сразу прогнать прочь это опустившееся животное.

— Ты закусывай, а то ненадолго тебя на таком приволье хватит...— тихо посоветовал он.

— Ничего, пускай погорит, пощипет... — блаженно бормотал тот, ведя ладонью по груди вслед за глотком.— Не расчухал пока в точности, кто ты таков, спекулянт, валютчик... или, может, дьявола доверенное лицо? хха!.. но все равно я еще от двери тебя распознал, что ты великая персона. У меня, брат, страшнейшее чутье на этту вещь, и я слегка разбираюсь в магии, хиромантии и в этой, ну как се!.. в прочей чертовне. Ты еще добьешься богатства, славы, почестей, но, спекулянт!.. бойся кошек, гор и огня. Теперь гони рубль и давай лапку, я доскажу тебе остальное!

— Не делай из меня фраера, и пусть будет тихо, а то мне неприятно, когда зря возле шумят,— не отводя глаз и как-то в одно дыхание прошелестел Векшин. — Кто сам-то будешь... пророк, анархист, фортошник?

Вопрос был задан без тени усмешки, но опасная издевательская нотка почудилась бродяге в заключительном слове, слишком несообразном с его внушительным телосложением. Он быстро и испытующе взглянул в лицо своего случайного благодетеля. Высокий векшинский лоб тускло блестел, а в провалах под ним изничтожающе тлели потемнелые зрачки, и лучше было не глядеть туда сейчас во избежанье житейских осложнений. Впрочем, от выпитого натощак блаженно притуплялось ощущенье действительности, примолкало личное достоинство, розовело все вокруг — самая грязь, куда стремился поскорее и беспамятно рухнуть.

— Видишь ли, я чистой воды анархист...— захрипел бродяга, с видом ценителя просматривая на просвет налитое,— только я не т е о р и к, видишь ли, я больше практик... ну, по всеобщему переустройству земного шара. Теперь замри, я тебе один секрет открою, но ты никому ни-ни... понятно? — и приложил толстый перст к губам, сложив их венчиком. — Про Махна слыхал?.. так у него ближайший наперсник, любимейший ученик одним словом, Варавва назывался... ну, еще который королем всех трудящихся на Черниговщине себя объявил! Ты что, по заграницам скитался, ничего не помнишь? Вся Россия низовая о нем шумела. Это был крупнейший самоучка-гений анархического перевороту, понятно?.. хотя немножко идеалист:

все на свете отрицал начисто, окроме женского полу, хха... и даже неизвестно, откуда в нем бралась такая земляная сила. Небольшого росточку и даже физицки незначительного развития, потому что бывший обыкновенный счетовод у одного там разорившегося гетмана... со следами наследственного вымирания, потому что безвыходно сидел в закрытом помещении, смотрел в окошко, регистрировал издохших поросят. Но едва загремела эта самая... ну, святая, призывающая трруба! тут оно и стало прорастать в нем, призвание, пока не получилась наисамороднейшая фигура нашего времени... И я при ней правая рука! В Москву собирался въехать, сидя в гробу, ходил в парчовых штанах из архирейской ризы, крупного рисунка с херувимами... при нем конвой из шести апостолов, все время жахают из наганов в потолок для впечатления. И заметь, между прочим, какое детское несостоявшееся мечтание!.. обожал в пьяном виде со слезой обсудить, как пригонят на его поимку полного фермаршала в эполетах чистого золота и затем казнят вроде Пугача при всеобщем стечении простонародья!.. а его между тем, хха, застрелили втихую, когда он осматривал культурное заведение — аптеку — на предмет изъятия спиртного напитка. Смеххота! Я сперва стоял, заинтересовался было у прислужающей дивчины, от чего какое лекарство и с чем принимать, когда чикнуло... оглянулся, а он уже отошел, хха, в историю... Представляешь? Так и быть, гони теперь на стол целковый, и я тебе без утайки изложу свою исповедь. Обещаю, что будешь двадцать минут попеременно извиваться, спекулянт, то от смеха, то от сострадания.

— Пей молча, не ври, не утомляйся попусту,— равнодушно вставил Векшин и посмотрел на часы.

— Это верно, вру... а как ты узнал? — без огорчения удивился бродяга. — И насчет Арарата тоже врал... Но ты хоть спроси меня — зачем? Я не затем вру, чтобы заронить в тебя жгучий интерес на предмет взыскания монеты, а исключительно от стыда... потому я же коренной балтиец, Анатолий Машлыкин, плавал по многим тропическим, также субтропическим морям и вот настолько застудил организм, что нуждаюсь в безустанном прогревании. И если бы не одна подлая кознь со стороны высокой, но весьма сомнительной личности, я бы, может, первый человек на флоте стал. Слушай меня, доверь мне взаймы один только рубль, и я тебе вскрою про этого господина ужасный государственный секрет, который может тебе пригодиться. Чудак, тайна — это та же денежная расписка, только

сумма по вдохновению вписывается от руки! Жмешься, скаред?.. понятно. Требуете подвигов, черти, а как к получке дело, кассир в баню ушел. Стыдись... семь дырок пулевых на теле имею и в общей сложности одиннадцать атаманов вот этими руками задушил! — и протянул как на продажу заплывшие, без складок, ладони.

— Врешь... и, что обидно, без капельки правдоподобья врешь! — повторил Векшин, невольно вспомнив другого рассказчика на том же месте.

— Чего ж обижаться-то? — примирительно заворкотал Машлыкин,— ежели одиннадцать и семь многовато кажется, я уступлю: мы же люди. Пусть будет семь и три... баста? Но заруби на носу, ты нехороший человек, прижимистый. Давай теперь свою проклятую рублевку, я тебе фокус покажу... видал, как яйца в скорлупе глотают?

— Зачем же мне это? — томясь от обилия убийственно медленного времени, поинтересовался Векшин.

— Ну, в твою честь... будешь смотреть и получать удовольствие через унижение бывшего человека. Небось трикотажем на рынке торгуешь, а я как-никак бывший борец за человечество...

— Так и боролся бы, чего ж перестал!.. здоровье подкачало, или платят плохо?

Тот недоверчиво, как на припадочного, воззрился на своего случайного собеседника.

— Как же мне бороться, когда я весь растоптан, изгнан... и вот, семь раз простреленный, нахожусь с раскрытым ртом у спекулянта под столом! И главное, кто́ на Анатолия наклепал... кабы прихвостни капитализма, а то кровные браты родные, с кем я гнилую похлебку из одной миски за святое дело...

— Не шуми,— с зевком перебил Векшин. — Украл-то чего?.. дельное что?

— Расколи меня бог на этом месте, ежели я у товарища польстился... — задетый за живое, застонал, заметался Машлыкин и, вскинув руки, проклинающим жестом потряс над головой. — У меня трудовая, без пятнышка, балтийская душа, скрозь нее голубое небо видать... а собачье, буржуйское барахло и жалеть нечего. За что же Машлыкина по шее? Смотри, еще сгожусь на всемирном завтрашнем аврале душу уложить!

— Ну для чего же ее так, пускай постоит пока... или уже не может? — одним углом рта горестно посмеялся Векшин, опять взглянул на часы и опять подумал, что туда еще рано, что там у них еще не начиналось. — За что же ее укладывать?

— Как зачем, будто и не знаешь? — слегка смутился тот от предчувствия ловушки. — За это самое... ну, за счастье человечества!

С полминутки Векшин холодно наблюдал бродягу.

— И ты точно знаешь, великий человек, в чем оно состоит? — зловеще спросил он.

— В руках не держал, а в чужих видал... — без прежнего вызова усмехнулся Машлыкин.

— Так в чем же оно для тебя, к примеру... кроме сухих портянок да выпивки на сон грядущий?

Одно становилось все ясней Машлыкину, пора было уходить от греха, не связываясь с этим человеком.

— Это секрет,— притворно и озираясь замялся он, в намерении выиграть время, отбиться шуткой. — Плати целковый, тогда скажу...

— Смотри, не продешеви, товарищ... — зловеще согласился Векшин и, покопавшись в грудке бумажек из кармана, положил на край стола желтую, самую мятую, одну. — Ну, рискни, тогда...

Все было ненавистно Векшину в этом падшем человеке — и напускная удаль, под которой крылось опасенье оплеухи, и утомительное хвастовство прошлым — с целью выудить на четвертинку у простака, и оскорбительная небрежность, с какой тот швырялся громадными и святыми словами, которые сам Векшин уже не считал себя вправе произносить. Верно, нашлась бы и у Машлыкина светлая страничка позади,— тем резче узнавал в нем Векшин себя, каким станет сам через год-другой, если не посчастливится раньше разбиться обо что-нибудь с разлету.

Недобрый узелок завязывался в этой скользкой беседе о сущих пустяках, но отступать Машлыкину стало поздно, — вся пивная пристрастно следила за развитием беседы, словно за лихой, лишь бескровной поножовщиной. Как в старых русских трактирах знатоки редкостных увлечений вроде силачей или певчих птиц,— сейчас же любители духовно-нравственных поединков обступили отовсюду спорщиков — не потому ли, что правда, бог и счастье, как и звезды, куда понятней и видней со дна жизни.

«Вот и меня, и меня самого скоро увидит Маша таким же и посмеется надо мной сквозь слезы...» — думал Векшин, следя за смятением машлыкинских рук, из которых одна не смела схватить бумажку, другая не могла расстаться с бутылкой. Вдруг порыв ненависти и животного страха потряс тело бродяги.

— Гляди, вся братва и люди!.. гляди, как он мене в сердце жалит, с черной биржи гадюка,— закричал Машлыкин, словно весь уснувший город призывая в свидетели, уже стоя и в стену вжимаясь от немигающих векшинских глаз. — Когда тебе скушно на свете, гад, так и у меня не сахар на душе... опять же сдался, вот он я, весь до пупа перед тобой распоротый, сидю! Ты облюбуй уголочек во мне и плюй, пей свое вино и тихонько плюй, получай за свои харчи развлечение... и потом катись в пекло назад. Так чего ж ты длинные свои когти в семь моих дырок суешь? Мне ж больно... берегись, сволочь, откушу!.. ведь ты еще рваней меня отребье, ты ж на крови каких героев, на голоде народном вырос, ползучий гриб!.. еще про счастье спрашивает! А ну, схлопочи на семь лет мандат Машлыкину, чтоб все ему на свете можно было и без возражений ничьих, и он тебе сюда его, на стол, тепленькое кинет, счастье человечества!

— Думаешь, в семь уложишься? — неторопливо усомнился Векшин.

— ...и в первую голову,— уже не слыша ничего, кричал тот, словно самого себя раскидывал кровоточащими кусками,— всю дрянь с ее охвостьем с земного шара подчистую изведу... чтоб посреди оголенного места сесть потом и дух перевести от тебя, проклятого!..

— Сам этим займешься или другим поручишь? — холодно и внятно в заключенье спросил Векшин.

Но бродяга уже иссяк, устал и, скользя спиной по стенке, опустился на прежнее место. Плечи его вздрагивали при совершенно сухих глазах, все смотрели на него с досадой и жалостью.

— Погибла революция...— всхлипнул он, потому что ни одно существо кругом не вступалось за поверженного ее защитника, каким продолжал он считать себя в оправдание своего бытия, и закрыл ладонями опущенное лицо.

Тогда, собравшись уходить наконец, Векшин поднялся и на прощанье толчком опрокинул кружку на колени Машлыкину.

— За пивом это лишний разговор о революции, падаль... — произнес он довольно громко и с презреньем, обидней побоев и пощечины.

Стрелки на стенных часах подбирались к полночи. Времени было в обрез, чтобы, с одной стороны, поспеть к верно созревшему теперь свиданию — чужому! а вместе с тем — не томиться на стуже в ожидании, пока погаснет свет в одном заветном окошке, пока не приступят там к делу и представится практическая возможность прояснить посеянное Санькой подозренье; от этого зависела теперь не только его жизнь, но и две чужие заодно. Векшин уходил, оставляя пятнистому Алексею горсть бумажек, без счету, на столе и не взглянув на бледного, мокрого, потрясенного Машлыкина.

Никто не бивал бродягу раньше, но, значит, как и каждому человеку когда-нибудь, надлежало ему привыкать к своему новому положенью... Однако в следующий момент Машлыкин ринулся вослед оскорбителю — не с ножом, однако, а лишь в намерении, как сам кричал при этом, воздать ему лобзание за проявленное пренебрежение к смертельной опасности — в его, видимо, лице. Отчаянье рядилось в маску всепрощенья, чтобы обмануть судьбу, — для перетрусившего пропойцы то было единственное средство сохранить репутацию чудака, забияки и героя, которою Машлыкин кормился здесь. На свою беду он успел схватить уходившего Векшина за рукав... Тогда, обернувшись на прикосновенье, Векшин легонько толканул его в лицо, так что утративший равновесие бывший моряк полетел между столиков до самой исходной точки, кадушки с пальмой, где и встал, вернее сел на предпоследний в его жизни якорь... Кара никак не соответствовала вине, но, хотя, как и в эпизоде с Санькиной женой, сочувствие свидетелей снова было не на векшинской стороне, по-прежнему никто не посмел выразить порицанья Векшину — кроме как ползучей улыбкой брезгливого негодованья.

...Кстати, по Фирсову, высказанная Машлыкиным запальчивая готовность лично расправиться со всеми гадами на земном шаре надоумила Векшина сделать его исполнителем приговора на воровской правилке. В качестве побудительного толчка в фирсовской повести имелась бегло и плохо написанная ссора Машлыкина с разгулявшимся, ничего пока не подозревавшим Донькой. На деле же Векшин начисто забыл про

бывшего анархиста, едва вышел наружу из пивной. Все мысли исчезли вдруг, лишь боль да снег остались да необузданное стремление любой ценой прорваться в один дом, который и в такую метель отыскал бы хоть с завязанными глазами.

XIV

Насколько хватало глаза, во всем мире валил огромный летучий снег. Он заносил улицу, роился вкруг подслеповатых фонарей, лепился на деревья и фасады, фантастически преображая прямолинейную скуку городской действительности, и вот уж волшебной Благуши не стало места на земле! Только снежный шепот слышался в тишине, но время от времени глухой, протяжный посвист раздавался над крышами, и снежные завалы, дымясь, торопились поменяться местами, а небо гуще застилалось белой мглой. К полночи ни собаки бездомной не осталось на воле, только ветер да вор.

Подгибая голову, чуть не по колено в снегу, Векшин достиг перекрестка, и сразу взамен невезения в любви проявилось насмешливое к нему благоволение удачи. Продолговатый, с прогибом посреди сугроб — старик с лошаденкой — дожидался седока на углу. Было что-то пугающее в том, как — едва свалился с них снежный чехол, немедленно зачмокало там, зафыркало, пахнуло древнею конской вонцой, и без опроса, без сговора старик повез Векшина как раз в потребном направлении.

Вьюга мела им навстречу и вскоре запорошила Векшина с головой, но он не чувствовал, ни как стекала за ворот талая прохлада, ни как вкусен был после прокуренной пивной промытый снегом воздух. Векшин ехал прямой и бесчувственный, изредка тычась в сутулую спину перед собою, когда сани ныряли в занос, и ничего не различая кругом — не потому, однако, что провел без сна ночь накануне, а просто все его существо полностью поглощала мысль о том, какое замысловатое кощунство происходит сейчас т а м, в хорошо оборудованном для того помещении. Иногда, точно при магниевой вспышке, Векшину представала нелепость его бездумного, среди ночи, напрасного теперь визита к Доломановой, на который у него не имелось ни права, ни повода и которым ровно ничего нельзя было поправить после стольких взаимных, считал он, ошибок. Минутами ему хотелось выскочить из саней, потому что в случае

бегства хоть крохотная на что-то оставалась надежда, содержащаяся во всякой неизвестности. Вместо того жестокая сила прижимала его к сиденью и заставляла толкать старого черта в плечо, чтоб подхлестнул побольней свою ленивую животину.

Весь замысел плана в том и состоял, чтобы по возможности быстро и внезапно, хорошо бы с отмычкой даже, нагрянуть туда, в сокровеннейшее тепло, прежде чем любовники расстанутся, предупрежденные шорохом в коридоре, и если не дано будет застать заключительный в потемках вздох либо тот смертный, с изнанки, запах свадебных лилий, то хоть запоздалой ладонью коснуться раскаленных телами простыней и убедиться в необратимости происшедшего...

Просто немыслимым казалось по доброй воле покинуть кровлю в подобную погоду, но последняя-то и сулила успех, каб не эта, верно, с живодерки покраденная кляча. По мере того как сокращалось расстояние до места, все более овладевало Векшиным опасенье, что пропустил начало своей казни, потому что давным-давно наступила та благодетельная к любовникам вьюжная ночь, когда к естественным радостям объятий присоединяется безграничное, без помех со стороны, время и двойное, под снеговым пологом уединенье... Зато она еще годилась, та глухая, без следов и свидетелей ночь, для одного молниеносного, на росчерк пера похожего проступка, способного хоть ужасом, пусть ненадолго, подавить в памяти адские картины, нашептанные воображением. После искусного Санькина навета на Доньку с Доломановой ожившие рисунки эти шевелились, обнимались перед Векшиным как на экране — в преувеличеньях, позволявших наблюдать самые стыдные подробности. На протяжении одной какой-то бесконечной улицы они так терзали его бедный мозг, что Векшин, возможно, прибегнул бы к единственному способу избавиться от них навечно, к пуле, если бы не оказалось вдруг, что уже прибыли на место.

Черт доставил сюда Векшина точно в срок и сразу, с подозрительной резвостью растворился в метели вместе с санями. Маша еще не легла,— единственное в ряду других, чуть тусклей обычного, светилось ее окно. Видно, она по привычке читала перед сном, а Донька тем временем находился у себя в закутке и, возможно, сымал носки или раздумчиво чесал бок под рубахой, уставясь на свечу и перебирая обрывки дня, как это присуще людям в таких же обстоятельствах, в том числе ис-

полнителям казни. Следовало поэтому переждать, лучше всего — во дворе напротив, на случай, если действительно, вкладывая в свою утеху значенье векшинской кары, Маша из предосторожности выглянет на улицу сперва!.. но едва он собрался толкнуть калитку в смежное владенье, свет в отсчитанном с краю окошке погас и открылась возможность приступить к задуманному. Что-то велело Векшину, впрочем, постоять за деревом в расчете на непредвиденные задержки — пока сойдутся, пока что, и, может, Донька вздумает папироску выкурить или мало ли что еще понадобится по ходу дела. Эта подсказка здравого смысла, выражавшая неотвратимость предстоящего, потрясла Векшина... Прямиком через окно было бы ближе, но ни дерева, ни водостока не имелось поблизости. Не помня себя, он пересек улицу, вбежал в подъезд и перевел дыханье.

Самая пора наступила для таких дел,— бесшумно, через ступеньку Векшин стал подниматься по лестнице. Ему пришло в голову притвориться пьяным, будто заехал под хмельком по пути из одного вертепа в другой. Под такой личиной удобней было задержаться, задать лишние вопросы, на худой конец самому скользнуть по коридору до неостывшего гнездышка, сославшись впоследствии на беспамятность опьянения. На втором марше Векшину ясно стало, что притворство это ни к чему, потому что дверь наверняка откроет сам Донька, раздетый, с голой грудью атлета, еще не очнувшийся от своего торжества, и тут Векшин машинально коснулся кармана справа!.. но сразу забыл все это, едва оказался перед Машиной дверью. Рука его дрожала, когда несколько раз сряду поглубже и безуспешно вдавливал кнопку звонка. Облегчительная вначале догадка подтверждалась: частое в те годы явление — в районе выключили свет, что в известной мере также было на руку Векшину. Тогда он принялся стучать, то кротко, то властно, пока настороженный Машин голос не опросил его из-за двери.

— Открывай, нечего там, из розыска... — по злому осененью, сиплым чужим баском отозвался Векшин и, в ожидании, неизвестно зачем поспешно натянул на пальцы лайковые, волглые в кармане перчатки.

Доньке и не следовало отпирать дверь самому,— по наружному виду его легче легкого было бы догадаться о происходившем. Отперла сама Маша, и хотя гость стоял на пороге

чуть не до бровей залепленный метелью, в снежной чалме, Маша сразу узнала его.

— Какая скверная выходка, Митя... ты уж и шутить разучился! — и качнула головой с осужденьем, довольно искусным для застигнутой на месте преступления.

Векшин смотрел исподлобья и видел лишь то, что подтверждало его подозренья. Маша была в халатике, наспех надетом прямо на тело, и как-то не в меру целомудренно, ревниво, как оно и положено в т а к и х случаях, придерживала распадающийся на горле ворот левой рукой. Длинная, в правой, только что зажженная свеча отбрасывала на кафельную печь за спиной стройную тень ее головы, взлохмаченной прикосновением подушек. Колеблемое дыханьем пламя выдавало ее гнев и волненье... Векшинские ноздри раздулись, исследуя, но ничем не пахло в прихожей, кроме как антоновскими, почему-то, яблоками.

— Ты не подумай, я не в гости к тебе, Маша... — начал Векшин.

— Да и время неподходящее,— через силу согласилась та.

— Видишь ли, мне по срочному дельцу Доню повидать... Кликни, если не слишком занят, окажи по старой дружбе одолжение!

Оба глядели в глаза друг другу, оба не смогли бы предсказать, что последует через минуту.

— Видишь ли, он еще не возвращался,— помедлив, сказала Маша и посмотрела на дверную цепочку, готовая снова запереть дверь. — Тебе лучше завтра зайти.

Тогда Векшин принялся обирать снег с себя, стряхнул его за порог и с шапки и между делом все искал глазами Донькино пальтишко либо кепочку, но вешалка находилась во тьме, за шкафом, а заглянуть не подвертывалось предлога.

— Так и знал, что не застану, такая жалость! — бормотал он и опять, сам не зная зачем, долго-долго, словно о ста пальцах каждая рука, стал стягивать перчатки. — А лихо он к тебе вселился, Маша!

— Ну, ведь я вдова, знаешь, трусиха...— не просто отозвалась та. — А он сильный, и дров наколет... да и вообще на случай, если кто-нибудь вроде тебя ворвется ночью!

— Что же, так взаправду и влюбилась? — недоверчиво и напрямки спросил Векшин.

— Ты чудак стал, Митя,— тихонько посмеялась та. — Как

же мне не влюбиться?.. Во-первых, он гений, сам Фирсов его отмечает... только не шлифованный пока. А во-вторых, он чулки мне фильдеперсовые подарил.

— Так ведь они краденые поди? — усмехнулся и Векшин, но та молчала. — Чего ж ты по дешевке уличному карманщику себя отдала? Нашлись бы и побогаче купцы!

— Жребий мой такой,— пожала та плечами, и тут лицо ее потемнело, остарело вдруг от какой-то затянувшейся усталости. — Ну, хватит, пора и совесть знать... не нравишься ты мне нынче. Полагаешь, что шикарный очень, а на тебя глядеть страшно, как из морга, жеваный... еще приснишься, уходи! — и вдруг как бы с любопытством вгляделась в него, даже свечу поближе поднесла. — А может, ты убивать меня пришел, тогда извини, что я тебя разговорами задерживаю. Тогда занимайся скорей... в ноги дует, и потом я, знаешь, смертельно спать хочу.

— Ишь какая... а я-то рассчитывал в простоте посидеть с тобой часок... как т о г д а на Кудеме! — сказал на пробу Векшин и кивнул на внутренние комнаты. — Пустишь?

Она отстранилась, даже попятилась к проходу.

— Нет, ко мне никак нельзя...— торопливо и наотрез отказала Маша. — Если тебе выпить хочется, у меня найдется бутылка водки, только где-нибудь т а м, внизу устраивайся, пожалуйста!

Сказанное прозвучало тем обидней, что без заметного намерения унизить, а как бы из сочувствия к бедственному состоянию несчастного человека, и Векшин даже решил, что его нарочно хотят ослепить гневом, чтоб не распознал каких-то очевидных доказательств. Тогда он решился более доходчивым средством вызвать Доньку из пригретого местечка, где тот, верно, с понятным томлением дожидался под одеялом окончания беседы.

— Прости мне непрошеный совет, Мария, а только не стоило бы ни тебе скрывать его от нас, ни ему за твоею юбкой прятаться,— нарочно громко сказал Векшин. — И вообще, зачем тебе портить уютную обстановку, возможно с побитием ценных зеркал, когда все равно мы его достанем хоть из кармана у Николая-угодника!

— Кажется, ты грозишь мне, Митя?

— Это не угроза, а всего лишь совет старого друга не подымать посторонний шум с привлечением соседней милиции!

Все это было произнесено со звенящей четкостью и той особой словесной пересыщенностью жаргона, какою в уголовной среде подменяется вежливость.

— Видишь ли, Мария, Доня твой и прежде камешками в моего Саньку кидался... между прочим, будто завалил нас у Пирмана, а потом отсидел два месяца на казенных харчах для отводу глаз. Я смолчал два разка, но вчера в третий капнуло, не унимается. А Санька мне родни ближе, мы с ним через пролитую кровь на фронте братались... соображаешь механику? Вот и желательно нам это дело проверить...

— По-моему, на кого подозренье пало, у того надо и спрашивать... при чем же Донька тут? — со странным колебанием в голосе спросила Маша.

Векшин прижал руку к сердцу.

— Сознаю, милая Мария, какую боль тебе причиняю этим разговором, и, поверь, не стал бы разрушать твое благополучие... но известно мне, что Доня и к Санькиной жене, к чахоточной, приставал. Ведь он пылкий, знаешь, неразборчивый на эту вещь: поэт! И ходит слушок, что отшибла она его не из брезгливости, потому что и сама из уличных, а из тех соображений, что одна-то болезнь все лучше двух. Вот и сдается мне, Мария, что он за неуважительную жену на муже отыграться ищет. И мне этого дела, промежду прочим, никак не хочется спускать... Вчера на Саньку, нынче на меня, а завтра и про тебя сбрешет, будто живешь с ним... да уж и намекает! А сама понимаешь, клеветникам и среди воров почтенья нет.

Он смолк и ждал, что теперь-то и загремит опрокинутая мебель и раздетый Донька с ревом, в два прыжка, ринется из тьмы на оскорбителя — и тогда пусть насладится Маша Доломанова зрелищем поединка за смертельную свою красу! — но по-прежнему, кроме отдаленного тиканья часов, ни звука не было нигде, даже пружина стальная не звякнула, и Векшин невольно подумал — какой же властности запрет наложен на Доньку, если только действительно здесь он, потому что сам Векшин лишь трупом смог бы вылежать подобные обвиненья.

Молчала и Маша, и свеча ее горела теперь совсем ровно, так невозмутим был воздух ночи,— только как-то слишком ярко, поразительно подчеркивая смуглую матовость кожи и обольстительную, с этой нечаянной челкой на лбу, прелесть чуть нахмуренного лица. И Векшину вздумалось еще разок сте-

гануть противника по голому телу, чтобы скорее вылезал из тайничка.

— И зря ты, Мария, сомневаешься, жалеешь подлеца. Отпустила бы нам его из кроватки на часок-другой по душам потолковать, а как разъяснится, что к чему, то и получай своего дружка назад в сохранности... разве ж звери мы — любящие сердца разлучать! — тянул Векшин, пользуясь злым Машиным оцепенением. — Я к тому, что не вчера эта дрянь у нас завелась. Ведь и к Корынцу, на Агея, кто-то гостей навел, но только сдается мне, что не Санькины то шалости... зачем Саньке безвинного старика закапывать? Тогда как у Дони твоего прямой имелся резон.

Доломанова гневно покачала головой, и пламя свечи заколебалось.

— Ты же сам отлично знаешь, что те деньги, чернилами подмоченные, облаву к Корынцу привели!.. и значит, Пирман из твоих, у тебя же выигранных, старику с кона платил, а тот по жадности немедля пустил их в обращение... — Она сперва запнулась, явно добиваясь впечатления, будто опрометчивым, хронологически-неправдоподобным предположением стремится во что бы то ни стало защитить любовника, потом сделала вид, что испугалась. — Какой же у Дони-то мог найтись резон?

— Прямой!.. не думаю, чтобы он с каждой выданной головы получал, но был у него резон и посильней наживы: поскорей любимую женщину вдовою сделать. При живом-то Агее не забалуешься. Тебе известно, что и я покойника не шибко обожал, но нельзя же, Маша... и на свалке порядок нужен!

Несмотря на внешнюю замедленность, игра велась на такой бешеной смене уловок, доводов и их оттенков, что обоим некогда было по какой-нибудь дразнящей несообразности противника разгадать истинное направление маневра. Вряд ли Маша сама разделяла нелепую версию, будто испачканные кредитки, едва мелькнув на игорном столе, могли в одни сутки навести розыск на след преступленья. Но если прикидывалась, будто горячо стремится отвлечь подозренья от Доньки, то не иначе как с целью подогреть у Векшина ревнивую уверенность, что Донька рядом, под одеялом у ней, тогда как в действительности его, по-видимому, там не было... Желанная мысль та почти не задержалась в сознании, потому что Векшин успел наперед разгадать ее двойную женскую хитрость, в том и со-

стоявшую, чтобы усыпить его подозренья — будто и не намечалось на эту ночь чего-нибудь грозившего их взаимной верности до гроба, а это, в свою очередь, указывало, что Донька был тут, таился и терпел словесные векшинские побои и не стоил, значит, не только ножа или брани, но и плевка.

Не хотелось оставлять без вниманья и Машину попытку обмана.

— Не темни, Мария! тебе известно, что пачка тех, подмоченных, на месте осталась...

Тогда и Доломанова, с свою очередь, рассердилась не на шутку.

— Перестанем, Митя, дурака валять,— сказала она в открытую. — А почему бы не допустить, что мне самой от Агея освободиться захотелось? Кроме чулков фильдеперсовых, дождешься услуги от вас, от кавалеров нынешних! Ты, видно, безоружных предпочитаешь... как того офицеришку на фронте. Агей, между прочим, страсть таких хвастунов да нахалов не терпел, он их за уши таскал. Это он потом свихнулся, а тем летом семнадцатого года это король на всю Кудему был... Он в ту пору председателя нашей земской управы на собрании всухую за волосья оттрепал и ушел через окно. И медленной походкой уходил, пока урядники за спиной соловьиные трели испускали. Другой бы за подобную отвагу пенсию себе пожизненную выхлопотал, а мой дурак был... культурки не хватало, как Фирсов говорит. Ты извини мне такое сравненье: сам его заслужил!

Считая дело поконченным, Доломанова повернула разговор в другую сторону:

— Шибко метет на улице?

— Первый такой снег.

— Все у певички своей квартируешь?

— Съехал... — и переступил с ноги на ногу,— замуж вышла.

— Где ж апартаменты твои теперь?

В расчете на ее оплошность он сделал неопределенный жест.

— Так, где придется. Последние два денька на запасных путях Савеловской железной дороги... отдельный номерок снял.

Он воспользовался удержавшимся в его памяти, наиболее убедительным, пожалуй, образом человеческой бездомности, какой могло придумать его усталое воображение. Правда,

внешний вид его не очень соответствовал сказанному, но время было ночное, и, в случае удачи внезапно возникшего у Векшина фантастического плана, он получал лучшую возможность на месте проверить Санькино сообщенье. И Маша сама как-то слишком поспешно и охотно пошла навстречу этой выдумке.

— Теперь мне понятно, отчего ты бродишь по ночам,— словно не распознав фальши в его ответе, усмехнулась Маша, и Векшин лишь с большим запозданием раскусил эту приманку жалости и сочувствия. — Этак легко и здоровье потерять, но я не злопамятная... и если ты сейчас не слишком гордый, то перебирайся на несколько деньков в чулан к Доньке... пока не устроишься. Все лучше, чем в нетопленном вагоне. Я, пожалуй, велю Доньке вторую коечку поставить... а?

Подняв глаза, Векшин искоса изучал Машино лицо. Оно казалось совсем спокойным,— лишь подергалось в углу рта и затихло, подтянутое. За нестерпимо унизительным предложением занять угол у каморочного жильца, возможно — преуспевающего любовника, скрывалось какое-то в особенности тонкое коварство, и Векшин, принимая вызов, с таким же жестоким вдохновеньем поблагодарил ее встречной улыбкой. Вряд ли Маша предоставляла Векшину возможность наглядно убедиться в неосновательности его ревнивых, воспаленных домыслов... но так или иначе, он получал удобный случай предотвратить в зародыше их назревавшую связь, если еще не поздно.

— Чего ж тут гордиться, здоровье-то дороже... — смиренно сказал Векшин, в тоне начавшейся игры. — Не опасаешься меня?

Маше угодно было понять его вопрос по-своему.

— Я больше ничего на свете не опасаюсь, Митя: у меня все позади... Да и мало ли кого Донька по приятельству на ночлег к себе пустит, через задний-то ход. Лучше за себя беспокойся, Митя!

— Тогда я завтра, пожалуй, и переберусь? — с видом озабоченного мастерового осведомился Векшин.

Чтобы взяться за дверную цепочку, Маша перехватила свечу в левую руку, и Векшин в замешательстве опустил глаза, когда оголенное плечо блеснуло в распахнувшемся вороте халатика.

— Да, только не сегодня... — сухо сказала Маша. — И еще: здесь не хаза, так что не больше трех ночевок и чтоб поздно не возвращаться. Теперь уходи...

Дверь она стала закрывать, когда Векшин еще не покинул порога. Казалось, все внушало надежду на примиренье впереди — еле замаскированные иронией упреки, немыслимые при охлаждении, и затянувшийся разговор, а в особенности высказанная готовность приютить на срок, пока не подыщет теплого пристанища. Значит, не дошло пока дело до той роковой бесповоротности, когда и оглянуться при разлуке нет охоты. Этим утверждалось глубокое векшинское убеждение, что, какова бы ни была его провинность перед Машей, она не порешится на казнь через Доньку. Самая мысль о прикосновении к их кудемской тайне — жигана, каторжного песенника, пускай даже божьей милостью вора, как польстил однажды Доньке Манюкин под хмельком подпольной гульбы, представлялась Векшину кощунственной... Но чем убедительней казались рассудку успокоительные доводы, тем жарче, вопреки им, разгоралось подозрительное чувство, что не для примиренья стремилась Маша приблизить его, а чтобы выплеснуть ему в лицо остатки своей необъяснимой кромешной боли. Не из таких была Маша, чтобы прощать, да Векшина и не тянуло бы к ней, если б из таких. Видимо, в ближайшие дни должно было что-то завершиться согласно ее коварному замыслу, и, значит, вполне рассчитывала управиться в назначенный трехдневный срок. Разбор всей этой путаницы следовало начинать с выясненья, где провел Донька ту метельную ночь, а для проверки — не лгала ли Маша, приходилось непременно дождаться его возвращенья.

Векшин спустился по лестнице и, опершись о перила внизу, принялся курить папироски одну за другой. Влажная теплынь стояла в подъезде и совершенная тишина, так что ни шавочка нигде, ни больной ребенок, ни падающая капель — все поглощал, казалось достигавший снаружи, проникновенный шелест снегопада. По приглушенному щелканью ключа Векшин узнал о приоткрывшейся из нижней квартиры двери,— надо думать, старуха с особо чутким сном уставилась из щелки на тлевший впотьмах уголек. Пришлось бросить под ноги окурок, повернуться спиной... Однако беспокойная неловкость в лопатках от чужого взора не прекращалась; подчиняясь необходимости, Векшин вышел из подъезда на улицу. Все равно слишком нестерпимо и гадко было бы столкнуться здесь носом к носу с насвистывающим счастливцем, который по дороге к своей дамочке в пригретый уголок непременно пожелает спокойной ночи торчащему на лестнице сопернику.

Векшин завернул под ворота, где было потише от ветра и по теплому смраду угадывалась близость помойки.

Прислонясь к исчерканной тележными осями стенке ворот, плечом в кирпичную ложбинку, Векшин пытался придать телу удобное положение, чтоб не свалиться от утомления и сна. Лишь бы не замечать времени, которое вовсе приостанавливалось порой, он зажмуривался, выключая все, кроме слуха, но тотчас накатывала долгая и вязкая одурь, как бы остекленение мыслей... и затем в страшной вышине над головой начиналась перекличка двух-трех голосов, один из них, торжественный и чуть нараспев, принадлежал, несомненно, Арташезу. Его поминутно заслонял другой, полуузнаваемый, которому вторил разлетающийся гулкими осколками женский смех. Разговор велся о нем, о Векшине, но требовалось до безумья изнуряющее усилье — разобрать произносимые слова.

Сперва прояснилось, что вовсе не Арташез с Машей, а все тот же Донька!

«Не обмани меня... — начиналось. — Я тебе чулки подарил».

Затем следовала прослойка дразнящего стеклянного смеха.

«Люблю тебя за то, что не жалеешь меня... — самыми скрытными векшинскими мыслями звенел Донька. — Ты и есть Кудема, речка, бегучая вода... Твои глаза во тьме отыщут, чего и при солнце не видать другой. Разум мой весь исцарапан твоими ноготками, и когда ты наконец догонишь меня с ножом, все равно буду твой...»

Постепенно сам Векшин вплетался в этот хор составляющей струной, тогда тело его начинало оседать, скользя по стенке, а в пробудившееся сознанье вторгался с ума сводящий страх прозевать важнейший теперь момент.

Разодрав слезящиеся веки, он делал попытки согреться, топчась на месте или, по повадке босяков, ударяясь плечом о кирпичную кладку,— не сразу удавалось вернуть утраченную способность к движенью. Нигде на улице не виднелось свежих следов по снежной целине: Донька еще не возвращался. По-прежнему сыпался сверху снег, но, видно, запасы его истощались... да и не случалось, чтобы такой город по самые кровли заносило к утру! Метель почти переставала временами, и можно было различить, как любознательно кружили у ближнего фонаря снежинки, последними прилетавшие из бездны. Чтобы лучше противиться забытью, Векшин глядел на них до ряби, до рези в глазах, пока вновь не достигали сознанья те

же перекликающиеся под высоким стеклянным потолком голоса, только из мучительного теперь удаленья... Еще не светлела над городом мгла, но гул пробужденья заметней разливался по окраине, заводской гудок пробивался сквозь рассветную вату, дворники со скребками и лопатами выходили наружу.

Доньки все не было... и вдруг самыми мускулами рта Векшин вспомнил собственную свою — когда уходил от Маши! — кривую усмешку уверенности, что ни при каких обстоятельствах не посмеет Маша посягнуть на Кудему. Отсюда и могла бы она почерпнуть недостававшую ей решимость... Снова, как в начале метельной ночи, возникала тягучая тревога, только сейчас она заключалась в неодолимом ощущении, что приговор в исполненье приведен. Векшин поймал себя на том, что вслушивается в нависший над головой свод — в надежде, что хоть какой-нибудь предательский скрип просочится оттуда сквозь каменную толщу.

Если бы не дворник, он продремал бы под воротами до утра... Кстати, Фирсов напрасно придумал неправдоподобную сцену, как Векшин пьет утренний чаек в дворницкой и выпытывает у плохо говорящей по-русски конопатой татарки подробности Машиной жизни. В действительности же после пережитой ночи Векшин едва на ногах держался, как оно и положено казненному. Рослый дворник, с которым не стоило ссориться, заглянул к Векшину в его укрытие и, посредством непристойного, с татарским акцентом произнесенного присловья, присоветовал отправляться восвояси. Гораздо выгодней было Фирсову сохранить в неприкосновенности истинные события утра — как под свежим впечатленьем ревнивого страха Векшин бросился объезжать столичные вертепы, где Донька мог провести минувшую ночь. Это позволило бы сочинителю в живописно-поучительной форме показать разнообразный типаж и будни нэповского подполья на рассвете, когда беспощадный, разоблачающий свет дня скользит по лоснящимся, обескровленным от разгула лицам и, пусть ненадолго, зажигает в глазах скорбную тоску по навеки загубленной чистоте.

XV

Несмотря на героические усилья дворников, их домочадцев, даже активистов из числа жильцов, очистить проезжую часть улиц не удалось до самого вечера; в сумерках,

вопреки надеждам, снова посыпалась с неба снежная крупка. Из-за ночного заноса Векшину до полудня удалось объехать лишь несколько заветных уголков, где до своего знаменитого обета Вьюге прожигал Донька свой талант и молодость. Нигде не смогли сообщить о нем чего-нибудь толкового, и вообще получалось, что последнюю неделю он не вылетал на волю из налаженного гнездышка. Это было не в повадках Доньки, подвижного и непостоянного, через денек-другой он непременно обнаружился бы, но Векшину видеть его, глядеть ему в глаза требовалось немедленно... Оставалась последняя на земном шаре точка, у Баташихи, вследствие наименьшей вероятности, оставленная Векшиным на самый конец.

По слухам, в этом общедоступном раю можно было на любую цену забыться от неизбежных огорчений ремесла, также попытать фарт на мельнице, за игорным столом, но бывалые люди суеверно обходили эту хазу сторонкой. С самого ее возникновенья подпольная молва окрестила Баташихину квартиру салоном уединения и казенных харчей,— причем предостерегающее названье это родилось из ряда роковых, несколько странных совпадений и провалов, объясненных впоследствии излишним, по корысти, радушием хозяйки. В отличие от дорогого Артемиева погребка для избранных, сюда наряду с подпольной знатью допускались черные дельцы редких отраслей, наиболее выдающиеся растратчики сезона, загулявшие бабаи из провинции и посторонние вовсе уж с непроверенной рекомендацией. Самая анкета Баташихи, по слухам — бывшей самоварной заводчицы, замещалась единственной, довольно рваной легендой о ее прошлом, да и то по сомнительной молве тульских мужиков из смежных с ее поместьем деревень. Будто бы с молодых лет славилась на весь уезд пристрастием кататься в грозу, по самому ливню и бездорожью, так что чуть заурчит в небе, запляшут зарницы на небосклоне, приказывала седлать свою черную как смоль, такую же безумную Блоху... и будто бы однажды видел кто-то в проблеске молнии, как исхлестанная, осатанелая, в мокрых космах по плечам промчалась она мимо с черным, в обнимку приникшим сзади господином за спиной... После революции и реквизиции адская кобыла досталась тщедушному тамошнему продкомиссару, и молва утверждала, будто ведьма навестила его на службе и, стуча ему перстнем в лоб, приговаривала: «Не тебя, дурня, возить моей Блохе!» Разумеется, было легче легкого тут-то и взять проклятую старуху, заамипив старо-

дедовским способом, но оный продкомиссар, будучи передовых взглядов, не порешился на это из антирелигиозных побуждений. Когда же после случившегося вскорости мятежа сведущие в нечистых силах уездные работники вели на разделку босую Баташиху, она якобы вскочила на подставленную чертом Блоху и чудом ускакала из-под пулемета; иней той морозной ночи успел пропорошить зловещую смоль ее волос. Поэтическая недостоверность этой истории создавала Баташихе ореол, крайне выгодный для содержательницы с а л о н а, куда валила необстрелянная, падкая на подпольную романтику мелкота либо удальцы, утратившие в угаре последнее благоразумие.

Несмотря на застарелую неприязнь, Векшин из предпоследнего навещенного им закоулка отправился прямиком к Баташихе. Опять скользил он меж московских сугробов в покойных низких санцах,— ехал и думал бессонной головой, что неплохо было бы каким-нибудь особым поступком довести Машу Доломанову до раскаянья за такое ее безрассудное ожесточение к другу детства, будто мало ей тяжких векшинских злоключений. Все приходили на ум средства сильного и короткого действия, вполне пригодные для возмездия, однако недостаточные — доказать Маше глубину ее заблуждений. Нет, лучше было бы Векшину с этой целью выйти в большие люди, скажем в ученые по какой-нибудь самой малодоступной науке, где все знатоки наперечет либо при смерти, да и открыть в ней что-нибудь развсемирное, чтобы шея у всех заболела от постоянного созерцания Митиной высоты,— среди прочих и у Маши Доломановой!.. К слову, в этом направлении и решалась судьба Векшина в фирсовской повести, хотя таким путем вовсе не достигалось душевное смягчение, единственно целительное для его героя. В векшинском стремлении возвыситься над людьми Фирсов усматривал прежде всего могучий т я г о в ы й м о м е н т, способный вымахнуть почти бездыханное тело со дна жизни на ее поверхность, к солнцу...

Так ехал Векшин, от сонной одури покачиваясь в санцах, поминутно нырявших из одной рытвины в другую, свешенной рукой черпая сыпучий снег, и настолько размечтался средь дороги, что сквозь туман распаленного воображения стал различать заплаканную Машу у себя под окном... только ужаснулся слегка, что по глубокому своему невежеству никак не мог себе науку подобрать, где бы побыстрей и похлеще прославиться. Даже решился в ближайшие же дни пусть силою пробиться к какой-нибудь наивысшей знаменитости и после откровен-

ной исповеди умолить, напроситься к ней хотя бы в сторожа, в безмолвные тени при пороге, чтобы с обетом самоотреченья зарыться в его науку... лишь бы Маша пождала, потерпела эти два-три десятилетия! И опять Фирсов стремился показать здесь, как близок был его герой к решению мучившей его задачи об умном блеске в зрачке и — как далек от пониманья своей провинности перед Машей Доломановой.

С незначительными зигзагами ехать Векшину пришлось по бульварному кольцу, и на одном отрезке пути чаще обычного стали ему попадаться на фасадах большие черные афиши с голубою, наискосок летящею фигуркой и нерусским словом по борту, напоминавшим о чем-то донельзя досадном, настолько запущенном, что уж поздно было ему вмешаться. Вдруг Векшин увидел то же самое, но в преувеличении, намалеванное на нескольких сбитых вместе листах фанеры,— резвый ветерочек раскачивал этот скрипучий парус, подвешенный в пролете между двух смежных зданий: рекламное объявление о первой из четырех прощальных перед отъездом за границу Таниных гастролей. Приземистый московский цирк, сам теперь похожий на огромный круглый сугроб, проплывал справа. Неожиданно для себя Векшин соскочил с саней и велел ждать его на тесной площадке перед артистическим подъездом, до которого случилось ему однажды проводить сестру.

Сквозь неплотно пригнанную дверь намело вовнутрь острый снежный мысок. Было начало первого часа, остро пахло конюшней, только что кончилась репетиция лошадей. Кроме занятых своим делом уборщиц, никто не встретился Векшину по дороге на манеж. Только берейтор в проходе осведомился у него о чем-то,— Векшин обронил сквозь зубы служебный и, небрежно поотстранив в плечо, прошел на арену, в огромный, холодный, неуютный сумрак цирка, пропоротый блуждающим лучом единственного лампиона. Клочковатые отраженные голоса сшибались и реяли в полушарии купола, совсем как повторение вчерашнего ночного бреда под Машиным окном.

Было бы совсем пусто, если бы не монтеры, возившиеся с лестницей на другом конце арены, да еще бездельно раскиданные по рядам циркачи, человек десять, только что отработавшие или, напротив, дожидавшиеся своей очереди: манежа на всех не хватало. Расчет застать здесь сейчас, в рабочее время, сестру оказался правильным, несомненно где-то поблизости находилась и Таня. Векшин поднял глаза в высоту, где сквозь верхнее, снаружи залепленное снегом окно вливалась

сизая зимняя пасмурь и таяла на полпути, не достигая опилок. Вслед за тем прожекторный луч передвинулся, и Векшин увидел там, вверху, сидевшую на трапеции сестру — настолько отчетливо, что различил белый, подвешенный рядом на тросике и неизвестного назначения мешочек. Она только что завершила сложный гимнастический трюк и отдыхала, готовясь к дальнейшему и перекликаясь с кем-то внизу в знакомой зеленой жилетке. До начала Векшин успел занять незаметное место в проходе, опознать Пугля в зеленом человечке, суетившемся на арене, и поосвоиться с обстановкой.

После минутного перерыва репетиция возобновилась. Со смешанным чувством жалости и какой-то желудочной тоски следил Векшин, как тоненькая, такая житейски неустроенная женщина в рискованном равновесии покачивалась на трапеции, или вскидывала всю тяжесть тела на вывернутую за спиною руку, или почти соскальзывала в бездну, едва успевая повиснуть на носках, и мускульно повторял за нею волевые усилия, направленные на преодоление невозможности, эти балансы ласточкой или флажком, задние кульбиты и закидки — словом, все, из чего складывается цикл гимнастической работы штейнтрапе. И ему было скорее досадно сейчас, чем интересно наблюдать цирк с изнанки и без прикрас, которыми прикрываются труд и пот пленительного чуда... Репетиция протекала под непрерывные, снизу и понемецки, окрики Таниного наставника, чтобы сильнее делала размах, или плотней держала колени, или не прогибалась сверх меры и таким образом стремилась бы к наивысшей школьности в отработке номера,— трудно было заподозрить подобную властность в столь престарелом крохотном существе.

И снова некоторое время Таня отдыхала, сидя на трапеции и машинально поглаживая какой-нибудь мускул сквозь трико. Уже уставший от зрелища, Векшин видел, как всматривалась она в зияющую, верно, пустоту под собою, словно примеривалась к чему-то, до чего оставалось меньше семи часов. Его невольное опасение за сестру представлялось теперь напрасным,— к ней возвращалось первостепенное для циркача ощущение своей гибкости, точности, способности без заминки и бессчетное количество раз повторить отработанное движенье. Таня снова чувствовала свое тело так, как обыкновенный зритель чувствует пальцы на руке. В конце концов она благословляла цирк, этот родной и строгий дом, который едва не покинула в смятении ради бесславной участи всего лишь заварихинской

подруги. И так окрепла ее артистическая уверенность в себе, что уже зрели в воображении новые придумки, до смертельной дерзости усложнявшие **шейный штрабат**, монополисткой которого и без того оставалась в мире. После промелькнувших по столице слухов о редкостном заболевании артистки билеты на все четыре выступления Геллы Вельтон были давно раскуплены, да еще подоспело известие о подготовляемой перестройке цирка в производственно-сатирическую сторону для борьбы с пережитками прошлого в сознании зрителя, так что администрация якобы едва добилась разрешения Таниных гастролей под тем предлогом, что номер обещал стать сенсацией циркового сезона за границей.

...Вдруг она встала во весь рост, и Векшин тотчас увидел черный ободок на шее сестры; подступала очередь заключительного трюка. Хотя не было никакого оповещающего знака, все внизу замерло в исходном положении, в каком застала тишина, а в ложах, с совками и метлами выпрямились служители, удалявшие сор вчерашнего представленья. В образовавшейся паузе гулко и сыто проржала застоявшаяся лошадь — вряд ли кто слышал это. С досадой на себя Векшин вынужденно отвел глаза к Пуглю, с поднятою рукой отошедшему к барьеру.

— Abfall! [1] — костяным голосом крикнул старик.

Больше ничего не было, Векшину почудился только глухой, тянущий звук струны над головой, после чего сразу увидел сестру, уже на арене. Сияющая, потирая ушибленную веревкой ключицу, она направлялась к Пуглю, и Векшин навек запомнил и вдруг ослабевшего, чуть не плачущего старика, и откровенную радость товарищей по поводу побежденного страха, и еще — как дружно поднялись в первом ряду только что приехавшие на гастроли в Москву бельгийские прыгуны, корректно и благодарно приветствуя проходившую мимо русскую артистку. Их было шестеро и седьмым светловолосый нежный мальчик, глядевший на нее влюбленными глазами. Прижав к себе голову старика, Таня торопилась лаской и добрым словом вознаградить его за многолетние хлопоты и тревоги. В эту минуту и окликнул ее сзади брат.

Таня дрогнула и обернулась.

— Ах, зачем же ты так напугал меня...— пожалась она, скрещивая на груди руки, и тотчас же Пугль накинул на плечи

---

[1] Бросок! *(нем.)*

ей что-то теплое, старенькое, домашнее, почти до пят.— Как ты прошел сюда?

— У кого спрашиваешь, сестра!— профессионально взмолился брат, и тут ему показалось, будто Таня несколько тяготится его визитом, потому что еще не отошла от только что заново пережитого. — Разве ты сама не звала меня заходить к тебе?

— Но я не на репетицию тебя звала...— сказала Таня и замолчала, сбившись с мысли.— Значит, ты все время сидел здесь?

— Вон там у прохода... а что?

Тень озабоченности еще держалась у Тани в лице, напрасно она пыталась согнать ее улыбкой. Как ей хотелось забыть что-то из действительности, но опять тревожный человек этот приходил к ней вестником царившего в мире неспокоя, порабощающих угрызений совести и каких-то неминуемых в дальнейшем бед. И хотя она общалась с Векшиным не так часто, хотя он был всего лишь вор, которого и прогнать можно, на худой конец, она так успела утомиться от брата, что, казалось, остатка жизни не хватило бы на отдых.

— Кажется, ты не очень рада видеть меня, Танюшка?

— Понимаешь... не очень люблю, когда меня смотрят на репетиции.

— Но я же не один сидел тут,— сказал Векшин, имея в виду всех присутствовавших на манеже. — Нас там много было, безбилетных.

— Они другое дело,— непонятно объяснила сестра. — Они смотрят, но не видят... Прости, у меня сегодня трудный вечер. Ты по делу ко мне?

— Проезжал мимо и вот зашел сказать, что ужасно мне не хотелось бы терять тебя, сестра. То есть, я совсем в другом смысле хочу... из сердца тебя не упускать! — запутался он, испугавшись такого двойственного смысла своего признанья да еще под руку, перед самым ее выступленьем. — Видно, неосторожным отзывом о твоем женихе я оскорбил тебя в прошлый раз... хотя, верь мне, только добра тебе желал я!

— Что же, ты изменил свое мнение о моем Николке?

— Не скажу,— вздохнул Векшин. — С одной стороны, золотишко копит, ценными камешками интересуется, безбандерольные товары обожает... сама поди примечала? А с другой — не в таком я чине теперь, чтоб зачислять в подлецы всех, кто смеет думать или поступать иначе, чем я сам. Ведь

Дмитрий-то Векшин всегда на редкость правильно думал, а вот получилось крайне наоборот... Без спорыньи урожая не бывает, диалектика! А может, еще Николка твой под старость приют откроет для всемирных малюток или, скажем, благотворительную харчевню с горячительными напитками... глядишь, и я попользуюсь в свой черный день! Бывают и у них порою просветления...

Таня слушала его, рассеянным взором следя сквозь главный проход, как на манеже беззвучно взлетали с подкидных досок и кувыркались бельгийцы, изредка взбодряя себя беглыми гортанными восклицаньями. И только по нетерпеливому постукиванию ее пальцев о случившуюся рядом клетку Векшин понял, до какой степени успел раздражить сестру его привычный тон высокомерия и насмешки: даже несмотря на стоявшие в фойе потемки, видно было, как оскучнело ее лицо.

— Меня, Митя, не мнение твое о Николке огорчило... я даже открыла для себя недавно, какой он действительно страшный и ненужный мне человек. И ты имеешь право любое мнение о нем иметь, как и я о тебе или о нем... не в этом дело! Меня обидела в тот раз, извини, беспардонная хлесткость твоя, с какой ты нам, живым людям, назначаешь судьбы — на глазок и даже заочно... ставишь диагноз, не потрудившись выслушать пациента. Я понимаю, что у тебя времени на все не хватает, но ведь я-то всего один раз живу, пойми это. Судя по Саньке твоему, ты себе собеседников подбираешь по степени согласия да молчаливости, но кто-нибудь однажды выскажет тебе всю правду! И, даже в грязи лежа сейчас, ты берешься наставленье мне читать, а я... может, я умру сегодня вечером, Митя! — Слово сорвалось нечаянно, обоим стало не по себе от неловкости. — Не сердись на меня, я никогда не была искусна во лжи, а следовательно, и в жизни... Так какое же все-таки у тебя дело ко мне?

Векшин взял сестру за руку и держал, пока не перестала вырываться.

— Дело пустяковое и как раз чужое. Записку вчера от Николки твоего получил... с просьбой повидаться по срочному делу.

— Зачем это ты ему понадобился? — быстро спросила Таня и усмехнулась чему-то недоброму, потаенному, в уме.

— Может, соскучился по мне...— пожал плечами Векшин. — Ты, верно, увидишь его до представленья? Тогда передай ему...

Она быстро перебила брата, лишь бы не знать ничего:

— Надеюсь, ты и сам его увидишь! Я помогу, если у тебя билета нет.

— Прости, не приду, сестра... и не потому только, что не люблю твой номер! Вообще последнее время избегаю показываться на чужой публике.

— Только что звонил Фирсов от имени твоей Маши Доломановой... я могла бы вас, всех троих, устроить в одну ложу!

Он поколебался.

— Нет, все равно не приду,— поспешно и откровенно отказался Векшин,— а лучше сама передай своему жениху, что я согласен на его просьбу... Пусть близ семи сегодня, если сможет, забежит к Баташихе.

— Но он вряд ли успеет,— сказала Таня, поражаясь несообразительности брата. — Сам понимаешь, что в такой день, накануне моего отъезда, ему полагалось бы хоть за полчаса до восьми проводить меня в цирк!

— К сожаленью... из-за одного тут неотложного дела никак не смогу в другое время.

Разгадав жестокую уловку брата, Таня с досадой поглядела в плечо такого вдруг чужого и далекого, стоявшего перед нею человека в какой-то неуместной, показалось ей, барской шубе. Как знаменательно, что даже в ее нынешних обстоятельствах он, не задумываясь, вышибал из-под нее последнюю ее поддержку!

— Хорошо, я найду способ довести до его сведения... о твоем согласии, Митя! — со вздохом сказала Таня, и теперь им обоим осталось ради приличия лишь перемолвиться о любом пустяке, чтобы смягчить впечатление внезапного разрыва. — Кто же это у вас такая, Баташиха?

— Не ревнуй... старушка одна, семейные обеды отпускает на дом.

— И хорошая старуха? — как будто что-то заподозрив, настаивала сестра.

— Симпатичная,— успокоил брат. — Вот и все. Задержал тебя, извини... Кстати, что это за мешочек белый сбоку у тебя висел?

— А, это с магнезией... чтоб руки не скользили.

Наступило обеденное время. Мимо вели крохотного слоненка; он шел, озабоченно поглядывая по сторонам, кожа на нем свисла, как отцовское пальто. До закругления стены брат и сестра проводили его улыбкой, которой оба не заметили...

Вдруг Векшин махнул рукой в знак досады, что не следовало забредать сюда не ко времени, и быстро пошел к выходу.

Таня еще долго с выключенным сознаньем глядела на единственное, горевшее в отдалении бра. Ничем не хотелось ей нарушать наступивших вдруг после ухода брата спокойствия и странной легкости, словно ничто больше — ни вещи, ни люди, ни обязанности — не обременяло ее теперь. Лишь повеявший в лицо ветерок чьего-то движенья вернул ее к действительности.

XVI

Никакой особой близости у Векшина с Заварихиным быть не могло, кроме мимолетных отношений через Таню; тем легче было догадаться ей о содержании заварихинской просьбы. Расхлестнувшаяся стихия нэпа стремилась любыми средствами набрать спасительную историческую скорость, однако Векшин отнюдь не по соображениям предстоящего родства, даже не из презренья решился ссудить шурина своими грязными деньгами на срочный торговый изворот. В этом случае для их беседы с избытком хватило бы десяти минут... но от Баташихи до цирка было около часа езды трамваями, и Векшину, очевидно, хотелось наглядно показать сестре заварихинскую натуру, способную даже в такой день изменить невесте ради коммерции. Он не сомневался, что купец клюнет на лакомую наживу, но упустил из виду, что номер сестры приходится на самый конец второго отделенья, вследствие чего Заварихин мог прибыть в цирк почти без опозданья. Впрочем, Векшин и не рассчитывал раньше вечера попасть к Баташихе. Изнеможение двух бессонных ночей накануне валило его с ног, даже на холоде сознание его порой уплывало куда-то по течению,— ему хотелось спать.

Заимствуя у Саньки Бабкина приглянувшуюся ему подробность насчет порожняка Савеловской железной дороги, Векшин намеревался разжалобить бессердечную Машу для одной совершенно прозрачной цели, чего, по искреннему убеждению, с блеском и достиг. На деле же он был обеспечен тогда теплым углом с койкой, которою, правда, благоразумнее было пользоваться, начиная с полуночи. Поэтому он и отправился теперь на квартиру находившегося в командировке Василия Васильевича Панамы Толстого, который не зря хвастался, что и в пекле не хуже устроился бы, когда б нашлась

там вдовушка, склонная к солидному приключенью с пожилым обаятельным холостяком. Из его красочных описаний достигнутого блаженства Векшину особо запомнилась раскаленная русская лежанка под домовитым лоскутным одеялом.

Векшин рассчитывал проваляться до шести и проснулся в девять. Ему причудилось, что сквозь толщу морской воды смотрит из затонувшего корабля на одинокую звезду, и будто это доставляет ему глубокое моральное и физическое удовлетворение,— в действительности зеленый лампадный огонек мерцал там под низким прокопченным потолком. Некоторое время он слушал сочившиеся сквозь стенку гитарные звуки, такие приятные, словно босыми ступнями прохаживаются по мелкой воде... и вдруг, вскочив, с обновившимся ощущеньем боли за Машу ринулся на другой конец города, к Баташихе. Пока нашел извозчика, вспомнил полузабытый адрес, пока достучался — стало еще поздней.

Всего раз бывал здесь раньше,— самым упылым местом на земле показался ему сейчас Баташихин салон. Вход был со двора, с высоченным фонарем посреди,— нищая лампчонка в проволочной клетке, видимо в защиту от крылатого похитителя, линовала пространство кругом кривыми качающимися квадратами. Неизвестного содержания товарные склады тянулись по нижнему ярусу довольно неопрятного дома. Полная тьма стояла на лестничной клетке, с тою, кстати, особенностью, что самый ничтожный шорох, слышный снизу доверху, отлично оповещал даже о характере посетителя.

Внизу кто-то скрытно вошел вслед за Векшиным, и потом до него донеслась, пока закуривал, чья-то сперва неразборчивая речь, но не разговор, а то смутное бормотание, когда человек от горя говорит сам с собой и еще — вовсе уж не объяснимое мужское всхлипывание. С зажженной спичкой Векшин свесился через перила в пролет лестницы, но ничего не различил там в четырехэтажной глубине, кроме радужного морозного мерцания. Однако собственное его лицо, верно, было явственно видно снизу, потому что в ту же минуту все стихло там, внизу, и тотчас же вспугнуто хлопнула за ушедшим дверь.

...К удивленью Векшина, на условный стук ему открыл тот самый легендарный анархист из пивного подвала, Анатолий Араратский.

— Милости просим...— топом заправского швейцара возгласил было он и вдруг, опознав недавнего обидчика, посторонился и съежился с опаской во взоре.

Смущенье выдавало его непривычку к новой должности, кроме прочих неудобств вынуждавшей еще к приветливости со всеми гостями без исключения. Векшин подумал даже, что бывает, значит, и такая степень паденья, когда уже ни на что больше не пригоден становится человек — даже стать мертвецом без посторонней помощи. Еще раз Векшину представился случай поглядеться в зеркало, перед тем как спуститься ступенькой ниже.

— А-а, давно не видались, служивый...— процедил Векшин и, отведя его протянутую за одеждой руку, приказал позвать кого-нибудь п о с т а р ш е .

Сама хозяйка уже стояла на пороге.

— Бога на тебе нет, окаянный ты вороненок ночной,— запричитала она тоном немощи и вожделения и, едва Машлыкин запер дверь внушительным засовом поверх замков, взглядом прогнала его прочь. — Грешно старуху забывать, другой из почтенья бы наведался... гляди и пригожуся!

— И зашел бы, да все не при деньгах, мать-ворона,— в ее же колючей манере отвечал Векшин, не собираясь раздеваться.

Та принялась бормотать незначащие слова вроде того, что столь лестному кавалеру любая графиня в долг поверит, а Векшин стоял в нерешительности, вслушиваясь в мертвую тишину вертепа. Безнадежно было с места разузнавать о Доньке у старухи, которая непременно остереглась бы излишней разговорчивостью умножать и без того дурную славу своего заведения. Но еще пахло непроветренным табачным перегаром, и, судя по очертаньям, порожние бутылки валялись в кульке у вешалки, свидетельствуя о чьей-то недавней гульбе. Видя в том последний шанс избавиться от терзавших его подозрений, Векшин решил задержаться здесь ненадолго.

— Сымай тулуп-то, непреклонный, в зальце входи, у нас не замерзнешь... дров не жалеем для хороших людей,— ворчала меж тем старуха, пронизывая гостя совиными, в непонятной желтой оторочке глазами. — Спрашивал тебя один... С Фирсовым намедни забредал! Долго вертелся, на часы поглядывал, попозже наведаться обещал. — И лишь теперь вручила записку от Заварихина, к слову, совсем выпавшего у Векшина из памяти.— Здоровый да гладкий, на сыщика смахивает... кто таков?

— Так, путешественник один, из Африки...— вразрез ее уловке процедил Векшин, надрывая конверт.

Без тени упрека, даже с оттенком подобострастия Зава-

рихин извещал, что непременно заскочит сюда вторично, как только проводит Г е л у после цирка домой; чтобы не томиться ожиданием, он шутливо советовал Векшину выпить пивка за его счет и «полюбоваться на темные хари людей из твоего быту». Упрямство и кротость, с какими он добивался свиданья в столь загруженный день, лишний раз указывали на неотложность возникшей надобности. «Верно, д е ш е в ы й товарец набежал...» — вновь свысока рассудил Векшин и, по собственному властному характеру предвидя, как трудно будет Тане с Заварихиным, решил заодно намекнуть ему, чтоб не теснил сестру в семейной жизни, жалел бы ее хоть малость. «Бог видит, Николай, как я противился этой свадьбе, даже поссорился из-за тебя с сестрою»,— собрался он сказать Заварихину... но самая мысль об этой откровенной купеческой попытке обогатиться чужим преступлением разбудоражила, почти взбесила его. Ему уже за тем одним хотелось теперь остаться здесь, чтобы высказать начинающему капиталисту некоторые соображения на его счет, подкрепленные простонародными междометиями, невзирая на предстоящее родство.

Нехотя скинув шубу, Векшин переступил порог полужилой, на вид довольно просторной комнаты, освещенной лишь скачущими бликами печного огня. Видно, Баташихины дела обстояли совсем плохо. Всего год назад Векшин застал здесь шумный разгул со злой азартной игрой в смежном помещении, и худощавенькая барышня из приходящих извлекала меланхолические звуки из пианино для смягчения бушующих страстей,— теперь на скамейке перед печкой полудремала другая такая же, под стать хозяйке, кудлатая сова, верно для отвода глаз. Она немедля удалилась, едва Баташиха включила для Векшина большой свет, отчего стало вдвое пустыннее. Брезгуя опуститься в кресло, обитое черной, верно чертовски холодящей клеенкой, Векшин подошел к скрытому за занавеской окну, оказавшемуся балконной дверью, за ней синело множество снежных крыш и дымоходов. Стекло было донизу, так что в случае облавы предоставлялся запасный выход тем, кому воля дороже здоровья.

Отсюда Векшину видна стала также часть соседней каморки, там за низким столиком мелковатый старичок с двуярусным лбом и приказчичьего обличья, верно профессор с т и р о ш н о г о дела, обучал кого-то шулерскому ремеслу. «В таком разе колоду в пятьдесят два листа надлежит тасовать осемь разов,— слышался ровный его шепот, похожий на ше-

лест бумаги. — Если же она срезана у тебя на клин, ты и без того в любой момент можешь весь ж и р сцедить из колоды... понятно? Но в глаза ему при этом гляди, подлецу... с глазами играешь!» И невидимый ученик отвечал уже настолько неслышно, что весь разговор их можно было принять за возню мышей.

Мерзкое клеенчатое кресло терпеливо поджидало Векшина в свои объятия, как судьба.

— Уютно у тебя здесь, мать, хорошо... как на погосте,— спокойно заметил он, садясь и потирая руки от безделья.

— Суббота, все в бане парятся,— сказала Баташиха в защиту фирмы.

— Кто в бане, а кто ко всенощной грехи пошел замаливать,— пошутил Векшин. — Видно, от гостей отбоя нет, привратника-то завела!

— Чего ж исправному мужчине пропадать,— огрызнулась та. — Не завидуй: приползешь и ты в свое время, и для тебя работку подыщу.

— Может быть, и приползу еще на четвереньках, не зарекаюсь, мать...— устал дразнить ее Векшин, провидя крайнюю точку человеческого паденья.

Баташиха приказала анархисту, довольно расторопному на этот раз, принести все необходимое, чтобы скоротать скуку ожиданья, и принялась занимать разговором лестного посетителя. Поддавшись на тон примиренья, она сама, без расспроса и в подробностях назвала всех побывавших у нее за сутки гостей,— среди них числился и Донька. Оказалось, он убрался отсюда всего лишь два часа назад, после крупного, пятерым партнерам сразу, проигрыша,— старуха показала на ломберный столик, за которым совершилось это первостепенное для Векшина происшествие.

— Видать, хорошего бабая взял... — с похвалой отозвалась она настороженным тоном, словно ощупывала настроенье гостя.

Тот слушал с притворным равнодушием, стараясь не глядеть в подлое, с разлатыми бровями лицо ведьмы.

— Ладно, отдыхай пока, вороненок, а попозже Костька обещался забежать на огонек... он меня жалует, не как прочие! Вот и потолкуете...— похвасталась она расположением восходящей и глупой знаменитости.

Баташихины известия заключали в себе такие печальные и, по существу, непоправимые новости, что лучше было не копаться в них — до случая проверить все разом и лихим росчер-

ком ножа подмахнуть кудемские итоги... Пытаясь отбиться от нежелательных мыслей, Векшин посмотрел на часы,— было начало двенадцатого, так что Заварихина следовало ждать с минуты на минуту, но тот необъяснимо запаздывал. Впрочем, и проводив невесту до ее ворот, он не мог опрометью кидаться в другую сторону: жениху полагалось постоять, помлеть, подержаться за руку в потемках. Чтобы убить время, Векшин вновь принялся злым, придирчивым взглядом, как в сыскную лупу, обследовать убогое зальце с прилегающими, насколько ему было видно с места, закутками.

Неспроста заведение это значилось в повести у Фирсова под названьем помойки душ. Терпким запахом отжитого порока пропиталась здесь и расшитая цветными шерстями тряпка над гнусно-просиженным диваном, и, видимо, не раз срывавшаяся с крюка люстра, а в особенности привлек вниманье Векшина тот, какой-то иронический, лакированный ломберный столишко со слегка подогнувшейся ножкой, как, верно, ставит ее сам черт в ожидании замешкавшегося клиента. Каждая вещь здесь оскверняла прикосновеньем, равно как всякая царапина и пятно на стене или мебели походили на след судорожных цепляний чьего-то сорвавшегося в пропасть тела. В довершенье всего поблизости приоткрылась дверь в коридор, так что до Векшина стал доноситься шум сипловатых юношеских голосов, вперемежку с недружным звяканьем стекла, и чье-то неумеренное поминутно — то смехом, то издевательским вопросом прерываемое хвастовство, как у одного нэпача взяли два стакана шикарных бриллиантов, три дюжины часов с великокняжеской монограммой и кое-что из носильного платья. По соседству, за стенкой, гуляли безусые ширмачи, тронутые заразой нэпа подростки, и еще отчетливей, чем прежде, чувство самосохраненья подсказало Векшину, что вот подходит к концу затянувшийся разброд душ, что очень скоро революция наступит и беспощадно разотрет пятой эту слизь и надо уходить немедленно куда глаза глядят... впрочем, Векшин давно так и поступил бы, кабы не задерживало то самое, не улаженное с Донькой дельце.

И тут оказалось, что, как ни старался выкинуть из памяти это ненавистное имя, все время только и думал — что же означала столь решительная перемена в Донькином поведении. То попутное обстоятельство, что в Баташихин салон Донька закатился в компании, уже навеселе и с женщинами, по всем признакам — на исходе длительного кутежа, до некоторой сте-

пени внушало надежду, что хоть в т у проклятую ночь Маша не прятала его в своей постели. Но, со слов Баташихи, Донька покинул ее заведение мало сказать под хмельком, даже с посторонней помощью, а это, в свою очередь, подтверждало туманный Санькин намек, что нарушением Машиных запретов Курчавый неделю напролет справляет некоторую, само собою подразумевающуюся победу. Воображение снова принялось за свои нестерпимые картинки, а проснувшаяся кудемская тоска с такой силой стала толкать Векшина на один поступок — скорее мести теперь, чем предосторожности, что так и ринулся бы совершить его, кабы внезапно не дохнуло в лицо предвестным холодком какого-то неотвратимого события.

Стрелки стояли на двенадцати, пиво было выпито, Заварихин все не показывался, что́ невольно порождало всякие пугающие догадки. Векшину вспомнились болезненные предчувствия сестры, и сердце его сжалось... но разумнее было объяснять заварихинское запоздание тем, что после происшедшей с братом размолвки Таня просто отговорила жениха, поставила условьем брака отказ от г р я з н о г о займа у вора. Этот вариант вдобавок тем был еще удобней, что избавлял Векшина от необходимости дожидаться будущего зятя, позволял вплотную заняться Курчавым... в частности, выяснить сначала, находится ли сейчас Донька в отведенном ему закутке — другими словами, посмел ли он сегодня в описанном виде заявиться под Машин кров, пренебречь риском немедленного изгнания из рая. Если же, вопреки всем запретам, не изгнан пока, значит рай был уже д о с т и г н у т ы м, и тогда тем более надо быть у Маши под рукою, чтобы избавить женщину от забывшего свое место любовника.

Вдруг почудилось, что уж поздно и — сходит с ума. Ускользающий рассудок суетливо перестраивал разведанные подробности в иную логическую строку. Пускай, пускай!.. мнимая ее нелепость как раз и доказывала адское коварство Маши Доломановой. Итак, все начисто отменял безумный страх утраты. Лгала о Донькином разгуле подкупленная Баташиха, ничего э т о г о н е б ы л о, Донька, послушный Машин раб, рука ее и око, верно, и в т у ночь таскался за Векшиным по пятам: не зря намекала однажды, что ей известен каждый Митин шаг. С некоторых пор Векшин и сам примечал, самой кожей своей улавливал чье-то скользящее присутствие у себя за спиной. Значит, приближением к себе этой твари всего лишь дразнила Митю, значит — хотела и не могла, тянулась с ножом и не решалась!..

значит — не смела покуситься на *Кудему*, верность которой *должна* соблюдать даже в яме с Агеем, потому что самый мир тогда померкнул бы, потрясенный преступленьем, а там уж все возможно впотьмах. Версию эту оставалось теперь проверить прямым взором в черный Донькин зрачок... Вот на какие ухищренья пускалась последняя векшинская надежда, когда выходил из опустевшего подъезда.

Минут двадцать спустя к Баташихе ворвался Заварихин — там собирались первые ночные гости и начинался разогрев унылого, как в тифу, веселья. Распахнутый, без шапки, в задышке и с открытым ртом, он обежал замершее без движенья ворье, хватаясь за плечи, всматриваясь в лица, и потом, не произнося ни слова, опрометью бросился назад. Никто, в том числе приступивший к исполнению своих вышибальных обязанностей Машлыкин, не посмел хотя бы вопросом задержать это стихийное явление в его ошеломительном пробеге.

XVII

Выйдя на улицу, Векшин профессионально, пока закуривал, огляделся кругом. Нигде не виднелось наблюдателя, но именно это и значило, что курчавый соглядатай непременно должен находиться за углом вон той мясной лавки: так поступил бы сам Векшин на его месте. Не было нужды и смысла разоблачать его на слежке; при первой же векшинской попытке накрыть Доньку врасплох тот сломя голову ринулся бы домой притвориться сонным, пьяным и немым... На извозчике Векшину до Машиной квартиры было рукой подать, но к ночи чуть потеплело, без оттепели, погода установилась целебная буквально от всех недугов на свете, а неубранный снежок так чудесно мягчил воздух, молодил напоминаньями детства, что грешно было пренебречь таким невечным благом бытия. Протрезвевшему на холоде Векшину представилось необходимым сопоставить в пути кое-какие противоречивые соображения, раньше чем останется с глазу на глаз с Курчавым.

Озорное ребячье настроенье владело прохожими в тот поздний час, и одни, пользуясь пустынностью улицы, кидали будто мимоходом налипающие снежки во что глянется, другие норовили украдкой прокатиться по остекленевшей ледяной дорожке, прежде чем дворники закидают ее песком. Векшин шел бездумно, прочерчивая пальцами обвядший за сутки снег на подоконниках; отрезвляющий холодок таянья почти возвращал

его к пониманью действительности... и вдруг открыл, что он так трагически мало знал о Маше, потому что никогда не интересовался ею по недостатку времени, и вот, от виноватой растерянности, готов был признать за Машей право на любой после Агея выбор. В конце концов, кто мешал ему самому всеми доступными средствами, подобно Доньке, добиваться ее расположения, и правильно ли это, чтобы Митя весь век скитался по свету, творя свои курбеты и подвиги, а Маша в полной готовности и раздетости дожидалась бы заветной минутки у храма любви, когда представится ему возможность приласкать ее — не снимая военной амуниции. Отсюда всего шаг оставался до оправданья Доньки, вся вина которого в том лишь и заключалась, что подвернулся Маше на подхвате... Так постепенно Векшин уже соглашался на любые условия сдачи, лишь бы поправить дело.

Неизвестно, до какой покаянной черты довели бы Векшина подобные раздумья, если бы не отвлекающее вот уже две улицы подряд ощущенье, что не один он движется своей дорогой. Он оглянулся, выстоял некоторое время за углом ближайшего поворота, однако никто не показывался позади. Место было пустынное по причине близлежащего кладбища... В намерении оторваться от преследования, Векшин прибавил шагу, но вскоре неотвязное сопровожденье стало настолько раздражающим, что все прежние намеренья пошли насмарку. Вдруг понял, что незачем ему тащиться к Маше на квартиру ради кратчайшей беседы с Донькой, раз он находился тут же, за углом: имелись известные преимущества проделать это на свежем воздухе, в уединенном месте, без свидетелей. Переждав минутки две за водостоком, позволив догнать себя, Векшин яростно вернулся назад и вбежал в ближайшую подворотню.

Там действительно обнаружился человек, и он ни чуточки не сопротивлялся, когда Векшин схватил его обмякшие, выше локтя, руки в свои, железные. Домовый фонарь светил поблизости... и сразу отлегло от сердца. Нет, не враг, а свой в доску, до гроба верный товарищ, сам Бабкин, стоял перед ним, тараща знакомые, чуть навыкате с испугу глаза, кстати, одетый как-то не по сезону легкомысленно и весь вроде не в себе.

— А уж я собрался на кладбище нырнуть да в засаде тебя высидеть, черт непутевый... — переведя дух, признался Векшин, потому что как раз кладбищенские ворота виднелись невдалеке, и так посветлело у него на душе от самого наличия Санькина в жизни, что, в шутку взявшись за козырек, сдви-

нул ему кепку на нос. — Чего ты здесь выжидаешь, Александр?

— Да вот папирос ищу купить... — забормотал Санька с дрожью в теле и голосе, верно от пронизывающего в подворотне сквозняка. — С утра не курил, просто одеревенел весь без курева, хозяин, вот и жду, может, пройдет с лотком табачница какая...

— Нашел место, где табак искать, на погосте!.. покойники-то ведь не курят,— тешился Векшин его детски наивной простотой, и тут ему очень кстати вспомнились необозримые табачные запасы на окне у Доньки. — Но тут, минутах в пяти ходьбы отсюда, полно всякого курева. Я тебя на неделю снабжу, если проводишь...

— О, время у меня есть, хозяин, у меня теперь г о р а времени... — как-то в один выдох вырвалось у Саньки, и потом он уступил очередь Векшину спросить, почему не курил с утра, почему н е к у д а ему стало торопиться теперь, но тот не поинтересовался, может быть, из-за переполнявших его мыслей.

Идти легче было по мостовой, по избитому лошадьми снежному насту, и они пошли посредине широкой улицы, навстречу поднявшемуся ветру. То и дело приходилось сгибаться, чтоб не так парусило,— надо думать, необходимость поминутно запахиваться во избежанье простуды тоже мешала Векшину сосредоточить вниманье на плачевных Санькиных обстоятельствах.

— Ты чего какой-то расстроенный? — лишь шагов через сорок спросил Векшин.

— Жену в больницу отвез, бобылем остался.

— Вот видишь, как хорошо все оборачивается,— сразу оживился Векшин,— а ты, братец, в неуместный пессимизм вдарялся. Завтра отнесешь ей яблочек мочененьких, чахоточные любят... посидишь, потолкуешь, а там через месяц-полтора и на поправку дело повернет. Сейчас у нас медицину шибко подтягивают, так что самое главное не унывать тебе теперь...

— А ты узнал бы сперва, хозяин, как ее в больницу-то приняли... — сквозь зубы уронил Санька. — Ведь это над собой она р а с п о р я д и л а с ь, совсем плохую я ее отвез... вот и мотаюсь с рассвета, неприкаянный. Потравилась моя Ксенька... Собрался было и я следом за ней отправиться: оставалось еще отравы у ней в стакане, на донышке, самый настой. Да рановато показалось, дельце одно подзатянувшееся надо закончить на земле...

И снова из врожденной деликатности Санька помедлил на

случай, авось полюбопытствует хозяин о великой тайне всей его жизни, но тому, в его тогдашних условиях, просто невдомек было вникать в незначительные, по масштабу всемирной истории, Санькины переживанья. Правда, слово у Саньки звучало зло, пенисто, сминаемое встречным ветром, так что временами почти неразборчиво. Векшин покосился было чуть вверх и в сторону, на спутника своего, который шагал, сильно подавшись вперед, словно в лямке шел. Фонари все более редели по мере приближения к заставе, при таком освещении ничего нельзя было разобрать в Санькином лице.

— Как же не уследил ты за нею, злодей? — по старой дружбе укорил Векшин.

— Так ведь сперва никому и не думалося, что на *такое* руку подымет. Дыханье-то... ценнее нет у человека вещи на земле! Червя разрежь лопатой, он и половинку в норку втягивает: убежать. Кошку, самую что ни на есть пропащую, возьмись давить, руки об нее спортишь: обижается. Видать, человек самая чуднáя на свете, беспощадная на себя тварь... А частенько последнее время вроде тьма какая накатывала на нее, на Ксеньку мою. Раньше, бывало, и поштопать ей приходилося на мужа, окроме своей магазинной работы, и картошку отварить, и чурочку построгать... усердная мне была помощница! А тут сразу полное отдохновение от всех занятий, в нетопленном-то вагоне: за что ни примись, пальцы стынут. Неспроста бабка у меня покойная брехала, что от безделья мысль да вошь нападают. И однажды стал я за Ксенькой примечать, не говоря об игле, самый хлеб у ей из рук валится... а уж это зола-дело, хозяин! И ведь с самой малости началося: вздыхать у меня стала. Вздохнет и замрет вся, от вздоха до вздоха, ровно утопшая... и нет-нет да и скользнет по щеке одна негаданная слезочка. А того вредней нет, я так считаю,— кричать не в пример полезней... хотя и без крику тоже не обходилося. Напротив, одно время вскочит, бывало, среди ночи, растерзанная да нехорошая, да как почнет все хулить, чертыхать все на свете, черным словом обкладывать... Конечно, ничего *такого* не касалася, боже сохрани, в этом разрезе она у меня пугана, смирная, тоись, была... да я бы и сам не позволил! Большей частью насчет всевышнего безумничала... и признаться, уж на что я неверующий, сам знаешь, а жутковато приходилось слушать. И слова-то какие-то сплошь с уязвленьем подбирала... кажется, что уж если и нет *там* ничего, всевышней власти, то вот-вот *станет быть*. Тут я поднесу ей чарочку, она

опрокинет, поперхнется, затрепещет враз... я ее за локотки прихвачу и держу, покамест не устанет, не провеселеет вся. Веришь ли, руки мне выламывала, а ведь на что хрупенькая была! Я ей в вине не отказывал, совесть моя чиста пред ей, хозяин! Не скажу, не кажный день так ее захлестывало: ведь ни здоровья, ни голосу не хватит, кажный-то день. Для кажного дня другое она обыкновенье завела: карточку возьмет твою, что на фронте сымали!.. к свечке поднесет, подбородочек на коленки себе положимши, да и рассматривает тебя часами цельными. Ну, это я хвастанул насчет часов... этак и руки затекут, опять же погреться надо. И то головочку тебе на карточке оглаживает, вроде волосики со лба хочет убрать... будто из желания посмотреть, что там у тебя, под волосиками. А то интересоваться про тебя зачнет, кто ты таков, да русский ли, мать была ли, да имеется ли в тебе сердце хоть с горошину. А сам суди, чего я могу дурехе ответить?.. я в тебя руки не вставлял, внутренность твою не ошаривал, хозяин, верно я говорю? И одно время такой жгучий интерес к твоей личности начала проявлять, что стало меня в том разрезе опасенье брать, уж не влюбилась ли в тебя Ксенька моя? Ведь чахоточному любая прихоть на ум взбредет, особливо когда на последнем-то краешке...

— Какую же ты все чушь мелешь, Александр... слушать тебя, уши вянут! — вдруг, как бы встряхнувшись, возмутился Векшин.

— А чего ж тут странного? Ты вон, как тебя ни кидало, обратно молодой да статный, опять же в шикарной одежке: король воров. Перед таким все дамочки неминуемо никнуть должны... окроме той сучки одной, что на Доньку тебя променяла!.. Словом, совсем я было поверил, что влюбилася, кабы тоже не штучка-щучка одна. Как вез я ее туда, помирать, то всю дорогу просила денежки тебе отдать... ну, которые тогда потеряла. «Смертным словом своим наказываю, кинь ему в глаза...» — так с хрипеньем она меня просила. Тогда только от сердца и отлегло, что, пожалуй, не в любви дело, а наоборот пожалуй...

— Тут явное недоразумение, Александр,— почему-то стал оправдываться Векшин,— я и сам у вас в долгу... совсем забыл про ту сороковку!

— Врешь, про полсотенку, хозяин, не утаивай! — с непонятным хрустом молвил Санька. — Десяточку-то запамятовал, что я тебе в отдельности, на пробу приносил?

— Верно-верно,— неподдельно спохватился тот. — Куда же я, однако, задевал ту десятку?

— А напрасно, хозяин, та десятка самая страшная была... как раз последняя, которую Ксенька стыдом своим заработала. И так нам узнать обоим захотелося, клюнешь — не клюнешь, возьмешь — не возьмешь из нас последнюю кровиночку, что порешился я раз в жизни такую смертную ставку на кон поставить...

Он мог бы в подобном роде без конца рассуждать, причем временами от расстройства уже как бы заговаривался, однако Векшин понимал, что остановить его теперь нельзя без того, чтобы в действие немедля не вступило нечто гораздо худшее. По счастью, они уже дошли до дома, где помещалась квартира Доломановой. Расчеты векшинские оправдались, огня в Машином окне еще не было, не возвращалась, хотя теперь должна была вернуться с минуты на минуту.

— Ты не уходи, постой тут, Александр... я тебе сейчас вынесу курева пачку-две,— сказал Векшин, воодушевительно потрепав по плечу Саньку, так и не закончившего повесть о Ксеньином самоубийстве.

— Нет, ты уж непременно вспомни про ту десятку,— еще настойчивей повторил Санька, дрожа, не отпуская, держась за рукав. — Мне даже чудно, что такое могло затеряться... такое рядом с сердцем хранят!

— Ладно... подожди меня тут, я мигом обернусь,— отвечал Векшин, устремляясь в подъезд.

Незапертая, стоявшая полупритворенною дверь, а также прерывистое, еще с площадки слышное мужское сопенье, равно как и опрокинутый среди прихожей стул — всем подтверждалось хмельное состояние, в каком воротился Донька... Собираясь немедля спуститься к Саньке, Векшин и не стал запирать наружного замка. Ничего не было видно впотьмах, только циферблатное стеклышко мерцало отраженным бликом на сбоях с тенями качающихся ветвей за окном. Не включая света, чтоб спящего не будить, Векшин на ощупь прошел к подоконнику, где хранились знаменитые Донькины табачные запасы,— вопреки ожиданьям, ни пачки не оставалось за оконной занавеской, не было их и в ящике стола... И тут возник болезненный, требовавший немедленного выясненья интерес, куда бы он мог запрятать столько? Для начала Векшин ощупал карманы спящего, но и там не нашлось ни табачинки,— ничего, кроме складного ножа, карандашного огрызка да пу-

стого спичечного коробка о пяти спичках; своих у Векшина не оказалось. Первая чиркнула и сразу погасла... на месте платяного шкафа теперь уже стояла вторая койка, и, конечно, в иное время Векшина крайне озаботила бы такая предусмотрительность хозяйки. Донька не шелохнулся также, когда Векшин принялся ногой выталкивать находившийся под ним сундучок, для чего потребовалось приподнять угол кровати; только храпеть перестал. В ту пору Векшин вовсе не помнил про Санькины папиросы и поиск свой производил с нарочитой небрежностью, единственно в расчете, что, проснувшись, жертва возмутится его поведением,— тут Векшин и выскажет ему коечто в самом доходчивом виде, поскольку лежачий всегда слабей.

Сундучок оказался незапертым,— кроме дорогого перемятого белья, ничего там не оказалось для утоленья злости. В два приема, при свете второй,— Векшин выкинул наружу незамысловатый пожиток человека, проживающего налегке. Только квадратненький кусочек металла тускло блеснул еще на дне, толком не рассмотренный из-за некстати догоревшей спички. Векшин зажег третью, и стало ясно, что это был всего лишь медный, старинного литья, с эмалью, образок угодника Николая Мирликийского, по народной примете — покровителя сбившихся с пути, заблудших и проливающих кровь. Вещь эта, почти открытие, наверно благословенье матери, чем-то смутила Векшина и отвлекла от первоначальной цели... Особенно много было в сундучке всякого бумажного хлама и, между прочим, надушенных любовных писем; пока третья спичка не стала жечь пальцы, Векшин успел выхватить одну опалившую его фразу из затасканной записки — «...до смертного часа не забуду, как ты вставал с кимарки и брал меня на хомут, ненадыханный мой!»

Четвертая спичка пояснила Векшину обилие бумаги в сундучке, чистой и порченой, этих небрежно исчерканных листков, втиснутых туда навалом, как сгреблось со стола. Ах да, с издевкой вспомнил он, ведь, кроме таланта на присвоение чужого, по слухам, имелся у Доньки незаурядный поэтический дар, и Фирсов даже помянул однажды, что, протаскивая в большую печать цикл Донькиных стихов, рассчитывает на питочке тщеславия вытащить парня из бездны,— верно, по своей природной одаренности тварь эта и Маше Доломановой показалась пригодной для ее мстительного замысла!.. Песни мучили Доньку, лишали его сна, житейских утех, и, чтобы отбить-

ся, он торопился предать их бумаге, как иные не менее родное предают огню или земле: для забвенья. Большинство стихов было лишь начато и брошено на полустрофе. Вспыхнула, было, на бумажном лоскутке запевная строка одного из них, незаконченного — за перевалом светит солнце, да страшен путь за перевал; и погасла вместе со спичкой, так и не пробившись в помраченное векшинское сознанье. Зато задержался на другом наброске, крупным раскидистым почерком, с писарским баловством над буквами, и — лишней улике Машиной близости с подонком.

Век бы мне твое, в стогу росистом,
слушать сердце, как стучит оно,
никогда бы лес разбойным свистом
и тебя не стал будить я... Но

отпускай!.. пора мне на дорогу.
Дай кистень... не хочешь ли со мной
в эту ночку, щедрую да строгую,
под багрово-каторжной луной?

Все слышнее конская задышка
сквозь надсадный скрип коростелей.
Распусти ж объятье, пусть купчишка
примет долю от руки моей.

Погляди, как, сонного и злого,
я его наотмашь стегану —
не за кралю иль шальное слово
и не за торговую мошну...

Дальше было приписано вскользь, остылою, изнеможенною рукой:

...а за то натешусь всласть,
что схотел он зорьку у народа
только что взошедшую украсть!

На прочитанный дважды стишок этот в обрез хватило пятой, последней спички.

Презрение к валявшемуся перед ним низшему существу сменилось обидным, обезоруживающим смущеньем. Донькины вирши неожиданно понравились Векшину, и, не имея опыта в стихосложении, он напрасно искал в них какие-нибудь успокоительные недостатки. «К большому течению прилаживается...» — подумал он и даже залился краской в потемках от досады, что кто-то раньше его выбирается из ямы. Впрочем, чувства эти должен был в те годы испытывать всякий, не окончательно безнадежный вор, подыскивая оправданье своему нечи-

стому ремеслу... Векшин постарался выкинуть прочитанное из башки, но — оттого ли, что в Донькином купце увидел Заварихина, никак не удавалось ему выполоть несчастное сочинение из памяти. И тогда открылось заодно, что если уж ему, Векшину, пришлось по сердцу какое-то звенящее удальство гибели, заключенное в помянутом стишке, тем более должна была заметить его Маша и по слабости женского сердца пожалеть столь одаренного, неистового, поскользнувшегося над самой пропастью парня.

Никак нельзя стало поддаться искушенью немедленной расправы со своим удобно-беззащитным противником — без риска утратить последнее Машино уваженье. Требовался внешний, хоть крохотный повод для действия, а пока ничего не оставалось Векшину, кроме как в ревнивой тоске бессилия броситься на предназначенную для него койку. Он лежал и слушал клокочущее Донькино дыханье, и потом представилась еще одна картина — как Донька нараспев читает свой бахвальный давешний стишок, положив голову на колени Маше, которая рассеянно перебирает непокорные поэтовы кудри. Она перебирает эти жесткие грешные завитки и щурится в окно, и никто на свете не знает, чего жаждет при этом Машина душа — порывистая, как Кудема, что мчит и мечет в половодье страстную и неутешную волну. Хочет ли Маша, чтобы заглянул сюда, в ее уединенье с Донькой, Митя Векшин и настолько пронзился зрелищем мести, чтобы она смогла тогда простить его... А может, взаправду полюбилась ей дикая Донькина муза, сверканье волчьего ока в метельной мгле? Про нее, про Маньку Вьюгу, сложит поэт свою лучшую песню, которую повторит блат на тюремных нарах, в трущобах, в крайнюю смертную ночь. И женщина вознаградит его за это, то есть охладит, отымет, попригасит палящий зной Донькина вдохновенья.

Незаметно для себя Векшин заснул и проспал без сновидений часов не меньше двух. Значит, все это время происходила подпольная работа ревности, потому что его разбудила жгучая потребность немедленно поглядеть на спящего соперника и утолить порыв острой, вдруг возникшей любознательности. Судя по тишине, Маша все еще не возвращалась; ломило озябшие ноги и кололо в отлежанной руке. Векшин через силу поднялся и включил верхний свет. Донька спал на спине, тоже в сапогах и замятой набекрень, щегольской своей, с синим суконным донцем шапке, забросив руки и запрокинув-

шись затылком, как лежат убитые на знаменитых картинах; сбившаяся подушка свисала до самого пола. Безусое, мертвенно-бледное Донькино лицо носило признаки спиртного отравленья, но Векшин полностью рассмотрел сквозь них все, что требовалось ему по ходу следствия. Без тени смазливости, показалось ему, Донька был и в самом деле дьявольски хорош собой, хотя порок уже проложил первую непоправимую складку меж бровей, выписных, верно доставшихся от матери; впечатленье дикости придавала только чрезмерная лепка надбровных бугров, признак необузданного воображенья. Если же к тому прибавить особенно ценимые во злодействе личные качества, вроде безунывного, всегда как бы под хмельком, душевного воспламененья, железной физической силы при почти женственных руках, пренебреженья к сладостям бытия, бесстрашия перед болью, расточительной щедрости даже в дни постоянного, до нищеты, безденежья,— конечно, в применении к вору! — становилось ясно, отчего буквально все красотки дна вздыхали по Доньке с кроткой и чувственной радостью.

Векшин покамест еще не задавал главного вопроса, как уже получил ответ. Вдруг различил он в складке раскрывшейся Донькиной ладони мучительно знакомое голубое зернышко, и тут самообладание ненадолго вовсе оставило его. То было грошовое колечко с бирюзой, кудемской поры его подарок Маше, и теперь оно красовалось у Доньки на мизинце, повернутое камешком вовнутрь — для сохраненья тайны. «Поносить, подразнить дала...» — твердило отчаянье, но в то же время со странным чувством спокойствия и облегченья, пожалуй, взирал Векшин на бесповоротно оскверненную святыньку и уже силился представить покартиннее, при каких обстоятельствах подарила щедрая Маша своему любовнику себя и с собой в придачу — целый край, с Кудемой и ее березовыми рощами, со звонким ветром первомая и, кстати, одну бедную, незаживляемую мальчишескую любовь. Все оставалось позади у Векшина... и так как теперь стало возможно приступать к дальнейшему, то судьба тотчас и подпихнула ему в поле зрения квадратную, с зубчатым краем бумажку, оставшуюся от прочей рухляди на полу. Векшин немедля поднял ее и, пока нагибался, почему-то угадывал наперед, что не хуже ножа пригодится ему находка. В сущности, это и был высший в его положении ф а р т, которого он так страстно добивался,— улика оказалась кассовой квитанцией с бланком одного закрыто-

го универмага, доступ туда Донька мог получить лишь при одном непременном условии, которого как раз и недоставало Векшину для всего дальнейшего. И он так обрадовался своевременно подвернувшейся улике, что не поинтересовался даже, что и в какую цену было там куплено — женская вещь или мужская — и зачем было несчастному хранить предательский лоскуток бумаги в незапертом сундучке.

Присев сбоку, Векшин долго, чуть искоса вглядывался в черты этого, как в наваждении, нестерпимо красивого лица, ища в нем скрытых примет только что обнаруженного преступленья. Мгновеньями ему чудилось, что Донька лишь притворяется спящим, и это обостряло игру, состоящую в том — кто сдастся раньше. Вдруг он бешено потряс Донькино колено, и тот сразу вскочил, машинально шаря за спиной и выдавая привычку прятать оружие под подушкой.

— Не бойся, Доня... это я, Митя! — полуприветливо сказал Векшин, держась в кармане за улику. — Извини, что нарушаю твой покой, но просто решил поделиться интересным открытием. Ведь подтверждается, знаешь, слушок насчет Саньки Бабкина... ну, вот про то самое! Ссучился парень, правда твоя...

— Пусти, спать хочу... — невыразительно бурчал тот, клонясь на сторону.

Векшин придержал его за плечо.

— Это даже непростительно с твоей стороны, Доня,— одними губами посмеялся он. — Бог тебе сдуру дарит такую женщину, самолучшую женщину на свете, потому что единственную, Доня... и тебе надо ходить по улицам, целовать постовых милиционеров, бить в тамбурин,— и сам не заметил чужого слова, вырвавшегося на гребне озлобления,— а ты, прости за откровенность, оглашаешь окрестность храпом, как я не знаю что...

— Уходи к черту... спать! — рвался из его руки млеющий от сна Донька.

— Потерпи!.. и я так полагаю, нельзя нам подобное баловство Саньке спускать, а то, знаешь, вчера Агей, нынче Щекутин, а завтра и мы с тобой сгорим синим огонечком, верно? Ты, надеюсь, не откажешься дать показанья?

— Уйди ж, богом прошу тебя, Митя... — уже молил тот, ослепленно уставясь на своего мучителя.

Однако, следуя обыкновенью ненависти, Векшину хотелось еще и еще слушать голос предателя, вникать в интона-

ции измены, прикидываться незнайкой, тешиться в счет будущего разоблаченья.

— Потерпи, никак нельзя, милый Доня: тут всеобщий интерес страдает,— продолжал Векшин, не повышая голоса.— Суббота у нас сегодня? Я так думаю — во вторник счет проклятому устроить, скажем в первой половине ночи... подходит тебе это? Встретишься с Санькой, так зазывай его, будто — на Панаму, а я сам упрежу Василья Васильича, как из поездки вернется. Ну, что еще?.. да все, пожалуй.— И сам поднял Доньке с полу окончательно свалившуюся подушку.— Ладно, спи, отдыхай пока... и как увидишь ее там, во сне у себя, как обнимешь со своей ухваткой, как займется у вас, тут и передай ей в самые ее очи привет от Мити Векшина... не забудь, родной!

Не было опасенья, что тот распознает что-нибудь в шелесте векшинской интонации: Донька заснул прежде, чем коснулся подушки затылком. И так как спускаться на холод, к Саньке, сообщать ему об отсутствии папирос стало незачем, тем более что тот, верно, не дождавшись, и сам ушел, а до вторника было еще далеко и делать ему на свете было нечего, то Векшин разделся, повесил пиджак на спинку стула, потушил свет и улегся на соседнюю с Донькиной кровать. Он лежал, глядя во мрак над собой раскрытыми глазами, лежал и думал о Доньке и вскорости настолько уверовал в виновность ядовитого гада, что диву порой давался — каким образом тот не ужалил его раньше. Одновременно разогревалось дружеское чувство к Саньке... и вот, подчинясь укору совести, Векшин решил все же сбегать на улицу, убедиться в Санькином уходе... Вопреки ожиданию, тот был на месте, ждал хозяина; откинувшись затылком к покрытому талой наледью водостоку, не примечая бившейся в грудь капели, он околдованно глядел на луну, что неслась по-над крышами сквозь мутные дымы облаков.

— Пошел отсюда, чего ты здесь торчишь, безумный! — суеверно, еще издали крикнул Векшин, страшась подойти,— так неприятно было ему все это.

Санька не ответил, и можно было подумать, что он закоченел либо умер, если бы не подозрительная струйка от глаза, слабо блестевшая на щеке.

— Ты плачешь? — подходя, спросил Векшин, в мыслях не допуская, что человек этот способен на такое, что и у него тоже может быть камень на душе: даже забыл про Ксеньино

самоубийство. — Чего ты зря психуешь: выздоровеет твоя Ксенья. Главное, весны дождаться, а там в деревню ее... и надо все парным молоком ее поить, прямо через силу накачивать, утро и вечер... утро и вечер. Они тогда, которые с грудью, как на дрожжах поправляются... — Он хотел вспомнить или даже придумать какой-нибудь особый пример скоропалительного выздоровленья от молочной пищи и созерцания ромашек, но, как назло, ничего путного не подвертывалось в голове, да уже и продрог малость в одной косоворотке, без пиджака, а возвращаться сразу, не уладив чего-то в отношениях с этим парнем, неудобно становилось. — Ты думаешь, Александр, у тебя одного на душе камень, а может, у меня, мой, вчетверо тяжеле весом?

Санька отвечал не прежде, чем луна снова вышла из-за облачка, будто ужасный интерес его томил к происходившему в небе.

— Ты сам свой камень вырастил, а мой кинут на меня... — расслабленным голосом произнес Санька и прибавил, помедлив: — Ведь Ксенька-то умерла только что... еще и не остыла поди.

— Что ты брешешь! — как на припадочного вскинулся Векшин. — Откуда ты узнал?

— Звала сейчас меня, одними губами позвала напоследок.

Всякому ясно было, что тот заговариваться стал с горя, и тут очень кстати пришлось, что у Векшина всегда имелось на языке срочное теплое увещанье.

— Что ж тут поделаешь, Александр? К сожаленью, не властен пока человек э т о отменить. Все проходит мимо нас, мы сами в том числе как бы проходим перед собою... так что иногда даже можем поглядеть себе вдогонку.

— Правда,— еле слышно согласился Санька — О н о как снег: ложится и тает, ложится и тает, а ведь кажный раз старается, поплотней укладывается, чтобы цельный век пролежать... Теперь поцелуй меня, хозяин!

Произнесенная неожиданно властным тоном просьба Санькина указывала всего лишь на бедственное его одиночество, и в конечном итоге тем была хороша эта расплата за что-то, что исполнить ее не составляло особого труда. Не переспрашивая, потому что простудиться опасался, только оглядевшись зачем-то, Векшин быстро подался вперед и вверх, к Санькиному лицу, и поцеловал куда-то в щеку.

— И еще раз поцелуй. Вот сюда, где самая мысль моя про тебя... в энто место меня целуй! — вторично приказал Санька, коснувшись пальцем лба.

Без сомненья, потому что зубы уже стучали от холода, Векшин и вторично пошел бы на исполненье нелепого Санькина желанья, если бы не послышался в нем смутный оттенок издевательства... Тогда, нахмурясь, погрознев лицом, Векшин отвернулся и обиженно пошел прочь. Резкий, полный предостереженья крик заставил его оглянуться, едва взялся за скобку двери. На пятнисто-голубой, залитой лунным светом стене чернела Санькина тень.

Санька стоял все в той же раздумчивой позе, только голову повернув теперь вослед уходившему.

— А за квасок-то, на шестнадцать копеек... еще бы разок с тебя следует. Не скупился бы, чего тебе стоит!

«Да он просто пьян,— возмутился Векшин, подымаясь по лестнице, и от этого вывода сразу полегчало на душе. — Глотнул лишнего, пока я с Донькой выяснял... верно, в кармане имел: вот и привиделось! Изувер какой-то, двое суток способен этак простоять...»

Редко бывало Векшину столь приятно возвращение в жилое тепло,— после непростительно-враждебного Санькина поведения оно даже сближало его с Донькой, который уже морально и физически как бы принадлежал ему.

Под утро вернувшаяся домой Доломанова разбудила его, чтоб подтвердить некоторые давешние печальные его предчувствия относительно сестры.

XVIII

Днем Таня по привычке прилегла на часок, который на этот раз затянулся, и она так хорошо спала, что Пугль по необъяснимому снисхождению посмел прервать ее сон лишь перед самым отъездом в цирк. Неумолимый во всем, что касалось манежа, он обычно будил свою питомицу с запасом на возможные задержки, и Таня всегда знала, что у ней имеется минутка поваляться, не думая буквально ни о чем. Так и сегодня, зажмурясь, она осторожно, по повадке выздоравливающих, покосилась на себя со стороны — все там, мысли и мышцы, было подернуто дымкой лени и свежести, без тени каких-либо недавних страхов. Для проверки она поста-

ралась вовсе выключиться из действительности, чтобы потом внезапно застать себя врасплох... право же, все было в отменном порядке там, внутри. Надо было только принимать свое ремесло как обыкновенную гимнастическую работу, совершаемую на глазах у платной публики и поэтому в особо затрудненных условиях, чтоб им не жалко было потраченных денег. Именно количеством преодолеваемых затруднений и определялась ценность исполняемого номера, и в тот вечер такая ясность стояла у Тани в душе, что, едва проснувшись, опять стала изобретать какой-нибудь дополнительный трюк, чтобы, уже за границей, довести до высшего блеска и без того редкостное искусство штрабата.

В свое время Таня не раз заводила разговор об этом, но Пугль мягко, тем не менее вполне решительно, прерывал ее поиски. Не запрещая и не настораживая, он просил ученицу не отнимать у него права на хлеб, который полагается ему за обязательство учить, поправлять, придумывать, держать на высоком уровне ее мастерство. Ему, как никому другому, хорошо была известна душевная Танина хрупкость, впечатлительность до степени почти неустойчивости от любого пустяка, что, впрочем, лишь удваивало его преданность артистке. Даже будучи незаурядным педагогом, он не сумел бы толком выразить существо своих опасений, да и остерегся бы — по их наивности, однако полувековой опыт манежа подсказывал ему, что тренировка воображения на поиск лучшего варианта крайне нежелательна для таких, как Таня, натур. Он потому и требовал от нее совершенной автоматичности, чтобы при каком-то решающем движении малейшее колебанье воли, вибрация ее, не передалось телу на долю мгновенья, достаточную для несчастья.

Снова накатила полупрозрачная теперь дрема, но, хотя Танино выступление приходилось на конец второго отделенья и времени было вполне достаточно, старик не подарил ей больше ни одной минутки.

— Вставай, катенка девошка,— шепнул он, по старой привычке щекоча ей подбородок. — О, ти хитры, лис, я тебя знайт как свои две копейки!

— И не катенька, а гаденькая... когда ты научишься говорить по-нашему, немчура? — ежилась Таня, потягиваясь и зевая. — Неужто пора?

Она отправилась к зеркалу и, пытливо вглядываясь в свое отображение, искала в нем остатков чего-то вчерашнего,

но лицо тоже было совсем свежее, только заспанное слегка, а это означало, в свою очередь, что полоса сомнений миновала бесследно, и если оставался крохотный страх, то уже не тот полумистический — чего-то неотвратимого, а естественная для любого циркача боязнь не достигнуть своего же уровня.

— А ты знаешь, я, верно, не пойду за Николку... — говорила Таня, всматриваясь в себя и совершая перед зеркалом какие-то неприметные движенья, от которых женщина на глазах становится краше и которые казались старику необъяснимей колдовства. — В тот вечер, так и быть, откроюсь тебе, когда твой немец приезжал...

— Герр Мангольд! — благоговейно поправил Пугль и заметно подтянулся при этом.

— В тот вечер я сперва ужасно обрадовалась, а как ушел — домертва перепугалась, словно на самый порог свой вступила... — из неизъяснимой потребности раскрыться кому-нибудь говорила Таня, хотя еще утром самой себе не призналась бы в этом. — И как ушел он, я тотчас, украдкой от тебя, помчалась к Николке, чтобы он по-мужски запретил мне поездку, даже накричал, притопнул бы на меня... а после пожалел чтоб. И ведь догадался, чего я жду от него, даже принялся отговаривать, но как фальшиво, неуклюже, бесчестно как! Теперь, когда все это отшелушилось, мне даже страшно, что я так хватилась за него... в конце концов, за выдумку свою!

В ней говорила гнетущая пустота, боль разочарованья в запоздавшем женихе, в такой вечер променявшем ее на барыш, что и предсказывал брат. И еще в ней говорило горькое сознанье, что, войди он теперь, она опять все сразу простит, уступит ему при первом же прикосновении. Таня так раскраснелась от напрасных усилий убедить себя в чем-то, что после нескольких попыток пресечь ее чреватое последствиями волненье Пугль догадался показать ей часы, и тотчас Таня послушно направилась к вешалке.

...Случилась заминка с трамваем в пути, так что на место прибыли лишь к средине первого отделенья. В пустом фойе прохаживались гимнасты, совершая обычную разминку. Два эксцентрика разыгрывали на кухонных принадлежностях мазурку Годара, когда мимоходом к своей уборной Таня заглянула на манеж. Цирк был полон, и почему-то все жевали, показалось ей: в нижних рядах кушали апельсины, в средних ели яблоки, еще выше сосали мятные лепешки, только нависавшая сверху галерка наслаждалась всухую. В ожидании

своей очереди коверный оцепенело глядел из-за униформы на слепительные лампионы и, как все прочие, не замечал расплывчатую, на обшивке купола короткую тень веревки с петлею на конце.

Гвоздем программы на все четыре гастроли становился штрабат, но не слава исполнительницы, не загадочное названье аттракциона привлекло теперь всеобщее вниманье, а личная Танина биография. Накануне представления одно вечернее издание напечатало бойкий фельетон о превратностях цирковых судеб, где больше всего уделялось вниманья скрытой под прозрачными инициалами Гелле Вельтон — в связи с ее временным отходом от цирка; лучшей рекламы трудно было желать. К тому же в заключенье довольно осведомленный и бестактный писака перечислял роковые концовки некоторых знаменитых цирковых карьер, так что в целом получалось иносказательное приглашение не пропустить зрелища, которое завтра может и не повториться. С помощью биноклей было замечено, кстати, что в главной ложе одно лицо, столь похожее на кого-то, что в каких-то поворотах возникал шепот узнаванья, все отделение насквозь читало помянутую газетку, причем — не об очередной зарубежной забастовке, как ему полагалось бы, не о нашумевшем в столице грабеже, а как раз о том самом, до чего теперь оставалось меньше часа.

Накануне Стасик просил Таню по старой дружбе посмотреть его новый, заключительный в первом отделении номер,— тотчас по возвращении из публики Таня стала одеваться. Сидя к ней спиной, Стасик делился с нею новостями и происшествиями последнего месяца. Оказалось, всеобщая любимица наездница Анька в Киеве п л о х о п р и ш л а с пируэта на лошадь, и девчонку унесли с манежа с трещиной в кости. А всесветно известная когда-то велосипедистка Конти, которую он недавно посетил из жалости, совсем ослепла и покорно дожидается конца в причердачной конурке — без денег, зубов и просвета впереди. Подтверждалось, наконец, что Сидоров действительно бросил жену, которая, не обладая никаким чувством баланса, до провала дурно работала с ним на п е р ш е. Со своей стороны, Пугль вспомнил подобный же случай, только с комическим завершеньем, в цирке-шапито на Волыни лет восемнадцать назад,— вспомнил в подробностях, заставлявших удивляться, как не вытряслась из его памяти эта будничная труха за время кочевок с места на место. Смешной рассказ старика повеселил всех слушателей, не одного Стасика, потому

что еще кое-кто из друзей навестил Таню перед выступленьем,— всех, кроме нее самой.

Артистка стояла уже перед трельяжем в изготовленном к предстоящей поездке голубом с блестками трико и при каждом постороннем шорохе косилась на дверь. Сердившее вначале, теперь ее просто пугало отсутствие Заварихина, который в то самое время находился на пути в цирк от Баташихи. Внезапно Таня спросила у Стасика, не заметил ли клетчатого демисезона в ложе дирекции, куда обычно приходил Фирсов.

— Нет, ничего особо клетчатого там как будто не было, но... почему ты вспомнила о нем сейчас? — подозрительно заинтересовался Стасик.

Таня и сама не сумела бы объяснить свое страстное желанье утаиться от фирсовского внимания в тот вечер: тревожила подсознательная догадка, что это место про нее в его повести уже написано, она трепетно догадывалась — как. Уж некогда было пожаловаться на пугающее и сложное ощущенье какой-то грозной и близкой перемены — инспектор манежа предупредил сквозь дверь, что выход Вельтон через номер. Тотчас друзья шумно поднялись как по команде, невольно подчеркивая торжественность наступающей минуты,— все, за исключением Пугля. Вытирая платком чуть запотевшие руки, Таня обернулась к затихшему в кресле старику.

— Ошень коленка ослабел..., — виновато засмеялся старик. — Angst? [1]

Тогда она подошла сама, приласкала его щекотным прикосновеньем пальцев к белой вислой щеке.

— Nein... [2] и перестань, чего ты волнуешься, бедное пугало ты мое? Обещаюсь, что все будет хорошо, только не ходи туда сегодня: и мне будет покойней, да и тебе ни к чему. Лучше закрепи мне пока пуговицу на жакете, а то вон еле держится на нитке. Я вернусь раньше, чем ты успеешь ее пришить... — Она вслушалась, чуть скосив глаза: глухое, как из деревянного ящика, доносилось бурчанье оркестра, и музыка эта относилась уже к ней одной.

Для проверки воли, хоть это непростительно задерживало представленье, Таня недрогнувшей рукой вдела нитку в иг-

---

[1] Боишься? *(нем.)*
[2] Нет... *(нем.)*

лу,— здесь прозвучал второй звонок. Стоя на выходе перед готовой распахнуться занавеской, она увидела краем глаза спешившего к ней Заварихина, но уже не оставалось времени ни поздороваться поднятой рукой, ни попрекнуть за опозданье. Пока Заварихин кивал там с похоронно-виноватым лицом, загремели аплодисменты; судя по устремленному вверх взгляду билетерши, артистка уже поднималась на воздух, и стало поздно пробираться на место. Убедив себя, что теперь разумнее побыть со стариком, Заварихин, крадучись, переступил порог уборной и молча опустился во второе кресло, на принесенную кем-то и сбившуюся в угол веточку тепличной сирени.

До самого конца Пугль не заметил его присутствия, равно как до конца так и не приступил к пришиванью пуговицы. Вниманье старика целиком поглощали звуки с манежа, доносившиеся сквозь полупритворенную дверь. Время ощутимо текло сквозь него,— казалось, кончики пальцев сводило от тока. Все фазы Танина номера знал он наизусть, так что по отсчету вспыхивавших среди музыки аплодисментов мог воспроизвести в зрительной памяти положение гимнастки на трапеции. Четвертым Таниным трюком был баланс на спине с последующим обрывом назад.

— Bogen!..[1] — вслух, сухими губами произнес он, потому что из т а к о г о дугообразного положения телу легче, выгоднее было соскользнуть через голову вниз и зависнуть на носках.

Четвертый миновал благополучно, и потом Пугль заметался: почудилось, что второе, запасное трико второпях оставил дома на кровати,— примета, касающаяся любой одежды и, по старинному цирковому суеверью, обрекающая на катастрофу. Вслед за тем вспомнилось мускульное усилие на поворот ключа, которым запирал трико в чемодане, и оно несколько успокоило его, но на сомненье это потребовалось время, а уже предвестно стучал большой барабан, оповещая о завершающем трюке номера. Тишина ощутимо напряглась, и вдруг старик поднялся, потому что и Таня стояла сейчас в рост на трапеции, целясь глазом в возможно дальнюю точку, куда предстояло ей метнуть свое тело. Следующая секунда раздробилась на явственно различимые мгновенья, и каждое было чем-нибудь заполнено до отказа... вслед за тем резнув-

[1] Дуга!.. *(нем.)*

ший ухо визг, сменившийся нестройным гулом толпы, возвестил о трагическом исходе.

Когда Заварихин локтями протолкался наконец на арену, Таню уносили, похожую издали на обвядший голубой цветок. Публика стихийно бесновалась кругом, выражала возмущение, как всегда — неизвестно чем, или же, напротив, пыталась советом, гневом и сожалением принять участие в суматохе. В сбившейся у барьера толпе обнаружился добровольный лектор, который единственно с помощью рук, поднятых высоко над головой, чтобы всем было видно, пояснял математическую подоплеку происшествия. По его мнению, несчастье случилось из-за недостаточно решительного броска вперед и вниз, вследствие чего непогашенная сила паденья ударом перегруженной веревки сдвинула артистке позвонок. Все слушали глубоко заинтересованные за исключением одной там пожилой дамы, которая настоятельно требовала у мужа пощупать бумажник и, видимо, даже щипала своего бородатого господина, проявлявшего неуместную тягу к знанию... Тем временем кончился антракт, и публика стала возвращаться на места, едва раздались первые такты оркестра. Неизвестно какая пьеса исполнялась на этот раз, но так безутешно гремела медь, что потрясенному, стоявшему в проходе Фирсову мнилось, будто простоволосая медная вдова рыдает на манеже, раскидывая по воздуху рыжие космы.

Заварихин стоял дальше всех от Тани, безмолвный, скорее от смятенья, чем от горя. Через головы других он видел лицо погибшей, совсем спокойное, потому что артистка так и не успела понять допущенной ею ошибки. Вместе с остальной публикой Заварихин все еще старался уверить себя, что это только обморок.

XIX

Брат и жених безотлучно находились у гроба, когда просветлели окна наконец. Ревнивая и молчаливая неприязнь заставляла их держаться в твердости друг перед другом,— одному Пуглю давала право сидеть его очевидная немощь. Последняя ночь длилась для Заварихина дольше остальных, рассвет становился освобожденьем. Вдруг вспомнилось, что Таня ни разу не обратилась к нему с какой-нибудь просьбой или прихотью, которых болезненно опасался в отношениях с жен-

цивами... и отсюда поднималось суеверное сознание вины перед покойницей — не только из-за неотданного долга. Тогда он из всех сил старался убедить себя, что только щепетильная, на грани предвестия, потребность расплатиться с невестой и связанная с этим гонка за Векшиным и была причиной того непростительного опозданья... На этом сгустке противоречивых заварихинских качеств и строил Фирсов в своей повести его характеристику.

К концу последней ночи мужчины чаще выходили покурить,— не терпевший табака Заварихин во имя Тани сопровождал Векшина. Мужчины садились на верхнюю приступку лестницы для скудной беседы, стараясь во имя Тани не ссориться друг с другом, но чувствуя, как рвутся и без того непрочные, лишь через Таню соединявшие их связи.

— Где руку-то повредил? — спрашивал Векшин про обмотанный тряпицей палец.

— А, мираж!.. надысь ящик затемно распаковывал.

— Холуев пора завести, капиталист. Торопись, а то прикроют скоро вашу лавочку.

— Я-то, брат, с дозволения своим делом занимаюсь, тебя скорей прихлопнут!

Час спустя они опять сидели там же, ища хоть временного примиренья — во имя Тани. Видно, морозило на дворе, сказывался и естественный озноб бессонной ночи.

— Нехорошо получилось, Митя... холодно ей лежать так. Ведь им Псалтырь читают, я над отцом читал. Поздно, а то бы к дядьке сбегать, у него есть.

— Все одно не воскресишь.

— Потому что веры нет, а кабы была... Пчхов сказывал, святой один на свете жил. Сунул в землю кол осиновый и молился, пока тот не процвел.

— И как же он, розаном, что ли? — насмешливо шелестел Векшин.

— Зачем розаном, сережками длинными... ай осины не видал? Я так полагаю, кабы дружно, всем человечеством во что поверить, гора встала бы и пошла. Вера всему нужна...

— Не вера, а воля, Николай!

— Врешь, вера!

— Не спорь, древо, хоть науке-то не перечь!

И вдруг умолкали — во имя Тани.

С рассветом стали собираться ближайшие товарищи покойной, явился хмурый и серый Фирсов с траурной перевязью

на рукаве, бельгийцы принесли русской сестре ломкий на морозе веночек живых цветов, остальные обещались подоспеть на место. От зрителей присутствовал местный дворник, по совместительству наблюдавший за порядком при выносе. Дорога предстояла длинная, потому и пошли нарасхват бутерброды, доставленные Балуевой. Некоторые жевали в прихожей и покачивали головой на видневшегося за порогом Пугля, который почти сплошь две ночи высидел у гроба без движенья в древнем, под самый подбородок крахмальном воротнике... Окружающее мало занимало старика, потому что с утратой Тани он терял не только связь с действительностью, но и малейший интерес к продлению собственной жизни. Если бы не провожатые, он, верно, так и отправился бы на кладбище с непокрытой головой, в морщинистом глянцевитого суконца сюртучке. Видный отовсюду, несмотря на малый рост, он шел один, отказываясь от посторонних услуг, из-за чего даже поскользнулся на одном залубеневшем бугорке и лежал на бочку, пока не поставили на ноги, нахлобучили откатившийся меховой картуз, и он стал снова годен к путешествию. Так провожал старик свою питомицу, лишь к самому концу пути держась за краешек катафалка и поглядывая по сторонам, словно прощался за нее с поразительным утром, которого не застала.

С полдороги хмуроватое вначале утро прояснилось, богато запушился алый, с ночи заготовленный иней на деревьях, и сбоку процессии поплыли по снегу длинные синие тени. Приятно покалывал морозный воздух, а над домами качались лиловатые дымки... Опять же и Заварихин, терзаясь суеверной думой о неотданном долге, не поскупился на похороны и, если бы не сопротивление Пугля, непременно расщедрился бы на оркестр; хорошей, *настоящей* музыкой Заварихин считал лишь печальную, исполняемую на похоронах. Но и без того — «не удалась тебе свадьба, зятек, зато похороны дались на славу...» — обронил ему сквозь зубы Векшин, когда процессия приближалась к заключительной цели.

Участие в траурном шествии обязывало отрешиться от неотвязных забот — тем приятней было провожатым произносить незначащие благородные слова, восполнять уже утраченные подробности печального события, закреплять в памяти, чтобы завтра же не занесло житейским илом Танин след; до некоторой степени относилось это и к Петру Горбидонычу. Он догнал процессию на извозчике, минут за десять до вступленья на кладбище. В связи с его триумфальным возвраще-

нием на службу, причем в надлежащем месте был особо отмечен недопустимый простой столь действенного орудия, он чувствовал некоторый упадок сил от проявленного накануне финансового рвения и потому не стал сходить на мостовую, а ехал чуть сбоку, вровень со всеми.

— Скажите, уважаемый,— свесясь из саней, с видом удрученности и как бы нездоровья спросил он у Пчхова, шагавшего поблизости,— какие ж известны нам дополнительные подробности этого ужасного происшествия? Характерно, я с глубокого детства испытывал необъяснимую дрожь, проходя мимо цирка!

Польщенный доверием значительного лица, Пчхов принялся пересказывать слышанное от племянника. Петр Горбидоныч соответственно качал головой, иногда же поворачивался к шедшей рядом с санями жене, движением бровей призывая к сочувствию. Вдруг он заметил, что за разговором они поотстали от процессии.

— Подстегни, голубок,— приказал он извозчику, и Пчхов остался позади со своими переживаниями.

Чувство обиды не успело коснуться пчховского сердца, потому что вскоре провожатые на равных условиях столпились у безвременной могилы. Во утоленье щекотного любопытства всех тянуло заглянуть разок на ее дно, куда обсыпалась из-под ног свежая, пополам со снегом, глина. Никаких речей не состоялось, только Пугль поднял было руку, и все приготовились выслушать его последнее напутствие любимице.

— Сами крепки сон у шеловек, когда он умирайт... — начал старик и стал клониться наземь, так что, верно, упал бы в яму, если б не своевременно подоспевший Заварихин.

Скудноватого декабрьского денька в обрез хватило на похороны. Таню опускали в сумерки и еще не закидали толком, как уж началась поземка — в знак забвенья. Одновременно таежный ветер зашумел в вершинах деревьев, и ледяным мраком подуло из кладбищенской глубины, и, хотя всех поджидали поминальные блины, уютное тепло и полный приятного лирического безделья вечер, провожатые не уходили. У Фирсова записалось в уме — «никому не хотелось расставаться с торжественной и честной печалью, которая, ненадолго омыв глаза, дает людям увидеть вечность». И ему жалко было, что соображение это не попало в давно написанную повесть, на сверстанные листы которой он и потратил минувшую ночь.

Толпа редела, каждый своими средствами добирался до Балуевой, предоставившей квартиру для поминок.

— Ну, подымайся, Пуголь, пора, а то, вишь, блины привянут... — сказал Заварихин старику, когда никого не осталось кругом. — Пойдем, говорю, а то волки съедят! — и, хотя не любил повторять, не посмел сейчас, в Танином присутствии, более решительно прервать его затянувшееся прощанье.

XX

Стол был накрыт для пятнадцати персон, на случай если кто заявится без зова,— гости запаздывали. Петр Горбидоныч, в одной жилетке пока, прохаживался вокруг с грибом на вилке, наводя критику как на представленный набор закусок, так и на расстановку их, следуя своему правилу все в жизни возводить на высшую ступень. В открытую форточку сизыми клубами валил вечерний холод, так что сидевшая перед зеркалом с голыми плечами Зина Васильевна вынуждена была наконец обратить вниманье хоть и постылого супруга на опасный для здоровья факт.

— Семашко сказал, не бойтесь кислороду... — отрубил на это Петр Горбидоныч: со времени своего восстановления он приучил себя начинать разговор цитатами из выдающихся современников, отчего речь его, в подобие одежды на нем, всегда как бы благоухала лучшим одеколоном. Зацепив рыжик из горшочка посреди, он вдумчиво ворочал его во рту. — Почем плочено?

— Полтинник, Петр Горбидоныч.

— Дрябловат для такой цены... — заметил супруг и продолжал гулять во многих других направлениях. — И я уж говорил тебе, что в домашней обстановке ты имеешь право на менее официальное обращение со мною. Итак, зови меня Петя. Кроме того, пудрящую нос женщину уподобляю я нерадивому управдому, который печется о внешности вверенного ему строения, нимало не огорчаясь плачевным его внутренним состояньем. Тогда как всякий фасад обязан выражать истинное содержание предмета... но теперь сама скажи мне, почему я об этом распространяюсь?

— Не знаю, Петя,— простосердечно созналась Зина Васильевна, припудривая круги под заплаканными глазами. —

Вы бы вот лучше зимние рамы вставили, а то опять вам флюс от окна нагонит.

— Вот и характерно, что не знаешь, хотя прожила со мною вполне достаточное время. Ты просто, я замечаю, не интересуешься своим нынешним мужем, как, полагаю по некоторым признакам, не интересовалась и предыдущими. Тебе духовные запросы близкого человека — ничто... я заметил, ты даже не ревнуешь меня к посторонним женщинам, к Бундюковой, например. Только одного и ласкала ты вволюшку, для кого и сейчас тратишь ценную, подаренную мною пудру, а именно — подлого вора своего!

— Я жалела Митю, несчастный он... — пыталась заступаться жена.

— А я сказал, что в о р,— скрежещуще, однако не повышая голоса, повторил Петр Горбидоныч, и жена, минуту назад презиравшая его мысли, теперь с тревогой непониманья прислушалась к ним. — Напрасно ты увлекаешься им, платя за пустое мечтанье личным счастьем. Чем с призраками дело иметь, ты лучше в окружающий мир вглядись, хотя бы в меня. Вот сколько уж веков меня мещанином да обывателем язвят, в какие могилы меня закапывали, какие кулаки о грудь мою разбивались, а я вот он, как раньше прочный, перед тобою стою, вечный и неизменяемый. Я — всегда, как господь бог, который сегодня, конечно, не существует на свете... но кто знает, что ему вздумается завтра? А Митька твой — з а в и х р е н и е одно, дым пустоты, который и рассеется в положенный срок. И когда он, поевши блинов, покинет нас нынче вечерком, то мы проветрим от него свой дом и ляжем спать, чтоб не вспомнить о нем завтра. Потому что мы люди простые, нам вихриться некогда, а вместо того надо ходить на службу, добывать пропитание, производить в е щ е с т в о и д в и ж е н и е жизни. — Так, впервые приоткрывшись и блеснув в глазах не на шутку испуганной жены, он вновь замкнулся в свою колючую раковину.— Мог бы и еще кое-что осветить тебе, но не следует утомлять женщину мыслями. Если же ты догадаешься спросить меня, кто я в таком случае, охотно отвечаю: я а к к у р а т и с т общественной жизни. Я уважаю кого следует, на собраниях поддерживаю, правом голоса не злоупотребляю, отчисления вношу безропотно, размышляю в установленных пределах. И, характерно, начальник мой товарищ Мозольников постоянно дарит Петра Горбидоныча за это своим расположе-

нием, помнит, доверяет и как ножик держит меня в своей деснице, чтобы применять в своей повседневной деятельности.

Проявленное здесь Петром Горбидонычем вдохновенье неминуемо должно было вызвать такую же мгновенную озаренность у его жены.

— Вот такие-то и кусают больнее всех... ей-богу, не завидую я доверчивому начальству твоему, Петр Горбидоныч! — не стерпев, вздохнула Зина Васильевна и пальцем погрозила слегка.

Прежде не в меру отходчивая, она подобные стычки завершала ленивым, даже благодушным зевком, но сейчас проводила супруга нехорошим и долгим взором, повергшим его во внезапное смирение. Впрочем, чикилевская перемена объяснялась не только раскаянием в чрезмерной откровенности перед не совсем проверенным человеком, а некоторыми побочными удручающими обстоятельствами. Обычно в случае неявки кого-либо из гостей и чтоб не пропадали винегреты, Петр Горбидоныч в последнейшую минуту приглашал к столу обладавшего бычьим аппетитом скоропалительного дружка, гуталинового короля, которого, забегая вперед, давно уж Чикилев намечал к одному образцовому жертвоприношению. На этот раз черт угораздил Петра Горбидоныча пригласить с той же целью своего полувышесреднего начальника для ублажения его впрок, на предмет могущей возникнуть надобности, но при этом Чикилев упустил из виду нежелательную, однако же вполне возможную явку и Векшина. Совмещение за одним столом признанного вора, государственного столпа и процветающего, пускай умеренной значимости, гуталинового деятеля могло отразиться на карьере хозяина — если бы приоткрылось.

Гости, будто под воротами сбирались, ввалились скопом, все — кроме Доломановой. Последним действительно пожаловал и Векшин, которого Петр Горбидоныч, во избежание скандала, лично встретил на пороге подобающим поводу скорбным поклоном.

— Здравствуй, Чикилев, чего скособочился? — вполне мирно сказал Векшин. — Не пугайся, надолго не обременю... еще одно срочное дельце у меня на вечер назначено. Вот захотелось оказать внимание несчастной моей сестре... Что-то вроде пополнела твоя жена, право пополнела!

— Единственно от освещения,— еще больше скривился Петр Горбидоныч, пристраивая и его пальто на заваленном

одеждою сундуке. — Игра света может производить самые непредвиденные впечатления!

— Не врет он, Зинуша? — громко продолжал Векшин и, рассеянным взглядом наткнувшись на Фирсова у окна, издали кивнул ему. — Все поди мытаришься, доля твоя такая!.. не обижает тебя этот, кощей твой? А то плюнь на него и уходи, пока не поздно... не ко мне, конечно.

Глазами, полными слез, смотрела на него Зина Васильевна и не могла подобрать ответа, да Векшин и не нуждался в нем. В ту же минуту Петр Горбидоныч, удачно оттеснив супругу в сторону, уже вел его под локоток на почетное и безопасное, в противоположном конце стола, место.

— К столу пожалуйте, блинцов по сестрице,— пригласил он и, страхуясь перед финансовым столпом, показал всем на рискованного гостя. — Прошу разрешенья представить, кто еще не знает, брата безвременно покинувшей нас великой артистки нашего времени, Геллы Вельтон.

В ожидании сигнала все держались вразбивку пока, общего разговора не начинали, а вдыхали валивший с кухни блинный чад и, потирая руки, поглядывали на заставленный снедью, вперемежку с бутылками, стол. Упоминанье прошумевшего в газетах имени насторожило важного гостя.

— Да ты, никак, братец, на поминки меня затащил?

— Случайное совпадение... — развел руками Петр Горбидоныч. — Кратковременная подруга жены, скромнейшая красавица в расцвете средних лет!

Он еще мямлил насчет неостылой земли, также про текущую жизнь, которая есть не что иное, как сплошной сон и даже якобы океан грусти... но так завлекательно манили к себе закуски на столе, так красноречиво убеждали ярлыки на бутылках, такую искусительную стопку своих творений внесла разрумянившаяся жена безработного Бундюкова, распространяя вокруг себя аромат оптимизма, что начальственное лицо стало понемногу жухнуть, смягчаться и неожиданно выразило намерение стукануть по рюмке декретированной. Тотчас все пришло в движенье, заерзали стулья, застучали ножи, зазвенела посуда, и Фирсов мог на примере убедиться, какую выдающуюся служебную роль в деле забвенья, заживленья ран играет старинный обряд русских поминок.

Также смог он сделать вывод, что насущнейшее условие оптимизма состоит в убыстрении потока жизни, чтоб ничего и некогда было рассмотреть вплотную. В то время как с одно-

го края еще доносились отрывочные воспоминанья о безвременно ушедшей из мира артистке, с другого их перекрывали вспышки дружного общего смеха, включая личный, необыкновенно густой окраски, смех начальственного лица. Немалую долю оживленья вносили анекдоты гуталинового короля — по своей специальности, а также из смежных с сапогами областей. И при каждом очередном шуме Петр Горбидоныч кидал на него издалека ласковый усыпляющий взор, как на барашка, взлелеянного на предмет скорого шашлыка.

Кстати, радуясь мирному течению вечера и чтобы не раздражать брата покойницы своей личностью, Петр Горбидоныч временами слегка уединялся в сторонку будто для прочтения неотложной служебной бумаги, что и было замечено Зиной Васильевной.

— Что ж ты от людей отбиваешься, Петя,— сказала она томно,— выпей со всеми в память бесценной Танюши, она была задушевный человек!

...Впрочем, Фирсов тоже сидел не за общим столом, а на своем любимом месте у окна,— впервые без записной книжки в руках. Это он сам, перед разлукой навечно, собрал своих негероических, отыгравших в его повести героев, свыше года поглощавших лучшие его силы и мысли. Прельстившись их миражной правдой, он вызвал их однажды из небытия и вот, утолив соблазн знания, взирал на них теперь со смешанным чувством удивления, разочарования и жалости. В каждом из присутствующих лиц содержалась какая-нибудь авторская черточка той поры, но ни одно из них, к огорчению сочинителя, не подходило к желательным образам современности... впрочем, Фирсов охотно поделился бы заработком с любым смельчаком, способным представить доказательства, что он-то, смельчак, и есть достойный поэмы персонаж эпохи.

И примечательно, если Фирсов и раньше замечал, что достаточно ненадолго оставить героев без авторского присмотра, вне строжайшей сюжетной дисциплины, как они немедля погрязали в бытовщине, то теперь они сами до тоски быстро удалялись от своего творца, утрачивавшего власть над ними. И вот уже ему самому неинтересно становилось, чему радуется Петр Горбидоныч, о чем сообщает Балуевой брат Матвей в письме, упавшем с подоконника, и какого там Махлакова предписано уволить за мракобесие — как давно и злонамеренно состоящего в сродстве с дьяконом.

Сняв очки, автор близоруко всматривался в смутные пятна телесного цвета за поминальным столом,— они виднелись ему как сквозь дымку. Глаза его слезились и смыкались от утомления ночною корректурой. Уже другие тайные образы теснились на пороге воображения, мысленными пока записями заявляя свои права на существование. О, как они выставляли напоказ свои необыкновенные биографии, характеры и поступки,— старались говорить складней, лишь бы, заслужив расположенье сочинителя, годок-другой пожить за счет его жизни. Очередной мираж манил к себе Фирсова... и потому в особенности раздражало, что не все, кому полагалось, прибыли на этот прощальный смотр действующих лиц. Простительно это было Доньке, который был в тот вечер занят особо срочным делом... да и Саньке, слишком раздавленному собственным горем, чтобы выражать сочувствие по поводу чужого; что касается Доломановой, то заключительную встречу с ней Фирсов планировал впереди. Таким образом, оставался один пропавший без вести Манюкин...

И едва имя это было названо творческой мыслью, тотчас дверь стала слегка приоткрываться, и странно выкругленный глаз, один пока, заглянул в щелку на происходившее сборище; вслед за тем объявился и сам его владелец. Оповещенные скрипом дверной петли, гости суеверно обернулись на запоздалого посетителя. Все испытали щемящую неловкость за человека, с гибелью которого примирились после достаточной затраты вздохов и сожалений и который, несмотря на это, нахально напоминает о своей персоне. Неприлично худой, без кровинки в лице, гость имел наружность — точно прямиком из-под колеса, не обязательно — чтобы городского транспорта. Поверх ядовитого цвета фуфайки был он облачен в стеганую, верно побывавшую в работе у собак кацавейку, голова же, без шапки, была повязана стареньким детским башлычком с золоченой тесьмой и кисточками. Выспрашивать у такого, где пропадал два истекших месяца, было бы столь же неловко, как у мертвеца.

Векшин насупился, Бундюков на всякий случай вынул изо рта полунадкушенный пирожок, Зина же Васильевна вскрикнула, заслонясь ладонью, как от загробного виденья. Испуг ее, наверно, происходил от естественного смущенья хозяйки, так как к указанному времени, близ одиннадцати, заготовленные закуски, ведро винегрета в том числе, были

окончательно подчищены. Лишь на центральном блюде красовался чудом уцелевший поминальный блин, тоже утерявший былую привлекательность.

XXI

Понимая некоторую неблагоприятность производимого им впечатленья, нежеланный гость как бы примеривался с порога,— впустят ли его, почти из морга. И действительно, все находились в затруднении, как вести себя с явившимся не вовремя призраком, но потом вдруг без какого-либо сговора осознали, что разумнее принять вид неосведомленности в манюкинских обстоятельствах и поступать — словно расстались накануне.

— Что же это вы так непростительно запаздываете, Сергей Аммоныч... ай, нехорошо как! — довольно кокетливо для своих лет нашлась первою супруга безработного Бундюкова, и тотчас же беспечный тон этой признанной умницы был одобрен восклицаниями присутствующих. — Занимайте скорей местечко... вот хоть со мною рядом, а то одна я, без кавалеров, сижу. Холодно, видать, на дворе-то?

— Е-еще вчера погода ббыла пригодна для ссадопасаждения, а вот уже ззаступ в зземлю не взойдет... — тотчас согласился на представленное условие Сергей Аммоныч, с расстояния ошаривая взглядом пустые тарелки.

Он слегка запинался, порою даже и не слегка, самое мышление его было заметно сковано, что также удобнее было отнести за счет повсеместного в ту ночь похолоданья.

— Вот мы ему сейчас генеральное прогревание устроим... — вынес решение Петр Горбидоныч, взявшись за бутылку и придвигая к себе стакан.

— Ты с ума сошел,— за руку удержала его от адского намерения супруга. — Ему яичницу теперь, а ты... разве можно при его здоровье?

— Ммне теперь все можно... — разрешительно усмехнулся Манюкин, провожая глазами отправившуюся на кухню хозяйку. — Но для с с о г р е т и я хорошо ттоже принменять теплые щи...

Столь своевременная и, главное, полная оптимизма находчивость Манюкина вызвала почти всеобщий, за немногими исключениями, смех: людям свойственно радоваться, когда

другие выбираются сухими из беды. Да и в самом деле, если пренебречь некоторым заиканьем, каким иногда страдают даже исключительно здоровые натуры, отсутствием излишней в его возрасте резвости да землистым цветом лица, легко объяснимым русской ленью в отношении прогулок на чистом воздухе, то состояние Манюкина никак нельзя было назвать столь уж плачевным. Напротив, в целом все поведение его исключало необходимость чьей-либо жалости, так что едва он подкрепился гречневой кашей с накрошенными туда кусочками вареной говядины от обеда, запитой глотком-двумя виноградного винца, Петр Горбидоныч даже обратился к нему с просьбой развлечь общество рассказцем на какую-либо непредосудительную, учитывая наличие спящего в углу ребенка, тем не менее завлекательную темку. Ему весьма хотелось угостить доброй порцией здорового смеха начальственное лицо, чтобы округлить доставляемое ему вечеринкой удовольствие.

Сознавая необходимость уплаты людям за теплый кров и пищу, за самое общенье с ним, Манюкин и не противился. Усевшись поплотней, он задумчиво уставился в пол, видимо листая лохмотья не проданных пока воспоминаний,— Бундюков просил обождать с началом, пока не внесет с кухни поспевший самовар.

— Внимание! — возгласил Петр Горбидоныч, предварительно пошептавшись с рассказчиком. — Сверхштатный мировой артист Манюкин сделает нам небольшое сообщение про свой нашумевший спор с купцом Пантелеевым, едва не ставший причиной мировой войны...

Под общие аплодисменты — теперь уже вовсе за малым исключением, Манюкин раскланялся, не покидая места и в намерении приступить к рассказу, но вдруг взглянул на уставившегося в него гуталинового короля.

— Не глазейте на меня так, деточка, а то вот этак хапну вас, да к с е б е т у д а и унесу... — крайне комично пригрозил он ему, и тот вынужден был согласиться осовелым голосом, что действительно крайне смешные люди попадаются на свете; начало последовало немедленно. — В Пптере, на Святках раз, познакомился я в клубе с этим ччертом, Пантелеевым Ильей... ну, тот самый, что на удивленье заграничных ученых изобрел не выгорающую на солнце краску из куриного дерьма. Дда он и раньше славился выдумкой: в Вятке, при лабазе, апельсины у себя выращивал, целебные бальзамы в железной бочке на всю губернию варил... И тут, слово за слово, сцепились мы с

ним, кто шибче ммир рассмешит. «Переспоришь меня, кричит, получай все мои фабрики, ф у н д у к л е и, а также оборотный капитал исключительно в облигациях выйгрышного займа, не то голова с плеч... алло?» А я как раз после очередного пройгрыша без копейки бедствовал... оно и жжутко, а никак отказываться нельзя. Вот уттречком после того загримировался я под собор Василия Блаженного, встал на уголке поближе у его особняка, жду, мурчу под нос себе всякие кафизмы...

...Так уходили о н и от Фирсова. Стало совсем поздно и душно. «Было так накурено, что табачный дым уже не помещался в комнате и курильщикам приходилось силой вдувать его в пересыщенный воздух...» — лениво записалось в фирсовском мозгу и вычеркнулось само собою. Усталым взором окинул автор напоследок покидаемое собрание. Зина Васильевна совместно с Бундюковой готовила стол к чаепитию, гуталиновый король дремал с видом захмелевшего левиафана, подслушиваемый Бундюковым Заварихин доказывал что-то Пчхову по коммерческой части, а Стасик не менее горячо внушал волю к жизни оцепеневшему от одиночества Пуглю... пожалуй, только Векшин, да и то вполслуха, внимал завершительной манюкинской поэме. Все разваливалось на глазах, не связанное более сюжетом. Поднявшись, Фирсов незаметно вышел в прихожую. Не больше минуты потребовалось ему, чтобы уйти из дома, куда с такими долгими и мучительными препятствиями вступал он год назад.

На лестнице его окликнул Векшин:

— Погоди там, не спеши, Федор Федорыч, мне тоже пора. И сдается мне, может нам оказаться по дороге...

Он догнал сочинителя на третьем марше, они стали спускаться вместе.

— Куда ж теперь... спать? — спросил Фирсов о чем пришлось.

— Нельзя, мероприятие одно назначено. Только тебе открою, да и то — по секрету: еду Доньку судить. Все собрались т а м, нас с тобою ждут. Редкий случай представляется тебе, Федор Федорыч, на примере посмотреть, как о н о в практике происходит.

— Нет, не хочется... — сказал, колеблясь, Фирсов.

— Неудобно, думаешь? Так ведь со мной всюду пройдешь, Федор Федорыч, да еще шапки для тебя снять заставлю... ай страшно? Но это ж и есть столкновенье жизней... и

оно не грязней, чем прочие. Все бьется на свете друг с дружкой: огонь и вода, тьма и свет, тетерева, олени... древние ящеры, я читал, тоже хвостами хлестались.

— Видите ли, я не верю в Донькину вину, Дмитрий Егорыч, и вы отлично знаете почему... — Учитывая уединенность места и вспыльчивость собеседника, Фирсов не стал углубляться в подробности. — Кстати, все э т о у меня давно написано... уж печатается, и даже шея от предчувствия критики заранее побаливает.

— Так ведь наврал поди заглазно-то, а тут в натуре п р а в и л к у увидишь. Такое самому видеть надо, чтоб право на описание иметь. Как же сам тогда от судей да от реформаторов разных требуешь, чтоб участие в казнях принимали? Вот все вы так: выпускаете брошюрки в чистеньких обложках, забывая — о ч е м они!

То были собственные его, фирсовские, мысли, автор хмуро взглянул на собеседника. Перед ним стоял человек из подполья с темным, недобрым лицом... и ему он отдал год жизни! Смущенье охватило Фирсова: так что же привлекло его на Благушу? Ветреный полдень на Кудеме, завихренье пыли от промчавшихся всадников, история одной священной дружбы, несостоявшаяся карьера удальца, двуликая Машина любовь или, наконец, повесть об испугавшейся циркачке?.. но ведь к Тане можно было пройти и другой дверью, минуя благушинские трущобы.

— Видно, не уговорил, Федор Федорыч?

— Нет,— наотрез повторил Фирсов, уже тяготясь разговором. — И вам советую приниматься за иное... прочтите в повести моей: там все про вас рассказано, как и что. Вы свое отшумели, Дмитрий Егорыч, другое в мире настает!

И по холодку фирсовской интонации Векшин понял, что его выселяют с квартиры для других жильцов.

— Тогда прощай... руку дашь?

— В залог будущего, если согласны...

Векшин сверкнул глазами и промолчал,— они разошлись, не оглянувшись.

XXII

По выходе фирсовской повести в свет многими была замечена странная нетвердость авторской руки в рассказе как раз о правилке,— вряд ли это происходило только от внезапного

и оправданного в конце концов отвращения к взятому материалу. Какое-то непонятное читателю могущественное обстоятельство угнетало автора при написании этой главы, делало его действующим лицом наряду с прочими персонажами. В повести суд над мнимым предателем был набросан лишь мельком, да и предварительное следствие отличалось не меньшей схематичностью... С относительной полнотой было написано лишь, как ближе к полночи в тот раз Василий Васильевич Панама Толстый заехал на Баташихину мельницу за Машлыкиным, по желанию Фирсова назначенным в исполнители приговора,— Санька Велосипед и курчавый Донька дожидались их в такси, побасенками взаимно усыпляя друг друга в отношении предстоящего; каждый думал, что судить будут его собеседника.

Дальше следовало беглое, даже по языку бедное описанье, как четверо мчатся в старой, почти без рессор машине сквозь безлюдные московские пригороды. Ночь в окне становится темней, а снег белее. Слегка навеселе и поместившийся возле шофера будущий покойник Донька рассказывает анекдоты с перцем крупного помола. Василий Васильевич катается со смеху по кабине, качается на колдобинах, поочередно утесняя то сидящего слева Машлыкина, то Саньку — справа. Этот последний слушает дребезжанье неплотной, неисправной дверцы и бездумно глядит в ночь за окном. Веселья не хватает на всю дорогу, последние километры томительней всего. Шоссе сменяется проселком, и машина останавливается на перекрестке, откуда рукой подать до клином врезанного в поле, чернеющего невдалеке лесишка. На железнодорожной насыпи справа светится зеленая искорка семафора. Четверо деловито, гуськом, по свеженатоптанной тропочке уходят влево, в снежную мглу. При вступлении под деревья Василий Васильевич берет Доньку под локоть, хотя обоим так идти не ловчей. Донька беспокойно оглядывается на спутников, число которых неожиданно увеличивается вдвое. Вдруг все обертывается неотвратимо, как в жутком сне с погонями. На полянке полукольцом топчутся прозябшие, неузнаваемые из-за темени люди. Исподлобья они посматривают на вступающих в круг. Впрочем, всем им скорее жутко, чем холодно.

— Будем начинать, Митя, а то поздно... ребятам еще на станцию тащиться? — обыкновенным голосом спрашивает Василий Васильевич у стоящего поодаль человека в кожаном, судя по сизым бликам на рукаве, пальто и, зайдя спереду, кладет

неслышную руку на Донькино плечо. — Вот мы и прибыли с тобою на место, милый Доня, как нам совет корешей повелел.

— В чем, в чем дело? — встревоженно бормочет тот и пятится на подступающих сзади.

— А в том, милый Доня, что хромануллты маненько, баловник... Медикуешь теперь, зачем побеспокоили?

— Да я и в мыслях, господи... обманутые вы!.. неужто позволите, чтоб даже у нас вывелась справедливость? — скороговоркой торопится тот, но времени на оправданье уже не остается, только на мольбу о пощаде, и, минуя переход, он сразу начинает молить, чтобы любым образом наказали телесно, без лишенья самого дыхания.

— Полно Аноху-блинника ломать... — произносит тогда Василий Васильевич и подает знак стоящему невдалеке Анатолию. — Зарекалась этак-то ворона навоз клевать, а как увидит — обязательно!

Он страшно улыбается в распахнувшиеся Донькины очи, в ту же минуту кто-то сзади подножкой опрокидывает жертву в снег.

— За что, за что бьешь? — задохнувшись снегом и ужасом, кричит Донька, потом видит над собой склоненное лицо Щекутина и смолкает.

— Кончай... — тихо произнес Векшин.

По Фирсову же, в этом месте Анатолий, подхватив свою жертву под руки, зачем-то повлек ее за кусты поблизости, и это был обычный промах сочинителей, которые из лени или самоуверенности подменяют непосредственное наблюденье выдумкой усталого воображения. На деле ожидаемый выстрел и второй вслед за ним прогремел совсем с другой, с тыльной стороны; он сорвал шляпу с Векшина и обратил в бегство перепуганную шпану, напряженно ждавшую облавы. Опрометью, падая на бегу, с ходу зарываясь в цельный снег, она ринулась вон из лесу, — чудом спасенный Донька в том числе. На месте остался один Векшин, удержанный предчувствием какого-то предельного и рокового одиночества.

— Стой там, где стоишь... я приду сейчас! — сказал Векшин негромко и уверенно, что его услышат.

Все же, с простреленной шляпой в руке, он медлил, скованный растерянностью и необъяснимым бессилием. Кажется, он нарочно давал стрелку время скрыться, лишь бы избавить себя от самого ужасного в своей жизни открытия. Потом мед-

ленно, часто проваливаясь в снег и вздрагивая, когда трещал под ногой сучок, он двинулся в чащу обступавшего отовсюду березняка. Чутье не обмануло его,— шагах в двадцати он наткнулся на Саньку, вовсе и не пытавшегося уйти от кары. Тоже по колено в снегу, тот стоял у дерева, прикрыв лицо одной рукой, другою же, видимо, еще держал в кармане что-то.

— Никак, опять папиросницы своей дожидаешься? — подойдя вплотную, все еще не веря, пошутил Векшин. — А я-то думаю, куда запропал мой Александр... Ну, чего ж ты от меня закрылся?

Не в руке, а в глазах была правда, и, чтоб заглянуть для проверки в Санькины глаза, Векшин принялся отрывать от его лица словно пристывшую ладонь. Когда удалось наконец, ничего за нею не оказалось: два непроглядных мрака зияли в Санькиных глазницах.

— Смотри, хозяин, упустишь соперничка... он сейчас к той дамочке под одеяло помчался! — вызывающе засмеялся Санька, обдавая лютым зноем ненависти.

— А, теперь все сор и дым, все позади у нас осталося, Александр. Ну, не бойся меня, говори... это ты, что ли?

— Я... — едва ли не с гордостью отвечал тот, коротко ударив себя в грудь. — Три дня брожу за тобой по следу... то силы нет, то удачи... Диву даюсь, как я в тебя промазал! Сколько ночей во снах по тебе стрелял, тоже на голос и все без промаху, а тут ровно дрогнуло что... видать, за один-то раз не расквитаться мне с тобою!

— Это все неправда, это мертвая твоя из тебя кричит, Александр,— с ужасом внимая Санькину откровенпю, перебил Векшин. — Забожись!

— Покойницей клянусь тебе, хозяин... И сколько раз упредить тебя просился, чтоб не шутил ты с сердцем, которое вровень с твоим бьется: самые отчаянные из них получаются... а все тебе нипочем да некогда! Видно, ты и решил, что все во мне твое. Помнишь, насчет Ксеньки-то справлялся, хорошенькая ли... ведь я уж думал, и за ней потянешься. Все ты у меня взял, хозяин, душу вынул... и не ангел смертный, а вынул!.. ровно огурец вычистил, собою начинил, обокрал... ты истинный вор, хозяин!

— Я не для себя брал... — вдруг до изнуренья ослабев, солгал было Векшин и осекся, вспомнив ту, чистую, все еще не возвращенную сороковку. — Зато я и любил тебя, Александр!

— Разная она бывает, любовь-то: и навагу любят... с тушеной капусткой слаще нет. А ведь я кровью за тебя тек, телом от смерти заслонял, псом вкруг тебя лаял, хозяин! Бога не стало у Саньки, ты мне богом стал... даже когда пьяного вязал тебя на фронте, и тогда тебе молился. Вот ты и сообразил, что с тихим все можно! У тебя нрав такой — непокорных ломать и презирать послушных. А тихие-то самые черти и есть: который для тихой жизни рожден человек, в том не расшевеливай бурю, и людскому смирению не верь: кажному по одной жизни отпущено, не по дюжине! И фарт тебе, хозяин, что не хлебнул в тот раз кваску моего, а то покачался бы у меня на лакированных своих сапожках!

В азарте он заведомо оболгал знаменитый квасок, если и подтравленный тогда, то лишь начальной мыслинкой о бунте. В ту пору еще не замышлял он подымать на хозяина руку или доносное слово. Но теперь мурашки злого холода бежали по Саньке, раскаленными искрами срывались с языка,— все представало иным в их прерывистом свете.

— Считаться со мною желаешь?

— А мой счет с тобою — какой счет? Вот садану из-за уголышка, и выйдет промеж нами баш на баш. — Вдруг он лукаво посмеялся и головой покачал. — Чудно, а ведь ты и теперь в башке своей допустить не можешь, чтобы я, всего лишь грязь из-под сапог твоих, замахнуться на тебя посмел!.. не веришь? А ну, возьми, раз не веришь, вот скушай шоколадку из рук моих, давно для тебя припас... — и протянул что-то в ладони.

Вглядываясь в темень, где, по догадкам, находились Санькины глаза, Векшин взял и развернул конфетку,— низовой ветерок выхватил бумажку из его пальцев и как улику уволок во мглу.

— И съем,— нетвердо сказал Векшин, поднося к губам. — Клевещешь на себя, Александр!

— Смотри, в нее злая вострая изюминка заложена... вот и почнешь кувыркаться не плоше своей сестренки! — с такой издевкой предупредил Санька, что оставалось лишь пристрелить это нелепое, такое доброе когда-то, долговязое существо — раз нельзя смирить его словом увещанья.

— Не ты ли плакал тогда в подъезде внизу, на Баташихиной мельнице? — осваиваясь с логикой Санькиных поступков, переспросил Векшин и вдруг судорожно откинул угощенье.

— Это я по Ксеньке... места себе не находил.

— Значит, и у Пирмана тоже ты навел?

— Я... и впредь, имей в виду, всегда я буду!.. А смешно, как ты конфетку швырнул сейчас... ведь соврал я про нее, без начинки была конфетка. Ксеньке в больницу носил, она и подарила... Впервые струсил ты меня, то-то! Ну, если стрелять меня не собираешься, то пойдем, что ли? Чего-то ногу ломит правую, раненую, видно к снегу...

И он зевнул на последней фразе, как бы прочеркнувшей итоговую черту всей их поконченной дружбе. Ничего общего не оставалось у них впереди.

— Мой тебе совет, Александр, исчезнуть и даже не вспоминаться мне отныне... — сказал на прощанье Векшин. — Зачеркиваю все, что было у нас с тобой. А сведет судьба, плохо будет нам обоим.

Не прощаясь, он повернулся и по собственному следу стал выбираться на давешнюю площадку. Он делал это медленно, то ли дразня Саньку, то ли предоставляя ему возможность исправить давешнее упущение.

XXIII

Круг смыкался, идти становилось некуда, и тут обнаружилось, еще один человек на свете знал, что не осталось у Векшина выхода из сомкнувшегося круга. Среди ночи Пчхов без очевидного повода вышел к себе во дворик и долго смотрел в небо, пронизанное звездным светом. Кто-то там, наклонив ковш Медведицы, черпал тишины. Ничей голос не окликал Пчхова, он сам негромко позвал по имени. Тотчас из затемненного угла, где громоздился штабель дров и провисала натянутая между забором и сиренькой бельевая веревка, стыдясь и сутулясь, вышел человек.

— Здравствуй, Митя... а то уж ноги поди застыли стоять,— просто сказал Пчхов, и приветствие прозвучало гулко, словно из пространства несоизмеримо большего, чем окружавшая их ночь. — Чего ж давно не заходишь чайку попить?

— Да все некогда как-то... Не думай, не поджигать тебя спрятался, а так, мимоходом забрел, без надобности.

— Гулял, видно, да и заблудился: ночь! — так же смутно подтвердил Пчхов. — Черный ты стал, Митя, и даже гарью припахиваешь... жжет?

— Прибаливаю слегка, примусник.

— Зайди погреться, полечу. И меня вот бессонница стариковская томит...

...Пока не вскипел чайник, ни словом они не обмолвились между собою, но мысленный разговор их давно был в разгаре — и на то, в чем один упорствовал, никак не склонялся другой. Бой велся на глубине, лишь незначащая словесная зыбь играла на поверхности.

— Все крадешь, Митя?

— Нет, по большей части скитаюсь теперь.

— Себя бойся обокрасть, Митя, ибо это не карается. Больно соблазн-то легкий... отсюда и болезнь! Из себя самое важное да нужное люди на гульбу вынают, а трухой докладают, отчего и получается засоренье организма. Вот тоже иной ходит, гудит, руками машет, а заглянешь в него — там одни предметы посторонние, металлические, вообще бесполезные. Ну и гнетут, бултыхаются при ходьбе жизни, царапают ему нутро, мешок души!

Протекло чуть поменьше часа, прежде чем снова прорвалось из глубины:

— Вот, сам неласковый, ты и в чужую ласку не веришь, Митя. А я взялся бы внутренность твою полечить... Тут у одного уж и ребра загнили, а я вылечил.

— Чем же ты лечишь, примусник, прижиганьем, что ли?

— Да все тем же, чем и Он лечил... — Пчхов выдержал мертвую паузу. — Причастись для начала, Митя!

И опять долго молчали.

— Не к лицу мне это, Пчхов... А ежели вырвет?

— Не вырвет, сладкое. И чем ты особенный, чтоб гордиться? Этак рогатый скот тоже гордиться мог бы, что не в сырую его землю погребают, как прочее низкое человечество, а исключительно в утробы повелителей мира в виде говядины!

Так раскрылись наконец — незамысловатая снасть и склянки благушинского лекаря. А именно у этого верного ему старика рассчитывал Векшин найти исцеляющую мудрость, когда последнее, наиболее дорогое отпало или отвернулось от него. Полностью подтверждалось теперь, что только в себе самом надлежит искать человеку лекарство во всякой душевной хворости.

Векшин допил чай, перевернул чашку вверх дном по русскому обычаю, подошел проститься со стариком.

— Плохо кораблю без парусов, Пчхов... а еще хуже, когда снизу пробоинка. Вот уж мне до дна ближе, чем до солнышка. Но, верь слову, еще вернусь к тебе однажды! — Он стал одеваться и делал это основательно, как при сборах в особо дальнюю дорогу, а Пчхов исподлобья следил за его движеньями.

— Куды ж теперь, самохотенно убивающий себя Димитрий... ай на последнюю погибель?

— Попробую вперед и вверх, Пчхов... лишь бы зубы от усилья не выкрошились! — Задумавшись, он прощальным взором окинул бедную пчховскую утварь, ржавое железо по углам, почти законченный теперь драгоценного дерева ларец на столе,— оставалась только крышка. — Лекарство твое, примусник, старое, бывшее, но все равно спасибо. Ты всегда угощал меня лучшим, чего накопил в жизни своей.

— Я тебя жалел, Митя.

— Мне всегда казалось, что каждый человек даже лицом и сноровкой похож на бога своего... и твой, верно, ужасно добросовестный, работящий бог. Прошлой осенью доводилось мне ночевать в стогу, подолгу смотреть в ночное небо. То и дело звезды срывались, падали... хлопотливое хозяйство! Верно, вроде тебя наелозится по небу с паяльником бог-то твой, уткнется в облачину и спит поди... Отдыхай и ты, примусник!

Порывисто шагнув к старику, он поцеловал его в одряблевшую колючую щеку и почти выбежал вон. Вышедший следом Пчхов уже не застал Векшина во дворике.

— Добрый путь, добрый путь,— повторяли стариковские губы, помедлили и еще раз прибавили: — Добрый путь!

...На страницах повести своей Фирсов в колоритных подробностях воспроизвел мнимые путешествия Векшина куда-то в транссибирскую даль. Никто не опознал его на вокзале, когда в ветхом пальтишке с чужого плеча садился в переполненный дальний поезд. Спертая теплынь стояла в вагоне, до отказа насыщенная перегаром махры. Все ехали куда-нибудь в те годы, по новым силовым линиям перемещалось людское вещество. Когда в окне исчезли последние огни, Векшин вышел на площадку. Качалась и хлопала непритворенная дверь, пришлось прикрыться ладонью от встречного сквозняка. Векшин долго глядел на свою длинную, в дверном просвете, тень, как легко она скользила по снегам, преодолевая белые копны сена, штабеля шпал, пляшущие изгороди спящих разъездов. Мимо, задевая иногда, проносились искры,

мысли, колющие крупицы угля. Неиспробованного действия лекарство было растворено в этом жгучем, летящем воздухе... Когда вернулся в вагон, ехавшие на стройку плотники напоили Векшина таким же целебным, жиденьким напитком из артельного чайника. Ночь провел сидя, и ему снилось то же, что было наяву,— плач ребенка, заглушаемый перестуком колес, чьи-то торчащие босые ноги в полумраке над головою, шаткая над входом, в железной коробке свеча.

В фирсовской повести живописно было рассказано, как всю неделю пути Векшин пролежал почти без движенья на верхней полке. Сменялись ночи и попутчики, иная речь слышалась внизу,— уже тайга бежала в окне напротив. Однажды, когда дружный простонародный храп стоял в охолодавшем вагоне, Векшин пробрался между свесившихся рук и ног к выходу... Поезд подходил к полустанку. На пустой платформе впереди зевал заспанный дорожный мужик с фонарем. И будто бы торопясь, Векшин спрыгнул на ходу и внахлест упал лицом, словно кланялся. Смерзшийся снег искровенил ему ладони, но, странно, и самая боль та была как ласка. Лиловатая в отливе, засоренная древесным корьем колея поманила путника в чащу. Не очень скоро она вывела его к зимнему стану лесорубов, приютивших Векшина после обидных и обычных в подобном случае подозрений...

В тот раз дорога до изнуренья потаскала Векшина по лесной пустыне, прежде чем допустила до высокого берега одной всесибирской реки. С непокрытой головой, пока обсыхала испарина на лбу, вглядывался он в непробужденную окрестность, утоляя естественную любознательность переселенца. Дыханье замирало от обступавшей безбрежности, в желтом рассветном сумраке обозначалось солнце... Однако все это следует оставить на совести всеведущего сочинителя Фирсова.

ЭПИЛОГ

I

Фирсовская повесть, вышедшая в свет под названием «Злоключения Мити Смурова», подверглась быстрому и почти единодушному осужденью. Все сходились во мнении, что действительно не стоило пачкать пера такими чернилами. Неделю слышался характерный лязг пополам со вздохами провинившегося; посильное оживление вносили литературные коллеги Фирсова, а также прохожие. Запомнился один пожилой нэпман, у которого несовершеннолетний отрок под влиянием фирсовской повести взломал ножницами несгораемую шкатулку; кроме того, некоторых не на шутку озлило, что убитый в ювелирном магазине Щекутин вторично участвует в Донькиной правилке, что указывало на корыстное намеренье автора получить за одно и то же лицо двойной гонорар. Лишь одна неожиданно дельная статья, почти заметка, натолкнула автора на глубокие, весьма плодотворные раздумья.

В ней, отвечая на общественное недоуменье, какой-то неизвестный критик приходил к выводу, что, верно, поиск достаточно гибкого и неохраняемого материала, каким является как раз уголовный мир, привел Фирсова на Благушу. «Разумеется, все достойно внимания летописца или Баяна в эпоху, подобную нашей: не только летящие в будущее всадники, но и тени всадников на земле, вздыбленной копытами их коней,— приблизительно так писал критик, если опускать длинноты и частности. — Никто не ограничивает писателя в выборе явлений общественной жизни, если в оценке их он станет исходить не из симпатий ко вчерашнему или из временных неудобств неустоявшегося настоящего, а из насущных потребностей завтрашнего дня. Мы не смеем проигрывать завязавшийся в начале

века бой, так как, по ценному замечанию самого же автора, в случае нашего пораженья планета вошла бы в длительную фазу зверства и мрака, сравнимого лишь с ледниковым нашествием.

Начало описанных в повести смуровских злоключений по времени совпадает с эпизодом ночной расправы над пленником, одинаково недостоверной и бесполезной, хотя война и состоит как раз из взаимного причинения таких нелогичных, беспорядочных и желательно непоправимых огорчений. В особенности проявляется ожесточение в гражданских войнах, где, в отличие от прочих, сшибаются личные, потому что социальные враги. Тем не менее остается загадкой для читателя, почему автор заинтересовался одиночным, да и то ночным сабельным ударом, а не вдохновился множеством их, сливающихся в сверкающую радугу кавалерийской атаки — и при дневном свете? Мы имеем в виду, скажем, действительную схватку за будущность столь обожаемого автором человечества, а не изнанку ее. Бывают, конечно, такие щекотливые на банальность художники, стыдящиеся ярких красок, опасающиеся польстить покрытому ранами победителю, но скажите нам положа руку на сердце, Фирсов, разве бедный лоскут кумача, с которым новая правда врубалась в старый мир, беднее поэзией, чем отсеченная рука, уже тем одним нечистая, что сражалась за неправое дело? Опять же — а не сказалось ли в смуровском проступке негодование мстителя и потомка, который росчерком клинка просто душу отвел за дедов и родителей, за весь род свой, вдоволь испивший от притеснительского злодейства? Да, верно, и сам зарубленный господин не сахар был и причинял слабым боль, и доставал поглубже наших, даже разъяренных смуровых. Даже в стремлении обезопасить себя от исторических случайностей простой народ обычно действует по старинке, без той свирепой изобретательности на страдание, что присуща более начитанным сословиям. Приходится сожалеть, что, экономя время и бумагу, сочинитель повести не показал примерного допроса наших бойцов в какой-нибудь, скажем, колчаковской контрразведке.

Как нам посчастливилось выяснить по ходу чтения, фирсовский герой был задуман не обыкновенным жиганом, так сказать на переломе двух эпох, а скорее в лирическом ключе, даже со склонностью к отвлеченным размышленьям. В мировой литературе имеется целая галерея таких самодеятельных мыслителей со дна и каторги, однако главным образом — на

покое или вынужденном отдыхе, не попадалось нам пока философа из отечественных шниферов и в полном расцвете творческих сил. Вот нам и подумалось вначале, не взялся ли Фирсов восполнить этот досадный пробел с помощью скромных средств, имевшихся в его распоряжении. В самом деле, непривлекательный поступок Смурова и послужил автору предлогом пришить ему покаянно-нравственные размышления по поводу лишенья жизни одного белого поручика, хотя по части ума, необходимого для поставленной задачи, как выпукло показано в повести, помянутый Смуров не шибко силен. Обреченный на столь гиблое дело падший парень так плохо, неискренне и, главное, скудно терзается содеянным, что приблизительно со средины книжки замечается прямое охлаждение, а порою даже несправедливая неприязнь автора к своему злосчастному ворюге; последний то и дело гнется-шатается под грузом своей привязной килы и под конец едва не попадает в церковные тенета одного там затаившегося под маской слесаря благушинского паука. Не менее натужные стоны слышатся и от матушки порубанного офицера, старушки полузагробного профиля, когда и ее начинают присобачивать к скользкой истории в качестве советской эринии, что ли. К слову, ей тоже так и не удается добиться от железного шнифера сколько-нибудь удовлетворительных, в смысле самоукоризны, результатов... Не менее жалостно наблюдать и самого сочинителя, как из главы в главу таскает он на себе живой громоздкий эшафот — бывшего анархиста Машлыкина, необходимого ему в дальнейшем для Донькиной экзекуции. По замыслу автора, помянутый подопытный кролик и должен в повести — сперва непослушанием, а затем истреблением себя — подтвердить святость одного почтеннейшего табу — «не убий!», что он и совершает в конце концов, но тоже как-то из рук вон некачественно.

И — матка боска! — невольно думалось нам при чтении,— чего ради автор приемлет на себя столь немыслимые и комичные муки, вместо того чтобы держаться достаточно поэтичных берегов своей Кудемы, то — пленительной в дымке детства, то грозной в разгуле необузданных страстей, характерных для взятой автором среды. Тогда легко объяснилась бы и гибель недолговечного счастливца Доньки, размолотого в трагической орбите главной любовной пары. И не одна лишь, представляется нам, нехватка художественного вкуса или знаний сказалась здесь, а какой-то более существенный недуг, роковая для

данного сочинителя двойственность в понимании целей бытия и средств к их осуществлению. Ему, с одной стороны, вроде и по душе великое учение современности, преобразующее его прекрасную, но отсталую родину, лишь благодаря революции не расколоченную всякими трехнедельными удальцами; ему вроде и нравится всемирно-освободительное значение, какое отныне для всех подневольных народов приобретает трудовая деятельность его народа... кажется, доступная его пониманию и новая наша человечность в рамках железной необходимости — пока не разгонится до прямолинейного, все ускоряющегося движенья социалистический прогресс. Ведь сам же и неоднократно, помнится, заявлял нам вслух Ф. Ф. Фирсов, что губительно, даже смертельно для рода людского в неправедной раздельности жить, то есть в хаосе непримиримой вражды, где одно непременно охотится отнять у другого — труд, хлеб, нору, землю, недра, жену, самую жизнь его и его детей. Звери — всегда порознь, даже когда в сплоченных стаях, кулигах, косяках и табунах. Ему принадлежит также весьма запомнившийся нам тезис, что «лишь по устроении земного тыла Человек вырвется в гордый простор вселенного Океана, без чего не стоило питекантропам начинать эту стотысячелетнюю бузу под названием шествие к звездам». Завяжем же памятным узелком до поры все эти крайне похвальные, хотя и не особо свежие мысли Ф. Ф. Фирсова.

А с другой стороны, нас тревожит возникающая временами у Фирсова тяга к рассмотрению теневых сторон человеческого существованья, к псевдотрагической тематике разочарований, неосуществленных замыслов и умственных катастроф,— опасная пристальность к развенчанным виденьям прошлого, самая его любознательность к людской боли, как будто и она, память о ней, а не только всепроницающая мечта скрепляет опыт мира,— как если бы и она тоже, наравне с разумом, придавала творческую ненасытность нашему вечному поиску! В целом воспринимая положительно восходящее над планетой солнце, автор то и дело воздыхает по непроглядной и прохладной мгле, в которой когда-то начались скитанья человеческого духа. Вследствие этой незавершенности мышленья и родятся у автора такие раскиданные в его повести, с позволенья сказать, откровения вроде того, что — «всякая великая истина начинается с ереси» или что «становление нового героя в искусстве возможно лишь через трагическое...».

Так вот оно и получается, что в то самое время, как обреченная самовозгоревшаяся ветошь ума и сердца жарко пылает перед глазами нашими, когда массы дружно сымают с себя пережитки и кидают их в костер, этот самодеятельный мыслитель, умильно улыбаясь по сторонам, то и дело тащит из огня разные обуглившиеся штучки в намерении контрабандой протащить их за пазухой в наше светлое будущее. А ведь не стоило бы пускаться в такие некрасивые предприятия... ой, не стоило бы, Федор Федорыч! При штурмах высочайших пиков, равно — гор или небес, следует брать лишь необходимое для переустройства на заоблачном новоселье... опять же не оскользнуться бы вам со столь тяжеловесным барахлом на кручах, где и налегке-то порою удержаться мудрено. В наш завтрашний день Федор Федорыч бодро шагает пятками вперед, обратясь лицом в день вчерашний, в пресловутую блестинку на его зрачке, на что усердно совращает и своего подопечного Смурова. И не столько остающиеся позади родные могилки привлекают его увлажненный взор или, скажем, тысячелетние пеплы дедовских костров,— кажется, зашей по щепотке и того и другого в ладанку и шагай! — нет, ему жалко расставаться с обжитой и о т ж и т о й пустыней, покидаемой навечно для обеспеченной всем и уже без промышленных кризисов оседлой жизни,— манят его остающиеся позади кочевья первородной мысли, полная таинственных зовов тишина в долинах, бездомные ночи под звездами, населенные призраками и миражами, твореньями тьмы и дикарского воображения: нетленное, неугасимое и, честно сказать, неописуемое. А уж пора бы, уважаемый наш Федор Федорыч, отвернуться и забыть, отречься от мнимой своей родни, для которой все равно — вы только невежда, самозванец и достойный сожжения отступник,— пора вам полностью проклясть вчерашний день и для начала хотя бы наступить пятой на лицо упавшего, на битой человечине поскользнувшегося бога: ведь это так просто... и обратите вниманье, как он прочно молчит при этом! Мы долго ждем, уже мы устаем ждать! но все безмолвствует наш Федор Федорыч, и в подозрительной нерешительности этой видится нам источник его собственных затянувшихся злоключений. И наконец, какое, якобы непрощаемое, за пределами воровской специальности и чуть ли не эпохальное злодейство стремится подчеркнуть автор полупрозрачным намеком на роковую с о р о к о в к у, под некое с в я т о е д е л о изъятую Смуровым у молодой, неоперившейся, загубленной им четы?

Принадлежа к пытливой и недоверчивой породе творцов, сочинитель Фирсов пробует на зуб величайшие истины новизны, в то же время принимая на веру оскандаленные идеи прошлого, доставшиеся нам по наследству с более ценным материальным имуществом. Одна из них — заповедь о святости и неповторимости людской жизни — столь приглянулась автору, что тотчас и нацепил ее на своего героя. Федору Федоровичу невдомек, что позорная мировая война целиком и с корнями выворотила то развесистое, библейское древо, под сенью которого — пусть! — написаны шедевры вчерашней цивилизации. Новая эра рождалась в огне и, прежде всего, в пламенном гневе, на обломках так называемого христианского братства, которым нельзя же, просто грешно, родные мои, так долго и в таких масштабах обманывать честной народ. Человечество вступало в свою желанную эру с душою в клочьях, таща в охапке вырванные войною собственные кишки... нет, мы как раз не находим, что образ этот с должной силой выражает существо дела! Итак, Федор Федорыч, наш гуманизм не является всего лишь продолжением вчерашнего,— социалистическая революция содержит в себе свой манифест более чистой, точной, высшей человечности.

Судя по бросающейся в глаза местами нетвердости почерка, автор приблизительно с середины своего произведения стал испытывать понятное и похвальное замешательство. Попытка же его с помощью ловкого приема переключить собственные промахи на имеющуюся в повести литературную болванку, вплетя их в канву сюжета, служит достаточным доказательством, что он и сам глубоко осознал поучительную неудачу своего труда; этот прием раскаяния значительно облегчил стоявшую перед нами цель, когда мы брались за перо».

II

Дочитав этот приговор себе, Фирсов сдвинул очки на лоб и откинулся на спинку стула. Нет, у него не имелось существенных возражений на прочитанное, тем более что и критика такого не бывало в действительности. Приведенная статья находилась в самой повести, написанная Фирсовым же на своего зеркального двойника. Таким образом, косвенно признавался он в полной своей неудаче.

С закрытыми глазами сидел он так, опустошенно отдыхая

от книги и обстановки, в которой она писалась. Впрочем, комната его представляла собою светлое, отапливаемое и достаточно просторное помещение, правда — вследствие незначительного количества предметов в ней, из которых ни один не приглянулся бы самому бдительному фининспектору. Письменный, он же обеденный, стол красовался посреди, летняя одежда скрывалась в простенке под простыней от пыли, и, ради приличия, ширма отгораживала три метра в распоряжение жены. Изредка — раздраженное восклицанье или паденье катушки ниток с характерным раскатом указывали Фирсову, что наконец-то обшиваются тесьмой весьма затрепавшиеся за год обшлага его демисезона.

Несмотря на усталось и разочарованье,— пока новыми набросками не набухли записные тетради,— сочинитель испытывал недолговременное, почти блаженное состояние пустоты... если бы не заключительная одна, нежелательная теперь встреча. Когда с лестницы прозвучали пять, по числу квартирантов, условленных звонков, Фирсов поднялся с сердцебиеньем ненависти и, зная все наперед, сперва рванулся было убрать с печурки таз с мыльной водой, но раздумал и продолжал стоять с опущенными руками. Посасывая проколотый палец, с полотенцем на мокрой голове, жена пошла отпирать и вскоре воротилась с видом, не предвещавшим ничего доброго.

— Там к тебе эта, твоя притащилась... — прошелестела она, скрываясь за ширмой.

Праздничная и яркая, почти неприличная для коммунальной квартиры, Доломанова стояла на пороге, распространяя вокруг себя знакомые шорохи, отсвет тревоги, запах неуловимых духов.

— Боже, что это так жутко гудит у тебя, Федор Федорыч, словно поддувало в аду? — спросила она раньше приветствия, вслушиваясь в шум за спиной.

Фирсов развел руками.

— Так сказать, прибой текущей жизни, сударыня: примуса на кухне, пять штук. Как правило, мы избавляем наших персонажей и читателей от этих... ну, от временных неудобств настоящего, что ли!

Она вспомнила фразу из разносной статьи о нем, усмехнулась, вошла, властно прикрыв дверь, потому что из коридора уже заглядывали жильцы на необыкновенную гостью.

— Едва нашла тебя, Фирсов, и то через адресный стол.

Ты, кажется, не очень рад мне, но я и сама тороплюсь... даже раздеваться не стану.— Впрочем, она приспустила с плеч шубку дорогого черного меха и с любопытством огляделась.— Никогда не видала, как писатели живут... Ты здесь и творишь, Федор Федорыч?

Тот сделал вид, что не заметил неприятно резанувшего его слова.

— Да, вот он я и вот мое болото,— подтвердил он, выходя из-за стола придвинуть стул гостье и, вернувшись, пошел напрямки для сокращения разговора.— Напротив, я крайне рад вам, Мария Федоровна, хотя, признаться, успел уже порядком поотдалиться от злополучной прежней темки.

— Хорошо, что хоть на собственных ногах стоишь... после всего этого,— посмеялась гостья, имея в виду причиненные повестью сочинительские неприятности.

— Да, я привычный,— сухо сказал Фирсов.— Ну, что у вас там новенького, на дне?

— Так ведь тебе лучше знать, ты же автор! Вот про Манюкина... еще помнишь такого? Вчера на рынке булочку у торговки украсть пытался, побежал, рухнул на моих глазах и не поднялся более. И я в числе прочих смотрела, как рябая бабища имущество свое назад отбирала из коченеющей руки... Да еще, не знаю, верно ли, слух дошел, будто Чикилев добрался наконец до гуталинового короля: так налогом обложил, что всей мировой ваксы на уплату не хватит...

— Ну, это, безусловно, злонамеренная сплетня подполья,— не поддержал Фирсов.— Повторять не советую...

— Кстати, только сейчас узнала, что Баташиха женила на себе анархиста своего, в хозяйство пристроила!.. Это с твоего ведома? — и зло помолчала.— У певицы твоей, я слышала, что-то преждевременное случилось, после чего управдома своего бросила и в пивную вернулась: этого и надо было ждать. Большим успехом пользуется... правда, больше про бюрократов поет теперь да про запущенный ремонт крыш, но изредка, по требованию публики, как рванет что-нибудь из прежнего репертуара... то бабенки вроде меня, падшие, слушают да слезами заливаются. Я под вечерок как-то забежала мимоходом...

— ...но, вопреки надеждам, Мити не оказалось на месте? — слегка оживился Фирсов.

Ее лицо потемнело, праздничные краски сбежали с нее.

— Ты ужасно прозорливый и неприятный стал, Федор

Федорыч. Ничего от тебя утаить нельзя!.. кстати, почему никогда не забежишь ко мне, как прежде, запросто? Забежал бы!

Откровенным, вслух и при жене, приглашеньем она мстила Фирсову за высказанную ей в лицо догадку.

— Да все некогда как-то, Марья Федоровна,— с равнодушным видом протянул Фирсов, не без мольбы кивнув на ширму.

— Нет, ты не стесняйся, Федя, ты сбегай к ней на полчасика, когда тебе п о т р е б у е т с я...— тотчас напряженным тоном откликнулась из-за ширмы жена.— Правда, дольше сумерек, говорят, опасно в их районе задерживаться!..

Приходилось наспех спасать положение.

— Выходи познакомиться, Катя...— процедил сквозь зубы муж.— Тут у меня одна героиня моя бывшая сидит... с интереснейшей биографией товарищ!

— Спасибо, я уже читала,— сказала жена.— Скажи ей, что я штопаю твое пальто. Кроме того, я только что мыла голову и вдобавок беременна.

Наступила пауза естественного замешательства, после которой обстоятельства разместились в новом и уже прочном порядке.

— Пожалуйста, передай и ей, Федя, что мне очень жаль. У нее такое милое, хотя с непривычки несколько своеобразное лицо,— невозмутимо отвечала Доломанова.— Тем более приходи как-нибудь, раз тебе позволено. Ведь я после Митина ухода совсем в о л ь н а я стала... мог бы и пожить с недельку у меня!

— А что? местечко в Донькиной кабине освободилось? — не на шутку обозлился Фирсов.— Видать, лестно вам, Марья Федоровна, чтобы всегда при особе вашей козлы финикийские бодались?

Она не обиделась, закурила, улыбнулась.

— Я же прогнала его начисто, Доньку... ты не знал? Слезливый на поверку оказался... в тот раз растерзанный из лесу вернулся, все в ногах катался: «Маруся, они меня убить хотели!» Сам же, подлец, умереть за меня просился, а как дозволила, то и на попятный...

— Не вы ли ему талон-то в сундучок пристроили? — вскользь поинтересовался Фирсов.

— Какой это? — нахмурилась та.

— А тот самый, на смерть талон! — подмигнул Фирсов, и потом прорвалась скопившаяся горечь.— Мне лишь недавно

приоткрылось, что и тогда, у Артемьевых-то ворот, когда я вас на трон возводил, вы меня одной рукою обняли, а другою чудовище свое полосовали... все ножом его, ножом!

Доломанова даже не моргнула в ответ, только плечи чуть расправились да кривая усмешка скользнула по губам. И вдруг что-то тайное, подлое, пятнистое, о чем всегда так страстно забыть хотелось Фирсову, все сильнее стало проступать в этой женщине: верно, несмываемые следы Агеевых прикосновений. И вот перед ним сидела иная, бывалая и грешная, с таким каторжным адом в душе Манька Вьюга, что и лучику давнего кудемского полдня не под силу стало пробиться сквозь непогоду ее опустошенных глаз.

— Что ж, кто в метель из дому выходит, завсегда рискует с дороги сбиться. Да уж и ты — писал бы лучше свои книжки, не встревал куда не следует! — с неожиданной хрипотцой и как бы сверху посоветовала она.— Ишь ты, Доньку пожалел... а меня, меня кто приголубит? Ты вот что, Федя: больше под ноги себе гляди да по сторонам не озирайся. И жена меньше плакать станет, и сам поправишься. А то вон бородищей зарос и черный, ровно в смоле тебя варили... Так не соберешься, значит, встряхнуться-то? Ко мне ведь и попозже можно, на ночь я подолгу читаю в постели, бессонница... А уж я бы тебя уважила, Федор Федорыч!

— Вряд ли когда-нибудь соберусь к вам, милая Маруся...— тоже сквозь зубы и поднимаясь процедил Фирсов.

Она наградила его долгим и пристальным взглядом.

— Отказываешься?.. то-то. Значит, крепко за тебя молилась мать твоя покойная. Помнишь ту грозу,— как обедня, когда на коленках-то предо мною ползал? — с сипловатым смешком и чуть понизив голос напомнила гостья.— Шибко тебе пошалить со мной хотелось, а я тебя отшила... помнишь? А ведь сам же болезнь мне придумал, от Агея, страшнее нет... Ты Мите отместить хотел за его жестокость, чтоб видел и терзался... да разве поймут они наши с тобою тонкости! В ту пору давно уже синим огоньком горела я, и ой как больно ты об меня обжегся бы, кабы я тебя, сочинителя моего, не поберегла! — зловеще погрозилась Вьюга, кидая под стул окурок.— Ладно, хватит, ухажер, погляделись напоследок... прощай! Проводи до ворот, что ли...

За ширмой упало и множественно раскатилось что-то досадное, с иголками и пуговицами, звонкое и рассыпчатое: жена заявляла о своем присутствии.

— Чего ж ты так гостью отпускаешь, Федор, у нас там, в шкафчике, водка есть...— произнес из-за ширмы чуть дрожащий голос жены.

Вьюга молча взялась за скобку, и вдруг Фирсов решился в самом деле проводить ее до подъезда — и не только затем, чтобы смягчить немножко выпад жены. Не произнося ни единого слова, они спустились по лестнице.

Погожий часок выдался на улице. Сверкала и брызгалась на солнце оттепель, воробьи и ребята галдели на застекленевшем мартовском снегу. После домашнего кухонного смрада приятно познабливало на свежем воздухе.

Фирсов поднял воротник пиджака.

— О ком задумался?.. видать, новая подружка у сочинителя завелась? — заметив измазанный чернилами палец, ревниво спросила Вьюга.— Ну-ка, подразни, кто такая?

Натягивая тугую длинную перчатку, она медлила с уходом, но Фирсову не хотелось раскрывать перед т а к о ю свою новую привязанность... да и рановато было, потому что из мглы тревожного предчувствия лишь начинали сгущаться размытые пока профили, обстоятельства и речи.

— Так, поповна одна...— лишь бы отделаться, буркнул Фирсов.

Кажется, она поверила.

— Тоже ненадолго! Я всегда говорила, что ветреный вы народ, писатели, ненадежный...

Подобно Векшину, она круто повернулась и, не простясь, медленно, но все быстрее пошла прочь. С раздвоенным чувством сочинитель проводил ее глазами до угла и вдруг, как ей исчезнуть, шагнул вослед раз и другой со странным и тоскливым сожаленьем — то ли удостовериться в чем-то, то ли запомнить ноздрями навеки ее пропадающие духи... Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель.

1927, 1959, 1982

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Вор» был впервые опубликован в 1927 году в журнале «Красная новь», № 1—7. Одновременно печатались отрывки из романа: «Шалман Артемия Корыпца» — журн. «Народный учитель», 1927, № 2; «Конец циркачки» — газ. «Заря Востока», Тифлис, 1927, 30 апреля; «Циркачка» — «Красная нива», 1927, № 10.

Если учитывать обычно долговременный процесс вызревания сюжета, то у Леонова ушло на написание романа вместе с подготовительными набросками более двух лет. Однако с самого начала замысел романа был значительно шире, чем диктовался материалом столичного «дна». В ходе работы над «Вором» Леонову приходилось прерывать ее: в октябре 1925 года К. С. Станиславский обращается к нему с просьбой написать пьесу для МХАТа, и с начала ноября по 1 декабря писатель работает над первой редакцией драмы «Унтиловск» (по одноименной неопубликованной повести); в декабре того же года по предложению 3-й студии МХАТа (в дальнейшем театр им. Вахтангова) он начинает работу над пьесой «Барсуки» (по мотивам романа), которую заканчивает 14 января 1926 года. Затем Леонов возвращается к роману «Вор». К апрелю 1926 года была написана первая часть романа, в июле — вторая, а 18 октября закончена первая журнальная редакция романа. 22 марта 1927 года Леонов завершает подготовку романа «Вор» для отдельного издания.

Уместно в этом издании разобрать приблизительное происхождение темы и суть романа, которой руководствовался автор и которая показательно ускользала от критики.

Обратившись к пестрому и экзотическому материалу московского «дна», Леонов не намеревался просто «отразить» колоритный мир «бывших» людей, раздавленных нэпом, или, подобно некоторым современным ему писателям, сиюминутно откликнуться на «больные» вопросы дня. «Воровской» мир и его типажи привлекали Леонова лишь как гибкий материал литературы, легко поддающийся любой сюжетной

формовке. Не так ли и в ранних вещах он использовал мотивы «нечистой силы», «чертовщины» в качестве удобного материала, представляющего безграничные возможности для того, чтобы распространить тему в глубину, за рубежи очевидности.

Существует художественная проза различной ориентации. Есть проза стиля, фразы, метафоры, преимущественной внешней изобразительности, описаний. Леонов пишет символами. С помощью слова он постоянно ищет возможности найти простор для устремления к отвлеченности, отжать факты живой жизни до степени концентрации готовых усложненных мыслительных блоков. Таково имеющее очень важное идейное значение сказание о Калафате в «Барсуках»; в «Воре» это рассказанная Пчховым история изгнания Адама и Евы из рая и попытки вернуться туда «другой дорогой» под водительством соблазнителя, сменившего змеиную кожу на партикулярное платье.

В намерении выявить во всей сложности «потайные корни человека» и заодно показать творческую лабораторию прозы Леонов в «Воре» строит «роман в романе», вводя фигуру литератора Фирсова, который является не только (как позднее выразился автор о своем литературном ремесле) «следователем по особо важным делам человечества», посланным писателем на место происшествия, но, втянутый водоворотом событий, становится непосредственным их участником. Герой гражданской войны Митька Векшин, ставший королем воров, и его Благуша для Фирсова лишь проверочный материал, средство для проникновения в мерцающую своей тайной (или даже тайнами) биографическую сущность, надежно скрытую за покровами обыденности. «...просто требовалась достаточно прочная болванка,— рассуждает Фирсов,— для примерки некоторых моих... раздумий о культуре, о человеческой начинке, мало ли о чем». В этом ускользающая от поверхностного прочтения «сверхзадача» романа, для разрешения которой Фирсовым (и Леоновым) приведена в движение целая система масок.

По словам исследователя из ГДР Р. Опитца, «нежелание Леонида Леонова заниматься описательством мира, его стремление проникнуть в «тайны» человеческой жизни, исследовать человеческую «начинку», те «новые силовые линии», по которым перемещалось после революции людское вещество, заставляют его не верить слепо фактам, меньше интересоваться делами людей, больше — внутренними побуждениями к ним. Пчхову, говорится в романе, не хотелось знать подробности «о последних векшинских злоключениях», «его занимал лишь смысл проделанного Векшиным зигзага». Леонов и Фирсов вместе с ним стремятся проникать в глубь этих побуждений, их изменений за годы революции и тем самым в их будущее» (Р. Опитц. Философские ас-

пекты романа «Вор». — «Мировое значение творчества Леонида Леонова», сб. статей. М., 1981, с. 181).

Жизнь, взлет, падение и развенчание Митьки Векшина становятся для Леонова источником глубоких философских обобщений. Сгусток проблем: гуманизм современности и зачастую мнимая ее человечность, овладение культурой, пробуждение национального самосознания, мера добра и зла и ответственность за содеянное, расплата за него — все это воплощается в «постоянном взмучивании сюжета» и расщеплении «ядра» личности. В этой первой редакции романа Леонов превосходно рисует духовную ограниченность Митьки Векшина. В конце 40-х годов, в беседе с В. Ковалевым писатель уточняет некоторые аспекты в понимания этого ключевого образа: «Мне иногда говорили: почему я не показал, как Митька становится хорошим? — вспоминал он в рамках первой, романтической, версии романа. — Но я не мог заменять правду вымыслом, льстить таким, как Митька. Что могли они, люди вроде Векшина, сделать в короткий срок? Упрекая меня в том, что я таким показал Митьку... забывали, что векшины снова должны появиться, дать о себе знать (Черимов в «Скутаревском»)» (В. Ковалев. Творчество Леонида Леонова. М. — Л., 1962, с. 236). И дальше: «В «Воре» мне хотелось сказать, что некоторым участникам борьбы за новый строй еще недоставало морально-культурных накоплений. Это достигается не за одну пятилетку» (там же, с. 236). «Но я,— прибавлял Леонов,— неясно выразил основное стремление героя... Поэтому замысел романа не был понят читателем и критикой» (там же, с. 237).

Общий смысл исканий Леонова был не в пример шире самых живописных подробностей нэпа, занимавших автора лишь попутно, как попавший под руку криминальный строительный материал времени. «Вор» не просто «уголовный роман» с присущим ему обилием криминальных ситуаций, увлекательностью фабулы и колоритностью персонажей, вроде отменного фармазона и мастера поездухи Василия Васильевича Панамы или знаменитого шнифера Федора Щекутина. Маски, выглядящие поначалу как карточные персонажи из воровской крапленой колоды, внезапно преображаются в многозначные символы, таящие в себе зловещий или трагический смысл. Таким образом, Митька Векшин (как и подданные его блатного «королевства») интересен Леонову тем и постольку, поскольку он лишен «орнаментума», что это вполне «голый человек», с которого снят декор благополучия. (Этот прием несколько в ином качестве автор повторит в одном из своих последующих романов.) «Голый исчезает из обихода,— рассуждает в романе Фирсов,— вот и приходится в поисках его опускаться на самое дно».

Однако прежде, чем обратиться к «прочтению» образа Митьки Векшина и всего романа в окончательном варианте, уместно коротко напомнить, как встретила роман критика.

Не только злободневность житейской канвы «Вора», не только острота поставленных в нем социальных и эстетических проблем, но еще и почти полемическое несовпадение изображенного в романе с привычным, шаблонным представлением о жизни той поры вызвали многочисленные критические отклики, диспуты, полемику, огромный читательский интерес. В условиях литературной групповой борьбы (РАПП, ЛЕФ, «Перевал» и т. д.) с особой очевидностью проявилась узость субъективистских мерок, прилагаемых к необычному произведению в надежде перекроить его «под себя» или, по крайней мере, обличить автора за несовпадение его взглядов с собственными групповыми догмами. Сам Леонов так сказал об этом три года спустя после выхода романа: «При поверхностном рассмотрении может показаться, что «Вор» выпадает из общего комплекса волнующих меня сейчас проблем и оказывается в стороне. Но это не так. Я самомнением не страдаю, и смешно бывает говорить, что писателя не поняли. Но с «Вором» такое именно недоразумение произошло. Он, по-моему, превратился в скандал в благородном семействе» («Литературная газета», 1930, 24 сентября).

Критические отклики на роман появились, когда «Вор» еще полностью не был опубликован в «Красной нови». Одним из первых с развернутой, программной статьей «Проблема живого человека в современной литературе и «Вор» Леонида Леонова» выступил критик и теоретик РАПП В. Ермилов. Он высоко оценил первую часть романа: «Вор» в фокусе читательского внимания, потому что он волнует как надежда на осуществление читательских чаяний. «Вор» не где-то на гранях литературы, он движется не по боковым ее линиям. «Вор» — в том центральном, узловом пункте, куда, как в Рим, ведут все дороги, где перекрещиваются все вопросы, задачи, стоящие перед современной литературой. Таким узловым пунктом является проблема живого человека в литературе — того реального, с плотью и кровью, с грузом тысячелетних страданий, с сомнениями и муками, с бешеным стремлением к счастью, живого человека, начавшего жить на перекрестке двух эпох, принесшего в новую эпоху вековое наследие отцов, дедов и прадедов, часто не выдерживающего перенагрузки эпохи,— того живого человека, которого пытается показать в своем романе Леонид Леонов» («На литературном посту», 1927, № 5-6, с. 65). Отдавая должное подлинному драматизму судьбы Дмитрия Векшина, критик, однако, возражает против обобщенного, расширительного толкования этого

образа и упрекает Леонова в том, что в романе Векшину не противопоставлено подлинно положительное начало.

Развернутая высокая оценка романа, верность многих наблюдений над его героями и ситуациями — все это в статье В. Ермилова соседствовало, однако, с догматической рапповской концепцией «живого человека в литературе», по которой персонажам должны быть присущи обязательные «противоречия», груз «прошлого», единство «личности» и «мира» в духе вульгарно понимаемого «материалистического монизма».

Несоответствие образа Векшина в «Воре» рапповским нормативам подчеркивал, в частности, А. Лежнев, теоретик группы «Перевал», подробно разобравший драму леоновского героя. «Намерение автора пробивается довольно отчетливо,— писал он,— это стремление показать «большого» человека, запутавшегося в противоречиях эпохи. Леонов указывает и на причину, по которой его большой человек запутался: недостаток культуры. Даже в такой трактовке в «Воре» — мало похожего на то, что нашел в нем Ермилов. Но мы никак не можем признать в Мите Векшине большого человека. Мы вглядываемся в его лицо, сведенное судорогой вечного патетического страдания, и перед нами встают черты хорошо нам знакомого по прежним вещам «мелкого человека», этого центрального образа леоновского творчества. В Мите говорят все старые голоса: от Бурыги и Егорушки до Лихарева. Он надломлен, он надорван, и его надрыв отдает достоевщиной и психопатологией, он занят устроением своего душевного хозяйства, он замкнут в себе, он корчится под колесами истории. И мы должны верить, что этот человек, загнанный во мрак душевного подполья, и есть тот «живой», «новый» и проч., и проч. человек, которого ищет наша литература!» (А. Лежнев. Разговор в сердцах. М., «Федерация», 1930, с. 147—148).

Упрек в надломленности, якобы присущей переживаниям Векшина и других персонажей «Вора», прозвучавший в статье А. Лежнева, повторялся и неоправданно ширился в разгоревшейся вокруг романа дискуссии. Критика не стеснялась в безапелляционных оценках и приговорах. Особой несдержанностью тона отличалась рапповская и лефовская периодика. В нигилистическом отрицании леоновского романа сошлись обычно враждебные и непримиримые представители крайних «левых» групп.

Очень упрощенное толкование получил в критике вопрос о роли психологического анализа в романе «Вор» и о художественном соотношении Леонова и Достоевского. Отвечая в 1930 году на вопрос журналиста: «Но не кажется ли вам, что упреки, сделанные в отношении «Вора», были основательны и что тогда (т. е. в пору написания

романа — *О. М.)* над вами довлели еще традиционные психологические приемы и влияние Достоевского?», Леонов заметил: «Вопрос психологического анализа — вопрос очень сложный. Я лично думаю, что нельзя заменить психологию рефлексологией. Пока будет жив человек, он будет как-то по-своему, индивидуально переживать, чувствовать, ощущать. Анализ этих переживаний для писателя не только закономерен, но необходим. Он дает ему ключ для понимания человеческой сущности» («Литературная газета», 1930, 24 сентября).

Совершенно по-иному, чем во многих откликах текущей критики, воспринял роман Леонова Максим Горький, в том числе и проблему психологической стихии, которую связывали с традицией Достоевского. Горький увидел в «Воре» «оригинально построенный роман, где люди даны хотя в освещении Достоевского, но поразительно живо и в отношениях крайне сложных» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30, с. 91).

М. Горький особенно высоко оценил художественное мастерство писателя в романе «Вор», архитектонику произведения, оригинальность его композиции и виртуозность языка и стиля. «В романе «Вор»,— писал Горький о Леонове,— он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно; он уже дал целый ряд своих, очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией. Мне кажется, что Леонов — человек какой-то «своей песни», очень оригинальной, он только что начал петь ее, и ему не может помешать ни Достоевский, ни кто иной» (там же, т. 24, с. 491).

Вслед за появлением романа «Вор» в «Красной нови» вышло его отдельное издание (М.-Л., Госиздат, 1928), а затем роман переиздавался четыре раза (последнее издание старой редакции «Вора» вышло в 1936 году).

Несмотря на бесспорный успех романа, несмотря на отзывы Горького, писавшего о «Воре» и Ромену Роллану, и Стефану Цвейгу, несмотря на то, что роман, как видно, имел определенный — и очень высокий — литературный успех, Леонов через тридцать лет сел за стол и вкрутую переделал произведение. Летом 1957 года он приступает к переработке «Вора»; новая, вторая редакция завершена лишь в середине 1959 года. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Леонов сообщил: «В собрание моих сочинений не вошло одно из ранних произведений — роман «Вор», рисующий некоторые явления нэпа. Я всегда помнил о стилевых недостатках и промахах этого романа, который был начат 34 года назад... Мне захотелось уточнить, углубить идею и действие произведения, не нарушая притом его сюжетной канвы.

Сделать это оказалось трудно. Я думал управиться с этим делом в три недели, а вот сижу над ним уже больше года: фактически потребовалось многое переписать и написать заново. То обстоятельство, что один из персонажей романа является литератором, позволит мне теперь показать писательскую лабораторию на более расширенном опыте,— пишу-то я уже скоро сорок лет.

Может быть, и не удастся сохранить в романе молодую наивность той давней поры... Зато, мне хочется надеяться, роман приобретет некоторые новые качества, которых у него не было в первой редакции» (Я. Чернов. Талант на всю жизнь. В гостях у Леонида Леонова. — «Вечерняя Москва», 1958, 4 октября).

В содержательных работах, посвященных новой редакции «Вора», в критике и литературоведении отмечались существенные различия в общей концепции произведения и идейно-художественном содержании главных образов (статья В. Ковалева в 9-м томе «Вопросов советской литературы», 1961; предисловие Е. Стариковой к Собр. соч. Леонова в 9-ти томах, М., 1961, и др.). Упоминалось, что в работе над романом автор существенно переосмыслил его главных героев, и прежде всего Дмитрия Векшина, в характеристике которого на первый план выдвигается проблема виновности героя-индивидуалиста перед людьми и человеческой личностью. Что иную акцентировку получают и другие персонажи, в частности, лишается своего исторического права на могущество и силу Николка Заварихин, в его характере явственно проступают черты ущербности, низкой корысти и бесчеловечности. Что углубляется образ Чикилева, обретая еще большую заостренность воинствующего мещанина, враждебного искусству, духовности, человечности. Многочисленные развернутые картины и эпизоды появляются на месте едва намеченных, эскизных зарисовок, исчезает романтическая приподнятость слога, строже, глубже становится реалистический рисунок произведения.

«Автор с пером в руке перечитал книгу, написанную свыше тридцати лет назад,— заметил сам Леонов в предуведомлении читателю к новой редакции. — Вмешаться в произведение такой давности не легче, чем вторично вступить в один и тот же ручей. Тем не менее можно пройти по его обмелевшему руслу, слушая скрежет гальки под ногами и без опаски заглядывая в омуты, откуда ушла вода».

Только по завершении этой работы вспомнился ему затерявшийся в памяти, давний, еще в Сорренто, разговор с Алексеем Максимовичем. О нем мимоходом поведал Леонов автору этих строк. «Интересный может быть оборот,— однажды после долгой беседы о романе сказал Горький. — А что, если много лет спустя, вечерком в прогулке по городу писатель встречает вдруг свой любимый некогда персонаж.

Обрадовались встрече, спустились в трактир либо какой-то еще ночной погребок. Долго сидели в уплотненной беседе о самом главном на свете... И поближе к утру разочарованный автор убил своего героя пивной кружкой в висок...» Этот фантастический рассказ невольно бросает новый отблеск на историю романа, возвращая нас к мечтаниям в «Воре» писателя Фирсова: «Вот и охота мне взять одного (человека, персонажа. — *О. М.)* на пробу, да и посравнить годков через тридцать — сколько и какого нарастит на себе нового-то орнаментума». Что же за «новый орнаментум» обозначился в Дмитрии Векшине при встрече с ним автора через тридцать лет?

Как-то, говоря о «Воре» и останавливаясь на правомерности других трактовок, наличии собственного заблуждения, Леонов бегло обозначил еще одну линию романа, обычно ускользающую даже от профессионального читателя. Главное различие обеих редакций, по его мнению, базировалось на стремлении автора взять лупу и поднести ее к темным и непроясненным узлам «Вора», чтобы раскрыть молекулярное строение ключевых эпизодов.

Хотя в первой редакции были показаны причины Векшинской поломки, что достаточно внятно объяснено в эпизоде, когда он впервые был беспробудно пьян, тот Митя Векшин еще не М и т ь к а. «Вся пивная, сколько их там было, в одном полусознательном рывке» бросилась поднимать соскользнувшую со стола шляпу. В последней редакции «Вора» с Векшина окончательно слетает романтический ореол короля и он оказывается обыкновенным для уголовного мира п а х а н о м или б у г р о м. Все последующие варианты судьбы Митьки лежат уже на совести фантазера Фирсова.

Векшин развенчивается в нескольких узловых эпизодах романа, где последнюю точку ставит Санька Велосипед неудачным выстрелом в бывшего своего кумира. «Ведь вот ты какой, Митька,— рассуждает в романе бывшая Маша Доломанова, а ныне «подруга» звероподобного Агея Манька Вьюга,— хуже смерти человеку причинишь и не заметишь. Ступил ему нá сердце и прошел дальше по текущим делам». Не так ли «ступил на сердце» самой Маше некогда Векшин, назначив девушке конспиративное свидание, а затем позабыв о нем под предлогом эпохальных дел и тем самым предав ее в лапы Агея? И вот Маша с г н и в а е т от дурной болезни на глазах у Митьки, а он так и не понимает до конца, что же он наделал с нею.

В тяжбе с высшими принципами и силами добра Векшин проявляет своеобразную щепетильность в смысле нравственных побуждений. Ему, королю столичных шниферов, понадобились для поездки на родину, в д е т с т в о, честные деньги; говоря фигурально — нельзя же, слишком греховно опустить в церковную кружку оловянный рубль.

И Митька идет к Саньке Велосипеду, «завязавшему» с прошлым, и забирает у бывшего дружка скопленные им 40 целковых, «чистых». И снова тот вышиблен из трудовой колеи в бездомную нищету, после чего следует возврат в блатную пучину, и его несчастная жена, подобранная им на бульваре, сгорающая от чахотки сенаторская дочка, пытается перед своим концом выяснить: «А было ли в нем, в Векшине, с самого начала сердце хоть в горошину?» Через этот вопрос проходит пунктиром генеральная тема романа.

«Вор» в его двух редакциях являет нам пример подвижнической работы большого художника, который возвращается к своему произведению, оттачивая его и добиваясь предельного совершенства. «Познать тайны писательской профессии,— сказал о Л. Леонове Юрий Бондарев,— можно не методом самонаблюдения, а каторжной работой, близкой одержимости, на огромном строительстве города-романа, конструкции которого должны выдерживать «не меньше двадцати пяти лет». Об этом сроке прочности не раз говорил безжалостно требовательный к себе Леонов...

И неповторимо самобытные художники,— размышляет Ю. Бондарев,— имели своих учителей, но в общении с учителями они познали самих себя. По-видимому, когда-то гений Достоевского (как и каким образом — объяснимо ли это?) приоткрыл нечто молодому Леонову над бездной и светом человеческой души — и позже выработался новый великий писатель своего времени» (Ю. Бондарев. Высочайшего ранга мастер. —«Мировое значение творчества Леонида Леонова», сб. статей. М., 1981, с. 9).

После переработки романа в 1957—1959 годах «Вор» подвергся дополнительной авторской стилистической правке для изданий в Собрании сочинений в 9-ти томах (т. 3, М., 1961) и в Собрании сочинений в 10-ти томах (т. 3, М., 1970). Печатается по тексту последнего издания с уточнениями и существенными изменениями.

Стр. 40. *Публий* — Валерий Публий Попликола (?—460) — консул и законодатель в начальную эпоху Римской империи.

Стр. 46. *Кудеяр* — герой народного предания, раскаявшийся разбойник. *Рокамболь* — герой «уголовных» романов французского писателя Понсона дю Террайля (1829—1871). *Чуркин* —«благородный разбойник», герой бульварного романа русского писателя Пастухова «Разбойник Чуркин».

Стр. 47. *Откуда же начинать, однако: 862 или 1917?* — Согласно летописным преданиям, 862 год — год основания древнерусского государства

варягом Рюриком. Легенда эта опровергается историческими источниками, которые говорят о становлении древнерусского государства задолго до IX в. 1917 год — начало Советского государства и построения нового, социалистического общества.

Стр. 81. *...во образе дряхлеющего Давида и молодой девицы Ависаги...* — Давид, второй царь Израильско-Иудейского государства, правивший в 1055—1015 гг. до н. э. Под конец жизни придворные нашли ему молодую красавицу Ависагу, которая согревала его ночью, а днем ухаживала за ним.

Стр. 84. *...шемаханского алого шелка...* — Шемаха, один из районов Азербайджанской ССР, славившийся еще с XVIII в. производством шелковых тканей.

Стр. 88. *Иеремия* — библейский пророк, оплакивающий падение Иерусалима.

Стр. 93. *...куплю... на Трубе...* — Трубой в просторечии именовали Трубную площадь, где в те времена собирался толкучий рынок.

Стр. 104. *...на нарах ермаковского ночлежного дома...* — Городской ночлежный дом Ф. Я. Ермакова находился на Каланчевке в 1-м Дьяковском проезде.

Стр. 168. *...пожаловал Александр II какому-то отличившемуся на Балканах...* — Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г.; стремясь к усилению русского влияния на Балканах, в 1877 г. начал войну с Турцией.

Стр. 193. *Аттила* (?—453) — предводитель гуннов, возглавлявший опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию и Северную Италию.

Стр. 194. *...зарублен был в башкирском бунту под Оренбургом...* — Восстание башкир и киргиз-кайсаков под руководством Батырши Алеева в 1755 г. жестоко подавлено.

Стр. 195. *В годы александровских реформ...* — Из-за боязни революционных потрясений начало царствования Александра I (1777—1825) характеризуется стремлением избежать их путем незначительных уступок — проведением умеренно-либеральных реформ, разработанных Негласным комитетом и М. Сперанским.

Стр. 270. *...этаким гефсиманским взглядом...* — Гефсимания — согласно Евангелию, селение, где любил уединяться Христос и где он после Тайной вечери перенес томительную душевную муку. В Гефсиманском саду Иуда запечатлел на устах Христа свой предательский поцелуй.

Стр. 278. *...ничего ошеломляющего, вроде Ниагары там, Попокатепетля...* — Ниагара — один из крупнейших в мире водопадов на реке

между США и Канадой. Попокатепетль — действующий, постоянно дымящийся вулкан на юге Мексики.

Стр. 279. *...из каслинского чугуна...* — Касли (райцентр Челябинской области) с XVIII в. славился художественным литьем изделий из чугуна.

Стр. 279. *Снейдерс* Франс (1579—1657) — фламандский живописец.

Стр. 320. *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк.

Стр. 374 *...злободневную сатиру на Като, Гардинга и Хьюза, любимую тогдашнюю мишень эстрадных остряков...* — Като Такаакира (1859 — 1926) — японский государственный деятель и дипломат; в 1924—1926 гг.— премьер-министр. Гардинг Уоррен (1865—1923) — 29-й президент США от республиканской партии. Хьюз Уильям Моррис (1864—1952) — премьер-министр Австралийского союза в 1915—1923 гг.

Стр. 375. *Лорд Керзон* Джордж Натаниел (1859—1925) — министр иностранных дел Великобритании в 1919—1924 гг., консерватор, один из организаторов антисоветской интервенции.

Стр. 443. *Марабу* — род птиц семейства аистов, питающихся главным образом падалью.

Стр. 564. *Годар* Бенжамен (1849—1895) — французский скрипач и композитор.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОР

Роман

Леонов Л. М.

Л47 Собрание сочинений: В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1981 —

Т. 3. Вор: Роман. Примеч. Олега Михайлова. 1982. 614 с.

В третий том Собрания сочинений вошел психологический роман «Вор», в котором воссоздана атмосфера нэпа, облик московской окраины 20-х годов, показан быт мещанства, уголовников, циркачей. Повествуя о судьбе бывшего красного командира Дмитрия Векшина, писатель ставит многие важные проблемы пореволюционной русской жизни.

Л $\frac{4702010200\text{-}259}{028(01)\text{-}82}$ подписное **Р2**

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
ЛЕОНОВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор О. Афанасьева

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры
Г. Ганапольская, С. Свиридов

ИБ № 2427

Сдано в набор 26.10.81. Подписано в печать 03.06.82. А10823. Формат 60×84 1/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 35,92. Усл. кр.-отт. 36,39. Уч.-изд. л. 36,33. Тираж 200 000 экз. Изд. № III-467. Заказ № 172. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

